

ВОЙНОВИЧ

В **В** О Й Н О В И Ч

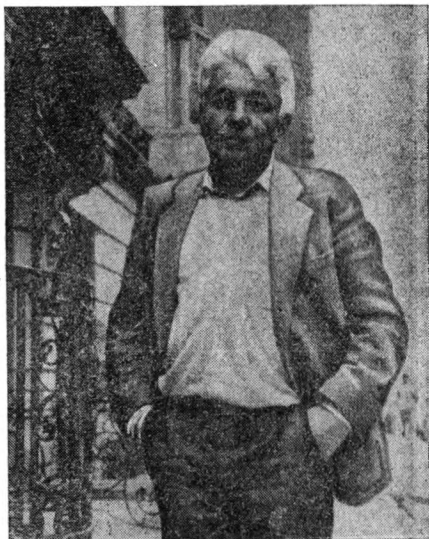
4



Владимир Николаевич
ВОЙНОВИЧ

МАЛОЕ
СОБРАНИЕ
СОЧИНЕНИЙ

Владимир **В**ОЙНОВИЧ



МАЛОЕ
СОБРАНИЕ
СОЧИНЕНИЙ

в 5 томах

АНТИСОВЕТСКИЙ
Советский Союз

Сказки
Между жанрами
Пьесы

Том 4

Москва
«ФАБУЛА»
1994

ББК 84Р7
В65

Войнович В. Н.

В65 Антисоветский Советский Союз.
Сказки. Между жанрами. Пьесы/
сост. Т. А. Бек. — М.: ПОО «Фабу-
ла», 1994. — 576 с. — (Малое собр.
соч. Т. 4).

ISBN 5-86090-158-5

Произведения, представленные в четвертом томе собрания сочинений В. Войновича, большей частью известны лишь тем читателям, кто слушал передачи радиостанции «Свобода», т. к. опубликованы они были только за рубежом. Судебная комедия «Трибунал», поставленная Театром Сатиры, заставила говорить о Владимире Войновиче и как о талантливом драматурге.

4600000000 — Без объявл.

ББК 84 Р6

- © Владимир Войнович, 1993
- © Составление. Т. Бек, 1993
- © Художественное оформление.
П. Храмцов, 1993
- © Издание. ПОО «Фабула», 1994

АНТИСОВЕТСКИЙ СОВЕТСКИЙ СОЮЗ



ОТ АВТОРА

Основой этой книги (как первого издания, так и теперешнего) стали мои беседы, рассказы, фельетоны, сказки, пьесы и прочие тексты, написанные для радио «Свобода» или для других печатных и вещательных органов с 1983 года до наших дней, запись публичных выступлений в разных аудиториях, наиболее содержательное интервью. Тексты интервью в некоторых случаях не полностью совпадают с прежде опубликованными, потому что автор хотел или вернуть утраченное при редактировании, или уточнить высказанную мысль, или что-нибудь в этом духе.

Надо при этом отметить, что автор по своей привычке к беспечности не всегда заботился об обозначении дат, а теперь придя к выводу, что они нужны, расставил их по памяти и в некоторых случаях (в редких), возможно, ошибся или вовсе воздержался, но надеется, что беды в том особой нет. «Застойный период» в подробной датировке вообще не нуждается, отличавшие его явления со временем не менялись, не обновлялись и не устаревали.

С началом «перестройки» жизнь обрела динамику — и даты стали играть важную роль. В разделе книги, посвященном «перестройке», автор, помимо попытки отразить эту динамику, знакомит читателя с тем, как развивались в это время его мысли, сомнения, надежды, предчувствия, очарование и разочарование некоторыми (не всеми) этапами и частностями этого процесса.

О своем сотрудничестве с радио «Свобода» скажу отдельно.

Когда в конце 1980 года я оказался в Мюнхене, поблизости от этой радиостанции, работники ее, естественно, предложили мне сотрудничество.

Сначала я отказался.

Время от времени я был не прочь выступать по радио, но заниматься этим регулярно мне не хотелось.

Я уехал на год в Америку, преподавал литературу, вернулся в Мюнхен. А вернувшись, понял, что мне не хватает постоянного контакта с читающей или, по крайней мере, слушающей русской аудиторией. Поэтому, когда ведущий на радио «Свобода» передачи о литературе Александр Перианский (в эфире — Александр Воронин)

повторил предложение о сотрудничестве, я его принял.

И стал с большей или меньшей регулярностью выступать по радио как независимый литератор. В штате радиостанции я не состоял никогда.

Текст первого моего десятиминутного выступления дался мне с большим трудом, я его писал, может быть, полгода. Потом пошло полегче. Постепенно у меня выработался некий сквозной план, переходивший из одной передачи в другую: я решил рассказать слушателям о них самих, показывая советскую жизнь с самых разных сторон. В этом мне помог мой жизненный опыт, который был, прямо скажем, не совсем ординарен. Я жил в разных местах Советского Союза, работал и в колхозе, и на стройке, и служил в армии, был и членом Союза писателей, и диссидентом. То есть я был лучше, чем многие, знаком с жизнью самых разных слоев советского общества. Кроме того, имея доступ к неподцензурной литературе, я знал многое из того, что мои слушатели не знали.

Я понимал, что радио слушают люди пытливые, но с различным уровнем подготовки. Потому я старался, чтобы передачи мои были живыми, разговорными, доступными всем, но не примитивными. Я понял, что радиобеседы — это особый жанр, которым овладеть можно, но надо постараться. Искусству непосредственного разговора со слушателем я учился (непрямо, конечно) у незабвенного комментатора Би-би-си Анатолия Максимовича Гольдберга, затем Анатолия Кузнецова и Виктора Некрасова. Замечательно владел этим искусством покойный Сергей Довлатов, говоривший всегда просто, искренне, грустно и смешно.

Допускаю, что некоторые из предлагаемых вниманию читателя текстов вышли, как говорят американцы, из времени (out of date), но остаточная ценность их может быть в том, что они напоминают об условиях, в которых жили люди отошедшей эпохи.

Что касается раздела «Стихи на полях прозы», то здесь я позволил себе выйти за рамки общей хронологии этого тома и рифмованные описания многолетней давности присоединил к упражнениям последнего времени, не всегда серьезным и даже с элементами фривольности, не вполне подобающей сединам стихотворца.

Мир бочкообразен

Однажды я провел лето на подмосковной даче и кроме того, что что-то писал и безуспешно пытался вырастить такой нехитрый овощ, как редиска, занимался еще праздными наблюдениями над различными формами жизни.

На нашем дачном участке стояла железная бочка, наполовину наполненная давно уже протухшей водой, уровень которой был почти постоянным благодаря смене солнечных и дождливых дней. Летом в этой тухлой воде расплодились какие-то водоплавающие жуки, которые стремительно передвигались по поверхности и глубоко ныряли, охотясь за чем-то мне невидимым. Существование этих жуков казалось мне весьма загадочным. Чем все они питались? Как выживали они сами или их личинки, если зимой бочка промерзала насквозь? Однако как-то они выживали, как-то плодились и размножались и чем-то питались. И я подумал, а что если предположить, что эти жуки обладают способностью мыслить? Какое представление они могут иметь об окружающем мире? Примерно вот какое. Мир — бочкообразен и наполовину заполнен тухлой водой. Тухлая вода гораздо лучше свежей (свежая иногда течет сверху), потому что представляет собой идеальную среду для передвижения, сохраняет тепло и содержит разные питательные вещества. Границы мира легко достижимы, имеют круглое сечение и сотворены из чего-то твердого. Но за пределами этого устойчивого и понятного мира есть, очевидно, и другие миры, в которых не все так устойчиво. Там то светло, то темно. Там, когда светло, плавают что-то круглое и жаркое, а когда темно, выползают какие-то светящиеся жуки. Тот мир гораздо хуже этого, потому что от того мира поступает иногда жара, иногда холод. Там иногда что-то сверкает и громыхает.

И глядя на этих природных диогенов, я подумал: да это же мы, советские люди!

Мы рождаемся, живем и умираем в бочке. Мы не зна-

ем, что происходит за пределами бочки, и не помним, как сами в ней оказались. Как бы различно ни было наше происхождение, но за годы сидения в бочке у всех развилось общее представление о мире — бочкообразное. У жителей бочки есть свои представления о добре и зле, среди них есть свои святые и свои негодяи. Самые умные подозревают, что, вероятно, где-то существуют другие миры, возможно, много таких же бочек, в которых жизнь устроена как-то иначе. Самые свободолюбивые рвутся из бочки, ползут по ее ржавой стенке, падают и снова ползут. Самые упорные или гибнут, или доползают до края. И вдруг перед ними открывается новый, совершенно невиданный разноцветный мир: трава, цветы, звери, рыбы, птицы, бабочки и стрекозы. Есть вода, есть твердь, есть воздух, и в этих трех средах каждый передвигается как может: кто летит, кто плывет, кто ползет и — никаких ограничений. Но каждый сам себе добывает пищу и каждый сам должен заботиться, чтобы его не растоптали, не проглотили и не склевали. Боже, да что же это творится?! Скорей назад, в бочку!

Там никаких цветов, никакой травы, там затхлая вода, там скудная пища, но там спокойно. Прибился к стенке и дремлешь, зная, что никто на тебя не наступит, никто тебя не склюет.

Да здравствует бочка!

Как вы могли так жить!

Попав на Запад, я вовсе не собирался выступать здесь в роли пропагандиста. Но куда бы я ни попал, люди, узнав, что я русский, задают вопросы. Они хотят знать, что представляет собой супердержава, которая в состоянии уничтожить весь мир. Какие люди там живут и чем живут? Меня спрашивают, я отвечаю. Но каждый ответ вызывает новый вопрос. Оказывается, наша повседневная жизнь кажется западным людям загадочной и непонятной, как жизнь жуков в бочке. Иногда я никак не могу понять, почему? Иногда раздражаюсь. Иногда объясняю терпеливо, что мы такие же люди, как они. Мы так же рождаемся, живем, стремимся к счастью, любим, ненавидим, радуемся, страдаем, болеем и умираем. Общее это объяснение возражений не вызывает, но, когда доходит до деталей, опять ничего не понятно.

Как-то, во время нашего пребывания в Америке, решили мы с женой навестить знакомую художницу. С мужем-инженером и одиннадцатью детьми она живет на ферме, потому что в городе снять дом или большую квартиру им не по карману, а жить в небольшой квартире они не хотят: американцы — люди избалованные. Я когда-то в молодости снимал в Москве комнату у такой же семьи. Им на тринадцать человек государство отвалило четырехкомнатную квартиру на Кутузовском проспекте. Одну из этих комнат они сдавали. «А вам-то всем в трех комнатах не тесно?» — спросил я у них. «Да что вы, — сказала хозяйка. — Нам и двух много. Мы после коммуналки все в одну норовим забиться».

Но вернемся к американцам. Собрались мы в гости к художнице, взяли такси, по дороге с шофером о том о сем разговариваем. (Таксисты везде разговорчивы, что у нас, что в Америке). Услышав наше произношение, шофер, естественно, поинтересовался, откуда мы. Мы сказали. «О, Раша! — говорит он с почтением. — Ну, и как там, в России, жить?» — «Да как вам сказать? Все хуже и хуже». — «Как у нас, — говорит водитель. — Жизнь, что ни год, дорожает. Десять лет назад такая машина стоила четыре тысячи, а сейчас девять тысяч долларов стоит. А я в месяц и трех тысяч не всегда могу заработать». — «Ну, это, — я говорю, — да, это, конечно. А мясо вы по карточкам получаете или по блату где достаете?» Он мой вопрос даже не очень-то понял, а когда понял, сказал, что мясо, как и все остальные продукты, он в ближайшем супермаркете покупает. «Ну, вот представьте себе, — сказал я, — что ни в вашем супермаркете, ни в следующем, ни в соседнем городе нет ни мяса, ни консервов, ни колбасы, ни сосисок». — «Да, говорит шофер, я слышал, что у русских с мясом не очень. Это неприятно, но в конце концов можно есть цыплят». Тут мы с женой стали смеяться, потому что он почти слово в слово повторил высказывание французской королевы Марии-Антуанетты, которая за двести лет до него удивилась: «А чего это народ бунтует? Если у них нет хлеба, пусть едят пирожные». Таксист наш рассердился и сказал, что, в отличие от королевы, он еще не очень оторвался от жизни, а чикенов этих, то есть цыплят, можно выращивать сколько угодно. Производство это очень простое, чикены сами из яиц вылупляются и сами растут, только корм подсыпай. Я пытался ему рассказать о со-

циалистической системе хозяйства, где ничего не бывает очень простым, но он даже и слушать не хотел. «Да что вы мне говорите, да при чем тут система, да эти птицефермы вообще ничего не стоят, их можно при любой системе сколько хочешь построить». И так он убедительно говорил, что я ему почти совершенно поверил.

Доехали мы до места, встретила нас хозяйка, дом показала. Огромный двухэтажный дом она перестроила по причудливому своему проекту, и получилось много всяких углов, закруглений и ответвлений. И, само собой, невероятное количество комнат. У каждого из одиннадцати детей по комнате. У нее и у мужа по кабинету. А еще спальня, а еще гостиная и столовая, и еще что-то, и одних только ваннх комнат не то пять, не то шесть. А для детей всякие спортивные снаряды и какая-то индейская хижина, и живой пони, и еще всякие вещи. А качели прикреплены к ветке высокого дуба, и когда мы на террасе чай пили, дети на этих качелях со свистом над нашими головами летали.

Сидели мы на этой террасе, чай пили, о жизни разговаривали, я такие простые разговоры предпочитаю всяким интеллектуальным беседам. Я спросил хозяев, не трудно ли им живется. Они сказали, что в общем-то нелегко. Такой дом, столько детей, столько забот, а они не миллионеры какие-то, обыкновенные люди, средний, как говорят в Америке, класс. А потом они стали нас расспрашивать, и как-то так получилось, рассказал я им вкратце всю свою жизнь, которой вовсе не собирался их удивить, потому что биография у меня по советским понятиям почти заурядная. Мне не было четырех лет, когда моего отца посадили по идиотскому политическому обвинению. И просидел он по советским понятиям тоже совсем немного — пять лет. Ну, а потом война, с которой он вернулся инвалидом. И не то, чтоб совсем уж калекой, а так — одна рука не разгибалась. А я (тоже как миллионы других) ребенком пошел работать в колхоз. Потом ремесленное училище, завод, вечерняя школа, армия — тоже дело обыкновенное. Потом, правда, стал писателем, и дальше судьба развивалась не совсем обычно. Стал я описывать в книгах то, что видел в реальной жизни, и пошли у меня неприятности, чем дальше, тем больше. А потом еще стал за других людей заступаться, да не с кулаками, а на бумаге, письма писал и протесты. За это меня исключили из Союза писателей,

не печатали, не давали заработать на кусок хлеба и при этом пытались объявить тунеядцем, отключили телефон, угрожали убийством (и однажды, подсунув отравленные сигареты, показали один из возможных способов), инсценировали нападение хулиганов, прокалывали шины автомобиля, устраивали всякие другие провокации (вплоть до того, что моим престарелым родителям объявили однажды, что я погиб). Но все же не посадили, не убили, а только выгнали за границу, к чему некоторые люди даже очень стремятся. Так что мою биографию можно считать вполне благополучной. Но хозяйка дома мою биографию благополучной не посчитала. Она сказала:

— Как же вы так могли жить? Почему вы не обратились к вашему правительству?

Ее старшие дочери, студентки, стали смеяться, им, как это бывает в их возрасте, стало неудобно, что мама такая глупая.

А я не смеялся. Я считал ее вопрос вполне резонным и объяснил, какое у нас правительство и как оно отвечает на подобные обращения.

— А вы бы подали на них в суд!

Дочери и вовсе ее засмеяли.

— Хорошо, я понимаю, может быть, суд такой же. Но ведь можно же было написать в газету, обратиться к общественному мнению! Что вы надо мной смеетесь? Не перебивайте меня. Пусть я старая, глупая, пусть я ничего не понимаю. Я никогда не видала таких правителей, не читала таких газет, не знала, что бывают такие судьбы. Но если к ним ко всем обращаться бессмысленно, то ведь можно же в конце концов просто выйти на улицу и крикнуть: «Люди, посмотрите, ну что же это происходит?»

Нам, воспитанникам советской системы, такие высказывания западных людей иногда кажутся смешными, иногда раздражают: как же можно быть такими наивными?! Но я не понимаю, зачем нужно сердиться. Ну да, ну наивные, ну не могут себе представить нашей жизни, даже когда честно стараются.

Но есть такие, которые и не стараются.

Пиво для русских танкистов

В один из первых вечеров своего пребывания в Германии я попал в компанию, где разговор очень быстро свернул на советскую военную угрозу, на то, что сюда скоро-скоро придут советские танки. Мои новые знакомые всерьез обсуждали, что они будут в этом случае делать. Один торговец лошадьми сказал, что надо уже сегодня, не дожидаясь танков, бежать в Австралию. Другой, владелец пивного завода, спрашивал меня, любят ли русские пиво, он надеялся, что прибытие любящих пиво советских танкистов может способствовать расширению его бизнеса. Молодой философ непонятным образом сочетал страх перед советскими танками с верой в то, что в Советском Союзе торжествуют законность, социальная справедливость и всеобщее равенство. Мои возражения он выслушивал с усмешкой, словно зная заранее, что мое мнение пристрастно. Он, конечно, читал о советских лагерях и сталинском терроре, но призывал меня признать, что за годы советской власти Россия ушла далеко вперед, стала мощной индустриальной державой и ее успехи в космосе говорят сами за себя.

Я втянулся в спор, и философ объяснил мне дальше, что все-таки советская власть освободила трудящихся от капиталистической эксплуатации, от страха за завтрашний день. Я усомнился в его компетенции, когда он сказал мне, что во всяком случае советские люди никогда не знали голода. Я спросил его, слышал ли он что-нибудь о голоде на Украине, стоившем жизни нескольким миллионам людей, или о блокадном Ленинграде. Я рассказал ему, как умирали люди от голода (да я и сам чуть не умер) под Куйбышевым зимой 43-го и в Запорожье три года спустя. Он пропустил сказанное мною мимо ушей и продолжал спорить. Парируя какой-то мой аргумент, он сказал: «Ну да, ведь Россия сама по себе страна маленькая, не больше Баварии». И в ответ на мой ошеломленный взгляд пояснил: «Я имею в виду не весь Советский Союз, а только Россию». Когда я сказал, что считать можно по-разному, но и сама Россия простирается примерно от Смоленска до Владивостока, кто-то уже другой спросил, а где находится Владивосток.

В другой раз меня спросили, хорошо ли русские люди понимают языки других народов СССР, например, хорошо ли я понимаю грузинский язык? Еще меня спраши-

вали, есть ли в Москве отели и такси и зачем вообще русским деньги, если на них все равно ничего нельзя купить?

Мои русские читатели, прочтя эти строки, охотно закивают головами. Не знают нас люди на Западе, скажут они, не знают и не понимают. Но я хочу прибавить к этому следующее: не только они нас не знают, но мы и сами себя не знаем. Среди русских людей из старой эмиграции я встречал здесь таких, которые абсолютно уверены, что в Политбюро, Генеральном штабе и КГБ сидят одни евреи. Переубедить их невозможно. Недавно я был на выступлении одного старого русского писателя, который в своей лекции рассказывал, что сейчас в России нет ни одного цыгана (все уничтожены). Я встречал людей новой эмиграции, которые только на Западе впервые услышали имя Сахарова. В самом Советском Союзе миллионы людей ничего не знают о коллективизации, сталинских чистках и о том, что происходит сегодня, в начале 80-х годов.

Это незнание объясняется многими причинами. Корреспонденты, которые работали в Москве, отмечают, что советское общество закрыто для иностранцев. Но все дело в том, что оно закрыто не только для иностранцев. Все дело в том, что оно закрыто для самих советских людей, особенно для тех, кто не слушает иностранное радио. Любая, часто простейшая информация является у нас секретной. Секретны отдельные предприятия, целые острова и города, туда не имеют доступа не только иностранцы, но и советские граждане. Секретны эпидемии, стихийные бедствия, крушения поездов и самолетов. Секретны истинные цифры урожая и вообще производственные показатели. Секретно число больных-алкоголиков и наркоманов. Секретны имена выгнанных из страны писателей и, конечно, их книги. Секретны даже имена наиболее отличившихся деятелей революции, гражданской войны и недавних советских руководителей. В энциклопедии, например, есть слово «троцкизм», но нет фамилии «Троцкий».

Советских людей с детства пугают иностранными шпионами и отечественным КГБ, призывают к бдительности, приучают помалкивать. (Даже старая русская поговорка говорит: «Слово — серебро, молчание — золото»).

Еще есть перегородки сословные. В Советском Союзе рабочие живут отдельно, артисты — отдельно, спортсме-

ны — тоже отдельно. Партийные бюрократы, дипломаты, кагебешники и высшие военные окружены заборами, за которые человеку другого круга вообще невозможно проникнуть. Отдельно от всех живут и писатели. Время от времени они «для изучения жизни» ездят в так называемые «творческие» командировки, иногда индивидуально, а чаще всего бригадами, посещают «передовые» колхозы или заводы, где им показывают парадную или, точнее сказать, фиктивную сторону жизни и обманывают, как иностранцев. Подавляющее большинство писателей (а их в СССР больше 8000) совершенно не знают жизни собственного народа, а тех редких, которые знают и пытаются правдиво ее изобразить, власти преследуют, обвиняют в пособничестве иностранным разведкам и наказывают иногда даже очень жестоко.

В Советском Союзе есть много всяких секретов, но, как я уж сказал, главной и тщательно оберегаемой тайной этого государства является реальная, повседневная жизнь советских людей.

Раскрытию этой тайны и посвящена моя книга.

Я беру разные стороны советской жизни, рассматриваю их под разными углами зрения, рассказываю истории из жизни разных людей — крестьян, рабочих, военных, партийных бюрократов от низших до высших, писателей — и из своей собственной жизни. Из всех этих кусочков, которые я называю картинками советской жизни, кажется мне, должна сложиться общая цельная картина.

Понятия «советский народ» или «советские люди», произведенные от формы правления, выглядят несколько противоестественно. Так же противоестественно было бы назвать какой-нибудь народ монархическим или парламентским или все народы стран общего рынка объединить названием общерыночного народа. Но все же я часто пользуюсь прилагательным «советский», потому что другого общего названия для населяющих СССР людей самых разных национальностей не знаю. А оно необходимо, потому что действующие на протяжении жизни вот уже нескольких поколений общие законы, правила поведения и условия существования, не уничтожая полностью национальных различий, вырабатывают общие для всех традиции и привычки. Никакого отрицательного смысла в слово «советский» в данном случае я не вкладываю. Среди советских людей, как и среди

всяких других, есть много умных, глупых, талантливых, бездарных, благородных и негодяев. Но попробуйте посадить в одну и ту же тюремную камеру русского, американца, эскимоса и тайландца, продержите их в этой камере достаточное количество лет и вы увидите, что у всех у них, при всех их национальных и личностных различиях, появятся одни и те же наклонности и привычки, они все будут писать мелким почерком, неприязненно относиться к яркому солнечному свету и все будут страдать клаустрофобией. А если в этой же камере вырастут их дети и внуки, то они уже с самого раннего детства научатся обманывать надзирателей, прятать мелкие вещи в складках одежды, а хлеб — под подушкой и, даже выпущенные на волю и в благополучную жизнь, еще очень долго будут сохранять эти привычки и, может быть, передавать их по наследству.

Я уклоняюсь от употребления модного ныне термина «гомо советикус», потому что считаю его крайне неправильным и несправедливым. Это презренное существо, которое обладает двойным или даже тройным сознанием (думает одно, говорит другое и делает третье), в Советском Союзе, конечно, водится, но и среди западных людей его можно встретить довольно часто. Впрочем, об этом где-нибудь ниже.

Молоткастый-серпастый

Поговорим сначала о советском паспорте. Помните, у Маяковского: «Я достаю из широких штанин дубликатом бесценного груза. Читайте, завидуйте, я — гражданин Советского Союза!»

Сказано, конечно, здорово. Сильно. Но насчет того, чтобы завидовать, это, пожалуй, слишком.

Помню, путешествовали мы как-то с женой летом на «Запорожце». Не на том горбатом, который, по уверению остряков, от собак на деревья залезал, как кошка, а на Запорожце-968», более новой конструкции. Он, конечно, покрасивее был старого, но и покапризнее. Глох в самых неудачных местах. То во время обгона на узкой дороге, то на железнодорожном переезде. Но тем не менее мы на нем всю Прибалтику исколесили.

Обратно через Минск возвращались. Решили там отдохнуть. Сунулись в одну из центральных гостиниц. И тут стихи Маяковского мне сразу припомнились. «К одним паспортам улыбка у рта, к другим отношение плевое. С почтеньем берут, например, паспорта с двуспальным английским левою». К датчанам и разным прочим шведам относятся тоже неплохо, а вот на польский, точно по Маяковскому, глядят, действительно, как в афишу коза. Ну, а что касается советского паспорта,



то к нему, молоткастому-серпастому, отношение и правда самое плевое. Опытный гражданин с этой краснокожей паспортной окошечку даже и не сунется, он заранее знает, куда его с этим документом пошлют.

Один неопытный как раз передо мной стоял в очереди. Ему говорят: «Мест нет, ожидаем западных немцев». Вылез гражданин несолоно нахлебавши из очереди и говорит мне — шепотом, разумеется: «Я, — говорит, — здесь в Минске во время немецкой оккупации был и на этой же гостинице было написано: «Только для немцев». И сейчас, выходит, только для немцев. Кто ж кого победил?»

Ну, я-то был поопытнее этого гражданина, я знал, что и с советским паспортом тоже можно устроиться, если к нему есть необходимое дополнение. Допустим, если в него вложить соответствующий денежный знак. Тут тоже надо иметь большой такт: правильно оценить класс гостиницы, время года, личные запросы администратора и положить так, чтоб было не слишком много, но достаточно. Много дашь — себя обидишь, мало дашь — администратор обидится, и скандал подымет, и в попытке всучения взятки обвинит. Так что с денежными знаками надо очень осмотрительно обращаться. Да и вообще давать взятки — это не каждый умеет. А вот если у вас есть какая-нибудь такая маленькая книжечка, да еще красного цвета — это совсем другое. В этом смысле хорошо быть Героем Советского Союза, депутатом или лауреатом. К книжечке с надписью «Комитет государственной безопасности» тоже улыбка у рта, как к английскому леве. Хорошо иметь журналистское удостоверение. Особенно от журнала «Крокодил». Удостоверение Союза писателей в списках особо важных не значит, но действует. Администраторы гостиниц пишущих людей опасаются.

В Минске, стало быть, как дошла моя очередь, я паспорт в окошко сунул, а сверху писательское удостоверение. И во избежание недоразумения сразу представился: «Писатель из Москвы, прибыл в сопровождении жены со специальным заданием». Старший администратор в восторге, средний администратор тоже. Тут же предложили мне лучший номер, а для машины охраняемую стоянку. А вот когда пропуск на машину выписывали, тут у меня небольшая промашка вышла. Спросил администратор и записал сначала номер моей машины, а потом — какой

она марки. А я по свойственному мне простодушию говорю: «Запорожец». Администратор даже вздрогнул от нанесенного ему оскорбления, вижу, рука у него застыла, само слово это «Запорожец» выводить не хочет.

Жена поняла мою оплошность и, прикинув к окошку: «Новый, — кричит, — «Запорожец», новый!»

А администратору, конечно, все равно, старый у меня «Запорожец» или новый, все равно консервная банка, хотя и подлиннее. Уж кто-кто, а администратор хорошей гостиницы знает, что настоящие важные люди меньше, чем на «Жигулях», не ездят.

Я потом из этого случая урок извлек и в следующие разы на вопрос, какая у меня машина, отвечал загадочно: «Иномарка». А тут, конечно, номер нам с женой уже был выписан, и никуда не денешься, но администратор смотрел на меня волком, пока я, как бы извиняясь за свой «Запорожец», не подарил ему пачку венгерских фломастеров.

Тут и другая тема сама собой возникает: об отношении разных представителей власти к маркам автомобилей. Каждый милиционер знает, что с водителя «Запорожца» можно содрать рубль всегда, даже если он ничего не нарушил. С водителем «Жигулей» надо обращаться повежливей, владелец «Волги» может оказаться довольно важной персоной, его лучше и вовсе не трогать. А уж «Чайкам» и «Зилам» надо честь отдавать независимо от того, кто в них сидит. Впрочем, о машинах как-нибудь в другой раз. Вернемся к нашей теме о паспорте.

Есть у меня один знакомый. Американец. Профессор. По фамилии, представьте себе, Рабинович. Так вот этот самый Рабинович, который профессор, жил, значит, короткое время в Москве, в гостинице «Россия». А его дружки, тоже американцы, поселились в то же самое время в гостинице «Метрополь». Этот профессор, который Рабинович, решил зачем-то их навестить. Явился в гостиницу «Метрополь» и прошел к своим дружкам безо всяких препятствий. Ну, посидели они, как водится, выпили джин или виски, само собой, без закуски, почесали языками, да и пора расходиться. Откланялся Рабинович, выходит из гостиницы «Метрополь», за угол к площади Дзержинского заворачивает. Тут его двое молодцов, не говоря худого слова, хватают, руки за спину крутят и запихивают в серый автомобиль.

— Что? — кричит Рабинович. — Кто вы такие и по какому праву?

— А вот это мы тебе скоро как раз и объясним, — обещают молодцы многозначительно.

Везут, однако, не в КГБ, а в милицию. Волокут в отделение и прямо к начальнику. Докладывают: «Так мол и так, захвачен доставленный гражданин с поличным при посещении в гостинице «Метрополь» американских туристов».

— Ага, — говорит начальник и вперяет свой взор в Рабиновича. — Как твоя фамилия?

Рабинович говорит: «Рабинович». Само собой, от подобного обращения немного струхнув.

— Ах, Рабинович! — говорит начальник, довольный не столько тем, что еврейская, а тем, что простая фамилия. Такая же простая, как Иванов.

— Да ты что, — говорит, — Рабинович! Да кто тебе разрешил Рабинович? Да я тебя, Рабинович!

И руками машет чуть ли не в морду. Потом все же гнев свой усмирил и прежде, чем в морду захватить: «Паспорт, — говорит, — предъяви!»

Рабинович сам не свой, руки дрожат — достает из очень широких штанин, но не красную, а синезожую паспортину. А на ней никаких тебе молотков, никаких таких сельскохозяйственных орудий, а такая, знаете ли, золотом тисненая птица, вроде орла.

Начальник взял это в руки, ну точно, по Маяковскому, как бомбу, как ежа, как бритву обоюдоострую. И само собой, как гремучую в двадцать жал, змею двухметроворостую.

— А, так вы, стало быть Рабинович, — говорит начальник и сам начинает синеть под цвет американского паспорта. — Господин Рабинович! — делает он ударение на слове «господин» и краснеет под цвет советского паспорта. — Извините, — говорит, — господин Рабинович, ошибка произошла, господин Рабинович, мы, господин, Рабинович, думали, что вы наш Рабинович.

Опомнился Рабинович, взял свой паспорт обратно.

— Нет, — говорит с облегчением. — Слава Богу, я не ваш Рабинович. Я — их Рабинович.

Советский паспорт, советское гражданство... Сколько возвышенных слов сочинено о том, какая честь быть гражданином СССР. Честь, конечно, большая, но туго приходится тем, кто пытается от нее отказаться. В совет-

ских тюрьмах и лагерях помимо действительных преступников, которые, кстати, тоже имеют честь быть гражданами СССР, есть и узники совести, а среди них те, кто хотел отказаться от этой чести, кто просил лишить его звания гражданина СССР. В этом отказе и состоит их преступление. Мой знакомый, писатель Гелий Снегирев в середине 70-х годов послал свой паспорт тогдашнему главе государства Брежневу и написал, что отказывается от звания советского гражданина. За это тяжело больной Снегирев был арестован, замучен и умер в тюремной больнице.

На Западе есть миллионы бывших советских граждан, которые много лет назад по своей или не своей воле оказались за пределами своего отечества. Не буду сейчас касаться темы, почему так много оказалось их на Западе, почему мало кто захотел вернуться. Многие из оставшихся уже состарились, у них здесь родились дети и внуки, сами они давно пользуются паспортами тех стран, в которых живут, некоторые и по-русски говорить разучились. А советское государство их считает своими гражданами, несмотря на их письма, заявления и протесты. Для чего? Для того, чтобы наказать при случае по всей строгости советских законов как своих собственных граждан. Не делая большого различия между теми, кто действительно когда-то совершал преступления, и теми, кто всего лишь не хотел быть гражданином страны Советов.

И в то же время советские власти лишение гражданства применяют как меру наказания чаще всего к деятелям искусства и литературы. Напомню, что этому наказанию были подвергнуты такие знаменитые на весь мир люди, которыми могла бы гордиться любая страна. К лишению гражданства эти люди, любящие свою родину и свой народ, отнеслись с болью и негодованием. А иногда это повод для горьких шуток. Один из лишенных гражданства, которому завидуют другие, желающие быть лишенными, вырезал из газеты указ Президиума Верховного Совета СССР, заключил его в рамку и повесил на стену. И приходящим к нему гостям говорит:

— Читайте, завидуйте, я — не гражданин Советского Союза.

Хлеб наш насущный

Довольно много пишут сейчас в советской прессе о хлебе. Не надо его есть слишком много, будете толстым.

Впрочем, и мясо, говорят, чересчур потреблять не следует, и тоже во избежание полноты. Хотя волки, скажем, мясо едят, а особо толстыми не бывают. Впрочем, волки едят по-дикому, не научно. А у нас все на научную ногу крепко поставлено. И как только нехватка того или иного продукта возникает, тут же находятся доктора соответствующих наук, которые пишут в центральной печати большие научные статьи, что вредно кушать то, чего нет. С чем, понятно, трудно не согласиться.

В одной советской газете я читал об искусном поваре, который готовит пятьсот блюд из картофеля. Это, конечно, если есть картофель (я помню, даже в Москве и с картофелем перебой бывали). Пятьсот блюд это, надо прямо сказать, немало. Я, как ни ломал голову, больше пятнадцати придумать не сумел. А если этот повар такой изобретательный, что придумал пятьсот, то я могу ему предложить пятьсот первое.

Во время войны наша семья жила некоторое время под городом Куйбышевым. Лето 43-го года было еще ничего, а с осени пошло к худшему. В нашей семье было трое рабочих, которые работали на военном заводе и получали пайки по семьсот граммов хлеба, тетка, служащая, получала то ли пятьсот, то ли четыреста граммов (точно не помню), и мы с бабушкой, иждивенцы, по двести пятьдесят. И толстыми не были.

С нами жил еще кролик, которого мы приобрели, чтобы потом съесть, но потом (так у нас всегда было с нашими животными) мы с ним так сжились, так его полюбили, что убить его было просто невозможно. Так вот мы совсем не были толстыми. И даже наоборот, изо дня в день худели более интенсивно, чем при соблюдении самой строгой современной диеты. И кролик наш тощал вместе с нами. А потом, когда наступила совсем уж полная голодуха, кролик этот от нас сбежал, видно, предпочтя быструю смерть от руки решительного человека медленной голодной смерти вместе с такими гуманистами, как мы. Правду сказать, пока этот кролик был с нами, мы его порядочно объедали, а когда пропал, спекулировали его честным именем. Дело в том, что я ходил к расположенным рядом с нами солдатам и на кухне просил картофельные очистки «для кролика». И солдаты все удивлялись: «Что это ваш кролик так много ест?» Они не знали, что у кролика было шесть нахлебников. Если бы мы не стеснялись и попросили картошку, солдаты вряд

ли бы нам отказали, потому что у них ее было много, чистили они ее неэкономно. Из этих толстых очисток мы пекли на каком-то чуть ли не машинном масле блины. И они мне тогда казались безумно вкусными. Так что искусному повару я мог бы предложить и это пятьсот первое блюдо на всякий случай.

Но вернемся, однако, к хлебу. Время от времени вся советская печать буквально захлестывается научными статьями, публицистическими выступлениями, фельетонами, стихами, поэмами и даже романами о хлебе.

В самом деле. Слово «хлеб» говорит нашему уху и сердцу гораздо больше, чем название любой другой пищи. Хлеб содержит все необходимые для поддержания жизни компоненты: белки, углеводы и прочее. Если у человека есть хлеб, его уже нельзя считать голодным. Даже в молитве человек прежде всего просит у Бога: «Хлеб наш насущный даждь нам днесь». Почти все мы, выросшие в условиях советской действительности, пережили в раннем или не раннем возрасте войну, голод и привыкли относиться к хлебу чуть ли не свято. Несмотря на недостаток мяса, никто вас не осудит, если вы выкинете в мусорный ящик протухшую котлету, но кусок хлеба...

Сколько читал я гневных строк в стихах и в прозе о людях, которые забыли войну и блокаду Ленинграда и швыряют хлеб в мусопровод буханками. Я думаю, стихов об этом гораздо больше, чем самих подобных поступков.

Но если бы речь шла только о буханках! Печать и гневно, и лирически, и романтически призывает народ беречь и использовать каждый кусочек, каждую корку, каждую крошку. Уронил кусок на пол, подуи на него, поплюй, съешь. Засох этот кусок, не по зубам, размочи в воде, съешь. А если даже и позеленел, то ведь тоже надо помнить, что в плесени содержится пенициллин.

Прочел я однажды в «Неделе», что в каком-то районе города Киева приняты серьезные меры. В магазинах не только развешаны рекомендации по приготовлению блюд из черствого хлеба (сами эти рекомендации достойны отдельной поэмы), но и сбор крошек организован.

Да что же это такое, товарищи? Ну, бережное отношение к хлебу, конечно, необходимо, но не подбирать же всякий кусок, на который случайно ногой наступил, не склевывать же каждую крошку, которая под стол залетела. Не воробы же мы, в конце концов, не кусочники, не крохоборы! И зачем же нас столько лет попрекать

войной и ленинградской блокадой? Уже поселили и облысели люди, которые родились после войны и тем более после блокады.

В Советском Союзе ежедневно показывают по телевизору тружеников села, комбайнеров и трактористов с покрытыми пылью лицами, которые ведут битву за урожай. А я живу уже четвертый год на Западе и никаких особых сражений и битв за урожай здесь не замечаю. Никаких комбайнов и трактористов по телевизору не разу не видел, в газетах призывов подбирать крошки не нахожу, а в магазинах всего полно.

А куда ж наш-то хлеб девается при таких гигантских усилиях?

Вот, говорят, есть еще несознательные граждане, которые кормят хлебом свиней. Об этих свинодержателях и в газетах пишут, и даже в тюрьму их нет-нет да сажают!

Кстати, насчет свиней. Как-то лет десять тому назад провел я месяц в городе Клинцы Смоленской области. Ну и, понятно, посещал иногда местные продуктовые магазины. Нормального мяса там, конечно, не было. И колбасу с зеленым отливом можно было достать только по праздникам. Зато в изобилии были свиные хвосты и копыта. Из них местные жители варили холодец.

Некоторые критиканы, конечно, и здесь находились, ругались, что их кормят только копытами и хвостами. Другие, благоразумные, говорили: зажрались. И опять поминали войну и блокаду. А я, не поддерживая ни тех, ни других, думал: откуда же столько хвостов и копыт? И куда делось то, на чем они произрастали, то есть сами свиньи? Ну, конечно, Клинцы — город советский. И райком, и райисполком в нем имеются. Но не могли же ответственные работники, сколько бы их ни было, слопать всех этих свиней, оставив неответственному населению только хвосты и копыта! Тем более, что район в общем-то сельскохозяйственный, и свиней в нем при всех условиях должно быть больше, чем руководящих товарищей.

А в другом городе, где уже не было ни хвостов, ни копыт и с хлебом перебой, я и вовсе задумался. Хлеба нет, это понятно, его свиньи съедают. А где же все-таки сами свиньи?

И только уже потом, в Москве, меня надоумили. Вез я как-то в троллейбусе кошку к ветеринару. И сам вел себя тихо, и кошка никому не мешала. Так одна агрессив-

ная старушка напала на меня самым зверским образом. «Вот, — говорит, — почему мяса нет, потому что всякие несознательные люди собак и кошек разводят». И другие пассажиры ее весьма решительно поддержали. Я даже забеспокоился, как бы они моей кошке суд Линча не устроили. Да и мне заодно. Подальше от греха, вылез я из троллейбуса и пошел пешком не к доктору, а домой. С кошкой на руках. Дома поругался с женой из-за несделанной кошке прививки и вовсе расстроился. Расстроившись, выпил, конечно, водки. Водка, само собой, дрянь, сучок, сделана из опилок, потому что, если уж свиньям нельзя хлеб скармливать, то не переводить же его на водку. Водку, значит, выпил, стал искать, чем загрызть. Хлеба нет, свиньи сожрали. Свинины нет, кошка съела. Взял огурец, его ни свинья, ни кошка есть не станут, потому что соленый. А кошка под ногами мяучит, есть просит. Налил ей молока, хорошо, старуха из троллейбуса не видит. Сам выпил еще сучка, снял с полки книгу предреволюционного писателя Власа Дорошевича, лег на диван, стал читать. Пишет Дорошевич, как Шаляпин выступал в Италии, а итальянские газеты писали, что возить в Италию певцов из России такая же дикость, как ввозить в Россию пшеницу. Я подумал, надо же! Неужели ввозить в Россию пшеницу действительно казалось тогда диким? А потом подумал: а ведь и правда дико. Ведь Россия, или точнее Советский Союз, такая огромная страна, в ней есть земли и засушливые, и болотистые, и промерзшие, но есть неплохие, хорошие и даже отличные. Ну, и климат. В сочетании с колхозной системой он, конечно, ужасен. Но сам по себе он местами суровый, а местами вполне неплохой. И пищи на этих землях и при этом климате можно выращивать столько, чтобы хватало и для нас, и для свиней, и для кошек.

Конечно, даже и в изобилии хлеб беречь надо как всякий продукт человеческого труда. Но не настолько, чтобы готовить специальные блюда из засохших корок, подбирать крошки или уроненный на пол кусок. Пусть его съест свинья. Не такое уж это кошунство, если помнить, что мы сами эту свинью съедаем. Когда удастся ее достать.

Елки-палки

(о гибели южнокорейского самолета)

«Елки-палки! — воскликнул по радио советский летчик, беря на мушку чужой авиалайнер. — Я иду, значит, а у меня З. Г. горит уже».

Потом переводчики в ООН долго ломали голову, при чем тут елки и при чем тут палки, которые находились на десять тысяч метров ниже происходившего.

Я не знаю, что означает «З. Г. — Запас горючего или Заряд готов»*. Я знаю только, что словами «елки-палки» обычно выражают волнение, восхищение, досаду и беспокойство. Есть для этого и другие слова, которые часто употребляются в обычной жизни, но произносить их по радио категорически запрещено. Даже расстреливая пассажирский самолет, следует выражаться культурно. В крайнем случае можно использовать эвфемизмы, то есть заменять слова неприличные приличными, но близкими по смыслу.

Деспотические режимы всегда отличаются своим неприятием грубых слов и выражений, невероятная жестокость всегда сопровождается словесным ханжеством. В устах нацистов уничтожение миллионов евреев называлось «окончательным решением еврейского вопроса». В СССР массовые репрессии назывались «коллективизацией» или «борьбой с оппозицией», а потом «ошибками культа личности». агрессия против других стран называется и вовсе возвышенно «оказанием братской помощи».

Когда в 1971 году погибли три советских космонавта, диктор телевидения вместо того, чтобы сказать: «Дорогие товарищи, у нас стряслась беда», торжественным, как всегда, тоном сообщил, что полет космического корабля успешно завершён, во время полета были достигнуты такие-то и такие-то успехи, своевременно были включены тормозные двигатели, корабль вошел в плотные слои атмосферы, совершил мягкую посадку в точно заданном районе, космонавты были найдены на своих местах... — тут диктор сменил тон с торжественно-триумфального на торжественно-печальный и закончил фразу... — «без признаков жизни». Все было прекрасно, только каких-то признаков не оказалось.

Вот так же и в случае с корейским самолетом. Что бы

* Впоследствии автор узнал, что З. Г. означает «Захват головок» (Здесь и дальше — сноски автора).

сказать попросту: самолет был сбит. Так нет, ушел в сторону Японского моря. И только под сильным давлением появилась новая формулировка о принятии мер по пресечению полета. Полет был пресечен, самолет ушел в сторону Японского моря. Море это, между прочим, было внизу, вот туда, вниз, самолет и ушел. Крупнейший в мире красавец-лайнер кувыркался беспомощно, как осенний лист. Пассажиры вылетали из сидений, бились о потолок, о спинки кресел и друг о друга. Душераздирающий крик двух с лишним сотен людей не был зарегистрирован наземными службами, но его нетрудно вообразить. Наземные же службы слышали только голос советского летчика, который — елки-палки! — волновался, что ему не хватит керосина дотянуть до аэродрома.

Несколько слов в защиту советского летчика. Говорят, что он не мог ошибиться, не мог спутать пассажирский самолет с разведывательным, «Боинг 747» с «Боингом 707», тем более, что надпись на борту была соответствующая. Все эти доказательства ничего не стоят. Может быть, советский летчик и видел когда-нибудь на картинке «Боинг 747», а может, и нет. И одно дело на картинке, а другое — живьем. А то, что написано «Корейские авиалинии», так написать можно все, что угодно. На советских шпионских грузовиках, которые колятся по всей Европе, тоже написано «Совавтотранс».

Все советские люди, а уж военные тем более, воспитываются в обстановке шпиономании, всем им внушают, что почти каждый иностранец — шпион, и рассказывают ужасы о кознях иностранных разведок. Когда я был солдатом, нам рассказывали историю (и она даже была напечатана в нашем учебнике) о собаке, которая бегала по военному аэродрому, а потом выяснилось, что вместо одного глаза у нее вставлен фотоаппарат. А в Польше нам внушали, что ни в коем случае ни в какие контакты нельзя вступать с местным населением, что все польские девушки работают на американскую разведку. А еще рассказывали историю, как какой-то недостаточно бдительный офицер помог польской женщине поднять в вагон чемодан и на другой день в западных газетах появилась фотография с объяснением, что здесь изображены советские войска, отправляющие поляков в Сибирь.

Запуганный советский обыватель готов заподозрить

шпиона в каждом человеке в темных очках, с фотоаппаратом или тем более с биноклем. В Москве моего соседа, писателя, который диктовал свои рассказы на магнитофон во время прогулок по парку, постоянно задерживали по подозрению, что он при помощи передатчика выходит на связь со своим шпионским центром.

В 60-е годы советские газеты писали о каком-то старике, который, закаляясь, ходил зимой по снегу босиком и в трусах. Таким образом он намеревался укрепить свое здоровье и продлить жизнь, что ему, однако, не удалось. Как-то в трусах и босой он заблудился в лесу и очутился у некоего военного объекта. Часовой, увидев такого странного человека, сразу подумал: елки-палки, шпион. Правда, он сначала пытался старика задержать и застрелил его только после того, как старик с перепугу кинулся наутек. И газеты, столь усердно рекламировавшие образ жизни старика, об этой его последней прогулке, конечно, не сообщили ни слова.

В 1964 году мне довелось побывать на острове Сахалин. Как раз перед моим прилетом там разбился пассажирский самолет ИЛ-18, о чем в газетах, разумеется, не сообщалось. Самолет упал на сопку, и трупы пассажиров были раскиданы по ее склону. Когда мой приятель пытался сфотографировать эту сопку (а вовсе не трупы), бдительные граждане чуть не разбили фотоаппарат об его голову.

На Сахалине я выступал с литературными лекциями во многих воинских частях, возможно, и в той, где сейчас служит майор, сбивший корейский «Боинг». И вот один летчик, тоже майор (может быть, теперь он уже дослужился до генерала), рассказывал мне, как с двумя своими товарищами был в Москве и как у Центрального телеграфа они заметили иностранца, который их — елки-палки! — фотографировал. Они его, конечно, схватили, аппарат вырвали, пленку засветили, а самого фотографа доставили в милицию.

— Зачем вы это сделали? — спросил я майора.

— А ты не понимаешь? — спросил он меня.

— Нет, не понимаю.

— Но мы же были в форме, а он нас фотографировал.

— Ну и что? Что он этими фотографиями мог сделать?

— А ты не понимаешь?

— Не понимаю.

— А если бы он их в газете напечатал?

— Ну, допустим, — сказал я, — даже бы напечатал. И допустим, даже иностранный читатель узнал, что однажды у Центрального телеграфа стояли три офицера. Что из этого?

— А ты не понимаешь?

Я, конечно, не понимал. Я и сейчас не понимаю. И понять это вообще невозможно без психиатра, но майор, хотя и не мог объяснить мне причину своего беспокойства, остался при своем мнении, если считать мнением то, чего нельзя выразить словами.

Представим себе такого майора, который испугался иностранного туриста с фотоаппаратом. Чего можно от него ожидать, если, поднявшись по приказу ночью на высоту десять километров, он видит перед собой огромную махину с ненашими буквами на борту? Елки-палки! Да откуда ему было знать, что это просто пассажирский самолет, который заблудился? И кроме того, он человек военный, его дело выполнять приказы, а не рассуждать. И как поется в песне: «А если что не так, не наше дело, как говорится, родина велела».

В гибели авиалайнера виновны многие. И сам корейский летчик, совершивший роковую ошибку, и те наземные службы, американские и японские, которые не уследили за сбившимся с пути самолетом, ну и, конечно, тот советский генерал, который, тоже воспитанный в духе шпиономании, отдал приказ открыть огонь. В ряду виновных советского летчика я бы поставил на самое последнее место. Он всего лишь выполнял приказ.

И все-таки...

В 45-м году американский майор Клод Изерли, выполняя приказ своего командования, был среди тех, кто сбросил атомную бомбу на Хиросиму. Эта бомба была одной из двух, решивших исход войны. Если бы не эти бомбы, сопротивление Японии могло затянуться и количество жертв было бы еще больше. Так что стратегически и арифметически все было правильно. А то, что в результате взрыва погибли тысячи ни в чем неповинных людей — что тут поделать? Война есть война, а бомба правых и виноватых не различает (конечно, было бы справедливее, если бы она уничтожила выборочно только японских генералов).

Все правильно. Но совесть Изерли не посчиталась ни с логикой, ни со стратегией, ни с арифметикой. Когда лет-

чик узнал, что именно произошло внизу после того, как была нажата кнопка, он сошел с ума*.

А что же советский майор? Мучает ли его совесть, когда он, может быть, узнает, что у берегов Японии выловлен обезглавленный труп ребенка? И труп женщины тоже без головы. И еще какой-то труп без головы, без рук, без ног. И просто кусок человеческого мяса, вымоченного в морской воде.

Ведь на земле майор, я думаю, обыкновенный мирный человек. Читает газеты, ходит с женой в офицерский клуб, помогает детям по арифметике или берет их с собой на рыбалку. Ведь не бандит какой-то. Ведь не стреляет ночью во встреченного на улице заблудшего прохожего и не пыряет его ножом.

Но как бы мне ни хотелось его оправдать, я бы все же спросил: «Елки-палки, майор! Неужели под охраняемым тобою небом ты спишь спокойно и тебе никогда не снится обезглавленный тобою ребенок?»

Кое-что

о священных коровах

Советское гражданство, рубежи нашей Родины — довольно много подобных слов и понятий считаются у нас священными. Давайте поговорим немного о них. Я в этом деле вроде даже как специалист. Меня в одной американской газете назвали как-то «The kicker of sacred cows» — если прямо перевести на русский, то придется употребить несколько необычное слово «лягатель» или что ли «пинатель» священных коров. И я, честно говоря, таким званием не только не был смущен, а напротив, очень даже доволен. Потому что в нашем языке (я имею в виду не просто русский, но советский официальный язык) эпитет «священный» прилагается слишком часто даже к вещам, которые священными называть вовсе не обязательно.

Взять хотя бы те же «священные границы». Границы эти священны и нерушимы, нельзя их пересекать ни с той стороны, ни с этой. Вот и пример с корейским самолетом

* О сумасшествии Изерли я написал, заверившись советским источником. Но после публикации этой статьи по-английски, я получил письмо от одного американского читателя, который сообщил мне, что Клод Изерли с ума не сходил (а жаль), но, благополучно закончив военную службу, занялся торговлей подержанными автомобилями.

был совершенно наглядный. И так этим священным у нас у всех головы задурены, что мы даже не знаем сами, что мелем. Читал я недавно репортаж о том, как два воздушных пирата собирались священные границы нарушить. В то время, как один держал на коленях бомбу, другой приказал пилоту ТУ-134 лететь в Швецию. А тот, разумеется, сел в Ленинграде. И пиратов этих, не успели опомниться, тут же перестреляли. И что сказали пассажиры после такого вот случая? Кто-то из них сказал (и, я верю, вполне искренне): «Спасибо экипажу, который спас нам жизнь». Да разве он спас? Он подвергал их жизни опасности и вовсе не из беспокойства за их благополучие, но исключительно опасаясь, что эти самые пираты действительно сбегут на Запад, а у самого экипажа будут серьезные неприятности. Я сейчас оставляю в стороне важную тему, почему вообще люди в Швецию или еще куда-то бегут. Почему они не могут, скажем, просто купить билет и полететь туда, не угрожая ни себе, ни другим, или пересечь эти священные рубежи пешком, с обычным рюкзаком за плечами. Здесь, например, на Западе, переходить священные рубежи совсем просто, надо только показать паспорт. А однажды, пересекая границу между Францией и Швейцарией во время очень важного футбольного матча, я вообще у пограничной будки никого не обнаружил. Я даже остановился и вышел из машины, надеясь найти какое-нибудь вооруженное лицо, чтобы оно проверило у меня документы и удостоверилось, что я не так просто, а самым законным образом пересекаю эти священные рубежи. Но не найдя никого, махнул рукой, сел в машину и двинулся дальше.

Так пересекают рубежи в западных странах. Впрочем, внутри Советского Союза границы между республиками пересекаются тоже без всяких препятствий. Но не всегда. Как-то на своих «Жигулях» пытался я проникнуть на территорию РСФСР из Донецкой области, которая находится, как известно, на Украине. Меня остановили, заставили открыть багажник и тщательно его осмотрели. И что, вы думаете, они искали? Нет, не динамит, не наркотики и даже в данном случае не запрещенную литературу. Искали колбасу, которую жители Ростова возили из лучше снабжаемого Донецка. Но я хотел сказать не об этом. Я хотел сказать, что не ко всяким понятиям следует применять прилагательное «священный» и вообще чем реже употреблять это слово, тем лучше.

В разных странах есть символы и реликвии, которые принадлежат к числу почитаемых. Например, в Англии с большим почтением относятся к отечественной монархии и к монархам. Правда, сами англичане чаще всего говорят о своих чувствах с юмором. Они не утверждают, что английская монархия является самым передовым в мире политическим строем. Они говорят обычно: «Да, мы не против монархии, мы к ней привыкли, она к нам привыкла, она нам в общем-то не мешает».

Году в 70-м один английский студент рассказывал мне, как к ним в Оксфордский университет приезжал советский литературовед профессор Машинский. Выступая перед оксфордской аудиторией, профессор рассказывал студентам, как живут советские писатели, как работают, какими немислимыми правами по сравнению с западными коллегами пользуются. Советская литература, утверждал он, не только самая великая, но и самая свободная в мире. И тогда студент, который рассказывал мне эту историю, поднял руку и задал вопрос:

— Если ваша литература самая свободная, то почему у вас писатели Синьявский и Даниэль сидят на тюрьма?

Профессор снисходительно улыбнулся, давая понять, что студент еще молод и зелен, и ему следует кое-что объяснить.

— Дело в том, — сказал профессор, — что Синьявский и Даниэль в своих произведениях оскорбляли Ленина. А Ленин у нас — имя священное. В каждой стране есть, и это естественно, свои священные символы и понятия, которые нельзя оскорблять. В одних странах это флаг, в других герб, а у вас, например, нельзя оскорблять королеву.

— У нас нэльзя оскорблять королеву? — переспросил студент. — Я хочу привести этот старый корова сюда, поставить к стенка и немедленно расстрелять. — Студент выдержал паузу и сказал: — Ну что, вы видите тут польция? Кто меня хватает за рука?

Пересказывая мне эту историю, студент сказал, что, конечно, он вовсе не считает королеву старой коровой. Она обаятельная женщина, и он любит ее, как почти все англичане. Но он самым наглядным образом продемонстрировал этому профессору не только реальность свободы слова, существующей в демократической стране, но и терпимость властей и аудитории.

У нас, например, о наших вождях можно сказать все,

что угодно, если представить себе невозможное: что в аудитории нет ни одного стукача. Но в сталинские времена сказать такое, например, о Сталине в любой аудитории... Да сама аудитория человека разорвала бы, не дожидаясь товарищей из органов госбезопасности. Потому что имя Сталина, как и Ленина, было священно.

Священные слова. Священные границы, могилы, имена, понятия, камни, знамена.

Советские власти, как только могут, эксплуатируют само слово «священный», взятое из церковного обихода. Пытаются отменить религиозные обряды и ритуалы, подменяя крест серпом и молотом.

Молодожены в подвенечных одеждах после дворца бракосочетания, где под портретом Ленина им сказали напутственные слова, едут на могилу Неизвестного солдата. Какая дикая смесь религиозного и атеистического и сколько во всем этом ханжества и даже кощунства! Эти молодожены отдают дань не солдату, а варварству и милитаристской пропаганде. Насаждая этот новый ритуал, власти бессовестно эксплуатируют душевную потребность людей хранить память о погибших и умерших. Каждому из нас дороги наши близкие, которых мы потеряли на войне или в лагерях. У каждого есть родственники, не только погибшие на Курской дуге или на Эльбе, но и похороненные где-нибудь у берегов Колымы или Печоры. И если уж отдавать дань, то хорошо бы не только Неизвестному солдату, но и Неизвестному заключенному. Он тоже не заслужил нашего забвения.

Повторяю, нам всем дороги наши близкие, которых уже нет между нами. И не только погибшие с автоматом или с киркой в руках, но и просто умершие от болезни, от старости, от несчастного случая. Но приходиться на могилы не обязательно в день свадьбы. Есть для этого годовщины смерти, в некоторых странах дни поминовения или, как принято в России, на Пасху. Ведь вступая в брак, люди не воинскую присягу принимают, а собираются жить и растить детей.

С возведением вещей в ранг священных мы вообще уже потеряли всякую меру. Например, спасение чего-нибудь. Благородно, когда человек человека спасает и ради жизни другого рискует своей собственной жизнью. Однако советская пропаганда поощряет людей не только рисковать, но и жертвовать собой, проявляя героизм при спасении, например, социалистического имущества. В дан-

ном случае прилагательное другое, но употребляется в торжественном смысле и легко заменяется на слово «священный».

Сколько написано всякой всячины о людях, жертвовавших собой ради спасения социалистического имущества, которым может быть названо все, что угодно: сельскохозяйственный инвентарь, портянки или запасы стирального мыла.

Или еще один священный ритуал. В разных воинских частях Советского Союза на вечерней поверке выкликается какое-то имя и правофланговый заученно отвечает: «Рядовой или сержант такой-то погиб при выполнении боевого задания». Или даже: «Погиб при спасении знамени». И сами эти ритуалы поощряют гибнуть не только ради спасения родины, свободы или людей. Но и ради вещей, которые при любом самом сентиментальном к ним отношении не заслуживают того, чтобы за них гибли.

Взять хотя бы то же знамя. Конечно, это реликвия. И может быть, даже очень ценная. Но когда речь идет о выборе, пропасть ли знамени или одной человеческой жизни, надо все же помнить, что, овеянное славой минувших сражений, оно все-таки только кусок материи, надетой на палку. И жертвовать ради него своей жизнью просто глупо. Потому что, как бы ни были священны те или иные реликвии, на свете нет ничего священнее человеческой жизни.

Без ленинской партии

Если бы кто-нибудь когда-нибудь мне сказал, что я буду жить в немецкой деревне и соседям говорить не «здравствуйте», «спасибо» и «до свидания», а «гутен таг», «данке шон» и «ауф видерзейн», я бы в это ни за что в жизни не поверил.

А вот так случилось. Деревня наша под Мюнхеном называется Штокдорф. Шток по-немецки — палка. Дорф — деревня. Мы эту дееревню называем Палкино, а наши друзья в Москве прозвали ее Перепалкино, по созвучию с писательским поселком под Москвой, который называется Переделкино.

В этом нашем Палкине-Перепалкине живут, в основном, конечно, немцы. Но не только. Прямо напротив нас живет Настя, бывшая колхозница из-под Харькова. Во время войны ее, тогда молодую девушку, немцы угнали в Германию. После войны домой не вернулась. Здесь ей

было не сладко, но и на родину ехать не решилась. Опять в колхоз, где она гнула спину от зари до зари и с голоду пухла. Где ее отца неизвестно за что и неизвестно куда насовсем увели. Да и ее судьба после возвращения была бы вилами по воде писана. Сталин не любил людей, которые в чужестранстве побывали, хотя бы и не по своей воле. Не любил не только тех, кто против советской армии сражался или еще чего делал враждебного. Сталин не любил всех людей, которые видели западную жизнь и могли сравнивать ее с советской.

Побоялась Настя вернуться на родину. Осталась здесь, вышла замуж, родила дочку. Онемечилась. С мужем общается по-немецки. С дочерью тоже. О внуках и говорить нечего. А теперь появились у нее соседи-соотечественники. Можно прийти, отвести душу, поговорить на родном языке. Язык у нее и раньше был такой, на котором говорят в ее родных местах так называемые простые люди. Не русский, не украинский, а какая-то смесь. А теперь еще и немецкие слова намешались. Потому что в русском языке есть много слов, которых в ее времена она слышать не могла. Например, телевизор. Здесь она этот прибор называет по-немецки «фернзеер». Иногда звонит по телефону или прибегает через дорогу, говорит: «Отворите фернзеер», там, значит, что-то показывают интересное, по ее мнению. И вот как-то на днях тоже звонит: «Отворите фернзеер, там Москву показывают!»

Ну, отворили фернзеер, смотрим. Москва. Красная площадь. Портреты вождей, ГУМ. Как раз о ГУМе и передача.

Стоит очередь. Огромная. Вокруг магазина. Растекается по отделам. Я не знаю, что там в этот день давали. То ли югославские сапоги выкинули, то ли школьную форму, то ли чего еще. Впрочем, чего бы ни давали, а очередь соберется, потому что все нужно. И вот давится народ, задние напирают на передних, и одни лица переполнены решимостью выстоять и победить, а на других выражение полной обреченности, эти люди заранее знают, что весь день прстоишь, бока тебе намнут, а к прилавку подходя, услышишь голос продавщицы: «Касса, форму не выбивайте! Кончилась форма!» и покупателям: «Граждане, не стойте зря, не толпитесь!»

А какая-нибудь гражданка, все еще надеясь на чудо, будет звать к продавщице: «Да как же, да я специально из Воронежа приехала!» А ей ответят: «Все специ-

ально приехали!» — «Но мне же только одну пару!» И это не аргумент. Всем только одну. А всех тысячи, и на каждого не напасешься.

Я смотрел, и грустно мне было. Это была моя прошлая жизнь. Сорок восемь лет я прожил в Советском Союзе и сам прошел в очередях путь, который, если сложить вместе, растянулся бы от Москвы до Владивостока. Я помню очереди за хлебом, на станциях за кипятком, в учреждениях за какой-нибудь пустяковой бумажкой, во время войны — длиннющие очереди у женских уборных. Теперь, по мере повышения благосостояния, стоят очереди за пивом, за стиральным порошком, за перчатками, за зубной пастой, за туалетной бумагой и даже за кубиком Рубика.

Очереди бывают разные. Бывают на несколько минут, на ночь, на несколько дней. В очередях на машину или квартиру люди стоят годами.

Но все же я не мог себе представить, как ужасно выглядит очередь, если взглянуть на нее со стороны.

Показали по телевизору все эти очереди, во всех отделах и на разных этажах, а потом показали пожилую и толстую работницу ГУМа. Я не понял, кем она там работает, парторгом или заведующей секцией, но политически она оказалась на высоте. Она объяснила немецким телезрителям, что изобилие, которое они видят воочию, достигнуто советским народом под руководством и благодаря неустанной заботе нашей ленинской партии.

Я смотрел на это, слушал и думал: «До чего же задурены советские люди! Она сама даже не понимает, что плетет. Да все эти товары, которые выставлены в ГУМе, у любого западного человека не могут вызвать ничего, кроме насмешки».

Я вспоминаю анекдот про американца, который подойдя к очереди, спросил, что здесь продают. Ему сказали: «Ботинки выбросили!» Он посмотрел и сказал: «Да, у нас тоже такие выбрасывают».

Хорошо, эта тетя из ГУМа, она, допустим, невыездная, за границей отродясь не бывала и даже представить себе не может разницы между убогим ГУМом и любым самым простым западным магазином. Но, например, секретарь Московского отделения Союза писателей товарищ Феликс Кузнецов — точно выездной. И разницу эту знает. Он за границей бывал и в свободное от борьбы за мир время немало стоял в этих западных магазинах с раскрытым

ртом. И уж ему-то должно быть стыдно выступать в роли упомянутой мною тетеньки. А нет, не стыдно. И в статье «Не опоздать», напечатанной в «Литературной газете», разоблачая зловредных империалистов, он помимо всего прочего, пишет, что в то время, как на Западе растет психоз и паника перед ядерной катастрофой, западные люди, приезжая в Советский Союз, удивляются «спокойствию, собранности, деловитости атмосферы в нашей стране». И чуть ниже: «Мы спокойно работает, решаем вопросы Продовольственной программы, совершенствуем социализм».

Если уж иностранцев и удивляет Продовольственная программа, то только тем, что она вообще существует. На шестьдесят восьмом году советской власти и через сорок лет после окончания войны.

Есть чему удивляться.

Здесь Продовольственную программу никто не решает. Здесь ее просто нет. Здесь человек просто идет в магазин и покупает, что ему нужно.

Недавно я слышал рассказ об одной очень ортодоксальной гражданке, профессоре марксизма-ленинизма. Попала она первый раз на Запад, точнее, в Мюнхен. Вошла в магазин вместе с сопровождавшими ее немцами. Как увидела, что стоит на полках, сразу смекнула, что все это выставлено с провокационной целью. Она знала, ее научили, что здесь ухо надо держать востро. Увидела двенадцать сортов апельсинов. «У нас, — говорит, — это тоже есть». Увидела семьдесят сортов колбасы. «У нас, — говорит, — это тоже есть». Увидела сто пятьдесят сортов сыра — «У нас это тоже есть». Подошла еще к одной полке, там туалетная бумага: белая, розовая, в цветочек, в горошек и в клеточку. Ординарная, двойная, гладкая и с пупырышками. «У нас, — говорит, — это тоже...» и потеряла сознание. Пришла в себя, ее на носилках в закрытую машину втаскивают. Испугалась, подумала, что воронок. «Что это?» — говорит. Ей отвечают: «Скорая помощь». «А-а, — говорит она успокоенно, — у нас это тоже есть!»

А другой, тоже пожилой человек, прибыл дочку свою навестить, которая замуж за немца вышла. И тоже пошел вместе с ней в магазин. Она стала хвастаться, смотри, мол, чего здесь только нету. Он смотрел, хмурился. «Нет, — говорит, — ты мне настоящий магазин покажи». — «А это какой же?» — «А я, — говорит, — не знаю,

какой, может, специальный, для иностранцев. А ты мне покажи настоящий, для простых людей». Дочка пытается его убедить, что это для всех людей, и для простых, и для непростых. А он заладил свое: «Быть этого не может, покажи мне настоящий». Стала она его водить из магазина в магазин, он ходит, смотрит, глазам своим не верит и опять требует, чтобы она ему настоящий магазин показала. «Какой настоящий? — рассердилась она. — Гастроном вроде вашего на Соколе?» «Ну, хотя бы такой», — говорит. «Но здесь нет таких? Здесь даже таких бедных магазинов, как Елисеевский, нет! Может, ты хочешь, чтоб я тебе сельпо показала?» «Покажи», — говорит отец. Хорошо. Посадила она его в свою машину, завезла километров за пятьдесят в глушь, в деревню. Зашли опять в магазин. Вышел отец, огляделся, видит, вокруг дома редко одно-, чаще двухэтажные, добротные, каменные, крытые черепицей, с огромными окнами, с балконами и на всех балконах — цветы. И хоть бы одна развалюха. «И это обыкновенная немецкая деревня?» — спросил отец. «Да, — сказала дочь, — самая заурядная». «Нет, — говорит отец, — ты мне настоящую деревню покажи».

Я хочу быть понятым правильно. Меня само по себе богатство не умиляет и не соблазняет. Я лично предпочел бы не то чтобы голодную, но, скажем так, скромную жизнь в свободном обществе — богатой жизни в несвободном. Но как показывает практика (да и теория, впрочем, тоже), свободные люди производят материальных ценностей больше, чем несвободные. Это, между прочим, заметил даже Карл Маркс.

Именно поэтому жители не только Германии, но и всех западных стран достигли такого материального изобилия, которого советские люди даже представить себе не могут. И добились этого, безо всякой заботы со стороны ленинской партии.

СОВЕТСКАЯ АНТИСОВЕТСКАЯ ПРОПАГАНДА

Правильной дорогой

В начале 70-х мы с женой, возвращаясь с Черного моря в Москву, где-то, в районе, кажется, Армавира попали на большую и по советским стандартам довольно хорошую дорогу, соединяющую Пятигорск с Ростовом-на-До-

ну. У въезда на дорогу никаких указателей не было, мы свернули в сторону, которая казалась нам правильной, и покатали, рассчитывая, что доберемся до ближайшего указателя и в лучшем случае поедem дальше, а в худшем развернемся.

Дорога была совершенно пустынна. Очень редко попадались встречные автомобили, а в нашу сторону, казалось, не ехал никто кроме нас. Впрочем, мы не беспокоились. Главное — доехать до ближайшего указателя. А вот вроде и он...

Большой дорожный щит мы заметили издалека. Но когда приблизились, увидели, что это огромный портрет Ленина, очень доброго на вид старичка с красным скромным бантиком на отвороте пиджака и в кепке. Приложив к кепке полусогнутую ладонь, Владимир Ильич ласково шурился и одобрял выбранное нами направление: **«ПРАВИЛЬНОЙ ДОРОГОЙ ИДЕТЕ, ТОВАРИЩИ!»** — крупными буквами было написано под портретом.

Если товарищ Ленин и произнес когда-то эти слова, то он, вероятно, имел в виду общий путь народа к коммунизму, но написанные на дорожном щите слова эти приобретали более конкретное содержание.

Нас, конечно, сообщение вождя мирового пролетариата в данном случае удовлетворить не могло, хотелось бы получить более детальные сведения, но что поделаешь, мы поехали дальше. И опять пустынная дорога без населенных пунктов, без бензоколонок, без указателей, даже без обычных (тоже бессмысленных) фанерных щитов, на которых местные колхозы сообщают, сколько молока или яиц в текущей пятилетке они собираются сдать государству. И только портреты Ленина с той же усмешкой и с теми же словами **«ПРАВИЛЬНОЙ ДОРОГОЙ ИДЕТЕ, ТОВАРИЩИ!»** с раздражающей периодичностью появлялись у края дороги.

Проехав около сотни километров, мы, наконец, догнали какой-то трактор и выяснили у водителя, что дорогой мы идем, конечно, правильной, но в совершенно противоположную сторону. Развернувшись, мы поехали обратно, и опять один за другим возникали, приближались и исчезали портреты Ленина с теми же словами «правильной дорогой...»

Думая о советской пропаганде, я вспоминаю эту дорогу и эти бесчисленные портреты с ничего не значащими словами.

Производители и потребители

Сравнивать советскую пропаганду с американской или вообще с западной трудно, а может быть, и невозможно, потому что советская пропаганда является основным продуктом советской системы, производство которого значительно превосходит производство продукции сельского хозяйства, легкой, тяжелой и даже военной промышленности.

Понятно, что производством пропаганды заняты прежде всего пропагандистские органы коммунистической партии, комсомола и Комитета государственной безопасности. Этим же заняты все газеты, журналы, телевидение, радио, кино, театры, союзы писателей, художников, композиторов и даже официальная церковь. Но кроме всех этих упомянутых организаций, изготовлением пропаганды заняты все без исключения заводы, колхозы, больницы, строительные управления и воинские части. Каждый директор, управляющий, заведующий, председатель или воинский начальник должен заботиться, чтобы на подчиненной ему территории было необходимое количество портретов Ленина и нынешних членов политбюро ЦК КПСС (а если кто-нибудь из них смещен с поста, его портрет должен исчезнуть немедленно и навсегда); транспаранты с ничего не значащими лозунгами вроде «Народ и партия едины», «Учение Маркса всесильно, потому что оно верно» или «Победа коммунизма неизбежна»; стенная газета, заполненная чем угодно (важно, чтобы она была); доска почета с портретами так называемых передовиков производства (для того, чтобы попасть в «передовики», надо не только хорошо работать, но и самому быть активным изготовителем или, по крайней мере, потребителем пропаганды) и еще всякие плакаты с призывами, цитатами, цифрами и процентами, обещающими перевыполнение производственных планов. Цифры эти, не имеющие никакого отношения к делу, висят везде. Даже в кабинете зубного врача я видел обязательство работать на экономленных материалах.

Каждый руководитель, большой или маленький, знает, что в случае какой-нибудь проверки ему еще могут простить невыполнение планов, пьянство, воровство, прогулы и взяточничество со стороны его подчиненных или его самого, но непорядок со всеми этими портретами, пла-

катами, лозунгами, цитатами и цифрами прощен не будет.

Потребителем пропаганды является каждый советский человек, начиная с ясельного или школьного возраста, когда он впервые становится членом коллектива (уже в яслях висят все эти лозунги, плакаты, портреты и стенгазета). В зависимости от возраста, социального положения, партийности и образовательного уровня каждый человек получает пропаганду в том виде, какой, по мнению властей, доступен его пониманию.

Студенты, независимо от их будущей специальности, изучают марксизм-ленинизм и историю КПСС, каждый раз изменяемую в соответствии с изменениями пропаганды. Рабочие, колхозники и солдаты должны посещать политические занятия и кружки, на которых они когда-то изучали биографию товарища Сталина, а потом объявленные литературными шедеврами «произведения товарища Брежнева». Формально эти занятия добровольны и бесплатны, но каждому советскому человеку известно, что посещение этих занятий или уклонение от них самым непосредственным образом отразится на уровне его жизни, будет учтено при служебных перемещениях, распределении производственных премий, квартир, путевок в дома отдыха или импортных кур к празднику.

Как говорил один начальник своему подчиненному: «Ты работай бескорыстно, а мы тебе за это заплатим».

Интересный эффект советской пропаганды

Давно прошли те счастливые для советской пропаганды времена, когда массы народа откликнулись на противоречивые призывы партии, с энтузиазмом строили заводы в Сибири или «защищали» свободу в Испании, на демонстрациях восторженно размахивали флагами и портретами вождей, сходили с ума от счастья, если удавалось увидеть хотя бы издалека Ленина, Троцкого или Сталина, прикалывали к груди красные банты и давали своим детям революционные имена вроде Владилен (Владимир Ленин), Мэлор (Маркс, Энгельс, Ленин, Октябрьская революция), Ким (Коммунистический Интернационал Молодежи) или хотя бы просто Тракторина либо Индустрия.

В те благословенные времена советская молодежь не воротила нос от советских же символов. Юноши украшали свои футболки и косоворотки значками МОПР (Меж-

дународная Организация Помощи борцам Революции) или «Ворошиловский стрелок», девушки повязывали красные косынки. Я помню, в моде были «буденовки», сталинские френчи и даже сталинские усы.

Давно это было да былью поросло.

Теперь люди тоже ходят на демонстрации и размахивают флагами и лозунгами, но только за лишний выходной отгул или дополнительную плату.

Теперь совсем иная мода. Теперь советский молодой и не очень молодой человек с душевным волнением произносит не революционные лозунги, а названия разных западных фирм и вещей. Слова «Честерфильд», «Панасоник» или «Мерседес» говорят его сердцу гораздо больше, чем «Свобода, равенство и братство». Иностранная одежда предпочитается не только благодаря ее истинным достоинствам. Стоимость джинсов резко возрастает в цене, если на заднем кармане есть заметная этикетка с надписью «Мустанг» или «Ли» и резко падает, если такой этикетки нет. В большой моде рубашки и майки с надписями «Кока-кола» или «Ай лав Нью-Йорк». Говорят, в Москве появились даже майки с надписью по-английски «Я выбираю Рейгана». Если нет денег или возможности достать настоящую заграничную майку, можно купить подделку (те же слова на майке советского производства). Но попробуйте продать майку, пусть даже самого высокого качества, но со словами, написанными кириллицей: «Я люблю Москву» или «Ленин». Вас не только не похвалят, но, вполне даже вероятно, отправят на психиатрическую экспертизу, потому что в этой надписи усмотрят злую насмешку.

Советские люди тянутся ко всему западному. Виски и кока-кола вызывают большее вожделение, чем водка и квас. На какого-нибудь безголосого американского певца или малоинтересную американскую выставку попасть все равно невозможно. Конечно, это беспокоит советских пропагандистов.

В свое время один из самых правоверных советских писателей, твердолобый сталинист Всеволод Кочетов написал целый роман о том, как в Советский Союз приезжает по заданию ЦРУ американский джаз с совершенно возмутительной негритянской певицей, которая на сцене так вертит своим толстым задом (тоже, конечно, по заданию ЦРУ), что неустойчивая часть советской молодежи проникается этим растлевающим западным духом, пере-

стает изучать марксизм-ленинизм и отвлекается от выполнения важных народно-хозяйственных задач. (И Кочетов был совершенно прав, молодежь отвлеклась и вместо «Широка страна моя родная» запела почему-то идейно порочную и даже кощунственную песню:

Распутин, Распутин,
Грейтест решен лав мэшин...)

А недавно в Лондоне мне удалось посмотреть программу советского телевидения. Выступал некий доктор философских наук. Он рассказывал о том, к каким аморальным и коварным методам прибегают международные империалисты для того, чтобы подорвать монолитное единство советского народа и в конце концов сокрушить несокрушимый советский строй. Во время гражданской войны они пытались сокрушить советскую власть путем прямой интервенции. Не вышло. Пытались задушить нас всякими экономическими санкциями. Не вышло. Надеялись уничтожить нас с помощью гитлеровских полчищ. Не вышло. Попробовали разложить нас, используя для этой цели диссидентов. Не вышло. Теперь они тратят миллионы долларов для засылки нам всяких джинсов и маек, украшенных буржуазной символикой. Они не гнушаются ничем и даже свой собственный американский флаг налепляют на то место на джинсах, которое прикрывает ягодицы. Этот флаг на ягодицах так возмутил доктора философии, что он посвятил ему главную часть своей речи, изливая все свое презрение и к американскому флагу, и к тому месту, на которое налепляют его коварные империалисты*.

Но все подобные выступления, как всегда, вызывают противоположную реакцию. За годы своего существования советская пропаганда полностью исчерпала кредит доверия у своих потребителей. Постоянной лживостью и беспринципностью она достигла потрясающего эффекта: ко всему, что она отвергает, советский человек относится

* Между прочим, эти борцы с западной «вещевой пропагандой» сами являются ее первыми поставщиками и распространителями. «Выездные» советские журналисты, дипломаты, партийные деятели всех рангов не только сами предпочитают советской одежде заграничную, не только обеспечивают ею своих детей и ближайших родственников, но, пользуясь своими исключительными возможностями, в огромных количествах закупают тряпки на зарубежных распродажах и, вагонами, кораблями, самолетами доставляя их в Советский Союз, весьма выгодно сбывают на черном рынке.

с глубоким интересом, ко всему, что превозносит, с не менее глубоким отвращением. Это распространяется на все сферы культурной и общественной жизни. Например, если советская печать хвалит того или иного писателя, издавать его, конечно, будут, но читать вряд ли. В свое время популярность Зощенко, Ахматовой, Пастернака и Солженицына резко возросла после того, как советская пропаганда подвергла их уничтожающей критике, а Василий Гроссман, вполне заслуживший равного места в этом ряду, мало кому известен только потому, что его душили тихо, без пропагандной шумихи.

Ежедневно советские газеты, радио и телевидение проклинают Соединенные Штаты Америки, расписывая самыми черными красками безработицу, расовую дискриминацию, преступность, девальвацию и обнищание. Но именно в результате этой пропаганды огромное количество советских людей вообще считают, что в Америке нет никаких серьезных проблем, там можно, ничего не делая, жить в роскошных условиях, играть в казино и ездить на кадиллаке. По этой причине некоторые эмигранты, встречаясь с реальной, а не воображаемой жизнью, разочаровываются в Америке и ругают советскую пропаганду за то, что она их якобы дезориентировала. Это как в анекдоте: один пассажир в поезде спрашивает другого, куда тот едет. «В Жмеринку», — отвечает тот. «Зачем вы меня обманываете?» — возмущается попутчик. — Вы говорите, что едете в Жмеринку, чтобы я подумал, что вы едете в Житомир, хотя вы на самом деле едете в Жмеринку!»

Советская — антисоветская

Советская коммунистическая пропаганда, потеряв ориентиры, постепенно смыкается с антикоммунистической и антисоветской. Например, антисоветская пропаганда утверждает, что советским государством со времени его возникновения правили одни преступники. Советская пропаганда утверждает почти то же самое. Десятки высших руководителей государства от Троцкого до Хрущева объявлены и до сих пор считаются врагами народа, агентами империализма и иностранных разведок, в лучшем случае, антипартийными фракционером и волонтеристами.

И антисоветская, и советская пропаганда утвержда-

ют, что никакого социализма с человеческим лицом нет и не может быть.

Всякие предположения западных футурологов о возможной эволюции советской системы советская пропаганда отвергает с крайним негодованием, утверждая, что никакой эволюции нет и не будет. (Это утверждение и ненаучно, потому что эволюция — объективный фактор, она в ту или иную сторону происходит всегда, и антикоммунистично, потому что в результате чего же, если не эволюции, наступит когда-нибудь коммунизм?)

С еще большей враждебностью встречаются попытки западных коммунистов спасти «научное мировоззрение» от полного краха. Советская пресса резко нападает на тех, кто такие попытки предпринимает, как это было, например, с Каррильо и Берлингуэром. Распространение их речей советскими гражданами каралось не менее жестоко, чем распространение «Архипелага Гулаг». Да что там Берлингуэр и Каррильо! Распространение отдельных статей Маркса, Энгельса и Ленина тоже может кончиться очень большими неприятностями. Я уже не буду говорить о том, что ожидает распространителей разоблачающих Сталина документов XX съезда КПСС. Но вот пример более показательный. В начале 70-х годов на Урале, кажется, в Свердловске, была арестована группа рабочих, распространявших не листовки, нет, и не фальшивки ЦРУ, а все еще не отмененную, обещавшую скорое построение коммунизма, само собой разумеется, величественную и грандиозную **Программу Коммунистической партии Советского Союза.**

Наш человек в Стамбуле...

Очень важная вещь в жизни советского человека — анкета. Вещь, достойная того, чтобы быть воспетой. Будь я сочинителем од, я бы одну из них посвятил этому незаменимому изобретению бюрократического ума.

Анкеты бывают разные. Бывают попроще, бывают потруднее, а бывают такие, что черт ногу сломит. Сложность анкеты возрастает соответственно значению места, которое человек хочет при помощи этой анкеты занять. Например, когда я работал плотником, мне при поступлении на работу анкету давали самую простую. Вернее, даже и не анкету, а листок по учету кадров. Я уж точно не помню, но, по-моему, там спрашивали только фамилию,

имя-отчество, год рождения, профессию и разряд. А после этого топор в руки, и иди трудись, партия тебе доверяет. Но чем лучшее место хочет занять тот или иной товарищ, тем меньше партия ему доверяет, тем больше вопросов задает и с тем большим подозрением вглядывается в ответы.

Первую подробную анкету мне выдали, когда я поступал в 50-м году в Запорожский аэроклуб. Я не помню уже, сколько там было вопросов, сорок или пятьдесят, но некоторые произвели на меня впечатление и запомнились до сих пор. Несмотря на то, что я родился в 1932 году, то есть через пятнадцать лет после революции, я должен был ответить на вопрос, служил ли я в Белой армии, где, когда и в каком чине. Состоял ли в каких-либо политических партиях. Само собой, есть ли родственники за границей и, если есть, кто они, что они, как можно подробнее. Почти на все вопросы я отвечал совершенно искренне и правдиво. Нет, в Белой армии не служил, ни в каких политических партиях не состоял, родственников за границей не имею. Впоследствии я, правда, узнал, что один из моих дальних родственников был близким соратником маршала Тито, которого советская печать в то время иначе, как кровавой собакой, не называла, но тогда о существовании этого родственника я даже не подозревал. Пожалуй, только в одном случае я сознательно соврал. На вопрос, находился ли кто-нибудь из родственников под судом, я ответил «нет», хотя точно знал, что мой отец провел в сталинских лагерях пять лет. Короче говоря, моя анкета удовлетворила тех, кто ее читал, и Родина доверила мне управление планером, летавшим со скоростью 65 километров в час.

Между прочим, это оказанное мне небольшое доверие потом обернулось большим недоверием. Три года спустя я служил в Польше авиамехаником. Хоть и говорят, курица не птица, Польша не заграница, а все же условия нашего существования в этой стране были немного лучше, чем на родной территории. Денег больше платили, кормили лучше, давали сливочное масло, которого в Советском Союзе солдат даже не видит, и курили мы там не махорку, а папиросы «Беломорканал». И вдруг вызывают меня к командиру полка, и тот говорит: «Слушай, а ты, оказывается, летчик!» «Да какой там летчик, говорю, на планере я летал». «Но значит планером управлять умеешь?» «Да уж чем-чем, говорю, а планером управлять

умею. Ручку от себя, ручку на себя — дело нехитрое». «Ну, раз ты уже знаешь, как с этой ручкой управляться, поезжай в Советский Союз, будешь учиться на вертолетчика». Собрал я чемодан и поехал в Советский Союз. А приехав в город Кинель Куйбышевской области, увидел, что там таких асов, как я, собралось человек сто, не меньше. Кто из Польши, кто из ГДР, кто из Австрии, в которой тогда тоже наши войска стояли. И там уже я выяснил, что меня не на вертолетчика учить собирались, а просто из-за границы выгнали. Потому что незадолго до этого какой-то авиамеханик на штабном кукурузнике перелетел в Германию из советской зоны в американскую.

Так меня моя анкета подвела самым неожиданным образом. С тех пор к этим анкетам я относился с очень большим подозрением. И очень не любил их заполнять.

В конце 50-х годов, уже после армии, работал я в Москве плотником и писал стихи, которые тогда еще никто не печатал. Работа моя меня мало устраивала, мне хотелось быть ближе к искусству. Проходя однажды мимо МХАТА, я увидел объявление о том, что этому театру требуются рабочие сцены. Ну вот, решил я, эта работа как раз по мне. Зашел в отдел кадров, меня встречают очень приветливо, я для них просто находка, потому что у рабочего сцены зарплата маленькая, никто не хочет к ним идти. «Вот вам анкета, — сказали мне, — вы ее внимательно прочтите, заполните, потом принесите нам, потом вас недели три будут еще проверять, после чего мы вам сообщим, когда выходить на работу». Я очень удивился, почему такая длинная анкета и зачем так долго ее проверять. «Вы сами должны понимать, — сказали мне, — наш театр особый, наши спектакли смотрят иногда руководители партии и правительства, кроме того, мы время от времени выезжаем на гастроли за рубеж».

Я взял анкету с собой и изучил ее дома. В ней было бесчисленное количество вопросов, касавшихся не только меня самого и моих родителей, но бабушек и дедушек и родственников жены, на которые я просто не мог ответить. Я эту анкету выкинул, и мое сотрудничество с прославленным театром не состоялось.

Я думаю, в Советском Союзе нет ни одного человека, который, заполняя анкету, не испытывал бы перед ней страха. Он видит за анкетой то таинственное лицо, которое будет ее читать, внимательно сверяя с тут же прило-

женной автобиографией, сопоставляя одни ответы с другими, выискивая, нет ли в них противоречия и ставя после них плюс или минус. Член партии — плюс, беспартийный — минус. Не был на оккупированной сорок лет назад немцами территории — плюс. Есть родственники за границей — минус. Русский — плюс. Еврей — минус.

В короткий период советской истории, когда приоткрылись двери в Израиль, оказалось, что принадлежность к еврейской национальности, да еще при наличии родственников за границей дает небывалый шанс навсегда избавиться от этих анкет и от их неприятных вопросов. Но при устройстве на работу в Советском Союзе еврей всегда сталкивается с препятствием, иногда преодолимым, иногда — нет. То же можно сказать о крымских татарах или о немцах (у последних, впрочем, тоже есть или был шанс уехать). Но представители некоторых малых народностей имеют иногда преимущества перед всеми, включая русских.

Я знаю случай, когда один физик устраивался в престижный научно-исследовательский институт. Директор института, будучи евреем и человеком чувствительным к национальному составу своих кадров (то есть он старался избежать обвинения, что берет на работу слишком много евреев), побеседовав с будущим сотрудником, выяснил его профессиональный уровень и сферу научных интересов, помялся и спросил: «Ну, а как насчет остального?» Поступающий на работу сразу понял вопрос и охотно ответил: «Насчет остального у меня все в порядке, я — нанаец».

Некоторые начальники отделов кадров и руководители учреждений не удовлетворяются национальностью, указанной в паспорте, и хотят знать о каждом из родителей. Один мой знакомый, много лет назад поступая на работу на радио, был принят председателем Государственного комитета по радиовещанию СССР Сергеем Кафтановым. Тот тоже интересовался профессиональной подготовкой и другими данными нового сотрудника, а затем спросил: «А кто ваша мама?» «Мама — гречанка», — быстро ответил мой знакомый. «А папа?» «А папа — инженер».

Но несмотря на то, что все начальники отделов кадров только тем и занимаются, что вчитываются в анкеты, выискивая несоответствия и изъяны в биографии сотрудников своего учреждения, иногда самые невероятные не-

лепости проходят мимо их бдительного ока. Некоторые люди из озорства пишут какую-нибудь чушь, вроде того, что служил в Белой армии в чине генерала. Другие пишут чушь вовсе не из озорства, а из практических соображений. Иногда на этой почве разражаются скандалы. Вдруг оказывается, что какой-то директор института, доктор наук, профессор на самом деле не осилил в школе и седьмого класса, никогда не защищал никакой диссертации и о руководимой им науке имеет очень приблизительное представление.

Свидетелем одного из таких казусов был и я. В середине 60-х годов, будучи членом бюро секции прозы в Союзе писателей, я был приглашен на разбор персонального дела писателя Новбари. Этот Новбари был обвинен какой-то женщиной в присвоении и публикации под своим именем ее пьесы. Разбравшие это дело на первом этапе заглянули в анкету Новбари и прочли его автобиографию. Автобиография была красочной. Он родился в Ираке и четырех лет был продан в рабство. От своего рабовладельца бежал. Затем вступил в коммунистическую партию Турции и через некоторое время стал резидентом советской разведки в Стамбуле. Когда сопоставили данные, указанные в анкете и автобиографии, получилось, что в коммунистическую партию он вступил девяти лет от роду, а резидентом стал в одиннадцать. Там еще содержались всяческие фантастические измышления, которые ничем и никак не подтверждались. Настоящая его биография была гораздо скромнее вымышленной. Он родился не в Ираке, а в Азербайджане, за границей никогда не бывал. Оказалось, что в Союз писателей он вступил второй раз. Первый раз — в Таджикистане, где был исключен за подобный же плагиат и еще какие-то темные делишки.

И интересно, что в так называемом отделе творческих кадров Союза писателей, где работают сотрудники КГБ высшей квалификации, бумаги Новбари, наполненные абсурднейшим вымыслом, не вызвали никакого подозрения до тех пор, пока не разразился скандал.

Заседание бюро, где разбиралось дело Новбари, происходило, само собой разумеется, при закрытых дверях. Ответчик, пожилой и грузный человек восточного типа, казалось, нисколько не был смущен, а напротив, держался весьма воинственно. С самого начала он сказал, что разбор дела его не интересует, он принес заявление и про-

сит рекомендацию для поездки в Сирию для сбора материалов к книге об освободительной борьбе арабских народов. Ему говорят: «Подождите, сначала мы должны разобраться с фактами вашей биографии. Могло ли это быть, чтобы вступили в партию в девять лет?» На этот и на другие вопросы Новбари отвечал уклончиво: «Кому надо, тот знает». «Но не могли же вы быть резидентом советской разведки в одиннадцать лет?» «Кому надо, тот знает». «Где же вы все-таки родились, в Багдаде, или в Баку?» «Кому надо, тот знает».

К моему удивлению, некоторые другие члены бюро прозаиков, о литературной деятельности которых я не имел ни малейшего представления, тут же проявили причастность к тем, на кого туманно ссылался ответчик: «А кто именно знает? Как фамилия? Из какого отдела?» И сами стали называть какие-то фамилии и отделы, демонстрируя в данной области изрядную осведомленность. Но Новбари в отличие от них военную тайну хранил, фамилии и номера отделов не раскрывал, тупо повторяя свое: «Кому надо, тот знает». Да к тому же продолжал настаивать, чтобы ему тут же выдали рекомендацию для поездки в Сирию. По этому вопросу было проведено голосование; все члены бюро, кроме меня, голосовали против поездки, я воздержался, за что сам чуть не получил выговор. (На меня набросились: как и почему я воздерживаюсь? Я ответил, что готов проголосовать за исключение Новбари из Союза писателей за плагиат и ложь, но не считаю себя вправе запрещать ему или разрешать ездить, куда он хочет, тем более, я сам невыездной). На этом первое заседание бюро закончилось. После чего секретарь московского отделения Союза писателей, он же генерал КГБ Виктор Ильин, позвал в другую комнату некоторых членов бюро и в том числе почему-то меня (помоему, он хотел меня привлечь к более активной «общественной» деятельности) и сказал, что в следующий раз мы должны лучше подготовиться к разоблачению Новбари. «Его надо обложить как волка!» — сказал Ильин, и глаза его хищно блеснули. Потом он перевел взгляд на меня и немного скис: «Но вы, наверное, сбежите?» «Сбегу», — пообещал я уверенно, видя, что в стае этих хищников мне делать нечего. Я свое обещание выполнил и не знаю, как дальше расследовалось дело бывшего резидента в Стамбуле. Знаю только, что все кончилось для Новбари благополучно, потому что он оставался в списке чле-

нов Союза писателей до самого моего отъезда на Запад в 1980 году. И наверняка состоит в нем и сейчас, если еще жив. Значит, те, на кого он ссылался, действительно знали о каких-то его заслугах и, как волка, обложить его не позволили.

Кое-что о беглецах

Особенно важные и подробные анкеты заполняются советскими людьми при выезде за границу. Ах, какие же это анкеты! Поэмы, стихотворения в прозе, а не анкеты! Я-то сам, правда, никогда их не заполнял, до этого дело не дошло. Мне такого доверия товарищи из партии, КГБ и Союза писателей никогда не оказывали. Но от других много про это слышал. И несмотря на это — бежит народ. Со страшной силой бежит. Бежит, как сказал поэт, быстрее лани. Да что там лань! Лань — животное, конечно, быстрое, но все же скорость его ограничена. А вот летчик Виктор Беленко (помните?), он несколько лет назад в Японию на своем МИГе быстрее звука бежал. Тогда еще анекдот о новой рекламе Аэрофлота родился: «Один МИГ — и вы в Японии».

Ну, анекдотов по поводу бегства советских людей и их социалистических братьев на Запад было немало. Помню, когда-то шел вокруг Европы польский корабль «Стефан Баторий». Пассажиры бежали с него чуть ли не в каждом порту, поодиночке и группами, так что корабль почти опустел. Тогда поляки остряли, что его надо называть не «Стефан Баторий», а «Летучий голландец»*. А после бегства некоторых артистов балета родилась шутка: «Что такое Малый театр? Это Большой театр после заграничных гастролей».

Но шутки шутками, а люди бегут. И какие люди! Артисты, дирижеры, режиссеры, гроссмейстеры, заслуженные мастера спорта, доктора всевозможных наук, орденосцы, лауреаты, депутаты, дипломаты и, само собой, работники Комитета государственной безопасности. Эти-то бегут, пожалуй, больше других. Из них уже можно было бы создать хорошую команду по бегу с препятствиями. Бегут мелкие сошки и большие чины. Даже заместитель Генерального секретаря Организации Объединенных На-

* «Стефан Баторий» оказался верен своей традиции. 20 ноября 1984 года только в одном Гамбурге с него опять сбежало 192 пассажира.

ций Аркадий Шевченко, и тот сбежал. А совсем недавно, говорят, генерал-лейтенант в полной форме перешел ту-рецкую границу пешком.

Казалось бы, какие люди! Проверенные! И в местной партийной организации их проверяли. И на райкоме характеристику утверждали. И выездная комиссия ЦК и КГБ всю подноготную бдительно изучала. И все, как говорится, было в ажуре. И социальное происхождение, и служебное положение. Политически выдержан, морально устойчив. Производственные задания выполняет. На собраниях выступает. В субботниках участвует. Жене не изменяет. Судимостей, выговоров и венерических болезней не имеет, партийные взносы платит вовремя.

И вот, имея такие прекрасные по всем статьям показатели, человек все же бежит.

У меня один знакомый был. Режиссер. В документальном кино работал. Он однажды фильм о балете снимал. Начал снимать одного солиста, ему говорят: «Нет, этого не надо, он нехороший.» Потому что он однажды письмо какое-то нехорошее в чью-то защиту подписал. Режиссеру говорят руководящие товарищи: «Вы этого не снимайте, он плохой, а снимайте такого-то, он — хороший. Он у нас народный талант, национальное достояние, прыгает выше других, писем не подписывает, на политинформациях регулярно присутствует, общественную работу как депутат горсовета ведет и вступил кандидатом в партию». Режиссер, конечно, советский и сам тоже политически выдержан и морально устойчив. Что скажут, то и делает. Так он этого нехорошего вырезал, а на хорошего еще километра два пленки извел. Довольный собой, бежит показывать свой шедевр начальству.

Садятся они в темном зале. Гасится свет, играет музыка, на экране почти что голый возникает кандидат в члены КПСС и так подпрыгивает, словно его уже в действительные члены произвели. Режиссер косит взгляд на начальство, начальство косит взгляд на него и, даже в темноте видно, хмурится.

А потом и говорит:

— Это кого ж ты нам показываешь?

— Как же кого? Это же этот... — и называет фамилию. — Наш несравненный народный талант и народное достояние, кандидат в члены и депутат горсовета.

— А ты знаешь, что этот депутат не далее, как вчера, политическое убежище попросил?

— Не может, — режиссер говорит, — быты! Не могу себе даже этого представить.

— Как это ты не можешь представить? Ты что же, «Голос Америки» что ли не слушаешь?

— Нет, нет, что вы! — говорит режиссер. — Сам не слушаю и детям своим не разрешаю такую дрянь слушать. А насчет артиста, так вы же сами сказали, чтобы не этого снимал, а вот этого.

Это он, конечно, сказал, не подумавши. Лучше бы он возвел на себя напраслину, признался, что слушает одновременно «Голос Америки», «Свободу» и «Би-би-си». А он вместо этого намекнул начальству, что оно само в промашке такой виновато.

И дело для него очень печально кончилось. Вышел по его поводу секретный приказ. Картину смыть. Режиссера от работы в кино отстранить, выговор ему за притупление политической бдительности и протаскивание на экран сомнительных личностей залепить.

Режиссер сам после этого стал политически не выдержан и морально не очень устойчив. Запил, опустил, бороду отрастил, радио иностранное стал слушать. Потом, правда, исправился. Пить перестал, бороду сбрил. «Спидолу» свою в комиссионку отнес. Стал опять посещать собрания, по членским взносам всю задолженность уплатил, и никакого радио. Только хоккей и фигурное катание по телевизору смотрит, и когда наши побеждают, кричит «ура» так, что даже соседям слышно.

Начальство видит: все-таки свой человек. Споткнулся в свое время, конечно, но с кем не бывает. Сняли с него опалу, стали работенку подкидывать. А потом уж, войдя в полное доверие, режиссер и вовсе обнаглел и подал заявку на очень необходимый сегодня фильм. «По ленинским местам» фильм должен был называться или как-то в этом духе, я, признаться, точно не помню. А места эти, ленинские, они, как известно, в большинстве своем за рубежами нашей отчизны находятся. Потому что товарищ Ленин в свое время был тоже как бы невозвращенец. И от царской власти скрывался, как я сейчас от советской, — и в Мюнхене, и в Женеве, и в Париже, и в Лондоне.

Начальство, конечно, заколебалось немного. Все же ошибку когда-то допустил. Но потом посмотрели на него так и эдак. И анкета — как стеклышко, и к спортивным нашим успехам неравнодушен, и кто секретарь француз-

ской компартии, знает, и в моральном разложении проявляет сдержанность. Объяснили ему, чтобы он там на провокации не поддавался, в связи с лицами враждебного пола не вступал, в магазинах на товары не набрасывался, а если спросят про Сахарова, надо отвечать: «Лично с ним не знаком и ничего хорошего о нем сказать не могу». А про Афганистан следует говорить: «Я точно не знаю, где это, но слышал, что временно ограниченный контингент помогает крестьянам в уборке хлопка и ремонте дорог».

Выдали ему в ОВИРе заграничный паспорт, выдали в банке ограниченную сумму валюты, продали в Аэрофлоте билет в два конца. Один конец оказался лишним. Он и до сих пор по ленинским местам передвигается. Мюнхен-Цюрих-Женева-Париж-Лондон.

Вот я и говорю, за границу-то у нас не каждого пускают. Отбирают самых достойных, самых проверенных, а они-то как раз и бегут.

Правда, когда сбежит такой вот проверенный, тут-то и выясняется, что он такой-сякой, и доллары любит, и джинсы носит, и на женщин легкого поведения падок, а бывает, даже и к особам собственного пола неравнодушен.

При этом на все больные мозоли невозвращенца наносят, близких родственников заставляют рыдать на страницах газет, официальные представители государства ищут с беглецом встречи, поют сладкими голосами: вернись! Родина тебе все простит и к тому, что у тебя было, еще что-нибудь добавит, а не вернешься, такой-сякой (тут следуют шепотом всякие сильные выражения), мы тебя все равно, где бы ты ни был, достанем.

И, само собой, начинают попрекать его каждым куском, который дала ему партия: и образованием, и воспитанием, и дачами, и автомобилями, и тем, что к распределителю был приставлен. И чего, говорят, ему не хватало? А ему, может, свободы не хватало. Не той, которая осознанная необходимость. А той, которая осознанная или даже неосознанная потребность. А может, он от этого вашего распределителя и сбежал? Может, ему стыдно бывало выходить из вашего секретного заведения с куском салами или осетрины, завернутыми в серую бумагу, чтобы не кидалось в глаза? Может, ему противно было проходить унижительную процедуру проверки лояльности, которой подвергается каждый, соби-

рающийся выехать за рубеж? Может, у него язык не поворачивается сказать, что он не знает, кто такой Сахаров и где находится Афганистан.

И вот еще что интересно: а почему к нам-то никто не бежит? Если у нас все так хорошо: и безработицы нет, и квартиры дешевые, а медицина и вовсе бесплатная, и человек человеку — друг, товарищ и брат. Но вот приезжают в страну своей мечты то Анджела Дэвис, то Жорж Марше, то Джеймс Олдридж, то еще какой-нибудь иностранный товарищ заявится. А его ведь встречают не то что нашего за границей, его на длинной машине возят, в лучшей гостинице поселяют, красоты всяке показывают, черную икру на красную намазывают. А они покрутятся здесь, покрутятся да и отправятся во свояси. Не бегут. Хотя их никто не проверял. Хотя в их странах никаких выездных комиссий не существует. А может как раз поэтому? Может, все эти выездные комиссии и есть одна из причин, по которым люди бегут? Потому что, если вам хочется навестить дядюшку в Лос-Анжелесе или тетюшку в Амстердаме или, скажем, провести пару недель на берегу Средиземного моря, гораздо приятнее просто взять билет на самолет и не клясться, что будешь бдительным, будешь давать отпор, а к улыбке встречной женщины относиться как к заранее запланированной провокации.

А если уж никак нельзя жить без выездной комиссии, то секретным товарищам, которые там работают, я хотел бы дать очень полезный совет. Надо усилить бдительность. Надо отбирать кандидатов из кандидатов. В первую очередь убежденных коммунистов, активных общественников. Внимательно изучать их анкеты, характеристики, донесения осведомителей. И когда будут отобраны самые преданные, самые достойные, лучшие из лучших, их как раз за границу ни в коем случае и не выпускать. Потому что, как я заметил, именно они чаще всего и бегут.

Земляки

Я уже даже не помню, в каких книжках, но во многих читал, и это даже стало своеобразным штампом: во время войны и особенно на иностранной территории встречаются русские советские солдаты и начинают восторженно: «Земляк, откуда?» И несутся из разных углов ответы: «Из Воронежа!», «Из Тамбова!», «Из Уссурий-

ска!» Земляки. Хотя и кличут друг друга насмешливо тамбовскими волками, вологодскими водохлебами, косо-пузой Рязанью, а все же нежно друг к другу относятся. Какие ни на есть, а все же земляки, в одной стране родились, на одном языке говорят, с одними и теми же песнями выросли. Откуда, земля? Оттедова.

Ну, это, конечно, не только у русских. Всем это свойственно. Встречаются два американца. — Вы откуда? — Я из Оклахомы. — А я из штата Мичиган. — Файн! Замечательно! Неужели это возможно?

Так всегда и везде. Чем дальше от родной земли, тем радостнее встреча. Встречает немец немца, француз француза, радуются друг другу, как родственники. Потому что жители других стран им тоже, может быть, интересны, но свои как-то ближе. Хочется иногда поделиться чем-то общим и сокровенным, чего другие вовсе и не поймут.

Встретились, допустим, два конголезца, у них сразу же общие ассоциации: Конго, крокодилы, московский университет имени Патриса Лумумбы. Все это для них для всех что-то значит, какой-то, понимаете ли, содержит сокровенный смысл.

А что значит сейчас для нас, для русских, встретить за границей земляка где-нибудь на улице, в пивной, в театре, в супермаркете?

У меня как раз первое воспоминание о такой встрече именно с супермаркетом связано. Пришли мы как-то с женой в один такой большой-большой магазин, вроде, допустим, ГУМа, с тем только различием, что в ГУМе людей до черта, а товаров кот наплакал, а здесь все совершенно наоборот: товаров сколько хочешь, а людей умеренно. Идем мы между рядами с большой тележкой и смотрим, чего бы такого приобрести. И, само собой, вслух, думая, что нас все равно здесь никто не поймет, качество этих товаров обсуждаем. Вдруг подлетает к нам другая пара.

— Вы русские?

— А какие же еще? Конечно, русские!

— И мы русские! Из Москвы!

— И мы из Москвы.

— Надо же, земляки! Мы живем на улице Дыбенко.

А вы на какой?

— А мы жили на Черняховского.

— Ну как же, как же, знаем, это возле метро Аэро-

порт. Там писатели живут. Вы, значит, там прямо рядом с писателями и живете?

— Там прямо рядом и жили, а теперь вот переехали.

— Переехали? Из такого хорошего района. И на какой же вы улице теперь живете?

— А теперь мы живем на улице Ханс-Каросса-штрассе.

Я вижу, жена уже мужа за рукав тянет и на ногу наступает, а он тупой, до него не сразу это сообщение доходит.

— Как вы сказали... Ханс-Каросса... так вы значит, извините, эмигранты?

— Вот именно, эмигранты. Отщепенцы.

— А, ну тогда извините.

И — бежать. Только мы их обоих и видели.

Это была первая такая встреча, но вовсе не последняя. И каждый раз одно и то же. Если это соотечественник, приехавший за границу только на время, то сначала он бежит к тебе, как к родному брату, а потом опомнится и так же быстро бежит обратно. Потому что выездные советские граждане—люди, как правило, осторожные. Они и поездку эту свою заслужили прежде всего осторожнейшим поведением. А перед поездкой их еще там пугали, чтобы на провокации не поддавались, при виде витрин зажмуривались, а от эмигрантов шарахались, как от чумных. Ну они и шарахаются, боясь не столько провокаций со стороны эмигрантов, сколько зоркого глаза своих наблюдателей.

И случайные эти встречи оставляют во мне такой неприятный осадок, что теперь я к соотечественникам своим не только не кидаюсь, а даже напротив, столкнувшись с ними, делаю вид, что не понимаю по-русски ни слова.

Но иногда уклониться трудно.

Совсем недавно решили мы поехать в горы, покататься на лыжах. Здесь в Мюнхене погода ненадежная, снег то выпадет, то растает. Решили отправиться за границу, в Австрию. Прикрепили лыжи к крыше машины, поехали. На границе паспорта в окошко только просунули, нам полицейский машет, давай, проезжай, не задерживай. Приехали, стало быть, на лыжный курорт, где в прежние времена отдыхали богатые люди. А теперь всякие отдыхают. Приехали, с горки катаемся, падаем, друг другу «осторожно!» кричим. Вдруг подходит к нам девочка лет десяти, красивая, черноглазая. Смотрит на нашу дочку

и говорит: — Вы русские? — Русские. — А откуда? — А ты откуда? — А я из Москвы. — Ну, конечно, мы тоже из Москвы, а сейчас где она живет, откуда сюда, на курорт, приехала? Я, естественно, спрашиваю ее, откуда она сейчас приехала, из Вены или тоже из Мюнхена? А она говорит: «Как откуда? Я же вам сказала, из Москвы». Она меня не понимает, я ее не понимаю. Я говорю: «А как же ты сюда приехала?» А она говорит: «Очень просто. У мамы отпуск, у папы отпуск, у меня каникулы, вот мы сюда и приехали на пять дней покататься на лыжах».

— Прямо так вот взяли и приехали?

— Ну да. А что? Прямо так вот и приехали.

А в глазах ее, я вижу, пробуждаются сомнения и подозрения. Она еще маленькая, всей политграмоты не прошла. Она, конечно, уже знает, что там, в Советском Союзе, люди делятся на тех, которым можно сюда ездить, и на тех, которым нельзя. Но еще не знает того, что среди тех, которые сюда приехали, обратно можно поехать тоже не всем. Но что-то такое уже чувствует и так бочком-бочком от нас постепенно отходит.

А я смотрю на нее и думаю: каким же нехорошим делом занимаются ее родители, если их вместе с дочкой просто так на каникулы сюда пускают и не боятся?

Ведь дети не только цветы жизни, а и незаменимые заложники.

В Москве, например, среди моих знакомых, включая даже известных писателей, артистов, художников и академиков, таких, которые хотя бы иногда могли выезжать за границу, вообще было раз-два и обчелся. А таких, которых бы вместе с детьми выпускали, я что-то и не припомню.

Но возвращаюсь к нашей новой знакомой, к Варе. Приехала она, русская девочка, провести каникулы на австрийском курорте. А почему бы и нет? Она ничем не хуже всех других девочек и мальчиков — немецких, французских, итальянских, американских, — которые тоже сюда приехали на каникулы. Но она и ничем не лучше тех мальчиков и девочек в Советском Союзе, у которых родители невыездные и на Запад могут ехать не дальше Бреста.

Между прочим, одета Варя была во все здешнее, яркое с наклейками и нашлепками, что так нравится всем детям на свете. Ей это можно. Это детей простых невы-

ездных родителей в штаб народной дружины таскают и в газетах высмеивают за заграничные майки и джинсы, на которые владелец, может, целый год по двадцатке откладывал.

А кто, кстати, возит эти джинсы из-за границы? А эти выездные товарищи, вроде Вариных родителей, они же и возят. Иногда чемоданами, а иногда и вагонами. Потом невыездным молодым людям сбывают втридорога. Потом о них же в газетах фельетоны пишут. Вот, мол, какие негодяи бывают. Майки со словами «Кока-Кола» носят, а надписью «Стройотряд № 4» брезгуют.

Они же, эти выездные папаши-мамаши, и создали такую обстановку, при которой мы, русские, делимся на тех, кто или не может выехать за границу, или не может вернуться домой. А услышав родную речь, сперва летим, как безумные, на ее звук: «Вы русские?» И тут же, опомнившись и даже не дослушав ответа, сломя голову кидаемся наутек.

Медаль за бой, медаль за труд

Говорят, что один из клиентов знаменитого дореволюционного адвоката Федора Никифоровича Плевако, будучи очень ему признателен за то, что Плевако выручил его из какой-то беды, сказал: «Не знаю даже, как вас отблагодарить». На что адвокат ответил: «Не беспокойтесь. С тех пор как изобретены деньги, проблема выражения благодарности перестала быть чересчур затруднительной».

Всякому человеку, в том числе и Плевако, очень приятно, когда его благодарят за проделанную им работу, но кроме благодарности человек еще хочет получить и материальное вознаграждение, потому что, хотя не хлебом единым он сыт, но и без хлеба жить невозможно.

Денежное вознаграждение за проделанный труд — это самое нормальное и естественное дело. Оплата должна зависеть от количества затраченного труда, от количества и качества произведенной продукции. В Советском Союзе, конечно, это все хорошо известно. В Советском Союзе уважение к труду так высоко, что за него не только деньги платят, за него еще и награждают всякими свидетельствами, дипломами, медалями и орденами. Трудовой подвиг приравнивают к ратному, а Герой Социалистического Труда имеет те же привилегии, что

и Герой Советского Союза. Как сказал когда-то Александр Твардовский: «Из одного металла льют медаль за бой, медаль за труд».

А вот правильно ли это? Я глубоко сомневаюсь. Ну, медаль за бой, это ладно. На войне человек рискует жизнью или даже отдает ее за свободу или родину. Его жертву никакими деньгами оплатить невозможно, и потому были введены в разных странах разные символические награды, чтобы просто можно было видеть, что этот храбрый и самоотверженный человек совершил. Ему нельзя заплатить денег достаточно за то, что он сделал. Тогда ему дают орден, чтобы мы, не совершившие того, что он совершил, видели и почитали его.

А вот труд, работа и даже тяжелая физическая работа и работа творческая и всякая другая, заслуживают ли они орденов?

Уже стало традицией, что в Москве 9 мая перед зданием Большого театра собираются бывшие фронтовики. Собираются весьма уже пожилые люди. Военные мундиры или штатские пиджаки увешаны орденами и медалями. Ищут состарившиеся герои своих однополчан или просто гуляют по улицам, чтобы молодежь, глядя на них, все-таки вспомнила, что эти старики не даром ели свой хлеб, что-то они все-таки сделали в жизни, не зря им выдали эти награды.

Один мой знакомый, назову его Николай Степанович, тоже в этот день надевает свои награды, правда, их у него немного. В отличие от других, он победный путь от Сталинграда до Берлина не прошел. Но прошел путь поражений от Кишинева до Ростова и был тяжело ранен. А остаток войны провел в Ташкенте, в госпитале. Понятно, что во время отступления советское правительство орденами разбрасывалось не так щедро, как на обратном пути. И во время войны Николай Степанович заслужил только одно отличие — желтую нашивку, свидетельство тяжелого ранения. Первую награду получил уже после войны, это была медаль «За победу над Германией». Годы спустя дали ему в военкомате еще какие-то юбилейные, как он сам говорит, побрякушки. Надевает он их и тоже идет к Большому театру. И чувствует себя там неловко среди героев, у которых ордена и Ленина, и Красного Знамени, и Отечественной войны, а иной раз и Золотая Звезда Героя. Потолкается там, а что толку? Это в конце войны однополчане сговаривались где-то

встречаться, а на том горьком пути отступления, когда война казалась проигранной, никаких таких встреч не предвкушали. Да и мало кому, кто прошел путь в одну сторону, довелось совершить и обратный путь. Потолкается Николай Семенович среди всех этих героев, присмотрится и видит: у одного из них боевое «Знамя», а у другого трудовое, у одного «Отечественная война», а у другого «Знак почета», и эти трудовые герои тоже среди героев военных расхаживают, выпятив гордо грудь. А чего бы им не гордиться, если из одного металла льют и те и эти медали?

У Николая Степановича военных медалей мало, и все жалкие, а трудовых и вовсе нет, не заслужил. Хотя в своем цеху был всегда лучшим токарем. И как какая-нибудь исключительно сложная работа, так начальство — к Николаю Степановичу, и он охотно за эту работу брался, потому что был настоящим мастером своего дела и любил делать что-нибудь необычное. Зарабатывал он не то, чтобы очень хорошо, но неплохо. Но насчет всяких орденов и медалей — этого не заслужил. Потому что возле начальства, в парткомах и завкомах не отирался, на собраниях отмалчивался, а во время выборов брал открепительные талоны. За что же ему ордена? Не за что.

А вот его коллега Иван Петрович, тот на фронте военном не был, а на трудовом отличился. Также начинал, как и Николай Степанович, токарем, и работал не то, чтобы очень уж хорошо, но неплохо. Но помимо трудовой деятельности занимался и общественной. Он и в парткоме, он и в завкоме. На демонстрации ходит, от выборов не уклоняется, на митинге, если надо заклеить международный империализм или еще что-нибудь в этом роде, клеймит, а когда его просят сказать свое рабочее слово, допустим, о Сахарове, он и тут не отказывается. И признание родины пришло постепенно. Сначала медаль, потом орден, потом другой, а потом и Золотая Звезда Героя социалистического труда. Теперь его в цеху и не увидишь. То он на сессии Верховного Совета, то на пленуме ЦК, то выступает в защиту мира, то совещается с такими же, как он, передовиками производства, то в составе рабочей делегации выезжает за рубеж. Конечно, ему почет и уважение, проезд в трамвае бесплатный, билет на поезд, на самолет или в кино вне очереди. Гостиницы для него открыты, а отдыхает он в

лучших санаториях, где забивает козла с инструкторами обкомов, председателями исполкомов и отставными генералами.

Обычно он не все свои ордена носит, только Золотую звезду. Но уж на праздник Победы все вывешивает. И ордена, и медали, и все значки, какие имеет. И выходит на улицу с сознанием того, что ему есть чем гордиться.

«Из одного металла льют медаль за бой, медаль за труд...»

Между прочим, Твардовского, написавшего эти строки, правительство наградами не обходило. И за бой, и за труд у него были и ордена, и медали, и высшие советские литературные премии. А незадолго до смерти, к своему шестидесятилетию, он должен был получить еще одну награду. Но в это время он, по мнению партийного начальства, вел себя не очень хорошо. Отстаивал позицию руководимого им журнала «Новый мир» и защищал опального Солженицына. И разочарованный его поведением секретарь Союза писателей некий Константин Воронков сказал ему примерно так: «Жаль, Александр Трифонович, что вы себя так ведете. Ведь мы хотели вам дать Героя». На что Александр Трифонович за словом в карман не полез и сказал, что никогда не слышал, чтобы звание Героя давали за трусость. Я думаю, в данном случае Твардовский слукавил. Он хорошо знал, что звание Героя не только Соцтруда, а и Советского Союза дают когда и в самом деле за героизм, а когда и за другое.

За примером далеко ходить не надо. Брежнев, например, был Героем Социалистического труда и четырежды Героем Советского Союза. Тогда как Сталин, который тоже большой скромностью не отличался, но был, как ни крути, во время войны Верховным Главнокомандующим, званием Героя Советского Союза наградил себя лишь однажды.

Бывают, конечно, случаи, о которых в газетах пишут под заголовком «Награда нашла героя». Какому-нибудь герою дали орден, а он в это время то ли в госпитале лежал, то ли в плену находился, то ли в тюрьме сидел. И нашли его лет через двадцать-тридцать. А товарищ Брежнев находился не в лагере и не в тюрьме, а в политотделах, обкомах, в ЦК КПСС и в самом даже Президиуме Верховного Совета СССР, так что трудно предположить, что заслуженные им боевые награды не мог-

ли его разыскать вовремя. Он сам их нашел потом в своих собственных сейфах. И сам вешал их на себя и на других безо всякой меры, без вкуса и без стыда.

Но все же боевые награды хотя и сильно обесценились, потому что выдавались кому попало и ни за что, а все-таки некоторые люди носят их заслуженно. А вот трудовые...

Мне сейчас трудовых Героев редко приходится видеть.

Потому что здесь, на Западе, за работу никому орденов не дают. К самоотверженному труду не призывают. А крестьян, например, даже просят и даже платят им деньги, чтоб они сильно не перетруждались и не производили столько товаров, сколько население съесть не может.

Здесь передовики производства не заседают на сессиях и партсобраниях, не обмениваются опытом, потому что им некогда, они работают. И за труд свой получают не правительственные награды, а деньги.

Конечно, к деньгам у многих из нас отношение неоднозначное. Я сам не люблю людей, которые никаких других ценностей в жизни не видят. Но все же деньги, заработанные честным трудом, являются не только материальным, но и моральным вознаграждением. Человек может купить ту вещь, которая ему нравится, может поехать туда, куда ему нравится, то есть не прозябать в унижительной бедности и не пользоваться постыдными привилегиями, а вести достойный образ жизни, который заслужил своим трудом.

ИЗ ЦИКЛА «РАССКАЗЫ О КОММУНИСТАХ»

Простая труженица

Коммунисты... Об этой необыкновенной породе людей много написано и рассказано — и романов, и пьес, и киносценариев. На образе коммуниста воспитаны поколения. Каждый советский человек знает, что коммунисты — это люди особого склада. Из них можно делать гвозди, можно заливать глотки расплавленным свинцом, можно вырезать на спинах звезды, можно жечь в паровозных топках, а они хоть бы что. Или вообще молчат, или, если уж сильно припечет, выкрикивают какие-ни-

будь гордые слова о конечном торжестве своего дела и поют «Интернационал».

Однако до сих пор еще не все читатели хотят быть похожими на Павку Корчагина или Александра Матросова. Некоторым почему-то ближе какие-нибудь беспартийные типы, вроде Наташи Ростовской, Пьера Безухова или князя Мышкина. Лично я в литературе вообще предпочитаю положительным героям отрицательных. Мой, например, любимый герой — Собакевич, который говорил, что во всем городе только один прокурор хороший человек, да и тот, если разобраться, порядочная свинья. Или насчет еды: «По мне лягушку хоть сахаром облепи, я ее все равно есть не буду». Эти слова я бы отнес и к образу коммуниста, который уже скоро семьдесят лет, как сахаром облепляют, а он от этого съедобней не стал.

Коммунисты... Это, если судить по советской литературе, стойкие, непримиримые борцы за народное счастье. Им свойственна беззаветная преданность своему делу, жертвенность и товарищеское отношение к женщине. И в труде они первые, и в бою они первые. А если случилось так, что надо за что-то отдать свою жизнь, то, как говорилось в стихах, «и тогда еле слышно сказал комиссар: — Коммунисты, вперед! Коммунисты, вперед!»

Я, конечно, по возрасту в больших сражениях не участвовал, но в обыденной жизни мне чаще всего попадались коммунисты, имевшие мало сходства с изображенными в литературе. Или это серый чиновник с отвислыми щеками, который волком смотрит на нижестоящего и беззастенчиво лебезит перед вышестоящим, или воровато выходящий с туго набитым портфелем из распределителя, или и вовсе какой-нибудь запуганный человечиска, который ни по какому более или менее серьезному поводу и слова никогда не скажет. «Что вы, что вы, я не могу, мне за это попадет, я же коммунист». Я уже не говорю о всяком ворье из тех, кто за казенный счет строил дачи, кто вагонами продавал за границу икру или иконы, кто устраивал притоны разврата. Такими вещами занимаются обычно коммунисты очень высокого ранга, но мне сейчас хотелось бы рассказать об одном из рядовых.

Как-то мы с женой приехали в один южный приморский город. Возле так называемого квартирному бюро

на пыльной площади толпился народ. С одной стороны частники, с другой — дикари. Не те дикари, которые ходят в одеждах из перьев, а обыкновенные советские дикари, у которых нет путевок в санатории и которых в гостиницах не пускают и на порог. Мы тоже в этой толпе оказались, и тут же нас атаковали жадные до наживы домо- и квартировладельцы. «Вам нужна комната? На сколько?» Оказалось, что мы не очень выгодные клиенты, потому что приехали только на неделю, а частники предпочитали таких, которые на сезон или хотя бы на месяц. Когда уже все от нас отказались, появился еще один, дохлый пожилой мужичонка с впалой грудью и стальными зубами. Он робко приблизился к нам: «Нужна комната? На сколько? На неделю? Нет, на неделю нельзя». И отошел. Но отошел неуверенно, и я понял, что на него можно давить. Я пошел за ним и спросил: «А может быть, можно и на неделю?» Он посмотрел на меня и обреченно кивнул головой: «Ну, пожалуйста». Потом увидел, что мы на машине, и сказал опять: «Вы на машине? Нет, на машине нельзя» «А может быть, можно?» И он опять кивнул, «Ну, пожалуйста». Я потом заметил, что он всегда сначала отказывает, а потом говорит: «Ну, пожалуйста». Мы его так Нупожалуйста и прозвали.

Мы спросили, далеко ли ехать. Он сказал, нет, километра два—три.

— Я вам покажу. Я буду впереди бежать, а вы ежайте за мной.

— Ну, почему же вы будете бежать впереди, — удивился я, — садитесь, поедем вместе.

— Да, нет, ну зачем я буду садиться, как-то неудобно.

После того, как я ему объяснил, что нам еще более неудобно будет, если он побежит впереди, он сел на переднее сиденье (жена перебралась назад) и съезжился, стараясь занять как можно меньше места.

Оказалось, что Нупожалуйста живет на окраине, на пыльной ухабистой улице, по которой после дождя можно проехать разве что на тракторе. Дом, однако, был большой и добротный. На крыльце стояла женщина лет сорока могучего телосложения, в коротком и рваном сарафане. И со вкусом, звучно шлепала комаров на загорелых плечах и на ляжках.

— Ты кого это привез? — закричала она, глядя то

на мужа, то на нас, как будто мы были совсем никчемным товаром.

— Дачников, Егоровна, привез на неделю.

— Дачников? — повторила она. — На неделю? Та шо это за дачники на неделю? Та шо ж там других не було?

— Не было, Егоровна, — испуганно отвечал Нупожалуйста. — Только эти и были.

— Ну, ладно. — Она посмотрела на нас более доброжелательно. — Так шо вы люди богатые, на машине, у меня есть для вас зала за десять рублей.

— В неделю? — спросила моя жена.

— Та, не, у день.

— Десять рублей это дорого, — сказал я.

— Та не дорого, — убивая комаров на ноге, сказала она.

— И к тому же у вас комары.

— Та яки комары? — сказала она и щелкнул себя по щеке. — Хиба ж это комары?

— А что же это?

— Та так. Насекомые.

Как-то мы все же поладили и вечером на террасе угощали наших хозяев купленным у них же вином. Нупожалуйста в основном молчал, говорила Егоровна.

— Я, Володя, работаю ото ж бригадиром на винограднику. Ото ж така важка, така тяжола работа, Володя. З пяти утра и до самого вечера. Така важка, така трудна работа. Но я люблю важко работать. Когда важко поработаешь, тогда ты собой тоже довольный бываешь.

Дом их, довольно большой, был забит отдыхающими. Мы снимали отдельную комнату. В других комнатах, как в общежитии, койки стояли рядами, каждая стоила два рубля в сутки.

Утром мы проснулись рано, солнце стояло уже высоко. Я вышел в сад к умывальнику и увидел в глубине сада сарай. Дверь сарая открыта, а внутри сарая на раскладушке ничком, в том же самом рваном высоко задравшемся сарафане лежит наша хозяйка. Надо же, на работу не пошла. Видимо, заболела.

После завтрака я опять увидел ее: она стояла у сарая, потягиваясь как штангист перед взятием веса.

— Вы сегодня не на работе, — спросил я. — Заболели?

— Та ни. У мене ж ото сэссия.

— Сессия? — удивился я. — Сельсовета?

— Та ни. Ото ж горсовета. Я там у культурной комиссии состою.

Мы с женой уехали на пляж, потом были в кино, потом в ресторане, вернулись — хозяйева уже спали. Утром выхожу в сад, вижу — хозяйка опять спит в сарайчике.

— Опять сессия? — спросил я, когда она вышла.

— Та ни. Ото ж партсобрание.

На третий день у нее было совещание передовиков производства. На четвертый что-то еще. В этом доме понастоящему трудился только ее беспартийный муж. Утром, пока она спала, он по ее приказу уже бежал, как он говорил, «на шоссу» ловить новых квартирантов. А потом в саду что-то строгал, пилил, окапывал деревья.

Поскольку мы уходили из дома раньше нее, а возвращались позже, я никогда не видел нашу хозяйку в достойном ее положения костюме. Всегда в одном и том же сарафане.

Она была словоохотлива и много раз повторяла, что любит тяжелую работу. Что работала во время войны на Алтае шофером и оттуда привезла своего теперешнего мужа. В партию вступила недавно.

— Мэне ж ото парторг наш, Иван Семенович, вызвал. «Ты что ж это, говорит, Егоровна, така хороша работница, а не в партии. Невдобно все же». Ну, я ж ото подумала, Володя, шо як мы, передовые труженики, не будем поступать у партию, то тогда хто ж? Тем более шо партия наша, она же руководит народом, она ж мудрая, миролюбивая, так же ж, Володя?

Я ей сказал, что я литератор, и она, выражаясь в партийном духе, видимо, рассчитывала, что я о ней что-нибудь напишу. Впрочем о ней уже и без меня писали. И в местной газете, и в столичном «Огоньке».

А ее муж Нупожалуйста, беспартийный пенсионер, уязвленный своим ничтожным на фоне жены положением, был у них в семье вроде домашнего диссидента. Молчал, молчал, а потом взрывался.

— Правильная политика, говоришь? Правильная? Никто не спорит, что правильная. А почему ж с китайцами-то поссорились? Член партии, а не знаешь. А потому поссорились, что они нам польты по сорок рублей

продавали, а потом в наш магазин заходят и видят те же самые польты висят по сто двадцать.

— Та ты ничего не понимаешь, — махала она руками и просила меня: — Ты, Володя, этого не записывай, потому шо он же глупый и отсталый.

Она мне свои тайны раскрывала постепенно. Накануне нашего отъезда мы опять пили вино на террасе.

— Ото ж стыдно сказать, Володя, но мэнэ ж ото орденем наградылы.

— Каким орденем? — я уже не удивлялся, но все-таки подумал, что орденем каким-нибудь маленьким.

— Та ото ж Лэнина. Меня в Краснодаре Полянский принимал, пальто подавал. Если бы говорит, до того, Егоровна, у тебя б не медаль, а хотя б «Знак почета», мы б тебе сейчас Героя дали.

Мы прожили в этом доме не неделю, а полторы. В последнее утро мы проснулись от шума. На крыльце галдели человек десять студентов, которых хозяин успел уже притащить с «шоссы» на наше место. Прощаясь с хозяином, я спросил: «А где Егоровна?» «Ушла на виноградник», — сказал он.

Это был ее первый выход на работу за все полторы недели.

Все эти дни мы провели или дома, или на берегу. А тут первый раз ехали через центр города. И в скверике перед зданием горкома увидели шеренгу портретов, над которыми было написано: «Лучшие люди города».

На четвертом слева портрете красовалась наша хозяйка. В темном костюме, в белой блузке, с орденем Ленина на высокой груди.

Ченчеватель из Херсона

Или вот такая история. Сидим мы как-то вечером на кухне у нас, в Москве, моя жена, я и еще одна наша приятельница. Известная, между прочим, актриса. Сидим, пьем чай, разговариваем. Актриса нам о телекинезе что-то рассказывает. О людях, которые взглядом могут даже самые тяжелые вещи передвигать. Годов, примерно с шестидесятых такие увлечения очень в моду вошли: телекинез, спиритические сеансы, телепатическое лечение на расстоянии.

Когда общественной жизни нет, критиковать власти или хотя бы рассказывать анекдоты страшновато, раз-

влечения (театр, кино, телевидение) сплошь пронизаны пропагандой, а в книжных магазинах нет ничего, кроме томов скучных, изложенных нечеловеческим языком речей генерального секретаря и других членов политбюро, — тогда самое время удариться в мистику. Дело вроде бы не совсем советское, но в отличие от, допустим, распространения или хотя бы чтения самиздата, безопасное.

Сидим, разговариваем, вдруг звонок в дверь. Иду открывать, мысленно по дороге чертыхаясь: кого еще там нелегкая на ночь глядя принесла? Открываю, на пороге стоит незнакомый мне человек в форме торгового моряка. «Здрасьте, а я к вам!» Оказывается, моряк этот по дороге из Мурманска в Херсон решил в Москве остановиться. А брат его из Херсона раньше со мной в одном классе учился. Несколько лет назад брат этот у меня уже как-то ночевал, очень ему у нас понравилось, а теперь вот и другой брат подъехал. Надо сказать, что в Москве появление ночного гостя из провинции — явление не такое уж редкое. И объясняется это не столько нахальством или жадностью этих самых провинциалов, сколько совершеннейшей невозможностью попасть простому человеку в московскую гостиницу. Посмотрел я на этого моряка, посмотрел, не очень мне пускать его на ночь хотелось, но и отказать не сумел: ночь, погода плохая, и все-таки с его братом в одном классе учился...

Ладно, говорю, что же делать, раз уж так получилось, входите, только уж другим своим братьям и товарищам из Херсонского пароходства моего адреса больше не давайте.

Сел он с нами за стол, вынул из портфеля бутылку «Посольской водки», в Мурманске, говорит, достал, банку сайры и на актрису, нашу гостью, с восхищением смотрит. Вчера он ее только по телевизору видел, а тут, понимаешь, такое везение. Будет о чем рассказать товарищам и в Мурманске, и в Херсоне. И чтобы не ударить лицом в грязь, моряк тут же принялся рассказывать о всяких своих странствиях по белу свету в качестве механика какого-то сухогруза. И как их застиг туман в проливе Лаперуза, и как качало их у берегов Новой Зеландии, и как они на мель сели где-то у берегов не то Марселя, не то Катании.

И как пошел названиями портов всяких сыпать, так не только мы с женой, а и наша актриса рот раскрыла,

ошеломленная. Она хоть и выездная была, но и ее опыт заграничных поездок (один раз Париж, один раз Будапешт, два раза Восточный Берлин и четыре раза София) сейчас ей самой чепухой показался.

А моряк, завладев нашим вниманием, и совсем разошелся. Босфор, говорит, Дарданеллы, Джорджес Банка, такие, знаете ли, названия, ну прямо Жюль Верн.

А форма на нем красивая, нашивки блестят, пуговицы золотые и на руке часы с тройным циферблатом. И он на эти часы довольно часто поглядывает, но не потому, что хочет водку скорее допить и спать идти, а потому, что догадывается, что мы раньше таких часов и не видели. И когда он в очередной раз на часы посмотрел, я у него все-таки спросил, где же он такие замечательные часы купил. «Это, говорит, я в Лас Палмас сченчевал». И тут же зажигалку вынул, а на ней девушка нарисована. Прямо держишь зажигалку — девушка в купальнике, перевернешь — она без. «А это, — говорит он уже без моего вопроса, — я сченчевал в Амстердаме». Очень это было нам все интересно, но только слова этого «ченчевать» я прежде никогда не слыхивал. И спросил, что оно означает.

— Чейндж! — сказал моряк твердо и поставил рюмку на стол. — Английский в школе учил? Чейндж. Обмен, значит. Мы когда в загранку уходим, покупаем в магазинах все, что есть. Часы, духи, матрешек, мыло, булавки, пуговицы, короче говоря все, что под руку попадется.

— И неужели на эти наши товары можно что-нибудь выменять?

— Еще как можно! Конечно, где-нибудь в Гамбурге или Ванкувере такой товар не идет. Но мы ж не только туда ездим. Мы и странам третьего мира помогаем. А уж в этих-то странах...

Воспоминания об этих странах почему-то вызвало в нем такой приступ смеха, что он чуть под стол не свалился, но я его вовремя подхватил. Придя в себя, стал он рассказывать, где чего ченчевал. Самые приятные воспоминания были у него связаны с Суэцким каналом.

— Идешь, значит, Суэцким каналом, а на берегу бедуины стоят. Мы всех арабов бедуинами называем. Кричишь ему: «Чейндж!» Он отвечает: «Чейндж!» Ты ему на веревке свой товар опускаешь, он тебе на палке свой поднимает. Тут надо быть очень бдительным. Если

ты ему раньше свой товар опустил, он его схватил и бежать. Все. Чейндж закончился. Если он раньше поднял, ты схватил, тоже чейнджу конец. Тут надо все с умом делать. А то я помню, везли мы как-то...

И он рассказал историю, как везли они как-то партию газиков-вездеходов, опять же для помощи странам третьего мира. Сначала колеса снимали, сченчевали. Потом спидометры повытаскивали, сченчевали. Фары пооткручивали, сченчевали.

— А как же, — спрашиваю, — те, кому вы везли газики, они вам претензии не предъявили?

— Да вы что? Да какие претензии? Это же помощь. Это же бескорыстно, чего дают, то бери. Да газики это что? Мы и с судна всякие вещи ченчуем. Снимешь спасательный круг — чейндж! Прибор какой-нибудь отвернешь — чейндж! А однажды ничего под рукой не оказалось, так и якорь латунный пришлось сченчевать. Думаете, просто было? Его целиком не выкинешь, бедуинам поднять его нечем, он же тяжелый. Так мы его сначала в каюту втащили и там на куски пилили, ножовку смазывали, чтоб не пищала. А потом куски в иллюминатор кидали. А бедуины в аквалангах за ними ныряли.

И рассказывал так до поздней ночи, где был и что на что ченчевал, и нас уморил, да и сам притомился. Стал зевать и на часы поглядывать, но уже не с тем, чтобы видом их поразить, а намекая, что пора и в постель. Но когда я спросил его, не член ли он партии, он опять востепенулся, плечи расправил, щеки надул и сказал с достоинством:

— Да-а, коммунист.

Партийная честь

Одного кинорежиссера давным-давно, еще в пятидесятых годах записали в очередь на квартиру. А жилищного строительства тогда в Москве не было почти никакого. И очередь двигалась ужасно медленно. Но все же двигалась, и режиссер, наконец, оказался в ней первым. И стал уже с женой воображать, как они получат ордер, как мебель расставят, куда кровать, куда телевизор. Месяц воображают, два воображают, полгода, год, он в очереди первый, а она то ли вовсе не движется, то ли движется как-то боком. Режиссер удивляется, но в чем дело, догадаться не может. Наконец кто-то, кто поумнее, ему говорит: «Ты, будешь в этой очереди сто-

ять до второго пришествия или до тех пор, пока какому-нибудь нужному человеку на лапу не дашь». А режиссер был человек принципиальный, хотя в партии и не состоял. «Нет, — говорит, — ни за что! Взятки никогда не давал и давать не буду. Взятки, — говорит, унижают и того кто берет, и того, кто дает». «Хорошо, — говорят ему, — тогда стой в очереди неуниженный». Ну он и стоит. Год стоит, два стоит, жена, само собой, пилит. Капризная, не хочет дальше существовать в коммуналке, не хочет по утрам стоять в очередь в уборную или к плите, чтобы чайник поставить. И надоело ей, видите ли, следить на кухне, чтобы соседи добрые в суп не наплевали или чего другого не сделали. Пилит она, пилит мужа, принципы его постепенно испаряются. Наконец он решился на преступление. «Ладно, — думает, — раз такое дело, один раз дам все-таки взятку, а больше уж никогда не буду». Был он в этом деле неопытный, но люди добрые помогли, свели его с одним значительным лицом из Моссовета. Сошлись они в ресторане «Арагви». Режиссер заказал того-сего: грузинский коньяк, лобio, сациви, шашлык по-карски. Выпили, закусили, и режиссер этому лицу, которое перед ним после коньяка расплывалось, прямо так говорит: «Знаете, — говорит, — я живу весь в искусстве, от обыденной жизни оторван, взятки еще никому никогда не давал и как это делать, не знаю. А вы, человек опытный, не могли бы мне подсказать, кому чего я должен дать, сколько, когда и где?» Лицо еще коньяку отхлебнуло, шашлыком закушало, салфеткой культурно губы оттерло и к режиссеру через стол перегнулось. «Мне, — говорит, — пять тысяч, здесь, сейчас».

Хоть и шепотом, но четко, без недомолвок.

«Хорошо, — говорит режиссер и достает из кармана бумажник. Но, впрочем, тут же несколько засомневался. «А что, — говорит, — если я вам эти пять тысяч вручу, а вы мне квартиру опять не дадите?»

Тут лицо от такого чудовищного предположения опешило совершенно и чуть шашлыком даже не подавилось. Даже слезы на глазах появились. Даже голос задрожал. «Да что ты! — говорит. — Да как ты мог на меня так подумать? Да ведь я ж коммунист!»

И ведь на самом деле честный человек оказался. И месяца не прошло, как режиссеру ордер выписали. И зажили они с женой в новой квартире припеваючи.

Пока не разошлись. Правда, к тому времени с квартирным вопросом полегче стало. Так что режиссер эту квартиру оставил старой жене, а с новой женой в кооператив записался. Там, ясное дело, тоже надо было на лапу дать, но режиссер был человек уже опытный и сам вступил в партию. Так что он знал уже точно, кому, чего, когда и где.

Как искривить линию партии?

Ленин однажды сказал, что настоящим коммунистом может быть только очень образованный человек, овладевший самыми передовыми знаниями своего века. Среди современных советских коммунистов есть и такие, которые более или менее соответствуют ленинскому идеалу. Но коммунист коммунисту рознь. Рядовой коммунист может быть рабочим, колхозником, академиком. Он платит членские взносы, сидит на собраниях, выполняет важные или неважные партийные поручения, но, в основном, занимается своей профессиональной деятельностью. Он может быть очень уважаемым в своей области специалистом, получать большую зарплату и много привилегий, но все-таки к высшей касте он не принадлежит. Высшая каста — это номенклатура. Это профессиональные партийные работники от районного уровня до членов Политбюро. Партийный работник может руководить любой отраслью промышленности, сельского хозяйства, науки или искусства, независимо от направления и уровня своей подготовки.

Когда я учился в десятом классе вечерней школы в Крыму, мне было двадцать три года, то есть для школьника уже многовато. Но среди моих одноклассников некоторые были и постарше. Самому старшему было сорок шесть лет, мне он, естественно, казался стариком. Звали его, допустим, Еременко. В школу он всегда приходил в строгом сером костюме — длинный пиджак, широкие брюки и туго затянутый глостук. Сидел на задней парте. Когда вызывали к доске, выходил и не отвечал ни на какие вопросы. Молчал, по выражению одной нашей учительницы, как партизан на допросе. (Понятно, что образ советского партизана-коммуниста был известен учительнице не по жизни, а по литературе).

У доски на Еременко было жалко смотреть. Ему задают прямой вопрос — молчит. Задают вопрос наводя-

щий — молчит. Краснеет, потеет и ни слова. Учительница спрашивает: «Может быть, вы не выучили?» Молчит. А если уж раскрывал рот, то что-нибудь такое ляпал, что хоть стой, хоть падай. Однажды он не мог показать на карте, где проходит граница между Европой и Азией, а на вопрос учительницы, где же находимся мы, напрягся и ответил: «В Азии».

Преподаватели просто не знали, что с ним делать. Учительница химии была агрессивнее других и говорила, что его не выпустит. Другие были более либеральны. Не знаю, боялись ли они его, но смущались всегда, все-таки человек-то он был солидный. Они тихо говорили: «Садитесь, Еременко». И, смущаясь, ставили двойку. Или вообще ничего не ставили: «Ну, хорошо, я вам сегодня оценку ставить не буду, но уж к следующему разу, пожалуйста, подготовьтесь».

Ученики, конечно, везде бывают разные. Бывают блестящие, хорошие, средние и плохие. Но ученики такой тупости до десятого класса, как правило, не доходят. Дотягивают кое-как до четвертого, ну до седьмого, а потом или его выпихивают из школы или сам он выпихивается, предпочитая любой физический труд непосильному для него напряжению интеллекта. И Еременко будь он простой ученик, до десятого класса никак бы не добрался, но в том-то и дело, что он был не простой ученик, а номенклатурный: заведовал отделом в райкоме КПСС, и для продвижения по службе ему нужно было по крайней мере среднее образование. Правда, он учился не в том районе, которым правил, а в соседнем, сельском. В своем районе ему, как он сам говорил, партийная этика учиться не позволяла.

Обычно представители номенклатуры держатся подальше от простых смертных, но мы с Еременко сошлись, потому что я ему помогал по химии и математике. Потратив сколько-то бесполезных часов, мы иногда даже выпивали вместе, и тогда он был со мной вполне откровенен. Он с возмущением отзывался о нашей химичке: «А что это она позволяет себе так со мной говорить? Она, наверное, не представляет себе, кто я такой. Да я в нашем районе могу любого директора школы вызвать к себе в кабинет, поставить по стойке «смирно», и он будет стоять хоть два часа».

Как-то я спросил его, не трудно ли ему работать на столь важной должности. Ответ его я запомнил на всю

жизнь: «Да нет, не трудно. В нашей работе главное — не искривить линию партии. А как ее искривишь?»

Он учился одинаково плохо по всем предметам, включая историю. Но наша учительница истории (она была моложе меня) ушла в декрет, а ее стала подменять другая, которая работала заведующей отделом народного образования в том же районе, где начальствовал Еременко.

Это была очень полная и очень глупая дама. Она свой собственный предмет знала не шибко и вместо всяких исторических фактов толкала нам политинформацию по вопросам текущей политики КПСС. Говорила, что международные империалисты задумали то-то и то-то, но это чревато для них самих. Империалисты угрожают нам атомным оружием, но это чревато для них самих. Империалисты хотят разрушить лагерь социализма, но это чревато для них самих.

Новая учительница на своей основной работе полностью от Еременко зависела и поэтому на уроках была к нему благосклонна. Она вызывала его к доске и спрашивала по такой схеме:

— Скажите, товарищ Еременко, когда произошел пятнадцатый съезд партии?

Молчание.

— В одна тысяча девятьсот двадцать седьмом году. Правильно?

— Правильно, — отвечал Еременко. — В одна тысяча девятьсот двадцать седьмом году.

— Ну, что ж, — заключала учительница, — вы подготовились отлично, я ставлю вам пять.

С ее приходом в нашу школу он воспрянул духом и даже слегка зазнался.

— Уж что-что, а историю я знаю, — говорил он мне.

Между учительницей и учеником установились довольно своеобразные отношения. Вечером она вызывала его к доске, а днем он вызывал ее к себе в кабинет и очень интересовался состоянием системы образования в подвластном ему районе. Обзор системы образования заканчивался маленькими просьбами со стороны учительницы, которые ученик охотно рассматривал. Он сам мне рассказывал, как она однажды, очень смущаясь, попросила выписать ей колхозного поросеночка. Он позвонил в какой-то колхоз, и в тот же день учительнице были доставлены на дом две огромных свиньи по рублю

пятьдесят штука на старые деньги. То есть, по пятнадцать копеек на нынешние.

В конце концов Еременко школу закончил и получил аттестат, в котором у него была пятерка по истории и выведенные с большой натяжкой тройки по всем остальным предметам, включая химию. Теперь перед ним открылся путь для дальнейшего, уже специального партийного, образования и продвижения по служебной лестнице. Вооруженный новыми знаниями, он мог смело руководить свиноводством, овцеводством или искусством. Несколько лет спустя я узнал, что Еременко повышен в должности и переведен в обком КПСС, где руководит промышленностью. Всякой промышленностью, в том числе, разумеется, и химической.

БЕСПЛАТНО

Бесплатное образование

Советских людей, выезжающих по каким-то надобностям за рубеж, учат остерегаться провокационных вопросов и находчиво на них отвечать. Проявлять находчивость иногда очень трудно, потому что какой вопрос ни возьми, все — провокация. Жилищные условия, зарплата, продукты питания, права человека, диссиденты, Сахаров, Афганистан. От ответов на эти вопросы следует уклоняться или противопоставлять им утверждения о преимуществах социалистического строя, среди которых — бесплатное образование, бесплатная медицина и почти бесплатные квартиры. Уж эти-то утверждения кажутся настолько бесспорными, что мне во время моих лекций на Западе студенты, симпатизирующие Советскому Союзу, часто и не без ехидства задают один и тот же вопрос: «Скажите, а сколько вам стоило ваше образование?» На что я охотно отвечаю, что оно мне ничего не стоило, потому что я его не получил. Мои родители, интеллигентные и уважающие образование люди, элементарно не могли меня прокормить и поэтому уже в раннем детстве я, как и миллионы моих сверстников, вынужден был бросить школу и пойти работать ради куска хлеба. В нормальной школе я окончил всего один класс — первый. Во втором и третьем я не учился. Четвертый кончил, работая в колхозе. Пятый пропустил. В шестом и седьмом учился вечерами, после восьмича-

сового рабочего дня. Затем я был призван на четыре года в армию, где учиться не разрешали ни вечером, ни заочно. На все мои обращения по этому поводу к начальству я получал один и тот же ответ: «Вы сюда пришли родину защищать, а не учиться». После армии, работая, я окончил десятый класс (восьмой и девятый пропустил), учился полтора года в пединституте, но ушел из него по той же причине — вынужден был зарабатывать деньги на жизнь.

Я принадлежу к поколению, детские годы которого пришлись на войну. Сейчас, конечно, полегче, и среднее образование молодые люди как правило получают. Но дать им высшее образование далеко не всем родителям по карману.

Образование бесплатное, но еда, одежда, портфели, учебники стоят денег. Школьной подготовки для поступления в более или менее приличный институт недостаточно, и родители вынуждены нанимать своим детям репетиторов. Репетиторы берут за уроки до десяти рублей в час, а не каждый родитель зарабатывает и пять рублей в день.*

Есть много институтов, куда нельзя поступить без взятки, а это сразу несколько сот рублей.

Кроме материальных причин, есть другие, специфические. В некоторые высшие учебные заведения (например, МГУ) евреев практически не принимают. В некоторые (например, институт международных отношений) вообще могут поступить только дети партийных бюрократов, дипломатов, высших военных и кагебешников.

Официальное отношение властей к образованию — презрительное. Это презрение пропаганда воспитывает и в школьниках. Советская печать полна негодующих статей и фельетонов о молодых людях, которые, вместо того, чтобы сразу идти к станку или в коровник, стремятся в институты и университеты. Законы ставят перед выпускником школы препятствие в виде почти обязательного двухгодичного трудового стажа. Отработав два года на заводе или в колхозе, или прослужив в армии, бывший школьник забывает, чему его учили, и часто вообще теряет интерес к продолжению образования, тем более, что ничего хорошего оно ему не сулит: зар-

* Здесь и ниже цены, естественно, 70-х годов.

плата рядового инженера, врача, бухгалтера или учителя гораздо ниже, чем заработок квалифицированного рабочего.

Конечно, даже несмотря на все эти препятствия, некоторые дети простых и малообеспеченных родителей тоже получают высшее образование, но для этого им надо проявить очень большие способности, очень сильную тягу к знаниям и готовность к самопожертвованию. Пять лет в институте они ходят полуголодные и полураздетые, подрабатывая на жизнь разгрузкой вагонов или переборкой гнилых овощей на базах. И только такой ценой получают высшее образование, которым потом их всю жизнь попрекают и требуют благодарности.

Бесплатная медицина

Каждый советский человек, заболев, может пойти в поликлинику, может вызвать врача на дом, может вызвать скорую помощь, это ему ничего не стоит. Если попадет в больницу, ему счета за лечение потом не пришлют. Но...

В 70-м году ко мне в Москву приехала из провинции моя мать. Выглядела она ужасно: худая, желтая, слабая. Я спросил, что случилось. Она сама не знала что. Боли в желудке, полная потеря аппетита, вес неудержимо падает.

А что говорят врачи? А врачи ей говорят, что у нее весенний авитаминоз, прописали какие-то витамины и сказали: «Ешьте для поднятия аппетита селедочку».

Я, конечно, в медицине не очень сведущ. Но я жил в Москве, был членом Союза писателей, у меня было много самых разнообразных, в том числе и медицинских, связей, иначе говоря, блата. Мне удалось устроить мать в Боткинскую больницу. Там ей сделали рентген и сразу же увидели то, чего не увидеть было нельзя, — огромную опухоль в желудке. Опухоль, к счастью, оказалась доброкачественной. Мать прооперировали. Она прожила еще восемь лет и умерла от сердечной недостаточности. А если бы у нее не было сына в Москве?

Допустим, это случайность. В провинции попался плохой, недостаточно квалифицированный или недобросовестный врач, а вообще это нетипично. Но через два года с моим отцом случилось то же самое. За эти два года мои родители переехали из одного города в другой. И там у отца появились боли в районе шеи, с правой

стороны. И небольшая опухоль. Врач посмотрел и сказал: лимфоаденит — и прописал прогревание. Отца прогревали, опухоль росла, боли усиливались, трудно стало глотать, а его все прогревали и прогревали. Наконец отец по настоянию матери и сестры приехал в Москву. Первый же врач, который его посмотрел, сказал: рак. Потом его смотрели другие врачи, делали рентген, брали биопсию. И установили окончательный диагноз: рак корня языка четвертой стадии. То есть последней. Надо было устраивать отца в больницу. Пользуясь всеми возможными знакомствами, я нашел, как говорится, ход на Каширку, так в просторечье называют известный московский онкологический центр. Это целый больничный город с огромными корпусами, выглядит (тут уж ничего не поделаешь) пугающе и производит впечатление фабрики смерти. Приехали мы туда, пошли к какой-то даме-профессору с запиской от другого профессора. Дама послала нас к мужчине-профессору. Тот предложил записаться и сдать анализы. Записались, сдали анализы, взяли у отца опять биопсию, вызывают меня в какой-то кабинет. Там очередь. Люди заходят по одному или по два, выходят в слезах, иногда с воплями. Ко мне подошел какой-то человек со значком заслуженного мастера спорта. Стал жаловаться. Он приехал из Ташкента, где его отказались лечить, у него вся надежда была на эту Каширку, а здесь не берут. Ни в какую. «Когда я был им нужен, — сказал он, — тогда меня от насморка лечили лучшие профессора. А теперь я не нужен. А что вы думаете, — спросил он меня, — если я упаду на улице, должна же меня скорая помощь доставить в больницу?» Я не знал, что ему сказать, хотя тоже думал, что должна.

Подошла моя очередь. Я оставил отца в коридоре и вошел в кабинет. Врач говорил со мной торопливо. «У вашего отца, — сказал он, — рак в запущенном состоянии. Он неизлечим. Ему жить осталось месяца три-четыре от силы. Вы должны приготовиться, эти месяцы будут очень тяжелыми и мучительными. Мы его взять не можем. Безднадежных мы не берем. Лечить их бесполезно, а статистику они портят».

«Но что же делать? — спросил я. — Надо же его все-таки как-то лечить». Врач мне сказал, что я могу попытаться устроить отца в больницу в городе, где он живет, но и там его вряд ли возьмут. Затем он выписал

бумагу, в которой было написано: «Нуждается в симптоматическом лечении по месту жительства».

Мы с женой обошли несколько московских больниц, употребили все связи, подняли на ноги всех друзей и знакомых. В конце концов нашли одного врача, который работал в загородной больнице. К счастью, он оказался моим читателем и взял отца на лечение. Отца стали облучать, но не кварцевыми лучами, а радиоактивными. И произошло чудо. Опухоль стала исчезать. Через три недели отец был выписан из больницы под наблюдение врачей.

Через три года у него был рецидив болезни. Мой знакомый врач был в отпуске. Поэтому мы обошли опять несколько больниц, начиная с той же Каширки, и опять отца никуда не брали. Даже несмотря на наши сообщения о первом результате лечения. Пришлось дожидаться, когда наш знакомый вернется из отпуска. Отец прошел второй курс облучения. После чего прожил еще пятнадцать лет и умер не от рака.

Лечение бесплатное, поэтому каждого человека им попрекают. А если пенсионер, если отработал и уже государству не нужен, то и насчет лечения государство уже не очень-то беспокоится.

Мой дядя жил в областном городе на Украине. Когда ему стало плохо, родственники позвонили в «Скорую помощь». Там спросили, а сколько ему лет. — Семьдесят. — Мы к таким не ездим, — сказали в «Скорой помощи». Правда, после устроенного им скандала, приехали, но было уже поздно.

А вот бабушке моей повезло. Когда ей перевалило да девяносто, врачи стали уделять ей внимание. Участковый врач ей сказала: «Вы уж, пожалуйста, не болейте, а если что, вызывайте, я сразу приду. Вы у нас теперь долгожительница, вы мне нужны для статистики».

Медицина бесплатная, но лекарств — нет. Некоторые из них стоят очень и очень дорого.

А на сколько-нибудь серьезную операцию бедному человеку лучше вообще не ложиться. Под подушкой надо всегда иметь разменные рубли. Человек только что от наркоза очнулся, лезет под подушку и протягивает нянечке рубль. Губы смочить — рубль, простыню поправить — рубль, судно принести — рубль.

А в иных больницах, где персонал избалован, и трешку. Иначе никто не подойдет, и человек, перенесший

сложнейшую операцию, может не перенести послеоперационного ухода.

Подавляющее большинство врачей ограничивается мизерной зарплатой и мелкими подачками от больных (например, бутылкой коньяка за серьезную операцию). Не только государство, но и пациенты труд врача оценивают крайне низко. Полупьяный автомеханик, чиня мою машину, рассказал, что его отец тяжело болен, лежит в больнице, предстоит операция, но врачи на успех ее не надеются. Автомеханик говорил с хирургом и узнал, что тому нужно починить «Запорожец» — сломалось сцепление. Не сомневаясь в своей широте, механик сказал хирургу так: «Вот вылечишь отца, я тебе сцепление поставлю по госцене».

Некоторые врачи, видя всеобщую коррупцию, взяточничество и воровство, тоже не хотят жить как нищие и начинают брать взятки. Одни берут умеренно, но появились неумеренные и даже очень. Я знаю одного профессора, который в государственной больнице за операцию меньше пятисот рублей не берет. И никаких страховок против таких разбойников у советского человека нет.

Так что медицина в Советском Союзе бесплатная, но доступна не каждому.

Почти бесплатные квартиры

То, что квартиры в Советском Союзе стоят дешево, это всем известно. Квартплата мизерная и чуть ли за всю историю советской власти ни разу не поднималась.

Но что это за квартиры и стоят ли они больше того, чем берет за них государство?

Сейчас, конечно, с жильем стало лучше. С середины 50-х годов государство стало проявлять реальную заботу о решении так называемого жилищного кризиса. Теперь в Москве большинство моих знакомых живут в отдельных благоустроенных квартирах со всеми удобствами. А вот когда-то... Впрочем, расскажу по порядку.

Я приехал в Москву в 56-м году. Я писал стихи и надеялся, что в Москве мне легче удастся их напечатать, чем в провинции. Но что значит в Советском Союзе приехать в Москву? Надо же где-то остановиться, где-то жить. А с пропиской в Москве и вообще — трудно. Люди, чтобы прописаться, к каким только ухищрениям ни

прибегают. И взятки дают, и женятся фиктивно. А мне взятку давать было не из чего и жениться фиктивно не на ком, потому что за фикцию эту тоже деньги надо платить и немалые. Но у меня зато другой козырь был: мои рабочие специальности. С ними я на стройку плотником или слесарем устроиться мог бы. Но оказывается, не тут-то было. Как раз перед моим приездом Хрущев выступил с панической речью, что Москва перенаселется, народу слишком много в нее приезжает и правдами-неправдами в ней остается. И надо от дальнейшего нашествия ее как-нибудь оградить. Правила прописки и раньше были строгие, а тут и совсем зверские стали. Стал я ходить от одного отдела кадров к другому. Прихожу: «Вам плотник или слесарь нужен?» Конечно же, нужен. Любой начальник отдела кадров меня готов, как брата родного, обнять. Но он же знает, что неспроста я пришел, не с чистыми намерениями. И спрашивает: «А прописка у вас московская есть?» А у меня вот уж чего нет, того нет. Ну и до свиданья. А в милицию пойдешь, там и вовсе волком смотрят. Справки с места работы нет? Нет. Ну и катись отсюда.

Ну и качусь.

Жил я тогда в помещении довольно обширном. Несколько тысяч квадратных метров. Я имею в виду Курский вокзал. И между прочим, за жилье это не платил ни одной копейки. Правда, были некоторые неудобства. Народу много, скамейки заняты. Пристроиться где-нибудь под стенкой на гранитном полу, только заснешь, милиционер будит и на улицу вытаскивает — без билета здесь спать нельзя. Когда дождя нет, уйдешь куда-нибудь в скверик, чтобы на скамейке ночь провести, но и со скамейки гонят.

Промаялся я так несколько суток и вдруг однажды смотрю, объявление: «Принимаются рабочие для работы на железной дороге. Одинокие и семейные обеспечиваются общежитием. Прописка не обязательна. Адрес: станция Панки, ПМС — путевая машинная станция, значит.

Через полчаса я был на этой самой ПМС, а через час уже числился там рабочим. Прописывали там немосквичей, потому что ПМС вообще-то числилась в Рязанской области, а под Москвой была вся целиком в командировке.

Но я не об этом. Я о жилье. Оно было очень дешевое.

На нынешние деньги копеек может быть семьдесят. Но что за жилье?

Все, кто работал на станции, жили в вагончиках. Рабочие в теплушках, начальство — в пассажирских, старого, впрочем, может быть, даже дореволюционного образца. Начальство было в общем-то небольшое. Наши вагончики были разделены пополам. В каждой половине четырехместное купе с двухъярусными полками и кухня, в которой не было ничего, кроме дровяной печки. «Удобства» — все за углом. На этом предприятии была большая текучка кадров. И я тоже оказался кадром очень текучим. Но начальство с этой текучкой боролось и, желая привязать к себе рабочих надолго, обеспечивало жильем не только одиноких, но и семейных — и браки всячески поощряло. А жилье их, этих семейных, были те же полвагона. Я очень хорошо помню эти семейные жилища. Они отличались от наших тем, что были поаккуратнее. Занавесочки висели, герань на окошке цвела. Пеленками пахло. А теснота хуже, чем у нас, у каждого из нас всего-то имущества было по чемодану на брата, да и те в камере хранения. А семейные люди норовят обзавестись лишним: шкаф какой-никакой иметь, люльку для ребенка, а еще всякие тазы, кастрюли. Но поставить все это было негде. Поэтому и семейные жили без мебели, украшая свои жилища занавесками да дешевыми ковриками деревенского производства. С лебедями и пышногрудыми красавицами. Но и это жилье для некоторых было пределом мечтаний.

Я помню, у нас одна девушка очень хотела замуж. И вот во время перекуров она подсаживалась к кому-нибудь из нас, холостых парней, и заводила разговор о том, как трудно молодому мужчине жить одному, самому за собой ухаживать, самому стирать и готовить. А потом, заглядывая в глаза, улыбалась и вздыхала мечтательно: «А женатым-то полвагона дают!»

Я в этой железнодорожной организации проработал недолго. Москве нужны были строительные рабочие, и для них правила прописки вскоре были облегчены. Я перебрался в Москву и жил в общежитии. Общежитие было неплохое. Большие, по 32 квадратных метра, комнаты на восемь человек. Просторная кухня, газ, цивилизованные туалеты. Правда, горячей воды, а тем более ванной или душа не было. Но все-таки условия были вполне приличными.

Здесь начальство не только не поощряло браки между рабочими, но, напротив, всячески им препятствовало. Борьба начиналась загодя. Наши воспитательницы, две здоровые и физически развитые тетки, бегали по этажам и вокруг дома, вылавливали влюбленные пары в коридорах, на лестницах, в кустах, а некоторых вытаскивали и из постелей. Кричали на них, позорили их на собраниях и в стенгазете. Но все-таки инстинкт брал свое, и воспитательницы за всеми его проявлениями уследить не могла. Девушки и парни вступали чаще всего во временные отношения, но иногда и женились. Муж обычно поселялся у жены. Жилплощадь новой семьи ограничивалась размерами кровати. Эту кровать молодые отгораживали от остальной части комнаты простынями. Воспитательницы, а иногда и начальство врываются в эти комнаты, стаскивали простыни, скандалили, гнали мужей прочь. Когда молодые спрашивали, а что же им делать, начальство отвечало: «Что хотите, то и делайте. Не надо было жениться».

Надо было или не надо, но люди все же женились, производили на свет детей. Начальство в конце концов сдалось и образцовое холостяцкое общежитие переоборудовало в так называемое семейное общежитие. Комнаты были поделены пополам. В каждую шестнадцатиметровую половину вселяли по две семьи. Одна семья у окна, другая в проходной половине — у дверей. Отгораживались друг от друга теми же самыми простынями. И так, попутно размножаясь, жили годами.

Я в то время посещал литературное объединение, познакомился со многими москвичами-литераторами, ходил к ним в гости читать свои стихи и слушать чужие. И почти все мои новые знакомые, большинство которых родилось и выросло в Москве, жили в коммунальных квартирах. По две, по три, по четыре семьи в одной квартире, а то и побольше. Я первый раз получил комнату в квартире с коридорной системой. В нашей квартире жили двадцать пять семей. С одной кухней, с одной уборной на всех. Ну, какая там была жизнь, какие скандалы внутри комнат между членами семьи и на кухне между соседями, описывать не буду. Всем жителям советских городов это все хорошо знакомо. Эти кошмарные жилищные условия, в которых существовало подавляющее большинство городского населения страны, объяснялись не только объективными трудностями, но и

полным равнодушием властей. А еще и тем, что жильцов общей квартиры гораздо легче контролировать. Кто варит самогон, кто рассказывает политические анекдоты, — все известно. Если не ответственный квартиросъемщик, то кто-нибудь другой непременно был стукачом.

Последнее время с жильем стало легче. Вот уже лет двадцать пять, как власти решают жилищный кризис. Построено много домов. Миллионы семей получили отдельные квартиры. Другие миллионы, впрочем, доживают свой срок в общих квартирах. Очереди на отдельную квартиру дождаться не могут, а в кооператив вступить не на что. Потому что кооперативные квартиры стоят не так уж дешево и не всякому по карману. Например, моя двухкомнатная квартира стоила семь тысяч рублей. Я ее купил, потому что одно время получал довольно приличные гонорары. А рядовому рабочему, учителю или врачу где взять такие деньги?

Конечно, в отдельной квартире жить намного лучше, чем в коммунальной. Но и отдельные, как правило, довольно-таки скромны. В Москве норма на человека — 9 квадратных метров, и райисполкомы следят, как бы кто не получил лишнего. Значит, семья из трех человек редко имеет квартиру больше двух комнат. Большинство советских квартир — одно-, двух-, трехкомнатные. Я знал одну семью, у них было четыре комнаты, но семья состояла из тринадцати человек.

Такие понятия, как гостиная, столовая, спальня, детская, в языке советских людей практически отсутствуют.

У некоторых людей есть отдельные дома. Но они уж и вовсе не всякому по карману. Дом может стоить и десять, и двадцать, и тридцать, и триста тысяч рублей. А такие деньги водятся только у самых поощряемых властью писателей, академиков, у директоров магазинов, ресторанов и у воротил подпольного бизнеса.

Но у рядового советского человека, который не ворует, не спекулирует и живет на одну зарплату, таких денег нет.

Потому что труд в Советском Союзе — тоже почти бесплатный.

Конечно, главные принципы в нашей советской жизни — свобода, равенство и братство. Этому каждому известно. А если кто забудет — может выйти на улицу и сразу обязательно вспомнит, потому что сейчас же где-нибудь неподалеку будет висеть большой такой транспарант, и на нем будет написано большими буквами: свобода, например, или равенство, или братство. Так что даже если хочешь забыть, то тебе об этом напомнят.

А все-таки случаются еще иногда в нашей повседневной жизни отдельные случаи проявления неравенства, что вызывает, конечно, нарекания со стороны трудящихся масс. Некоторые даже проявляют недовольство, брюзжат, создавая вокруг себя нездоровые настроения. Почему, мол, одному то-то и то-то, а другому ни того, ни того. Но при этом не понимают, что у нас еще полного коммунизма нет, а есть только социализм. А при социализме, как известно, никакой уравниловки нет и быть не должно. От каждого по способности, каждому по чину. Это еще Маркс сказал. Или Ленин. А может, я и сам так придумал, я уже точно сейчас не помню. Во всяком случае, привилегии — это дело хорошее. Конечно, для тех, у кого они есть. Но тоже я бы сказал — дело хорошее, но не всегда. На почве разницы в этих привилегиях иногда такие неприятности случаются, что иной раз задумаешься, может, этих привилегий лучше и совсем не иметь.

Ну вот хотя бы такой случай.

Один большой, очень большой писатель из одной очень большой азиатской или, может, кавказской даже республики приехал однажды в Москву по делам. Само собой привез подарки всякие своим московским собратьям по перу и всему другому. Собратья его — люди важные. Один — секретарь Союза писателей, другой — главный редактор журнала, третий — директор издательства, четвертый — в Комитете по ленинским премиям шишка. И каждому же надо привезти сувенир, что-нибудь такое из местных народных промыслов, какой-нибудь, скажем, ковер, или блюдо серебряное, или еще нечто недорогое, рублей, скажем так, за пятьсот-семьсот. И, само собой, всякие сладости восточные, кишмиш, дыни, чурчеллу или что-то подобное. Коньяку ящик тоже привез. Поскольку он был действительно

большой писатель и даже чуть ли не основоположник своей национальной литературы, то поселился он, как всегда, в гостинице «Москва», куда, между прочим, кого попало не пустят. Как он там с братьями со своими встречался, кого сам посещал, кто к нему в гостиницу приходил, сейчас подробно описывать не буду. Скажу только, что много было выпито и много закусено, много было тостов всяких произнесено. И за дружбу народов, и за расцвет нашей многонациональной литературы, и за дорогого гостя, и за дорогих хозяев, так что того ящика коньяку, который он с собой привез, даже и не хватило, пришлось второй закупать уже здесь, на месте. И к тому времени, когда уже и второй ящик к концу подходил, до того наш герой допился и до того докушался, что однажды ночью стало ему нехорошо. Проснулся писатель среди ночи, чует в груди: бубух, бубух. А потом что-то ка-ак саданет, будто сердце шампуром, как барана, проткнули. И чувствует писатель, что вроде он как-то бледнеет и как-то вроде слабеет, помирает, короче.

А был приезжий этот писатель хоть и большой, да глупый. И с большими людьми в Москве общаясь, многого еще в столичной жизни не освоил. Лежит он себе на кровати, одной рукой за сердце хватается, другой телефон к себе придвигает и дрожащим пальцем набирает 03.

Ну, это, как известно, наша «Скорая помощь», самая скорая в мире. Не успел писатель концы отдать, а она уже тут как тут.

Отворяется дверь, врывается в номер доктор с чемоданчиком, врывается санитар с ящиком, которым кардиограмму пишут, врывается другой санитар с носилками: две палки, а между ними парусина. И коридорная испуганно в дверь тоже заглядывает. Доктор, понятно, спросил, на что больной жалуется, а тот даже не жалуется, только мычит и пальцем себя в левую сторону тычет. Доктор время терять не стал, кардиограмму сделал, давление смерил, пульс посчитал.

— Ну что? — спрашивает больной еле слышно и при этом волнуясь, конечно.

— А ничего, — говорит доктор. — Ничего определенного пока сказать не могу, но думаю, что у вас такой это небольшой обширный инфаркт. А больше совсем ничего.

Больной, слыша такие слова, глаза закатил и лежит, не дышит. Сердце дергается, больно, ноги холодеют, язык пересох, писатель волнуется, а волноваться ему как раз и нельзя.

— Да вы ничего, — говорит доктор, — вы, аксакал, не волнуйтесь, мы вас доставим в больницу, а для начала укольчик.

Достаёт из чемоданчика шприц со здоровенной иглой и иглу эту куда надо, то есть в мышцу, засаживает. А затем переваливает нашего писателя с дивана на носилки, даёт знак санитарам, те носилки подхватывают и волокут их к дверям. А в это время двери эти распахиваются, и в номер врывается дежурный администратор и за ним опять коридорная. Как увидел администратор санитаров и доктора, встал перед ними, руки раскинув в стороны. «Кто, — говорит, — вы такие и куда его тащите?» Доктор вежливо объясняет, что они — «Скорая помощь», а тащут они больного вниз к машине для доставки к месту лечения.

Администратор говорит: «Я его выпустить не могу, ставь носилки обратно на пол». Доктор объясняет, что на пол носилки поставить не может, потому что больной срочно нуждается в помощи.

Администратор говорит: «Нуждается не нуждается, не вашего ума дело, а я товарища выпустить не могу, поскольку он — ДВС».

— Дэвэ кто? — переспрашивает доктор.

— Дэвээс, — повторяет администратор и объясняет доктору, который ничего не понял, что ДВС — это значит депутат Верховного Совета.

Доктор говорит, я не знаю, ДВС он или ДОСААФ, меня это не касается, для меня все люди равны, и ссылается на клятву Гиппократа, которую он, между прочим, не давал, потому что у наших врачей своя есть клятва, советская.

Администратору, само собой, на Гиппократа этого с высокого дерева наплевать и на его клятву тоже.

Врач в конце концов сдаётся и звонит в Центральную, сообщает, что администрация гостиницы препятствует исполнению врачебного долга. Центральная сначала думает, а потом говорит: черт с ним, с администратором если больного не отдаёт, пусть даст расписку, что за возможные фатальные последствия он берёт ответственность на себя. Администратор расписки не даёт,

больного не выпускает и сам звонит по какому-то номеру. — Пришлите, — говорит, — карету специальной скорой помощи, у меня тут ДВС загибается.

Время идет, больной лежит, администратор сидит, врач стоит, коридорная смотрит в окно, санитары вышли в коридор покурить.

Часу не прошло, врывается еще один врач, кремлевский, с медсестрой и четырьмя санитарями. Носилки, между прочим, уже не брезентовые, а кожаные.

Пошептался кремлевский врач с приехавшим ранее, выяснил, какие меры были приняты, вкатил еще один шприц больному и приказал санитарам перевалить его с парусины на кожу.

Администратор помягчел, выдал ранее приехавшему справку, что в его помощи никакой необходимости нет, и тот со своими санитарями и носилками отправился к лифту.

А вновь приехавший врач придвинул к себе телефон и звонит в свою центральную, — в какой из филиалов кремлевской больницы доставить больного?

Те спрашивают, а как его фамилия. Врач спрашивает у администратора, администратор отвечает врачу, тот отвечает Центральной. Потом небольшое молчание, потом врач говорит: «Понятно», потом поднимается и администратору холодно так замечает: «Что вы глупости говорите, городите, что вы панику поднимаете и занятых людей в заблуждение вводите, когда больной ваш вовсе не ДВС, в списках ДВС его фамилии нету».

Администратор слегка бледнеет, смотрит вопросительно на больного, тот слегка очухивается и произносит слабым голосом: «Давай сыр!»

Кремлевский врач слегка рассердился, какой, говорит, тебе сыр, когда тебе о Боге пора подумать. И обращается к администратору: «Где там ваш врач для простых людей, пусть он этого больного теперь себе берет, а нам с ним возиться некогда».

Администратор посылает коридорную за простым врачом, та вниз по лестнице летит быстрее скоростного лифта. Перехватывает доктора на самом выходе, загораживает дорогу. «Вертайтесь, — говорит, — обратно, поскольку больной оказался не ДВС». Доктор отказывается, потому что ему это дело надоело, справка от администратора у него есть, а клятву Гиппократа он не давал.

Но коридорная подзывает швейцара, и вдвоем они доктора кое-как уговаривают, обещая ему и санитарам по полкило охотничьих сосисок из ночного буфета.

Доктор и санитары возвращаются в номер и опять перекалывают больного с кожи на парусину. А тот уже совсем плох, глаза закачены, щеки серые, губы синие, изо рта пена идет коричневая, коньяком пахнет. Больной сучит ногами и хрипит, и слова все те же выхрипывает: «Давый сыр! Давай сыр!»

— Что это он говорит? — спрашивает обыкновенный врач необыкновенного. — Какой еще сыр? При чем тут сыр?

— Восточный человек, — говорит врач необыкновенный. — Привык есть сыр. Без сыра и помирать не желает.

— Постойте, — говорит администратор обоим врачам. — Он, может быть, не просто сыр говорит, а про что-то другое. Наклоняется к больному и спрашивает его как -то непонятно: «Дэвэсээр?»

— Дывысыр, дывысыр, — хрипит больной, соглашаясь.

— Ну, вот видите, — говорит администратор кремлевскому доктору. — Я же вам говорил. Он депутат верховного совета республики. Не ДВС, а ДВСП. Кладите его обратно. — И сам хватает больного за ноги, чтобы перетащить с парусиновых носилок на кожаные.

— Стоп! Стоп! Стоп! — говорит кремлевский доктор, отрывая администратора от больного. — Мы перевозим только депутатов Верховного Совета СССР, а для давайсыров другая «Скорая» есть.

В это время обыкновенный доктор кивнул своим санитарам, и они вместе с парусиновыми носилками и с ящиком, которым кардиограммы делают, не дождавшись обещанных ночных сосисок, сбегают.

А больной уже и вовсе глаза закрыл, не хрипит и не дергается. Дергается администратор, понимая, что больной — депутат хоть и не СССР, а республики, — а отвечать и за него придется. И требует администратор от кремлевского доктора, чтобы тот вез больного куда хочет, лишь бы — из гостиницы. А доктор, поупиравшись, звонит снова в свою центральную и говорит: так и так. Те сначала с кем-то связались, с каким-то ночным начальником этот вопрос согласовали, проявили

гуманность и говорят; хорошо, в порядке исключения, разрешаем использовать перевозку для дэвээсэр.

Так что в конце концов писателя вытащили наружу и повезли в Кунцево. Если бы был он ДВС, может, его успели бы довести. Если бы был простой человек — тем более. А он был ни то, ни се. Так что привилегии дело, конечно, хорошее, но иногда лучше без них.

Это что за раздолбай!

Утверждение, что в Советском Союзе нарушаются права человека, не совсем правильно, потому что нельзя нарушать то, чего нет.

Все провозглашенные советской конституцией права и свободы являются фикцией. Право на труд на самом деле является обязанностью. Человек, уклоняющийся от так называемого общественно-полезного труда, то есть от работы в колхозе, на заводе, в государственном учреждении, подлежит уголовному наказанию «с обязательным привлечением к труду». Закон о тунеядцах власти самым циничным образом используют против инакомыслящих. Их лишают работы, а потом судят за то, что они не работают. В лагерях их калечат непосильной работой, а в местах ссылки они тоже не имеют право, а обязаны заниматься неквалифицированным трудом (физик с мировым именем Юрий Орлов работает сторожем, а математик Татьяна Великанова банщицей).

В конституции записано, что каждый человек, достигший определенного возраста, имеет право выбирать и быть избранным. Но избирают только тех, кого назначает партия. А право выбирать также является обязанностью. Ежегодно советские люди участвуют в «выборах» в верховные или в местные органы власти. Их участие состоит в том, что человек идет на избирательный участок, берет бюллетень, в котором указана только одна фамилия, и опускает его в урну. На избирательных участках стоят, правда, задернутые шторами кабинки для «тайного» голосования, куда человек может зайти, вычеркнуть эту одну фамилию, написать другую или неприличное слово, но даже сам по себе заход в эту кабинку будет кем-нибудь отмечен, и в досье совершившего этот «антиобщественный» поступок гражданина появится соответствующая отметка. Всякое уклонение от осуществления этого «права» будет также отмечено и учтено при распределении премий, квартир, путевок в

Дом отдыха и, без всякого сомнения, при решении вопроса о заграничной поездке. Вся эта процедура, называемая выборами, может показаться совершенно бессмысленной: 99 % граждан выбирают не четверть, не половину, а все 100 % назначенных партией кандидатов. На самом деле она вовсе не бессмысленна: она является регулярно проводимой всеобщей проверкой готовности советских граждан играть в эту игру, проверкой их лояльности.

То же происходит со всеми провозглашенными свободами: печати, собраний, демонстраций и т. д. Действительно свободные собрания и демонстрации наказуемы как уголовные преступления, а на собрания и демонстрации, организованные властями, людей гонят насильно. Уклонение рассматривается как проявление нелояльности.

Говоря о нарушении прав человека, мы имеем в виду обычно религиозные, национальные, социальные группы, мы говорим, что нарушаются права верующих, рабочих, писателей. Это тоже неправильно. В Советском Союзе есть много людей, обладающих теми или иными привилегиями, но бесправны все, включая самых высших советских руководителей. Я бы даже сказал, что высшие руководители в некотором смысле еще бесправнее рядовых советских граждан. Они не только обязаны неукоснительно соблюдать все правила и ритуалы, принятые в их среде, не только живут в постоянном страхе друг перед другом, но и от самих привилегий отказаться не могут. Если даже представить себе, что высший партийный чиновник вдруг захотел отказаться от пользования распределителем, можно не сомневаться, что этот жест будет воспринят как протест против существующей системы и чиновник наверняка потеряет свой пост. А потеряв его, он сразу становится никем.

Расскажу такую историю.

Станция метро «Аэропорт», возле которой я жил последние свои годы в Москве, находится на Ленинградском проспекте. По этому проспекту я часто гулял. Однажды шел я по одной стороне проспекта, а затем решил перейти на другую. Приблизился к перекрестку, вижу, посреди милиционер знакомый стоит. (Я его часто встречал, гуляя). В зубах сигарету держит, в руке — палку. На плече — приемник-передатчик «волки-толки» висит. Приближаюсь я к милиционеру, собираюсь с ним

поздороваться, вдруг замечаю, что с ним происходит метаморфоза. Прикладывает он свои «волки-толки» к правому уху, потом бросает, сигарету изо рта выплевывает, вставляет вместо нее свисток и свистит как полумумный. Тем, которые еще не выехали на шоссе, чтобы не выезжали, а тем, которые уже там, чтобы свернули в сторону. Палкой машет, и кулаком грозит, и в свисток свистит. А затем слышу приближающийся воющий звук: Ууу-у-у-!

И вот несется кавалькада. Впереди немецкая БВМ канареечного цвета, за ней черная «Волга», за ней длинный и черный «Зил», за ним еще такой же с кузовом универсал, реанимационный, за ним еще «Чайка» и две «Волги» — все черные. Сирена воеет, шины шуршат, мигалки мигают, а канареечная машина вылаивает:

— Граждане, воздержитесь от перехода! Водители, освободите проезжую часть.

Милиционер отскочил в сторону, вытянулся, руку к виску прилепил, пожирает глазами машины, а они летят, как снаряды, километров 150 в час, не меньше, одна за другой.

Наконец милиционер расслабился, за сигаретами полез, перекресток оглядывает и меня видит: «А, привет», — говорит.

— Кто, — спрашиваю, — проехал? Не Брежнев ли?

— Да нет, — говорит, — не Брежнев, а Кириленко. Сам-то я его не видел, за занавесками разве углядишь?

Оказалось, у него спички кончились. Я ему дал прикурить, он сигаретой к огню тянется, а рука дрожит.

— Чего, — спрашиваю, — ты так волнуешься? Первый раз, что ли, у тебя тут такой переполох?

— Первый не первый, — говорит, — а каждый раз страшно. У нас тут один стоял тоже, пуговицу забыл застегнуть. Так этот, который за занавесками там был, на скорости 150 километров в час — углядел. Машины еще из виду не скрылись, а на столе у начальника городского ГАИ уже вертушка звонит: «Что это за раздолбай у тебя там стоит напротив «Динамо»?»

А начальник городского ГАИ не спрашивает, в чем дело, почему раздолбай. Он боится. Он начальнику нашего отделения сразу звонит и спрашивает тоже: «Что там у тебя за раздолбай стоит напротив «Динамо»? И хорошо еще, что начальник наш ничего мужик ока-

зался. Он этого, которого раздолбаем назвали, с Ленинградского проспекта на Масловку перевел, чтоб глаза не мозолил. А мог бы и премии лишить, и звание задержать, и пойдн жалуйся кому хочешь. Какие у милиционера права? Вот у него, который за занавесками, у него права...

Это милиционер так думал. И в самом деле. Кто он, этот милиционер? Никто. А Кириленко?

Когда я жил в Москве, Кириленко был еще на вершине власти. Он занимал в партии второй пост после Брежнева. И когда Брежнев ездил за границу или принимал лечебные процедуры, Кириленко вел заседания Политбюро и вообще управлял государством. И пока находился он на своем высоком посту, пока ездил на нескольких машинах, чего у него только не было. И квартиры, и дачи с отгороженными от людей лесами, полями, реками и километрами морских побережий. Как-то был я в Сочи и увидел там на причале корабль. Не то крейсер, не то эсминец, я в этом не очень разбираюсь. Помню только, что корабль был военный, пушки из него и пулеметы торчали, и местные жители мне сказали, что это прогулочный корабль Кириленко. Он когда сюда приезжает, на этом корабле в море выходит. Но приезжал Кириленко редко, а матросы драили палубу часто. Вдруг хозяин придет да захочет проветриться. Короче говоря, важный был человек Кириленко, не нам с вами чета.

А вообще, я о Кириленко об этом и не вспомнил бы, если бы не случай один. Фатальный, между прочим, случай. Я имею в виду тот случай, когда Брежнев скончался. А я его похороны смотрел в Америке по телевизору. Смотрел, как везли его на лафете, как прусским гусиным шагом вышагивали наши советские солдаты. А за лафетом процессия: члены Политбюро, кандидаты в члены Политбюро, секретари ЦК, маршалы, вдова, дети, родственники, прихлебатели, кагебешники. И вдруг в толпе этой, смотрю, бочком, робко передвигается странный какой-то человек, который вроде и участвует в этой процессии, и в то же время как будто он здесь совсем чужой. Одет, правда, неплохо. Зимнее пальто, каракулевый воротник, папаха тоже каракулевая. По виду и повадкам похож на председателя колхоза, который из глубокой провинции приехал хоронить именитого родственника. «Что еще за раздолбай?» — думаю.

А потом пригляделся: да это же совсем не раздолбай, а лично товарищ Андрей Павлович Кириленко.

Я даже глазам своим не поверил. Как это, второй человек в государстве, а идет так демократично, не в первых рядах и не в задних, идет как бы вместе со всеми и отделенный от всех незримой чертой, как прокаженный.

Тут, правда, все и разъяснилось: телевизионный комментатор подтвердил мою догадку, что Кириленко месяц или два тому назад на чем-то погорел и места своего в Политбюро лишился.

И стало мне интересно, о чем думает сейчас товарищ Кириленко, какие антисоветские мысли роятся под его папайхой. Ведь не может же он не чувствовать себя оскорбленным! Ведь пятьдесят лет служил партии и за страх, и за совесть, сорок пять лет на руководящей работе, двадцать с лишним лет заседал в Политбюро, а по праздникам стоял рядом с Леонидом Ильичем на трибуне Мавзолея и милостиво приветствовал ликующие толпы демонстрантов, над головами которых покачивались бесчисленные его портреты. Эти самые люди, которые идут сейчас рядом с ним в похоронной процессии, встречали его появление аплодисментами, льстивыми улыбками, сломя голову кидались выполнять любое его желание. А теперь они его не замечают, и даже тот, который зонтик над его головой держал, теперь от товарища Кириленко морду воротит.

Ну, не обидно ли?

А родственникам его какво?

Умри он, скажем, вовремя. И его бы сюда привезли на лафете. И над ним бы речи произносили печальные. И родственникам было бы приятно получать потом персональные пенсии. А теперь ему-то, конечно, персональная, а им шиш. Потому что они теперь родственники не выдающегося деятеля партии и правительства, а всего лишь — персонального пенсионера.

Я бы покривил душой, если бы сказал, что судьба Кириленко или его родственников меня как-то особенно заботит. Заботит меня другое: почему в этой стране даже ее руководители не имеют никаких прав? Теперь, конечно, не то, что раньше, раньше таких-то просто отстреливали. А теперь им дожить дают, но в забвении и позоре.

«Не место красит человека, а человек место», — гла-

сит русская народная мудрость. Но как же неприменимо это к сегодняшней советской жизни. Сегодня — вообще никто ничего не красит. Не о том речь. Важно только место — за занавесками, в несущейся и пугающей народ кавалькаде, на трибуне Мавзолея и, наконец, в кремлевской стене...

Очень хорошо понимают это и сами руководящие работники. Рассказывали мне про другого члена Политбюро, товарища Полянского Дмитрия Степановича. Приехал к нему однажды друг из Краснодара, может, они в ВПШ вместе учились, а может, какие другие подвиги в своей комсомольской юности совершали, этого мне, правда, не сказали, но приехал он к своему преуспевшему товарищу, пришел на квартиру с подарками, а хозяина дома нет. Жена говорит: «Митя выступает сейчас перед коллективом фабрики «Трехгорная мануфактура». Наконец приходит и сам хозяин — с отрезом сукна под мышкой. Перехватил недоуменный взгляд гостя и говорит: «Это мне работницы фабрики подарили». Гость удивился. «Митя, — говорит, — да зачем же тебе этот отрез? Ты же член Политбюро нашей партии, у тебя же есть все, чего не пожелаешь». «Да, — говорит Митя, — пока я член Политбюро, у меня есть все. А вот когда меня выгонят, тогда неизвестно, что будет. Может, еще придется этот отрез на рынок нести, чтобы прожить». И как в воду глядел, выгнали-таки. Но все-таки судьба его столь печальной не оказалась, сначала послом куда-то отправили, а уж потом на пенсию перевели, на персональную. Надеюсь, что на жизнь ему хватает и отрез на рынок нести пока не пришлось. Хотя и новых ему уже никто не дарит. Кому он нужен теперь, зачем?

Вот я вам скажу, смотришь здесь, на Западе, телевизор, читаешь прессу, и что видишь? То бывший американский президент Никсон мемуары пишет про свой Уотергейт, то мало ему этого, так еще по телевизору на пресс-конференции выступает, то бывший немецкий канцлер Хельмут Шмидт часовую речь по телевизору держит от своей социал-демократической партии, а другие ему, понимаете ли, еще овации устраивают. И всякие там конгрессы, митинги, дискуссии, да что же это такое?

А несправедливость, вот что. Из наших — один только Хрущев на писание мемуаров решился, а потом сам

же в газете отрекался и свое собственное сочинение враждебной фальшивкой называл. Или как-то еще, я точно не помню. А другие молчат, доживают свои дни в забвении и даже напомнить о том, что живы, боятся. И мы не всегда и знаем, кто из них жив, а кто умер. Про Молотова недавно узнали, что жив и на девяносто четвертом году вернулся в родную партию. А где сейчас его боевые соратники? Где Маленков, Каганович, Шепилов, Шелепин, Шелест? В советской печати их имена не найдешь. В советских энциклопедиях упоминаются разные люди, не всегда даже советской власти приятные. Там есть и Гитлер, и Гиммлер, и Герринг, и Геббельс, но этих, наших, которых я перечислил, их нет нигде.

Хрущев в свое время пытался демократизировать партию и ввел в устав пункт о постоянной сменяемости высших партийных кадров. Это и стало одной из причин его собственного падения. Свергнув Хрущева, его преемники этот неприятный им пункт из устава немедленно вычеркнули. И сами себя обрекли на то, что сойти с политической сцены с почетом можно только умерев на посту.

Какие уж тут права человека?

Нет, действительно, не могу себе даже вообразить людей более бесправных, чем бывшие руководители советского государства.

Открытие

Один известный советский астроном рассказал мне такую историю. В конце 40-х — начале 50-х годов работал он в одном научно-исследовательском институте, вел какие-то наблюдения, смотрел в телескоп на сверхновые звезды и никак не мог понять, отчего они возникают. Может быть, я неправильно излагаю проблему, может быть, астрономы меня даже поднимут на смех. Но, во-первых, я надеюсь, что большинство моих читателей в астрономии понимают не больше меня, а во-вторых, суть не в проблеме, а в том, что этот ученый смотрел в телескоп на эти звезды и не мог в их поведении понять чего-то существенного.

Иногда его отрывал от телескопа коллега из соседней лаборатории. Он приходил к нашему астроному и рассказывал на ухо о неприятностях, которые происходят с представителями других наук, генетиками и кибернетиками. После того, как эти науки были объявле-

ны буржуазными лженауками, генетиков и кибернетиков травили в печати и на собраниях, увольняли с работы, а особо злостных просто сажали.

Астроном выслушивал эти новости и, хотя они были ему весьма неприятны, думал: «Слава Богу, что я не генетик и не кибернетик, а занимаюсь астрономией, которую со времен Галилея никто не рисковал и уже вряд ли рискнет назвать лженаукой».

И он опять прилипал к телескопу и опять смотрел на звезды, записывал в тетрадь свои наблюдения, но чего-то главного все же понять не мог.

И опять приходил коллега из соседней лаборатории, и опять рассказывал о кампании против безродных космополитов, большинство которых оказалось евреями, а потом об аресте врачей-убийц, которые, как сообщалось, состояли в международной еврейской буржуазной организации «Джойнт» и по ее заданию собирались уничтожить некоторых советских вождей, включая самого Сталина.

Конечно, все эти новости, которые астроном узнавал не только от коллеги, но слышал по радио и вычитывал в газетах, были ему неприятны. Но все же он думал, что, может быть, происходящее его не касается, потому что он лично занимается только своей астрономией и ничем больше, он не еврей и ни в каких буржуазных организациях не состоит. Его самого пока что никто не трогал, он ходил на работу, получал приличную для молодого ученого зарплату, смотрел на звезды, думал о них, но чего-то главного додумать все же не мог.

Впрочем, и на Земле происходило что-то не очень понятное. Вдруг в марте 53-го года умер бессмертный Сталин, хотя врачи-убийцы были к тому времени уже обезврежены.

И как только это случилось, вдруг стало теплеть буквально и фигурально.

В одно прекрасное весеннее утро, как раз через месяц после смерти Сталина, собрался ученый идти на работу. Вышел из дому, идет, через лужи переступая, к трамваю, видит: на заборе газета «Правда» висит.

Смотрит он на эту газету и глазам своим не верит: что это — орган КПСС или еврейской буржуазной организации «Джойнт»? В газете написано, что обвинения против врачей были ложными, а показания арестован-

ных получены путем применения зверских приемов следствия, строжайше советскими законами запрещенных.

Все это ученый прочел сначала в очках, а потом очки снял, лицо к газете приблизил и опять прочел.

И вдруг он почувствовал: словно камень с души свалился. И сразу осознал, что все происходившее с генетиками, кибернетиками, космополитами и врачами-убийцами имело к нему самое непосредственное отношение, хотя он не был ни генетиком, ни кибернетиком, ни евреем, ни космополитом, ни врачом-убийцей.

Тут как раз подошел трамвай, но давиться в нем ученому не захотелось, и он пошел на работу пешком. А была весна, текли лужи, светило солнце и затмевало все звезды, старые, новые и сверхновые. Он стал думать об этих звездах, и вдруг его осенило или, как говорят в народе, вдруг что-то стукнуло в голову, и он сразу понял то, до чего столько лет не мог додуматься: что это за звезды, почему они возникают и почему так странно себя ведут. То есть совершил крупнейшее в своей науке открытие. Может быть, суть открытия я пересказываю неточно, потому что я в этом ничего не понимаю, но люди, которые понимают, оценили его высоко.

За это открытие наш астроном был принят в Академию наук СССР, и во многие иностранные академии и даже получил много денег, но дело не в них.

Эта действительно происшедшая в жизни история произвела на меня большое впечатление. Я обсуждал ее со многими другими учеными, и все они со мной согласились, что общественный подъем самым непосредственным и благотворным образом сказывается на любой, даже очень, казалось бы, оторванной от реальной жизни науке.

Короткий период половинчатой хрущевской оттепели немедленно дал плоды во всех сферах интеллектуальной деятельности. В науке это красноречивее всего ознаменовалось запуском в космос первого спутника и первого человека (кстати, это случилось под руководством вышедшего из тюрьмы конструктора ракет Сергея Королева).

Тронувший затем новый идеологический зажим, преследование инакомыслящих (в среде которых оказалось много ученых) также не могли не сказаться на науке. И хотя в СССР и сейчас многие блестящие ученые, никогда не собираясь стать диссидентами, добросовестно

служат государству — общий психологический климат и состояние уныния не могут не отражаться на их работе. К слову сказать, и ошеломляющие успехи в космосе кончились вместе с концом оттепели. И вот уже СССР запускает в космос корабли одной и той же конструкции и, заменяя реальный прогресс пропагандой, отправляет в полет то чеха, то индуса, то женщину.

ВСЕ ВСЁ ПОНИМАЮТ...

Ничего делать не надо

Последние годы моей жизни в Москве меня время от времени навещал приезжавший из провинции начинающий писатель. Он жаловался, что его не печатают, и давал мне на отзыв свои романы и рассказы, которые он писал в большом количестве. Он был уверен, что его сочинения не печатают из-за слишком критического содержания. Они и в самом деле содержали в себе критику советской системы, но у них был и еще один существенный недостаток — они были безнадежно бездарны. Приходя ко мне, этот человек иногда просил, а иногда просто требовал, чтобы я отправил его рукописи за границу и там их напечатал. Я отказывался. Тогда он решил пойти в КГБ и предъявить им ультиматум: или они отдадут приказ немедленно опубликовать его произведения, или он немедленно покинет Советский Союз.

Свой разговор в КГБ он пересказывал так.

Как только он вошел в здание КГБ, к нему подошел какой-то человек и сказал:

— Ах, здравствуйте, наконец-то вы к нам пришли!

— Разве вы меня знаете? — спросил писатель.

— Ну, кто ж вас не знает, — развел руками кагебешник. — Садитесь. С чем пришли? Хотите сказать, что вам не нравится советская власть?

— Да, не нравится, — сказал писатель.

— А чем именно она вам не нравится?

Писатель сообщил собеседнику, что, по его мнению, в Советском Союзе нет никаких свобод, в том числе и свободы творчества. Права человека подавляются, уровень жизни неуклонно падает. Высказал и другие критические соображения — всего примерно лет на семь заключения.

Выслушав его очень вежливо, кагебешник спросил:

— А зачем вы мне это рассказываете?

— Я хочу, чтобы вы это знали.

— А мы это знаем. Это все знают.

— Но если все это знают, надо же что-то делать!

— Вот в этом вы ошибаетесь, ничего делать не надо.

Удивленный таким разговором, писатель замолчал и продолжал сидеть.

— Вы мне все сказали? — вежливо спросил кагебешник.

— Все.

— Так чего же вы сидите?

— Я жду, когда вы меня арестуете.

— А, понятно, — сказал кагебешник. — К сожалению, сегодня арестовать вас никак невозможно, у нас очень много дел. Но если это желание у вас не пройдет, приходите в другой раз и мы сделаем для вас все, что сможем.

И выпроводил писателя на улицу.

Писатель этот навещал меня еще раза два, а затем исчез. Я думаю, что в конце концов он своего добился и теперь его где-нибудь лечат от инакомыслия.

Воруй, да знай меру

Как-то ехал я на машине по шоссе. От заправки до заправки далеко, да и там не всегда найдешь то, что ищешь. К одной подъехал — бензина нет, до второй добрался — там огромная очередь, до третьей не доехал — бак опустел. Поднял руку, остановил самосвал, шофер — почему бы не заработать лишнюю пару рублей? — раскрутил длинный шланг от своего бака к моей канистре, засосал этилированный бензин, стоит, смотрит, как он, розовый, струится.

И тут как раз милиционер на мотоцикле, застал нас обоих на месте преступления. Я уже приготовился врать ему, что упросил шофера совершенно бесплатно налить мне только литр или два, доехать до ближайшей заправки, но милиционер даже слушать не стал, напустился на шофера.

— Что это ты делаешь? Создаешь мне аварийную обстановку. Мне казенного твоего бензина не жалко, воруй его сколько хочешь, но тут же поворот! Кто-нибудь выскочит — и авария.

Шофер выдернул из бака шланг, я оттащил канистру. Шофер поставил машину на обочину, милиционер,

ругаясь, уехал. После этого мы уже спокойно довершили нашу торговую сделку. Обстановка не аварийная, а украсть у государства не грех, это даже и милиционеру понятно.

Приличный молодой человек

Не знаю, как сейчас, а в мое время, то есть в конце 70-х, люди изданные на Западе книги не только у себя дома, на семь замков запершись, читали, а где попало, в том числе и в общественном транспорте. Вот войдешь в метро, смотришь: один читает «Неделю», другой «Роман-газету», третий — просто газету. Но внимательно приглядишься и видишь, что если вагон набит, то в нем всегда есть два-три-четыре человека, которые читают что-то другое. Обложки обернуты в газету, бумага тонкая, шрифт мелкий, такой человек читает обычно сосредоточенно, но потом спохватится, прикроет книгу, оглянет близко стоящих внимательным взглядом и опять читает. Но некоторые до того дошли, что читают книги и не обернутые.

Мой приятель пришел ко мне и рассказывает.

— Вот ехал, — говорит, — сейчас в метро. Смотрю, сидит напротив меня молодой человек, книгу раскрыл, читает. Обложка красная, а на ней силуэт Ленина. Я посмотрел на него и даже расстроился. Надо же, думаю, такой симпатичный, молодой и интеллигентный на вид человек, а читает Ленина. А потом пригляделся и вижу: на обложке написано: «А. Солженицын «Ленин в Цюрихе». И сразу мне стало перед молодым человеком немного неловко, что я про него так плохо подумал.

Рассказал мне приятель эту историю, и мы оба с ним тут же вспомнили другие времена. Когда интеллигентные молодые люди читали не солженицынского Ленина, а первоисточник. Читали, конспектировали, заучивали, цитировали. Таких молодых людей у нас уже нет. А говорят, в Советском Союзе ничего не меняется.

Важны не законы, а правила поведения

Все или почти все советские люди знают, что в Советском Союзе важны не писанные законы, а неписанные правила поведения, соблюдая которые человек мо-

жет чувствовать себя в достаточной безопасности. Эти минимальные правила я бы сформулировал так.

Надо ходить на работу, выполнять свое дело более или менее добросовестно, но не проявлять при этом излишней инициативы, не пытаться что-то улучшить, не слишком выделяться. Иногда нужно посещать собрания, политзанятия и митинги. Если там проводится голосование по тому или иному вопросу и председательствующий спрашивает, кто за, надо поднять руку и опустить. (Если собрание многолюдное, руку можно даже не поднимать, никто не заметит). Важно при этом никогда не голосовать против и не говорить, что вы воздерживаетесь, потому что оппозиция любому предлагаемому решению, даже если оно касается мелких проблем, вроде сбора макулатуры или озеленения двора, будет воспринята как проявление политической нелояльности. Примерно раз в год необходимо участвовать в выборах в верховные или местные органы власти. Для этого надо не обязательно очень рано, но и не очень поздно (часов до двенадцати дня) явиться на избирательный участок, взять бюллетень и, не заглядывая в него, не интересуясь, чья в нем написана фамилия, аккуратно сложить и опустить в урну, купить здесь же в буфете полкило сосисок (если есть) и уйти. Распоряжения начальства, какими бы нелепыми они ни казались, принимать к исполнению не споря, а от самого исполнения можно уклоняться. Желательно вообще не думать о политике, не слушать иностранное радио и даже не читать советских газет, за исключением фельетонов и спортивных сообщений. Избегать каких бы то ни было контактов с иностранцами, включая граждан «братских» социалистических стран. Проявлять умеренный патриотизм и любовь к природе. Показать свою благонамеренность можно, будучи хоккейным или футбольным болельщиком, грибником, рыболовом. Даже герои многих чекистских детективов, выловив после упорных поисков банду иностранных шпионов, говорят обычно: «Ну, а теперь на рыбалку!» Простой пошел чекист, свойский. Тратит свое свободное время не на изучение трудов Карла Маркса или материалов очередного исторического партийного съезда, а на простое и доступное нашему уму и сердцу занятие. Благонамеренному гражданину можно вырезать что-нибудь из дерева или на рисовом зерне, но следует избегать увлечения такими сомнительными хобби, как филателия,

нумизматика или радиолобительство (это влечет за собой интерес к контактам с иностранцами и непредсказуемые последствия).

Желательно не проявлять излишнего интереса к отечественной истории и избегать дискуссий по поводу Октябрьской революции, коллективизации, культа личности Сталина и прочих вещей: убедив себя самого, что это все дела давно минувших дней, которые к вашей сегодняшней жизни никакого отношения не имеют.

Значительная часть населения Советского Союза соблюдает эти правила только внешне, а на самом деле ведет образ жизни полуподпольный. Такие люди ходят на работу, сидят на собраниях, голосуют за, но при этом тайком слушают радио, рассказывают антисоветские анекдоты и охотно читают, если попадается, что-нибудь запретное.

Но есть люди, которые, не бросая властям открытого вызова, тем не менее полностью отказываются от соблюдения всех принятых ритуалов и их если и не наказывают, то, может, лишь потому, что считают, что они не в своем уме.

В маске кролика

Сценка, написанная с натуры

Последние свои годы в Советском Союзе я жил довольно странной и для некоторых, прямо скажем, не очень понятной жизнью. Исключенный из Союза писателей, я был объявлен как бы вне закона. Люди, которые раньше общались со мной вполне охотно, теперь не только забыли номер моего телефона, но даже при случайной встрече на улице шарахались как от чумного. Не все, конечно. Далеко не все. У меня были друзья, которые не покидали меня даже в самые тревожные дни, хотя некоторым из них намекали, что, если они по-прежнему будут поддерживать со мной отношения, у них могут быть очень серьезные неприятности. Они эти угрозы игнорировали вовсе не из стремления к героизму, а просто потому, что были порядочными людьми.

Но мне приходилось встречать и таких, которые, как только я попал в немилость у советских властей, сразу перестали меня узнавать. Некоторые из них пережили сталинские времена, когда даже за шапочное знакомство с кем-нибудь можно было поплатиться головой. Они, кстати, может, и выжили только потому, что умели во-

время отвернуться от своего друга или знакомого, а иногда от папы и мамы. Понять и пожалеть таких людей можно, но уважать трудно.

Помню такую встречу. Пришел я как-то в писательскую поликлинику на улице Черняховского. Из Союза писателей меня уже исключили, из Литературного фонда тоже, но в поликлинике почему-то еще держали. И врачи даже настаивали, чтобы я прошел очередную диспансеризацию, проверил свое здоровье. Я долго уклонялся, но потом все же явился.

И вот сижу перед кабинетом врача.

Идет мимо писатель Л. Увидев меня, замедляет шаг. Может быть, я плохой инженер человеческих душ, но мне кажется, что его обуревают сомнения: подойти поздороваться или, вдруг вспомнив, что где-то что-то забыл, кинуться со всех ног обратно. Но пока он раздумывает, ноги его механически передвигаются, и вот он уже совсем близко. Теперь делать вид, что он меня не заметил, глупо. Теперь на лице иные сомнения. Как поздороваться? В прежние времена он бы остановился и спросил, как дела, хотя дела мои в прежние времена были ему совершенно неинтересны. Теперь мои дела ему интересны, но навстречу идет критик З., а сзади на стульчике сидит драматург И. Проходя мимо, Л. кивает мне головой и даже делает рукой незаметный «нопассаран», как бы мужественно выражая мне свою солидарность. Но «нопассаран» свой он делает так, чтобы критик З. и драматург И. не сомневались — это всего лишь проявление обычной вежливости, которая может существовать между людьми разных взглядов. И ничего больше.

Идет мимо в другую сторону переводчица Д., дама довольно преклонного возраста. Познакомились мы с ней в 60-м году, когда мне было еще под тридцать, а ей уже за шестьдесят. Я тогда дописывал свою первую повесть, главы из которой читал своей новой знакомой. А она потом в шутку говорила, что мы с ней вместе начинали наш путь в литературе.

И вот она идет мимо.

— Здрасьте! — говорю я ей.

— Здрасьте! — отвечает она мне как мало знакомому, но пройдя несколько лишних шагов, останавливается и возвращается. — Ах, Володичка милый, здрастьте, здрастьте, я так плохо вижу, я вас не узнала. — И с на-

деждой, что говорить со мной не опасно: — А вас из Литфонда все-таки не исключили?

— Исключили. Но в поликлинике оставили. Вот даже заставляют пройти диспансеризацию, хотя я не хочу. Она почти в ужасе.

— Неужели вы и против диспансеризации выступаете? Почему? Здесь же нет никакой политики. Здесь просто врачи. Они вас проверят, сделают кардиограмму, возьмут анализы. Я понимаю, когда вы боретесь за какие-то права, но против диспансеризации!

— Бог с вами, — говорю я, — я так далеко не зашел, чтобы бороться против диспансеризации. Мне просто лень.

— Ах, Володичка, мне семьдесят шесть лет, я хочу легкой смерти. Меня сейчас пригласили в Америку. Я бы хотела туда полететь, а потом на обратном пути... — Жестом она изображает падение самолета.

— Не надейтесь, это не так легко, — говорю я. — Самолет летит высоко и падает долго.

— Володичка, не отговаривайте меня, я все выяснила. Там сразу теряешь сознание и потом уже ничего не чувствуешь. Вы знаете, я о вас часто думаю, но никогда не звоню, не потому, что я вас забыла, а потому что меня сейчас надо беречь. Да, да, Володичка меня надо беречь, потому что у меня выходит очень большой перевод с английского.

Идет мимо известный юморист Е. Здоровается с моей собеседницей, замечает меня и тоже здоровается.

— Здравствуйте, Толя, — говорит переводчица. — Очень рада вас видеть. Мы с Володей разговариваем просто о жизни. Никакой политики, совершенно никакой. Мы с ним вместе начинали наш путь.

— Зато порознь заканчиваете, — нашелся юморист и пошел дальше.

Своим поспешным уходом он как бы напоминает старухе, что сидеть со мной не совсем безопасно, но предложения просто так подняться и уйти нет, а уйти без предложения все-таки неудобно.

— Вы знаете, Володичка, мне семьдесят шесть лет, но я еще не в маразме. Я все помню. Помню, как мы жили в Переделкино, как сидели на терраске, как вы привезли мне первые экземпляры моей гослитовской книжки. Почему вы мне никогда не позвоните? Мой телефон очень легко запомнить (говорит номер). Но меня

надо беречь. Вы же знаете, я их боюсь. Я все пережила: голод, разруху. Я в политике ничего не понимаю, я никогда не читала ни Маркса, ни Ленина, ни Сталина.

— Я тоже.

— Вы по вашему возрасту должны были читать. Ой, Володичка, если бы вы знали, как я их боюсь! Однажды мне пришлось посидеть там у них в коридорчике, и мимо меня водили одного человека под револьвером. Это так страшно!

— Это безусловно страшно, — соглашаюсь я, — но не страшнее, чем в падающем самолете.

— Нет, нет, Володя, вы мне не говорите. В самолете, я же вам сказала, сразу теряешь сознание, а потом все просто.

— Здесь тот же эффект. На вас наводят револьвер, вы теряете сознание, а потом все просто.

— Ах, Володя, вы все шутите. Неужели у вас еще есть силы шутить?

— Нет, я без шуток. Как только на вас наставляют револьвер, вы...

— А ну вас, Володя. Вы мне обязательно позвоните. На днях ко мне приедет один сумасшедший американец, он хочет вас переводить. Но не забывайте, что меня нужно беречь.

— Тогда лучше я вам не буду звонить.

— Да, пожалуй, лучше не звоните. — Переходит на шепот. — Вы приходите просто так, без звонка. Хотя да... у нас ведь лифтерша.

— Насчет лифтерши не беспокойтесь, я приду в маске.

Встревожилась.

— В какой маске?

— Ну помните, как у Высоцкого: «Раздали маски кроликов, слонов и алкоголиков...» Так вот у меня есть как раз маска кролика. Я дочке купил к Новому году. С такими большими ушами. Я надену ее и приду. Если у лифтерши спросят, кто приходил, она скажет: «Приходил кролик».

— Володя, не смейтесь надо мной, я старая. Вы знаете, этот американец, которого я сейчас перевожу, пишет мне, что ему постоянно приходится выступать в защиту каких-то русских, которых преследуют. А я ему написала: «Только, ради Бога, никого не защищайте, а то будет еще хуже».

— Кому это будет хуже?

— Всем, всем.

— Да, но есть люди, которым уже сейчас так плохо, что хуже, пожалуй, не будет.

— Володя, всем будет хуже, поверьте мне. Вы не забываете, у них армия, флот, у них эти... как они называются... ядерные боеголовки.

— Да что нам с вами боеголовки? Для нас достаточно одного револьвера или одного падающего самолета...

Я не договорил, меня позвали к врачу. Когда я вышел, старушки у дверей уже не было.

После этого я прожил в Москве еще несколько лет, но переводчицу эту больше ни разу не встретил. Из поликлиники меня все-таки исключили, а зайти к старухе или хотя бы позвонить я не решался. Тем более, что она просила ее беречь. Не зашел к ней, когда ей исполнилось восемьдесят лет. И когда уезжал, не зашел проститься.

А она, между прочим, все еще жива и, как я слышал, даже побывала в Америке. И самолет, на котором она летела, не разбился. Ни по дороге туда, ни по дороге обратно. И я лично этому очень рад, потому что, как я думаю, не все пассажиры этого самолета прожили свои восемь десятков лет. Так пусть поживут, сколько еще придется. И старушке я желаю, пусть еще поживет, пусть работает. Она, между прочим, переводчица очень талантливая.

Этот скромный рассказ был написан автором в два приема. Сперва как моментальный снимок с натуры. Четыре объясняющих абзаца — два в начале и два в конце — были добавлены десятью годами позже, при первой публикации.

Теперь пора прибавить послесловие для открытия того, что прежде известно было немногим.

В промежутке между первой публикацией и нынешней героиня нашего рассказа свой долгий путь завершила. Ей не довелось стать жертвой авиакатастрофы, она умерла, как большинство смертных — в постели.

Звали ее Рита Яковлевна Райт-Ковалева или просто Рита Райт.

Она была прекрасной переводчицей, введшей в круг русского чтения Беля, Кафку, Сэлинджера, Фолкнера и Воннегута. Она знала несколько иностранных языков (некоторые в совершенстве) и виртуозно владела рус-

ским. Обладая острым умом и прекрасной памятью, она очень живо рассказывала о своем прошлом, о встречах со знаменитыми поэтами и прежде всего с Маяковским, с которым когда-то дружила.

У нее была масса достоинств, при которых она могла бы претендовать на принадлежность к сословию, называемому интеллигенцией. Но у нее же был один недостаток, из-за которого я бы ее к этому сословию не причислил. Она, как видно даже из нашей зарисовки, была из тех глухарей (распространенная порода), которые сами не слышат человеческих воплей и в неглухоту других не верят.

И потому чужую настроенность на сострадание готовы объяснять меркантильными соображениями или приверженностью к отвлеченной казуистике, предписаниям, параграфам и «каким-то правилам» неизвестно кого и неизвестно чего, но в кавычках. Она сама была глуха и других к подобной же глухоте призывала. Одним из призываемых был упомянутый выше американец Курт Вонпегут. Она его очень просила, чтобы он ни за кого не заступался. Потому что, если он будет заступаться, его здесь не будут печатать. А если не будут печатать, то и ее перевод не пройдет. И книги не будет, и гонорара тоже. И поэтому: «Только, ради Бога, никого не защищайте...»

Надо признать, что многие западные «высоколобые» интеллектуалы на подобные призывы доверчиво откликались, тем самым добровольно причисляя себя к международному сообществу образованцев (термин, замечательно найденный Солженицыным).

Этой же породы была и Рита Райт. Обладавшая очень многими способностями и достоинствами.

Но паразиты никогда...

В те годы у меня было много разнообразных неприятностей, связанных с тем, что я был исключен из Союза писателей СССР за действия, несовместимые с высоким званием советского писателя. Но действия мои оказались несовместимыми с этим высоким званием, во-первых, потому что я писал не совсем то, чего ожидали от меня партия и правительство, во-вторых, я защищал людей, которых сажали, как принято выражаться, за убеждения или, иначе говоря, ни за что. Само собой ра-

зумеется, советские власти таких преступлений мне простить никак не могли и мало того, что исключили из Союза писателей, — грозили всякими другими карами, например, обвинением в тунеядстве. То есть в том, что я нигде не работаю и живу за счет народа, который таких паразитов кормить не желает.

И вот повадился ко мне ходить наш участковый милиционер Иван Сергеевич Стрельников. Такой высокий, седой, очень вежливый, между прочим, человек. Приходит он ко мне, нет, не вламывается, а вежливо звонит в дверь, вежливо спрашивает: «Можно, Владимир Николаевич?» «Вам, — говорю, — можно, конечно. Кому-нибудь другому, может быть, и нельзя, а уж вам-то всегда можно». А он человек не только вежливый, а даже застенчивый, в комнату входит, шапку снимает. «Садитесь, — говорю. — Иван Сергеевич!» «Ничего, — говорит, — я постою». Я тоже человек вежливый, все-таки настаиваю на своем, садится Иван Сергеевич на краешек стула, и начинается у нас глупый такой разговор. «Владимир Николаевич, — мнется участковый, — вы уж извините, я, конечно, к вам не сам пришел, меня послали, но хотелось бы узнать, вы где-нибудь работаете?» «А вот тут, — говорю, — прямо и работаю». «И как это вы тут работаете, кем это вы тут работаете, если не секрет?» «Совсем не секрет, — говорю, — Иван Сергеевич, не только для вас, но и ни для кого не секрет, писателем я здесь работаю».

«Да, — говорит, — писателем? А я слышал, Владимир Николаевич, что вас, извините, из Союза писателей исключили». «Да, — говорю, — исключили, а Льва Толстого в свое время даже из церкви исключили. Но он остался тем, кем он был. И я остался тем, кем я был». «Владимир Николаевич, я не знаю, откуда там Толстого исключали, но вам надо бы трудоустроиться». «Да, я, — говорю, — в общем-то трудоустроен. У нас в конституции записано, что каждый имеет право на труд по избранной специальности, а я специальность себе избрал и как раз по ней и работаю». «Это все, — говорит, — хорошо, но если вы работаете, должно же быть какое-то доказательство». «Доказательств-то, — говорю, — у меня сколько хотите. Во, — говорю, — книги, видите, и на них моя фамилия написана, книги-то, — говорю, — не работая не напишешь». Он смотрит на книги, уважительно, со мной в душе даже вроде согласен, что туне-

ядцы книги не пишут, и очень даже смущается, но все-таки говорит: «Владимир Николаевич, книги это, конечно, хорошо, но мне справка нужна.». Я дальше ему объясняю, что в конституции нашей чересчур демократической насчет справок вообще ничего не сказано, там сказано, что человек имеет право на труд, между прочим, тоже, если уж придирааться, право, а не обязанность, а насчет того, что каждый человек обязан справку иметь, там и вовсе ничего не сказано.

Разговоры эти с участковым продолжались года четыре иногда с большими, впрочем, перерывами. И не всегда протекали спокойно. Иногда я сильно раздражался. «Иван Сергеевич, — говорил я, — а вам вот не стыдно ко мне ходить? Вам не стыдно обвинять в паразитизме писателя, книги которого изданы тиражом в сотни тысяч экземпляров и переведены на три десятка с лишним языков? Если эти книги для вас ничего не значат, так, может быть, вы примете во внимание, что я написал песни, которые пели вы, ваши дети и почти все поголовно население Советского Союза! Если, по вашему, и этот мой труд ничего не стоит, так, может, вас убедит в том, что я не паразит, хотя бы тот факт, что я с одиннадцати лет работал в колхозе, на заводе, на стройке, четыре года служил солдатом в Советской армии. Или вам и этого недостаточно?»

Участковый смущался и сам начинал нервничать. «Владимир Николаевич, я лично к вам с большим уважением. Но что я могу сделать, меня же послали».

В конце концов все эти наши разговоры завершились для меня, можно сказать, без последствий в том смысле, что власти так и не решились объявить меня официально паразитом. Но неофициально я вошел в разряд паразитов задолго до того, как лишился справки с места работы.

Когда я служил солдатом, нас довольно плохо кормили. А если мы жаловались, нам говорили, что мы паразиты, никаких материальных ценностей не производим и не заслуживаем даже тех восьми рублей (восьмидесяти копеек по нынешним деньгам), которые народ ежедневно на каждого из нас тратит. А мы, будучи, как говорится, солдатами сознательными, с этой точкой зрения соглашались, хотя сейчас она кажется мне идиотской. Потому что если народ нуждается в солдатах для своей защиты, он должен содержать их как нормальных чле-

нов общества. А если он в них не нуждается, зачем они вообще?

А уж про писателей и говорить нечего. Писателя всегда попрекают тем, что он паразит, живет за счет народа, должен быть благодарен народу и должен служить народу, должен писать книги для народа и о народе. То есть прежде всего о рабочих и крестьянах. Но все это чушь.

Если буквально следовать логике тех, кто учит писателей, как и для кого они должны писать, что и кто должен читать, то шпионские романы должны читать только шпионы, а рассказ Чехова «Каштанка» — только собаки.

Конечно, нормальный писатель, всегда живет с ощущением своих обязанностей перед народом, обществом и страной. Но эту обязанность он берет на себя добровольно. И исполняя свои обязанности, писатель вовсе не должен быть все время кому-то благодарным, за то, что его кормят. Он создает необходимые обществу духовные ценности, стоимость которых не измеряется рублями. А впрочем, измеряется и ими. Потому что книга, кроме всего, это и реальный товар, который можно взять в руки, можно купить, а можно и продать, и иногда довольно успешно. Многие книги издаются огромными тиражами и приносят их издателям огромные прибыли. Приносили бы советской стране огромные прибыли и книги некоторых изгнанных из нее тунеядцев.

Современное общество устроено сложно. Ему нужны и крестьяне и рабочие, и инженеры, и врачи, и учителя, и ученые, и артисты, и писатели, короче говоря, ему нужны все. Жизнь показывает, что, чем большая часть того или иного народа занята непосредственно производством продуктов питания, тем меньше в ней этих самых продуктов питания. И еще: чем больше правительство этой страны борется с искусством, тем опять же меньше в ней этих самых продуктов питания.

Никто никого не кормит. Или — все кормят всех. С одним, правда, исключением. Как уже было сказано выше, есть в Советском Союзе одна категория людей, которая не производит ни материальных, ни духовных ценностей, а только сидит на собраниях, хлопает в ладоши и издает указания, как крестьянину сеять хлеб, а писателю писать книги. Вот эти-то люди, по моему непросвещенному мнению, и есть настоящие паразиты.

Прощание длилось несколько дней, и меня все эти дни не оставляло ощущение, что я присутствую на собственных похоронах. Приходили друзья, знакомые, малознакомые и совсем незнакомые люди. Из последней категории мне запомнились два молодых человека террористического вида. Они не хотели говорить вслух из-за предполагаемых микрофонов и подали мне записку, в которой сообщали, что их подпольной организации необходимо срочно послать своего человека на Запад, и они просят меня найти этому человеку невесту иностранного происхождения. Не знаю, воображали ли они себя действительно подпольщиками, были ли своеобразными брачными аферистами, желавшими таким путем выехать за границу, или имела место одна из последних провокаций КГБ. Кто бы они ни были, я им помочь никак не мог, так как свободной иностранной невесты у меня в то время под рукой не было, о чем я им и сообщил, и они ушли очень разочарованные и, кажется, мне не поверив.

Доступ к телу был открыт, и поток посетителей начинался с раннего утра и кончался далеко за полночь. Утренние посетители приходили по одиночке или небольшими группами, вели себя тихо, сидели со скорбными лицами и разговаривали вполголоса, как и полагается в присутствии усопшего. Но ближе к вечеру поток усиливался, все чаще хлопала за стеной дверь лифта, все чаще раздавался звонок в дверях квартиры, и в конце концов народу набивалось столько, что было трудно протолкнуться. Вечерние посетители тоже приходили со скорбными лицами, но толкотня, многолюдность и водка делали свое дело, и пришедшие начинали шуметь, как обычно бывает с гостями, развеселившимися на поминках.

Однако все это прошло. Прошел поток посетителей, прошел прощальный вечер, устроенный Беллой Ахмадулиной и Борей Месерером в его огромной мастерской на Арбате, и наступил последний день.

В седьмом часу утра измученные бесконечными прощаниями и последней бессонной ночью, Ира, Оля и я спустились вниз, в темноту московского декабрьского утра, к толпе, нас ожидавшей, как ожидают на похоро-

нах выноса тела. Толпа, как и полагается, в таких случаях, состояла из людей близких и неблизких, из тех, о кем виделись почти каждый день, и тех, кто не появлялся, может быть, несколько лет, а теперь вот пришел проститься.

Пришли мои старшие дети Марина и Паша. Пришли близкие друзья. Приехали родственники из провинции. Высыпали во двор полуодетые соседи. Были среди прочих повзрослевшие Ирины ученики*.

Почему-то в памяти осталось, как из темноты выделился и приблизился актер «Современника» В. Н**. Семь лет назад, когда меня исключили из Союза писателей, он позвонил и сказал, что непременно придет в самое ближайшее время, но не пришел (да и не обязан был, наше знакомство было шапочное), а теперь вот появился, и мы обнялись торопливо.

Но для объятий времени уже не оставалось, захлопали дверцы машин, и наш странный кортеж, состоящий из «Жигулей» и машин иностранных марок, понесся в аэропорт Шереметьево.

Закончился период странного и неестественного противостояния еще одного человека государству, которое вело эту борьбу, не жалея ни сил, ни времени, ни зарплаты вовлеченным в борьбу сотрудникам секретных служб.

И наступил последний акт. Наши небогатые пожитки (мы взяли с собой всего четыре чемодана, один из них с дочкиными игрушками) проверяла целая бригада таможенников. Проверяли каждую вещь, каждый ботинок, каждую Олину куклу вставляли в рентгеновский аппарат. Ничего они не искали, кроме, может быть, повода подвергнуть нас последнему унижению. Но все пропускали. Заинтересовались бронзовой медалью Баварской академии изящных искусств, по приглашению которой я уезжал сейчас в Мюнхен. Потом подумали, посоветовались с кем-то, пропустили. Я держался индифферентно. Мне было на самом деле все равно. Досмотр подходил уже к концу, и два наших чемодана уже поехали куда-то вниз по наклонному транспортеру, когда меня вдруг подозвали и попросили расписаться в каком-то бланке. Я спросил, в чем я должен расписаться.

* Кажется, и будущий премьер Егор Гайдар был среди них.

** Валентин Никулин.

— В том, что ваша рукопись конфискована.

Я удивился: какая рукопись? Мне показали пачку выцветшей и пожелтевшей бумаги. Это была глава, не вошедшая в одну из моих задолго до того опубликованных книг, глава, которую я наверняка уже давно каким-то другим способом отправил за рубеж. Но, наверное, я не был тогда в самом спокойном состоянии, потому что тут же швырнул им их бланк назад, а язык уже произнес необдуманные слова:

— Хорошо, в таком случае, я возвращаюсь домой.

Я выхватил у рабочего третий чемодан, который он волок к транспортеру, и подошел к перегородке, отделявшей нас от провожавших.

Какой-то тип в штатском распростер руки.

— Стойте, подождите!

Я поставил чемодан и подошел к старшему таможеннику.

— И не стыдно позориться на глазах у всех людей? Из-за каких-то бумажек. Неужели вы думаете, что я доверил бы вам действительно что-нибудь ценное?

И вдруг, что это? Я не поверил своим глазам и ушам. Таможенник покраснел, опустил глаза и четко, почти по слогам произнес:

— Ваши отношения с таможенной закончены. У таможи к вам нет никаких претензий.

Я растерялся. Я-то думал, что все они здесь кагебешники, кто в форме таможенника, кто просто в штатском. А оказывается, ему стыдно. Он не хочет, чтобы я считал его одним из них. Я отошел. Некий тип в плаще побежал в дальний угол с карманным приемником-передатчиком и принялся быстро и возбужденно в него что-то бормотать. С кем он связывался? С Лубянкой? Воскресенье, раннее утро...

Жена сказала другому кагебешнику, который стоял рядом:

— И что вы суетитесь? Вы же все равно эти бумаги отдадите.

— А вот и не отдадим, ни за что не отдадим, — ответил он злорадно.

Приблизился тот, который бегал с передатчиком. Я встал у него на пути.

— И что ты бегаешь с этой штукой? Что ты там бормочешь? И не стыдно?

— А я ни при чем! — закричал он нервно.

— Врешь, — сказал я, — уж ты-то причем. Это он, — я показал на таможенника, — может быть, еще ни при чем. А ты-то как раз при чем.

— Я ни при чем, — еще раз повторил он и кинулся от меня бежать.

Мне показалось, что и ему стало как-то неловко.

Это подействовало на меня отрезвляюще, и я успокоился. И стал думать, зачем я устроил этот скандал. Тем временем два первых наших чемодана появились из подземелья. Подошел рабочий, и, как мне показалось, злорадно сказал, что двигатели запущены и самолет отправляется. Из толпы провожающих, молчаливо наблюдавшей эту последнюю сцену, раздался голос одного из друзей*:

— Володя, что ты делаешь? Другого шанса не будет.

Я и сам знал, что не будет. Я уже жалел о том, что случилось. Случившееся даже отчасти противоречило моим правилам. Правил у меня вообще-то немного, но одно из них твердое и продуманное. Я стараюсь не говорить, что я что-то сделаю или что-то не сделаю, если я не уверен, что поступлю именно так. И второе правило — прямо вытекает из первого. Если я сказал, что я сделаю то-то и то-то, я должен это сделать. А уж в данном случае тем более. Раз я сказал, что я без рукописи не уеду, значит, я свое слово должен держать. А слово-то глупое, но ничего не поделаешь. Сейчас, задним числом, я думаю, что у кагебешников даже и шанса не было не сдать. Вопрос о моем отъезде был решен на каких-то верхах, им недоступных. И нарушить решение верхов им было не под силу. Но тогда я этого точно не знал и, правду сказать, чувствовал, что из-за ерунды подвергаю себя большому риску. Деваться, однако, было некуда...

Им тоже деваться было некуда, и рукопись мне вернули. Если сказать честно, при этом я испытал некоторое злорадство. Они меня хотели унизить, а унизил их я. Но я еще не знал, что меня ждет следующее испытание.

Только мы скрылись с глаз провожавших нас друзей и иностранных корреспондентов, как в каком-то коридорчике нам опять преградили дорогу таможенники и милиция. Оказывается, кроме общего обыска, нам предлагают пройти еще личный обыск. Женщина-таможен-

* Это был Б. Окуджава.

ница завела в кабинку мою жену и дочь и тут же выпустила их обратно. Настала моя очередь. Мы вошли в кабинку втроем. Толстый таможенник с большой звездой в петлице, капитан милиции, в отличие от таможенника худой, с коричневым дубленным лицом, и я.

— Выньте все из карманов! — приказал таможенник.

Я решил подчиниться.

Я вынул из карманов все, что в них было. Паспорт, какие-то деньги, которые я не пытался утаить, просто забыл о них на первом досмотре. Но таможенника мои деньги нисколько не заинтересовали. Потому что перед ним была поставлена цель не уличить меня в валютных операциях, а унижить. Я это понял. Но я знал, что унижить меня он не может, потому что я к нему отношусь, примерно, как к корове. Я знал, что могу сопротивляться и, возможно, даже без особого риска, но я мог и полностью подчиниться, ничуть не чувствуя себя оскорбленным. Я так и решил — подчиниться. Он приказал мне снять сапог, я снял. Он, сидя на корточках, сунул руку внутрь. И вдруг я увидел, что передо мной не какой-то там грозный страж чего-то, а немолодой человек, толстый и страдающий одышкой.

— Слушай, — сказал я ему нарочно на «ты», — а что ты там ищешь? Бомбу?

— Нет, — сказал он хмуро, — не бомбу.

— А что? Совесть свою?

— Снимите второй сапог, — сказал он и протянул руку.

Я снял сапог и швырнул мимо его руки на пол. И приказным тоном сказал: «Подними!» Он поднял и туда сунул руку. И тогда я, уже сильно разозлившись и даже уже готовый опять отказаться от полета (хотя это было бы все-таки глупо), сказал:

— И не стыдно тебе меня обыскивать? Ты же знаешь, что я не преступник, а писатель.

— А я ваших книг не читал, — сказал он, как мне показалось, агрессивно.

— И стыдно, что не читал, — сказал я. — И вообще, посмотри на себя. Что ты тут ползаешь по полу? Ты же потерял человеческий облик. Я бы на твоём месте лучше застрелился, чем делал эту работу. Что тебе еще от меня нужно?

И вдруг он закричал: «Ничего! Ничего!» — и выскочил из кабинки.

Я сначала подумал, что он побежал звать кого-то на помощь, но потом понял, что он просто сбежал. Потому что ему стало стыдно.

Я стал надевать сапоги и вдруг встретился взглядом со стоящим надо мной милиционером, который смотрел как-то странно, не понимая, что происходит.

— А куда он ушел? — вдруг спросил милиционер, обращаясь ко мне заискивающе, как к начальнику.

— А я не знаю. Наверно, пошел стреляться. Пойди и ты застрелись.

Я думал, что милиционер рассердится, но он вдруг как-то жалко улыбнулся и спросил:

— А вы надолго уезжаете?

— Не надолго, — сказал я. — Я скоро вернусь.

Потом мы все трое бежали к самолету. Я еще кому-то выкрикивал какие-то проклятия, а служащая аэропорта бежала за нами и истерически восклицала: «Это для вашей же безопасности! Это для вашей же безопасности!» Она оправдывалась. Ей тоже было стыдно.

Мы оказались последними пассажирами, вошедшими в самолет. Только мы вошли, дверь закрылась и самолет порулил на взлетную полосу. Набрали высоту и появилась стюардесса, которая везла на тележке разные напитки: пиво, водку, коньяк, виски, джин... Я взял чекушку водки и спросил, сколько стоит. Она мне сказала; в долларах столько-то, в западногерманских марках столько-то.

— А в рублях? — спросил я.

— Отечественную валюту не принимаем, — сказала она и покраснела.

Вот говорят: стыд не дым, глаза не есть. А я думаю, что все-таки есть. И покуда в людях еще существует чувство стыда, они живы, они еще люди. И значит еще не все потеряно.

ГЕНИЙ И ЗЛОДЕЙСТВО

Метро «Аэропорт»

Почти в центре Москвы, недалеко от метро «Аэропорт», стоят несколько восьми- и десятиэтажных домов высшей категории, из кирпича. И квартиры здесь не малогабаритные «хрущобы», а попросторнее, с большими комнатами и кухнями, с широкими коридорами и высо-

кими потолками. У каждого подъезда сидит и вяжет носок лифтерша. Всякого незнакомого ей человека она непременно остановит вопросом: «А вы к кому?» А потом проверит, действительно ли вы идете к тому, кого называли, или к кому-то другому.

Начиная с послеобеденного времени или чуть раньше можно увидеть и обитателей этих домов. Вот идут два пожилых полнощеких гражданина в джинсах, в голубых водолазках, в темных очках, в каких раньше обычно изображали иностранных шпионов. Идут неспеша, заложив руки за спину, снисходительно поглядывая на окружающую их местность, которая как бы существует благодаря им.

— Вы не читали мой последний роман? — спрашивает один гражданин другого.

— Нет, еще не успел, — виновато отвечает другой.

— Напрасно. Прочтите, получите огромное удовольствие. Между прочим, я там их разнес в пух и прах, сказал все, что о них думаю.

— О ком? О них? — шепотом переспрашивает собеседник.

— Именно о них, — громко настаивает первый. — Я имею в виду американских империалистов.

И судя по его самодовольному виду, не сомневается, что, прочтя его роман, американские империалисты придут в ужасное смятение.

По их разговорам нетрудно понять, что это писатели. Но опытный глаз отличит писателей от прочих людей без всяких разговоров. По их самодовольному и в то же время испуганному виду, по очкам, джинсам и водолазкам, по их женам, собакам и автомобилям. Есть тысячи неуловимых примет, по которым советского писателя можно отличить от советского человека любой другой профессии.

В СССР — восемь тысяч членов Союза писателей. Половина из них живет в Москве. Три четверти этой половины прописаны в кооперативных домах у метро «Аэропорт». Здесь живут, в основном, рядовые писатели. Правда, не самые бедные, а те, у кого есть или были когда-то деньги. Те, у кого денег не было никогда, живут в казенных квартирах похуже. Выдающиеся писатели, то есть секретари Союза писателей, живут в казенных квартирах получше. А здесь... Впрочем, и здесь попадаются важные люди, которые ездят на службу на

государственных «Волгах», а то и на «Чайках», но это большая редкость. В основном здесь живут все-таки рядовые. Которые ездят на своих «Жигулях» или вовсе на метро. Например, вот эти два старичка, что сидят на лавочке перед домом. О чем они говорят? Тоже о своих романах или поэмах? Нет, они никаких романов или поэм давно не пишут. Они живут на пенсию — сто двадцать рублей в месяц, кое-что подрабатывают по мелочам на внутренних рецензиях для какого-нибудь издательства или журнала, ну и, наверное, — кто же сейчас этим не занимается? — пишут втихомолку мемуары о своих встречах в прошлом с выдающимися людьми. Однако, пожалуй, и мемуарами не злоупотребляют и уже с двенадцати часов сидят здесь на лавочке, разговаривают вполголоса, поглядывая по сторонам, не сел ли рядом кто-нибудь подозрительный с тонким слухом.

Они говорят о том, что вчера услышали от знакомых или по Би-Би-Си. Говорят, новый секретарь парткома сделал то же, что в свое время сделал старый, то есть украл партийную кассу. И теперь нового ожидают те же неприятности, которые постигли когда-то старого, то есть ему объявят какой-нибудь выговор. А на его место поставят опять старого, с которого выговор за это время уже сняли. А Марков пытался похоронить свою племянницу за счет Литфонда, но какой-то правдолюбец ему помешал. А Вознесенский после скандала с «Метрополем» улетел в Америку. Говорят, Союз писателей был против и товарищ Верченко лично в ярости топал личными своими ногами, но Вознесенский все равно улетел. Потому что сенатор Кеннеди — его личный друг. И Артур Миллер тоже его личный друг. Но ни сенатор Кеннеди, ни Артур Миллер не могут приказать товарищу Верченко, чтобы он не топал ногами. Значит, у Вознесенского и в Москве есть какой-то влиятельный друг, который поважнее, а может, и пострашнее товарища Верченко.

Сидят старички, чешут языки, переливают из пустого в порожнее, судачат о чем ни попадя, и нет, кажется, такой темы, важной или неважной, которой бы они не уделили внимания. Говорят о Польше, о дисидентах, об отъезжающих евреях, об остающихся антисемитах, которые теперь вошли в моду настолько, что одна поэтесса в Доме литераторов спросила известного поэта: «Евгений Михайлович, а почему вы против антисемитизма?»

Вчера в Литфонде распределяли шапки. А по радио передавали, будто Солженицын сказал, что в Советском Союзе есть семь писателей, которые о деревне пишут не хуже Тургенева и даже Толстого. Кого же он имел в виду? Абрамова, Белова, Распутина, Можяева... Кого еще? Солоухина? Нет, Залыгина. А скорее всего и того и другого. «Как вы думаете, — спрашивают они подошедшего к ним пьяного человека, — кого имел в виду Солженицын, Солоухина или Залыгина?»

Пьяный смотрит на них печальными глазами, ему их спор вовсе не интересен, у него большое несчастье. Он надеялся, что к его шестидесятилетию «Литературная газета» даст о нем полсотни строк с портретом, а теперь выяснилось, что заметка будет только в «Московском литераторе», и не сто строк, а восемь, и без портрета.

Так и не ответив на заданный ему вопрос, он идет дальше, домой, и пишет заявление «самому Маркову»: «с сего числа прошу не считать меня более членом Союза советских писателей...»

Жена в ужасе. Опомнись, что ты делаешь! Ведь у тебя дочка. Ее выгонят из института. У тебя книжка, над которой ты работал четыре года. Теперь ее не напечатают. Ничего, пошлю в «Ардис» или в «Посев», там напечатают! Он вытаскивает жену из своей комнаты, звонит по телефону своему другу и с выражением читает свое заявление: «с сего числа прошу не считать меня более...» Врывается жена. «Петя, что ты делаешь?» Ведь телефон прослушивается!» Он замахивается на нее трубкой. Вон отсюда! Жена с плачем вылетает за дверь. Он прерывает разговор с другом. Ладно, я позвоню тебе завтра. Завтра, проснувшись с больной головой, он своего заявления не находит, жена давно изорвала и спустила в канализацию. Ну что ж, может быть, она и права. Дочка еще не получила диплома. И над книжкой он работал четыре года. А в «Ардисе» то ли напечатают, то ли нет. А если напечатают, то что делать потом? И все-таки «Московский литератор» его юбилей отметил. А товарищ Кобенко, которого писатели за глаза зовут Кагбенко, все-таки прислал телеграмму. В общем, жить можно. Конечно, вчера он наболтал по телефону лишнего, но он же сказал это не на собрании и не иностранным корреспондентам. Раньше бы и за это голову сняли, а теперь ничего, теперь времена либеральные, теперь все все понимают. Обиделся человек, ну напился,

побил жену, сболтнул лишнее, не любит он советскую власть, а кто ж ее любит?

Говорят, как-то за обедом малолетний сын Мусолини спросил своего отца: «Папа, а что такое фашизм?» На что папа буркнул, нахмурясь: «Жри и молчи!»

Жри и молчи! Да это же разгул либерализма!

В прошлые времена сидишь, бывало, на собрании, помалкиваешь, никому ничего плохого не делаешь. И вдруг слышишь, председательствующий произносит твое имя. «А теперь послушаем, о чем молчит товарищ Такой-то». И ослабевшие ноги несут товарища Такого-то к трибуне, и коснеющий язык лепечет невнятно о преданности партии и правительству и лично товарищу Сталину... А ему говорят: «Нет, мы вам не верим, что-то вы ваши слова неохотно говорите, как бы по принуждению, а мы вас вовсе не принуждаем, что ж, не любите вы советскую власть, так и скажите, советская власть и без вас обойдется, мы вас выкинем, и ваш труп будет гнить на мусорной свалке истории».

Перед отъездом своим из Москвы попал я мимоходом на Новодевичье кладбище. Сначала был на старой половине, где Гоголь, Чехов, Булгаков, потом перешел на новую, где по выражению Владимира Корнилова, «стоят, словно попки на вышке, маршала, маршала, маршала...» Мне эти маршалы показались не попками на вышке, а окаменевшим почетным президиумом во главе с лично дорогим Никитой Сергеевичем Хрущевым. Громятся один выше другого безвкусные памятники. С натуралистически вырубленными или отлитыми морщинами, бровями, ресницами, орденами, погонами, петлицами, пуговицами, с надписями, перечисляющими чины и должности усопшего. Есть здесь писатели, которые остались в литературе и нашей памяти — Твардовский, Эренбург, Смеляков... Но в основном... Лежит под собственным громоздким изваянием бывший литературный маршал, посмертно разжалованный временем в неизвестные солдаты.

А ведь когда-то заседал в президиумах, громил своих неудачливых собратьев, требовал их крови, издавался огромными тиражами, сыпался на него золотой дождь наград, денег и привилегий, и сам он, должно быть, поверил, что заслужил это своим выдающимся вкладом в литературу. А теперь остановится возле памятника пара случайных зевак...

— Кто это?

— Писатель какой-то.

— А-а.

Если в рамках обязательной программы им не пичкают насильно школьников, кто его знает теперь?

Никто, исключая отдельных знатоков вроде меня.

Теперь и на собраниях в Союзе писателей, как на кладбище, тихо и скучно. Займут свои места в зале рядовые писатели, сядут за стол президиума литературные генералы, выйдет на трибуну товарищ Имярек и начнет жевать свою жвачку.

За отчетный период писатели, окрыленные решениями такого-то съезда партии и указаниями лично товарища... трудились плодотворно и вдохновенно. За это время вышли из печати... Перечисляются книги, качество которых оценивается в соответствии с должностью, занимаемой автором. Значительно пополнилась наша Лениниана, получил дальнейшее развитие образ коммуниста, к сожалению, наши писатели еще мало уделяют внимания рабочей теме. Однако есть сдвиги и в этой области. Руководство Союза постоянно заботится об укреплении связей писателей с жизнью. Писательские бригады посетили строителей Байкало-Амурской магистрали, читали свои произведения в чумах оленеводов, принимали участие в коммунистическом субботнике на заводе имени Лихачева. И все дальше от литературы, все о каких-то поездках, митингах, борьбе за мир и прочей чепухе, которая большинства сидящих в зале никак не касается—большинство к борьбе за мир, связанной с заграничными поездками и привозимыми оттуда тряпками, магнитофонами или кухонными комбайнами, не допускается. Но и для большинства у докладчика есть кое-что утешительное. Секретариат и партийная организация постоянно заботятся о быте и здоровье писателей. За отчетный период построен новый Дом творчества, улучшено медицинское обслуживание, намечается строительство дачного кооператива, расширены льготы инвалидам войны, столько-то писателей получили безвозвратные денежные пособия.

Посидишь, послушаешь, кладбище не кладбище, но и не Союз писателей, а какая-то богодельня.

Подтекст доклада каждому ясен. Веди себя тихо, смирно, слушайся начальников, не умеешь писать про секретарей обкомов, райкомов, директоров заводов и

председателей колхозов, пиши что-нибудь про комсомольцев, пионеров, про природу, про милицию, про рабочий класс, в нужном духе, скучно и оптимистично, и все у тебя будет в порядке, и книжку когда-нибудь напечатаем, и дадим бесплатную путевку в Дом творчества, и по больничному что-нибудь заплатим, а там, глядишь, и до пенсии дожил.

Жри и молчи!

Собрание заканчивается выборами. Выборы происходят так. Председательствующий объявляет, что теперь пора выбрать новое правление. Секретариат, партийный комитет и московский городской комитет партии рекомендует следующих товарищей. Кто за? Поднимаются руки. Дальше скороговоркой: кто против, кто воздержался? Никто не против, никто не воздержался. Раньше такие попадались, но теперь либо осознали прошлые ошибки, либо исключены из Союза писателей и считаются нигде не работающими паразитами либо, как я, живут за границей.

Но ведь писатели не только заседают, не только занимаются распределением шапок или машин, они еще, наверное, пишут книги. Строго говоря, это вообще-то не обязательно. И среди руководителей Союза есть такие люди, которые ничего не пишут. Но почему бы и не написать книгу, если за нее много платят?

Как нужно писать книгу, чтобы получить за нее много денег?

«Я твоему Толику, — говорит жена одного писателя, — еще когда он только начинал, сказала: «Толик, пиши как можно скучнее. Чем скучнее ты будешь писать, тем меньше у тебя будет завистников, тем легче тебя будут печатать».

Мудрая женщина. И муж тоже не дурак. Послушался совета жены, пишет что-то то ли про геологов, то ли про рыбаков, пишет скучно, на общем фоне не выделяясь, никого не раздражая, и без особой борьбы с редакторами и цензурой издает в год по книге. А книга в Советском Союзе не то, что здесь. Там за нее платят деньги независимо от того, читает ее кто-нибудь или нет. Деньги платят за толщину и тираж. При определении тиража начальство учитывает, насколько книга правильна с партийной точки зрения. Чем она правильней, тем скучнее — и тем больше ее тираж. Самые толстые и самые скучные книги пишет Георгий Мокеевич Марков,

первый секретарь Союза писателей СССР, член ЦК КПСС, депутат Верховного Совета СССР, дважды Герой Социалистического труда, Лауреат Ленинской премии.

Живя в Москве среди образованных и следящих за литературой людей, я однажды решил провести небольшое социологическое исследование и всех своих знакомых стал спрашивать, прочел ли кто-нибудь из них хоть одну книгу Маркова. Я опросил не меньше ста человек и оказалось, что никто из них не прочел ни одной строчки Маркова. Первого человека, прочитавшего одну книгу Маркова, я встретил в Мюнхене.

Чем писатель интереснее, чем большим успехом пользуется он у читателей, тем с большей осторожностью его печатают.

Если же писатель вообще резко отличается от других индивидуальной манерой письма и глубиной содержания, то есть талантом, с ним редакторы много работают, стараясь довести его книги до общего среднего уровня. Чем меньше это удастся, тем меньшим тиражом будет издана книга. Если это не удастся совсем, книгу совсем не печатают. Писателю это, конечно, не нравится, он начинает жаловаться и протестовать. Чем больше он протестует, тем большее недовольство на себя навлекает, и его шансы на то, чтобы напечататься, становятся все меньше и меньше. Если он на этом остановится и будет сидеть тихо, ему со временем предоставят возможность полуголодного существования, то есть дадут «черную» работу, например, рецензировать рукописи начинающих авторов или переводить с подстрочника какой-нибудь туркменский, якутский или монгольский роман. Если же он будет протестовать дальше, а хуже того, отдаст свою рукопись за границу, тогда его объявят врагом советской власти, поджигателем войны, агентом ЦРУ, фашистом, контрабандистом, гомосексуалистом, выкинут из Союза писателей, тогда им вплотную займется другая организация — Комитет государственной безопасности.

Жизнь и судьба Василия Гроссмана и его романа

Выступление на Франкфуртской книжной ярмарке по поводу выхода немецкого издания романа «Жизнь и судьба»

Люди, следящие за советской литературой, знают, что в огромном потоке книг, которые из года в год издают тысячи советских писателей, все же иногда попадаются заслуживающие внимания. Книги, в которых тому или иному автору удалось что-то сказать, что-то протащить сквозь беспощадную цензуру. Среди этих книг бывают иногда очень даже неплохие. Но даже этим лучшим книгам, вышедшим в советских издательствах, я предпочитаю некоторые из тех книг, их можно сосчитать по пальцам, которые сквозь цензуру вообще протащить не удалось.

К числу этих редчайших книг относится Роман Василия Гроссмана «Жизнь и судьба». Если бы этот роман был опубликован в то время, когда был закончен, то есть в 1960 году, он (я в этом не сомневаюсь) стал бы литературной сенсацией мирового значения.

Но в то время сенсации не произошло. Произошло нечто другое. Вадим Кожевников, главный редактор журнала «Знамя», куда автор отдал свой роман, прочитал его и немедленно побежал с ним в ЦК КПСС, а может быть, в КГБ, это в данном случае значения не имеет. Имеет значение то, что там, куда Кожевников отнес рукопись, ее прочли и, в отличие от некоторых издателей, редакторов, критиков и литературоведов, сразу оценили ее по достоинству. Реакция была незамедлительной. Работники КГБ явились к Гроссману, изъяли рукопись, черновики, заметки, все, что имело к роману хоть какое-то отношение. Еще один экземпляр был вынут из сейфа главного редактора журнала «Новый мир» Александра Твардовского, которому Гроссман тоже дал роман для ознакомления. У машинисток, которые перепечатывали роман, были изъяты не только все экземпляры, но и копировальная бумага, которая использовалась при перепечатке и даже, как говорят, были выдернуты ленты из пишущих машинок.

Все было уложено в брезентовый мешок, опломбировано и исчезло; как казалось тогда, навеки.

Этот случай даже в истории многострадальной советской литературы является абсолютно уникальным. До того случалось, конечно, что арестовывали автора и забирали все его бумаги без разбора или с разбором, но здесь был арестован не автор, а сам роман. Именно не отобран, не изъят, не конфискован, а арестован, как живой человек.

Такого не было никогда. Для сравнения скажу, что Борис Пастернак ни от кого не скрывал существования своего романа «Доктор Живаго», давал читать его друзьям, в редакции, рассылал по почте, но арестовывать его тогда не пришло никому в голову. Скандал разразился лишь после того, как он был напечатан.

Много лет об арестованном романе Гроссмана ходили самые противоречивые слухи. Никто или почти никто не знал, что это за роман и почему его постигла такая судьба. После того, как этот роман возник из небытия и мы смогли его прочесть, можно сказать, почему этот роман был арестован.

Роман написан в классической традиции реализма, который можно назвать критическим, а можно вообще обойтись без прилагательных. Во всяком случае к социалистическому псевдореализму он отношения не имеет и отличается от классических образцов этого направления, как живой организм отличается от муляжа.

При чтении романа невольно возникает сравнение с «Войной и миром» Толстого. Действительно, как и роман Толстого, «Жизнь и судьба» Гроссмана — роман-эпопея. Как и у Толстого, и сцены войны, и сцены мира одинаково важны в романе. Действие происходит и в Москве, и в глубокой провинции, и в тылу, и на фронте, в ставке Сталина и в ставке Гитлера. Одна героиня романа гибнет в немецкой газовой камере, другого нечеловеческими пытками ломают в кабинетах Лубянки.

Известный в свое время критик Страхов писал с восхищением о романе Толстого:

«Какая громада и какая стройность! Тысячи лиц, тысяча сцен, всевозможные сферы государственной и частной жизни, история, война, все ужасы, какие есть на земле, все страсти, все моменты человеческой жизни, от крика новорожденного ребенка до последней вспышки чувства умирающего старика, все радости и го-

рести, доступные человеку. Всевозможные душевные настроения — от ощущения вора, укравшего деньги у своего товарища, до величайших просветлений человеческой души — все это есть в этой картине». Удивительно, но все это можно сказать и о романе Гроссмана.

Не сам Гроссман, но наш XX век добавил ко «всем тем ужасам, что есть на земле», еще сталинские и гитлеровские концлагеря и газовые печи последней войны, Гроссман — лишь летописец своего времени.

При всем том можно говорить о необычайном гуманизме этого романа, о несправимой и ничем не уничтожимой вере писателя в добро, во все лучшее, что есть в человеке. Поражает глубочайшее проникновение писателя в характеры героев: люди показаны во всем их ничтожестве и величии. Муж подозревает жену, что она донесла на него в НКВД. Жена подозревает в том же своего возлюбленного. Командир танкового корпуса, рискуя головой, здерживает исполнение приказа Сталина, чтобы избежать человеческих жертв. Один и тот же человек проявляет необычайную силу духа перед лицом смерти и совершает позорный поступок из страха потерять мелкие привилегии.

Нет, эта книга совсем не похожа на те, в которых автору удалось сказать кое о чем кое-что и протащить свою книгу сквозь цензуру. В этой книге сквозь цензуру ни одной страницы нельзя было протащить, потому что со всех страниц кричит сама правда.

Сравнивая все лучшие книги, написанные в этой традиции романа-эпопеи за все время советской власти в России, я бы сказал, что роман Гроссмана «Жизнь и судьба» — самый крупный из них и самый значительный.

Советской литературой руководят люди малокомпетентные, иногда даже элементарно безграмотные. Но у них есть звериное чутье, которым они безошибочно отличают живое от мертвого, истинное от неистинного. И совсем не удивительно, что, прочтя этот роман, они поняли, что его нельзя причесать и исправить отдельными изъятиями, добавками или искусственно прилепленным счастливым концом. Они сумели оценить роман по достоинству, и не нашли лучшего выхода из положения, как схватить роман и упрятать.

Добиваясь возвращения отнятой рукописи, Гроссман стучался во многие двери, обивал пороги многих инстан-

ций и в конце концов был принят главным партийным идеологом Михаилом Сусловым, который сказал Гроссману, что его идеологически вредный роман будет напечатан не раньше, чем через 200 лет.

Один из друзей Гроссмана (Борис Ямпольский) охарактеризовал это заявление как проявление чудовищного высокомерия временщика, который думает, что в его власти распоряжаться временем. Но меня в словах Суслова интересует другое, а именно то, что Суслов не сомневался (ему это подсказывало его звериное чутье), что роман будет жить долго.

Партийные идеологи с предсказанием сроков очень часто салятся в лужу.

Суслов с романом Гроссмана ошибся ровно на 180 лет, то есть на 90 процентов. Роман вышел на волю и стал печатным изданием не через 200, а через 20 лет. Суслову хотя бы перед смертью пришлось убедиться, что время ему не совсем подвластно. А вот Гроссман свой роман напечатанным так и не увидел. Не вынес обрушившегося на него удара, он заболел и через четыре года умер от рака, не дожив до своего шестидесятилетия. Он продолжал работать до конца. Уже смертельно больной, он пишет свою удивительную повесть «Все течет», которую, как мне кажется, многие недооценили.

Умирая, Гроссман испытывал не только физические мучения. Для настоящего писателя нет ничего страшнее, чем умереть, не только не увидев свой главный труд напечатанным, но даже без уверенности, что он хоть когда-нибудь дойдет до людей.

В этом смысле судьба Пастернака, которого тоже в конце концов погубил его же роман, кажется намного счастливее. Затравленный, оплеванный, он все-таки увидел свой роман напечатанным, узнав о том, что он пользуется очень большим успехом. Гроссман же, как задолго до него Михаил Булгаков, умер почти в неизвестности. Его трагедию затмили другие события. Иногда значительные, как появление в литературе Александра Солженицына, а иногда и совсем пустяковые. Я помню, например, как на Западе был устроен большой шум по поводу того, что одному из модных поэтов советские власти отказали в заграничной поездке. (Этот поэт ездил за границу и до того, и после, да и сейчас в здешних краях бывает чаще, чем под сенью родных осин). А

арест великого романа и смерть его создателя прошли практически незамеченными. «Меня задушили в подворотне», — сказал перед смертью Гроссман.

Название романа «Жизнь и судьба» звучит, возможно, не очень привлекательно и эффектно с первого взгляда. Но чем больше я думаю об этом названии, тем более провидческим и точным оно мне кажется. Потому что жизнь и судьба — это вовсе не одно и то же. И довольно нелегко остаться верным своей судьбе в той жизни, которую описывает Гроссман. Жизнь автора отразилась на судьбе романа, судьба романа трагически отразилась на жизни автора.

И все-таки сейчас нельзя судьбу этого романа назвать трагической, потому что конец истории — счастливый, и даже вообще это не конец, а только начало. Кончились приключения романа, началась его жизнь. Роман опубликован и все шире распространяется по-русски. Он имел очень большой успех на французском языке. Сейчас он вышел в свет по-немецки, переводится на английский и другие языки. Появление книги такого масштаба, даже и в переводе, всегда огромное событие. И я уверен, что «Жизнь и судьба» Гроссмана станет таким событием еще для многих читателей. Судьба его должна быть счастливой, а жизнь — долгой.

1983, октябрь.

Борис Балтер

Малеевка находится в ста километрах от Москвы, чуть в сторону от Можайского шоссе. Эта бывшая барская усадьба с большим достроенным и перестроенным господским домом, примыкающими к нему отдельными коттеджами, оранжереей, гаражом и другими необходимыми большому хозяйству пристройками. А вокруг лес, сказочный и почти нетронутый. В примыкающей к усадьбе части леса — расчищенные дорожки со скамейками, указателями рекомендуемого направления движения и отметками пройденного расстояния. Дорожки эти местными остряками названы Малая инфарктная тропа и Большая инфарктная тропа.

Несмотря на великую революцию и последовавшие за ней знаменательные сдвиги, дух барства и холопства сохранился здесь почти в первозданном виде.

Некоторые из господ, особенно зимой, выглядят весьма импозантно в своих заморских дубленках и богатых

шапках. Одни из них прибывают на такси, другие на собственных «Жигулях», а третьи, самые важные, на персональных «Волгах» с шоферами. Выходит господин из машины, а челядь уже бежит навстречу, и пожилая нянечка поднимает на высокое крыльцо барские чемоданы, а сам барин следует за ней налегке.

Усадьба эта называется сейчас Домом творчества писателей имени Серафимовича. Конечно, не все приезжающие сюда писатели выглядят столь солидно. Некоторые добираются на электричке и ходят в довольно скромных пальтишках, но эти, которые в дубленках и дорогих шапках, гораздо заметнее. Среди них бывают очень важные птицы: секретари Союза писателей, депутаты Верховного Совета и даже члены Центрального комитета КПСС.

Здесь писатели отдыхают. Зимой ходят на лыжах, летом, заложив руки за спину, прогуливаются по инфарктной тропе, ходят на рыбалку, играют в бильярд, вечерами смотрят телевизор или, запершись в своих комнатах, слушают «Би-би-си», «Свободу» или «Голос Америки». Ну, а некоторые иногда даже чего-нибудь пишут. И потом дарят местной библиотеке свои опубликованные сочинения, указывая в дарственной надписи, что такая-то книга была написана именно здесь.

Сразу за главной усадьбой — крутой овраг, а за ним Вертошино, бедная деревушка, где из коренных жителей почти никого не осталось, а в будний день можно встретить только старух, которые в старых ватниках и длинных черных юбках тащат из города на салазках буханки хлеба, поднимаются по крутому склону оврага с ведрами на коромыслах или парами прогуливаются вдоль деревни, словно подражая писателям.

И, как только поднимаешься по крутой тропе от Дома творчества, тут прямо перед тобой и стоит дом, который среди других, может быть, и не очень выделяется, но который знают все в округе как дом Балтера.

Хозяин дома умер здесь десять лет тому назад, 8 июня 1974 года, не дожив месяца до своего пятидесятилетия. Это был один из самых неистовых, самых страстных людей, которых я встретил в своей жизни. Он жил деятельно, бурно, умер, как бы упав на бегу, и даже в гробу лежал несмирившийся, насупившийся, словно говоря: «Ничего, я еще вернусь и мы поговорим!»

Я познакомился с Борисом Балтером в начале 60-х

годов в период наибольшего его писательского успеха. Только что в калужском издательстве вышел по виду весьма скромный, но по содержанию взрывной альманах «Тарусские страницы», составитель которого, Константин Паустовский, ухитрился напечатать под одной обложкой не только уже закончивших свой жизненный путь таких классиков, как Марина Цветаева и Николай Заболоцкий, не только уже столь известных к тому времени поэтов, как Борис Слуцкий и Давид Самойлов, но и целую, как говорят в подобных случаях, плеяду, когорту, или скажем скромнее, группу писателей, чья слава и началась с этих самых «Тарусских страниц». Теперь эти имена известны каждому любителю отечественной литературы, несмотря на то, что некоторые из них уже давно не упоминаются в советской печати. Булат Окуджава, Наум Коржавин, Владимир Максимов, Юрий Казаков, Владимир Корнилов были щедро предоставлены в этом сборнике. Здесь же была напечатана первая часть повести Бориса Балтера «До свидания, мальчики!», которая затем полностью была опубликована в журнале «Юность», и вышла отдельной книжкой, и была переведена на многие языки и экранизирована. Фильм «До свидания, мальчики!» с большим успехом шел на экранах страны, пока не был запрещен ввиду того, что его режиссер, Михаил Калик, решил эмигрировать.

Я не буду пересказывать и анализировать эту книгу. Скажу только, что и сейчас, через двадцать с лишним лет после ее первого издания, я опять прочел ее не отрываясь, как и тогда, и для меня она со временем не только ничего не утратила, но, наоборот, теперь я увидел, что она гораздо серьезнее, глубже и трагичнее, чем мне тогда показалось. Ее герои — обыкновенные предвоенные школьники, мальчики, которые, как поется в одноименной песне Булата Окуджавы, «на пороге едва помаячили и ушли за солдатом солдат».

В повести как будто ничего не происходит. Ну, живут эти мальчики, ну, учатся в школе, ну, влюбляются в девочек, ну, готовятся в армию, мечтая не столько о подвигах, сколько о красивой форме. И ничего другого, кроме совершенно достоверной интонации, чистого авторского голоса, которому доверяешься с первого слова книги:

«В конце мая в нашем городе начинался курортный сезон. К этому времени просыхали после зимних штор-

мов пляжи, и желтый песок золотом отливал на солнце. Пляжи наши так и назывались «золотыми». Было принято считать, что наш пляж занимает второе место в мире. Говорили, что первое принадлежит какому-то пляжу в Италии, на побережье Адриатического моря. Где и когда происходил конкурс, на котором распределялись места, никто не знал, но в том, что жюри смошенничало, я не сомневался: по-моему, наш пляж был первым в мире...»

Перечтя эту книгу сейчас, я вновь и, повторяю, с наименьшей силой почувствовал очарование юности героев, их юношеской дружбы, наивности, их первой любви. Больше, чем прежде, я чувствую и твердую, умелую руку мастера: в искусстве увлечь читателя, погрузить его в этот мир, заставить жить чувствами героев.

Но в гораздо большей степени, чем прежде, я уловил теперь и другое, не менее существенное: предчувствие беды. Предчувствие беды, которое по настроению является одним из серьезнейших компонентов книги и именно вместе с удивительным умением описать внутренний мир героев и составляет художественную ткань, воздух этой книги. Это не просто светлое и естественное чувство грусти, свойственное вообще литературе такого рода. Грусти о невозвратном детстве, об ушедшей юности. Нет, здесь совсем другое. Это повесть о поколении, выросшем и воспитанном в ужасное время. Интересно, что ни о чем ужасном в повести нет речи. Просто мальчики воспитаны в сознании, что «разумный мир, единственно достойный человека, был воплощен в стране, где я родился и жил. Вся остальная планета ждала освобождения от человеческих страданий. Я считал, что миссия освободителей ляжет на плечи мои и моих сверстников. В пределах этого представления о мире я думал. Самые сложные явления жизни я сводил к упрощенному понятию добра и зла. Я жил, принимая упрощения за непреложные истины. Я знал наизусть все ошибки Гегеля и Канта, не прочитав ни одного из них». Понятно, что скоро, очень скоро эти наивные представления о жизни столкнутся с самой жизнью. Потому-то повесть и полна предчувствия беды. Нет, мы не найдем в книге описаний того, как это случится. Книга написана не о том. Она написана о последних счастливых, беззаботных днях в жизни героев.

Только в конце, мимоходом писатель говорит о дальнейшей их судьбе: «Я многое в жизни терял, но ничего

нет страшнее смерти близкого человека. Витьку убили под Ново-Ржевом 8 июня 1941 года. А Сашку арестовали в 1952 году*. Сашка был очень хорошим врачом-хирургом. Он умер: не выдержало сердце. А я живу...»

«А я живу». Если отождествлять автора с героем, от лица которого идет рассказ, то он тоже не слишком задержался на этом свете. Столкновения с реальной советской жизнью продолжались до самого его последнего дня. Пережив войну и тяжелое ранение, послевоенный арест (правда, сидел недолго), он даже успел стать известным писателем в короткий период «оттепели». Однако «оттепель» продолжалась недолго, и после «укрепления социалистической законности», «возвращения к ленинским нормам» (почему-то все эти формулировки нуждаются в кавычках) началось быстрое и последовательное возвращение к испытанным сталинским нормам. И писатели были первыми представителями советского общества, которые немедленно почувствовали это на себе. Не случайно первый громкий показательный процесс состоялся именно над писателями Андреем Синявским и Юлием Даниелем. Борис Балтер был в числе первых, кто кинулся защищать: то подсудимых, то исключаемых из Союза писателей, то еще кого-то. А поскольку он был членом партии (вступил в нее на фронте), то на него и обрушились первые удары. Последовало запрещение книг, лишение куска хлеба, исключение из партии и самое главное — бесконечные проработки на разных уровнях, проработки, которых и здоровое сердце не всегда могло вынести. И пошли одни за другим сердечные приступы и инфаркты.

Как-то во время одной из очередных проработок в Союзе писателей он сказал, что подниматься на трибуну в этом заведении иногда пострашнее, чем подниматься в атаку под пулями врага. Да они и были настоящими врагами, эти злобные демагоги из Союза писателей, которые каждого, кто отличался от них талантом и «лица необщим выраженьем», расстреливали доносами, наветами, поклепами и облыжными обвинениями на открытых, а чаще на закрытых собраниях.

* Людям старшего поколения незачем объяснять, за что был арестован Сашка. Дата, профессия, и национальность арестованного — вот три ключа к разгадке. В конце 40-х — начале 50-х годов, после статьи в «Правде» «Об убийцах в белых халатах», шла всеобщая травля евреев, а особенно — евреев-врачей.

Еще в повести «До свидания, мальчики!» Борис Балтер писал: «Сейчас мне за сорок. У меня седые волосы и больное сердце. С моей болезнью люди не живут больше десяти лет. От меня это скрывают, но я все знаю...» Все все знали, но между этими приступами и инфарктами, до самой последней минуты он был так активен, бодр, напорист, что представить близость развязки было совершенно невозможно.

Во время войны Балтер был командиром полка, и эта командирская жилка оставалась в нем до самой смерти. И, наверное, как он поднимал когда-то своих солдат, так он пытался поднять и своих друзей, объединить их, и всех нас куда-то звал, тащил, требовал немедленных действий. На повестке дня было: построить дом за городом, подальше от Москвы, дом, куда можно было бы уединиться, куда допускались бы только свои, где можно было бы переждать черные времена, куда можно было бы приезжать поодиночке или собираться всем вместе. Но мы, его друзья, представляли собой весьма ненадежное воинство, мы были неподвижны, ленивы, заражены скепсисом, уверенностью, может быть, и небезосновательной, что черных времен не переждать и все движения бесполезны. Тогда он махнул на нас рукой и взялся за дело сам, влез в долги, пробил все бюрократические рогатки и построил свой дом: просторный, двухэтажный, с первыми в деревне водопроводом, ванной, канализацией и водяным отоплением. И хотя он строил дом первый раз в жизни, в это дело было вложено (как и во все, что он делал) столько души, страсти и практической мудрости, что местные жители, сначала отнесшиеся к нему как к чужаку, удивленно и уважительно говорили: «Хозяин».

Отнесясь поначалу весьма иронически к идее теплого туалета и горячей воды, вертошинцы вскоре все-таки оценили преимущества цивилизации и стали ходить к Балтеру за советами не только насчет канализации, но по самым разным поводам. Приходили одолжить до полочки трешку, написать в сельсовет заявление, помирить мужа с женой. И он мирил, учил, хлопотал, добивался кому-то пенсии, кого-то вызволял из тюрьмы... И люди его любили.

Для друзей же Балтера этот дом действительно стал прибежищем. Сюда можно было приехать на пару дней или надолго, укрыться, отгородиться от мира, забыться и поработать над книгой. Я тоже пользовался в этом

доме щедрым гостеприимством хозяина и его жены Гали.

Сейчас я живу далеко от Малеевки и Вертошина, в сравнительно небольшой немецкой деревне, где есть школа, два супермаркета, десяток мелких магазинчиков: книжный, хозяйственный, овощной, мясной, парфюмерный, — несколько ресторанов, четыре бензоколонки и еще чего только нет. Любую здешнюю старуху даже представить себе невозможно волокущей на салазках из города хлеб или поднимающей в гору воду на коромысле. Но природа похожа. Вокруг лес: сосны, березы, грибные места...

Нет, болезнью, которая называется ностальгией, я не страдаю. Я скучаю по своим друзьям и близким, но не по географическим точкам. Кроме, пожалуй, двух-трех, где иногда очень хочется оказаться. И одна из них — этот дом в деревне Вертошино. Дом, который построил, в котором жил и через силу работал и в котором умер хороший писатель, добрый человек и незабываемый друг — Борис Исаакович Балтер.

1984

Гений и злодейство...

*(к 90-летию
со дня рождения
Михаила Зощенко)*

Михаилу Михайловичу Зощенко 90 лет. Я за советской печатью слежу не всегда и не знаю, как эта дата отмечалась на Родине, но как-то, думаю, отмечалась. А как же! Крупный советский писатель, классик, бичевал мещанство, которое мешало нам идти вперед. Возможно, было сказано о юморе Зощенко, о его неповторимом стиле, кто-то вспомнил, что говорил о Зощенко Горький.

Но если уж юбилей и если вспоминать, то почему бы не вспомнить и еще об одной годовщине, правда, не совсем круглой.

Тридцать восемь лет тому назад, тоже в августовские дни, заслуги Зощенко отмечались бурно и широко. На заседании Ленинградского партактива, на собрании ленинградских писателей и на многих других заседаниях, собраниях, митингах и летучках. Речи произносились весьма пылкие. Зощенко — клеветник. Зощенко — пасквильянт. «Зощенко выворачивает наизнанку свою пошлую и низкую душонку, делая это с наслаждением, со смакованием, с желаньем показать всем, смотрите, вот какой

я хулиган! Трудно подыскать в нашей литературе что-либо более отвратительное, чем та «мораль», которую проповедует Зощенко в повести «Перед восходом солнца», изображая людей и самого себя как гнусных похотливых зверей, у которых нет ни стыда, ни совести».

Эти слова о стыде и совести произнес человек, именем которого и сейчас названы улицы, проспекты, заводы, теплоходы, и даже городу Мариуполю было дано это мерзкое имя — Жданов. О стыде и совести говорил сталинский подручный, который в блокадном Ленинграде, где тысячи людей умирали от голода, играл в теннис, чтобы избавиться от излишних жировых отложений. Это наглое ничтожество без стыда и совести бралось руководить всеми искусствами и учить Шостаковича и Прокофьева, как писать музыку.

В августе 1946 года он до музыки еще не дошел, расправлялся с литературой. Зощенко обзывал хулиганом и клеветником, а Анну Ахматову — взбесившейся барынькой и полумонахиней, полублудницей.

Жданов выступил дважды, а потом, как водится, спустили с цепи свору писательской общественности. Грубо сравнивать писателей со сворой собак, но сравнения помягче мне в голову не приходят. С кем, как не с собаками, можно сравнить людей, которые, науськиваемые хозяевами, набрасываются на себе подобного и начинают рвать его на куски. Зощенко говорили, что он бездарен, что он ничтожен, что он свинья под дубом, что он ненавидит советский народ и народ, в свою очередь, его с презрением отвергнет, читать его никто никогда не будет.

Аукнулось в Ленинграде, а откликнулось везде.

Я тогда жил в Запорожье и только что поступил в ремесленное училище учиться на столяра. И наши первые уроки были не о том, как держать рубанок или размешивать казеиновый клей, а как понимать безыдейные, бездарные, пошлые, клеветнические и заумные писания Зощенко и Ахматовой. Мы еще не знали, какая разница между стамеской и долотом, а про Зощенко и Ахматову нам уже все объяснили.

Об их зловредной деятельности и их разоблачении нам говорили так, как будто в мире важнее события не было. Советское государство всего год назад победило Германию, участвовало в разгроме Японии, а теперь сокрушило Зощенко и Ахматову.

Откровенно говоря, когда я думаю о судьбе Зошенко, меня удивляет не то, что власти обрушили на него такой мощный удар, а то, что они не сделали этого раньше.

Ведь его герои никак не вписывались в советскую литературу. Они не выдавали на гора уголь, не баловали Родину повышенными удоями, не руководили райкомами и обкомами и воевали не на полях мировых сражений, а на коммунальных кухнях.

Да и взгляды он высказывал весьма для советского писателя странные. «Какая, скажите, — писал он, — может быть у меня «точная идеология», если ни одна партия в целом меня не привлекает?». С точки зрения людей партийных, я беспринципный человек. Пусть. Сам же я про себя скажу: я не коммунист, не эсер, не монархист, я просто русский. Нету у меня ни к кому ненависти — вот моя «точная идеология».

Ничего себе! Правда, это сказано в 1922 году. Потом он ничего подобного не говорил, но от прежних высказываний не отрекался.

Его, конечно, ругали. Но книги выходили. В 30-е годы вышли и шеститомное собрание сочинений, и избранное, и отдельные сборники. И это в то время, когда другие его коллеги были практически запрещены.

Я думаю, это можно объяснить только тем, что в отличие от других Зошенко принял Октябрьскую революцию как должное. К описываемым им обыкновенным людям, «жилыцам», он не относился высокомерно, как, например Булгаков, он их жалел и сам был как бы один из них. Морализаторство, его, к которому он был склонен, не носило гражданского характера, он звал людей жить мирно в коммунальных квартирах, не обсуждая правомерность существования самих этих квартир. Кроме того он писал рассказы, фельетоны и небольшие повести, и каждый описанный им случай можно было объявить нетипичным. Власть спохватилась, только когда увидели, что, в отличие от других, Зошенко как раз и достиг того, чего требовали идеологи социалистического реализма. Именно он и создал настоящий образ нового человека. И этот новый человек был представитель не того мещанства, которое мешает «нам» идти вперед, а того, которое идет вперед и нас туда же насильно волочит.

Формально причиной государственного гнева против Зошенко стали его рассказ «Приключение обезьяны» и

повесть «Перед восходом солнца». Но говорят, что была и другая причина, может быть, более существенная: Сталин, найдя в одном из старых рассказов Зощенко какого-то усатого персонажа, решил, что речь идет, конечно, о нем. Генералиссимус был, как известно, человеком мнительным и во всякой усатой твари, включая «Таракана» Корнея Чуковского, узнавал себя. И все же дело было, я думаю, и не в этом, во всяком случае, не только в этом.

Как-то во время проработки Зощенко предложили выйти на трибуну и сообщить, как он относится к заботливой товарищеской критике. Он вышел и спросил:

— За что вы меня травите?

Пожалуй, травившие Зощенко тоже толком не знали, за что. Они, конечно, придумывали подходящий повод и выискивали в сочинениях Зощенко разоблачающие его строчки, но дело было не в строчках, не в отдельных поступках или высказываниях Зощенко, а в том, что травившие инстинктивно чувствовали: Зощенко только притворяется одним из них, а на самом деле относится просто к совершенно иной породе.

Говорят, писатель должен писать для народа. Вообще-то, это чепуха. Писатель может писать для того, для кого хочет. Для всех или для узкого круга, для своей жены или для самого себя. Если то, что писатель пишет, народу чуждо или непонятно, народ, живущий в нормальных условиях, наказывает писателя тем, что не покупает и не читает его книги, а в палачах вроде Жданова он для наказания писателя не нуждается.

Но Зощенко как раз писатель истинно народный. В этом смысле он был счастливым писателем. Читатели его сразу заметили, отметили и полюбили. Счастливым человеком он, однако, не был. Зощенко, смешивший миллионы читателей, с молодых лет страдал ужасной меланхолией, был угрюм и мрачен, погружен в себя. Причину своих страданий он и попытался выяснить в повести «Перед восходом солнца». Он хотел найти для себя и для других людей рецепт, как стать счастливым. Ему показалось, что как раз в этой книге он его и нашел. Но именно после этой книги его стали топтать так, что его депрессия усугубилась.

Его исключили из Союза писателей, его перестали печатать. Чтобы как-то заработать на жизнь, он вспомнил одну из прежних своих специальностей и начал сапожничать. Он был натурой исключительно подлинной и под-

линность эту сохранял во всех обстоятельствах. Он всегда был мягким, скромным, деликатным и человечным. И я не могу себе представить, чтобы, скажем, при иных условиях Зощенко стал бы травить других. Подлинность его натуры была такой, что никогда не позволила бы ему сделать что-то подобное.

Именно этой подлинности ему никогда не простили. В 1953 году встал вопрос о восстановлении Зощенко в Союзе писателей. И тут опять выступили Симонов и Твардовский. Не постеснялись, не уклонились, не сказались больными. Нет, не против того, чтобы Зощенко вновь стал членом Союза писателей. Симонов выступил против формулировки, которая, казалось, не имела принципиального значения. Восстановить Зощенко — это значит признать, что мы были не правы, — сказал Симонов. Поэтому надо не восстановить, а принять заново как начинающего писателя. То есть принять только за те вещи, которые написаны после 46-го года, а написанное до и осужденное партией считать, как и раньше, литературным хламом. Впрочем, то, что писал Зощенко после 46-го года, Симонову тоже не нравилось, и он предложил принять свою жертву в Союз писателей не столько как прозаика, сколько как переводчика. Подумать только! Симонов, автор длинных, скучных, неряшливо написанных романов, не признавал в Зощенко прозаика.

После возвращения Зощенко в Союз писателей травля его прекратилась, но ненадолго. В 1945 году приехавшая в Ленинград делегация английских студентов пожелала встретиться с Зощенко и Ахматовой. А когда встретились, студенты спросили обоих писателей, как они относятся к постановлению ЦК ВКП(б) и докладу Жданова. Ахматова сказала, что оба документа она считает правильными. Зощенко сказал, что в постановлении не все справедливо. По поводу этого события существует много споров. Некоторые ругают студентов, как они могли такое спросить, неужели они не понимали, где находятся? Другие говорят, что Зощенко должен был быть умнее и сказать то, что сказала Ахматова. Третьи говорят, что Ахматова не должна была вводить в заблуждение студентов, гражданский долг требовал от нее сказать правду. А я думаю, что правы были все. Английские студенты не должны были понимать всех тонкостей, потому что понять их можно, только овладев советской психологией. Ахматова помнила, что кроме студентов ее слушают вра-

ги, она презирала их и не хотела дать им возможность воспользоваться такой своей неосторожностью. А Зощенко проявил свойственное ему простодушие, но если бы он избавился от простодушия, он был бы уже не Зощенко. Я хочу попутно пояснить, что простодушие я считаю очень высоким человеческим качеством, несмотря на то, что простодушных людей принято считать дураками.

Этой дерзости Зощенко не простили.

Теперь его травили до самой смерти. И по выражению Ахматовой, второго круга он уже не выдержал. Лидия Чуковская вспоминает свой разговор с Ахматовой за три месяца до смерти Зощенко. Зощенко повредился в уме. У него появилась мания преследования и мания величия. Сосредоточен на себе, собеседника не слышит. На вопросы о погоде или планах на лето отвечает: «Горький говорил, что — я великий писатель».

Двенадцать лет подряд Зощенко травили и затравили до смерти. А уж потом признали. В конце концов, после смерти всех признают. Бунина признали, Булгакова, Мандельштама, Цветаеву, Платонова, Пастернака, Ахматову...

1985

Он с детства полюбил овал

В некоторых случаях основы мировоззрения можно изображать геометрически.

Когда-то один молодой человек написал:

Я с детства не любил овал,
Я с детства угол рисовал...

Другой молодой человек несколько лет спустя откликнулся:

Меня как видно, Бог не звал
И вкусом не снабдил
 утонченным...
Я с детства полюбил овал
За то, что он такой законченный.

Бдительный блюститель чистоты идеологических риз мог бы сразу определить, что у первого автора «наше» мировоззрение, а у второго совершенно не наше. Настолько не наше, что вести с ним какие-то просветительные беседы или прорабатывать на собраниях бесполезно, проще сразу дать срок, подобрав соответствующий пункт

статьи 58-й Уголовного кодекса: создание контрреволюционной организации, просто террор или что-нибудь в этом духе.

В крайнем случае его можно было обвинить в мелкобуржуазности, абстрактном гуманизме и мягкотелости: в те времена и мягкотелым тоже сроки мотали немалые.

Преданные приверженцы самых различных и даже очень враждебных друг другу идеологий по существу скроены из одного и того же материала и всегда решительно чертят угол.

Я лично знаком с людьми, которые, начав с пятиконечной звезды, теперь с тем же остервенением рисуют звезду шестиконечную или крест, который тоже, как известно, состоит из углов (надеюсь, понятно, что я здесь выступаю не против угловатых символов, а только против остервенения).

Автор первых стихов — Павел Коган, поэт и революционный Романтик, навсегда оставшийся молодым, — он погиб в 42-м году в возрасте 24 лет. Я не знаю, что бы с ним случилось, если бы не война. Возможно, он погиб бы в лагерях, потому что со временем «наше мировоззрение», оставшись угловатым по существу, стало более благосклонным к лицам, которые загоняя в угол других, сами умели держаться извилистой линии. Может, он и сам научился бы выписывать кренделя, а может, в конце концов угловатый или, точнее, зигзагообразный путь привел бы его, как многих наших романтиков, в лоно нового учения — противоположного первоначальному, но столь же непогрешимого.

Но речь сейчас не о Когане, а о том другом поэте, который с детства питал пристрастие к враждебным нашему строю формам. За это пристрастие он в свое время был если не законно, то во всяком случае закономерно наказан: отсидел восемь месяцев на Лубянке и отбыл несколько лет в ссылке. А потом, во времена торжества ленинских норм и социалистической законности, был великодушно прощен. А потом, в период еще большего укрепления ленинских норм, оказался на другой половине нашей овальной планеты...

Этот поэт — Наум Коржавин.

Первый раз я услышал о нем в 1956 году.

Я только что приехал в Москву из провинции. Из современной литературы я знал только то, что печаталось. Для меня было большой новостью, что, оказывается,

есть литература, которая вообще не появляется ни на каких печатных страницах, а в виде отдельных листочков ходит из рук в руки или — и того удивительней, — передается изустно от человека к человеку и от поколения к поколению.

«Мы живем в догутенбергскую эпоху», — эти слова Анны Ахматовой самым точным образом определяли ситуацию.

Я был еще молод и писал стихи. Очень плохие. Я надеялся, что в столице научусь писать получше. А когда научусь, тогда само собой последуют такие приятные результаты моего усердия, как книги, слава, гонорары, премии, поклонники и поклонницы, что-то в этом духе. Впрочем, это заманчивое будущее виделось мне в ту-мане.

Но вскоре я заметил, что реальная картина сильно отличается от нарисованной в моем воображении. Я увидел, что многотиражные издания, хвалебные статьи в газетах, большие гонорары и премии далеко не всегда или даже почти никогда не совпадают с истинным признанием читателя, что существует объявленный Виктором Шкловским «гамбургский счет», по которому лучшими поэтами и прозаиками считаются не те, кого широко печатают и награждают, а какие-то шаромыжники, которые живут неизвестно где, питаются неизвестно чем, ходят в вытертых брюках, стоптанных ботинках и, размахивая руками, нараспев читают свои творения в тесных каморках коммунальных квартир. Я узнал, что есть стихи, которые, не будучи никогда напечатанными, не только из года в год, но иногда и десятилетиями ходят по рукам, переписываются, запоминаются и живут.

У поэзии перед прозой есть то преимущество, что она может создаваться даже в невыносимых условиях, а хранить ее можно, если нет достаточно надежного тайника, просто в человеческой памяти.

Максимилиан Волошин сказал:

Почетно быть твердимым наизусть,
Заучиваться тайно и украдкой,
При жизни быть не книгой,
а тетрадкой...

Я узнал, что многие и лучшие стихи Волошина, Гумилева, Цветаевой, Ахматовой, Мандельштама, Ходасевича и Пастернака, не будучи никогда опубликованными,

живут, а подавляющее большинство издающихся тысячными или миллионными тиражами появляются мертворожденными, читатель скользнет по ним равнодушным взглядом, отвернется и тут же забудет.

Именно тогда я впервые услышал имя Наум Мандель, у которого еще не было псевдонима Коржавин.

Меня в то время однажды спросил начинающий поэт, мой ровесник, что я думаю о стихах Манделя.

Я переспросил:

— Кого?

— Ты не знаешь Манделя? — удивился он.

— Нет, — сказал я. — А где он печатался?

— Если б он печатался, кому б он был нужен, — сказал начинающий и тут же начал читать:

Можем строчки нанизывать
Посложнее, попроще,
Но никто нас не вызовет
На Сенатскую площадь.
И какие бы взгляды вы
Ни старались выплескивать,
Генерал Милорадович
Не увидит Каховского.
Пусть по мелочи биты вы
Чаще самого частого,
Но не будут выпытывать
Имена соучастников.
Мы не будем увенчаны...
И в кибитках снегами
Настоящие женщины
Не поедут за нами.

На самом деле жизнь оказалась и хуже и лучше, чем пророчил поэт. Хуже тем, что имена соучастников выпытывали, да еще как! Лучше тем, что настоящие женщины все же нашлись и в кибитках снегами ехали в Якутию, в Мордовию, в Горький, а кому в конце концов повезло, те кибитками Аэрофлота отправились в другую сторону.

И вот что интересно. Ни одно из высказанных пророчеств не сбылось (да и наше отношение к Милорадовичу и Каховскому за это время сильно переменялось), а стихотворение, написанное полвека тому назад девятнадцатилетним юношей, не устарело, и я читаю его с тем же доверием, что и впервые.

Потому что когда автор писал это стихотворение, он не лгал, не лукавил и запечатлел истину такой, какой она была для него в тот момент.

Что такое литературный талант?

Что бы там по этому поводу не говорили, а для меня это прежде всего умение писать правду, которую без таланта никак не напишешь.

Юрий Олеша заметил как-то (цитирую приблизительно): «Гофман пишет: «Вошел черт», а я ему верю, а наш писатель пишет: «Дарья Соколова взяла на себя обязательство надоить 20 литров молока от каждой коровы», и я ему совершенно не верю».

В поэзии для того, чтобы писать правду, одного правдолюбия мало, а такие качества, как политическая и гражданская смелость, тоже не помогают. В поэзии для того, чтобы писать правду, надо быть поэтом. Ни больше, ни меньше.

Когда я впервые познакомился со стихами Наума Коржавина, они еще не печатались, но были известны многим. Я знал в Москве людей, которые помнили наизусть не только отдельные стихотворения, но и целые поэмы Коржавина. Я знал дома, где был культ Коржавина, я знал учителей, которые, рискуя карьерой, читали своим ученикам такие, допустим, строки:

Ни трудом и ни доблестью
Не дорос я до всех.
Я работал в той области,
Где успех — не успех.
Где тоскуют неделями,
Коль теряется нить,
Где труды от безделия
Нелегко отличить.
Но куда же я сунулся?
Оглядеться пора!
Я в годах, но как и в юности
Ни кола, ни двора.
Ни защиты от подлости, —
Лишь одно, как на грех:
Стаж работы в той области,
Где успех — не успех.

Возможно, круг почитателей поэта был не слишком широк, но это был как раз тот круг, который не прове-

дешь на мякине и где искусство слова не заменишь голосовыми данными и искусной жестикуляцией.

Потом появились поэты, собиратели многотысячных толп с неизменными эскадронами конной милиции. Но эти толпы были больше сродни не читателям, а футбольным болельщикам.

Кумиры этих болельщиков изображали из себя бесстрашных гладиаторов, а на поверку оказались весьма виртуозными приспособленцами. И хотя так называемую широкую публику им удалось дурачить довольно долго, теперь пыл угасает, толпа расходится, стадионы пустеют.

Долговечность стихов зависит не от количества читателей, а от качества. В свое время кто знал Лебедева-Кумача? Миллионы. Кто знал Марину Цветаеву? Единицы. Кто сейчас знает Лебедева-Кумача? Никто. А слава Марины Цветаевой с годами становится все прочнее.

Круг читателей Коржавина со временем, не уменьшаясь количественно, стал распространяться географически. Раньше эти читатели были сосредоточены в Москве, Ленинграде, Киеве, Кишиневе, затем многие из них переселились в Бостон, Нью-Йорк, Тель-Авив, Париж или Мюнхен.

В эмиграцию он вынужден был уехать 1973 году, имея при себе лишь одну книгу «Годы», да и в нее многое не вошло.

В Московском театре имени Станиславского в 1967 году была поставлена пьеса Коржавина «Однажды в двадцатом». Со дня премьеры и до самого отъезда автора за границу эта пьеса шла с неизменными аншлагами. Я думаю, и сейчас многие москвичи помнят не только сам этот спектакль, но и небольшое представление после него, когда автор Наум Коржавин и исполнитель главной роли Евгений Леонов, похожие друг на друга, как близнецы, выходили кланяться публике.

Попав в эмиграцию, Коржавин опубликовал еще две книги стихов и множество статей и очерков о литературе и жизни.

Но у каждого истинного поэта помимо его стихов есть еще одно произведение, которое творится наощупь и инстинктивно, но в полном соответствии с его поэзией, и наполнено такими сюжетными поворотами, избежав которых поэт перестал бы быть самим собой. Это произведение называется судьбой поэта. Какой бы ужасной она

ни была, избежать ее было бы по крайней мере ошибкой.

Полтора века Россия не может смириться с убийством Пушкина. Но представим себе, что все произошло наоборот: Пушкин убил Дантеса. Чтобы первый поэт России, ее непреходящая гордость, оказался убийцей... Нет, это было бы катастрофой. Так не должно было быть и так не случилось.

Я думаю, и в судьбе Коржавина ничего случайного нет. В конце 40-х годов его трудно было себе представить существующим на свободе. И он на свободе не был. В 60-х годах он был столь же необходимым явлением московской литературной жизни, сколь, возможно, чужим выглядел бы в ней в 80-е.

Мне кажется, он сам не сознает predetermined неизбежности своей судьбы, поэтому во многих его стихах (почти во всех) эмигрантского периода повторяется один и тот же мотив — совершенной им роковой ошибки и чувства вины перед покинутой родиной.

Странная, она, наша родина, да и мы тоже странные. Чего только она с нами ни вытворяла, а мы всегда перед ней виноваты.

Во многих стихах Коржавина повторяется мысль, что жизнь его кончилась там, а здесь не жизнь, а одна только видимость. Но ощущение это слишком субъективно. На этом ощущении пишутся новые стихи, а стихи для поэта не видимость, а сама жизнь.

Выживая нас из страны, наши советские благодетели лелеяли пламенную надежду, что мы здесь, на Западе, немедленно выдохнемся и превратимся в ничто.

Мы иногда считали, что их больше всего беспокоят антисоветские заявления, а я думаю, что хороший рассказ или стихотворение их беспокоят гораздо больше. Потому что очень приятно сказать: вот видите, такой-то уехал и там кончился. Ничего хорошего так и не написал. А если выступает против советской власти, тоже неплохо. Можно сказать: уехал, кончился и стал заурядным злобным антисоветчиком. Антисоветчиков на свете много, а талантов — раз, два и обчелся.

Досужие разговоры о неизбежной творческой гибели писателя в эмиграции на том основании, что он оторван от массового российского читателя, во мне лично не вызвали ничего, кроме раздражения. Всякого приличного русского писателя к читательским массам не подпускали независимо от того, живет он там или здесь. А от то-

го пытливого читателя, который ищет, находит, переписывает и заучивает наизусть, никто никого оторвать не мог.

Как-то я выступал перед эмигрантской аудиторией, и один читатель мне сказал примерно так:

— Вот вы говорите, что здесь писатель может сохраниться, а я думаю, что не может. И Коржавин не зря написал про себя: «Я умер там и не воскресну здесь»:

Я спросил читателя:

— А вам нравятся эти стихи Коржавина?

Тот ответил:

— Очень нравятся.

— Но раз он их написал, значит, он все же еще не умер.

Есть выражение: катастрофическое сознание. Оно отчасти свойственно Науму Коржавину. Он живет в постоянном ощущении или предоощении гибели мира, цивилизации или своей собственной. Но это ощущение само по себе становится мощным стимулом творчества, благодаря которому написано в эмиграции много прекрасных стихов.

Истоки катастрофичности своего сознания он сам определил еще в юности: «Но все углы, и все печали, и всех противоречий вал я тем большее ощущаю, что с детства полюбил овал».

С возрастом мы обычно становимся если не мудрее, то, по крайней мере, овальнее. И ленивее по части физических и душевных движений. То, что когда-то трогало и выводило из равновесия, теперь воспринимается благодушно: ладно, мол, как-нибудь рассосется.

Но Наум Коржавин, несмотря на очевидную овальность и зрелый возраст, не обленился, легко передвигается в пространстве, объездил полмира, а теперь все чаще совершает челночные рейсы по маршруту Бостон-Москва-Бостон, — а на углы и печали отзывается также бурно и неукротимо, как раньше. Потому что жить иначе он не умел и уже не научится. Сам о себе он сказал очень точно:

Я не был никогда аскетом
И не мечтал сгореть в огне.
Я просто русским был поэтом
В года, доставшиеся мне.

Но в литературе прошедшее время не существует. В ней если кто-то был поэтом, то он есть поэт.

Виктор Платонович Некрасов

Виктор Платонович Некрасов был человеком и писателем удивительным и ни на кого не похожим. Его повесть «В окопах Сталинграда» в свое время была сразу и широко, официально и неофициально признана как самая сильная и правдивая книга о войне. Она и последовавшие за ней рассказы оказались не только большим литературным событием сами по себе, но повлияли — и значительно — на развитие всей советской военной прозы, а через нее и вообще на советскую литературу. Сам же Некрасов, будучи человеком исключительной честности, смелости и благородства, оказывал влияние на нравственный климат в литературной среде и за ее пределами; он был из тех, при ком стыдно врать, лицемерить, хвастаться, задаваться и вообще вести себя противостоительно. Я думаю, что о Некрасове еще много будет написано. Потому что теперь, после его смерти, он будет проходить как бы по другой графе у себя на родине, теперь его можно посмертно реабилитировать и даже поторговаться насчет перенесения его праха с парижского кладбища Сент-Женевьев и захоронения, допустим, в Бабьем Яру. Возможно, книги его будут вновь издаваться и даже изучаться в школах, как это было когда-то. Может, и я когда-нибудь напишу о книгах Некрасова и его общественной деятельности, но сейчас ограничусь отрывочными воспоминаниями о Некрасове — не о писателе и не деятеле, а просто о человеке и друге.

Смерть пришла к нему в 76 лет. Срок немалый даже для нашего времени, когда средняя продолжительность жизни значительно возросла. Но он собирался жить дольше. Вот мое свидетельство.

В Париж он улетел в 1974 году из Киева. А перед тем приезжал прощаться в Москву. В один из последних вечеров мы встретились в доме у общих наших друзей на Беговой улице, а потом шли пешком ко мне к метро «Аэропорт» по усаженной тополями средней части Ленинградского проспекта. По дороге Вика сказал:

— Володька, я знаю, мы с тобой еще встретимся. Лет через двадцать ты приедешь в Париж, и мы будем гулять по берегу Сены, по всяким улочкам и закоулочкам. Я буду знать их уже хорошо.

Не скажу, чтобы мы были трезвы. И, должно быть, по причине недостаточной трезвости меня потянуло на

мелкое хулиганство. Напротив метро «Динамо» я увидел посреди дорожки мятую газету, поднес к ней зажигалку, и бумага вспыхнула.

Мы прошли еще сотню метров. Из-за дерева вышел милиционер.

— Что это вы там подожгли? — спросил он строго. Я не успел ничего придумать.

— Это была дрянь, блевотина, — сказал Вика и всем своим видом изобразил отвращение к той пакости, которую мы вынуждены были предать огню. Объяснение показалось мне несколько странным, а милиционеру убедительным. Может быть, потому что поджигатели были хотя и разного возраста, но оба убелены сединами. Милиционер поблагодарил нас за заботу о чистоте города, а мы скромно ответили, что всего лишь выполнили свой гражданский долг. И пошли дальше.

— Через двадцать лет, Володька, — продолжал Некрасов, — ты приедешь в Париж. Я буду еще жив. У меня здоровье крепкое и гены хорошие. Моя мама жила долго.

Мы оба еще не знали, что встретимся в Мюнхене и потом в Париже не через двадцать, а всего лишь через шесть с половиной лет, но представить себе, что это вообще когда-то случится, я тогда еще просто не мог. Это было так же невообразимо, как другая поездка, которую мне предлагала совершить Викина мама Зинаида Николаевна.

— Володя, — наставляла меня она лет эдак 20 тому назад, — когда будете в Швейцарии, знайте, что из Женевы в Лозанну лучше всего ездить на велосипеде.

Вся большая компания, в присутствии которой это было сказано, покатила со смеху. Ни мне, ни кому другому не хватило воображения представить, что я могу оказаться в Швейцарии, да еще передвигаться там на столь домашнем виде транспорта. Это было так же нелепо, как предложение прокатиться на велосипеде между двумя марсианскими городами.

Пройдут годы, я покину пределы отечества, и каждый раз, проезжая то на машине, то на поезде через Лозанну в Женеву, буду вспоминать Зинаиду Николаевну и думать, что для велосипеда расстояние, пожалуй, все-таки слишком велико.

Вика был старше меня на 21 год, поэтому его мама и моя бабушка по матери были примерно одного возраста: обеим было под девяносто. При этом они были очень друг на друга похожи, хотя происходили из совершенно разных сословий. Зинаида Николаевна была дворянских кровей, с заграничным образованием, а моя эта бабушка — из очень простой еврейской семьи (моя другая бабушка тоже, кстати, дожившая до 96 лет, была иного происхождения). С возрастом Зинаиду Николаевну и мою бабушку одолел склероз, проявления которого были весьма схожи. Например, моя бабушка, когда я после долгого отсутствия появлялся с чемоданом, спрашивала меня, расплатился ли я с извозчиком. Зинаида Николаевна, засидевшись в гостях, беспокоилась в том же духе:

— Вика, как ты собираешься вызвать извозчика?

— Очень просто, мамочка, — отвечал Вика. — Я позвоню ему на конюшню по телефону, и он приедет.

Но их воспоминания молодости расходились по причине очень разного прошлого. Зинаида Николаевна много раз и с большим энтузиазмом рассказывала, как на студенческом балу не то в Женеве, не то в Лозанне студенты решили подшутить над студентками и насыпали им перцу в шиньон. А потом сами с этими студентками танцевали и сами же чихали и плакали. А моя бабушка воспоминаниям предавалась редко. Она, напротив, любила всех выслушивать. А выслушав, заключала, прихлопывая в ладоши:

— Так-сяк, сказал бедняк. — А потом, подумав, добавляла: — Гоп, чук-баранчук, зеленая гычка, люблять мэнэ панычи, що я нэвэличка.

Мне очень хотелось старух как-нибудь свести вместе, что однажды и удалось. На взятой напрокат машине я привез Некрасова и его маму из Ялты в Керчь, где жили мои родители. Старухи сошлись вместе, и Зинаида Николаевна объяснила моей бабушке наиболее удобный способ передвижения из Женевы в Лозанну и с удовольствием рассказала историю с наперченными шиньонами. Бабушка моя тоже с удовольствием все это выслушала и сказала задумчиво:

— Так-сяк, сказал бедняк. — А потом, помолчав, продолжала, прихлопывая: — Гоп, чук-баранчук, зеленая гычка...

Познакомился я с Некрасовым в 1962 году в редакции «Нового мира». Он был знаменитый, а я начинающий. Меня представил ему мой редактор и затем наш общий друг Игорь Александрович Сац. А потом Некрасов написал рекомендацию в Союз писателей, которая показалась мне лестной и странной. В рекомендации было обращено внимание на мое трудовое прошлое и выражалась уверенность, что пребывание в Союзе писателей такого человека «особенно — (цитирую по памяти) — имеющего практический опыт, будет очень полезно».

— Что это значит? — спросил я Саца. — Как может быть полезен мой практический опыт Союзу писателей? Не думает ли Некрасов, что я в Союзе писателей заодно буду столярничать?

Сац слегка смутился, но потом сказал, что содержание рекомендации не важно, важна подпись Некрасова.

— Но зачем же он пишет про практический опыт?

Сац смутился еще больше и признался, что рекомендацию писал не Некрасов, а он. Некрасов сделать этого не мог, потому что единственной моей к тому времени повести не читал, а мой практический опыт был тоже ему неведом.

Второй раз мы познакомились, выпили (а как же!) и подружились в Доме творчества в Малеевке в марте 1963 года. У нас у обоих в жизни произошли к этому моменту большие события. Я напечатал в «Новом мире» свои рассказы «Хочу быть честным» и «Расстояние в полкилометра», а Некрасов стал героем дня после ругани, обрушенной на него Хрущевым. На этот раз он мои рассказы прочел, хвалил, и я был польщен и счастлив. Потому что Некрасов был одним из двух-трех писателей старшего поколения, кого я читал и любил.

Между прочим, вот реакция народа на высочайший гнев. Из Малеевки Некрасов поехал в другой дом творчества — в Ялту. А его друг Григорий Поженян, временно переквалифицировавшись в кинорежиссера, явился в Ялту снимать фильм и жил в прибрежной гостинице. Как-то в этой гостинице Некрасов и Поженян сидели и, понятно, пили. Около двух часов ночи Некрасов потянулся к телефону вызывать такси.

— Вика, — сказал ему Поженян, — не беспокойся, я тебя отвезу.

Вышли на улицу. Ни одной машины. Наконец, появился милиционер на мотоцикле с коляской. Поженян поднял руку. Милиционер остановился.

— Слушай, друг, — обратился Поженян. — Добрось пьяного человека до дома.

От такой наглости милиционер просто опешил:

— Да ты что это говоришь! Да я вас сейчас обоих в вырезвитель доброшу.

— Дурак! — сказал Поженян с упреком. — Кого в вырезвитель? Ты знаешь, кто это? Это писатель Виктор Некрасов.

Милиционер подумал.

— Некрасов? «В окопах Сталинграда»? — Он посмотрел недоверчиво. — Это вас Хрущев ругал? Садитесь.

Он откинул клеенчатый полог коляски, и Некрасов был доставлен к дверям Дома творчества с царскими почестями.

Другая история, похожая, произошла задолго до описанной.

В киевской пивной Некрасов повздорил с каким-то выпивохой. Вернее, тот с ним повздорил. И сказал так:

— Эх, дал бы я тебе сейчас, если бы ты не был похож на моего любимого писателя.

Несмотря на напряженность ситуации, Виктор Платонович поинтересовался, кто же этот любимый. И услышал свою собственную фамилию.

— Ну и чем дело кончилось, — говорил Вика, — ты понимаешь, Ба-альшой пьянкой.

Кажется, он никогда и ни в чем не выглядел слишком серьезно. Ходил всегда в пальто нараспашку, ворот рубахи расстегнут, в галстук его не видел и не могу себе представить. На серьезные вопросы отвечал несерьезно. На вопрос литературной анкеты «как вы пишете?» ответил: лежа. А вообще, говорил он часто, я не писатель и писать не люблю. Я ему иногда верил, видя, как охотно уклоняется он от писания, как с готовностью шатается по улицам, несется на край города, на край страны, на край света. Советский Союз он изъездил вдоль и поперек, а потом, когда стало возможно, без усталости носился по всему миру: Америка, Австралия, Япония. Когда ж

при такой жизни писать? А вот писал же, и теперь, если все написанное им издать, получится солидное собрание сочинений.

Ненавидел все запреты. На мой вопрос, как ему удастся не толстеть, сказал «Держу диету. Побольше жиров, побольше углеводов и побольше холестерина. Обожаю свежие булочки с маслом. И алкоголь в неумеренном количестве тоже очень рекомендую». Он ненавидел всякие надписи вроде «не курить», «не входить», «ногами не становиться». Как только их видел, так немедленно закуривал, входил и становился ногами.

Я думаю, что его жизнь никак не могла сложиться иначе. Потому что он жил в обществе, где были свои, очень определенные правила поведения, которые он нарушал постоянно. Мне рассказывали наши общие друзья, что при первом знакомстве еще в сталинские времена он сразу наговорил такого, что они отнеслись к нему с большим подозрением. А все потому, что вел себя необычно. О советской власти высказывался в любом обществе в такой форме, что слушатели иногда цепенели от страха. Совершенно не умел и не хотел пользоваться принятым в писательской среде языком намеков, особенно по телефону. Хотя иногда пытался.

О свержении Хрущева он узнал в Киеве раньше, чем его друзья в Москве. Он позвонил им по телефону и, памятуя, что говорить надо шифром, сказал, что прогнали лысого. Друзья продолжать разговор опасались, но очень уж было любопытно.

— А кто вместо него? — спросили они осторожно.

— А вместо него двое, — сказал Вика. — Первый Бровман (так на нашем языке именовался бровастый Брежнев), а второй... второй... — Вика подумал, — а второй Косыгин.

Перед моей первой и единственной туристической поездкой на Запад, в Чехословакию, я позвонил Вике в Киев.

— Володька, — закричал он в трубку. — В Праге обязательно зайти к Антончику. Ты знаешь, Антончик это такой парень, такой парень, советскую власть ненавидит так же, как мы.

Признаться, я думал, что после такой рекомендации меня, по крайней мере, снимут с поезда. Обошлось.

Он никогда не пыжился и не думал, что сейчас своим словом научит все человечество, как надо жить. В отно-

шениях со всеми был ровен и демократичен, не в политическом и не в общественном смысле, а просто в человеческом. Он не любил, когда его называли по имени-отчеству. Все его товарищи, которые были гораздо моложе, и даже дети называли его Вико́й. Но вот начальству это не позволялось, и когда министр культуры СССР Екатерина Фурцева назвала его Вико́й, он тут же ее оборвал:

— Если вы не будете ко мне обращаться по имени-отчеству, я буду называть вас Катей.

Вика любил рассказывать и показывать, как министр опешила, смутилась, покраснела и пролепетала:

— Ну что ж, мне это будет только приятно.

Некрасов много пил, но для него это было не просто пьянство, а собутыльничество, момент общения, открытия души с друзьями близкими и случайными, которые на время пьянки становились как будто близкими. Эти пьянки были частью для его жизни, причем частью ему весьма дорогой. Так же, как у Твардовского, который пьяниц считал лучшей частью человечества, но с горечью признавал, что «даже среди пьющих попадаются плохие люди». Когда в Советском Союзе началась борьба с алкоголизмом, Некрасов уже с Запада откликнулся на ее вдохновенным гимном пьянству с друзьями или с одним другом. Это не просто пьянство, говорил он, а разговор, пусть невнятный, но сокровенный. Разговор, продолжающий ночь напролет. Когда бутылка постепенно пустеет, комната темна от табачного дыма, а размокшие окурки плавают в тарелке с обсосанными селедочными хвостами. А для полноты ритуала надо, чтобы водки обязательно не хватало. Чтобы потом бежать куда-нибудь в ночь к таксистам, к полусонным ресторанным швейцарам. Чтобы втридорога купить очередную бутылку и опять туда, в ту же задымленную комнату, к тому же столу, к той же тарелке с размокшими окурками.

Может быть, я говорю слишком много о том, как он пил, но мне без этого обойтись трудно, потому что трезвым я его почти никогда не видел. В этом нет ничего оскорбительного для его памяти (и он сам, я уверен, не оскорбился бы), потому что видел я его в часы общения со мной и с другими, общений, которые без «ста грамм» были просто непредставимы. А когда он работал, я его,

понятно, не видел. А сам он об этом если и говорил, то только в том духе, что он человек ленивый и вообще не писатель, пишет неизвестно для чего, время от времени. Кто видел его жизнь со стороны, мог бы и поверить. То пьет, то опохмеляется, то встречается кого-то, то провожает, то путешествует, ложится к утру, встает к полудню, читает от корки до корки «Правду» и «Фигаро», шатается по книжным развалам, пивнушкам, картинным галереям, улочкам и переулочкам. А теперь, когда он помер, я стал считать, сколько он книг написал, и сам себе не поверил.

В отличие от анекдотического чукчи он был не только писатель, но и читатель, и читатель настоящий, благодарный (хотя утверждал, что ничего не читает). Раньше его любимой книгой были «Три мушкетера», потом рассказы Шукшина, с которыми он, по его словам, не расставался. Он всегда радовался появлению новых имен, радовался, когда открывал для себя новое, интересное, близкое. В России, я знаю, так было с Вячеславом Кондратьевым, здесь — с Сергеем Довлатовым. В последние годы предпочитал читать мемуары. С восторгом говорил о мемуарах Петра Григоренко и Евгении Гинзбург. Причем всегда начинал одинаково: «Ты знаешь, я толстых книг не читаю, но эту прочел и...» И общался о физиологическом конфузе, якобы с ним случившемся в результате испытанного восторга. Романы, впрочем, тоже читал: «Ты знаешь, я прочел Гроссмана и...» Конечно, опять случилось с ним то же самое. «Вот про меня говорят, Некрасов, правда о войне, правда о Сталинграде. Володенька, вот она правда о Сталинграде! И надо же! Я же с ним встречался, но не знал, какой это писатель!» Я же с ним встречался, но не знал, какой это писатель!»

Когда я с ним говорил последний раз по телефону (недели за две до его смерти), он сказал, как бы самому себе удивляясь: «Как ты думаешь, что я сейчас перечитываю? «Одноэтажную Америку»! И ты знаешь, что случилось?» Я, конечно, знал, что случилось.

Были времена, когда общаться с Некрасовым было лестно и «престижно». Тогда он окружен был тучей друзей. Когда настали трудные времена, многие из них стали шарахаться от него, как от чумы. А он, к моему удивлению, оказался всепрощенцем. Он даже порывался выпить с двумя кагебешниками, устроившими у него в

киевской квартире обыск, похожий на грабеж. Они умилили его своей вежливостью, тем, что, не разрешая ему выйти из дому, прогуливали его собачку и к тому же оба оказались тезками (Витями). А друзьям, которые шарахались, легко все простил, и изо всех мест, где бывал, звонил по телефону, слал открытки с диковинными видами, не упускал случая передать привет в Москву, в Киев, в Ленинград кому-нибудь, а когда друзья в процессе «перестройки» стали появляться в Париже, бежал сломя голову к ним на встречу.

Теперь в Советском Союзе сделаны первые шаги к его реабилитации. Сделаны, конечно, как всегда, слишком поздно. Но все-таки перед самой смертью он прочел о себе в «Московских новостях» добрые слова Вячеслава Кондратьева. И уже не прочел некролог, подписанный кроме Кондратьева, Булатом Окуджавой, Владимиром Лакшиным и Григорием Баклановым. Некролог этот, с одной стороны, вызвал большое неудовольствие Егора Лигачева, но и с другой стороны, некоторых (например, меня) тоже не удовлетворил. В некрологе сказано достаточно много: «Автор повести «В окопах Сталинграда», офицер саперного батальона, он стоял у истоков правдивого и честного слова в нашей литературе о войне...»

Но тут же и ложка дегтя, словно в песню Окуджавы вставили куплет из Долматовского: «... его отъезд за границу и некоторые выступления там в первые годы его эмиграции отдалили его от нас...»

Я не с луны свалился, и советские правила игры мне известны. Я знаю, что без таких оговорок имя Некрасова в советской газете никак не могло появиться. Скрепя сердце, я готов согласиться, что такой некролог лучше, чем никакой. Но поскольку за пределами советской юрисдикции у нас нет никаких причин исказить истину, я напомню, что за границу он был выпихнут насильно. Выпихнут за то, что выступал против произвола и совершал поступки, на которые и сейчас ни один из членов Союза писателей, включая самых отчаянных правдолюбцев и защитников природы, не способен. Признанный русский писатель, он в 1966 году организовал митинг памяти погибших в Бабьем Яру евреев, выступил в защиту Синявского и Даниэля, Сахарова и Солженицына, писал резкие письма по поводу психиатрических репрессий профессору Снежневскому (и тот, судя по одному из жалких

ответов, чувствовал себя неуютно), вступался за многих, многих людей, именитых и безымянных.

В некрологе добавлена и вторая ложка дегтя, — что, конечно, все хорошее написано Некрасовым между 1946 и 1974 годами, то есть на родине, а уж потом (иначе ведь и не бывает!) ничего интересного он не написал. С сожалением замечая, что некоторым нашим коллегам (а не только казенным пропагандистам) очень уж хочется утвердиться в нехитром убеждении, что за границей писатель неизбежно кончается. Это вранье, опровергнутое жизнью неоднократно. Хотя бывает по-всякому. Шолохов, например, всю жизнь к родимым ковылям припадал, а после «Тихого Дона» (предположим, он его не украл) за сорок с лишним лет не выдал из себя ни одной живой строки. У Фадеева или Федина все главные достижения (их достоинства советской критикой тоже сильно преувеличены) остались в ранней молодости, а потом — постепенный или непостепенный спуск под гору. Ну, а вот, скажем, Куприн вернулся на родину, и что он там написал?

Я тоже считаю «В окопах Сталинграда» самой значительной книгой Некрасова, но это не мешает мне любить и другие его книги, повести, рассказы и путевые очерки, написанные «до» и «после». И «В родном городе», и «Саперлипопет», и «Киру Георгиевну», и «Маленькую печальную повесть», и «Записки зеваки», начатые на родине и продолженные в эмиграции. Здесь он издал много книг, но вошло в них тоже не все им написанное. У него есть по крайней мере два первоклассных рассказа, которые по непонятным мне причинам он до самой смерти не напечатал. А еще один жанр, и вовсе в книгах не уместившийся, это его беседы, с которыми он регулярно выступал по радио «Свобода». Эти беседы «обо всем», вольные, безыскусные, полные юмора, или горечи, или того и другого, всегда отличались таким обаянием, что не зря знакомые мне москвичи послушать их выезжали за город, где не так досаждают глушилки.

Нет, писатель Виктор Некрасов не кончился в 1974 году. Он писал до самой смерти и во всех своих книгах оставался самим собой, талантливым, правдивым и честным. А еще он был верным другом, задушевым собесед-

ником, добрым человеком, был одним из тех редчайших людей, кого принято называть совестью народа.

1987, сентябрь.

Главный цензор

Летом 1980 года, незадолго до моей эмиграции, по Москве разнесся слух, что на телевизионных экранах скоро появится только что снятый многосерийный фильм по книге Конан Дойля «Записки о Шерлоке Холмсе». Но тут же распространился и второй слух, что фильм запрещен и положен «на полку», а создателям его объявлены выговоры за то, что они пытались протащить на экраны это идейно-порочное произведение. Это было странно, потому что «Записки о Шерлоке Холмсе» в Советском Союзе уже десятки раз издавались и переиздавались, трудно было даже представить, к чему там можно придаться. Вскоре, однако, все прояснилось.

Крамола содержалась уже в первых кадрах первой серии. Встретились впервые Шерлок Холмс и доктор Ватсон.

— О, — говорит Шерлок Холмс, — я вижу, что вы были в Афганистане.

И в ответ на изумленный вопрос доктора, как он догадался, знаменитый сыщик отвечает:

— Ход моих размышлений был такой. В этом докторе заметна военная выправка. Судя по загару, он только что вернулся из тропиков. Он прошел через большие испытания и болезнь, что ясно видно по его изможденному лицу. Его левая рука повреждена. Он держит ее в неестественном положении. Где в тропиках английский военный доктор мог получить такую рану? Конечно, в Афганистане.

Так сочинение давно умершего английского классика стало вдруг злободневным и совершенно непроходимым с точки зрения советской цензуры.

Через некоторое время, однако, начальство от гнева остыло и разрешило создателям фильма переозвучить крамольное место, в котором Шерлок Холмс теперь говорил: «Я вижу, что вы приехали из одной восточной страны».

Но чисто политическая поправка отразилась и на художественном уровне произведения. Шерлок Холмс поражает нас абсолютной точностью своих умозаключений. А до таких приблизительных догадок, как «одной восточ-

ной страны», мы при некотором напряжении интеллекта могли бы и сами додуматься. Это маленький, но характерный пример того, как цензура, изымая из текста неудобную ей информацию, разрушает художественный образ.

Когда говорят о цензуре, то имеют в виду прежде всего специальное учреждение, Главлит, в задачу которого входит не допускать разглашение военной и государственной тайны органами печати, радио и телевидения, а также в художественной литературе, кино и театре. У цензоров Главлита есть длиннейший и с годами все удлиняющийся список воинских частей, географических точек, промышленных объектов, стихийных бедствий, катастроф и несчастных случаев, произошедших на территории СССР, научных открытий, а также фамилий, которые или вовсе запрещено упоминать в печати, или разрешено упоминать частично, по особому распоряжению партийных или карательных органов. В него входят фамилии деятелей самой коммунистической партии (от Троцкого до Хрущева), фамилии некоторых писателей, диссидентов и ученых, занятых особо секретной работой. Например, имя Сахарова было запрещено упоминать в печати, когда он активно работал в советской науке и получал самые высшие советские награды. Потом его имя стало запретным, потому что он перешел в разряд диссидентов: теперь его упоминают довольно часто, но всегда только с одобрения самых высших партийных инстанций. Список запрещенных фамилий достиг таких катастрофических размеров, что цензоры все хуже справляются со своей работой, что они и продемонстрировали недавно, пропустив в печать научно-фантастическую повесть Артура Кларка, в которой все советские космонавты были названы запрещенными именами советских диссидентов.

Подобные ошибки, допущенные цензорами или редакторами, на советском редакционном жаргоне называются «ляпами», и такие ляпы проскальзывают на страницы советской печати не первый и, надеюсь, не последний раз. Лет десять тому назад математик Юрий Гастев выпустил «хулиганскую» книгу по математической логике. В предисловии к книге он выражал особую благодарность за помощь в работе над книгой докторам Чейну и Стоксу. Чейн и Стокс не были ни математиками, ни логиками и никак не могли помочь доктору Гастеву в работе над его книгой. Но они были врачами, и их именем было названо

чейн-стоксово дыхание, которое появляется у людей в предсмертной агонии. Такое дыхание было перед смертью у Сталина, на что и намекал Юрий Гастев в своем предисловии. В сталинские годы Гастев был арестован, и только смерть вождя позволила ему продолжить и закончить свое образование. Но на этом Гастев не остановился и в списке использованных материалов указал работы по крайней мере десятка диссидентов, также в большинстве случаев не имевших к его теме никакого отношения.

Примерно в то же время подобный «ляп» был пропущен цензорами и в журнале «Аврора». В одной из статей был помещен положительный отзыв о Сахарове, за что, как это всегда бывает в таких случаях, в первую очередь попало главному редактору.

Надо сказать, что Главлит — это только одна из инстанций, осуществляющих цензуру, да и то лишь на последней стадии подготовки того или иного издания, кинофильма или спектакля. Первым цензором произведения, еще находящегося в процессе работы, является как известно, сам автор. На следующем этапе произведение попадает к рецензентам, потом его редактируют несколько человек (редактор, старший редактор и главный редактор). В задачу этих людей входит довести рукопись до того, чтобы она отвечала определенным идейно-художественным требованиям, хотя требования идейные и художественные почти во всех без исключения случаях друг другу явно противоречат. Вот примерный круг обязанностей первого редактора рукописей, которая принята к печати и включена в план: 1) Сделать ее более или менее удобочитаемой, если нужно поправить сюжетное построение, стиль, язык, исправить грамматические ошибки (среди признанных советских писателей большой процент элементарно неграмотных людей), в некоторых случаях даже полностью переписать рукопись. 2) Проследить за тем, чтобы рукопись отвечала основным канонам социалистического реализма, то есть чтобы в ней обязательно был положительный герой, чтобы добро (с коммунистической точки зрения) побеждало зло, чтобы общий тон будущего произведения был непременно оптимистическим. 3) Не пропустить не только критики существующей системы, но даже намека на нее, советская действительность в целом должна описываться в светлых тонах, капиталистическая действительность, наоборот, в самых мрачных. Последнее требование соблюдается даже более

строго, чем первое, поэтому почти все путевые заметки людей, побывавших за границей, если в них не упоминаются безработица, инфляция, преступность и другие пороки капитализма, подвергаются, как правило, разностной критике. Кроме того, редактор дублирует цензора и так же, как цензор, обязан бдительно следить за тем, чтобы в книге не появилось какое бы то ни было упоминание не подлежащих разглашению тайн и нежелательных фамилий. Само собой, если фамилия самого автора состоит в списке запрещенных к упоминанию, то о публикации его книги, какого бы содержания она ни была, не может быть и речи. Редактор является первым ответчиком за любые ошибки, допущенные в изданной книге. В большинстве случаев, когда книга вызывает недовольство партийных органов, автора просто критикуют в печати или на каких-нибудь (часто закрытых) собраниях, но редактору достается гораздо больше, ему объявляют выговор, а то и вообще снимают с работы.

Причем, конечно, самым страшным грехом редактора является политическая ошибка, которой может быть признано все, что угодно: изображение того или иного неугодного партии лица или явления в положительном свете, намек на те или иные события (как в случае с упоминанием войны в Афганистане), даже похвала или недостаточная критика того или иного направления в искусстве.

Иногда политической становится обыкновенная грамматическая ошибка. Во время и после войны во всех газетах печатались приказы Верховного Главнокомандующего Сталина. Было несколько случаев, когда в слове «главнокомандующий» по недосмотру была пропущена буква «л». При Сталине такие ошибки приравнивались к саботажу. Мне лично известен случай, когда, допустив эту ошибку, ответственный редактор областной газеты «Большевик Запорожья» (на Украине) немедленно застрелился. Лидия Корнеевна Чуковская рассказывала мне о редакторе газеты, которому во время войны по ночам снились кошмары. Ему снилось, что в свежем номере его газеты напечатано И. В. Ленин и В. И. Сталин (перепутаны инициалы).

Страх перед ошибками подобного рода настолько велик, что в редакциях больших газет всегда выделяется специальный дежурный сотрудник (его называют «Свежая Голова»), который после всех редакторов и корректоров еще раз внимательно вычитывает всю газету.

Наказания, как я уже сказал, в сталинские времена были особенно крутыми, но и теперь за подобные ошибки наказывают весьма строго. Например, герой моей книги «Иванькиада» Сергей Иванько еще во времена дружбы с Китаем, будучи «Свежей Головой» газеты «Литература и жизнь», был уволен с работы после того, как газета сообщила читателям, что «большого подъема достигла экономика США и Китая» (надеюсь, понятно, что вместо США должно было быть СССР).

Такие ошибки чаще всего случаются в газетах, которые делаются в спешке.

Но в журналах и книгах редакторы больше всего беспокоятся о подтексте, то есть или о сознательно протаскиваемых автором намеках или ассоциациях, которых автор не предвидел. По этой причине даже немецкие концлагеря являются темой почти постоянно запретной (некоторые книги вышли по специальному разрешению), потому что безусловно напоминали читателю о лагерях отечественных. По этой же причине находится почти под полным запретом тема фашизма и гитлеризма. В годах подвергся партийному разгрому документальный фильм Михаила Ромма «Обыкновенный фашизм»; потому что искусство Третьего рейха, показанное в этом фильме, слишком напоминало советское.

Многие редакторы ищут намеки даже там, где их нет. Например, в свое время одно из обвинений, предъявленных Андрею Тарковскому было, что крестьяне в его фильме «Андрей Рублев» слишком плохо одеты и напоминают советских колхозников. А как же эти крестьяне должны были быть одеты в России XIV века?

В 1968 году на экраны вышел невинный детский фильм «Внимание, черепаха». Центральный эпизод фильма: черепаха, за которой ухаживали ученики одной из московских школ, убежала и оказалась на дороге. А по дороге как раз в это время проходила колонна советских танков. Увидев черепаху, головной танк остановился. За ним остановилась вся колонна. Командир колонны (он находился где-то сзади) запросил по радио головного танкиста, в чем дело. Тот ответил, что на дороге черепаха. Переговоры по радио ведутся очень долго, и затем командир передает благородный приказ: сойти с дороги и обогнуть черепаху (вместо того, чтобы скажем, кому-нибудь из танкистов выскочить и отбросить черепаху в сторону). При обсуждении фильма один из редакторов,

хитро поглядывая на сценаристов и режиссера, сказал: «Значит, вы имеете в виду черепаху»? Че?» «Че?» — переспросил один из сценаристов. «Ну да, маленькая Че и большой советский танк». То есть он считал, что под черепахой создатели фильма имели в виду Чехословакию, хотя в фильме советские танки «маленькую Че» обогнули, а в жизни случилось, как известно, совсем обратное.

Инструкции устные и письменные предписывают редакторам и цензорам выискивать не только обыкновенный, но и «неконтролируемый подтекст». Кроме того, они должны бороться с так называемыми аллюзиями, то есть с возможностью возникновения у читателя мыслей, вообще никак не связанных ни с текстом, ни с подтекстом. На вопрос, что такое аллюзии, один известный советский режиссер сказал так: «Это когда вы, например, сидите в кино, смотрите какой-нибудь видовой фильм и глядя на, скажем, Кавказские горы думаете: «А все-таки Брежнев сволочь»».

Помимо профессиональных цензоров и редакторов цензурные функции осуществляют самые различные ведомства, как бы далеки они ни были от литературы и искусства.

Так, прежде чем выпустить в свет книгу о геологах (пусть это будет даже роман), издательство направляет его в геологическое ведомство, о пограничниках — в КГБ, о революционерах — в Институт марксизма-ленинизма и т. д. Причем все эти учреждения не только следят за тем, чтобы не было допущено фактических ошибок, но и делают замечания (часто очень грубые и невежественные) по поводу художественных достоинств сочинения, которые автор должен принять (или сделать вид, что принял).

Само собой, цензурные функции осуществляют руководство Союза писателей, партийные органы (от райкома до ЦК КПСС), районные, городские, областные управления культуры, министерства культуры республик и СССР, многие другие организации, а в некоторых случаях и отдельные «заслуженные люди», то есть передовики производства, космонавты, генералы (меня «редактировали» все три категории) и многие, многие другие.

Но самым главным цензором в Советском Союзе является страх.

Каждый советский писатель, принимаясь за новое сочинение, всегда помнит, что вознаграждением за его ра-

боту могут быть не только слава и гонорары, но и запрещение части книги, запрещение всей книги, запрещение всех его книг, исключение его из Союза писателей и, как крайняя мера, заключение его в тюрьму.

**Если враг
не сдается...**

*(Заметки
о социалистическом
реализме)*

В августе 1934 года в Москве, в Колонном зале Дома союзов состоялось грандиозное двухнедельное представление, которое называлось Первым Всесоюзным съездом советских писателей. Съезд торжественно объявил об объединении всех писателей, «поддерживающих платформу советской власти и стремящихся участвовать в социалистическом строительстве».

Один за другим поднимались на трибуну представители новой, дотоле невиданной в мире литературы. Писатели, которые взяли на себя роль коллективного Господа Бога и в кратчайшие сроки обещали создать нового человека. Время от времени под бой барабанов врывались в зал заседания делегации передовых рабочих, колхозников, красноармейцев и пионеров. Они торжественно докладывали о своих небывалых успехах на трудовом фронте и призывали писателей немедленно отразить их подвиги и тем самым создать величайшую литературу, которая по своим достижениям могла бы сравниться с достижениями рабочего класса и трудового крестьянства. (Забегая вперед, скажу, что если опустить все превосходные эпитеты, литература эту историческую задачу полностью выполнила и ее успехи вполне сравнимы с успехами советской промышленности и сельского хозяйства).

Патока славословий густым потоком лилась на головы лидеров правящей партии во главе с лично вождем всего советского народа, всего мирового пролетариата, всего прогрессивного человечества, лучшим другом советских писателей товарищем Сталиным. Писатели в самых возвышенных и поэтических выражениях славили свое ныне узаконенное положение, задолго до Орвелла объявив рабство высшей степенью творческой свободы.

Съезд вынес много замечательных решений, одно из которых гласило, что отныне и навсегда все без исключе-

ния писатели в своей работе должны пользоваться методом социалистического реализма.

Что это такое?

Официальная формулировка утверждает, что социалистический реализм — это правдивое, исторически конкретное изображение жизни в ее революционном развитии.

Были и другие формулировки. Один из партийных организаторов съезда на вопрос, что такое социалистический реализм, ответил примерно так: социалистический реализм — это Шекспир, Рембрандт и Бетховен, поставленные на службу пролетариату. Некоторое время спустя классик и теоретик соцреализма Фадеев на вопрос, что это такое, ответил: а черт его знает! И уже, вероятно, в наши дни появилась неофициальная, но вполне исчерпывающая формулировка: социалистический реализм — это воспевание вышестоящего начальства в доступной ему форме.

Председательствовал на съезде основоположник нового реализма Алексей Максимович Горький. Великий пролетарский писатель ронял слезы умиления, видя, как под одной крышей мирно собрались и не грызут друг друга пролетарские писатели, попутчики, представители малых наций, народные акыны, которые, еще не овладев грамотой, уже научились уверенно ставить отпечатки большого пальца в гонорарных ведомостях.

Но пока Горький утирал слезы, смущенно просил не называть его слишком часто великим, бывший аптекарь Генрих Ягода уже составлял для него смесь смертоносных ядов, уже испытывал их на лабораторных крысах, а может быть, и на подобранных с научными целями малых писателях.

На сцене Колонного зала Горький доигрывал свою последнюю роль. История больше в нем не нуждалась. И в самом деле, все что мог, он уже совершил. Образец для подражания следующим поколениям соцреалистов — роман «Мать» — уже написал. Ленина и Сталина прославил. И свою знаменитую фразу: «Если враг не сдается — его уничтожают» уже пустил в обращение. Что с него еще взять? Как живой организм, который может разъезжать по каналам, колхозам, колониям малолетних преступников, произносить речи, умиляться и ронять старческие слезы, он был больше не нужен. Нужно было его имя на вывеске. Улицы Горького, колхозы, заводы, театры, пар-

ходы имени Горького. И город Горький, в котором сегодня (и это знаменательно) уничтожается все еще не сдавшийся враг — Андрей Сахаров.

Съезд закончил свою работу, делегаты с гостинцами для родственников разъехались по своим городам и аулам, и началась будничная, кропотливая работа по уничтожению литературы и ее создателей.

Говоря о писателях — жертвах советского режима, мы обычно перечисляем одни и те же имена: Бабель, Мандельштам, Булгаков, Платонов, Зощенко, Цветаева, Ахматова, Пастернак...

Одни поминают эти имена с горечью, другие с гордостью. Вот мол, всегда настоящая русская литература жила, существовала, развивалась несмотря ни на что. На самом деле, не смотря ни на что, а благодаря партии и лично товарищу Сталину. Потому что товарищ Сталин мог это развитие прекратить в один день и сразу со всеми вышепоименованными писателями покончить. Но он терпел и проявлял индивидуальный подход и даже известную деликатность. Даже Мандельштама, который написал, что его толстые пальцы, как черви жирны, он на полную гибель не сразу отправил. Он дал ему еще возможность в ссылке пожить, написать еще кое-что дал возможность. Он дал возможность Мандельштаму исправиться. Но Мандельштам и вышепоименованные не исправлялись. Советскую власть до конца не полюбили. Нет, они, конечно, против нее не выступали, они соглашались считаться социалистическими реалистами. В трудные для себя времена даже пытались сочинить что-нибудь панегирическое о Ленине и Сталине. Но справедливости ради надо сказать, делали они это неохотно, неумело, не от души. Не было в их сочинениях о Сталине такого неподдельного восторга, как, например, позднее у Исаковского: «Оно пришло, не ожидая зова, пришло само и не сдержатъ его... Позвольте ж мне сказать Вам это слово, простое слово сердца моего». Как бы высоко ни ценил я перечисленных мною писателей, но, льстя Сталину, такой проникновенности никто из них достичь не смог. На самом деле, сердцем они новой власти не приняли, от политики партии и правительства в области литературы и искусства воротили нос, а сами еще что-то писали в стол или старались удержать написанное в памяти и, не сдаваясь до конца, делали вид, что сдались. Поэтому их травили, не печатали, морили голодом, сажа-

ли и доводили кого до сумасшествия, кого до самоубийства. Если враг не сдается — его уничтожают.

А если сдается?

На этот риторический вопрос однозначно ответить нельзя. Сначала нужно определить, что считать сдачей.

Маяковский начал сдаваться задолго до самоубийства, когда начал наступать «на горло собственной песне». Горький, приняв советскую власть, еще не понял, что надо полностью, а не частично принять и новые правила поведения. Он все еще вмешивался не в свои дела: защищал чьи-то книги, кого-то вызволял из тюрьмы, кому-то выхлопывал квартиру, лекарства или дрова и даже что-то еще писал. То есть сдался процентов на девяносто девять, а один процент своей души пытался от партии утаить и потому оказался достоин уничтожения. Говорят, после его смерти у него были найдены некие записи, прочтя которые то ли Сталин, то ли кто-то еще сказал: «Сколько волка ни корми, он все в лес смотрит». На самом деле этот волк в лес уже не смотрел, а так, косился немного.

Я думаю, что некоторые цели советская власть не сразу зловеще вынашивала, а приходила к ним инстинктивно. И то, что литература в целом и всякий существующий в ней отдельный талант являются ее врагами, власть осознала не сразу, а в результате длинной серии проб и ошибок. Например, в самом начале некоторые писатели (Бунин, Куприн, Мережковский, Аверченко) новой власти не приняли, плевались, проклинали, эти, ясно, враги. Колебавшихся она стремилась привлечь на свою сторону. Тех, которые приняли ее, но, не избавившись от пережитков прошлого, соразмеряли описываемое с реальной действительностью, она надеялась перевоспитать. Были писатели, которые сразу без колебаний стали на сторону власти, честно и самоотверженно пытались приспособить свои книги к вновь выдвинутым требованиям. Оказалось, что и такой писатель, пока в нем остается сколько-нибудь таланта, — тоже враг, достойный уничтожения, причем вовсе не обязательно уничтожать самого человека, достаточно уничтожить заложенный в нем талант.

Всякое художественное дарование оказалось врагом советской власти. Некоторые дальновидные писатели это поняли сразу. Одни просто замолчали, другие ударились в пьянство. Катаев, по-моему, сознательно тридцать лет притворялся бездарным, но некоторые настолько хорошо притворились, что стали бездарными навсегда.

Живые трупы советской литературы

Накануне 1967 года главный редактор «Нового мира» Александр Твардовский дал интервью «Литературной газете». Перечислив имена авторов, сочинения которых журнал намерен опубликовать в текущем году, Твардовский выразил особое удовольствие, что один из старейших советских писателей, крупный мастер прозы Константин Федин согласился дать журналу новые главы из своего романа «Костер».

За несколько дней до выхода номера с произведением выдающегося мастера в отдел прозы «Нового мира» пришел сотрудник «Недели» и попросил порекомендовать ему для его еженедельника какой-нибудь отрывок из «Костра». Сотрудники отдела прозы переглянулись и затем смущенно признались, что романа они не читали и поэтому никакого отрывка порекомендовать не могут. Сотрудник «Недели» пошел на второй этаж, где располагались в отдельных кабинетах члены редколлегии и главный редактор. Выяснилось, что никто из них тоже не читал печатаемого ими романа. Роман читали только корректоры, в обязанности которых входит исправлять грамматические ошибки. Но даже и они содержания романа не помнили, а одна из корректорш сказала гостю, что он может взять отрывок любой, потому что весь роман одинаково бессмыслен и скучен.

Само собой разумеется, что, как только новые главы были опубликованы, чуть ли не все центральные газеты и журналы разразились огромными статьями ведущих критиков о новом большом событии, происшедшем в советской литературе.

А ведь Федин, в отличие от некоторых своих коллег, не был изначально бездарным. Когда-то в 20-х годах его романы «Города и годы», «Братья» были популярны. Их читали, о них спорили, кто-то их отвергал, кто-то превозносил, но они так или иначе возбуждали читательский интерес. Но вот однажды Федин, может быть, после долгих колебаний решил стать образцовым советским писателем. Начал сочинять книги в соответствии с установленными литературными рецептами. И чем толще были эти книги, чем скучнее, чем большим убожеством отличалось их содержание, тем хвалебнее были рецензии, тем выше были правительственные награды.

К концу своей жизни Федин был академиком, председателем Союза писателей СССР, депутатом Верховного Совета СССР, лауреатом всех высших литературных премий, Героем Социалистического Труда. Все эти награды он получил, лишь многократно доказав, что как писатель он полностью кончился и из-под его пера никогда не выйдет ни одной живой строчки. «Федин похож на чучело орла», — сказал о нем однажды Маршак.

У советской литературы есть свои классики не только мертвые, но и живые или, точнее сказать, как бы живые. То есть они существуют, они участвуют в бесчисленных торжественных заседаниях, они произносят длинные и скучные речи, время от времени они издают книги, толстые, как кирпичи. Книги этих авторов уже никто не читает. Даже редакторы, даже цензоры. Все заранее знают, что эта книга не будет иметь никакого существенного содержания, что она будет изготовлена в точном соответствии с существующими рецептами, что в ней не будет ни одного живого слова, ни одной свежей мысли. Именно поэтому она будет напечатана немедленно без каких бы то ни было задержек, советская критика встретит ее потоком панегириков, а советское правительство отметит ее появление высокой наградой. Среди авторов этой категории есть бездарные от рождения, а есть и такие, которые когда-то подавали надежды. К этим вторым правительство даже больше благоволит, чем к первым, и щедро им платит за то, что они добровольно удушили в себе то многое или немного, чем их наделила природа.

Деградацией личности и таланта платили за благодеяния советской власти все признанные ею корифеи, включая Алексея Толстого, Фадеева, Шолохова.

Падение последнего вообще катастрофично, если поверить, что он является истинным автором «Тихого Дона».

Сначала ошеломительный взлет: в двадцать три года — первый том эпопеи, в двадцать четыре — второй. Когда он закончил последний том, ему было только тридцать пять лет. По существу еще молодой писатель. Некоторые в этом возрасте только начинают. А он, оказывается, уже закончил свое развитие и дальше пошло неуклонное скольжение вниз. Неуклюжее сооружение — «Поднятая целина», посредственный рассказ «Судьба человека», а потом уже что-то и вовсе беспомощное. Даже в советской литературе найти сочинение, равное по без-

дарности роману «Они сражались за Родину», не так-то просто.

Чем больше он спивался, чем бездарнее писал, тем неумнее становились официальные почести и восхваления. Только в последние годы, когда он уже вообще ничего не писал, его дважды наградили званием Героя Социалистического Труда.

Талант Шолохова уничтожался многие годы, настойчиво и планомерно. В конце концов он задолго до своей физической смерти умер духовно, превратился в спившееся, растленное, злобное и глупое существо.

Если враг не сдается — его уничтожают. Если сдается — его уничтожают тем более.

Цензура и рецептура

Что цензура в Советском Союзе весьма свирепа, известно всем. Она беспощадно вычеркивает из книг художественных и документальных упоминания о фактах или событиях, сыгравших иногда очень важную роль в советской истории. В длинейший список запрещенных имен внесены вожди Октябрьской революции, гражданской войны, советского государства, писатели, художники, артисты, философы, диссиденты. Но кроме всех запретов, постоянных и временных, существуют хорошо разработанные рецепты, придерживаясь которых писатель всегда может рассчитывать на благосклонность начальства и официальный успех.

Идеальное произведение социалистического реализма должно подводить читателя к мысли, что советская власть лучше всех.

В центре книги должен быть положительный герой. В прежние времена это был революционный фанатик, как Павка Корчагин, а потом законченный идиот, вроде кочетковского секретаря обкома, или сознательный рабочий, утверждающий, что настоящий революционер это тот, кто перевыполняет производственные задания и слушается начальства. Положительный герой — это хорошо сложенный человек нордической расы (русые волосы, голубые глаза, простая русская фамилия, простое имя). Он всегда готов пожертвовать собой ради спасения родины, знамени, социалистического имущества, ради выплавки стали или сбора урожая. Он много работает, много курит и мало спит. Его отношения с женщинами загадочны. Читает он только Маркса, Ленина и ныне живущего гене-

рального секретаря. Он всегда уверен в правоте своего дела, говорит негромко, но уверенно, руку жмет крепко, смотрит прямо в глаза. В редкие свободные минуты любимое развлечение — рыбалка.

Положительному герою противостоит отрицательный. Он обычно хилый интеллигент и если даже не прямой вредитель, то родину спасти не хочет, знамя спасти не хочет, от выполнения планов уклоняется. Руки у него потные, глаза бегают, изо рта пахнет гнилыми зубами. На рыбалку не ходит, вместо этого читает заумные стихи. Фамилия у него обычно смахивает на польскую, хотя совершенно ясно, что он — еврей. Само собой, он настроен антипатриотически, падок на все иностранное (виски, джинсы, джаз). Отрицательно изображаются иностранцы и верующие. (Я читал один антирелигиозный роман, в котором изображалась жизнь секты скопцов. Автор настолько увлекся очернением своих персонажей, что изобразил главу секты очень активным и успешным соблазнителем женщин).

В образцовом произведении социалистического реализма должны быть обязательно так называемые «приемы нового». Скажем, если положительный герой объясняется в любви положительной героине, она в самый патетический момент прерывает его таким, например, возгласом: «Ой, спутник летит!»

Образцовый советский писатель должен проявлять особую чуткость в национальном вопросе. Если в произведении действуют русский и таджик, таджик должен быть обязательно хорошим, но русский должен быть чуть-чуть лучше.

Все эти рецепты примитивны и выглядят так же идиотично, как выглядело бы, скажем, требование строить космическую ракету в виде серпа или молота.

Правда факта и правда эпохи

«Пишите правду», — сказал как-то Сталин советским писателям. «Неужели правду?..»

— А что такое правда? — спрашивает образцовый советский критик. И объясняет: нам нужна не всякая правда, а только та, которая нам нужна. Есть правда факта и есть правда эпохи. Сталинские лагеря, разорение крестьян, скудная жизнь рабочих, коммунальные квартиры, очереди, повальное пьянство, презрение людей к офици-

альной идеологии, все это — правда факта. Цветущие колхозы, рабочие, которые думают только о перевыполнении планов, массовый трудовой героизм, баснословно растущее благосостояние, беззаветная преданность народа идеям коммунизма — это правда эпохи.

— Опять-таки вроде по Орвеллу, но на самом деле задолго до Орвелла утверждено: правда — это ложь, а ложь — это правда.

Считается, что литература должна служить народу. А как служить?

Это определяет партия. Точнее, ее верховные руководители. Сами они книг, как правило, не читали и не читают. На родном языке изъясняются косноязычно. Иностранные слова вроде социалистический, коммунистический, империалистический повторяя в течение всей своей затянувшейся жизни изо дня в день, не могут правильно выговорить, не вспотев. Они искренне не понимают, для чего нужна литература и зачем тратить на нее государственные деньги. Они и того не понимают, что на литературу и денег тратить не нужно, что книга не только духовная (им непонятная) ценность, но и товар, который можно купить-продать иногда даже выгоднее, чем мешок картошки. Поэтому в конце концов они приходят к естественной для них мысли, что литература нужна для восхваления. А кого восхвалять? Конечно же, в первую очередь их самих. Они говорят писателю иногда более, иногда менее завуалированно: восхваляй нас и ты получишь все. Если писатель уклоняется от восхваления, они его просто не понимают, они искренне думают, что он или дурак, или сумасшедший.

Некоторые люди попроще думают так же. Один мой родственник, узнав о моих невзгодах, специально приехал из провинции ко мне, чтобы научить меня, как выйти из положения. «Пиши про Брежнева», — сказал он, считая, что я, как человек не от мира сего, сам додуматься до этой нехитрой мысли не мог.

Впрочем, среди партийных начальников есть и такие, которые готовы допустить, что литература нужна не только для восхваления, но для чего-то еще. «Литература, — говорят они, — должна способствовать нашему движению вперед». Например, способствовать выполнению производственных заданий по выплавке чугуна, производству автомобилей или уборки урожая. Подобно герою твеновского «Янки при дворе короля Ар-

тура», они хотели бы использовать писателя, привязав к его пишущей руке хотя бы маленькую динамомашину для производства электроэнергии.

В свое время у меня был один знакомый секретарь сельского райкома КПСС. Он меня очень уважал и интересовался тем, что я пишу. Однажды я дал ему почитать свою повесть, которая кончалась тем, что герой сгорел в избе, случайно подожженной сумасшедшей старухой. Секретарю повесть понравилась. Он даже сказал мне, что, читая повесть, плакал. Но ему захотелось тут же ее улучшить и приспособить к текущим нуждам. Он сказал мне примерно так: «Ты знаешь, повесть хорошая. Но зачем эта сумасшедшая старуха? Она никому не нужна. А вот к нам в колхозы приходят калориферы с дефектами. И из-за них на полевых станках бывают пожары». Искренне желая мне помочь, он предложил переделать конец повести, чтобы пожар случился из-за дефектного калорифера. Дал адрес калориферного завода и назвал фамилию директора, чтобы я указал ее в своей повести. И очень огорчился, когда я отверг его предложение. Этот секретарь райкома занимался сельским хозяйством. Его советы были от чистого сердца и практических последствий для меня не имели. Но его вполне могли перебросить с сельского хозяйства на литературу, и тогда разговор был бы другим.

Впрочем, и переброшенным быть не обязательно. Вмешиваться в литературу, поправлять писателей, исправлять или даже запрещать ими сочиненное могут все, кому ни лень, независимо от уровня их компетенции. Например, одна моя пьеса была запрещена потому, что не понравилась председателю Президиума Верховного Совета СССР Подгорному, который обычно всем видам интеллектуальных развлечений предпочитал домино. Редактор молодежной газеты получил выговор, напечатав мое стихотворение, которое не понравилось министру обороны СССР маршалу Малиновскому. В песне на мои слова одна строчка была исправлена по указанию космонавта Поповича. После разносной статьи одного маляра в газете «Известия» из моей книги был выброшен лучший рассказ.

Литература государственная и побочная

Среди специалистов, изучающих русскую литературу советского периода, есть такие, которые достижения этой литературы оценивают весьма благосклонно. Они указывают, что даже в самые тяжелые времена литература не прекращала своего существования, в ней жили и работали... дальше идет уже приведенный мною список: Булгаков, Платонов, Зощенко, Пастернак... Это, конечно, так. Но нельзя забывать следующее: среди писателей, состоявших в Союзе писателей и издававшихся в советских издательствах, всегда существовало две категории, которые были так же похожи друг на друга, как волк на овцу.

Первую категорию можно назвать государственной. Это писатели, которые прочно завоевали доверие советской власти, занимают или высшие должности в Союзе писателей или являются главными редакторами толстых журналов. Кроме того они бывают депутатами Верховного Совета СССР или РСФСР, членами или кандидатами в члены ЦК КПСС. Сочиняемое ими рассматривается как дело государственной важности. Никакой редактор не может отвергнуть их рукописи по собственному усмотрению. Если ему в рукописи что-то не нравится, он может поговорить с автором или обратиться в ЦК, а там уже решат окончательно, как быть. После выхода книги государственного писателя никакой критик, никакая газета не имеют права отзываться о ней негативно, если только на это не последует специальной команды сверху. Если все же оказывалось, что государственный писатель совершил ошибку, его поправляли только на уровне ЦК или сам Сталин. Ошибка могла быть только одна: государственный писатель недостаточно отразил роль партии. Такие ошибки в свое время совершили Фадеев в «Молодой гвардии» и Шолохов в «Тихом Доне». Партия их поправила, они свои труды переработали (Шолохов многократно), после чего книги их были приняты и навечно зачислены в список классических.

В конце концов государственные писатели полностью созрели, подобных ошибок не совершают, роль партии отражают сверх всякой меры и Центральному Комитету

больше нет нужды не только поправлять, но даже читать их.

Вторая категория — это писатели побочные, идущие не по столбовой дорожке советской литературы, а где-то в стороне от нее. И пишут они обычно не о передовиках производства, не о тружениках полей, не о секретарях обкомов-райкомов, а о каких-то чертях, заключенных, самоубийцах, пьяницах и жителях коммунальных квартир, которые бьют друг друга сковородкой по голове.

С побочным писателем можно обращаться как угодно. Его можно печатать, можно не печатать, можно хвалить, можно ругать, можно и вовсе не замечать, пока кто-нибудь не обратит внимание, что побочный писатель приобрел непредусмотренную популярность у читателей, которым почему-то все эти черти, пьяницы и самоубийцы нравятся больше, чем секретари обкомов и передовики производства.

К литературе, которую я называю побочной, относятся самые лучшие писатели советского периода. Среди них нет ни одного, который бы прожил свою жизнь благополучно. Их убивали, сажали, травили, поливали помоями, обещали им место на свалке истории, от официальной советской литературы их отлучали. Поэтому они к ней не принадлежат.

Через некоторое время после смерти их иногда печатают, но неохотно. Почитают пока все же не их, а их палачей. В Советском Союзе есть улицы имени Павленко, есть Дом творчества имени Серафимовича, Дом литераторов имени Фадеева, библиотека имени Федина, музей Николая Островского и город Горький.

Но никакие библиотеки, музеи, улицы и теплоходы не названы именами Булгакова, Платонова, Зощенко, Мандельштама, Цветаевой, Ахматовой и Пастернака.

И правильно. Я бы лично очень не хотел, чтобы эти два ряда имен смешивались.

Истинной советской литературой является то, что советским государством всегда поощрялось, признавалось и награждалось, что было создано в полном соответствии с научно разработанным методом социалистического реализма. В оценке достижений этой литературы я полностью согласен с самыми ортодоксальными советскими критиками и на вершину ее охотно ставлю «Мать» Горького и поэму Маяковского «Владимир Ильич Ленин». Без сожалений отдаю «Разгром» Фадеева и фур-

мановского «Чапаева». Парализованный Николай Островский сам втащил на эту вершину свой роман «Как закалялась сталь». «Тихий Дон» в литературу социалистического реализма не вписывается, он для нее слишком человечен и даже после многократного уродования не отвечает ее основным требованиям. (Дикий казак Мелехов, который успешно рубает большевиков, вряд ли может считаться образцовым положительным героем советской литературы). А вот «Поднятая целина» или «Они сражались за Родину» вписываются в литературу соцреализма очень естественно. С удовольствием уступаю этой литературе «Железный поток» Серафимовича, «Цемент» Гладкова, «Бруски» Панферова, «Костер» Федина, все романы Кочетова, Маркова, Сартакова, Бондарева, Стаднюка, Закруткина и еще тысячи книг-кирпичей, которые по отдельности можно подкладывать под шкафы, а из всех вместе можно сложить Вавилонскую башню как памятник этой мертворожденной литературе.

Из книг, написанных побочными писателями, башню не возведешь. Их, может быть, даже не хватит; чтобы заполнить одну книжную полку. Но они пережили своих создателей и уничтожителей. Эти книги нельзя ни расстрелять, ни утопить в помоях клеветы, ни упразднить постановлениями верховной власти, ни удушить замалчиванием. Горький был не прав. Если враг сдастся, его уничтожают. Если он не сдастся, его уничтожить нельзя.

Дети оттепели

Период советской истории, называемый оттепелью, достоин более подробного рассмотрения, но я коснусь его мимоходом. Некоторые люди утверждают, что вообще никакой оттепели не было. Другие относятся к ней более благосклонно. Я пойду еще дальше, сказав, что оттепель вообще была поворотным пунктом в истории советского государства. Какими бы робкими и непоследовательными ни были хрущевские разоблачения Сталина, они, независимо от истинных намерений Хрущева, подорвали идеологическую основу государства, последствия чего государство еще не изжило и не изживет никогда. Когда оно рухнет или в корне изменится (а если не окажется способным измениться, то непременно рухнет), историки неизбежно вернуться к оттепели как к источнику, с которого все началось.

Оттепель есть оттепель. Это пока не весна. Но лед тает, превращается в еще холодную воду, а в воде возрождается какая-то жизнь.

Во время оттепели кое-что оттаяло в Советском Союзе, и, первую очередь, это сказалось на литературе. Она стала оживать. В ней ожили старые организмы и появились новые. В литературу стали просачиваться писатели, существование которых еще недавно было немыслимо. В конце концов составила довольно большая группа, которую называли четвертым поколением. Принадлежа к этому поколению, я могу сказать, что все мы, независимо от наших взглядов, вкусов и способностей, были вроде как новые попутчики. Советскую власть формально признавали. Формально признавали и социалистический реализм. Но практически всю литературу, созданную с помощью этого метода, отрицали, к старшим своим коллегам относились с презрением, учились кто у Бунина, кто у Чехова, кто у Хемингуэя или Сэлинджера, но ни в коем случае ни у Федина, ни у Гладкова. Этот процесс расширялся и вовлек в себя писателей старших поколений, которые, отмерзнув, ожили и тоже побежали вдогонку за молодыми. Родилась и как-то существовала, лезла во все дырки литература, которую по установленным ранее признакам можно было бы смело назвать если не антисоветской, то очернительской. Власти время от времени затыкали одни дырки, но открывались другие. Процесс завершился приходом в литературу Солженицына, который уже даже и не выдавал себя за попутчика.

Власти очень скоро спохватились, но было уже поздно: джин из бутылки вылез. (Не будь оттепели, учитель на пенсии Солженицын в лучшем случае жил бы сейчас в Рязани, тайком переписывая свои «узлы» или «крохотки»).

Короче говоря, в результате «оттепели» родилась литература, с которой власти борются до сих пор.

Сегодняшние сколько-нибудь заметные писатели — «деревенщики», «горожане» и эмигранты — все это дети оттепели.

Советская литература на новом этапе

В процессе уничтожения литературы советская власть совершила много ошибок. Желая затмить Шекспира, она брала талантливого писателя и ломала его. Сломленного духовно производила в государственные писатели, несломленного сживала со света физически. Вся эта большая и напряженная работа оказалась совсем бессмысленной. Выяснилось, что книги физически уничтожавшихся писателей живут, а книги уничтожителей превращаются в макулатуру. Писатель, сломленный духовно, бездарел на глазах и начинал писать на уровне, доступном самому заурядному партийному номенклатурщику. Так зачем же тратить столько усилий на превращение писателя в номенклатурщика, если гораздо проще номенклатурщика произвести в писатели? Если номенклатурщик может руководить литературой, то почему бы ему ее не производить?

Литература всегда обновляется. На смену старым поколениям приходят новые. Когда-то полуофициальной советской хронологии поколения считались приблизительно так: первое — послереволюционное, второе — предвоенное, третье — послевоенное, четвертое — оттепельное, послесталинское. Пятое поколение в советской литературе не появилось до сих пор. Вместо него на литературную сцену вышла новая порода писателей.

Крупный государственный деятель и большой писатель

Однажды в конце 60-х годов я был приглашен на заседание бюро объединения прозы. Сначала обсуждались какие-то второстепенные вопросы, потом приступили к приему новых членов.

Как раз в это время в комнату вошли два секретаря Московского отделения Союза писателей Лазарь Карелин и Виктор Ильин.

— Товарищи, — объявил Карелин, — у нас сегодня радостный день. К нам поступило заявление от Николая Трофимовича Сизова о приеме его в члены Союза писателей. Товарищ Сизов — крупный государственный деятель и большой писатель...

Литературная карьера товарища Сизова началась

почти на моих глазах. Когда-то я работал на радио, где Сизов был моим прямым начальником. Должность его называлась — начальник главка политвещания Всесоюзного радио. Поскольку он был номенклатурным работником, партия его кидала, куда хотела. В один прекрасный день он вдруг был переведен из радиокомитета на должность начальника московской милиции и получил звание генерал-майора. Потом стал заместителем председателя Моссовета. Потом генеральным директором киностудии «Мосфильм».

Когда он был начальником милиции, к нему обратился главный редактор журнала «Октябрь», классик советской литературы Кочетов с просьбой прописать кого-то из его родственников в Москве. Начальник милиции не отказал. А главный редактор напечатал роман начальника милиции. Потом пошли в печать другие романы, повести и рассказы. Героем одного из романов Сизова был секретарь обкома с деталями биографии Хрущева. Так родился еще один советский писатель. Справедливости ради надо сказать, что Сизов пишет не хуже того же Карелина и не хуже большинства секретарей Союза писателей, потому что хуже некуда.

При Сталине партийные чиновники, приставленные к Союзу писателей, оставались партийными чиновниками и называть писателями себя опасались. Сталину, который, между прочим, запретил печатать свои собственные юношеские стихи, это могло не понравиться. В хрущевские либеральные времена чиновники стали просачиваться в литературу, а при Брежневе повалили в нее валом. Сейчас в советской литературе коррупция процветает не хуже, чем в торговой системе.

Быть писателем почетно: сразу попадаешь в одну компанию с Пушкиным и Толстым. Быть писателем выгодно, потому что толщина книги, тиражи, а соответственно и гонорары зависят не от качества и не от читательского спроса, а исключительно от места в советской иерархии. Быть писателем безопасно, потому что взятки здесь дают не из руки в руку, а из кассы в кассу. Ты меня напечатал, я тебя напечатал, оба пошли и получили гонорар самым законным образом. Гонорары между прочим, в отличие от зарплат, не ограничены. Коррупция развивается и совершенствуется. Раньше один главный редактор печатал другого, а тот — взаимно. А теперь еще приходится печатать тех, от кого зависят другие

жизненные блага. И пошли в литературу милиционеры, кагебешники, директора магазинов и финских бань, начальники жилуправлений и председатели дачных кооперативов. И все с солидными рекомендациями. Генерала Сизова рекомендовал Леонид Леонов. Полковника КГБ Иванько — Виктор Шкловский. Восторженное предисловие к книге генерала армии от КГБ Цвигуна писал Вадим Кожевников. (Тут еще одна тема возникает попутная: растление литературы дошло до того, что совершенно стерлись всякие грани между профессиональным писателем и пришедшим по блату. Кагебешник Цвигун на самом деле писал не хуже «профессионала» Кожевникова, а Кожевников не лучше директора магазина).

А уж когда маршал Брежнев начал издавать свою трехтомную мифологию, все советские классики, секретари Союза писателей, герои Социалистического труда и лауреаты в один голос устно и печатно объявили книги маршала неподражаемыми шедеврами, сравнимыми лишь с лучшими (а не любимыми) страницами «Войны и мира».

Чем продолжительней молчанье...

Советская литература приблизилась к идеалу, к которому она с самого своего зарождения инстинктивно стремилась. Разработаны и доведены до абсурда писанные и неписанные правила поведения для писателей и правила, по которым сочиняются книги. Все регламентировано. Существует иерархия положительных героев. Формально главным положительным героем советской литературы является, конечно, Ленин. Ежегодно сотни советских писателей пополняют так называемую Лениниану написанными на языках всех народов СССР романами, рассказами, поэмами, пьесами, киносценариями о самом Ленине и его ближайших родственниках. (Само собой разумеется, в большинстве этих сочинений вождь мирового пролетариата выглядит, как и полагается идеальному герою соцреализма, человеком довольно придурковатым).

Фактически же главным положительным героем советской литературы является не Ленин, а здравствующий ныне вождь. При Сталине это был Сталин, при Хрущеве — Хрущев, при Брежневе — Брежнев. Андропов и Черненко правили слишком коротко и литературными героями стать не успели. Но появление нового главного

героя предугадать не трудно. Это будет секретарь какого-нибудь южного обкома, молодой, энергичный, демократичный (встречается с народом на улицах) и образованный (с двумя дипломами — юридическим и агрономическим). Фамилия у него будет вначале вымышленная. Но когда культ личности нового генсека окончательно сформируется, тогда его можно будет выводить и под собственным именем.*

Само собой разумеется, не только герои, но и писатели строго расставлены по ранжиру. Секретарь Союза писателей СССР считается писателем лучшим, чем секретарь Союза писателей РСФСР, а тот в свою очередь ценится выше секретаря областной или городской писательской организации.

В строгом соответствии с должностью распределяются эпитеты: выдающийся, известный, видный. Чем выше должность, тем обильнее юбилейные славословия и пышнее похороны (кстати, и места на кладбище тоже — по чину).

Высшие писатели примыкают к партийной номенклатуре. Продукты получают из партийных распределителей, отдыхают в цековских санаториях, лечатся в кремлевских больницах.

Тиражи книг — огромные, гонорары — фантастические.

Критиковать этих небожителей категорически запрещено.

Живая литература была врагом нового строя, теперь этот враг повержен, растоптан и почти уничтожен.

От той литературы, которую я называю побочной (последнего поколения), в России тоже уже почти ничего не осталось. Одни эмигрировали, другие (Шукшин, Казаков, Трифонов) умерли. Всех сколько-нибудь серьезных писателей, существующих еще (побочно) в официальной литературе, можно пересчитать по пальцам. Но все они, как я уже сказал, — дети оттепели. Самым младшим из них — под пятьдесят. У большинства из них главные книги уже позади. Будущее литературы принадлежит литературной молодежи. А где она?

* Ввиду радикального отклонения страны от проторенного пути, данное предсказание не сбылось, но Г. Марков в начале «перестройки» успел написать и напечатать роман «Синегорье», где главный герой — молодой и решительный секретарь обкома — очень похож на Горбачева.

В пределах официальной литературы ее не видно. Молодые писатели, как правило, не заведуют ни банями, ни магазинами, взять с них нечего, кто же их будет печатать и для чего?

В одном американском университете меня как-то спросили, а что, собственно, нужно молодому писателю, кроме бумаги и карандаша? Я ответил тогда и сейчас повторяю: еще ему нужны издатель и читатель. Для того, чтобы развиваться, нужно печататься, получать читательские отклики, поддержку, одобрение и критику старших писателей. Без всего этого молодой писатель, как правило, теряет ощущение, что кому-то его работа нужна. Он глохнет, задыхается, озлобляется и может никогда не состояться.

Я говорю в основном о прозе, потому что поэзия более неприхотлива, легче распространяется (стихотворение легко переписать или запомнить) и живет в самых трудных условиях. А с прозой плохо. И уж во всяком случае в пределах официальной советской литературы, при существующих в ней сегодня порядках я никаких новых открытий и достижений в этом жанре не жду.

Но все-таки до конца литературу уничтожить нельзя. В периоды вынужденного молчания питающая ее энергия накапливается. Когда спадет или хотя бы ослабнет гнет (а это когда-нибудь, да случится), накопленная энергия вырвется наружу и родится новая, большая, а может быть, даже и великая литература.

Как сказал Николай Ушаков:

Я приучился слов звучанье
Хранить в подвалах и беречь.
Чем продолжительней молчанье,
Тем удивительнее речь.

1985 г.

НУЛЕВОЕ РЕШЕНИЕ

На переговорах по разоружению

Меня давно интересует, что именно происходит на советско-американских переговорах в Женеве. О чем представители обеих сторон так долго говорят и почему не могут договориться.

Этого не знает никто, потому что заседания прохо-

дят всегда при закрытых дверях. Но стоило мне напрячь воображение, как я сразу увидел участников совещания и услышал, о чем они говорят.

Правда, это случилось не сегодня и не вчера. А еще во время первого раунда переговоров, до того как один из участников попал в московскую больницу на улице Радио, где проходит курс лечения от алкоголизма.

Американец. Хало, Юрий. Найс ту си ю эгейн. Очен рад тебья видеть опять.

Советский. Я тоже рад тебя видеть, старик. Как поживаешь?

Американец. О, файн. Прекрасно поживаю.

Советский. Я и вижу, что прекрасно. А чего тебе не прекрасно? Ты себе здесь сидишь, доллары капаят, время идет. Не жизнь, а малина, старик.

Американец. Ну, я тоже делаю надежда, что и у тебя дела идут замечательно.

Советский. Да что ты, да куда там, да откуда замечательно! Башка, старик, болит, сейчас лопнет. Вчера, понимаешь, с послем две бутылки вашего виски раздавили, а потом еще пивом заели. О-о!

Американец (*сочувственно*). О-о! Виски и пиво! Это не можно, Юрий. Виски и пиво не совместительно. Это не прекрасно. Виски и содовая вода — это хорошо, а виски и пиво... Нет, только виски и сода.

Советский (*с отвращением*). Бррр! Ты что, старик, какая сода! Сода это когда изжога, тогда, конечно, да. А так нет, старик. Мы по-вашему пить не будем. Это вы думаете, американский образ жизни — это что-то такое. Виска, сода, горячие собаки, хау ар ю, файн. Скучно живете, старик. Скучно. Вот мы с послем вчера выпили, закусили, песни попели (*Поет*). «Если б знали вы, как мне дороги подмосковные вечера...» Знаешь эту песню? Нет, старик, нет, не могу петь, башка трещит. Ох, зачем же я столько пил! Зачем гробил здоровье! Это ж вредно, старик, вредно пить столько. У меня же печенка болит, у меня цирроз начинается. Нет, нет, нет. Все, старик, хватит, завязываю раз и навсегда. Никогда больше пить не буду, в рот не возьму. Ой! Хотя, конечно, похмелиться неплохо бы. У тебя с собой нет случайно?

Американец (*испуганно*). Что ты имеешь в виду, Юрий?

Советский. Ну, что я имею в виду? Ты что, ма-

ленький, не понимаешь? Я говорю, нет ли у тебя с собой чего выпить? Водка, джин, виски. Мне немного, грамм сто пятьдесят-двести, и я в порядке.

Американец. К сожалению, здесь алкоголь я имею нет, Юрий. Я с собой никогда не носить алкоголь. Я утром никогда не пить алкоголь. Утром надо не пить алкоголь, а делать хороший джогинг. Вот так (начинает бегать по комнате трусцой). Давай вместе делать хороший джогинг.

Советский. Давай, давай... *(Бежит вместе с американцем)*.

Американец. Вот так. Не надо делать спешка. Надо ровно дышать. Вдох-выдох, вдох-выдох... Надо бегай ровно, не надо догоняй, не надо перегоняй, надо бегай ровно и релаксировать. Вдох-выдох...

Советский. Вдох-выдох, вдох-выдох... Ну, хватит, хватит. Что я тебе, нанялся? Вы, американцы, всегда хотите, чтоб все по-вашему, а мы за равенство. Немножко по-вашему, немножко по-нашему. Я с тобой побегал, а ты мне за это налей.

Американец. Я не могу налей, потому что я не имею.

Советский. О-о! А для чего же ты с собой такой здоровый портфель носишь? Чем он у тебя набит? Предложениями, что ли, вашими? Насчет ракет? О-о, старик, нет, мне сейчас не до ракет. Мне эти ракеты сейчас до фени. Мне бы вот похмелиться. Или хотя бы рассольчику тяпнуть. Ты когда-нибудь рассол пил? Да нет, я вижу, не пил. Зря, старик, хорошая вещь. Особенно, если холодный, из погреба. Ну, конечно, сейчас какие погреба. Погребов нет, одни холодильники. У тебя какой холодильник?

Американец. Холодильник?

Советский. Холодильник, холодильник. Рефрижерейтор, по-вашему.

Американец. Ай си. Рефрижерейтор. Холодильник. Я не помню. Я думаю, что имею большой холодильник.

Советский. Я понимаю, что большой. У вас все большое. Машины, дома, холодильники. Я тебя спрашиваю, какой марки? Фирма какая?

Американец. Фирма? Я не помню. Я думаю, может быть, «Дженерал Электрик» или, может быть, что-нибудь в этом роде.

Советский (с грустью). А у меня «Розенлев». Финский. Это тебе, конечно, не «Дженерал Электрик» и не «Сименс», но тоже ничего. Конечно, я мог бы отсюда приволочь и «Сименс», мне никто ничего не скажет, начальник таможи — мой друг. Личный. Да валюту жалко. Это же здесь такой холодильник сколько стоит, если на доллары? Полтыщи. А на полтыщи долларов, знаешь, сколько джинсов можно купить? Двадцать пять пар, не меньше. А если эти джинсы толкнуть в Москве? Ну, уж две сотни я за пару возьму, как пить дать. (Поет). Если б знали вы, как мне дороги... Представляешь, двадцать пять умножить на двести. Значит, так. Два умножаем на два... Два на два... Два на два сколько будет?

Американец. О'кей. Два на два... Два на два... Момент, я имею карманный калькулятор. Вот, два... умножить на два. Четыре.

Советский. Ага, четыре. Что? Четыре рубля? Двадцать пять пар фирменных джинсов за четыре рубля? Смеешься, что ли? Вот так вы и ракеты считаете. Два на два. Дай-ка мне твою машинку, я сам посчитаю. Так, нажимаем два, нажимаем умножить, нажимаем опять два, нажимаем равно. Опять четыре. Гм. На, выкинь эту машинку. Выкинь. Это же дрянь. Американская техника называется. Э, подожди, подожди, не выкидывай. Ты мне голову заморочил. Не так же надо считать, не два на два, а двадцать пять на двести. Вот. Теперь другое дело. Пять тысяч получается. Нет, ничего, работает машинка. Пять тысяч. Тоже я тебе скажу, по нашим временам, что это за деньги И к тому же, здесь джинсов можно купить сколько хочешь. А когда привезешь, этому дай и этому дай. Начальник таможи, он мне, конечно, друг, а уж пару джинсов ему отвали. Сам он носить не будет, но у него же сын, у него дочь. А в министерстве народ тоже чего-то ждет. Я же им обещал, я же честный человек, я — коммунист. Я понимаю: хочешь жить сам, дай жить другим. Но ведь когда придешь, каждый тебе в руки смотрит, чего привез. А я им не папа и не Дед Мороз. А попробуй не дай.

Американец. Юрий, я, может быть, думаю, что нам все-таки необходимо поговорить о ракетах.

Советский. Да подожди ты со своими ракетами! Вот, понимаешь, есть люди и люди. Одному привезешь

вот такой калькулятор или часы электронные за пятерку, и он доволен. А другой...

Американец. О'кей, Юрий, я с тобой очень согласен. Однако, нам надо поговорить о ракетах. Наше правительство предлагает...

Советский (с отвлечением). У-у! Ваше правительство, наше правительство. Ты что, в самом деле хочешь, чтобы мы с тобой обо всем договорились и закончили?

Американец. Конечно, хочу. Это все хотят. Весь мир хочет.

Советский. О-хо-хо! Весь мир хочет. Ты мне пропаганду свою не толкай. Я и сам на этом деле собаку съел. Давай говорить по существу.

Американец. Давай.

Советский. А если по существу, то давай так. Искренне и откровенно. Ты, что, хочешь вернуться в Вашингтон? А чего там хорошего? Ну, был я в этом Вашингтоне, был. Жара, влага, дышать нечем. А здесь воздух, горы, озера. Здесь даже Ленин жил. А он не дурак, он знал, где жить надо. И вообще — это ж Европа, здесь — каждый дом — это история. Ну, и магазины неплохие. И все такое прочее. И допустим, мы закончим эти переговоры. Тебе-то хорошо, ты домой поедешь и дома будешь доллары получать. А меня в министерстве посадят. За стол. Платить зарплату будут рублями. Нет, я не согласен.

Американец. Но наше правительство предлагает...

Советский. Что ваше правительство предлагает? Что предлагает? Что оно может мне предложить? Чтоб я в этом вонючем министерстве штаны протирал? Чтоб на локтях дырки были? Я с предложениями вашего правительства не согласен. И с предложениями нашего правительства не согласен! Но-но-но, ты это не записывай, я с нашим правительством всегда согласен, я внешнюю политику нашей партии целиком и полностью одобряю, а с вашим правительством... запиши это, запиши... я два раза не согласен. Все. На сегодня наши переговоры окончены! Сейчас сто пятьдесят с прицепом и порядок! А... господа журналисты. Вы нас ждете. Ну, что ж, могу вам сказать, что сегодняшние переговоры опять ни к чему не привели. Американская сторона намеренно затягивает переговоры с целью добиться односторонних пре-

имущество. Если б знали вы, как мне дороги... (*собирает портфель и уходит, продолжая петь «Подмосковные вечера»*).

1984

Нулевое решение

Как только советский народ изберет меня своим лидером, я прежде всего постараюсь встретиться с Президентом Соединенных Штатов Америки. В любом подходящем или неподходящем месте.

— Рони, — скажу я ему (или, допустим, Джон), — давайте, наконец, поговорим о разоружении не для пропаганды, а по существу — и откровенно, без недомолвок. Вы за нулевое решение, я тоже. Давайте вынем все взрыватели из ядерных боеголовок, а все до единой ракеты перекуем на орала. С вашей стороны круглый ноль и с нашей — такой же круглый. Как в туалете. Я даже согласен, пусть англичане и французы свои ракеты оставят себе. (Правда, при этом, если они хотят считаться порядочными людьми, они должны взять на себя обязательство в случае мирового конфликта обрушить свои ядерные заряды друг на друга).

Но если говорить по-честному, во всякой затяжной войне (а война без ядерного оружия будет обязательно затяжной) имеет значение не только военный, но и экономический потенциал. Насчет последнего даже буржуазная пропаганда не может утверждать, будто мы воспользовались разрядкой или еще чем и достигли превосходства над Западом.

Как раз наоборот. Придерживаясь миролюбивой внешней политики, наше государство с самого своего возникновения постоянно, неуклонно и в одностороннем порядке снижало свой экономический потенциал, в то время как капиталистические страны его наращивали.

Наш потенциал мы уже сейчас довели почти до нулевого решения. Я говорю «почти» поскольку кое-что у нас еще есть. В некоторых магазинах даже можно еще купить кусок колбасы.

Это объясняется тем, что мы были первыми. Мы шли неизведанным путем. Кроме того у нас, к несчастью, оказалось слишком много природных ресурсов, которые мы полностью к 80-м годам исчерпать пока не успели. Но и в этом деле наши достижения грандиозны. Вы со мной легко согласитесь, если Ваши советники представят Вам

правдивую справку, сколько золота, нефти, мехов и икры мы ежегодно продаем за границу. А вот проложим газопровод, так и газ весь на запад перекачаем. Насчет валюты, которую мы от Запада при этом получим, беспокоиться тоже не стоит. Мы на нее какого-нибудь сложнейшего оборудования накупим, в чистом поле сложим, пусть себе там ржавеет.

До круглого нуля нам уже осталось совсем недалеко. Вот еще Продовольственную программу выполним, дисциплину поукрепляем и останемся совсем без штанов.

Мы Америку много раз догоняли и перегоняли. Попробуйте и вы нас догнать. Доведите вашу экономику до нашего уровня, чтобы равенство было не только в вооружениях, а и во всем остальном.

Я не утопист и вовсе не думаю, что подорвать экономику такой богатой страны, как Ваша, можно немедленно. Но все-таки это возможно, если разработать разумную и долгосрочную программу действий. Мы с удовольствием Вам поможем. На всякий случай я составил строго научные рекомендации, основанные на нашем собственном историческом опыте. Если Вы последуете этим рекомендациям, полный успех обеспечен. Разумеется, рекомендации носят лишь общий характер, в процессе внедрения их можно будет дополнить и разнообразить.

Итак, для достижения экономического паритета с Советским Союзом Вам необходимо:

1) Произвести политический переворот, объявить Вашу партию единственной ведущей и направляющей силой американского общества во главе лично с Вами.

2) Остальные партии запретить, наиболее активных членов арестовать, лидеров сослать в Советский Союз или даже лучше расстрелять.

3) Арестовать членов Вашей собственной партии, которые будут противиться переменам, устроить над некоторыми из них показательные процессы и тоже расстрелять.

4) Конфисковать у частных владельцев банки, заводы, фабрики, магазины, рестораны, корабли, самолеты, автомобили, лошадей, коров, коз, овец и свиней.

5) Все отдельные квартиры превратить в коммунальные, а в особенно больших устроить музеи, обществен-

ные уборные, загоны для скота и что-нибудь еще, полезное обществу.

6) Капитолий взорвать, на его месте построить плавательный бассейн для трудящихся.

7) Всех фермеров отправить на Аляску для строительства Трансаяскинской стратегической железной дороги, а на их фермах создать колхозы, а также местные органы правящей партии и органы государственной безопасности, преобразованные в ФБР и ЦРУ. В колхозы привлечь людей, неспособных к производительному труду, решив таким образом раз и навсегда проблему безработицы.

8) Объявить какую-нибудь науку (например, ботанику) коммунистической лженаукой.

9) Принять меры по гигантскому преобразованию природы Соединенных Штатов и с этой целью повернуть реку Миссисипи в пустыню Невада, где впоследствии можно будет выращивать хлопок и рис. Бывший бассейн реки Миссисипи, само собой, со временем превратится в пустыню, где можно будет добывать песок.

10) Население Гавайских островов переселить в штат Мэн с целью использования на лесоповале.

11) Вам самому взять на себя непосредственное руководство всеми сферами политической, экономической и общественной жизни и постоянно давать указания, как доить коров, строить дома, развивать квантовую механику, разводить кроликов, писать книги, сочинять музыку и так далее.

12) Всем средствам массовой информации, включая газеты, радио и телевидение, ежедневно передавать и печатать целиком Ваши длинные и скучные речи.

13) Назвать Вашим именем города, поселки, заводы, колхозы, различные средства передвижения, улицы и дома.

14) Во всех городах, деревнях и поселках установить Ваши скульптурные изображения и развесить Ваши портреты.

15) Учредить пару сотен новых орденов за военную и трудовую доблесть и прежде всего наградить ими Вас лично. Разумеется, церемонии награждения должны самым широким образом освещаться органами печати и передаваться по радио и телевидению.

16) Ваши книги, статьи, заметки и отдельные выска-

звания должны изучаться во всех учебных заведениях, трудовых коллективах и воинских подразделениях.

Я мог бы, конечно, предложить Вам еще ряд полезных мероприятий, но если даже Вы ограничитесь исполнением выше изложенных рекомендаций, то в течение довольно короткого исторического периода лет в шестьдесят-семьдесят экономика Вашей страны будет близка к нулевому решению.

Правда, останется еще проблема геостратегического равновесия, потому что, в отличие от Америки, мы окружены враждебными братскими странами, которые в случае мирового конфликта могут повести себя самым коварным способом. Но эту проблему решить совсем просто. Надо только половину китайцев поселить в Мексике, а половину поляков, чехов, болгар, румын, венгров и восточных немцев — в Канаде. Переселить их лучше во сне, чтобы они продолжали думать, что их старший брат Советский Союз по-прежнему живет рядом с ними.

Когда Вы все это сделаете, мы смогли бы опять встретиться и вплотную приступить к переговорам о нулевом решении в вопросе ракетно-ядерных вооружений.

1984

Как я ездил в Соединенные Штаты

Задумал я тут недавно опять в Соединенные штаты смотаться. Делишки свои кое-какие обтяпать и вообще посмотреть, где чего дают. Тем более, что путь мне знакомый, я в эту цитадель капитализма за три с лишним года пребывания своего на Западе уже пять раз летал, а теперь задумал слетать шестой. Собрался, купил билет, уложил чемодан, пора уже хлопотать о документах. Дело в том, что моя прошлая виза с течением времени исчерпалась, и надо было новую брать. Я ее, конечно, брал и раньше. Но раньше у меня все пять раз официальные приглашения были. На официальных бланках и с подписями официальных лиц. На этот раз приглашение тоже было, но устное. Никакими печатями не заверенное. Конечно, можно было и письменное попросить, но как-то я вовремя не догадался, ладно, думаю, поеду и так. А если там в консульстве спросят, зачем я хочу в их страну проникнуть... И тут я задумался и стал в уме сочинять всякие такие причины повесомее, что мол, еду по приглашению важного одного лица. А лицо,

которое меня пригласило, оно — как на него посмотреть. То есть для меня оно даже очень важное, а для консульства, может, и вовсе нет. Допустим, оно, лицо это, и для консульства важное, но в этом случае оно, консульство, может меня спросить: «Если лицо это вас действительно приглашало, то у вас на руках должно быть от него какое-то приглашение, то есть бумага должна быть хоть какая-никакая». А я думаю, я им скажу: «Я не знал, что она — то есть бумага эта, нужна обязательно». А оно, то есть консульство, еще чего доброго разобидится. «Да что ж это вы, скажет, нашу страну уже совсем ни за что не считаете, что к нам прямо вот так безо всяких бумаг по телефонным звонкам кто попало и ездить будет». Короче говоря, сильно я разволновался. Если в визе откажут, прямо не знаю, что делать, потому что о сроке прилета уже договорился и деньги за билет заплачены, а времени на то, чтобы из-за океана бумагу просить, нет совершенно. Лег спать и мысли лезут в голову самые дикие.

А когда уж совсем засыпать стал и в голове все начало путаться, не поймешь, где сон, где явь, мне и во все стало мерещиться что-то несообразное. Ладно, стал думать я, с американцами-то я, может, как-то договорюсь, а ведь у немцев я тоже никакого разрешения не просил, ни в какие выездные комиссии не обращался. И вроде помнится мне, что никаких тут таких комиссий нет, что, если хочешь, катись на все четыре, никому ты тут не нужен. Так вот я думаю себе, засыпая. А советский человек в это время как раз во мне просыпается и возражает: «Как это мол так, никому не нужен?» Да что же тут и властей никаких что ли нет? И как же это каждый едет куда хочет? А что если вдруг не вернется?»

Короче говоря, на почве всех этих размышлений, пришедших на ночь, приснился мне какой-то не то, что бы кошмар, но сон, прямо скажем, совсем даже не очень приятный. Приснилось мне, будто вызывают меня в здешний мюнхенский то ли горком, то ли обком, то ли в какую комиссию. А там заседает группа важных каких-то лиц и передовиков здешнего частного производства, все такие упитанные в темно-синих костюмах и в орденках. Я туда, значит, вхожу, а они как раз мою анкету читают, не то чтобы очень подробную, но километра так, примерно, на полтора. А анкета у меня, прямо скажем, хвастаться не буду, совсем неплохая. Родился, учился,

трудился, в белой армии не служил, под судом не состоял, на оккупированной территории не был. Ничего себе анкета, каждому бы такую. Я вижу, и члены этой комиссии мною в общем довольны. «Хотите, стало быть, спрашивают, в Соединенные Штаты податься?» «Так точно, говорю, в общем хочу». «А зачем?» — говорят. «Ну, как, говорю, как же это зачем? Просто, говорю, из интереса, для познания тамошней жизни». Старички тут из этой важной комиссии опять мною довольны, головами своими пушистыми охотно кивают. «Правильно, говорят, стремление к познанию, вещь очень похвальная, но вы собираетесь ехать сами по себе без всяких руководителей, а международная обстановка сейчас, сами понимаете, очень сложная, могут вам встретиться всякие экстремисты, вопросы могут задать какие-нибудь провокационные, могут, допустим, спросить, а правда ли, что у нас существует безработица, наркомания и преступность?» «Насчет, говорю, провокационных вопросов вам даже и беспокоиться нечего, я в этом деле, можно сказать, мастак. Частичная безработица, скажу, отчасти имеется, но мы ее успешно преодолеваем, а что касается всего остального, то вы бы чем вопросы такие задавать, лучше бы по своему Гарлему прогулялись, часов эдак в двенадцать ночи и без охраны». Вижу, члены комиссии моей сознательностью очень довольны. «Хорошо, говорят, ладно, мы видим, к поездке вы подготовлены и в политическом отношении подкованы правильно. А не могли бы вы нам сказать: кто именно является генеральным секретарем капиталистической партии Америки?» «Зачем же вы мне, говорю, такие вот детские вопросы, говорю, задаете? Да это, говорю, и грудному ребенку известно, что генеральным секретарем капиталистической партии Америки является стойкий капиталист и выдающийся борец за мир лично товарищ, говорю, Рональд Рейган». «Правильно, говорят, правильно». И я легко эту комиссию чертову бы прошел, но тут встает одна такая грудастая дамочка, Герой, между прочим, капиталистического труда, в дело вмешивается и спрашивает, нет ли у меня родственников за границей. Ну, на это у меня простой ответ: нет. Тут они все между собой переглянулись. «Да? — говорят. — А вы подумайте». Подумал. Говорю: нету никаких родственников. «А что же, в Советском Союзе у вас никого не осталось?» «В Советском-то Союзе, говорю, конечно, кое-кто есть, а вот за

границей нету, говорю, никого совсем». Тут у нас началась перепалка, я бы сказал, очень глупая. Они мне говорят: «Но Советский-то Союз, говорят, находится за границей. Значит, и родственники ваши тоже за границей находятся». «Насчет Советского Союза спорить не буду, а насчет родственников точно вам говорю, они даже в анкетах пишут: был за границей? Не был. Что же они по-вашему, что ли, врут?» Тут один старичок из комиссии на ноги на свои больные вскочил. «И что это, говорит, нам за фрукт за такой попался! Да что это он нам головы тут морочит!» Ну, я тут тоже уже не стерпел. Черт с ней думаю, с этой Америкой, да пусть она вообще провалится, чтобы я такие измывательства над своим человеческим-то достоинством здесь терпел. Да вы говорю, дедушка, в этой вашей комиссии совсем уже тронулись, да вы подумайте своей головой, вы рассудите логически. Я-то в свое время за границу уехал, а мои родственники за нее в жизни не уезжали. Сами, говорю, посудите. Ведь даже в ваших буржуазных газетах пишут про каких-то советских людей, что они будто бы добиваются выезда за границу».

Тут меня кто-то сильно потрянул, я проснулся. Жена надо мной склонилась. «Что это, говорит, с тобой, что ты кричишь и что ты руками машешь?» «Да как же мне, говорю, не махать, когда такие глупые вопросы задают». И рассказал ей, какие мне дураки приснились. «Успокойся, говорит, это же все-таки не настоящие дураки, а приснившиеся». «А мне, говорю, все равно, я что настоящих дураков, что приснившихся ненавижу».

Но потом постепенно пришел в себя и успокоился. Потому что дураков здесь, конечно, много тоже, но в таких комиссиях они состоят и такие вопросы дурацкие задают только во сне. А в жизни если кто хочет куда-то ехать, то он у здешних, у немецких властей вообще никакого разрешения не спрашивает. Только, идя к самолету, паспорт показывает полицейскому. А тот в паспорт смотрит и в какой-то там свой список заглядывает. Нет ли такого-то гражданина в списке разыскиваемых преступников. А если нету, то битте, говорит, проходите, пожалуйста.

А вот в страны, в которые едешь (не во все, а в некоторые), виза бывает нужна. Например, в те же Соединенные Штаты. Но насчет приглашения бумажного я действительно волновался напрасно. Никто у меня его

не спросил. Мне только дали анкету, в которой — несколько вопросов и среди них: «был ли когда-нибудь коммунистом?». На что я с удовольствием отвечаю: никогда не был. А еще там был вопрос, с какой целью еду я в Соединенные Штаты. А я подумал и написал: «Джаст фор фан». То есть, говоря по нашему, просто для удовольствия... И американские власти этим ответом были, видимо, удовлетворены, потому что через пятнадцать минут мне была выдана виза на четыре года, в течение которых я могу ездить хоть каждый день туда и обратно, если, конечно, хватит денег. А их, понятно, не хватает, потому что деньги здесь так же, как и в Советском Союзе, на дереве, к сожалению, не растут.

1984

Четвертая сторона гуманизма

В арсенале советской пропаганды есть одна тема, которая постоянно повторяется, развивается и никогда не стареет.

Возьмем, например, опять номер «Литературной газеты», на этот раз от 16 января 1985 года. Можно было бы взять любой другой номер любой другой газеты, но «Литературка» все же выразительнее, ее как никак создают художники слова.

Ее и возьмем.

На первой странице изображены ордена Ленина и «Дружбы народов», которые газета получила за большие заслуги в деле воспитания трудящихся, и силуэты Пушкина и Горького как духовных отцов сегодняшних издателей газеты. Фотография: какой-то самодовольный кандидат в депутаты встречается с осчастливленными им кандидатами в избиратели. Статьи под заголовками «Доверие народа», «Служить Родине». В общем, номер как номер.

Открываю вторую страницу, и сразу в глаза бросается заголовок: «Лицо ненависти» — заметка под рубрикой «Публицистический экран». Заметка посвящена последнему достижению советских кинодокументалистов, которое называется «Заговор против страны Советов». Название хотя и интригующее, но давно и сильно заезженное. Тема фильма, как я понял, тоже особой новизной не отличается. Белогвардейцы, Антанта, фашистские полчища — все они пытались сокрушить советскую власть, но

не сокрушили. Но все-таки на что-то надеются. То, чего не добились штыки Антанты и пули фашистских автоматов, сегодняшние черные силы намерены достичь оружием лжи, клеветы и воплями о правах человека. Заметка по объему небольшая, поэтому я не понял, сумели ли авторы фильма отразить все коварные методы международного империализма, или нет. Но зато так называемых диссидентов создатели фильма своим вниманием никак не обошли. «Белогвардейские недобитки, — написано в заметке, — фашистские прихвостни, националисты — весь этот антисоветский сброд... сегодня находит своих единомышленников в лице отщепенца Щаранского, литературного власовца Солженицына...»

Для Сахарова у автора заметки эпитета уже не нашлось, и он называет его просто правозащитником в кавычках. Вероятно, в фильме изображаются и другие зловещие персонажи, но в заметку их имена не попали. Сказано только: «Экран беспощаден в срывании всяческих масок, и мы видим, как из-под личины очередного «правоборца» или певца «капиталистического рая» проглядывает одно лицо — лицо ненависти».

Я фильма не видел и не знаю, действительно ли ненависть так отчетливо написана на лицах перечисленных персонажей, но готов поверить автору заметки на слово. У всех троих есть достаточно оснований для ненависти.

К сожалению, ненависть действительно существует и влияет разрушительно на души людей и на взаимоотношения между ними. Впрочем, ненависть ненависти рознь. Есть ненависть первичная, ненависть насильника к своей жертве, а есть ненависть ответная — жертвы к насильнику. Получается порочный круг. Насильник ненавидит жертву, жертва ненавидит насильника, насильник ненавидит жертву еще больше, жертва еще больше ненавидит насильника. Ненависть — чувство ужасное, но убесть от него бывает очень и очень трудно.

Я лично тоже некоторых людей ненавижу. Например, создателей подобных фильмов и авторов положительных рецензий на них.

А вот «Литературная газета» с ненавистью борется. И правильно. Она все-таки орган Союза писателей, а писатели в России всегда проповедовали не ненависть, а добро. Впрочем, «Литературка» от этой традиции несколько отстывает. Она борется против ненависти, но проповедует тоже ненависть. Вот даже без всякого про-

страстного промежутка, на этой же самой второй странице помещена большая статья литературного критика Ивана Козлова «Незабываемое» с указанием темы в скобках: «Советская литература о последних рубежах войны». В этой статье весьма и весьма длинный пассаж посвящен изображению писателями «святого», как его называет автор, чувства ненависти. Ненависти во имя любви к человеку. Козлов утверждает, что во время войны советская литература воспитывала в солдатах чувство ненависти, но не к немецкому народу, а к фашизму. Ну, это, правда, в начале войны было так. Потом настроения переменялись, а с ними и пропагандистские указания. Шолохов сочинил «Науку ненависти», Эренбург написал «Убей немца». А Константин Симонов еще развил тему: «Сколько раз увидишь его, столько раз его и убей», Но то была ужасная война, всеобщее озлобление, ненависть на ненависть. Правда, и тогда находились люди, которые делали разницу между немцами и фашистами. Но вот Козлов подкрепляет свою мысль цитатой из времени предвоенного: «О ненависти во имя любви к человеку и человечеству как важнейшей составной части социалистического гуманизма, — пишет Козлов, — хорошо и убедительно говорил на Первом съезде писателей А. Сурков. И дальше следует цитата из сурковской речи: Вот она: «У нас по праву входят в широкий поэтический обиход понятия Любовь, Радость, Гордость, составляющие содержание Гуманизма. Но некоторые... поэты как-то стороной обходят четвертую сторону гуманизма, выраженную в суровом и прекрасном понятии **НЕНАВИСТЬ**». Слово «ненависть» набрано большими буквами и в скобках указано, что выделил это слово не автор сегодняшней статьи, а сам Сурков. Причем тут же одобрительно отмечено, что слова эти были произнесены не во время войны, а за семь лет до нее. То есть причины еще не было, а ненависть уже была.

Хотя советская пропаганда давно и неустанно трудится над тем, чтобы извратить все человеческие представления о добре и зле, но столь четкие формулировки человеконенавистничества даже у нее встречаются нечасто. Не случайно автор статьи выкопал высказывание, сделанное пятьдесят лет назад: видимо, не нашел ничего посвежее.

В свое время лозунги описанного Орвеллом общества «Мир — это война», «Свобода — это рабство». — многим

казались произведением буйной фантазии автора. Так же, как описанные им уроки ненависти. Но все это и во времена Орвелла было не фантастикой, а устоявшейся реальностью.

Проповедники так называемого социалистического гуманизма всегда считали, что он, в отличие от обыкновенного гуманизма, неотделим от жестокости, от ненависти — во имя высокой цели, конечно. Помню, какой-то советский поэт через много лет после войны сочинил такой опус на тему о социалистическом гуманизме: война, советские солдаты в окопах, впереди немцы, — тоже в окопах, между этими двумя позициями — минное поле, о котором немцы не знают. И вдруг на поле неизвестно откуда появляется маленькая девочка. Автор изображает ее самым трогательным образом. Маленькая, тоненькая, в белом платье, с бантиками в косичках. Солдаты в ужасе. Нет, не только потому, что девочка сейчас подорвется на mine, а потому, что подорвавшись, она откроет врагу, что поле заминировано. Положение трудное, но выход ясен. Социалистический гуманист-пулеметчик скашивает девочку очередью, и враг остается одураченным. Прошло много лет, поэт припомнил этот случай, подумал и написал, что если в его жизни еще раз случится что-то подобное, ... «Я знаю, — я так же, я знаю — я снова небритой щекой припаду к «дегтярю».*

Тема «необходимой» жестокости в литературе социалистического реализма — одна из самых популярных. Но жестокость и ненависть безо всякой необходимости тоже воспевались неоднократно. В одном из своих как бы шуточных стихотворений уже упомянутый мной Константин Симонов писал, что если, призывая его в мир иной, Господь предложит ему взять с собой то, что ему дорого, то он, помимо всего прочего, взял бы с собой друзей, чтобы было с кем дружить, но взял бы и врагов, чтобы было с кем враждовать. Вот это и есть сущность человеконенавистнического социалистического гуманизма. Даже и на том свете ему хотелось бы с кем-нибудь враждовать.

Производством ненависти занята вообще вся советская пропаганда. Советские журналисты рыщут по всем странам Запада, рисуя жизнь этих стран только черными красками. Судя по их описаниям, в этих странах вообще нет ничего хорошего, только безработица, инфляция,

* Имеется в виду пулемет Дегтярева.

преступность, разврат, всякие неонацисты, реваншисты и откровенные поджигатели войны. Изображая таким образом жизнь всего остального человечества, чего вообще хотят добиться советские идеологи? Какие чувства воспитать в советских людях? «Любовь, радость, гордость»? Нет, только ненависть, «четвертую сторону гуманизма». Как вообще все это можно совместить с так называемыми мирными инициативами Советского Союза, с его стремлением к разрядке международной напряженности? Можно ли строить прочный мир, проповедуя ненависть?

Ненависть никакой стороной гуманизма не является. Она сама со всех сторон только ненависть. Ее производят злобные, бездарные и душевно ущербные люди. Это они относятся враждебно к истинному гуманизму, основанному на уважении к человеческой личности. Они ненавидят такие понятия, как сострадание, милосердие. Слова «права человека» советская пропаганда иначе как в кавычках не употребляет. Эти уроки ненависти полного успеха не имеют, но, действуя на сознание людей из года в год, чего-то все-таки добиваются. Спросите, например, рядового советского интеллигента, что такое жалость, и он вам скажет, что жалость — это чувство, которое унижает человека. Какая чепуха! Всякий, в ком не атрофированы обыкновенные человеческие чувства, испытывает жалость к тому, кто страдает, а иногда сам нуждается в том, чтобы его пожалели.

Я уже говорил, что на первой странице «Литературной газеты» как эмблема ее помещен профиль Пушкина. Но Пушкин, хотя и издавал когда-то тоже «Литературную газету», к сегодняшней газете под тем же названием никакого отношения не имеет. Он не считал ненависть стороной гуманизма. Свой век, который все же таких злодеяний, как наш, не знал, Пушкин назвал жестоким, «восславил свободу и милость к падшим призывал». Милость к падшим, а не ненависть.

Поэтому, по совести, портрет Пушкина с первой страницы «Литературной газеты» следовало бы убрать. И заменить его портретом хотя бы того же Суркова. Впрочем, из числа проповедников человеконенавистнического гуманизма можно было бы подыскать кого-нибудь покрупнее. Гитлера, Геббельса, Сталина, Жданова... Кого-нибудь в этом духе.

В ЧЕМ ПРОБЛЕМА! КТО ВИНОВАТ! ЧТО ДЕЛАТЬ!

Проблема в кружках

Стояла длинная очередь за пивом, и я в нее сдуру стал. Прошел час, а путь до пивного ларька сократился не больше, чем наполовину. Стою, раздираемый сомнениями. С одной стороны, черт с ним, с этим пивом, с другой стороны — час ведь уже отстоял, неужели зазря? Все же стал склоняться к тому, чтобы уйти, но тут в очереди, вижу, бунт назревает. Точнее не бунт, а скажем помягче, ропот. Заволновались мужики, да что это мы не движемся? Небось там какие-нибудь нахалы без очереди лезут или по десять кружек берут или продавщица своим продает через задние двери. Ропот распространился и, как по бикфордову шнуру, пошел от хвоста к голове. Дошел, видимо, до самого ларька, да там затих, а потом от головы к хвосту пошло объяснение:

— Проблема в кружках, — услышал я впереди, то есть проблема в том, что народу много, а кружек мало.

— Проблема в кружках, — передавали передние задним. — Проблема в кружках.

И все согласно закивали головами, все успокоились, что никто их не надувает, не лезет без очереди, никому не выносят через задние двери, а проблема всего только в кружках. И так стояли подбрав к передним и успокоившись. И я стоял. И часа через полтора достоялся. И хотя, не будучи особым любителем пива, я его никогда не пил больше одной кружки, в этот раз взял две, потому что как-то обидно было два с половиной часа стоять из-за одной.

Евреи виноваты

Начало 1953 года. Я служу солдатом в Польше. Учусь в школе авиамехаников. Обыкновенный армейский распорядок: подъем, построение, уборная, построение, утренняя поверка, завтрак («С места с песней шагом марш!»), восемь часов занятий (строевая подготовка, теория двигателя, физкультура, топография, уставы, теория полета, политзанятия), обед, дневной сон, три часа самоподготовки («С места с песней шагом марш!»), ужин, сорок минут личного времени (написать письмо, почистить пуговицы, подшить подворотничок), построение, вечерняя прогулка («С места с песней шагом

марш!»), пять минут личного времени (старшина командует: «Покурить, постоять, приготовиться к отбою... Ррррразойдись!»), построение, вечерняя поверка, отбой.

Газеты-журналы читать некогда, но куда ни сунешься, везде космополиты: и воруют, и спекулируют, и низкопоклонствуют перед границей, «а сало русское едят» (Михалков). Фельетон Василия Ардаматского «Пиня из Жмеринки», поэма Сергея Васильева «Кому на Руси жить хорошо?» (ответ: евреям), И наконец, апогей кампании: «Убийцы в белых халатах», врачи, которые по заданию еврейской буржуазно-националистической организации «Джойнт» составили террористический заговор, убили Жданова, Щербакова, собирались убить несколько маршалов и генералиссимуса Сталина.

Я был далеко от Родины и не видел своими глазами, но узнал потом, что население было в панике. Люди отказывались лечиться у врачей-евреев, выбрасывали прописанные ими лекарства, русские ученики били своих еврейских одноклассников, сами евреи не только боялись народного гнева, но и стыдились своей принадлежности к этому зловредному племени. Много лет спустя мой приятель рассказал мне об одном своем письме того времени. «Мне стыдно, что я — еврей», — написал он своим родителям.

А у нас в военной школе все идет своим чередом. И вдруг на уроке по политической подготовке встает курсант Васильев и, покраснев от напряжения, от сознания того, что хватит молчать, спрашивает: «Товарищ старший лейтенант, а почему у нас, в Советском Союзе, евреев не расстреливают?»

Произошло некоторое замешательство. Класс затаил дыхание. Старший лейтенант помолчал, подумал, потом улыбнулся Васильеву:

— Я понимаю, чем вызвано ваше беспокойство, но вы вопрос ставите не совсем правильно. Конечно, преступления некоторых людей еврейской национальности вызывают наше возмущение, наш справедливый гнев, но все-таки мы должны помнить, что мы гуманисты, интернационалисты, и мы знаем, что евреи бывают всякие. Бывают плохие евреи, а бывают хорошие, трудящиеся евреи.

— Вот, как, например, Фишман, — радостно подсказал Казимир Ермоленко.

— Вот как, например, Фишман, — охотно поддержал

старший лейтенант и церемонно поклонился сидевшему на задней парте смущенному Фишману.

Васильев покраснел еще больше, сжал кулаки и сказал решительно:

— Фишман не еврей.

Хотя у него не было никаких причин сомневаться в происхождении Фишмана, он знал, что Фишман, при всех его недостатках, в общем-то свой парень. И Васильев готов был расстрелять всех евреев, кроме одного — Фишмана.

Год 1979-й. В одной московской компании знакомлюсь с неким доктором-психиатром. Он говорит, что только что прочел книгу писателя Ф. Это роман о том, как молодой еврей, отрешившись, наконец, от своих былых коммунистических иллюзий, пришел к православию, крестился и много размышляет об исторической вине евреев перед русским народом. Автор (сам, между прочим, еврей) говорит, что стыдно даже сравнивать ручеек еврейской крови с рекой крови, пролитой русскими.

Психиатру роман очень понравился.

— Чем же он вам мог понравиться? — спросил я. Ведь он же просто очень плохо написан. Он скучный.

— А я, знаете, уже вышел из возраста, когда в книге ищут какого-нибудь острого сюжета или стилистических тонкостей. Меня интересуют только мысли.

— И какие же мысли вы нашли в этом романе?

— Я нашел в нем одну главную мысль и очень правильную. Он убедительно показывает, что во всем виноваты евреи. И в первую очередь — Бланк. Вы знаете, что настоящая фамилия Ленина — Бланк?

— Нет, — сказал я, — я знаю, что его настоящая фамилия Ульянов.

— Не Ульянов, а Бланк. Отец его матери был еврей Бланк.

— Хорошо, а кто был ваш дедушка по матери?

Мне случайно повезло. Оказалось, что его дедушка был татарин.

— Значит, и вы татарин?

— Нет, я русский.

На этом наш спор прекратился, потому что если уже человек дошел своим умом, что во всем виноваты евреи, его с этой точки никакими доводами не сдвинешь.

1981-й год, Германия. Женщина преклонного возраста, старая эмигрантка, пригласила меня к себе. Поставила мне и мужу, немецкому бизнесмену, водку, сама пьет чай. Очень интересуется тем, что происходит в России, и, в частности, национальным вопросом.

— Вот я тут со всеми спорю, со мной никто не соглашается. Скажите вы, правда ведь никакого украинского языка не существует, а есть всего лишь малороссийский диалект русского?

— Нет, — говорю я, — думаю, что это неправда. Если вы услышите украинскую речь, не зная ее, вы, пожалуй, ничего не поймете. Это значит, что украинский язык все-таки есть.

Она промолчала, но вряд ли согласилась. Поговорили еще о чем-то.

— Скажите, — говорит она, — а почему среди диссидентов и среди советских правителей так много нерусских?

— Вы хотите сказать, что среди них много евреев?

— Ну, да, — сказала она, слегка замямвшись.

— Что касается диссидентов, — сказал я, — то среди них, евреи, конечно, попадают. А вот среди правителей... Скажите, вы думаете, Брежнев — еврей?

— А разве нет?

— Нет, Брежнев не еврей. И все остальные члены политбюро не евреи.

— Ну, как же, — говорит она и достает спрятанную за книгами советскую газету с портретами членов Политбюро, брезгливо смотрит на них. — Разве они русские?

— Во всяком случае, не евреи. Но если вы хотите подробнее, давайте посмотрим. Брежнев — русский, Андропов — русский, Гришин — русский, Громыко — русский, Кириленко — русский, Косыгин — русский, Кунаев — казах, Пельше — латыш, Романов — русский, Сулов — русский, Тихонов — украинец, Устинов — русский, Черненко — русский, Щербицкий — украинец. Эти четырнадцать человек являются реальными руководителями советского государства. Из них десять русских, два украинца, один казах и один латыш.

Старушка бережно сложила газету и опять спрятала ее за книги. Возражать мне она не стала, но мнения своего, похоже, не изменила.

Лет примерно тридцать тому назад на известного советского поэта и антисемита Сергея Смирнова, страдающего от большого физического недостатка и комплекса неполноценности, была сочинена эпиграмма:

Поэт горбат,
Стихи его горбаты...
Кто виноват?
Евреи виноваты.

Покружись...

Однажды в половине одиннадцатого утра, идя по Минаевскому рынку с авоськой, я вдруг услышал за спиной:

— Ну, что делать, что делать? — вопрошал какой-то человек возбужденно и страстно.

Услышав этот вопрос, который когда-то столь волновал российское общество, я тоже разволновался.

«Надо же, — думал я, — сколько уже раз ставился этот вопрос. Чернышевский с его хрустальными дворцами и снами Веры Павловны, Ленин с его наболевшими вопросами. И ведь кажется — все уже сделано: дворцы построены, вопросы решены, что еще надо? А вопрос остался все тот же.

Я обернулся.

Прямо за мной вдоль рядов, ничего перед собою не видя, шли два страдающих и отрешенных от мирской суеты алкаша.

Один из них, тот, что повыше, руками в нитяных перчатках обхватив голову так, словно у него одновременно болели зубы, виски и уши с обеих сторон, повторял вопрос, на который не видел ответа: «Что делать? Что делать?».

Тот, который пониже, такой же страдающий и небритый, трогал вопрошавшего за локоть и уговаривал: — Ну, покружись, покружись! Через полчаса блокаду снимут, сразу две бутылки возьмем.

И я подумал: «Во дни сомнений, во дни тягостных раздумий о судьбах моей родины, ты один мне поддержка и опора, о великий, могучий, правдивый и свободный русский язык! Не будь тебя — как не впасть в отчаяние при виде всего, что совершается дома? Но нельзя верить, чтобы такой язык не был дан великому народу!»

И каким, действительно, словом, кроме «блокада», можно назвать это бедствие — ожидание открытия винного отдела, который (почему?) открывается не в восемь,

как все остальные отделы, а в одиннадцать часов утра? И разве это не наболевший вопрос? И неужели сны Веры Павловны кажутся вам действительно серьезнее?

А каким другим словом, кроме как «покружись», можно обозначить это томительное движение вдоль прилавков и мимо, когда нельзя ни стоять, ни сидеть, ни разговаривать, ни думать о постороннем, а только ждать, пережидать эти невыносимые и бесконечные последние полчаса.

О великий, могучий, правдивый и свободный русский язык!

Единственно правильное мировоззрение

Как-то еще в Москве я оказался в одной интеллигентной компании. Сидя на кухне, пили чай и, как водится, обсуждали все или почти все местные и мировые проблемы и события. Говорили о недавнем аресте двух диссидентов, об обыске у третьего, о повышении цен на золото (интересы присутствующих оно никак не затрагивало), о пресс-конференции Рейгана, о последнем заявлении Сахарова, о Северной Корее, о Южной Африке, уносились в будущее, возвращались в прошлое, стали обсуждать случившееся сто лет назад убийство народовольцами царя Александра Второго.

Одной из участниц разговора была экспансивная и храбрая молодая женщина. Она уже отсидела срок за участие в каком-то самиздатском журнале, ее, кажется, собирались посадить и второй раз, таскали в КГБ, допрашивали, она вела себя смело, дерзила следователю и не дала никаких показаний.

Теперь о событии столетней давности она говорила так же возбужденно, как о вчерашнем допросе в Лефортовской тюрьме.

— Ах, эти народовольцы! Ах, эта Перовская! Если бы я жила тогда, я бы задушила ее своими руками.

— Вы на себя наговариваете, — сказал я. — Перовскую вы бы душить не стали.

Женщина возбудилась еще больше.

— Я? Ее? Эту сволочь? Которая царя-батюшку бомбой... Клянусь, задушила бы, не колеблясь.

— Да что вы! — сказал я. — Зачем же так горячиться? Вы себя плохо знаете. В то время вы не только не

стали бы душить Перовскую, а, наоборот, кидали бы вместе с ней в царя-батюшку бомбы.

Она ожидала любого возражения, но не такого.

— Я? В царя-батюшку? Бомбы? Да вы знаете, что я убежденная монархистка?

— Я вижу, что вы убежденная монархистка. Потому что сейчас модно быть убежденной монархисткой. А тогда модно было кидать в царя-батюшку бомбы. А уж вы, с вашим характером, непременно оказались бы среди бомбистов.

Я не знаю точно, какие идеи владели бы умом этой дамы в прошлом, но я догадываюсь.

В Москве и сейчас живет литератор, с которым мы дружили лет двадцать. Когда мы познакомились, это был еще сравнительно молодой человек, очень пылкий, романтичный и убежденный в том, что у него есть глубокие убеждения. На самом деле, собственных убеждений у него никогда не было, те убеждения, которые он считал своими, были добыты не из непосредственного наблюдения над жизнью, а состояли из цитат основателей верования, одним из многочисленных последователей которого он был. Мир для него был простым и легко познаваемым, на любой сложный вопрос, задаваемый жизнью, всегда находилась все объясняющий ответ в виде подходящей цитаты.

Как легко догадаться, его непогрешимым верованием, его единственно правильным мировоззрением был марксизм, овладевший умами миллионов, но в то время уже начинавший выходить из моды. К моменту нашего знакомства мой друг уже разочаровался в Сталине, и «вернулся» к Ленину. Маленький портрет Ленина в рамке стоял у него на письменном столе, на стене висел портрет Маяковского, а на подставке от цветов стоял большой бюст Гарибальди.

Мой друг считал меня циником, потому что я подтрунивал над его кумирами, мои язвительные замечания о Ленине воспринимал как богохульство, я был непрогрессивным, отсталым, не мог правильно оценить явления в их сложной взаимосвязи, потому что с трудами Ленина был знаком лишь поверхностно. «Если бы ты читал Ленина, — назидательно говорил мне мой друг, — ты бы все понял, потому что у Ленина есть ответы на все вопросы».

Я не был антиленинцем, но не верил, что один человек, пусть даже трижды гений, может ответить на все

вопросы, волнующие людей через десятилетия после его смерти.

Шли годы. Друг мой не стоял на месте, он развивался. Портрет Ленина однажды исчез, его место заняла Роза Люксембург. Рядом с Маяковским появился Бертольд Брехт. Потом, сменяя друг друга, а иногда соседствуя во временных сочетаниях, появлялись портреты Хемингуэя, Фолкнера, Че Гевары, Фиделя Кастро, Пастернака, Ахматовой, Солженицына. Недолго висел Сахаров. Гарибальди продержался дольше других, может быть, потому, что бюсты менять дороже.

Однажды мы поссорились.

Появившись в доме моего друга несколько лет спустя, я увидел, что декорации резко переменились. На стенах висели иконы, портреты Николая Второго, отца Павла Флоренского, Иоанна Кронштадтского и других, известных и неизвестных мне лиц в рясах и монашеских клобуках. Гарибальди, покрытого толстым слоем пыли, я заметил за шкафом.

Мы поговорили о том о сем и, когда я высказал по какому-то поводу свои отсталые взгляды, мой друг снисходительно сказал мне, что я заблуждаюсь, и мои заблуждения объясняются тем, что я не знаком с сочинениями отца Павла Флоренского, который по этому поводу говорил... И тут же мне была приведена цитата, которая должна была меня совершенно сразить. И я понял, что годы, когда мы не виделись, не прошли для моего друга даром, он уже вполне овладел новым, передовым и единственно правильным мировоззрением, и мне его опять не догнать.

Схема развития моего друга характерна для многих людей моего и нескольких предыдущих поколений. Бывшие марксисты и атеисты теперь пришли кто к православии, кто к буддизму, кто к сионизму, а кто к парапсихологии или бегу трусцой.

А когда-то это были романтически настроенные мальчики и девочки. С пылающим взором и мозгами, забитыми цитатами из сочинений классиков единственно правильного мировоззрения. Я лично их опасался гораздо больше, чем профессиональных чекистов или стукачей. Те по лени или отсутствию разнарядки могли что-то пропустить мимо ушей. А эти, преданные идеалам, с принципиальной прямоотой могли в лучшем случае обрушить на вас град цитат, а в худшем и вытащить на собрании,

не пожалев ни ближайшего друга, ни любимого учителя, ни папу, ни маму.

Теперь эти бывшие мальчики и девочки в своих идеалах разочаровались. Некоторые из них отошли от активной деятельности, сосредоточились на своей работе, истину или не ищут или ищут, но не в сочинениях своих прежних кумиров. И ведут себя тихо.

Но есть и другая категория. Те, которые быстро раскаялись и сами себя простили. И теперь утверждают, что тогда все были такими, как они. А это неправда. Это даже клевета.

Конечно, мы все или большинство из нас, подверглись невиданной обработке. Идеология вдалбливалась в нас с пеленок. Некоторые в нее поверили искренне. Другие относились, как к религии, со смесью веры и сомнения: раз столь ученые люди (не нам чета) утверждают, что марксизм непогрешим, так, может быть, им виднее. Большинство молодых людей, если они не росли в семьях религиозных сектантов, были пионерами и комсомольцами, потому что другого пути не знали. Даже невступление в комсомол было уже вызовом всемогущей власти (ведь кто не с нами, тот против нас). Но, вступая в комсомол (а иногда даже и в партию), посещая собрания и платя членские взносы, большинство все-таки сохранило способность к сомнениям. И инстинкт совести не каждому позволял вытаскивать на собрании товарища, который шепотом рассказал анекдот о Сталине или признался, что его отец погиб не на войне, а был расстрелян как враг народа. Большинство, конечно, не возражало (возражавших просто уничтожали), но отмалчивалось и уклонялось. Многие люди совмещали искреннюю веру в марксизм-ленинизм с вполне порядочным личным поведением.

Бывшие пламенные мальчики-девочки теперь иногда всерьез верят, что раньше все были такие, потому что они не слышали никого, кроме себя. Некоторые из них, провозглашая теперь антикоммунистические лозунги, опять кричат громче других, хотя именно им, хотя бы из чувства вкуса, следовало бы помолчать.

Я знаю одну немолодую даму, которая, будучи девочкой, так оголтело боролась в своем высшем учебном заведении с идеологической ересью, что даже парторги ее останавливали. В 53-м году она обвинила свою подругу на комсомольском собрании, что та не плакала в день

смерти Сталина. И теперь, когда эта бывшая девочка пишет в эмигрантской печати: «мы, христиане», меня это, право, корбит. Для меня понятие «христианин» всегда было связано с понятием «совестливый человек», но далеко не каждого из наших новообращенцев можно отнести к этой категории людей.

Я вовсе не против того, чтобы люди меняли свои убеждения. Напротив, я совершенно согласен с Львом Толстым, сказавшим однажды примерно так: «Говорят, стыдно менять свои убеждения. А я говорю: стыдно их не менять».

Придерживаться убеждений, которые стали противоречить жизненному или историческому опыту, глупо, а иногда и преступно. Впрочем, я лично (прошу простить за категоричность) никаким убеждениям не доверяю, если они не сопровождаются сомнениями. И в то, что какое-либо учение может быть приемлемо для всех, тоже не верю.

А вот мой бывший друг в это поверил. Перейдя из одной веры в другую, он убеждал что изменился. На самом деле, каким он был, таким остался. Только выкинул из головы одни цитаты и забил ее другими. Но остался таким же воинственным, как и раньше. И оперируя новыми (для него) цитатами, намерен пользоваться ими не только для самоудовлетворения, не только для того, чтобы идти самому к новой цели, но и для того, чтобы тащить к ней других.

Мой друг и его единомышленники повторяют давнишнюю выдумку, что Россия страна особенная, опыт других народов ей никак не подходит, она должна идти своим путем (как будто она им не шла). Демократия создателей новых учений не устраивает. Демократические общества, говорят они, разлагаются от излишних свобод, слабы, они слишком много внимания уделяют правам человека и слишком мало его обязанностям, и руководят этими обществами фактически не выдающиеся личности, а серое большинство. Демократии противопоставляется авторитаризм не как компромиссная, а как наиболее разумная форма правления. Я многих сторонников авторитаризма спрашивал, что это такое. Мне говорят вполне невразумительно, что это власть авторитета, то есть некоей мудрой личности, которую все будут считать Авторитетом. Но если отбросить испытанную веками практику демократического избрания авторитетной личности

путем всеобщих и свободных выборов на ограниченное время и с ограниченными полномочиями, то каким иным способом, кем и на какое время будет устанавливаться чей бы то ни было авторитет? Не будет ли этот Авторитет назначать на эту должность самого себя? И не превратится ли общество опять под мудрым водительством Авторитета в стадо оголтелых приверженцев с цитатами и автоматами? И разве для сотен миллионов людей не были авторитетами (причем во всем не дутыми) Ленин, Сталин, Гитлер, Мао? А чем Хомейни не авторитетная личность?

Все эти мудрствования о просвещенном авторитарном правлении могут окончиться новым идеологическим безумием. Они не основаны ни на каком историческом опыте, ни на каких реальных фактах. Где, в какой стране существует хотя бы один мудрый авторитарный правитель? Чем он лучше правителей, избранных демократически и контролируемых «серым» большинством? Чем авторитарные страны лучше демократических?

Эмигрировавшие из Советского Союза проповедники авторитаризма красноречиво отвечают на этот вопрос. местами своего жительства выбирая демократические и никогда — авторитарные страны.

Авторитаристы, как и предшествовавшие им создатели единственно правильных мировоззрений, весьма склонны к риторике и демагогии. Они говорят: «Ну, хорошо, ну, демократия, а что дальше? Можно и их спросить: «Авторитаризм, а что дальше?»

Некоторые авторитаристы уже сейчас, называя только себя истинными патриотами (что, по крайней мере, нескромно), всех несогласных с собой объявляют клеветниками и ненавистниками России (точно так же, как большевики своих оппонентов называли врагами народа), и мне совсем нетрудно представить, как и против кого они используют полицейский аппарат будущего авторитарного строя, если он когда-нибудь будет создан.

Пока этого не случилось, я рискну сказать, что никаких серьезных проблем без демократии решить нельзя. Вопрос «Демократия, а что дальше?» бессмыслен, потому что демократия не цель, а способ существования, при которой любой народ, любая группа людей, любой отдельный человек могут жить в соответствии со своими национальными, религиозными, культурными или иными склонностями, не мешая другим проявлять свои склон-

ности тоже. Демократия, в отличие от единственно правильных мировоззрений, не лишает никакой народ своего образа, при ней немцы остаются немцами, англичане англичанами, а японцы японцами.

Я вовсе не утверждаю, что Россия уже сейчас готова к демократическим переменам. Я даже подозреваю, что она совсем не готова. Я только знаю, что если организм болен раком, глупо думать, что он может выздороветь без всякого лечения или при помощи лечения, не соответствующего болезни.

1982

НЕИЗБЕЖНОСТЬ

Конец эпохи

Пока я писал эту книгу, смена поколений в Советском Союзе все же произошла. Законы природы неумолимы и распространяются на всех, включая членов Политбюро ЦК КПСС.

К власти в лице Горбачева пришло новое поколение. Даже если оно окажется ничем не лучше предыдущего, оно будет плохо по-своему. Эпоха закатилась. Она длилась со дня смерти Ленина и до наших дней.

Вовсе не собираясь подправлять подгнивший пьедестал под Лениным, я все же замечу, что между ним и Сталиным была большая и принципиальная разница. Ленин пытался достичь утопических целей преступными средствами. Значительная часть «ленинской» партии (которая, правда, уже при нем начала разлагаться) состояла из людей жестоких, недалеких, но преданных исповедуемым ими идеалам, лично порядочных и даже способных к самопожертвованию.

Сталин, будучи гораздо большим реалистом, чем Ленин, цель и средства привел в соответствие. То есть преступными средствами достигал преступной же цели. Он уничтожал всех, кто противился ему: крестьян, рабочих, ученых, писателей, но справедливости ради надо сказать, что коммунистов он уничтожал тоже и в таких количествах, о каких самые ярые антикоммунисты не могли и мечтать. Поэтому с достаточным основанием его можно называть антикоммунистом, а созданную им партию антикоммунистической партией. При Сталине не было большего преступления, чем антисоветская дея-

тельность, но под этим флагом в первую очередь и последовательно уничтожались люди, которые стремились не к подрыву, а к улучшению советской системы. Поэтому всю деятельность Сталина без преувеличения можно назвать антисоветской.

К этому следует добавить, что усилиями Сталина и его подручных идеологов многие понятия были совершенно извращены, им было придано противоположное значение. Предательство тем или иным человеком ближайшего друга или родителей стало считаться проявлением мужества, беспринципность — принципиальностью, жестокость — гуманизмом. Страны, в которых отсутствуют малейшие признаки демократии, именуются странами народной демократии, а одна из самых лживых в мире газет называется «Правда».

Когда Сталин умер, ему на смену пришли его ученики, его подручные, его выкормыши, активные и послушные исполнители его воли. По существу, правление Сталина и его прямых учеников и выдвиженцев тянулось с 1924 года до наших дней, то есть 61 год.

Впервые к власти пришли люди, которые лично Сталину не служили и в его преступлениях не участвовали (Горбачев вступил в партию незадолго до смерти Сталина, а Рыжков и вовсе в 1956 году, то есть в год, когда началась хрущевская «десталинизация»). На что они окажутся способными, мы скоро увидим, а пока мне хотелось бы поговорить о предыдущем поколении советских вождей, практически уже сошедших с исторической сцены.

Для примера я возьму самого типичного, самого чистого без примесей сталиниста — Леонида Ильича Брежнева в годы его правления.

Прогрессивный папа

В октябре 1964 года известие о снятии Хрущева и назначении на высший партийный пост Брежнева застало его дочь Галину в Коктебеле, где она загорала в обществе известных писателей и артистов (известно, что дети больших советских сановников питают слабость и странную тягу к художественной богеме). Перемены наверху были неожиданностью для всех, в том числе и для Галины Леонидовны. Люди, наблюдавшие ее в тот день, рассказывали, как, стоя раздетая на ветру, она тряслась не

то от холода, не то от возбуждения и повторяла одно и то же:

— Вот увидите, мой папа будет прогрессивным!

Прогрессивный папа вместе со своими прогрессивными соратниками немедленно начал крутить колесо истории вспять, поставив себе первой внутривластной задачей реабилитацию Сталина и восстановление репутации КПСС как никогда не ошибавшейся ни в чем мудрой и безупречной руководительницы и наставницы советского народа. Советская пропаганда осторожными мазками стала наводить глянец на рябое и к тому времени порядком уже заплеванное лицо нашего покойного вождя и учителя.

В литературе негативные упоминания о Сталине и сталинском терроре исчезли. (Ну, зачем тревожить старые раны? Партия об этом все, что надо, сказала, ошибки решительно осудил и хватит). Положительные упоминания, напротив, стали появляться все чаще, причем как бы стихийно (ведь у нас свобода, и партия не может желающим запретить любить товарища Сталина).

На экранах кинотеатров в документальных лентах стали появляться кадры с бывшим Верховным главнокомандующим, при этом в зале раздавались не очень дружные, но вполне наглые аплодисменты изображавших публику агентов КГБ.

Одновременно вернулись и художественные фильмы сталинских времен: «Трактористы», «Секретарь райкома», «Кубанские казаки». Все это замшелое старье вытаскивалось на экраны и преподносилось зрителю в качестве образцов высокого искусства. Делалось это отчасти из политических, а отчасти и из чисто вкусовых соображений советских вождей. Этим бездарным искусством сопровождалась их карьера, их бурная молодость, когда они в результате кровавых чисток толпами выходили из грязи в князи и вместо скромного чиновного продвижения по службе вдруг в очень молодом возрасте оказывались генералами и губернаторами и вершили судьбами тысяч людей, которых по своей собственной воле или прихоти могли казнить или миловать.

Попытка реабилитации Сталина не была доведена до конца, потому что неожиданно для советских правителей натолкнулась на довольно ощутимое сопротивление и значительной части советского общества, и западных компартий, и даже самого партийного аппарата, обер-

гавшего себя от сталинского произвола. Говорят, что в самом начале своего правления, потерпев неудачу в попытке открытой реабилитации Сталина, Брежнев обещал его реабилитировать «в рабочем порядке», но и этого в конце концов не сделал, потому что Сталин и ему оказался не нужен. Создание собственного культа личности показалось ему занятием более привлекательным, чем восстановление культа Сталина.

Однако сталинизм как метод управления государством был реабилитирован почти полностью, и это проявилось в показательных процессах над инакомыслящими с более мягкими результатами, по сталинским меркам, но достаточно жестокими и достаточно отвратительными по обыкновенным человеческим понятиям.

Конечно, при Брежневе репрессии не достигли сталинских масштабов, но это объяснялось не личной добротой Брежнева, а слабостью его (по сравнению со Сталиным) характера. И еще тем, что после всех разоблачений, при сопротивлении в разных формах различных сил и омертвлении идеологии они были попросту невозможны. (Я уже говорил, что массовый террор возможен только в условиях массового энтузиазма и при молодой, не потерявшей своего блеска идеологии).

Как личность, Брежнев был гораздо ничтожнее Сталина, хотя очень старался ему подражать. (Сталин родился 21 декабря, а Брежнев — 19-го, чем заслужил прозвище недоноска.)

Положительное отличие Брежнева от Сталина заключалось в том, что он был меньшим преступником. Сталина интересовала сама власть ради власти, а Брежнева соблазняли сопутствующие ей возможности роскошной жизни. Сталин думал в основном о том, как и кого еще уничтожить, а Брежневу было некогда, он смотрел еще вокруг себя, где что плохо лежит.

Когда сейчас говорят о масштабах расцветшей при нем коррупции, то упоминают разных людей из его окружения, включая и его дочь, и его зятя, но это несправедливо. Во главе верховной мафии, которая не гнушалась ни воровством, ни взяточничеством, ни всякими другими способами присвоения чужого добра, стояли не дочь Брежнева и не зять Брежнева, а сам папа Брежнев, который коллекционировал ролс-ройсы и мерседесы, принимал всякие другие подарки от западных фирм и от коллективов трудящихся в родном отечестве.

Есть анекдот про еврейского портного, который сказал, что, если бы он был царем, он жил бы лучше, чем царь, потому что он бы еще немножко шил. Брежнев тоже жил лучше, чем царь, потому, что он еще немного прикрадывал. То же делали и его соратники. Почти всегда безнаказанно. Если и случались скандалы, как, например, с Фурцевой или Мжаванадзе, то лишь потому, что эти люди чем-то Брежневу не угодили.

А бывший глава государства Подгорный был убран на пенсию без особого скандала, хотя тоже, как говорят, на руку был довольно нечист. Этот просто брал взятки за помилования приговоренных к смертной казни.

Кстати, раз уж речь зашла о Подгорном, стоит сказать о нем еще. Этот народный избранник выделялся своим интеллектом даже на фоне товарищей в Политбюро. Не зря они, учитывая его умственные способности и успехи в игре в домино, называли его «Пусто-Пусто». О его крохоборстве и вкусах ходили легенды.

Один кинооператор, которому часто приходилось снимать Подгорного, рассказывал мне, что, как только Подгорный оказывался перед столом, на котором стояли напитки и лежали сигареты «Кент», он тут же хватал одну пачку и клал в карман. Рассказывали, и в это можно поверить, что у Подгорного было двенадцать в ту пору еще редких в советском быту цветных телевизоров, они стояли у него в кабинете, в спальне, и в других помещениях, включая уборную.

Почему-то многие западные политики еще недавно думали, а может быть, некоторые и до сих пор думают, что Советским Союзом руководят узколобые фанатики, которые ни о чем, кроме мировой революции и коммунизма, не помышляют. Поэтому, видя Брежнева, они удивлялись, что этот человек не чужд человеческих слабостей и вовсе не узколобый фанатик.

Канцлера Западной Германии Вилли Брандта он в свое время умилил тем, что рассказывал антисоветские анекдоты, героем которых был он сам, — за них рядовые люди вполне могли схлопотать и срок.

Он не был фанатиком, потому что никаких фанатиков в его поколении руководителей вообще уже не было. Фанатиков ленинского типа сталинские циники уничтожали, начиная с конца 20-х годов, и совсем уничтожили в 30-х. На смену им были призваны в партию и расставлены на важнейшие партийные посты малообразованные,

малокультурные и алчные люди. Их интеллектуальные возможности были настолько ограничены, что подавляющее большинство из них, включая Хрущева, Брежнева и Черненко, ежедневно повторяя слова «социалистический» и «капиталистический», так и не научились их выговаривать.

Все они не могли произнести без бумажки ни единого слова. Однажды я прочел записку Брежнева. В одиннадцати строках этой записки было одиннадцать грамматических ошибок.

Короче говоря, Брежнев, как и большинство сталинских выдвиженцев, представлял собой вполне мелкую личность, был некультурен и необразован. Из тех, кто, по чьему-то остроумному выражению, кончили ЦПШ (трехклассную церковно-приходскую школу) и ВПШ (высшую партийную школу). Все они, или почти все, были наглы, жадны, тщеславны и беспринципны. О преданности их каким бы то ни было идеям смешно говорить.

Я вовсе не марксист и не собираюсь выступать в качестве адвоката марксизма, но и советских руководителей не стал бы подозревать в слишком большой приверженности этому учению.

Они прикрывались марксистской идеологией, как ширмой, просто потому, что она к их приходу уже была узаконена и менять ее не было никакой необходимости. Любая другая идеология могла бы быть приспособлена ими с таким же успехом. Они оперируют теми цитатами из Маркса или Ленина, которые им нужны к тому или иному случаю, а ненужное отбрасывают.

Как типичный вождь сталинского образца Брежнев обладал непомерным тщеславием. Его бывший соратник Александр Шелепин, еще будучи членом Политбюро, рассказывал даже не очень близким знакомым (может, на этом и погорел), что Брежнев так восхищен собой, что не может пройти мимо любой полированной поверхности, чтобы не взглянуть на свое отражение.

Я уезжал из Москвы за два года до смерти Брежнева. Уже тогда советские люди прозвали ежедневную телевизионную программу «Время» — «Все о нем и немного о погоде». Было смешно, и больно, и стыдно изо дня в день смотреть бесконечные церемонии награждения Брежнева. То ему присваивают звание Героя Советского Союза, то награждают золотым оружием. По количеству наград он затмил всех своих предшественников. Одних

только золотых звезд Героя Советского союза и Социалистического труда он получил столько, сколько было у Сталина и Хрущева вместе взятых. А те, как известно, тоже большой скромностью не отличались.

Непомерное тщеславие Брежнева не удовлетворялось, и он принялся за литературное творчество. Книги, написанные за него бригадой мобилизованных литераторов, были объявлены литературными шедеврами, сравнимыми только с лучшими страницами «Войны и мира». Миллионы людей в принудительном порядке изучали и конспектировали эти книги. Когда специалисты подсчитывают, какой урон советской экономике наносят пьянство и прогулы, им следует также подсчитать, какой урон этой же самой экономике нанесли хотя бы литературные упражнения Брежнева.

Вилли Брандт и другие западные лидеры с похвалой отзывались о миролюбии Брежнева и даже называли его человеком мира, видимо, на том основании, что он не начал термоядерной войны. Конечно, он ее не мог и не собирался начать, потому что, во-первых, для такого дела даже его власти было недостаточно, а во-вторых, он был человеком ограниченным, но не сумасшедшим и хорошо понимал, что выиграть такую войну у него нет никаких шансов. А вот представим себе на минутку, что у Брежнева была бы стопроцентная гарантия выигрыша и что победа принесла бы ему лавры величайшего полководца, звание Генералиссимуса и еще всякие усыпанные брильянтами ордена, я бы лично в подобной ситуации не спал спокойно. Ничтожной личностью владеют ничтожные страсти. Чем ничтожней личность, тем решительней и безответственней она пользуется всей полнотой имеющейся в ее распоряжении власти.*

Не имея шансов начать войну, Брежнев удовлетворился малым: награждением себя высшими воинскими званиями и отличиями, включая орден Победы, которым по статусу награждаются лишь высшие полководцы за операции, решившие исход войны.

Сам по себе Брежнев был настолько безлик, что не заслуживал бы столь подробного описания. Но он на протяжении восемнадцати лет руководил сверхдержавой,

* Миролюбие, между прочим, проявляется в ненападении не на сильного, а на слабого, но в отношении Чехословакии или Афганистана никакого миролюбия Брежнев не проявил.

способной уничтожить весь мир, и за этот долгий срок стал так же, как и Ленин, и Сталин, неким символом своего времени. За годы его маразматического правления советское общество разложилось окончательно. Все было доведено до своего логического конца. Надежды, вспыхнувшие во времена Хрущева и теплившиеся кое-как в первые годы его правления, сменились после полного разгрома правозащитного движения и всяческого затыкания глоток унынием, разочарованием, апатией и разрушением общественной морали. Народ, лишенный какой бы то ни было возможности политической, культурной и общественной жизни, ответил на все это пьянством, воровством (благо, пример руководителей на всех уровнях — перед глазами), понижением производительности труда и ужасающе низким качеством продукции.

Можно даже сказать, что «брежневизация» общества была для него по-своему не менее ужасна, чем «ленинизация» и «сталинизация».

Начало эпохи!

Но произошло долгожданное. Поколение прямых сталинистов практически сошло с исторической сцены.

Во главе советского государства стал человек, созревший в иное время. И все мы, кому судьба этой страны (а с ней и всего мира) небезразлична, всматриваемся в его лицо и вслушиваемся в его речи с надеждой и сомнениями.

Оптимисты подчеркивают его решительное отличие от недавних предшественников: молодой, здоровый, энергичный, умеет говорить без шпаргалки, выходит на улицы к народу, произвел большие кадровые перестановки, объявил войну пьянству, выступает с необычной для советского руководства откровенностью. Говорит, что нужны реформы и даже не эволюция, а революция.

Но, пережив первую эйфорию, взглянем на ситуацию трезво.

Горбачев, конечно, сравнительно молод и энергичен, но сидит в том же инвалидном кресле, которое оставили ему в наследство его немощные предшественники. Говорит с откровенностью необычной, но недостаточной.

Из введенных им новшеств в глаза бросается только одно: на официальных приемах пьют не шампанское, а минеральную воду.

В некоторых колхозах и на мелких предприятиях

вводятся (при Брежневe это тоже было) «прогрессивные» методы организации труда, которые во времена крепостного права назывались барщиной или оброком.

Расширение прав начальников предприятий и скромные изменения в системе оплаты труда вряд ли будут способствовать решительному улучшению положения.

Призывы к стахановскому движению и вовсе чепуха. Это движение и в 30-х годах было липой, и сейчас будет таким же липовым.

А что еще?

Новый лидер, выступая перед партийными активистами, говорит, что надо коренным образом изменить отношение к делу, усилить дисциплину, увеличить количество и улучшить качество. Активисты разражаются бурными аплодисментами и в самых возвышенных выражениях обещают усилить, увеличить и улучшить.

Но они всегда это обещали и всегда очень хорошо умели хлопать в ладоши. Ничего нового они пока что не демонстрируют.

Новый лидер обещал решительно покончить с парадностью и пустословием, но советские газеты по-прежнему заполняются победными реляциями о выполнении и перевыполнении производственных заданий, портретами героев труда и указами верховной власти о награждении орденами особо отличившихся передовиков. Все это и есть главные приметы парадности и пустословия.

По-прежнему торжественно и с большим размахом отмечаются разные годовщины, строятся монументы и проводятся субботники, от которых вреда больше, чем прибыли.

В главном ничего не изменилось. Инакомыслящие, как и раньше, подвергаются свинскому обращению, война в Афганистане продолжается, антизападная пропаганда не утихает.

Но если в этих областях не произойдет существенных изменений, значит, и вся ситуация останется неизменной. Экономическое положение будет ухудшаться, и уже не только коммунизм, но даже убогая Продовольственная программа превратится в утопию. По части технологии с Западом нечего будет и тягаться. (Даже если советским агентам удастся украсть все западные секреты, отсталая промышленность не сможет ими воспользоваться). В конце концов, Советский Союз отстанет не только от Запада, но и от Китая.

В такой ситуации Советскому Союзу придется стремиться к еще большей самоизоляции, а она в условиях бурного развития средств информации (электроника, компьютеры, международное телевидение и видеоматрифоны) окажется попросту невозможной.

Улучшить общее положение можно только путем демократизации, прекращения войны с инакомыслием и активизации всего творческого потенциала советского общества. Вступление на подобный путь огромной страны, население которой к демократическим формам жизни никак не подготовлено, само по себе грозит непредсказуемыми последствиями. Но без демократизации ничего сделать нельзя.

Сто тридцать лет назад, умирая, Николай I сказал своему сыну: «Не в добром порядке оставляю я тебе свое хозяйство». Сын (Александр II) много сделал, чтобы это хозяйство улучшить. Отменил крепостное право, провел демократическую реформу судопроизводства, земскую реформу. Но на этой почве развилось разрушительное революционное движение. Сам реформатор пал от руки террористов, а при правлении его внука разразилась катастрофа, называемая ныне Великой Октябрьской Социалистической Революцией.

Но оглядываясь в прошлое, можно сказать почти уверенно, что избежать реформ Александр II просто не мог.

В похожей или даже еще более сложной ситуации находятся сейчас и руководители СССР

1986

ИЗ ЦИКЛА «ПРЕДСКАЗАНИЯ»

Первое из опубликованных ниже предсказаний сделано автором по просьбе газеты «Русская мысль». Оно, как и последовавшие за ним еще несколько, передавались затем по радио (не «Свобода», а Би-Би-Би).

Разумеется, они не совсем серьезные, к своим пророческим возможностям автор относится с иронией, к чужим (ко всем без исключения) — тоже. Но поскольку «пророчества» делались на основе какого-никакого анализа действительности и некоторых замеченных автором тенденций, — кое-что из предсказанного сбылось. Одна только заметная неудача постигла автора в предвидении 1985 года: Черненко, не оправдавши надежд предсказателя, умер до срока. Произошло это потому, что автор вообще не любит предрекать фатальные события. Черненко к моменту предсказания был столь оче-

видно плох, что предугадать скорый конец было не трудно, но не хотелось.

Что же касается остального, то если читатель возьмет на себя труд сверить предсказанное с действительно происшедшим, он согласится, что у автора есть основания для скромного самодовольства.

1984

Предсказание будущего — дело самое простое, безопасное, безответственное и беспроегрышное, если соблюдать при этом некоторые несложные правила. Во-первых, предсказания должны быть туманны и предоставлять возможность произвольного толкования. Во-вторых, они должны включать в себя предвидение событий, которые невозможно проверить. В-третьих, они должны быть абсолютно противоречивы (в этом случае если одно из них не сбывается, другое, противоположное, сбудется непременно). В-четвертых, следует иметь в виду, что с увеличением общего количества сделанных предсказаний увеличивается и общее число случайных совпадений.

Делая предсказания, надо считаться с тем, что будущая их оценка зависит не столько от соотношения предсказанного и свершившегося, сколько от того, какое личное впечатление произвел на публику предсказатель. Большинство людей даже из среды самых отъявленных атеистов склонны верить таинственному, загадочному и эффектному гораздо больше, чем понятному и доступному проверке. Поэтому если даже один процент предсказанного сбывается, мы готовы простить предсказателю остальные девяносто девять. Больше того, истории известны имена людей, которые чуть ли не всем миром были признаны пророками, хотя на самом деле ни одно из их пророчеств никогда не сбылось.

В этой связи я не могу не упомянуть английского писателя Джорджа Орвелла, автора романа «1984». Орвелл — прекрасный сатирик, но, вопреки всеобщему мнению, вовсе не пророк. Во всяком случае, пока ни одно из его пророчеств не сбылось. Не только Англия не стала обществом, подобным описанному в его книге, но даже Советский Союз пока не достиг — и, я надеюсь, никогда не достигнет того тоталитарного совершенства, какое описано у Орвелла.

Для того, чтобы прослыть пророком, нужно немного. Нужно держаться значительно и загадочно, предсказывать будущие события уверенно, а по поводу происшед-

ших надо напоминать: «Я же говорил». И вовсе неважно, говорили вы это на самом деле, или нет. Человеку, желающему прослыть пророком, необходимо иметь внушительную внешность, созданию которой во всех случаях способствует борода. Сейчас, конечно, много людей с бородами, которым не удалось прослыть пророками, но все-таки все пророки, о которых я когда-либо слышал, начиная от библейских и кончая Марксом и Лениным, были бородачи. Репутация Гитлера и Сталина не выдержала испытания временем, может быть, потому, что они носили только усы.

У меня лично нет даже усов, поэтому никаких шансов прослыть пророком я для себя не вижу, хотя каждый объективный исследователь в конце года сможет убедиться в том, что мои предсказания, относящиеся в основном к Советскому Союзу, подтвердятся по крайней мере на пятьдесят процентов.

Итак...

Год 1984 начнется 1 января в 0 часов и закончится 31 декабря в 24 часа по местному времени. Поскольку он окажется на один день длиннее любого из трех предыдущих, то и неприятностей ожидать в нем следует больше.

21 января исполнится 60 лет со дня смерти Ленина. В связи с этим будет рассмотрено и, к сожалению, отвергнуто предложение о награждении за большую работу по коммунистическому воспитанию трудящихся Мавзолея Ленина орденом Ленина.

В течение зимы в Воронежской и Крымской областях, Ставропольском крае и Ненецком автономном округе произойдет значительный падеж скота.

В Хорезме произойдет землетрясение.

В Афганистане советский генерал перейдет на сторону повстанцев и примет ислам.

Под Москвой будет ограблена дача детского писателя Сергея Михалкова. Добычей грабителей станут иконы, брильянты и видеокассеты фривольного содержания на общую сумму миллион триста тысяч рублей.

Будет издано постановление ЦК КПСС «О новых задачах советской литературы по воспитанию масс в духе идей марксизма-ленинизма».

Будет снят с поста главный редактор одного из ведущих литературных журналов.

Будет продолжаться борьба с коррупцией, в связи

с чем я настоятельно рекомендую директорам ГУМа, ЦУМа, конторы Внешпосылторг, Сандуновских бань, стадиона имени Ленина в Москве и гостиницы «Жемчужина» в Сочи спрятать свои сбережения в надежных местах.

Будут смещены со своих постов министр культуры СССР и председатель Государственного комитета по физкультуре и спорту.

Ледокол «Леонид Брежнев» будет переименован в «Набережные Челны».

В связи с загадочным поведением нынешнего генерального секретаря ЦК КПСС его дальнейшая судьба предсказанию почти не поддается. Если он продержится у власти до 15 июня, то ему будет присвоено звание героя Советского Союза. Если нет, то нет.

Избрание нового Генерального секретаря будет происходить в обстановке нервозности. Предполагаемым кандидатам придется представить справки о состоянии здоровья. Один из них представит поддельную справку, но будет разоблачен. Высшую партийную должность займет другой человек, который тоже представит поддельную справку, но разоблачен не будет. В Москву будут введены Кантемировская и Таманская дивизии. Две воздушно-десантных дивизии высадятся на бывшем Ходынском поле у городского аэровокзала. Москва будет взята без боя, не считая небольшого сопротивления, которое у Бородинской панорамы окажут кантемировцам курсанты Высшего училища КГБ.

Одним из результатов смены руководства будет разоблачение антипартийной группы, членов которой я пока называть не буду, чтобы не разоблачить их раньше времени.

Будет объявлено о приходе к власти коллективного руководства и о новом и окончательном возвращении к ленинским нормам.

Будет объявлена амнистия лицам, совершившим мелкие преступления.

Однако она не распространится на лиц, совершивших такие тяжкие преступления, как хищения в особо опасных размерах, грабежи, убийства, изнасилования и чте-ние книг.

Инвалидам Великой Отечественной войны будет прибавлена пенсия в среднем на три рубля в месяц.

Борьба с коррупцией уступит место борьбе с отдель-

ными проявлениями бонапартизма (что это такое, я точно не знаю).

Некоторые важные лица лишатся своих постов. Некоторые неважные лица станут важными.

При загадочных обстоятельствах исчезнет Бабрак Кармаль или Кармаль Бабрак (кажется, он сам не знает, как его точно зовут). После этого советские войска будут выведены из Афганистана и введены в Болгарию, где начнутся беспорядки после крупной забастовки в Пловдиве.

В течение года останутся на Западе сын одного из членов Политбюро, по крайней мере семь дипломатов, шестнадцать работников КГБ, четыре журналиста, несколько музыкантов, один член Союза писателей, один заслуженный мастер спорта и один капитан рыболовного траулера.

Чехословацкий гражданин совершит побег на дельтаплане.

В индийском океане столкнутся советская и американская подводные лодки. Другая советская лодка затонет у острова Шпицберген.

Победителем на выборах в Соединенных Штатах станет Рональд Рейген.

Лето будет или слишком жаркое или слишком дождливое, но в любом случае неблагоприятное для сельского хозяйства.

В результате дальнейшего укрепления производственной дисциплины производительность труда упадет на 1,3 процента, но зато потребление спиртных напитков возрастет на 0,6 процента.

Третья мировая война не начнется. А если начнется, то опровергнуть мои предсказания будет некому.

1983, декабрь

ПЕРЕСТРОЙКА

О перестройке

(Ответы на вопросы
журнала «Страна и мир».)

Отвечу на ваши вопросы конспективно.

К нынешней перестройке я отношусь очень серьезно. Независимо от того, как она замыслена, и независимо (не совсем зависимо) от пределов, до которых она дойдет, последствия ее будут глубокими.

Я вовсе не думаю, что в результате постановлений высших органов власти советское общество скоро станет идеальным или хотя бы нормальным. Такого не может быть при однопартийной системе (причем, как называется партия, совершенно неважно). Однако, я думаю, что попытки сделать систему более жизнеспособной несомненно приведут к некоторому ее очеловечиванию, что (может быть, в очень отдаленной перспективе) подготовит почву для перехода к демократической форме правления.

Разумеется, вся эта перестройка не может пройти безболезненно, она опасна разными осложнениями, а может быть, и неприятностями, для которых следует подобрать более сильное определение. Поэтому шаги в направлении перестройки будут отличаться половинчатостью и непоследовательностью ее сторонников и сильным сопротивлением или даже саботажем ее противников.

Ситуация кажется одновременно и трагической, и комической (но не трагикомической), потому что, приступая к перестройке, некоторые ее сторонники сами же боятся ее не меньше, чем противники и поэтому сами ей противятся. Конкретно ей противятся не только разные звенья парт- и госаппарата, но даже Политбюро. И даже Горбачев противится сам себе. В его оправдание надо добавить, что трудно представить себе человека, который (желая вывести страну из тупика, а не ввергнуть в состояние хаоса) на месте Горбачева вел бы себя иначе.

Сторонники перестройки призывают к тому, чтобы сделать ее необратимой. Для этого еще ничего конкретного не сделано. Тем не менее она уже необратима (в истории обратимых шагов не бывает).

Перестройка, до каких бы пределов она ни дошла, возбудит многие надежды и честолюбивые замыслы, вызовет желание активно действовать и усилит стремление

активно противодействовать. Она безусловно отразится на литературе (я жду появления не только новых книг, но и новых писателей), на диссидентском движении, вызовет брожение в «братском» лагере и приведет к серьезным внутренним и международным осложнениям. На каком-то этапе система будет сильно дестабилизирована и эволюция ее к нормальному обществу станет возможной только при последовательном реформировании сверху и без безумных крайностей снизу. Короче говоря, последствия начинающейся перестройки будут или благоприятные или даже ужасные, но в любом случае через несколько лет советское общество будет сильно отличаться от того, каким мы его привыкли видеть.

В предвидении решительных изменений советской системы, я с одной своей знакомой держал не очень лестное пари, поставив 10 английских фунтов против ее дома в Лондоне. Установленный мною пятилетний срок истек, и я согласен считать себя (с оговорками) проигравшим. Но, будучи человеком предусмотрительным, я совсем недавно заключил следующее пари с немецким профессором, что в течение следующих 5-ти лет радикальные перемены все-таки произойдут. На этот раз я поставил 100 немецких марок против 100.000, так что мои надежды на перестройку покоятся и на материальной основе.

1985

Праздные размышления в игрушечном магазине

В 1976-м году еще находясь в пределах родных границ мы с моей трехлетней дочерью зашли в подмосковный поселковый магазин. С чем зашли, с тем и вышли. И дочь сказала: «Папа, это магазин игрушечный». И тут же пояснила, что имела в виду: «Игрушечный не потому, что в нем игрушки, а потому что в нем ничего нет. В него играют».

Это определение мне понравилось своей применимостью к разным явлениям советской жизни и я ввел в свой обиход такие понятия, как игрушечная литература, игрушечная демократия, игрушечное правосудие и т. п.

И в самом деле. Возьмем для примера игрушечные выборы. Важного вида люди сидят за длинными столами, раздают бумажки, которые называются бюллетенями. В бюллетене указана фамилия единственного кандидата и любезно разъяснено, что остальные фамилии (кото-

рых нет) можно вычеркнуть. Другие люди чинно, торжественно и серьезно подходят, берут бюллетени, складывают их вдвое, опускают в щелочку. Потом игрушечная комиссия приступает к подсчету, хотя счет известен заранее. Типичная детская игра в магазин, когда играющие расплачиваются за несуществующие товары клочками бумаги, обозначающими купюры разных достоинств. Так же советские люди играют в соцсоревнования, встречные планы, в собрания, митинги и демонстрации, посредством которых участники выражают единодушное игрушечное одобрение или справедливый, но тоже игрушечный гнев.

Но при этом не следует забывать, что игра есть игра. Правила ее просты и понятны всем, как правила игры в дурака. Поэтому, нарушая правила, не пытайтесь кого-нибудь убедить, что вы их не знали. Переигрывать не следует ни в ту, ни в другую сторону. Допустим, вас пригласили играть в стихийную демонстрацию у американского посольства против чего-нибудь. Надо помнить, что стихия эта от начала до конца должна бушевать в предписанных игрой направлении и пределах. Если, например, вам по роли указано гневно росколотить о стену пузырек с чернилами, не вздумайте разгневаться всерьез и запузирить в окно булыжником. Подобный поступок выглядел бы выходящим за рамки правил так же, как если бы на сцене Отелло задушил Дездемону не понарошку.

Собственно говоря, одна общая игра состоит из многих больших и малых. В некоторые мы играем постоянно. Другие, устарев, упраздняются, но вместо них вводятся третьи. На моей памяти даже в детских играх произошла революция. Мое поколение в свое время играло в Чапаева, скакало на палочке верхом и размахивало деревянными шашками. Теперь дети с помощью электронных автоматов расстреливают реактивные бомбардировщики, топят атомные подлодки и отражают нападение пришельцев из других миров. Мне лично приходилось играть в войну с применением игрушек даже более интересных, чем электронные автоматы. Когда я служил в истребительной авиации, мы играли в атомную войну, которую солдаты называли Хиросимой (может быть, теперь ее называют Чернобылсм). Проводилась она таким образом. Посреди летного поля закапывалась железная бочка (200 литров) с бензином. С помощью бикфордова шнура бочку подрывали, она давала потря-

сающей красоты столб пламени, после которого возникало грибовидное облако. Два дежурных истребителя взмывали в небо, а возле остальных слонялись без дела техники и механики в противогазах. Однажды во время игры меня и моего приятеля назначили дозиметристами. Выдали нам по деревянной коробке с пустыми пробирками, при помощи которых по приказу начальника штаба полка мы должны были неизвестным нам способом определить степень воображаемого радиоактивного заражения местности.

— Слушаюсь! — прокричали мы и пошли.

Мы сходили в казарму, сыграли в шашки, постирали портянки, стащили в офицерской столовой банку сгущенного молока и, вернувшись к месту боевых действий, доложили, что местность проверена.

— Какова степень зараженности? — озабоченно спросил начштаба.

— Незначительно! — решительно доложил мой напарник.

— Молодцы! — похвалил нас начальник. — За отличное несение службы объявляю вам благодарность.

— Служим Советскому Союзу! — прокричали мы, ухмыляясь совершенно нахально.

Во что мы только не играли! Ловили шпионов, разоблачали вредителей, задерживали нарушителей границы, возвращались к ленинским нормам, перегоняли Америку, работали «за того парня» (для работы за себя времени не оставалось) и для поколений будущих игрушечных следопытов замуровывали в бетон рапорты о наших нынешних игрушечных достижениях.

Теперь в Советском Союзе развивается некий процесс, который называют перестройкой, ускорением, обновлением и даже революцией. Процесс этот находится в самом начале. Одни люди к нему относятся с надеждой, другие со скептицизмом. Я принадлежу одновременно и к тем и другим. Я надеюсь, что этот процесс действительно в конце концов приведет к положительным результатам и одновременно боюсь, как бы он не оказался очередной игрой. А многие из слов, которые всегда прозвучали всуе, приобретут реальное, а не игрушечное значение. Например, слово «гласность».

В чужеземной печати это слово пишут по-русски ла-

тинскими буквами: «glasnost». Немцам следовало бы добавить к этому слову еще одно «S», иначе и приведенном написании оно звучит, как «глазность». Оказывается, в иностранных языках (по крайней мере в некоторых) точного перевода этого слова нет. На английский оно переводится, как openness — открытость или publicity, что скорее означает «публичность» или даже «реклама». В немецком примерно та же картина, а о других языках судить не буду, не полиглот.

Поэтому так и пишут русское слова латинскими буквами. Что дало Е. Евтушенко повод, выступая по западногерманскому телевидению, сообщить, что слово «гласность» вошло в иностранные языки, как слово sputnik.

Со спутником наш поэт от времени слегка приотстал, слово это, как вошло в языки, так и вышло. Сегодня мировая печать, сообщая о вращающихся на орбитах объектах, называет их сателлитами или другими словами из собственных словарей. А вот слова «гласность» у них нет.

А у нас?

Слово-то вроде есть, но удовлетворяющего меня толкования я в русских словарях не нашел. Например, в словаре Даля, сказано, что гласность это «известность, общеизвестность чего, оглашение, огласка». Я бы сказал иначе: гласность это правда, которую высказывают громко, то есть гласят.

Не случайно слово «правда» тоже часто употребляется. Высокие товарищи и с трибун гласят и в печати партийной пишут, что нам (то есть им) полуправда не нужна. «Нам нужна полная правда» написал недавно Егор Лигачев в журнале «Театр». Читая такое, я лично даже порой пугаюсь: зачем же сразу полная? С половинки бы начать, с четвертинки, с осьмушки хотя бы. А если полная правда нужна, то зачем обращаться к драматургам, они ее не знают. Она, горькая, в некоторых недоступных драматургам архивах и сейфах в опечатанном виде лежит, вопия молчаливо. Если уж она так нужна, вот бы и начали ее выкладывать постепенно. Постепенность в этом деле очень необходима. Это как со слепорожденным, которому сделали операцию. Если ему сразу снять повязку, он снова ослепнет. Но если не снять ее вовсе, он так и не прозреет. Однако тут-то речь идет, видимо, все-таки об игре, и поэтому делают вид, что снимают повязку, сделав вид, что произвели операцию. И к прав-

де Лигачев призывает к игрушечной. Чтобы она не сводилась, как он говорит, «к негативному, отрицательному». То есть, чтобы была одновременно и полная и исключительно позитивная. И чтобы она не обошла своим вниманием «глубокие образы коммунистов». Если бы разговор шел не игрушечный, то откликаясь на него, драматургам следовало бы вывести на сцену в полный рост таких видных коммунистов, как Шараф Рашидов или Николай Щелоков. При неигрушечном разговоре я мог бы предложить и свои услуги, так как над разработкой образа коммуниста работаю давно и упорно, и к числу своих удач на этом пути отношу созданный мною в соавторстве с прототипом образ коммуниста Сергея Иванько.

Вообще, сегодняшняя перестройка на внешнего наблюдателя производит странное впечатление: что-то как будто куда-то идет, а завершающего движения не происходит.

В одном закрытом бассейне я видел такую картину. На десятиметровый трамплин поднялся молодой человек могучего телосложения. Прошелся по нему, размялся, поиграл бицепсами, подошел к самому краю и слегка попрыгал, проверяя упругость трамплина. Публика затаила дыхание. Двое мальчишек рядом со мной шепотом заспорили, будет спортсмен прыгать «ласточкой» или «солдатиком». А тот встал в позу, выгнулся, выгнул руки (вот она «ласточка»!), подумал, разогнулся, спустился вниз по лесенке и пошел в раздевалку.

Я это вспомнил, когда читал выступление Бориса Ельцина перед московскими пропагандистами. В отличие от Лигачева, этот оратор как раз ратовал за негативную (то есть за настоящую) правду. И сам продемонстрировал преданность ей, рассказав про нехватку жилья, про алкоголиков, про наркоманов — и даже сколько стоят его ботинки (отечественного производства) не утаил. Широко размахнулся, далеко разбежался, а закончил чудно. Идите, говорит, и все, что вы здесь слышали, нашим людям подробнее расскажите. Чтобы народ наш узнавал правду не от Би-Би-Си, а прямо от вас. Как будто нет в стране печатных станков, микрофонов и телекамер. Само собой, пока эти ходоки, ботинки дешевые стаптывая, народ обошли, тот обо всем опять-таки от Би-Би-Си уже знал. Или по радио Свобода слышал.

Нынешнее торжество игрушечной гласности еще раз показало, что «они, — как выразился Пушкин, — любить умеют только мертвых». Некоторых начинают любить вскоре после похорон, другим дают отлежаться подольше. Пастернака печатать стали сразу после смерти, но о полной реабилитации и об издании «Доктора Живаго» речь всерьез зашла через двадцать шесть лет. Гумилев подобной милости ожидал чуть ли не втрое дольше. На его фоне Набокова можно считать реабилитированным досрочно.

Мертвых выкапывают и ставят на пьедестал. И в этом контексте не случайно сейчас одна из самых нашумевших сенсаций: разоблачение Вознесенским (через журнал «Юность») кладбищенских мародеров.

Реабилитация писателей и их книг, хотя бы посмертная, все же лучше, чем никакая, но в некотором смысле тоже смахивает на мародерство. Тем более, что идет на фоне прежнего гробового молчания о живых. Я имею в виду не только писателей, художников и музыкантов. Если бы гласность была не игрушечная, то стоило бы реабилитировать прежде всего тех, кто за нее ратовал не играя.

А то что же получается? Сравнительно недавно Юрия Орлова вывезли на Запад. Я рад не только за Орлова, но даже и за себя, потому что меня лично его судьба травмировала. Но с его освобождением принципиально ничего не изменилось. Принципиально было бы Орлова без всяких условий освободить, полностью реабилитировать, извиниться, выплатить возможную компенсацию за потерянные годы и утраченное здоровье, предложить работу по специальности, но сначала предоставить длительный отпуск с правом выезда за границу и возвращения. А тех, кто его сажал (хотя бы судью Лубенцову, но не только ее), напротив — арестовать и судить открыто, гласно, с предоставлением полного права на защиту.

Мне скажут: эк, куда хватил! Да, хватил далеко, но не дальше здравого смысла. А ближе (если гласно говорить полную правду) просто не получается.

Гласность, как многие сейчас совершенно правильно говорят, бывает или полная, или никакая.

Если есть хоть один человек, не доступный критике, это не гласность. Если есть хоть одно событие, о котором нельзя говорить, это не гласность. Если в тюрьме сидит хоть один человек заведомо невиновный, это не

гласность. Если есть хоть одна запрещенная книга, это не гласность. Если есть хоть одно имя, которое нельзя упоминать (Сахаров или Брежнев — неважно), это не гласность. Если нельзя подвергать сомнению колхозный строй или однопартийную систему, это негласность. Если за правду не то, что сажать, а хотя бы объявлять выговор по работе, это не гласность.

А без гласности (это тоже правильно говорят) дело с места не сдвинется.

Погода, как и прежде, для рекордных урожаев будет крайне неблагоприятной. Падеж скота не уменьшится. Шахтеры угля будут давать много, но мелкого. Цветные телевизоры будут давать ломаное черно-белое изображение, ботинки будут залеживаться на складах, а упомянутый мною выше поселковый магазин останется таким же игрушечным, как десять лет назад, когда моя дочь была еще маленькой.

Начало 1987

Электронный враг народа

Пару лет назад в городе Чикаго зашел я в гости к своему другу, американскому писателю. Он как раз закончил работу над очередной книгой и вносил в нее последние поправки. Причем делал это не гусиным пером, не карандашом, не авторучкой и даже не на пишущей машинке, а на компьютере — весьма незамысловатом на вид агрегате, похожем, как многие, вероятно, знают, на какой-то гибрид телевизора с пишущей машинкой. Рядом с этой штукой стоял еще какой-то ящичек, размером не больше чемоданчика типа «дипломат». Друг мой нажимал на кнопки, и на экране возникала страница только что законченной рукописи. Друг исправлял опечатки прямо на экране. Где-то убрал восклицательный знак, где-то вставил запятую.

Какую-то часть текста он решил напечатать курсивом, нажал кнопку, и нормальные прямые буквы на экране немедленно превратились в наклонные. Какую-то строчку решил выкинуть, нажал кнопку — и строчка исчезла, а другие строки подтянулись, подравнялись, и как будто ничего не случилось. Захотел вставить новый абзац — вставил. И сразу текст всей его довольно большой рукописи в памяти компьютера передвинулся должным образом.

— Все, — сказал мой приятель, — хватит. Теперь пойдём попьём кофе, а он пускай пока сам поработает.

Мы пошли на веранду, попили кофе, поговорили о том, о сем, а когда вернулись, рукопись моего приятеля объёмом примерно в триста страниц аккуратнейшим образом перепечатанная лежала на столе рядом с закончившим свою работу компьютером.

Я заинтересовался, стал расспрашивать приятеля, как он на этой штуке работает, не раздражает ли его необходимость видеть свои слова не на бумаге, а на экране и, конечно, спросил, сколько это примерно стоит. Он сказал, что вообще компьютеры бывают разные и стоят по-разному. Его компьютер вместе с печатным устройством обошелся ему в две тысячи долларов.

— А как ты думаешь, сколько может стоить такой компьютер в Москве? — спросил меня он.

— Ну, в Москве, — сказал я, — цены, как известно, стабильные на все и на компьютеры тоже. Такой компьютер стоит, я думаю, не меньше трех и не более десяти лет заключения.

Этот разговор я припомнил сейчас, когда узнал, что в Советском Союзе принято постановление о широком внедрении компьютеров и о том, что обучать работе с ними теперь будут уже в школе. А незадолго до того я следил за дискуссией, или, вернее, псевдодискуссией, которая развернулась на страницах «Литературной газеты» на тему, что такое персональный компьютер, нужен он или не нужен советскому человеку. Участники дискуссии как будто в основном сошлись во мнении, что компьютер, в общем-то, нужен, и перечисляли некоторые его возможности. Все возможности такого компьютера участники дискуссии не перечислили, да и не смогли бы перечислить даже при очень большом желании. Дело в том, что возможности этих маленьких ящичков поистине безграничны. С их помощью можно прокладывать курс кораблей, наводить на цель ракеты, варить сталь или борщ, производить любые математические вычисления, ловить преступников или честных людей, играть в шахматы и так далее. Кажется, нет уже теперь ни одной области человеческой деятельности, где можно было бы без них обойтись.

То есть, обойтись, конечно, можно не только без компьютеров, а и без многих других достижений современной цивилизации. Можно и сейчас писать гусиным пе-

ром при сальной свече, ездить на перекладных, таскать воду из колодца и ходить до ветру. Может, так оно даже и романтичнее. Но прогресс есть прогресс, от него никуда не денешься. А поскольку советское общество — самое прогрессивное в мире, оно в достижениях современной техники очень нуждается. И в компьютерах нуждается тоже. Потому что сейчас эти электронные негодяи заняли в жизни такое место, что та страна, которая отстанет в их производстве, отстанет вообще во всем. В промышленности, в сельском хозяйстве и, что совсем обидно, в производстве самого совершенного оружия.

И поэтому людям, которые руководят советским государством, очень хочется, чтобы в Советском Союзе было много самых совершенных компьютеров и достаточно специалистов, которые могли бы на них работать. Но с одной стороны — хочется, а с другой стороны — колется. Потому что у этих самых компьютеров, кроме очевидных достоинств, есть еще и ужасные, я бы сказал, недостатки. Дело в том, что эти компьютеры слишком много знают и своими знаниями охотно делятся. И будучи политически незрелыми, говорят только правду. Не только ту правду, которая нам нужна, а и ту, которая нам не нужна совершенно.

Я помню, еще на заре развития этих чудовищ, когда самое маленькое из них было размером с четырехэтажное здание, в ЦК КПСС обсуждались достоинства и недостатки этих волшебников. И тогда, академик Митин сказал, вроде бы, так: «Я слышал, что если в электронно-вычислительную машину заложить «Капитал» Маркса, то она, эта машина, может точно сказать, правильное это учение или нет. Но мы, — сказал Митин, — конечно, никогда такого эксперимента не допустим». Ну и правильно! Это говорит не только о том, что академик Митин чувствовал себя недостаточно стойким марксистом, но и о том, что машина никакого почтения перед авторитетами не испытывает и любого из них, хоть Митина, хоть самого Маркса может вывести на чистую воду. Чем вам не диссидент?

Это было давно, машины были большие, их было мало, возле каждой можно было приставить начальника секретной службы со взводом автоматчиков.

Но положение меняется к худшему. Электронные правдолюбцы со временем становятся все совершеннее. Размеры их уменьшаются, способности увеличиваются,

а цены на них падают. Они так плодятся, что в мире их стало уже больше, чем в Австралии кроликов. И могут они не только читать или считать. Они умеют кое-что еще. И это кое-что кое-кому очень не нравится.

Вернусь опять к этой дискуссии в «Литгазете». Участники дискуссии обсудили вопрос, нужен или не нужен советскому человеку персональный компьютер. Подошли к опасной черте и задались вопросом: а можно ли пользоваться компьютером в нашем сочинительском деле? Корреспондент газеты, проявляя очень большую эрудицию, цитируя Анатоля Франса, Байрона и какого-то английского ученого, который жил за четыреста лет до появления первого компьютера, выражает свои сомнения так: «А как литератору работать в «мире быстрых мыслей»? Как поспевать за компьютерным веком с прежней мозговой мощностью? Да еще под диктовку: короче! точнее! конкретнее! Что останется от искусства в этой спешке? Не слишком ли мы торопимся?».

А собеседник-специалист по этим самым компьютерам, вместо того, чтобы спросить корреспондента, что за чушь вы, извините, плетете, тоже демонстрирует свою эрудицию, цитируя некто Козьму Прутков и какого-то канадского журналиста. И хотя он как-то, вроде бы мямлит, что персональный компьютер дело все-таки не такое ужасное, но и прямо на вопрос не отвечает.

А впрочем, прямо на этот вопрос ответить нельзя, потому что он задан неправильно, некорректно, в самом вопросе заключена попытка поставить отвечающего на ложный путь. И в самом деле, какую картину рисует эрудированный корреспондент? Он изображает несчастного литератора, который сидит перед мерцающим экраном и пытается изложить свою прозаическую или поэтическую мысль в виде логарифмов, которые он забыл еще в школе. А этот электронный нахал еще понукает: давай, мол, побыстрее, да покороче.

На самом же деле все выглядит вовсе не так трагично. Компьютер устроен сложно, в его конструкции может разобраться не каждый. Но ведь, если правду сказать, далеко не каждый из нас знает, как устроены электрический утюг или кофемолка. А еще есть всякие там стиральные машины, холодильники, телевизоры, телефоны, об их устройстве мы тоже порой имеем смутное представление. Но зато почти все мы знаем, что, если нажмешь такую-то кнопку, возникнет такой-то ре-

зультат. Точно так же дело обстоит и с компьютером. Возможности его безграничны. Если вы математик, вы можете оперировать большими числами. А если вы в этом деле не самый большой специалист и хотите пользоваться им как пишущей машинкой, он и в этом вам охотно поможет. Между прочим, самого процесса творчества он не облегчает. Если вы пишете роман или поэму, компьютер ни одной строки за вас не придумает. Вам самому вашим собственным пальцем придется нажать на клавиши компьютера ровно столько раз, сколько букв и знаков содержит ваша поэма или роман. Его возможности велики, но вам с ним соревноваться вовсе не обязательно. Если вы можете написать в день тысячу страниц, он вам охотно перепишет всю тысячу. Но если вы, по совету Юрия Олеши, пишете только одну строчку в день, он вам перепечатает одну эту строчку. А если вы вообще писать ничего не хотите, он и в этом случае от вас ничего не потребует. Стоит, молчит, каши не просит.

Возможно, когда-нибудь компьютеры сами будут писать романы. Но пока что, к счастью, до этого они не дошли. Они не писатели, они переписчики. Но переписчики идеальные.

И в самом деле, Не будем вспоминать времена, когда, скажем, сидел монах в своей келье и годами переписывал один экземпляр «Слова о полку Игореве». После изобретения Гутенберга в такой работе необходимость отпала. Но все-таки и сейчас, прежде чем сдать рукопись в печать, надо перепечатать ее на машинке раз-другой-третий. Я сам пишу свои книги на машинке и могу сказать, что дело это тоже достаточно хлопотное. Написал один раз, вычитал, почеркал, что-то вставил, что-то выбросил, опять перепечатал. Потом еще раз и еще. Нет, тут не может быть двух мнений: компьютер — наш идеальный помощник. Вы вносите исправления, подтягиваете строчки, меняете имена и, нажав кнопку, печатаете столько экземпляров, сколько вам нужно. Что можно сказать плохого об этом замечательном изобретении? Если бы меня пригласили на эту дискуссию, я бы так просто все и сказал. Но в том-то и дело, что не так просто.

Конечно, в любой нормальной стране от этих чудопереписчиков никакого вреда нет. Если не жалко денег на бумагу, перепечатывай все, что тебе вздумается. Но

как быть с ними в стране, где за листовку, написанную на листке ученической тетради, можно получить срок, где пишущие машинки конфискуются и где большинство населения никогда не видело простой копировальной машины? Как в такой стране можно мириться с появлением подобных машин? Пока они, как я сказал, имеются только в самых секретных заведениях и охраняются самым строжайшим образом. Но, повторяю, их становится все больше и больше. А размеры их уменьшаются, а в изготовлении они все проще и проще. Недавно я видел электронное печатное устройство размером не больше коробки сигарет. И стоит оно не так уж дорого. А работает так тихо, что если даже у вас за стенкой живет очень чуткий стукач, то и он ничего не услышит. И в связи со всем этим вот что я думаю.

Советское общество, как известно, построено на строго научной основе. Науку оно всегда ценило превыше всего. А также научный прогресс. И вот этот самый научный прогресс прогрессирует. Происходит пресловутая научно-техническая революция. И бороться с ней становится все трудней и трудней.

Новые средства информации все больше и больше вступают в вопиющее противоречие со всей советской системой. Вот уже лет двадцать советские люди, не дожидаясь разрешения цензоров, «издают» на своих магнитофонах миллионными тиражами песни Окуджавы, Высоцкого, Галича. Вот уже появились и все больше плодятся новые распространители идеологической заразы — видеомагнитофоны (но о них полна тревожных и лирических раздумий советская пресса). Уже жители Восточной Германии, Чехословакии, Венгрии и даже советских прибалтийских республик смотрят западное телевидение, которое тоже развивается. Уже сегодня и в Мюнхене, и в Лондоне, и в Париже, и в Нью-Йорке можно, присоединив довольно-таки нехитрую, но пока еще дорогую антенну, смотреть Москву. А значит, и в Москве можно, при некоторых усилиях, смотреть Мюнхен, Лондон, Париж и Нью-Йорк. Скоро все так и будет, потому что все эти средства коммуникации развиваются бурно, не по дням, а по часам. Ничего не скажешь, хоть только научно-техническая, а все-таки революция.

Нет слов, советское государство выдержало много испытаний.

Оно устояло перед натиском стран Антанты, разгромило белогвардейские полчища, сокрушило гитлеровский вермахт. О внутренних врагах и говорить нечего, с ними советское государство справлялось всегда. Кулаков, троцкистов, художников-абстракционистов, ученых вейсманистов-морганистов, генетиков и кибернетиков, которые, кстати, и придумали вот эти зловерные компьютеры, полчища так называемых диссидентов, вооруженных автоматическими ручками и пишущими машинками, — всех разгромила советская власть.

Но этот новый враг, по моему мнению, гораздо страшнее всех предыдущих. Я имею в виду все эти достижения в области радио, телевидения и, конечно, этих маленьких негодяев, эти компьютеры. Они отвечают на самые провокационные вопросы. Они готовы распространять любую информацию, независимо от того, нравится она кому-нибудь или не нравится. Причем они не робеют перед следователями и прокурорами. Они не боятся ни пытки, ни расстрела. Их становится все больше и больше, они подступили вплотную к границам Советского Союза, а некоторые даже сквозь нее уже и проникли.

Я помню расцвет эпохи Самиздата. Когда самоотверженные люди отбарабанивали на пишущих машинках романы Солженицына, книги Сахарова, Джиласа, Авторханова, «Хронику текущих событий».

Сколько они могли напечатать? Четыре, пять, шесть копий за раз. Даже при тех скромных возможностях Москва, Ленинград, Киев и другие большие города наводнялись ходившими по рукам рукописями, которые не мог выловить весь личный состав КГБ. Но что будет, когда по всей стране распространятся маленькие компьютеры с еще меньшими печатающими приставками к ним? Там уже дело несколькими копиями не ограничится.

Компьютер — слово иностранное. Советские ревнители русского языка, избегая этого слова, заменяют его тремя своими, из которых два тоже нерусских. Они называют его электронно-вычислительной машиной или сокращенно ЭВМ. А я бы лично его назвал совсем иначе. Учитывая его зловерную сущность и склонность к изотовлению и бесконтрольному распространению опасной информации, я бы его назвал ЭВН, то есть электронный враг народа. Так, мне кажется, было бы намного

точнее. И поближе к русскому языку. Все-таки из трех слов остается только одно иностранное: электронный.

Повторяю, за время своего существования советское государство успешно справилось со многими врагами, а с этим, электронным врагом, боюсь, не справится.

1986

Речь бюрократа

Дорогие товарищи бюрократы и бюрократки!

Вдохновленный историческими решениями очередного съезда КПСС, наш народ уверенно продвигается вперед. Мы с гордостью можем сказать, что за последнее время, достигнуты большие успехи и взяты высокие рубежи, наши планы выполняются и перевыполняются. Благодаря последним указаниям, новому мышлению и взятому нами стратегическому курсу, обстановка внутри страны и за ее пределами значительно улучшилась. Гласность и перестройка стали воистину зримыми приметами нашего времени. Возьмите, товарищи, телевидение, радио, почитайте наши газеты, и вы увидите, что наши партийные руководители, наши ученые, писатели, философы и публицисты выступают смело, по-боевому, с огоньком, иной раз при этом наговаривая на три года, на пять, а даже и на семь лет лишения свободы с последующей ссылкой и поражением в правах. В некоторых выступлениях справедливо говорится, что несмотря на общие достижения, на нашем пути имели также место отдельные крупные, значительные и даже вопиющие недостатки. Это, конечно, правильно, и мы этого никогда не скрывали. Но при этом, товарищи, порой допускаются и отдельные передержки. Так утверждается порочная мысль, будто во всем виноваты якобы бюрократы. Причем ни для кого не секрет, что под бюрократами подразумеваются наши руководящие партийные работники. На глазах у всей страны и у всего мира происходит очернение пройденного нами пути и шельмование или даже, проще сказать, избиение партийных кадров. Но если, товарищи, смотреть на дело непредвзято и не путать причину и следствие, то можно нашу работу оценить и иначе. Теория учит нас, что прежде чем приступить, надо подготовить необходимые условия и соответствующую почву. Как показала практика, наиболее

подходящей почвой для перестройки является должным образом организованный, глубокий и всесторонний застой. Застой, товарищи, сразу не подготовишь. Для этого нужны годы и годы самоотверженного труда. Кто мог взяться за эту работу? Только мы, бюрократы. Семьдесят лет мы работали в этом направлении. Это была, товарищи, без преувеличения, очень трудная историческая задача.

В наследство от царского режима нам досталась страна очень богатая плодородными землями, природными ископаемыми, лесами, запасами угля и различных полезных руд. Если бы нам досталась какая-нибудь бедная ресурсами страна, ну, допустим, Италия или Япония, — такую страну мы могли бы довести до состояния застоя в течение максимум одной пятилетки.

Имел значение также и человеческий фактор. В начале нашего пути застойным явлениям противились помещики и капиталисты. Мы их разгромили. Крестьяне. Мы их раскулачили. Наиболее долгое и упорное сопротивление оказывала наша трудовая интеллигенция. Мы с ней боролись все семьдесят лет нашего существования. Не секрет, что враждебные элементы проникли и в партию. Это были, конечно, отдельные элементы, но они составляли в ней большинство. Эти элементы пытались свернуть партию с правильного пути и вести ее к застою более долгим путем. Одно время им даже удалось уберечь нас от застоя путем введения так называемого НЭПа. От этих товарищей нам впоследствии пришлось избавляться.

К концу 20-х годов НЭП был своевременно отменен, и мы приступили к ускоренному созданию застойной ситуации. Наши достижения той поры всем хорошо известны, я их обрисую лишь в общих чертах.

С помощью коллективизации нам удалось достичь того, что прежде плодородные земли больше не плодородили, климат ухудшился, а урожай уменьшились. Индустриализация привела к тому, что одна часть нашей промышленности производила продукцию, а другая часть перерабатывала ее в утиль. По запасам утильсырья мы вскоре вышли на первое место.

В 30-е годы, благодаря нашим усилиям, была создана широкая сеть лагерей общего, строгого и особого режимов и других исправительно-трудовых учреждений, которые стали хорошей школой трудового воспитания

для миллионов наших трудящихся. При помощи наших замечательных заключенных были предприняты мероприятия по рытью мелководных каналов, заболачиванию сухих почв и запесочиванию плодородных. Однако нас поджимало время. Не секрет, что международная обстановка в те годы мало благоприятствовала нашим планам. В Германии в это время к власти пришли социалисты. Не скрою, мы надеялись на помощь германских товарищей, но они оказались национальными социалистами и действовали в эгоистических интересах своей нации. В этих интересах они напали на нас, добились разгрома своих войск и впали в застойное состояние на сорок лет раньше нас. Поэтому и перестройка у них началась тоже раньше. Нам же фактически пришлось начинать все сначала.

В послевоенные годы нам пришлось восстанавливать разрушенное хозяйство и одновременно бороться с литературой, музыкой, живописью, с генетикой, кибернетикой, с низкопоклонством перед Западом и с уже тогда проявившим себя сионизмом.

Затем последовал период волюнтаризма, который задержал наступление застоя лет на десять. Тогдашнее руководство тоже внесло свой несомненный вклад в создание застойных явлений, чему способствовали попытки перегнуть Америку, засадить кукурузою тундру и укрепление братских отношений с Венгерской Народной Республикой при помощи оружия. Однако те же годы для нас были омрачены массовым освобождением из лагерей граждан, еще недостаточно перевоспитанных, а также попытками подорвать наше единство путем введения принципа сменяемости кадров.

Мы нашли в себе силы трезво оценить ситуацию и принять неотложные меры. Волюнтаристы были отстранены от руководства, и наша партия взяла твердый и научно обоснованный курс на всеобщий застой.

С этой целью чуждый нам принцип сменяемости кадров был упразднен, и для руководства страной отбирались наиболее зрелые товарищи. Они трудились не покладая рук, до последнего, как говорится, дыхания и некоторые не покидали свой пост вплоть до коматозного состояния.

В этот период в сельском хозяйстве был взят курс на дальнейшее упрочение колхозной системы, в результате

чего мы приступили к широким закупкам зерна за границей.

Была проведена большая организационная и воспитательная работа в области литературы и искусства. Некоторым писателям была предоставлена возможность выступить с творческими отчетами в открытых судебных заседаниях с одновременной широкой рекламой их произведений за пределами нашей страны. Такие же условия были созданы и для других литераторов и лиц иных профессий. В результате по всей стране развернулось широкое диссидентское движение, которое способствовало расширению штатов в органах госбезопасности.

Одновременно в литературе внедрялся принцип единого начала и научно обоснованный метод оценки произведений по должности, занимаемой автором.

В это же время мы не забывали и об угрозе со стороны международного коммунистического движения, которое еще непростительно медленно развивалось в сторону застоя. Наша бескорыстная помощь братской Чехословакии, а затем и неприсоединившемуся Афганистану сослужила хорошую службу резкому возрастанию застойных тенденций.

Говоря о других мерах, направленных на скорейшее создание застойной ситуации, необходимо отметить большую нашу заслугу в создании системы дефицита, в результате чего, товарищи, мы имеем, можно без ложной скромности сказать, бесконечный перечень товаров, которых в наличии не имеем.

И, наконец, товарищи, не могу не отметить наших, прямо скажем, больших успехов в области коррупционализации нашего управленческого аппарата. Все эти годы мы работали дружно. Укреплялись дружеские, семейные и межсемейные отношения. Наши прямые доходы возрастали за счет повышения заработной платы, а не прямые — за счет добровольных пожертвований наших замечательных современников.

За время нашего правления в народе росла и крепла убежденность, что дальше так жить нельзя, что без перестройки обойтись никак невозможно. И поэтому, товарищи, очень обидно, сейчас видеть и слышать, как некоторые несознательные, я бы сказал, элементы, используют предоставленную им гласность в неблагоприятных целях очернения пройденного нами пути и умаления нашего вклада в дело перестройки.

На этом, товарищи, я заканчиваю и позвольте ваши аплодисменты считать одобрением моей речи.

1986

Образно говоря

Дорогие товарищи! Дамы и господа! Уважаемые зарубежные гости! Сегодня и мы отмечаем юбилей нашей столовой. Пройден славный путь, на протяжении которого миллионы людей, образно говоря, кормились, кормятся и подкармливаются в нашей столовой и около нее. Успехи достигнуты немалые, можно даже сказать — огромные. Однако, оглядываясь на пройденное и испытывая законную гордость за достижения, мы, тем не менее, не должны закрывать глаза на отдельные недостатки, которые еще иногда встречаются в нашей работе. Думается, вы со мной согласитесь, что сейчас основная, так сказать, примета текущего времени — это гласность, откровенность и открытость во всех сферах нашего кулинарного дела. Мы должны прямо критиковать всех, не взирая на лица, вплоть до официанта. С мест поступают сигналы, что наш суп еще не совсем съедобен. С сожалением следует признать, что почва для подобных нареканий имеется. Хотя в целом процесс суповарения развивался в правильном направлении, и достижения имеются внушительные, тем не менее отдельные компоненты супа к употреблению еще не готовы. Так, например, крупа перловая оказалась недоваренной на 67,7 %, капуста кочанно-рубленая на 34,8 %, картофель на 16 %.

Почему это получилось?

Причин много. Есть причины общего характера, в которых следовало бы разобраться нашим историкам, философам, а также работникам уголовного розыска. Не секрет, что особенно в последнее время проявились такие негативные тенденции, как хищения отдельных видов продуктов, раздача, образно говоря, лучших кусков по принципу, так сказать, родства и кумовства. На общетехнологическом процессе отрицательно отразились неблагоприятные погодные условия и такие чуждые нам явления, как культ личности, волюнтаризм и алкоголизм.

Конечно, товарищи, если мы оглянемся на пройденный путь, вспомним блокаду Ленинграда и прочие трудные периоды, вспомним, что мы ели тогда и что потребляем сейчас, у нас не может не возникнуть чувство огромной гордости и удовлетворения от всего сделанного. Но в

то же время мы должны признать, что сегодняшние запросы наших потребителей удовлетворяются еще, образно говоря, не самым, так сказать, лучшим образом.

Мы должны, товарищи, открыто и со свойственной нам прямоотой сказать, что еще совсем недавно в нашей работе встречались отдельные, иногда даже грубые, нарушения процесса суповарения. Некоторые руководители, оторвавшись от масс и питаясь отдельно, проявляли признаки ротозейства, головотяпства, шапкозакладательства, зазнайства, чистоплюйства и чинопочитания. Они зачастую игнорировали нарекания потребителей, чурались нового, передового. Большую негативную роль сыграло то обстоятельство, что в отдельные моменты нашей истории проявлялись факты зажима критики. Только этим можно объяснить попытки варить суп при отрицательной температуре, осужденные еще нашим первым директором в его гениальной брошюре «Значение температуры в процессе суповарения». Предвидя, что со временем суп у нас варить сумеет даже кухарка, автор одновре... одноврё... одновремени предостерегал против вульгаризаторских, я бы сказал, усилий совершить это при температуре, образно говоря, ниже точки замерзания. Напоминая о необходимости глубокого познания действительности, он прямо указывает: «Практика нашей работы доказывает со всей очевидностью, что вода никогда не станет кипяченой, если ее предварительно не вскипятить». Кто думает иначе, тот выступает против естественных законов природы.

Время, товарищи, показало, насколько прозорливым и гениальным было это утверждение. Нет, мы не будем очернять и отрицать наше славное прошлое. Мы убедились на практике, что в отрицательной температуре тоже имеется определенная необходимость. Отрицательная температура играет свою положительную роль при производстве снега, льда или мороженого, она часто и с успехом используется в промышленных и домашних холодильниках, для длительного хранения продуктов питания. Но, как учит нас диалектика, то, что хорошо для одного, товарищи, иной раз никак не годится для другого. И так же, как мы поняли, что не везде следует сажать кукурузу, так же и отрицательная температура не во всех случаях приносит пользу. Игнорировать этот факт — значит заранее обречь себя на поражение. Мы, товарищи, привыкли смотреть правде в глаза и не уклоняться от серь-

езных решений. И мы прямо говорим, что суп может быть сварен только при соблюдении определенных тепловых условий.

Следует сказать, что в этом направлении сделано уже немало. Решительно исправляя и искореняя ошибки прошлого, мы приняли ряд конкретных шагов. Образно говоря, мы внесли кастрюлю с мороза в закрытое помещение и за короткое время довели тепловой режим до комнатной температуры. Если говорить о динамике роста в цифровом выражении, то температура повышена на триста шесть и четыре десятых процентов. А это уже немало, товарищи, и мы этим можем гордиться. Для сравнения скажу, что за тот же период в пищеблоках наиболее развитых капиталистических стран и даже в Соединенных Штатах Америки температура суповарения не повысилась ни на один градус.

В то же время мы не должны останавливаться на достигнутом. Надо помнить, что имеющейся температуры все еще недостаточно. Тому, кто думает, что это не так, следует сойти с нашего пути и не путаться под ногами.

Товарищи! Сейчас в период перестройки всего процесса мы должны прежде всего повысить производственную дисциплину, работать по-боевому и с огнем. И в этом деле большую роль могут сыграть наши писатели, наши, как говорится, кулинары человеческих душ. От них сегодня, как никогда, время требует честности и принципиальности в создании талантливых, правдивых и злободневных произведений. Нужно смело критиковать прошлое и с оптимизмом смотреть в будущее. Не сосредотачивать свое внимание только на негативных явлениях, а ярко и образно запечатлеть подвиг наших кухарок, официанток и судомоек. Что греха таить, некоторые писатели оторвались от жизни, забыли, где и за чей счет они питаются, и сосредотачивают внимание только на теневых сторонах нашей работы, погрязли в бытокопательстве. Писания подобных, с позволения сказать, литераторов проникнуты духом уныния и неверия в конечное торжество нашего дела. Мириться с таким положением мы не должны и не будем. Мы ждем от наших художников слова произведений боевых, проникнутых духом исторического оптимизма, таких, которые, образно говоря, обладали бы всеми вкусовыми и питательными качествами, достойными наших лучших тружеников.

В долгу перед кулинарами и наши пропагандисты.

Они должны смелее показывать все недостатки буржуазной кулинарии, которая, будучи бездуховной по своей сути, стремится лишь к тому, чтобы наполнить желудки трудящихся и тем самым отвлечь их от борьбы за другие права и свободы.

Сейчас, товарищи, вопрос — кто кого — стоит серьезно, как никогда. Наши противники, я бы сказал, скептически, а иной раз и со злорадством утверждают, что мы никогда не достигнем температуры кипения, а значит, и суп наш никогда сварен не будет. Ну что ж, пусть тешатся такими иллюзиями, если они им дороги. Наука утверждает, что температура кипения равняется ста градусам имени Цельсия. Доступно ли это нам? Я думаю, да, доступно. Если мы удвоим, утроим наши усилия, если используем при этом положительный опыт братских пищеблоков, мы несомненно сможем довести температуру кипения до ста пятидесяти, двухсот и даже до трехсот градусов. Но как это сделать? Прямо скажу, что у нас пока готовых рецептов нет. Обо всем этом надо подумать нашим физикам. Буржуазная наука утверждает, что такой температуры нельзя достичь, не разведя огня. Очевидно, в этом есть доля истины. Но огонь, товарищи, стихия коварная. Она может принести как пользу, так и беду. Мы это хорошо знаем из нашей истории. Мы никогда не забудем, сколько людей погибло от неосторожного, а в некоторых случаях, образно говоря, и преступного обращения с огнем. Поэтому мы боролись и будем бороться против всякого огня и призываем всех добиваться его полного запрещения.

Могут спросить, но если не разводить огня, то как же добиться достижения необходимой температуры? Тут, товарищи, я думаю, на помощь нам должен придти человеческий фактор. Наши люди не какие-то бездушные винтики, а живые существа, в каждом из которых бьется живое горячее сердце при температуре в среднем 36,6 градусов, а иногда даже и выше. Так что только три человека, собираясь вместе, уже могут дать температуру выше запланированного минимума. Но нас, товарищи, не три человека, а двести семьдесят миллионов. Если мы соберемся вместе, соединим жар наших сердец, сконцентрируем его воедино, сколько получится градусов? Думается, на этот вопрос могут компетентно ответить наши математики, которые, образно говоря, тоже питаются и совсем даже неплохо в нашей столовой. И вот если мы все соеди-

ним наши усилия, будем работать еще лучше и еще производительнее, — мы сможем достичь таких успехов, о которых мечтали наши предки и которыми будут гордиться наши потомки. Да здравствует наша администрация! Да здравствует наша кулинария! Приятного аппетита, товарищи!

1987

Еще один славный юбилей

В нашей стране, как известно, некоторые юбилеи принято праздновать с большим размахом. Юбилей советской власти, вооруженных сил, Ленина, Ленинского комсомола. Наиболее запоминающимися для меня лично были юбилеи во времена так называемого брежневского застоя. В те годы, как раз в соответствии с тогдашней программой партии, должно было наступить полнейшее торжество коммунизма с предварительным перегонем Америки по мясу и молоку. Но, как говорится, партия предполагает, а Бог располагает; планы оказались несколько недоперевыполненными. В результате, Америку не догнали, а тот уровень жизни, до которого постепенно дошел народ, коммунизмом назвать постеснялись. Хотя, почему бы и нет? Основной идеал коммунизма — от каждого по способности, каждому по потребности — может быть вполне достижим, если потребности гражданина будут определяться сверху. Примерно такой коммунизм я даже и изобразил в одном из своих недавних сочинений. Но до столь простого решения вопроса власти сами не додумались, а меня не спросили, и поэтому, когда все обещанные и научно предсказанные сроки вышли, решили заменить светлое будущее бесконечным празднованием юбилеев. Не знаю, как на других, а на писателях и режиссерах в театре и в кино эти юбилеи отражались крайне болезненно. Потому что на время юбилеев все темы более или менее нормальные практически закрывались: партия требовала книг, фильмов, спектаклей о революции, о большевиках и о Ленине. На книги о чем-нибудь другом не хватало бумаги, на фильмы — пленки, а на театры... ну, я даже не знаю, чего именно не хватало, но актеры и режиссеры страдали ужасно. И обычно в канун юбилея, если вы приходили в нужную инстанцию со своей поэмой, пьесой, или сценарием не на генеральную тему, вам обычно говорили: — Ну, что вы! Разве можно с подобной че-

пухой обращаться в такой знаменательный год! Вот подождите, юбилей отметим, тогда, конечно, тогда приходите, поговорим.

Один кинорежиссер, я помню, приступил к съемке фильма в очень неподходящее время — советская власть начала подготовку к своему пятидесятилетию. Он отснял уже несколько эпизодов, явилось начальство, требует просмотра материала. Посмотрели, руками развели: «Да вы что, — говорят, — смеетесь! Да вы знаете, какой год у нас наступает? Что же вы не могли выбрать, что-нибудь поближе к Ленину и революции? Нет уж, нет уж, очень жаль, но никак ваш фильм разрешить не можем, вот уж отъюбилеемся, тогда да, а пока что кладем вашу пленку на полку, авось не выцветет». Режиссер, понятно, очень переживал, потерял аппетит, бессоницей начал страдать, ходит, бормочет: «Скорей бы, говорит, этот проклятый год кончился». Ну, в конце концов желание режиссера исполнилось, проклятый год завершился парадом на Красной площади, вялым помахиванием ручек с мавзолейной трибуны, праздничным салютом и всенародным гулянием. Режиссер наш 8 ноября опохмелился, а девятого уже, отталкивая секретаршу, врывается в двери начальственного кабинета, не пора ли мол, приступать к продолжению съемок. А начальство ему, фигурально говоря, фигу под нос, вы что, мол, милый, в календарь давно не заглядывали, не знаете, что ли, что у нас на носу пятидесятилетие славной нашей несокрушимой и легендарной советской армии, то есть? Посмотрел режиссер в календарь, убедился, махнул рукой и заплакал. Хотя на что-то еще надеялся. Но напрасно. Потому что потом пошло пятьдесят лет Комсомолу, сто лет со дня рождения Ленина, тридцатилетие Победы, — пока весь этот круг прокрутили, а советской власти, глядишь, уже и шестьдесят годков стукнуло. А режиссер наш, кстати сказать, все это время тоже не молодец. Хотя жив остался, и за то спасибо. Тем более, что один из двух сценаристов, писавших ему сценарий, за это же время помер. А режиссеру нашему повезло, он вместе с оставшимся сценаристом дожил до перестройки, увидел свой фильм в широком прокате и теперь сам вместе с ним катается. Даже и в наших краях побывал.

А вспомнил я об этой печальной, но с хорошим концом истории, наблюдая за советской литературой и культурной жизнью в нынешнем юбилейном году. Юбилей,

то есть семидесятилетие нашей любимой советской власти, собственно говоря, уже на носу, а ни о каких фильмах о Ленине или романах о большевиках я ничего не слышал. Они, конечно, где-нибудь там создаются, но пишут о них не так много, как раньше. Зато узнал я, что другой юбилей, семидесятилетие организации, которая в газете названа ВЧК-ОГПУ-КГБ СССР, будет широко отмечаться и в кино, и в литературе.

Чекисты, надо сказать, к грядущему торжеству стали готовиться загодя, за четыре года до его наступления. И тогда же объявили о литературно-кинематографическом конкурсе на панегирик самим себе. Кто в этом деле преуспеет других, тому будут вручены дипломы и премии до 3000 рублей. Об этом я узнал из попавшей ко мне позновато «Литературной России» от 24 июля. В этом номере газеты напечатаны два интервью. Первого секретаря союза писателей СССР Владимира Карпова и первого секретаря союза кинематографистов Элема Климова. Интервью не одинаковы. Климов хотя и согласен, что чекистов следует изображать на экране, но критикует некоторых своих коллег, что они это делают халтурно. О чекистах он тоже отзывается как о людях, в работе которых есть отдельные недостатки. Например, прохлопали чужой спортивный самолет. Что касается Карпова, он, в целом, доволен как чекистами, так и писателями.

Судя по словам Карпова, литература о «воинах невидимого фронта» развивается неплохо. Только за последние три года было издано более 250 книг общим тиражом 18,5 миллиона экземпляров. Карпов совершенно справедливо утверждает, что «романтика и героика многотрудной, суровой, зачастую полной страстей и драматизма службы чекистов... всегда привлекала внимание писателей». Вот уж что правда, то правда. Всегда-всегда, с самого начала зарождения органов, писатели пристально следили за их деятельностью. Иногда даже так следили, что по ночам вслушивались, чьи это там сапоги грохают и к кому, уж не ко мне ли? Писатели следили за чекистами, а чекисты за всеми. В том числе и за писателями. Работа с писателями велась самая разная. Писателей сажали, ссылали, стращали, иногда даже убивали. По скромным официальным данным, в годы культа личности было репрессировано 600 членов Союза писателей. Если учесть, что за годы советской власти работники невидимого фронта уничтожили видимо-невидимо всякого другого

народу (некоторые исследователи считают: 60 миллионов), число 600 может показаться кому-нибудь не таким уж большим. Не много, но не так уж и мало. Не все, конечно, но есть такие писатели, которых природа производит поштучно. И если взять таких, уникальных, и одного застрелить, другого посадить, третьего на воле замордовать, то, глядишь, от литературы ничего не останется.

Особое внимание чекистов к литературе проявляется еще и в том, что оно долговременно. Скажем, если интерес чекистов к сельскому хозяйству остыл, генетикой и кибернетикой они тоже больше вроде не занимаются, то литература из сферы их интересов пока что не выходила. И интерес этот самый разнообразный. Ведь писателей не только сажают, не только убивают. Допустим, в Союзе писателей просто разбирается персональное дело кого-то, кто написал что-то не то, а написав не то, напечатал не там. За таким разбором невидимые герои всегда внимательно наблюдают. Потому что персональное дело — это как бы предварительно приготовление жертвы к дальнейшей обработке.

Надо сказать также, что само по себе наличие органов госбезопасности отражается на форме и стиле сочинений писателей и, уж конечно, на круге избираемых тем.

Сотрудничество писателей с чекистами, в свою очередь, тоже отличается большим разнообразием форм. Многие писатели охотно или неохотно помогали чекистам в качестве стукачей и внутренних рецензентов. Надо, скажем, того или иного писателя замордовать, для начала зовут критика. Критик пишет внутреннюю рецензию, которая обычно отличается определенной направленностью и прямоотой. Например критик, разбиравший для КГБ сочинения Андрея Синявского, закончил свой ученый труд выводом, что таких авторов следует расстреливать как бешеных собак.

Если бы мне на празднике КГБ доверили выступить с юбилейной речью, я бы провел сравнение работы чекистов с работой писателей и выявил много общего. Дело в том, что и те и другие работают не только над документальным материалом, но одинаково широко используют художественный вымысел. Причем вымысел чекистов бывает более изощренным и изобретательным, чем писательский, и гораздо прямее влияет на саму жизнь. Не случайно многие чекисты впоследствии сами стано-

вятся писателями, так же, впрочем, как и некоторые писатели становятся чекистами.

Перечисляя количество книг о чекистах, Владимир Карпов не учел сочинений, которые не были напечатаны в Советском Союзе. И напрасно. Они могли составить немаловажное дополнение к основной Чекиане или даже войти в ее золотой фонд. А таких книг довольно много. Это, допустим, «Архипелаг ГУЛаг» Солженицына, «Колымские рассказы» Шаламова, «Путешествие в страну ЗК» Марголина.

Надо сказать, что огромный и поистине неоценимый вклад в литературу о чекистах внесен писателями-эмигрантами. Обладая разным прошлым, эти писатели создали много леденящих кровь сочинений о различных сторонах деятельности КГБ, о работе чекистов в стране и за рубежом, о подрывных операциях, провокациях, массовых расстрелах и отдельных убийствах из-за угла. Заодно скажу, что книги эмигрантов почти все так или иначе связаны с ЧК. На какую бы тему они ни были написаны, в них обязательно фигурирует или следователь, или заключенный, или стукач.

Ко всему этому следует добавить, что чекистской тематикой интересовались и интересуются и многие иностранные авторы. Тут я бы назвал книги «Большой террор» Роберта Конквеста, «Тьму в полдень» Артура Кёстлера, и две книги Джона Баррона, одна из которых называется просто «КГБ», а другая «КГБ сегодня».

Я думаю, что если все эти книги включить в конкурс, посвященный славному юбилею КГБ, то он получится более представительным и более интересным.

1987

Орден без справки

Просматривая «Литературную газету» от 16 декабря минувшего 1987 года, наткнулся на статью «Если говорить о чести», подписанную Михаилом Алексеевым, Егором Исаевым и Иваном Стаднюком. И заинтересовался. Я всегда знал, что подписавшие статью имеют о чести весьма своеобразное представление, и вот теперь мне представилась возможность ознакомиться, что же они все-таки в это понятие вкладывают.

Прочел. Оказывается, авторы защищают своего коллегу писателя Ивана Падерина от необоснованных обвинений. Обвинения были высказаны в газете «Труд» от

16 сентября 1987 года ветераном Отечественной войны полковником Дунаевым и специальным корреспондентом этой газеты Дмитриевым. Статья в «Труде» называлась «Чужой орден», и в ней речь шла о том, что член Союза писателей Иван Григорьевич Падерин в течение сорока с лишним лет вместе с другими своими заслуженными или незаслуженными наградами носил орден Красного Знамени, который принадлежал не ему, а убитому в марте 1945 года на подступах к Берлину гвардии сержанту Николаю Кривоносову. Падерин носил этот орден, не имея на него никаких прав и никакого необходимого в подобном случае документа. С этим отличием, как говорится в «Труде», наш орденосец ходил на демонстрации, сидел в президиуме и даже фотографировался для своего личного дела. Когда дошло до разбирательства личного дела, Падерин стал утверждать, что этот орден он сам с убитого сержанта не снимал. Орден был вручен ему в конце войны командующим армией Василием Ивановичем Чуйковым, будущим маршалом Советского Союза. Орден Чуйков Падерину дал, а никакой справки на награду не оформил. Сорок лет носил наш герой орден, выпятив грудь и умалчивал об отсутствии справки, а тут вдруг дело почему-то раскрылось. Какие-то недоброжелатели стали требовать справку и, не получив ее, стали опрашивать боевых соратников орденосца, полезли в архивы и в личное дело Падерина. Личное дело Ивана Григорьевича тоже, оказалось, изобилует сообщением о подвигах, которых наш герой никогда не совершал. Не водил он в бой за Москву четыреста замечательных сибирских парней, потому что упомянутые парни сформировались в батальон уже после того, как битва за Москву была окончена, а сам писатель служил уже не там и не комиссаром, как сообщал в своих вдохновенных воспоминаниях, а информатором в политотделе 62-й армии. Информатором — это значит не стукачом, как некоторые прожженные и циничные читатели могут подумать, а инструктором по информации. Впрочем, эти две роли некоторые люди успешно совмещали: то есть информировали своих сослуживцев о том, что происходит на фронте и в тылу, а затем информировали особый отдел, кто и как реагировал на информацию. В воспоминаниях Падерина рассказывается и еще о многих подвигах, которых не было. Не падала возле его блиндажа на Мамаевом кургане авиационная бомба, не заменял он на Зееловских

высотах раненого командира полка, не вылезал первым из траншеи, не увлекал в бой солдат и не бежал впереди всех с развернутым знаменем. И вообще, по мнению того же самого командира, который ранен не был и в замене не нуждался, Падерин на поле брани вел себя так, что «его не за что было награждать». А что касается конкретного ордена Красного Знамени, то в тот день, когда этот орден якобы был вручен, наш герой и будущий писатель получил не орден, а партийное взыскание.

Через сорок с лишним лет пришлось нашему орденосцу завернуть свою высокую награду в тряпицу и принести ее в военкомат по месту жительства. Такая вот славная история в изложении авторов газеты «Труд».

И вот Михаил Алексеев, Егор Исаев, Иван Стаднюк, сами за свои ратные, литературные и околотитературные подвиги очень щедро осыпанные всякими орденами, званиями и премиями, три месяца терпели, а потом не выдержали и обрушились на авторов «Труда» со всей мощью своих незаурядных талантов. О возвращении героем ордена пишут так: «Полковник в отставке Падерин, человек дисциплинированный, отнес награду в военкомат. И принес его не в тряпице, а в колодке всех своих военных и мирных наград. На место снятого ордена был укреплен орден Дружбы народов, которого он был удостоен за писательский труд, и медаль «За боевые заслуги», которая раньше ему не была вручена».

Я хочу отклониться немного от сути дела и обратить внимание на стиль наших признанных мастеров слова, соединивших воедино свои таланты. Падерин отнес награду, а принес «его». Кого-чего? Награда всегда была словом женского рода, а у них перешла в мужской. Падерин ее-его доставил в колодке, в которой на место снятого ордена был укреплен орден Дружбы народов. Это, как говорится, нескладушки-неладушки. Если он орден Красного Знамени нес в колодке, то как же на место этого ордена был прикручен другой? Причем на это самое место он прикрутил и орден, и полученную тут же медаль. Кстати сказать, медаль весьма малоценную. Так что вроде как бы получил сдачу.

Но вернемся к статье наших писателей-адвокатов. Защищая попавшего в беду собрата, они не только не развеивают, а, напротив, весьма усугубляют наши сомнения в моральных качествах подзащитного. Например, говорят, что Падерин обвинялся в незаконном ношении

еще одного ордена; что на Зееловских высотах он не нес знамя, а сопровождал несущих (при этом всегда интересно знать, сопровождал на каком расстоянии).

В этой полемике есть еще кое-что интересное.

Авторы обеих статей в «Литературке» и в «Труде» подкрепляют свои доводы ссылкой на письменные свидетельства сослуживцев Падерина. Один из них в «Труде» пишет так:

«...откуда и от кого взято, что Иван Падерин является активным участником сталинградских боев. Как мне известно, он все три месяца ожесточенных боев (сентябрь, октябрь, ноябрь 42-го года) находился на левом берегу Волги при втором эшелоне штаба 62-й армии, в 5-7 километрах от Волги, не имея в руках ни винтовки, ни автомата. Может быть, сам Падерин скажет, в какой роте, батальоне или полку он состоял в боевом расчете? Я уверен, на этот вопрос он не ответит».

Другой в «Литгазете» ему решительно возражает: «Ивана Падерина я лично знаю с сентябрьских дней 1942 года, с тяжелых боев за Сталинград. На моих глазах он, комиссар батальона, поднимал солдат в атаку, останавливал панику, рассеивал страх и растерянность... В последнем штурме Берлина он вел солдат на штурм имперской канцелярии, где располагалась ставка Гитлера...»

Этот второй свидетель очень авторитетный — тот же самый маршал Чуйков, герой Сталинградской битвы. Именно он упомянутой 62-й армией и командовал.

Значит, вопрос «от кого взято, что Падерин был активным участником сталинградских боев» отпадает? Он и мог бы отпасть, но дело в том, что первое свидетельство написано позже второго (я поменял их местами), причем оба они принадлежат Чуйкову.

Как это получилось? Авторам опровержения не хотелось бы вдаваться в объяснения, но — гласность, так гласность! — они объясняют, послушайте:

«Фронтовая дружба надолго связала писателя с прославленным командиром Чуйковым. Когда маршал, по горло занятый важнейшими оборонными обязанностями, задумал поделиться своим жизненным и боевым опытом, то о помощи он попросил Ивана Падерина. Мог ли отказать своему любимому командиру бывший комиссар!» — задают авторы патетический вопрос и ставят восклицательный знак. — «И писатель, — продолжают они, — за-

сел за работу. В издательской практике существует такой вид работы: литературная запись».

И вот в записи Ивана Падерина появляются книги Василия Ивановича Чуйкова «Начало пути» («Сражение века»), «Закалялась молодость в боях», «Конец Третьего рейха». Объем написанного составил более 70 печатных листов.

Незнающим объясню, что печатный лист — это приблизительно 24 страницы машинописного текста. То есть примерно 1700 страниц печатного текста наката на наш орденосец за любимого маршала. Можно произвести и еще один подсчет. По установленным в Советском Союзе ставкам писатель за обыкновенное по своим достоинствам произведение и при тираже до 15 тысяч экземпляров получает 300 рублей гонорара за печатный лист. Выдающиеся произведения (а произведения маршалов всегда бывают выдающимися) оцениваются в 400 рублей за лист, при двойном тираже до 30 тысяч экземпляров оплата удваивается, а за двойным тиражом следует оплата за массовый тираж (маршалы иначе как массово не издаются). Короче говоря, по самым скромным расчетам, за свои книги без учета переизданий маршал получил по крайней мере 70 000 рублей. А Падерин, имевший право на половину гонорара, не получил от маршала ничего. Но не возражал. Потому что в те годы, как сообщают нам те же авторы, отношения маршала и писателя отличали «взаимная приязнь, дружелюбие, взаимопомощь». В чем проявлялась помощь Падерина маршалу, ясно. А чем маршал помогал Падерину, не говорится. Уж не сочинением ли свидетельств о подвигах сочинителя? Или, точнее, только их подписанием. Сочинить себе лучшие характеристики, набивши руку на маршальских мемуарах, Падерин мог и сам. Но почему за сорок лет дружбы маршал так и не выдал писателю справки на орден, непонятно. Он, конечно, мог и не помнить, что Бог знает когда выдал кому-то орден, а справку не дал. Но, судя по дальнейшему развитию событий, он это почему-то помнил.

Трогательная дружба между маршалом и писателем кончилась, не выдержав первого испытания. Видимо, восхищенные сочинениями маршала издательские работники предложили ему к его 80-летию написать еще одну книгу. Ну, у маршала был уже немалый литературный опыт, и он знал, как это делается. Он снял телефонную трубку: «Иван, тебе уже все знакомо. Садись за работу».

Иван к тому времени перенес три операции, почти совсем ослеп и потому своих собственных книг уже почти не писал. Но любимому маршалу отказать не посмел и накатал еще 41 печатный лист (больше тысячи страниц) под названием «От Сталинграда до Берлина». Всего, значит, написал наш писатель за маршала около трех тысяч страниц. Если эти страницы помножить на тиражи, то от Сталинграда до Берлина можно всю дорогу застелить. Написавши последнюю книгу, осмелел Падерин и потребовал у маршала полгонорара. Маршалу это не понравилось. Он стал отбиваться. Тем более, человек с опытом. Он даже от фельдмаршала Паулюса в свое время отбил-ся. А уж от своего Ивана отбиться легче.

И вот, лишенный литературной помощи, маршал сам стал писать по инстанциям, что под Сталинградом Падерина вообще никто даже не видел, а под Берлином орден Красного Знамени ему никто не вручал. А Падерину и крыть нечем, вручал маршал или не вручал, а справки-то нет. И пришлось нашему орденоносцу нести в военкомат свой орден завернутым в тряпицу или в колодке других орденов, в чем именно, не так уж важно.

А важно вот что. Защищая своего сотоварища, Михаил Алексеев, Егор Исаев и Иван Стаднюк сами не понимают, что пишут. А казалось бы, должны понимать, что искусство слова не прямо действует, а как-то иначе. Если, например, Гоголь пишет: «Хороший человек Иван Иванович», то это еще не значит, что Иван Иванович и нам очень понравится. Так вот и в сочинении наших писателей и Иван Григорьевич Падерин, и Василий Иванович Чуйков выглядят весьма отвратительно. Легендарный маршал, оказывается, снимает с убитых ордена и дает их кому попало без справки, эксплуатирует беззащитного и слепого писателя, деньги зажиливает и пишет об одном и том же человеке сначала одно, а потом совсем другое.

Но и писатель хорош. Ни чести, ни чувства собственного достоинства. Барин командует: «Иван, пиши!» Иван садится и хоть слепнет, а пишет. Три тысячи страниц. Да на такую каторгу не то что за орден Красного Знамени, а и за Золотую Звезду Героя не каждый согласится. Тем более, что орден этот — снятый с убитого, да еще без справки.

Надо сказать, что и встающие из текста образы авторов симпатии не вызывают. Видно, что демагоги. Чувств-

вужа, видимо, что их доказательства недостаточно убедительны, украшают образ бедного Ивана положительными анкетными данными. Из рабочей семьи, с детских лет «тянул семьющу» из семи человек, женился на осиротевшей девочке-комсомолке, а потом совершал подвиги, а потом бескорыстно трудился. И одновременно бьют на жалость, сообщая о бессоннице, сердечных приступах и слепоте своего подзащитного. Это уже прием откровенно спекулятивный. Падерин находится в том возрасте, когда люди часто болеют, слепнут и глохнут. Но и в таком состоянии носить чужие ордена все же не следует.

Тем более, что ценность орденов со временем падает. Людей, получавших их за настоящие боевые подвиги, становится все меньше и меньше, а количество орденов не уменьшается. У меня есть один знакомый молодой человек, немец. Он коллекционирует советские ордена, покупая их в магазине для нумизматов. Там — своя иерархия ценностей. Чем реже орден, тем выше цена. Так вот, орден Красного Знамени там относится к категории недорогих. А уж орден Ленина, который вообще дают кому и за что попало, тот и вовсе стоит всего ничего. Марок, если не ошибаюсь, тридцать. Это по официальному советскому курсу немного больше десяти рублей. Так что если Падерин после всей этой истории не занесен в число невыездных, он может приехать сюда и на сэкономленные деньги вместо джинсов или магнитофона купить себе высший советский орден. При этом ему обязательно выдадут справку, что указанный орден куплен там-то и там-то за столько-то марок. То есть приобретен на вполне законных основаниях.

1988

Мы — Вы — Они

Начну с того, что вот я уже восемь лет за границей, а до сих пор слово «эмигрант» не могу к себе приложить не поморщившись. Или такие понятия, как эмигрантский писатель, эмигрантская литература. Что это такое? Это какая именно литература? Мои писания тоже в нее, в эмигрантскую литературу, зачисляются, но правильно ли? Я живу здесь восемь лет, а в Советском Союзе прожил сорок восемь. Пишу я приблизительно тридцать лет, значит, опять-таки восемь лет здесь и двадцать с хвостиком там. Если «Чонкин», написанный в Москве, эмигрантская литература, то тогда и мою песню «14 минут до

старта» тоже следует считать эмигрантской. По крайней мере — слова этой песни, поскольку автор музыки пока что еще в России.

Писатель в России, в отличие от других стран, занимает всегда особое место. К нему относятся с большим уважением, но и требуют от него многого. Он там вроде как и священник, и доктор, и даже капитан. То есть в случае чего с корабля он должен сходить одним из последних. Сходить с корабля, в системе наших аллегорий, это значит — уезжать в эмиграцию. Каждый человек имеет право ехать, куда ему вздумается, и жить там, где ему удобнее. В Одессе, в Москве, в Париже или в Нью-Йорке. Но к писателю все относятся ревниво, никто не дает ему права выбрать место жительства по вкусу, его осуждают даже, в некоторых случаях, когда он меняет родную Вологодчину или Тамбовщину на Москву, а уж если переселяется за границу, тут к нему и совсем счет особый. Правда, смотря когда. Вот Бунин, Куприн, Мережковский и прочие переселялись, когда половина России покидала ее, а другая половина оставалась на месте. Их, конечно, партийная печать клеймила, но люди понимали. Потом в общем-то писатели, когда перед ними вставал вопрос: или — или, — очень редко решали его в пользу отъезда. Замятин, когда очень уж допекло, уехал, а Булгаков, столько раз искавший дырку в границе, в последнюю минуту остался. Пильняк был в Америке, мог бы сохранить себе жизнь, не вернувшись, а вот вернулся и не сохранил. Пастернак получил Нобелевскую премию, где же еще и жить, как не на Западе, но взмолился, чтоб не выгоняли, и остался там, где, говорят, сам себе облюбовал место для могилы — на кладбищенском холме, под тремя соснами, на которые при жизни часто смотрел из окна. Анна Ахматова написала про себя не без гордости, что никуда не уехала, и «я была тогда с моим народом, там, где мой народ, к несчастью, был».

Сталинские годы писатели пережили, в лагерях гибли, на Запад не уезжали. Правда, уехать было нельзя, но это неважно, это вроде как бы уж мелочи.

А в годы (как будто уже не террористические, а всего лишь застойные) писатели (а, впрочем, и художники, и музыканты, и танцовщики) повалили валом. А для чего же?

Я долгое время заблуждался и думал, что всем, кто сколько-нибудь следил в те годы за положением дел в

обществе и в литературе, было ясно, что по доброй воле почти никто не уезжал. Уезжали, в основном, те, у кого и выбора почти никакого не оставалось. Солженицына вывезли под конвоем. Некрасова затравили хулиганским обращением. То устраивали обыски, больше похожие на грабеж. То хватали на улице и тащили ни с того, ни с сего в вытрезвитель. То ловили и тащили (это, было на моих глазах) в кутузку по подозрению, что он кого-то на чем-то задавил, хотя он если на чем-то и ездил, то только в качестве пассажира. Владимирова довели до инфаркта. Травили Галича, Максимова, Эткинда, Копелева.

Я сейчас слышу от некоторых советских коллег: мы не уехали, а они уехали. Если говорить правду, это тема деликатная, и я почти все восемь лет своего пребывания здесь ее предпочитал не касаться. А сейчас, пожалуй, коснусь. Дело в том, что все те (без исключения), которые говорят: «Мы не уехали», не были поставлены в положение, когда вопрос, уезжать или оставаться был вопросом жизни и смерти. А почему? Тем, кто не знает, напомню. Перечисленные мною писатели подвергались особым гонениям, потому что писали, выходя иногда далеко за рамки дозволенного, и к тому еще сами защищали гонимых. Власти этого терпеть не могли. Защита человека человеком, то самое милосердие, о котором с легкой руки Даниила Гранина сейчас часто пишет советская пресса, тогда приравнивалась к числу самых ужасных государственных преступлений. До 1968 года довольно многие писатели позволяли себе подписывать какие-то петиции и обращения в защиту ближнего. В 1968 году все подобные подписанты были наказаны, и всем было ясно дано понять, что тот, кто пикнет, будет наказан, и наказан жестоко. И почти все намек поняли. А некоторые единицы не поняли или не захотели понять, и с ними, как однажды выразился Сталин, поступали «по-вражески». Всех, всех до единого, кто после 1968 года вступился открыто хоть один раз хотя бы за одного человека, исключали из Союза писателей, переставали печатать, лишали куска хлеба и выживали из страны иногда даже очень зверскими способами. В свое время всех перечисленных мною выше писателей повыгоняли из дому. А вместе с ними, до них или после выгнали еще Синявского, Бродского, Аксенова, а к этому списку можно добавить еще и тех, кого прямо не выгоняли, но и жить не давали, как например, Коржавину.

Короче говоря, в конце концов довольно большая компания русских писателей оказалась на Западе. Жили мы здесь все довольно по-разному, и вообще местоимение «мы» к нам ко всем даже не очень подходит. Потому что мы здесь не состоим ни в одной партии, ни в одном союзе, мы даже живем в разных странах. Поэтому обо всех говорить не буду, скажу о себе. Лично я все восемь лет своего пребывания на Западе жил в ожидании перемен в Советском Союзе и очень надеялся до них дожить. И когда в июне прошлого года меня повезли делать операцию на открытом сердце, я прямо чуть не умер с досады. И, неужели, думаю, вот ведь совсем как будто чуть-чуть осталось, а не доживу? Неужели повторю судьбу Некрасова или Тарковского и отдам Богу душу, самую малость не дотянув? Через пару дней после выхода из наркоза мне принесли статью Эльдара Рязанова обо мне. Статью очень добрую, с нее, собственно, и началась моя реабилитация. Прошло совсем немного времени, и меня печатают, да так обильно, как мне никогда даже и не снилось. И все в общем-то хорошо. Или почти хорошо. Вот бы и радоваться. А я и радуюсь. Но не совсем.

Может быть, кто-то читал мою сказку о недовольном. Там речь о человеке, которого ни за что приговорили к расстрелу. Он, ясное дело, был недоволен. Его помиловали, заменили расстрел лагерем. От него опять никакого спасибо. Перевели из лагеря в ссылку, а он все недоволен. Вот так, примерно, и я.

А почему? Попробую объяснить. С некоторых пор разные советские авторы по собственной инициативе и в условиях благоприятно сложившейся ситуации стали внушать читателю очень простую, но, как выяснилось, для многих неожиданную мысль, что эмигранты не все палачи, не все предатели, не все служили в гестапо или в каких-то разведках, не все живут под мостами и не все питаются, как выразился некий изящный словесник, «на шикарных парижских помойках». А выяснилось, что многие попавшие сюда русские успешно здесь пишут, рисуют, ваяют, танцуют, и вообще они для чего-то кому-то нужны и, может быть, то, что мы с ними расстались, было все же неправильно. Авторы подобных статей разные, и мысли у них тоже неодинаковые. Одни хотели бы вернуть этих людей, других больше интересуют бизнесмены, и даже не они, а их капиталы, третьи считают, что эмигрантам лучше вовсе не возвращаться, а пусть там, где живут, будут

нашими патриотами. Надо сказать, что идея в общем-то нереальная. Люди, если уж они переехали куда-то навсегда, хотят быть патриотами тех стран, где живут они и их дети. Например, в Америке, будучи еще свежим эмигрантом, я никак не мог привыкнуть к тому, что если русский говорит «мы», он имеет в виду «мы — американцы».

К слову, по поводу местоимений. Когда в советской прессе появились первые неуверенно положительные упоминания эмигрантских имен, я заметил, что многие авторы все время и мучительно решают для себя вопросы, что объединяет и что разъединяет «нас», то есть «их», и «их», то есть «нас». Некоторые в этих «мы» и «они» совершенно запутались. Меня, честно говоря, это удивляло и удивляет до сих пор. Кто это вы? Кто это мы? Я помню, когда-то мы все говорили «они» про тех, кто нас тиранит. Но, скажем, своих друзей и вообще более или менее угнетенных писателей я всегда причислял к своей компании и если говорил «мы», то разделительной чертой была для меня не государственная граница. Теперь читаю даже и в самых доброжелательных отзывах: «мы» очень четко делимся на «нас», которые здесь, и «их», которые там. Что же, может быть, так и должно быть.

Но пойдём дальше. Последнее время в советской печати статьи, причем большие, иногда на целую газетную полосу об эмигрантах и о том, как с ними быть, пошли косяком. Даниил Гранин в «Известиях», Григорий Поженян в «Советской культуре», Леонид Почивалов в «Литературной газете» пишут фактически об одном и том же. Надо изменить отношение к эмигрантам, надо понять, кто из них чего стоит, надо дать им возможность вернуться на родину. Но как вернуться, это вопрос. Помиловать или реабилитировать? Извинить или извиниться? Вернуть отнятое гражданство или необязательно? На эти вопросы точнее и циничней других отвечает, пожалуй, корреспондент «Правды» В. Большаков. В своей статье в «Правде» он высмеивает своих коллег, которые еще даже не извиняются перед эмигрантами, а только пытаются выяснить. «А вот если бы перед вами извинились, пригласили на родину друзья или творческий союз, вы вернулись бы?» Надо сказать, что сама по себе такая форма разведки (что будет, если мы извинимся?) довольно бестактна. Если считаете себя виноватыми, извинитесь, потом увидите, что получится. Но Большакову и эта форма кажется слишком унижительной. И он решает вопрос просто и

на своем уровне окончательно. Конечно, жаль, что вы больше не с нами, но унижаться, и извиняться, и выяснять, что будет, если извинимся, не надо. «Есть, — говорит он, — барьеры, перешагнув которые, не возвращаются».

Возражая Гранину, предложившему вернуть гражданство тем, у кого оно отнято, Большаков говорит так: «При всей справедливости такой постановки вопроса задумаемся, а следует ли это делать чисто механически? А сочетаются ли наш «молоткастый, серпастый» и, скажем, Солженицын, идеалом политического устройства России которого по-прежнему остается самодержавие? А Василий Аксенов? А Максимова, Гинзбурга, Буковского, Зиновьева тоже прикажете записать в советские граждане, хотя бы они этого или не хотят? Да они сами от такой перспективы проснулись бы в холодном поту!»

Все, конечно, четко объяснено, но неправильно. То или иное гражданство не должно быть связано с идеологическими основами, и идеалами любого гражданина может быть самодержавие или другое государственное устройство. Например, члены британской компартии вряд ли являются сторонниками монархии, но это несколько не мешает им быть подданными ее величества. Отменять те или иные неправильные решения — это не значит обязательно возвращать что-то. Например, приговор по делу Бухарина отменен, но отнятую жизнь ему вернуть никто не может. С гражданством несколько иначе. Указы о лишении гражданства должны быть безусловно отменены как незаконные. Хорошо бы еще при этом выразить сожаление. Всем, всем, включая даже самых отъявленных монархистов, если таковые имеются (в чем я не уверен). А само гражданство — это уж пусть каждый сам лично решает. Кто захочет, возьмет, кто не захочет — не захочет. Тоже, между прочим, после всего, что с некоторыми вытворяли, понять можно.

Во многих статьях об эмигрантах мелькают постоянно два призыва: милосердие или великодушие. Оба никак к теме не подходят. Великодушие, оно больше применимо к преступникам. К тому, кто кого-то убил или что-то украл, можно проявить великодушие. Учитывая среду, родителей, плохое воспитание или психическое расстройство. А милосердие надо проявлять к больным или несчастным, но не к тем, кого сам обидел. А то до того с этим милосердием далеко забежали, что критик Анатолий Лан-

щиков, дискутируя с Игорем Золотусским в «Литературной газете», считает, что публикация в «Юности» моего романа «Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина» — это — надо же! — акт милосердия. Выходит, что литература — это какая-то богадельня. Хотя, конечно, богадельней она была и отчасти ею остается, но (к счастью или к несчастью) не для меня. В своем споре с Золотусским Ланшиков идет еще дальше. На вопрос Золотусского, не пора ли перед эмигрантами извиниться, он говорит: «Нам виноватиться пока преждевременно. Ведь не грех будет «возвратившимся» сходить да повиниться на могилки А. Яшина, Н. Рубцова, В. Шукшина, К. Воробьева, В. Курочкина, Ю. Трифонова, Ф. Абрамова, И. Акулова... Только все это должно происходить не в приказном, а в сугубо добровольном и интимном порядке».

Надо же, какая спесь! «Нам виноватиться преждевременно». Кому это вам? Если вы себя лично на «мы» называете, то вам «виноватиться» надо, может быть, только перед русским языком. А если вы, скажем, от имени Союза писателей выступаете, то вам вашу черную совесть никакими «виновачениями» вовек не отмыть. А насчет похода возвратившихся на могилки, то я прежде всего хотел бы узнать, а кто они, возвратившиеся? Кто уже возвратился? А если и возвратился, то в чем виноват он перед перечисленным списком, включая, например, совершенно неизвестного мне Акулова? Вот Золотусский правильно сказал, что русскому литератору могилы Александра Яшина и Виктора Некрасова одинаково дороги. Но к этим могилам и к тем, которые перечислил Ланшиков, я бы добавил могилы Константина Богатырева, Анатолия Марченко, Юлия Даниэля, Вадима Сидура, Александра Галича, генерала Петра Григоренко. Перед этими людьми, Ланшиков, вы не прямо, нет, но косвенно виноваты, что ни разу никогда в защиту хотя бы одного из них ни слова не сказали.

1989

Summit

Недавно в голове Михаила Сергеевича состоялось совещание на высшем уровне. Встречались президент СССР и генеральный секретарь ЦК КПСС. Оба симпатичные, похожие друг на друга, как близнецы. Но по характеру разные. Один — демократ, реформатор и вольнолюбец,

поклонник Вольтера, Монтескье и Томаса Джефферсона. Другой — коммунист, ретроград, аппаратчик, читал только Ленина, изучал Сталина, воспитывался у Брежнева, Андропова и Черненко. Первый явился со своими заместителями и министрами, а второй с секретарями по идеологии, промышленности, сельскому хозяйству и оргпросам. Оба, конечно, с телохранителями и референтами.

Улыбнулись, пожали друг другу руки, сели по разные стороны стола.

— Ну вот, — сказал генеральный секретарь, — рад тебя видеть. Особенно в таком окружении. Павлов, Язов, Крючков, Пуго. Хорошие ребята. Проверенные бойцы, стойкие коммунисты. Эти от генеральной линии и сами не отойдут и тебе не позволят. Не то что эти твои радикалы... эти... как их... не буду о них вспоминать. Как идет перестройка?

— Как тебе сказать? — замылся президент. — Сам знаешь, плохо идет.

— Плохо? — радостно откликнулся генеральный секретарь. — Это хорошо, что плохо! Плохо было бы, если бы перестройка шла хорошо.

— Оригинальная точка зрения, — оценил президент. — Значит, ты против перестройки?

— Почему уж так. Я не против. Я за перестройку, за самую радикальную перестройку, но только в рамках социализма.

— Что значит в рамках социализма? Свобода вообще никаких рамок не знает.

— Как это, не знает? И что значит свобода? Свобода — это осознанная необходимость.

— А мне Крючков говорил, что «Свобода» это такая радиостанция.

— Да, есть, такая, очень, между прочим, враждебно к нам настроенная.

— И Крючков так же говорит.

— Крючков говорит правильно, как всегда. Ты вот его и слушай.

— А другие говорят, хорошая радиостанция. И гонорар платят валютой. Один раз десять минут выступишь и сразу тебе дают денег столько, что можно телевизор купить.

— Правильно. Десять минут выступишь, купишь телевизор и потом десять лет будешь смотреть программу «Время».

— Вот уж чего я не хочу, того не хочу. Программ «Время» я еще в брежневские времена посмотрелся. А теперь я хочу смотреть только ТСН в СИ-Эн-Эн. А «Время» мне твое и даром не нужно.

— Что значит твое? Мое? Это время наше, мой друг. И передача наша. Ты помнишь, как бывало при Леониде Ильиче, все смотрели и ничего. Смотрели, как его награждали всякими такими вот орденами.

— Смотрели и плевались.

— Плевались, конечно, не без того. Впрочем, плевались незаметным для других образом. Плевались, но при этом понимали, что, пока мы награждаем нашего вождя орденами, до тех пор ничего с нами плохого не происходит. Все хорошо, все правильно, сегодня ему орден дадим, завтра — премию, послезавтра — золотое оружие. Будет день — будет пища. Может, давай и друг другу начнем давать ордена. Нам с тобой по шестьдесят лет стукнуло. А у нас даже на двоих еще ни одной Золотой звезды нет.

— Видать, не заслужили. Видишь, с экономикой что творится, цены растут, деньги дешевеют, продукты исчезают, дефицит расширяется, все по талонам и за всем очереди.

— А кто виноват? Ты. Не надо было начинать перестройку.

— Нет, надо было. Но надо было начать и вести ее до конца.

— Но не выходить за рамки социализма.

— Да какие там рамки! Ты посмотри, что происходит. Донбасс, Кузбасс, Минск — везде забастовки. Народ требует твоей отставки.

— Извини. Они требуют отставки президента. А генерального секретаря они куда не трогают.

— Они просто думают, что между ними никакой разницы нет, потому и не требуют. Если бы мне от тебя освободиться, я бы вышел к народу, сказал бы: «Братцы, вот он я, беспартийный».

— Этого я тебе как раз позволить не могу.

— А Ельцыну позволил.

— Ну, знаешь, ты мне нужнее.

— Я тебе нужнее, ты меня за горло держишь, а Ельцин тем временем очки набирает. За Россию держится.

— А ты держись за Союз. Он побольше.

— Да что толку? Союз-то разваливается. Литва отко-

лолась, Грузия откололась, Латвия и Эстония собираются, в Осетии война уже началась, а в Карабахе еще не кончилась.

— Что за упаднические настроения? Ты же все-таки пока еще коммунист. Должен обладать оптимистическим мировоззрением, сознавать, что, какие бы ни были трудности, мы их преодолеем, и, как Ленин сказал, неизбежно придем к коммунизму. Ты сам-то в коммунизм веришь?

— Правду сказать?

— Правду говорить нужно в церкви священнику. А генеральному секретарю нужно говорить то, что нужно. Если дело у нас так серьезно обстоит, как ты говоришь, какой, по-твоему, выход из положения?

— Надо идти дальше. Надо узаконить свободный рынок, частную собственность, частную инициативу, упразднить совхозы, распустить колхозы, разогнать коммунистическую партию и провести свободные выборы всех, включая президента.

— Но это значит — отказаться от всего нашего прошлого и от нашего строя. На это мы пойти не можем. Мы должны все-таки искать, что можно сделать в рамках социализма.

— Я тебе говорю, что в рамках социализма ничего сделать нельзя.

— Можно. Мы в рамках социализма создали великую державу, победили фашизм и первыми вышли в космос.

— Это было возможно с помощью командных методов, которые мы сами же решительно осудили.

— Надо было, осудили, а теперь одобрим. А потом снова осудим. Мой отдел пропаганды, слава богу, еще работает, газета «Правда», регулярно выходит, и телевидение тоже, сам видишь, оно опять наше.

— Однако командные методы теперь не пройдут. Народ за эти годы кое-чему научился и поумнел.

— Слишком поумнел. Уже никто ни во что не верит. Бардов наших послушаешь: они поют про каких-то поручиков и корнетов, телевидение хотя и наше, но, как телевизор ни включишь, там то попы, то голые бабы.

— Это как раз ничего. Когда жрать нечего, пусть хоть на баб поглядят. Не нас же с тобой им показывать.

— Вот ты никак не поймешь. В том-то и дело, что нас. Я же тебе говорю, Леонид Ильич восемнадцать лет с экрана не слезал, и люди смотрели и никто не бунтовал, не

бастовал, никто его отставки не требовал. Был порядок.

— Этот порядок на страхе держался. А теперь люди ничего не боятся.

— Пока не боятся, а если одного, другого, третьего расстрелять?..

— Ни в коем случае. Забудь про такие методы. Я этого допустить не могу. Меня все знают как человека нового мышления. Как демократа и гуманиста...

— Тогда посадить.

— И это нельзя. Ты даже не представляешь, какой на Западе поднимется вой. Мы с таким трудом добивались доверия и тут же его теряем. Возникнет новое противостояние, причем в худшей позиции. Уже без Варшавского договора, без ГДР, даже без Никарагуа. К тому же нам будет немедленно отказано в финансовой помощи, а нам для того, чтобы восстановить экономику, нужно по крайней мере 25 миллиардов.

— Всего 25 миллиардов? Интересно. Семьдесят с лишним лет страну разоряли, а за 25 миллиардов можно все снова восстановить. Тогда, может, что-нибудь продадим? Золото?

— Почти все разбазарили.

— Нефть?

— Уже самим не хватает.

— Да, дело плохо. Слушай, но ведь у нас есть еще кое-какие ресурсы, которые мы пока что не трогали. Я имею в виду землю. Ведь у нас ее до черта. Александр Второй в прошлом веке продал Аляску американцам, и ничего, обходимся без Аляски. А у тебя японцы, я слышал, предлагали купить Курильские острова за 200 миллиардов долларов.

— Вранье это все, — нервно закричал президент. — Никто мне ничего не предлагал. Это все кооператор Артем Тарасов выдумал. Совсем, совсем выдумал.

— Жаль. А я-то надеялся. 200 миллиардов — деньги большие. Если восстановить нашу экономику можно всего за 25 миллиардов, то на 200 мы могли бы еще восемь раз всю страну разорять и опять восстанавливать. Семьдесят лет разорять, потом восстанавливать, потом опять разорять. Умножь семьдесят на восемь, и выйдет, что пятьсот шестьдесят лет мы могли бы жить при социализме и без всяких твоих перестроек. А у нас же еще есть и Сахалин, и Камчатка, и Чукотка...

— Стоп! Стоп! — остановил президент генсека. — Я

родиной не торгую. К тому же военные не позволят и, — он понизил голос, — КГБ будет против.

— Тогда какой же выход? — спросил генсек. — Продать острова невозможно, выходить за рамки социализма нельзя, а оставаться в рамках бессмысленно. Значит, все-таки надо возвращаться назад.

— Нет, — сказал президент, — надо идти вперед.

Спорили, спорили, в конце концов пришли к компромиссу: делать шаг вперед, а потом шаг назад, а потом снова вперед, а потом снова назад. А в процессе движения туда и сюда повысить цены, ввести карточки, начать смешанное патрулирование, объявить президентское правление, перейти на военное положение.

На том порешили и на том разошлись. Генеральный секретарь вышел наружу через правое ухо. Президент пошел сначала в левое ухо, а потом передумал и вышел вслед за генсеком.

А Михаил Сергеевич остался в комнате один.

Ему было грустно, он задумался и стал перебирать в памяти совсем недавнее прошлое. Вспомнились первые шаги перестройки: Поездки за границу. Встречи с Рейганом, Тэтчер, Кодем и Миттераном. Вспомнился неизменный триумф в западных столицах, море голов, лес рук, восторженные и умиленные лица, заплаканные глаза. «Горби! Горби!» — кричали ему, забрасывая его и его супругу цветами. А потом стало вспоминаться все попеременно. Встреча с Сахаровым, разговор с Гавелом, только что вышедший из типографии «Архипелаг Гулаг», кусок берлинской стены и золотой кружок медали Нобелевского лауреата, которую не зря же он получил. Ведь с его именем связались и освобождение политзаключенных, и гласность, и свободная пресса, и освобождение Восточной Европы и то, что люди перестали бояться войны.

«А зачем же я все это делал? — подумал он вдруг оторопело. — Ведь был же у меня, наверное, какой-нибудь план».

И в самом деле. План, кажется, был, но какой именно, Михаил Сергеевич, сколько ни напрягался, вспомнить не смог.

Чеширский кот в дворянском собрании

В середине июля мне в Мюнхен пришел пакет. Обратного адреса нет, почтовый штемпель размазан, марки на конверте английские, но бумаги внутри написаны по-русски и составлены в Москве. То, что сочинено в одном месте, а пришло из другого, раньше меня бы не удивило. В застойные времена люди опасались, что послание попадет не по адресу, и официальной почте не доверяли. Некоторые, привыкнув к подпольному существованию, и сейчас не очень-то доверяют. Недоверчивыми оказались и отправители пакета, хотя люди они вроде совсем не подпольные и пишут от имени не кого-нибудь, а Верховного Совета России. В таком случае, как мне кажется, посылать бумаги не прямо, а с какой-то левой оказией даже и некрасиво.

Хорошо. Стал разбирать я эти бумаги, вижу: приглашение. На Конгресс соотечественников, который состоится через месяц в Москве. Вообще-то, следовало бы известить меня об этом пораньше. Потому что у меня могут быть другие планы. Но попрекать, кажется некого.

Приглашение начинается: «Уважаемый господин Войнович»... Честно говоря, меня такое обращение всегда немного коробит. Ну, почему бы, шлю я мысленный вопрос безымянным организаторам конгресса, почему бы вам, если вы действительно желаете видеть меня среди вас, не выбрать эпитет потеплее? По неписанным правилам обращения одних лиц к другим, «уважаемый» обычно выдавливают сквозь зубы. В пределах минимального лимита вежливости для тех, кого на самом деле уважают не очень. (Раньше так бывало, если хотели пренебрежительно кого-нибудь окликнуть, употребляли: «Эй, уважаемый!»)

Я часто из многих стран получаю приглашения быть гостем чего-нибудь и на всех языках приглашающие пишут «многоуважаемый», «глубокоуважаемый», «очень уважаемый», а на английском обязательно «дорогой». Причем в русской традиции вежливые люди обращаются к адресату не по фамилии, а по имени-отчеству. А тут авторы словно боятся, как бы не переборщить, как бы не слишком расщедриться на слова и не разориться душевно. Как начали, так и закончили. Ни «до свиданья», ни «до скорой встречи»; не говоря уже о более сердечной

форме, вроде как «с уважением» (глубоким, искренним или каким-то еще). Или, как было принято у наших предков: «с совершейнейшим к Вам почтением». Или, как пишут и сегодня американцы: «Предвкушаю удовольствие от встречи с Вами». Право, напиши приглашающие как-нибудь в этом духе, рука не отсохла б.

Куда там! Даже подписи никакой человеческой нет, даже и закорючки собственной своею рукой никто не потрудились поставить. Зато потрудились насчет другого.

Приглашая меня на конгресс, анонимные устроители сожалеют, что не могут оплатить дорогу. Я тоже сожалею, но понимаю. Соотечественников у нас за пределами отечества, благодаря многолетним усилиям партии и правительства, очень много, а дорога стоит недешево. Но зато все остальные расходы, гостиница, питание, театры, церкви, музеи, стадионы и поездка в один из семи городов, кроме Москвы, организаторы Конгресса берут на себя.

Я хотел бы уже сказать «большое спасибо», но читаю дальше и вижу, что мне предлагается за бесплатные удовольствия в Москве заплатить 300 долларов. А если привезу с собою жену, то полторы сотни добавить и на нее. И указывается отделение банка, куда я должен направить эти самые доллары. Доллары американские, банк английский, а отделение его находится почему-то в графстве Чешир, которое для меня ассоциируется не столько с твердой валютой, сколько с мягким чеширским говорящим котом из сказки «Алиса в стране чудес». Доллары я должен послать в это графство, а на что они будут потрачены, на покупку чеширского кота в мешке или на что другое, устроители Конгресса меня не информируют: это, видать, не мое дело. А я желал бы все-таки знать. Потому что эти зеленые листики долларов, они на дереве у меня не растут. А хоть бы и росли...

Однажды в столице восточной страны, не успев свернуть с главной улицы, как был окружен ватагой малолетних оборванцев, которые тащили меня за штаны и кричали: «Дядя, дай доллар!» Не то ли происходит в Советском Союзе? Третий год, как я стал въездным в собственное отечество, и охотно этой возможностью пользуюсь, но с первого въезда и доныне, ни разу ни от кого не услышав «извините», все время слышу: «Дай доллар!» То за гостиницу, то за железнодорожный билет, то за билет театральный, а теперь вот и за Конгресс.

Мне и раньше приходилось бывать на разного рода конгрессах, конференциях или симпозиумах. Там мне иногда платили гонорар за участие, иногда не платили, бывало, я отказывался от него добровольно, из благотворительных соображений, но чтобы я платил за удовольствие быть вашим гостем, это уж, как говорится, извините, подвиньтесь. Я в этом вижу попытку меня унижить и поставить в неравное положение с вами. Я буду платить за то, что я вас увижу, а вы будете смотреть на меня бесплатно.

Дальше неравенство углубляется. Из полученных бумаг я узнаю, что зачислен в список участников круглого стола «Литература и искусство России XX века и российского зарубежья». В списке четыре группы имен: советские участники, участники-эмигранты (я среди них), иностранные ученые и почетные председатели в количестве шести человек. Почему именно они, я не знаю. В составе шестерки есть одно лицо, которое я весьма почитаю, другое, которое не почитаю совсем, третье, которого я не знаю, оставшихся трех уважаю, но не больше, чем многих других.

Если бы кто-то поинтересовался моим мнением, я бы сказал: круглый стол потому и круглый, что за ним все равны, все одинаково почитаемы. Быть почитаемым ниже или даже выше других я не согласен.

Открытие Конгресса состоится в Колонном зале, или, как указано в скобках, но не без намека — в Дворянском собрании. Перед фамилиями некоторых участников Конгресса обозначены их дворянские титулы. Два Толстых своих титулов не указали, хотя могли бы. А вот как остальные? Простолюдины, что ли? Если так, то откуда взялись? Я вижу, многие люди, с тем же усердием, с каким раньше подбирали себе пролетарское прошлое, теперь бродят по архивным дебрям в поисках своих родословных деревьев, а не найдя, рисуют их по воображению. По воображению же удлиняя корни и протягивая их поближе к Рюрику. По прочтении некоторых теперешних изысканий, мне уже порой кажется, что все российское население до нашествия большевиков состояло сплошь из родовитых дворян.

А на самом деле какие уж мы дворяне, если друг к другу даже обращаться с достаточным почтением не умеем! Никаких дворян у нас давно уже нет. А есть советские люди. Которые то крушат церкви, то расширяют

лбы в молитвах, то делают партийную карьеру, то из партии картинно выходят и выходят из грязи в князи. Понятие «дворянство» в нашем представлении связано не только с благородностью происхождения, но и с благородством души. А некоторые нынешние дворяне (те самые, с хорошими пролетарскими анкетами*) еще недавно вели себя так гнусно, что по достоинствам своим заслужили место не в Дворянском собрании, а на конюшне.

Поедем дальше. В полученных мною бумагах нашим конгрессменам обещана обширная религиозная программа с богослужениями в храмах всех конфессий. В конкретном же расписании никаких синагог, мечетей, костелов, баптистских или буддистских молелен нет. Зато основной, как сказали бы некоторые, корневой, религиозной программой программа весьма и весьма насыщена. Или даже перенасыщена.

Вот как расписаны два дня накануне открытия Конгресса: «18 августа (воскресенье). 8.00 — Завтрак. 8.30 — Религиозная программа: Отъезд в Троице-Сергиевскую Лавру: в программе присутствие при богослужении в Успенском соборе, осмотр Московской Духовной академии и семинарии, церковно-археологического кабинета, просмотр церковных фильмов. 9.30 Присутствие при богослужении в храмах: Патриарший Богоявленский собор, Троицкий собор Данилова монастыря, храм Воскресения Словущего в Брюсовском пер., Троицкий храм на Ленинских горах, Преображенский храм на Ордынке, Николо-Кузнецкий и Николо-Хамовнический храмы. 10.00 Посещение воздушного парада в Тушино...»

Не понимаю, что это значит. В течение одного часа махнуть за семьдесят километров от Москвы, отстоять службу в соборе, осмотреть два учебных и одно научное учреждения и просмотреть кинофильмы — неужто это возможно? Или, может, наших богомольных конгрессменов в Загорск будут доставлять на реактивных самолетах и там катапультировать? А затем бегом в собор, вприпрыжку по академии, галопом по семинарии, на повышенной скорости прокрутили церковные фильмы, и, быстрее звука, назад, в Москву. В Москве: за полчаса — шесть богослужений и тоже бегом, потому что ровно в десять нам уже в Тушине будут показывать мертвые петли и затяжные прыжки.

* Например, Сергей Михалков.

Ну ладно, может, со временем в программе второпях как-то кто-то что-то напутал. Но все остальное — смешение несовместимого до пошлости. Бесконечные богослужения (даже для самого набожного человека чересчур), цыганский хор, казачья поэзия (что это такое?), показательные выступления парадной казачьей полусотни, дворянское собрание, почти переименованный Ленинград, совсем переименованный театр имени Ленинского комсомола и сохранивший свое название теплоход «Михаил Шолохов» с немецким пивом опять же за американские доллары. В этой мешанине названий, символов ценностей, понятий и попыток не упустить своего, мне кажется, слишком много безвкусыя и бесстыдства.

Я считаю, что Конгресс соотечественников — дело исключительно важное. И именно поэтому проводить его надо с умом и тактом. Программу его надо было сочинять не келейно, а посоветовавшись со всеми будущими участниками. Выяснить их пожелания, какое именно участие, в чем и в какой форме они хотят принять. Проявить по отношению к ним не минимальную вежливость, а максимальную. И не пытаться содрать с них доллары, которых у них может не быть. Я понимаю, что государство наше поиздержалось на том, что нас же давило. Ну, если уж просить деньги, так у каких-нибудь американских, японских, немецких финансовых воротил или у чеширского банка. Или опять же продать на валюту нефть, иконы, алмазы, золото, икру, Курильские острова. Но обирать эмигрантов и нехорошо и бессмысленно: много ли с них возьмешь?

Почти одновременно с приглашением дошло до меня интервью Михаила Толстого (от 7.7.91), где он цитирует какое-то задевшее его замечание парижской газеты «Русская мысль» и говорит, что «как не доверяло российское зарубежье всем реформам, проводимым свыше в нашей стране, так и продолжает не доверять». Вот уж не понимаю, на чем строится такое обобщение. По-моему, оно от привычки мыслить объединяющими местоимениями «мы» и «они». На самом же деле российское зарубежье — это не страна, не народ, не класс, не партия, это люди, как правило, ничем не объединенные (только в некоторых случаях общими смутными воспоминаниями), люди очень разные: умные, глупые, хорошие и негодяи, недоверчивые и слишком доверчивые. Если какой-то Фома не верит в реформы, ну, и что с того? Проведите ре-

формы и оставьте Фому в дураках. Но нет, от Фомы требуют, чтобы он обязательно поверил вперед.

В Советском Союзе в некоторых кругах я вижу сейчас большую нацеленность на эмигрантов, которых можно назвать денежными мешками. Им наибольшее внимание, почтение и соблазны (вроде круиза на «Михаиле Шолохове»). Михаил Толстой в том же своем интервью говорит об этих людях: «Многие из них имеют высокий авторитет в мире бизнеса. Возможно, им предоставят двойное гражданство, чтобы они так же нормально чувствовали себя на родине предков, как и в той стране, где стали полноправными гражданами».

Значит, гражданство в первую очередь нужным людям? А ненужным как-нибудь попозже или вовсе не обязательно? Это меркантильное отношение к своим соотечественникам многим, правда, не нравится. И деловым людям тоже. Потому что деловые эти люди точно знают, что не стоит иметь дело с партнером, который, норовя у вас что-то урвать, сам при этом даже на вежливое слово скупится.

Деловые люди недоверчивы, но вовсе не в результате вредного влияния на них «Русской мысли». Они читают не «Русскую мысль», а «The Wall Street Journal» и «Financial Times». И кроме того они больше всего верят своим глазам. Они, конечно, могут приехать на Конгресс. Могут потратить триста долларов за то, чтобы посидеть между Львом Копелевым и Виктором Тростниковым за круглым столом, а вот насчет того, чтобы спустить три тысячи на речную прогулку на «Михаиле Шолохове», это уже как сказать. Деловые люди тем и отличаются от неделовых, что они попусту деньги и время не тратят. Поэтому на теплоходе роль делового человека скорее всего будет играть обыкновенный спекулянт и мошенник. Который, если вы ему для чего-то нужны, купит вам банку немецкого пива и всучит свою визитную карточку, где он будет обозначен, как президент или генеральный директор какой-нибудь мифической совместной корпорации по продаже рогов и копыт.

А истинно деловые, возможно, отстают службу в соборе, полюбуются аллюром с гиканьем казачьей полусотни и посетят театр имени Ленинского комсомола, может, слезу уронят, а может, раздраженно махнут рукой и отправятся восвояси. Видя, что здесь все еще слишком много гикают и с большим перебором тратят время на

всякие церемонии и ритуалы, а дела, в которое можно поверить, пока что нет.

Впрочем, за деловых людей отвечать не буду, а сам я на Конгресс не поеду. Я поеду тогда, когда меня пригласят заранее, приветливо и сердечно, с приложением достаточно уважительных прилагательных к моему имени-отчеству. Когда мне будет гарантирован почет не больший, но и не меньший, чем другим. Когда меня не будут считать дураком и вымогать деньги, которые я никому не задолжал. И вообще, когда на подобных конгрессах в своей стране я буду хозяином, а не гостем. Тем более, что вот уже год, как мне возвращено мое советское гражданство, я его принял и с того дня эмигрантом себя не считаю. Впрочем, в своем безусловном праве на свое отечество я не сомневался и до того.

Я заканчивал эту статью, когда дошли до меня публичные отклики критиков Конгресса с другой стороны. Эти критики выражаются словоблудно, но из блуда вычленяется очень простая мысль, что среди участников конгресса слишком много не русских, а русскоязычных, то есть евреев. А из русских все — сплошные непатриоты, то есть еврейским вопросом не озабоченные.

В газете «Литературная Россия» приводится список неприглашенных, озабоченных. На что тот же Михаил Толстой (в одном из следующих номеров «Литературной России» поспешно возражает, что приглашения им давно посланы. Среди перечисленных лиц и мюнхенский булочник, и бывший советский шпион (служил сначала в ГРУ потом в НТС), и участник Великой Отечественной войны, который доказал свою верность отечеству, сражаясь на русской земле, но в немецком мундире.

Я должен сказать, что если скликать россиян со всего света, то в некоторых случаях можно подбирать и таких. Учитывая сложность обстановки, в какой им приходилось делать свой жестокий выбор между двумя тоталитарными монстрами и за давностью лет, я бы простил им их заблуждения и даже некоторые (но не все) преступления. Но если они и сейчас проповедуют расистские бредни, — это значит, давний их выбор был совсем не случаен и их покойный фюрер Адольф Шикль-грубер мог бы ими гордиться. Эти люди сеют ненависть, и в то же время лицемерно призывают к согласию, которое на самом деле невозможно. Ни с той, ни с другой стороны. Лично я ни с одним фашистом ни к какому со-

гласию приходиться не намерен. С такого рода персонажами порядочные люди любой национальности не участвуют в одних и тех же конгрессах, не сидят за общими столами и даже не здороваются. В лучшем случае им протягивают два пальца и говорят: «Эй, уважаемый!»

1991

Новые правила при новых привычках

Советский Союз заканчивает свое существование, но советский человек будет жить еще долго. Приобретенные за семьдесят с лишним лет ухватки и привычки впитались в кровь настолько, что передаются по наследству и избавиться от них ближайшим поколениям можно будет разве что с помощью генной инженерии.

Когда я оформлял во Франкфурте свой билет до Москвы рейсом Аэрофлота, служащая аэропорта спросила меня, какое мне нужно место; для курящих или некурящих? Я спросил: а какая разница? Она мне объяснила, что разница простая: на местах для курящих пассажиры курят, на местах для некурящих они не курят. Я усмехнулся, но ничего не сказал. Объяснять ей, что на советских самолетах и для советских людей все эти правила не действуют, бесполезно.

С тех пор, как мне стало доступно въезжать в собственное отечество, наблюдаю за своими земляками там и здесь и не устаю удивляться особенности их манер. Вот они проходят паспортную и вещевую проверку. Ведут себя робко, угодливо, улыбаются каждому служащему аэропорта или полицейскому, кивают головами с тем напряжением лица, которое бывает у глухих, делающих вид, что прекрасно слышат. Они торопливо и невпопад кидаются исполнять непонятные им распоряжения и заискивают перед попутчиками, которые могут объяснить по-немецки или по-английски.

Но вот все позади, пассажиры входят в свой, советский, самолет, и, пока укладывают на полки свои вещи, с ними происходит метаморфоза: они здесь хозяева, у них здесь свои законы и своя иерархия. Спинки кресел откинули, ноги вытянули, руки запрокинули за голову — расслабились. Стюардесса объявила, что самолет готовится к взлету и надо: пристегнуть ремни — они не пристегнули, — поставить спинки сидений в вертикальное положение — они не сдвинулись с места. Объяснять, что

следует делать, если авария, стюардесса не стала, ограничившись сообщением, что соответствующая инструкция с картинками находится в сетке перед каждым сиденьем. Мои соседи и тут не пошевелились и на этот раз были совершенно правы, потому что инструкции ни передо мной, ни перед ними не было, и стюардесса (она ведь тоже советского воспитания) это тоже знала.

Нечего и говорить, что, как только самолет оторвался от бетонки, мои соседи, сидя на местах для некурящих, тут же, с наслаждением закурили.

За годы своего существования советские власти, от высших до низших, насочиняли столько бессмысленных изречений, обещаний, заклинаний, призывов, законов и правил, что к написанному слову люди относятся без малейшего уважения.

Есть такой анекдот. Человек подходит к киоску, на котором написано: «пиво-воды». Спрашивает у продавца: «У вас есть пиво?», «Нет». «А вода есть?» «Нет». «А у вас же написано «пиво-воды»? «Мало ли слово из трех букв где написано», — отвечает продавец. — «У меня на сарае написано, а я в нем дрова храню».

Всю жизнь мое поколение, и поколение моего отца, и поколение моего сына читали и видели везде перед глазами писанную бессмыслицу вроде «Партия и народ едины», «Учение Маркса всеильно, потому что оно верно», «Социализм — это учет», «Коммунизм — это советская власть плюс электрификация всей страны», «Ленин всегда живой, Ленин всегда с тобой». На протяжении всей советской истории в газетах и в школьных учебниках, на лозунгах и на плакатах и даже в технических инструкциях употреблялись слова, или не имевшие никакого смысла, или имевшие смысл противоположный. Поэтому в газете «Правда» нет ничего, кроме лжи, в ресторане нет ни одного блюда из перечисленных в меню, в магазине «колбасы» продается не колбаса, а кофейный напиток, кстати сказать, очень мало похожий на кофе. Из-за нехватки товаров и тары несоответствие слов и реалий присутствует и в домашнем быту. Хозяйки держат подсолнечное масло в бутылках с этикетками «Московская водка», — сслъ — в банках из-под халвы, гвозди — в коробках из-под печенья. Несоответствие наружной надписи тому, что находится внутри, — это одна из постоянных примет советской жизни.

К числу редких исключений относится Мавзолей. На

Мавзолею написано: «Ленин» и внутри его находится Ленин.

Хотя и на этот счет недоверчивые люди выражают сомнения, полагая, что в Мавзолею лежит вовсе не Ленин, а восковая кукла. Если это так, то надо признать, что кукла слеплена с большим искусством, чем та, что в лондонском музее мадам Тюссо. Тамошнего Ленина я, пройдя мимо него несколько раз, узнал скорее по кепке, чем по всему остальному.

«Ленин и теперь живее всех живых», сказал когда-то о создателе советского государства поэт Владимир Маяковский. Теперь государство это расплзается, как прогнившая тряпка, а живейшему из живых грозит переселение в царство мертвых.

Подкоп под священную мумию идет уже давно. Первое покушение совершил Марк Захаров. Потом его поддержал Юрий Карякин. Теперь в это же дело включились мэр Санкт-Петербурга Анатолий Собчак и всякие прочие известные и неизвестные лица. Большинство из желающих закопать обитателя Мавзолея поглубже, согласны считать, что Ленин (опять слова Маяковского) «самый человечный из всех прошедших по земле людей», полагают, что его не обязательно держать при этом в стеклянном гробу и выставлять напоказ. Это, говорят они, язычество. Это не по-христиански и вопреки воле покойного, который будто бы выражал желание быть похороненным рядом с матерью на кладбище в Санкт-Петербурге.

Противники выноса резонно возражают, что Ленин был убежденным атеистом и о христианских обрядах заботился меньше всего. Что никаких доказательств его желания быть похороненным рядом с матерью нет, и, если уж задним числом обращать покойника в христианство, то более естественно ему находиться поближе к жене Надежде Константиновне Крупской, прах которой замурован в Кремлевской стене за Мавзолеем, или хотя бы к любовнице Инессе Арманд, она тоже в двух шагах от Мавзолея покоится, разделивши одну могилу с американцем Джоном Ридом.

У противников переноса тела из Мавзолея в могилу есть дополнительный аргумент: они боятся, что останки любимого их вождя станут неодолимым соблазном для мародеров и мстителей. И опасения их не пустые.

В результате постоянного ухудшения уровня жизни

и расширения гласности мародерство стало более заметным явлением, чем раньше. Два года тому назад в Крыму разразился большой скандал, связанный с тем, что ночные охотники раскапывали могилы евреев, расстрелянных во время войны нацистами, и вырывали из черепов оставшиеся в них золотые коронки. Год тому назад произошел случай совсем уникальный. В Нью-Йорке умер корреспондент советского телевидения Дунаев. Тело его в полированном гробу с бронзовыми ручками самолетом было отправлено в Москву, но до получателя не дошло. Перерыли все склады Шереметьевского аэропорта и в конце концов покойника обнаружили среди каких-то технических грузов, голого, без гроба и без костюма. То и другое было украдено. Совсем недавний случай: повесившегося в августе маршала Ахромеева мародеры выкопали из могилы и содрали с него маршальский мундир.

Сторонники оставления Ленина в Мавзолее говорят: сейчас он находится под круглосуточной вооруженной охраной. А что будет с ним, если он останется в обыкновенной неохраняемой могиле? Сторонники захоронения резонно возражают, что и на обыкновенном кладбище убересть вечно живого мертвеца от мародеров можно разными способами, и один из них — провести в могилу электронную сигнализацию.

Пока ведутся споры о мумии — статуи Ильича и его ближайших соратников стаскиваются с пьедесталов жадными до зрелищ толпами с яростью, накопленной за многие годы слишком уж неистощимой покорности. После революции 1917-го года тоже разрушались памятники эпохи царей, но не с таким размахом. В сравнимых количествах сносились тысячу лет тому назад после крещения Руси деревянные идолы: их скидывали в Днепр, иплыли они один за другим к Черному морю. Коммунистических идолов в воду не бросают, они слишком громоздки и их слишком много. Некоторых из них кому-то, кажется, удалось продать за границу, но дальше дело застопорилось: предложение слишком сильно превысило спрос. Есть разные идеи использования сокрушенных памятников, но пока с ними обращаются как попало.

Это, может быть, покажется, странным, но, избавившись от бессмысленных лозунгов, плакатов, транспарантов, портретов и памятников, Москва лишилась даже тех

убогих украшений, которые у нее были, и от этого как-то потускнела.

Одна моя знакомая несколько дней назад приехала в Москву после чуть ли не двадцатилетнего отсутствия. Она сказала, что ходила по улицам и плакала. Город показался ей слишком серым, грязным и обветшалым. Стены домов осыпаются, крыши протекают, балконы, заставленные запасами картошки, капусты и всяким хламом, кажется, вот-вот обрушатся.

Дороги разбиты, вечерами освещение тусклое, по полутемным улицам среди ям и выбоин шарахаются из стороны в сторону автомобили, освещая свой путь почему-то только подфарниками. Город кажется моей знакомой кораблем, погружающимся в пучину. Причем ни пассажиры, ни команда, не пытаются уже спастись и не молят о помощи, а покорно, тихо и безнадежно идут на дно.

Мне лично та же картина видится более сложной. Корабль, конечно, терпит бедствие, команда в ужасе, а пассажиры в панике, но ведут себя все по-разному. Одни покорно тонут, другие спускают на воду шлюпки, третьи кидаются просто вплавь, четвертые перед тем, как покинуть корабль, пытаются свинтить с него и утащить что-нибудь ценное, пятые захватывают каюты первого класса, чтобы хоть перед концом отведать шикарной жизни, ну, а что касается капитанского мостика, то за место на нем честолюбивые люди, как и прежде, борются с риском для головы.

Под последними я подразумеваю прежде всего незадачливых возглавителей августовского путча. Не имея ни малейших оснований заподозрить этих людей в приверженности каким бы то ни было идеалам, я думаю, что только жажда власти толкнула этих людей на их отчаянный и безумный поступок.

В России всегда был актуальный вопрос, где ты был и что делал тогда-то. Чем занимался до 17-го года, где находился во время войны, во время застоя и т. д. Теперь самый ходовой вопрос в Москве: где ты был во время путча? Те, кто были на баррикадах, гордятся тем, что были на баррикадах, и укоряют тех, кто там не был. Генерал КГБ с гордостью пишет в газете, что он мог бы разнести эти баррикады за пятнадцать минут, и — с еще большей гордостью, что он этого не сделал. Поэтому баррикадники удержали свои позиции. А некоторым

пребывание на баррикадах так понравилось, что их и сегодня оттуда выбить нельзя: они там поставили палатки и живут.

В ключевые моменты истории всегда находится значительное количество индивидуумов, которые предпочитают один раз сразиться на баррикадах, тому чтобы всю жизнь нудно и кропотливо работать. Из подобного рода людей в Москве сложилась уже целая организация под названием «Живое кольцо», которая грозит перерасти то ли в политическую партию, то ли в военное формирование. Количество участников с каждым днем увеличивается.

Семьдесят лет назад Ленин принял участие в первом коммунистическом субботнике. Это событие запечатлено на известной советской картине, где Владимир Ильич изображен в момент несения им бревна. Вместе с ним бревно несут еще несколько человек. Потом из года в год те, кто нес это бревно вместе с Лениным, выступали с воспоминаниями о субботнике, причем с каждым годом число несших это бревно вместе с Лениным росло, и в конце концов по некоторым подсчетам достигло семи тысяч человек. Можно себе представить, каких астрономических величин через несколько лет достигнет число героев-антипутчиков.

Хотя Советский Союз благодаря гласности перестал быть самым надежным хранилищем государственных и всяких прочих тайн, некоторые секреты все еще остаются под такими замками, ключи к которым пока не подобраны. В числе подобных секретов — архивы КГБ и списки информаторов этого ведомства. Это, по моему, — одна из самых важных сегодняшних проблем, имеющая принципиальное значение для дальнейшего развития событий. Новый шеф КГБ Вадим Бакатин сказал, что в списках этих значатся чуть ли не семь миллионов фамилий, но раскрывать их нельзя, потому что это приведет к стихии бессудных расправ. Я лично так не думаю. Если штатные работники КГБ не боятся за свою жизнь, то и нештатным тоже особенно беспокоиться нечего. Тем более, что они живут рассредоточенно и направить на них концентрированный гнев народа или толпы не так-то просто. Толпу можно настроить на штурм здания КГБ, но вряд ли она в состоянии бегать за каждым стукачом по отдельности.

Дело не в семи миллионах, а в гораздо меньшем, но

очень влиятельном количестве людей, не желающих раскрытия этих архивов и этих списков. Потому что в списках этих не только какие-то мелкие информаторы, но и люди, занимающие самые высокие посты в СССР или в том, что еще осталось от этого государства. Когда я смотрю на нынешних президентов, премьер-министров, просто министров, депутатов, создателей новых партий, видных ученых, писателей и журналистов, я вспоминаю, что многие из них и раньше делали успешную карьеру, а это было бы невозможно при плохих отношениях с КГБ. И все эти люди постараются, чтобы жгучие тайны КГБ хранились крепко и долго.

Лиц, заинтересованных в сокрытии кагебистских секретов гораздо больше, чем можно себе представить. Среди них не только постоянные информаторы, но и те, кто когда-то где-то, может быть, очень давно кого-то со страху или по ошибке, или по глупости подвел. Или говорил что-то, о чем сейчас хотел бы забыть. Самые разные люди, в том числе даже и те, что никогда не вступали ни в какие отношения с КГБ, боятся раскрытия своих интимных тайн. Например, одна бывшая диссидентка сказала, что ей нечего скрывать от общества или народа, но она очень бы не хотела, чтобы к ее досье получил доступ ее муж.

Но похоже, что ей пока можно не волноваться. Комитет государственной безопасности продолжает работать и, как мне кажется, приблизительно в том же направлении, что и раньше. Недавно было объявлено, что подслушивание частных телефонных разговоров теперь сократилось на треть, но и Советский Союз тоже примерно на столько же сократился. Можно сократить на треть и количество стукачей, но если открыть их имена народу, то и остальные две трети сбегут. А КГБ без стукачей жить не может. Похоже, что и мы не можем жить без КГБ. Как-то уже привыкли, и если никто по пятам за нами не ходит, никто в замочные скважины не подглядывает, никто в трубках телефонных не шуршит, то нам как будто чего-то не хватает.

Правда, еще недавно не могли мы себе представить нашей жизни без КПСС. Или представляли в розовом свете: мол вот коммунистическая партия исчезнет и все будет хорошо. А она исчезла и ничего вокруг не изменилось. Отказавшиеся от коммунизма и от всех своих прежних святых нынешние власти издают новые зако-

ны и правила, но никак их в жизнь не проводят. Ограничиваясь только заседаниями и обсуждениями этих законов. А советский человек живет по-прежнему, то есть плохо, в чем-то даже хуже, чем прежде.

И все-таки... И все-таки не все в Москве сегодня — как прежде, или хуже, чем прежде. Что ни говорите, а лица людей на улице, в метро, в автобусах — открытей и веселей, чем прежде. В киосках, на улицах, в подземных переходах идет бойкая торговля газетами и журналами, каждый день я вижу какое-то новое название. Несмотря на дороговизну этих новых изданий и резкую инфляцию, по утрам в киоск стоит очередь. Все держатся раскованней и нормальней. Один мой немецкий друг приехал в Москву после пятилетнего перерыва и сказал мне, что Москва поразительно изменилась. Она стала беднее, но и живет, чем раньше. Он считает, что есть повод для оптимизма. Я с ним согласен. Я согласен и с героем моей собственной пьесы «Трибунал», который говорит: «Я оптимист. Я верю, что пройдет еще лет двести-триста, и все будет хорошо».

1991, октябрь. Москва

Два мира, два Шапиро

Вот давняя история или легенда.

Однажды в 40-х — корреспондент агентства ЮПИ Генри Шапиро, проходя мимо здания ТАСС, увидел валивший оттуда дым. Он позвонил в дверь. Никто не отозвался. Он позвонил по телефону. Трубку снял дежурный Соломон Шапиро.

— У вас пожар, — сказал ему Генри.

— А кто это говорит? — спросил Соломон.

— Шапиро.

Советский Шапиро решил, что его разыгрывают и бросил трубку. Американский Шапиро сообщил по телефону в Нью-Йорк, что в Москве горит здание ТАСС. Сообщение ЮПИ было по телетайпу принято советским Шапиро. Он открыл дверь в коридор и тут же убедился, что лживая американская пресса не врет — коридор был в дыму. Пожар как-то потушили, но память о нем сохранилась в шутке: два мира, два Шапиро.

Шутка эта приходит на ум мне всякий раз, когда я вижу разницу в образе жизни двух миров. Разница была и осталась огромной. Несмотря на перестройку, конвер-

сию, приватизацию, частное предпринимательство и прочие подобные вещи. Советская система рухнула, но советский человек остался советским человеком, он живет и действует по-советски. Переходя к рыночным отношениям, он надеется на то, что скоро станет миллионером, но не понимает того, что для достижения подобной цели надо работать и жить не так, как раньше.

Как-то пришел ко мне один новоиспеченный частный издатель. Раньше он работал в большом государственном издательстве и меня, как диссидента, не печатал. А теперь, став начинающим капиталистом, явился с улыбкой до ушей и надеждой заработать на мне кучу денег. Разумеется, я от него услышал, что он мой давний и страстный поклонник и ночи не спит, мечтая, чтобы моя книга в самое ближайшее время массовым тиражом вышла в его издательстве. Мы быстро обговорили условия, ударили по рукам и он удалился, сказав, что завтра ровно в десять утра явится ко мне с договором. Завтра он не явился. Послезавтра тоже. На следующей неделе я сам позвонил ему. Секретарша ответила: «Его нет» и бросила трубку. Я набрал тот же номер в третий раз: «А когда завтра?» Секретарша: «В четыре часа» — и бросила трубку. Мне пришлось пять раз звонить, а ей пять отвечать, чтобы выдать информацию, укладываемую всего в одну фразу. Завтра я четырежды соединялся с той же секретаршей, чтобы услышать, что ее шеф еще не пришел, и дважды, чтобы узнать, что он уже ушел. Я думал, что он пропал насовсем, но через месяц он явился, как обещал, с договором. И был очень удивлен, что я уже отдал книгу другому издателю, который обещал мне напечатать ее к концу прошлого года. Впрочем, с тем, другим, тоже ничего не вышло. В начале этого года выяснилось, что у него нет бумаги, картона, клея, краски и чего-то еще, из чего делаются книги. Теперь появился третий издатель, который обещает меня издать к концу текущего года. Мой приятель, опытный человек, советует на столь длительный срок не соглашаться, требовать издания в течение двух месяцев. «Тем более, — сказал приятель, — что он тебя все равно не издаст никогда. Но зато ты узнаешь об этом через два месяца, а не через восемь».

Отвыкнув от советского образа жизни, к нему трудно приспособиться снова. И трудно понять, почему, несмотря на переход к рыночным отношениям, свободное такси

не останавливается, официант уговаривает вас пойти в другой ресторан, в билете на поезд вам отказывают, а он отходит от станции полупустой. Всюду нечеткость, необязательность и нелюбезность, очень большое желание иметь деньги и очень большое нежелание их зарабатывать. От клиента, несущего деньги, все отбиваются, как от врага.

Пришла мне пора постричься. Зашел в парикмахерскую, только что приватизированную. Ну, думаю, частный бизнес, тут уж меня обслужат по высшему разряду. В коридоре за столиком сидит дама в очках и решает кроссворд. Иду мимо. Она меня останавливает: «Вы куда?» «Постричься». «Мужской зал не там, а там». Иду туда. Там под портретом Сильвестра Сталлоне в единственном кресле для клиентуры молодая парикмахерша старательно красит губы. Мне кажется, от этого процесса женщины обычно получают удовольствие, но на ее лице удовольствия не видно. Поворачивается ко мне и, не отрывая помады от губ, смотрит вопросительно.

— Здравствуйте, — говорю я ей.

— Здравствуйте, — печально отвечает она, предчувствуя нехорошее. — Что вы хотите?

Слегка удивившись вопросу, я объяснил, что в парикмахерскую прихожу обычно, чтобы постричься, а не для чего-то еще. Выслушала без улыбки.

— А у вас талончик есть?

— Какой талончик?

— Талончик на обслуживание.

— А разве нужен талончик?

— Да, нужен.

— А где его взять?

— В коридоре, у кассирши.

Возвращаюсь в коридор, к даме в очках.

— Оказывается, там нужен талончик.

— Да, нужен.

— А почему же вы мне сразу не сказали?

— А вы меня не спросили.

— Ну, хорошо. Дайте мне талончик.

— А какой именно?

— А какие у вас есть?

— Это зависит от того, как вы хотите постричься, хорошо или плохо.

— Вы знаете, я еще не видел ни одного человека, который хотел бы постричься плохо.

— Если вы хотите хорошую стрижку, это будет стоить сорок два рубля.

Называя столь высокую для советского человека цену, она надеется, что я заахаю и уйду. Но не на того напала. Сорок два рубля по нынешнему курсу — это не больше одной дойче марки, а в Мюнхене за такую же процедуру я плачу в пятьдесят раз больше.

Я заплатил за талон и вернулся в мужской зал. Парикмахерша, накрасив губы, приступила к ресницам. И в этот как раз момент опять появился я. Предъявленный ей талон она изучала долго, надеясь, очевидно, что он окажется поддельным. Потом с глубоким и откровенным вздохом уступила мне место в кресле, медленно оборачивала меня простыней и долго подбирала инструменты.

Наконец — принялась за работу. Работала медленно и неохотно. В глазах — тоска и отвращение к обрабатываемой голове. Я тоже стал постепенно впадать в уныние. Я понимаю, что мне далеко до Сильвестра Сталлоне, но и не столь же я отвратителен, чтобы смотреть на меня как на лягушку.

Последний раз перед тем я стригся в Мюнхене. Там была точно такая же парикмахерша, но она выросла в другой среде и знала, что клиентов надо привлекать. И она делала это весело и естественно. Она со мной весело поздоровалась, поинтересовалась, кто я и откуда, расспросила меня о моих родителях, о моих детях и о внуках, которых у меня нет. Она выразила восхищение густотой моих волос (а если бы их не было, то восхитилась бы лысиной). В конце с помощью двух зеркал она показала мне мой затылок, спросила, доволен ли я ее работой, и содрала с меня пятьдесят марок. Несмотря на цену, я ушел с желанием прийти сюда снова. От московской ее коллеги я ушел с надеждой никогда к ней не возвращаться.

Московская парикмахерша тоже хочет иметь много денег. Но она не думает, что для этого надо работать с охотой, надо нравиться клиентам, надо вызывать в них желание прийти опять сюда, а не куда-нибудь в другое место. Не зная этого, она работала так, как будто с ней случилось большое несчастье. Как девушка из хорошей семьи, отданная насильно в публичный дом. Потом бы-

стро и с явным облегчением отложила в сторону инструменты и стала стягивать с меня простыню, не поинтересовавшись моим мнением о ее работе.

— Вы уже закончили? — спросил я.

— Да, конечно.

— А вы не видите, что левый висок вы подстригли меньше, чем правый?

— Это вам кажется, — сказала она, почти не разжимая губ.

Ее состояние передалось мне настолько, что даже лень было злиться.

Но все-таки я сказал:

— Мне не кажется. Я смотрю в зеркало и правое ухо вижу, а левое нет, потому что оно закрыто волосами.

— Оно не закрыто, — возразила она.

— Но почему же я его не вижу? — спросил я.

— Наверное, потому что у вас плохое зрение.

— Но почему же я тогда вижу правое ухо?

— Ой, — сказала она не выдержав. — Надо же, какой вы капризный! Ну, хорошо, хорошо.

Она опять накинула на меня простыню, сделала символический взмах ножницами и отложила их в сторону. Борьба дальше было выше моих сил.

Пришла пора мне ехать в Мюнхен. Недалеко от меня на улице Большая Спасская — немецкое райзбюро. Недавно оно еще принадлежало Германской демократической республике, а теперь там написано Федеративная республика Германия.

Пошел я туда. Надеюсь, что родные немцы обслужат меня по-немецки.

В бюро полная дама говорит с кем-то по телефону. По-русски.

— Люсь, ты представляешь, мясо. Двести рублей кило. Двести рублей кило. Это ж офигеть можно.

При моем появлении отрывается от телефона с большой неохотой.

— Здравствуйте, вам чего?

Объясняю, что пришел не стричься, а за билетом.

Я понимаю, что говорить по телефону гораздо приятнее, чем работать. Делать однако нечего (все же немецкое райзбюро, а не российское), она кладет трубку и идет в другую комнату. Но на полпути остановилась.

— А вы знаете, мы здесь торгуем только за валюту.

— Я знаю.

Жаль, конечно. Идет дальше. Опять остановилась.

— А мы, между прочим, продаем билеты только иностранцам.

Она собралась уже вернуться к столу, позвонить опять своей подруге и обсудить цены на молоко, но я сказал ей, что я и есть иностранец. Мое сообщение настолько ее удивило, что она даже не рассердилась.

— Вы иностранец? Надо же! А так чисто говорите, что я бы никогда не подумала. Правда иностранец?

— Правда. Немец я.

— Да? А здорово как говорите! Небось, долго учились?

— Очень долго.

Ради иностранца можно и пошевелиться. Она ушла в соседнюю комнату, оттуда некоторое время доносился до меня возбужденный и неразборчивый шепот, наконец дама вернулась, а с ней еще две, немка и русская, обе растерянные, как будто они никогда не видели человека, желающего обрести билет. Они меня напряженно выслушали и сначала неуверенно, а потом с возрастающей страстью стали по-русски и по-немецки уговаривать, чтобы я билеты купил не у них, а непосредственно у компании Люфтганза, чей офис расположился в отеле Пента.

— Зачем же вам зависеть от нас? Нам для того, чтобы принять ваш заказ, надо выяснить, есть ли у Люфтганзы билеты. А вы сами туда пойдете и сразу все узнаете.

Ну, ладно. Отправился я в Пенту. И вы, читатель этих заметок думаете, что там-то, в капиталистическом учреждении, сразу стало все на свои места? Как бы не так! Там, господа, работают гордые советские люди, выросшие в условиях социализма. Получая зарплату в свободно конвертируемой валюте, они дорожат каждым своим словом и лишнего не говорят. С одной из них состоялся у меня примерно такой разговор.

— Мне нужен билет на Мюнхен.

— Дешевых билетов нет.

— А какие есть?

— Есть дорогие.

— А сколько стоят дорогие?

— Дорого.

— Меня интересуют конкретные цифры.

Она вздохнула.

— Семьсот шестьдесят пять долларов.

И посмотрела на меня с упреком. Зачем мол, спрашиваешь, если все равно не купишь?

— А дешевые билеты сколько стоят?

— А дешевые проданы.

— Ну, все-таки сколько?

— Пятьсот долларов.

— Чем отличаются билеты за пятьсот долларов от билетов за семьсот шестьдесят пять? Они что, разного класса?

— Нет. И те и другие — экономический класс. Но дешевые билеты надо заказывать не меньше, чем за семь дней.

— А я к вам пришел за девять.

— Ну и что?

Да, действительно, ну и что? Я должен был придти за семь дней, а пришел на два дня раньше, и это ничего не значит. Я пытаюсь рассуждать вслух и логически.

Раз я пришел к вам раньше, чем за семь дней, значит, вы мне должны продать эти билеты по льготной цене.

— Нет, — возразила она, — вы неправильно рассуждаете. Те билеты, которые продаются дешево за семь дней, проданы за двадцать дней.

— А еще через неделю есть льготные билеты?

Она постучала по клавишам компьютера и радостно сообщила мне, что и через шестнадцать дней тех билетов, которые продаются за семь дней, тоже не будет.

Конечно, будь я настоящим немцем, я бы ей поверил. Но, будучи не немцем, я знал, что с настоящим немцем она разговаривала бы иначе. Поэтому, вернувшись домой, я позвонил своей знакомой настоящей немке и сказал ей: «Барбара, пожалуйста, позвони в Люфтганзу и на твоём хорошем немецком языке спроси, как там в действительности дела обстоят с билетами». Барбара позвонила и ей сказали, что билетов на ближайшее воскресенье действительно нет. Но есть на субботу перед воскресеньем. И на всю неделю после воскресенья, на любой день, кроме, может быть, следующего воскресенья. Я понял, что действовал неправильно. Надо было спрашивать так: «У вас есть дешевые билеты на воскресенье?» И если нет, то выяснять насчет каждого дня. А на понедельник? А на вторник? И так далее, до тех пор, пока какой-нибудь день не совпадет с наличием билетов. А еще я понял, что в стране, где люди повсеместно тра-

тят столько сил, чтобы не работать, положение улучшится еще очень нескоро.

Между прочим, вернувшись в Мюнхен, я немедленно пошел поправлять прическу. Знакомая парикмахерша, принявшись за работу, деликатно спросила: «А где это вас так интересно стригли?» Не желая подрывать репутацию русских парикмахеров, я ей сказал, что время от времени меня стрижет моя жена.

— Оно и видно, — сказала парикмахерша и вздохнула. — Сейчас многие вроде вас стригутся у жен. А как же нам быть? Нам же тоже на что-то надо жить.

Я с ней согласился, но спросил, читает ли она книги.

— Нет, — сказала она, — работа, дети, муж, кино, телевизор, на книги времени не остается.

— В этом-то все и дело, — сказал я. — Вы книги не читаете и не покупаете и лишаете меня гонорара, на который я мог бы постричься.

Мы с ней посмеялись и посетовали на то, что наши профессии скоро никому не будут нужны. После чего я заплатил ей пятьдесят марок, на которые она могла бы купить две мои книги, но она этого, конечно, не сделала. Потому что у нее семья, большие расходы и стоит ли тратить деньги на ерунду.

1992

Кому во что сморкаться

Некоторые мои соотечественники, желая как-нибудь ущучить да побольнее автора этих строк, говорят: ах, он, такой-сякой, будет нас еще учить, как нам жить, как держать себя за столом и в какой руке держать вилку. При этом даже, как в прежние добрые застойные и дозастойные времена, доносят устно и пишут куда нужно письменно, что своими поучениями автор занимается, сидя на чужой шее. К чему автору, прямо скажем, не привыкать. Раньше он сидел на шее наших колхозников и рабочих, а теперь, по утверждению одного бойкого желтого доносителя, перелез на шею американского конгресса. Доверия которого, естественно, никак не заслужил. Как не оправдал в свое время доверия партии и правительства.

Впрочем, насчет того, кто на чьей шее сидит, эту тему мы отложим на другой раз, а по поводу поучений замечу, что в реальной жизни, увы, попадаютсЯ некото-

рые невоспитанные люди, которые вилку и в самом деле держать не умеют. Думают, что изготовлена она на каком-нибудь алюминиево-оловянно-литейном заводе исключительно для того, чтобы причесываться или ковырять ею в зубах. И хотя автор данного текста на самом деле особо заметной страстью к поучительству, по его мнению, не страдает, иной раз поневоле воскликнешь: «Эй, товарищ... или как вас по-нынешнему господин, сударь, да что же ты такое, мил-человек, делаешь? Ты же зуб ломаешь».

Я имею в виду зуб у вилки. И как же об этом можно не говорить, когда еще недавно в предприятиях общественного питания, то есть в те времена, когда и предприятие было и питание тоже... Так вот там, бывало, вилки не найдешь нормальной, а какую ни возьмешь, у одной один зуб сломан, у другой два, а та и вообще с одним-единственным зубом осталась, как баба Яга. В таком случае даже бесполезно учить человека, в какой ему руке такую дрянь держать, может, лучше даже вообще ни в какой. А взять кость, ежели она имеется, в руки и вгрызаться в нее с подобающим случаем урчанием.

Впрочем, ладно, об этом не буду, а то некоторые особо бдительные особы скажут, что американский конгресс меня нанял за СКВ со специальной целью: советского бывшего и нынешнего человека сбить с панталыку, чтобы он и вовсе, забыв про вилку, щи хлебал, как и прежде, лаптем, а лапшу с ушей через нос протягивал.

Хотя я на самом-то деле, заметьте себе, никого ничему не учу.

Но в жизни сплошь и рядом случаются разные поучительные истории, из которых каждый может сделать для себя определенные выводы.

Одна такая история приключилась давным-давно, в незапамятные времена еще первой мировой войны.

Некий немецкий генерал попал в плен к русским. Фамилия его была, допустим, фон Айзеншток. То есть, в переводе на русский язык, железная палка. Что, впрочем, в нашей истории роли никакой не играет. Тут важнее обратить внимание не на фамилию, а на приставку к ней: «фон», означающую высокородное происхождение.

Попал этот фон Айзеншток в плен на Западе, но отправлен был в края не столь отдаленные восточные, а

именно в Сибирь, где возбуждал собою всеобщее любопытство.

Потому что Сибирь хотя и большая земля, и многое повидала, но немецких генералов даже там водилось очень немного. А именно два. Сам фон Айзеншток и еще некий, назовем его Шмидт, который тоже попал в Сибирь через плен.

Оба генерала друг о друге чего-то слышали, но не встречались, поскольку Сибирь — земля и в самом деле столь велика, что два генерала вполне могут всю жизнь по ней туда-сюда ходить и ни разу не сойтись в одной точке.

Так что жили они поврозь и в новом быту совершенно погрязли.

Не знаю, как Шмидт, а генерал фон Айзеншток даже женился. Забывши про оставшуюся в стародевичестве саксонскую красотку Хайди, связал он свою судьбу с крупной сибирской женщиной Лукерьей Сикиной, которая родила ему за это двух близнецов.

Привык наш фон Железная Палка к новому житью-бытью, опростился, на местном сибирском диалекте говорил, как на своем родном мутершпрахе, а генеральство свое прошлое стал забывать, иной раз даже сомневаясь, было ли оно в самом деле или просто прибрелось.

Так бы оно шло и дальше, не случись в городе тогдашнему Петрограде катавасия, названная впоследствии Великой Октябрьской социалистической.

Пока катавасия случилась, пока слухи о ней докатились до сибирских далей, пока народ действительно понял, что катавасия эта в самом деле великая и пока дошло это до сознания генерала фон Айзеншток, протекло определенно неопределенное время.

А потом слухи дополнительные поступили, что и в генеральском хаймате также имеют место отдельные перемены к лучшему, и, короче говоря, на фоне полного переворота жизни решил наш фон направиться в сторону родимого фатерланда. Чем показал положительный пример нашим вчерашним соотечественникам. Которые, несмотря на теперешнюю тоже довольно великую катавасию, возвращаться в свой хаймат не торопятся.

А генерал наш заторопился. Но при этом забеспокоился: а кто ему даст разрешение на проезд или проход в нужную сторону. Время поскольку суровое. Повсюду, в том числе и в Сибири, гражданская война, власти ме-

няются, попросишь нужные документы, и не известно наперед, какая будет на то резолюция: разрешить, отказать или приставить к стенке.

Короче говоря, решил генерал пробираться на Запад, никого не спросясь, кроме Лукерьи Сикиной, в замужестве Лукерья фон Айзеншток. Отпусти, мол, майн шатц (то есть мое сокровище), доберусь до родимого фатерланда, как ни то обустроюсь, а там и тебя заберу с нашими маленькими будущими немецкими генеральчиками и на тебя тоже паспорт немецкий выпишу.

Ну, баронесса наша, Лукерья фон, услышав такие слова, ненаглядному для начала пару тяжелых плюх отвесила. За то, что ему какая-то там Германия дороже оказалась ее, Лукерьи. Но потом все же поняла, что родина есть родина и, маленько поплакав, напекла беляшей да шанег, подштопала запасные исподники, положила все это в котомку, прижала мужа к груди, перекрестила и сказала: «Ну, что ж, иди!»

Чтобы тех людей, которые, возможно, встретятся ему по пути, красных, белых, зеленых и прочих, не искушать, порешили генерал с Лукерьей, что в дороге прикинется он простым русским мужичком, неграмотным и дураковатым.

Сказано — сделано. Генерал онучи на ноги накрутил, лапти на них насунул, армяк на себя напялил, бечевкою обмотался, а котомку с шаньгами, да беляшами, да сменой исподнего за спину закинул и отправился в путь-дорогу, в одиночный такой дранг нах Вестен.

День идет, два идет, все лесом, все тайгой, открытые места огибая и к жилью никакому не приближаясь. Направление он то по солнцу, то по звездам, то по моху на деревьях определял, как его в академии генерального штаба в свое время учили, но все же на каком-то отрезке показалось ему, что с дороги маленько сбился.

Но ему повезло, что встретил он лошадку, везущую хворосту воз. А на возу, само собою, возница, здоровый такой мужчина, борода рыжая с сединой, брови густые, глаза пытливые. Наш генерал спрашивает: ты, мол, мужик откедова будешь? А я, говорит, оттедова. А ты? А наш фон Айзеншток вымышленное название называет и говорит: вот, мол, пробираюсь поближе к родным местам в Самарской, предположим, губернии.

А рыжебородый смотрит и говорит: — А ведь ты, милоч, я вижу не из мужиков будешь, не из наших.

— А с чего такое мнение имеешь? — удивился Айзеншток.

— А с того имею мнение, — говорит рыжебородый, — что сморкаешься больно уж не по-нашему. Наш мужик он в таком разе делает как? Он одну ноздрю большим пальцем зажимает, а в другую дует, а ты в платочек соплю свою выдуваешь по-культурному и потом так ее бережно, как локон любимой, вовнутрь заворачиваешь.

Смутился тут генерал наш и от смущения немедленно, говоря теперешним языком, раскололся.

— Да, — говорит, — отец, ты исключительно прав, не ваш я мужик, а немецкий генерал фон Айзеншток, по-вашему, то есть, железная палка.

Мужик как услышал такие слова, посмотрел на нашего генерала внимательно и начал так хохотать, что сперва с телеги свалился, да и потом еще долго катался по траве, держась за живот. А потом встал на ноги, но успокоиться никак не мог, все искал, пробовал что-то сказать, да обратно впадал в истерику.

— Да что ж тут такого смешного? — спросил его наш генерал, немного даже обидевшись.

— А смешного тут то, ваше превосходительство, — сказал ему мужик на чистом немецком языке с легким померанским акцентом, — что я, позвольте представиться, тоже немецкий генерал Дитер Шмидт.

При этом он вытянулся и щелкнул как бы каблуками, которых у его лаптей, конечно же, не было.

Что случилось потом с их превосходительствами, добрались ли они оба или хотя бы один из них до берегов Одера или Рейна, этого я, признаться, совсем не зная. И как сложилась их дальнейшая жизнь или никак не сложилась, тоже неизвестно, но в любом случае осталась от них легенда о том, как немец немца узнал, и из этой легенды можно делать далеко идущие выводы.

А именно, что некоторые наши привычки сидят в нас так глубоко, что, как бы нас потом жизнь ни ломала, мы от них ну никак не можем избавиться. Если генерала нашего в детстве, может быть, бонна учила пользоваться носовым платком или потом в юнкерском училище ему линейкой по рукам давали, когда он пытался обойтись одним пальцем, то привычка к носовому платку въелась в него на всю жизнь и даже перешла в генетический код.

А у нас картина совершенно обратная.

У нас иных человек, воспитанных детским садом, пионерским лагерем и комсомольскими зорьками, легче застрелить, чем приучить сморкаться в платок, правильно держать вилку и не писать доносы. (Правда, как же их не писать, когда есть и не закрыто учреждение, где их принимают, как встарь, круглосуточно?)

И тоже, как от привычки употребления большого пальца в сморкательных целях, не можем отказаться от стадных местоимений. Привыкли мы на мы себя называть и без этого ну никак. Несмотря на всякие едкие замечания по этому поводу и даже на специально Евгением Замятиным написанный роман «Мы». То гордо: «мы советские люди». То самоуничижительно: «мы совки». То, опять же впадая в большую спесь: не вам нас учить. Кому вам, кого нас? Нас, которые семьдесят лет строили, семь лет перестраивают и по семь часов стоят в очереди за «гуманитарной» помощью от них, кого сами всегда учили?

Иной такой Мыкин, пожелтевший, может быть, от перенесенного в юности комсомольского гепатита, выискивая пытливо возможности, как бы слинять на Запад, своего бывшего соотечественника тем попрекает, что тот не линяет в спешном порядке с Запада на Восток.

Впрочем, Мыкины разные, а вопрос все один и тот же и даже в одной редакции. Мы их так ждали, а они к нам не едут, вообще-то в них ничего хорошего нет, а мы тем не менее вымыли шею и раскинули для объятий руки, а они, сволочи, к нам не едут и это значит что? Это значит, что они не политическая эмиграция, а экономическая. Они туда на Запад умотали за колбасой и за джинсами.

Одни и те же стенания, в одних и тех же выражениях, даже с тем же сопливым всхлипом. Несмотря на то, что уже тысячу раз было оговорено и объяснено, почему одни они к нам не едут, а другие они от нас ежедневно тикают. Но стенания продолжают и настолько совпадают в подробностях, что невольно наводят автора данных слов на определенные мысли. На мысли, что хотя и говорят, что нет, мол, нынче кабинетов, где нас учат, кому чего говорить, а они на самом деле, может быть, есть и, может быть, находятся именно там, где заявления от граждан принимаются круглосуточно.

Потому что по простоте своей, по-прежнему опыту и,

конечно же, по тому же советско-совковому воспитанию, автор никак не может себе представить, чтобы совершенно как бы разные люди сами по себе одну и ту же глупую мысль выражали столь одинаково и без всякого инструктажа.

Нет, что ни говорите, а привычки наши глубоко в нас сидят и ничего с ними не поделаешь.

Одна, например, независимая очень газета при своем основании попросила у меня тысячу рублей для первоначальной поддержки своего существования. Я дал. Газета стала выходить. И время от времени поминать мое скромное имя. Но все в каком-то таком не очень-то лестном для меня смысле. Что вот, мол, этот пустой имярек, живя на Западе, совершеннейшим образом исписался. Но, если сказать правду, то и раньше ничего хорошего не писал. Да и в будущем вряд ли чего напишет. Надо сказать, что такое отношение печатного органа к своему скромному спонсору меня несколько обескуражило, но, с другой стороны, я думаю, газета-то принципиальная и что же она меня за мою тысячу рублей, если я ей не нравлюсь, хвалить что ли должна? Но все же свое недоумение одному из работников этой редакции высказал. А он за голову схватился: «Ой, говорит, извините, а мы совсем забыли, что вы нам деньги давали». Теперь вспомнили, и можно ожидать, напишут обо мне что-нибудь положительное. Что я еще не исписался и раньше тоже писал не так уж и плохо. А если им еще добавить определенную сумму, да с учетом инфляции и индексации, они, может, и вообще воспарят к панегирику. Потому что есть у нас привычка ко взаимному услужению: ты мне, я тебе.

Еще привычка распространенная: ждать от начальства указаний.

К моему знакомому американскому фермеру Дэвиду Орру (штат Индиана) приехала в гости не в период расцвета колхозного строительства, а всего лишь два года тому назад делегация кубанских хлеборобов. Которые сами нацелились на свободное фермерство. Ходили по полям Дэвида, осмотрели его четыре трактора, три комбайна и два элеватора, все данные в блокнотик запротоколировали, сколько чего на скольких акрах произрастает, а потом спрашивают: «А кто у вас принимает решения?» Он не понял: «Какие такие решения?» «Ну, кто у вас решает, когда, например, начинать посев-

ную компанию?» Он сначала подумал, что переводчик, может, чего напутал. Попросил повторить вопрос. А потом объяснил, что, во-первых, никаких таких кампаний, или сражений, или битв за урожай он вообще не проводит, а когда сеять или убирать, решает сам. Иногда посоветовавшись, впрочем, с женой. И поступивши, естественно, наоборот. В соответствии, разумеется, с местным климатом, временем года и общими природными закономерностями.

Кубанские хлеборобы между собою понимающе переглянулись, фермеру сочувственно головой покивали. Они же люди умные и понимают, что правду он им сказать не может. О том, как вызывают его в индианский обком и стучат кулаком по столу: ты, мол, мать твою перемать, если ко дню рождения Джорджа Вашингтона кукурузу не посеешь, то мы тебя к именинам Гэса Холла посадим.

Что ни говорите, а привычки играют в нашей жизни очень большую роль. И если человек привык обходиться без вилки или носового платка, то так и будет пользоваться одним пальцем или всей пятерней.

1992

Наше дело, или Сила против насилия

А зачем нам фильмы ужасов, если включишь телевизор — и вот они, ужасы, прямо перед глазами. Тела, прошитые автоматными очередями, раздавленные гусеницами, разорванные в клочья установками «град», — это не фантазия Альфреда Хичкока, и красные лужи, это не иммитация, не кетчуп, наляпанный щедрой рукой режиссера, это всамделишная человеческая кровь. На пунктах переливания ее не хватает, а здесь ее выливают ведрами, как помой.

Кровь льется везде, мы уже к этим картинкам настолько привыкли, что спокойно поглощаем свой ужин, глядя, как прямо перед нами облепленный мухами младенец ползает по телу убитой матери.

Мы еще не поняли, что, если подобные картины не вызывают в нас чувства ужаса, возмущения, содрогания и сострадания, значит, мы сами уже стали жертвами насилия, утратили часть своей собственной человеческой сущности, перешли в разряд, по выражению уголовни-

ков, опущенных, то есть лишенных человеческого достоинства и не заслуживших ничего, кроме презрения.

Если же эти картины насилия нас все-таки беспокоят и мы осмелимся насильников спросить, да что ж это вы такое творите, нам тут же высокомерно ответят, что это нас не касается, это их, насильников, внутренние дела.

Увы, жертвы насилия очень часто и охотно становятся насильниками, как только возникает такая возможность.

В одной южной республике я был ошибочно признан за важного представителя России и спрошен: «Почему вы, русские, не помогаете нам защищаться от... ну, допустим, саранцев (название вымышленное)? Ведь на русских лежит особая ответственность». Я с ними согласился, но спросил в свою очередь: «А почему вы так плохо обращаетесь с леконцами (и это название я придумал), которые располагаются хотя и внутри вашей республики, но на земле, где жили и умирали их деды, прадеды и прапрадеды? Почему вы им не даете жить так, как они сами хотят?»

Мои собеседники тут же напыжились и холодно попросили меня в их внутренние дела не мешаться.

Так сплошь и рядом. Пытаясь освободиться от большого брата, средний брат призывает весь мир на помощь, но освободился — и тут же начинает угнетать брата меньшего, ссылаясь на то, что это их, братьев, внутренние проблемы.

«Это не ваше дело», — говорят нам насильники всех мастей. — «Вас не трогают, сидите себе, помалкивайте. Или примите таблетку и обратитесь к психиатру, он вам поможет».

Но нам доктор не нужен. Мы и без него очерствели настолько, что вид разодранного человеческого мяса нас потрясает не больше, чем свинина или баранина на магазинных прилавках.

Привычка существовать в обстановке насилия в качестве его вершителя, или жертвы, или беспомощного свидетеля никогда не распространялась так широко.

В дотелевизионную эпоху человек был дик, но с массовым насилием встречался обычно на поле боя, увиденное переносил с трудом, а часто не переносил, повреждался в уме. Такое сумасшествие было нормальной реакцией здоровой психики на картину человеческого безумия. Люди же цивилизные (и не только слабонерв-

ные барышни, а даже бородатые мужчины), бывало, падали в обморок при виде крови, взятой из пальца на анализ.

Ужас, отвращение, сострадание, испытываемые человеком при виде крови и человеческого мяса, эти сильнейшие чувства были проявлением инстинкта самосохранения человеческого рода, ставили психологические препятствия на пути насилия: люди боялись убивать, быть убитыми и даже видеть убитых.

Привычка к насилию и к виду его ослабляет нашу чувствительность к любым переживаниям, порождает цинизм, апатию, делает относительной ценность человеческой жизни и притупляет наш собственный инстинкт самосохранения.

Привычка к насилию и существованию в условиях насилия есть сама по себе причина распространения насилия.

Но если мы привыкли к виду всех этих ужасов, и совесть наша не вопиет, и инстинкт нам ничего не подсказывает, то умом-то мы должны понять, что всякое насилие против отдельного человека, национальной группы, народа или страны всегда опасно для всех нас, направлено против нас и когда-нибудь до нас непременно дойдет.

Мир похож на деревянный дом, в котором одни беззаботные постояльцы в разных его углах разводят костры на полу, а другие беззаботно взирают: они, мол, свои углы поджигают, а не наши.

Но этот огонь угрожает нам всем. И если обитатели горящих углов не могут сами справиться с пламенем, то мы должны им помочь, даже если они этого не хотят.

Есть много «внутренних дел», которые местные люди сами решить не способны.

Один из многих примеров — Нагорный Карабах. У трех сторон конфликта нет никакой реальной почвы для компромисса, они никакого выхода из положения не находят и не найдут — и неизбежно будут убивать друг друга, пока одна из сторон не поставит на колени или не уничтожит другую.

Неужели мы должны на все это равнодушно взирать только потому, что мы не армяне и не азербайджанцы?

Не решаемая местными силами тупиковая ситуация имеет место во многих частях мира: в Приднестровье, в Северной Ирландии, в Югославии. Есть места, где кон-

фликт подобного рода, а то и похуже может разгореться в любую минуту.

Если смотреть правде в глаза, то надо признать, что спор между Россией и Украиной из-за Крыма и Черноморского флота самими заинтересованными сторонами неразрешим. Каждая сторона может представить тысячу доводов в свою пользу и каждая будет права. Спор неразрешим и безумцы с обеих сторон надеются решить его с применением боевой мощи того самого Черноморского флота.

Оттуда, где жизнь регулируется не законами, а насилием, где политических противников сажают по одиночке в тюрьмы или психушки или убивают сотнями, где мелкие территориальные споры решаются с помощью танковых соединений, где мирных жителей уничтожают голодом, холодом, ипритом, напалмом или ракетным огнем, беда распространяется далеко и дотягивается до нас.

Оттуда отправляются в путь террористы, которые в любой момент могут захватить нас в заложники, взорвать нас вместе с самолетом или супермаркетом.

Истекающие оттуда миллионы беженцев не могут на всем земном шаре найти себе пристанища, перемещаются, как ошпаренные кипятком тараканы, скопляются в каких-то местах, становясь источником эпидемий и и криминальной активности.

Миллионы пока еще относительно благополучных людей в попытке откупиться от несчастных, разбивают палатки для беженцев, шлют к месту бедствия посылки с едой и грузовики с медикаментами.

Но все это паллиативы. Палаток не хватает, еда медленно поглощается, лекарства разворовываются, и опять искалеченные руки тянутся к нам и голодные рты кричат: «Помогите!»

Нарушается общее течение жизни всего мира. Уже давно туристы не ездят в Бейрут или Багдад, закрыты для отпускников чудо природы и человеческих рук Дубровник и все побережье Адриатического моря, пустеют черноморские пляжи. Разрушаются старинные города, исторические памятники, горят нефтяные скважины, засоряются моря, расползаются озоновые дырки над нашими головами.

И это все не наше дело?

Если цивилизованный мир не переменит взгляд на

подобные вещи и не приступит к решительным действиям, он погибнет, и вполне возможно, что этого даже не придется ждать слишком долго.

По российскому телевидению уже показывали собрание представителей очень маленького кавказского народа. Один из выступавших под бурные аплодисменты объявил России войну и сказал, что они не с кинжалами пойдут на врага, а атакуют атомные станции, сами погибнут, но и империю (которой нет) тоже погубят.

Но это же, как говорится, и ежу ясно, что в таком случае вместе с Россией погибнут не только кавказские государства — речь пойдет о пространствах более обширных.

Прошу прощения за чрезмерную, может быть, подробность аргументации, но то, что я говорю, кажется мне очень важным, и я хочу, чтобы моя мысль дошла до каждого, кто пожелает ее понять.

В мире есть много людей, которых всех вместе можно назвать силами зла, которые осознанно или неосознанно, из корысти или каких-то там своих идеалов несут людям горе. К этим силам относится маньяк одиночка, выходящий ночью с ножом, чтобы потрошить людей просто так, или открывающий днем огонь из автомата по толпе, мелкие и большие тираны, революционеры, фанатики, помешанные на национальной, религиозной или еще какой-то почве. Они разъединены, действуют не согласованно, но со всех сторон. Именно они давно ведут против всего человечества войну и достигли уже очень больших успехов. Они сделали жизнь всех нас очень опасной и беспокойной, они убивают людей, они уничтожают природу и природные ресурсы, принадлежащие следующим поколениям.

Да что там говорить! Мы доньше с ужасом вспоминаем уничтожение во время Второй мировой войны Лидице, Орадура, Хатыни или Герники, не замечая того, что сейчас в условиях мира (ничего себе мир!) столь же тотальному уничтожению подвергаются Степанокерт, Ходжалы, Цхинвали, Дубоссары, Вуковар, Бейрут и еще многие города, городки и деревни, о которых мы, ввиду ординарности подобного дела, уже ничего не знаем.

С распадом коммунистических империй (я имею в виду не только СССР, но всю Восточную Европу, Югославию, Албанию и неизбежное в скором будущем падение остальных коммунистических режимов), силы зла в ми-

ре получили колоссальное подкрепление, организовавшись в группы, отряды, армии, захватив целые арсеналы оружия массового убийства и разрушения и не оставиваясь при его применении.

Насилие тлеет везде и может вспыхнуть огнем в самом неожиданном месте, как это недавно случилось в Лос-Анджелесе.

Людьми, мыслящими масштабно, выдвинута идея глобальной защиты всего мира от возможного ядерного покушения на него. Но этого мало. Это все равно, что оберегать себя от падения на голову большого кирпича и не заботиться о прививках против мелких бактерий.

Защищая себя, мир должен создать систему глобальной защиты от всех насильников, больших и малых.

Конечно, движение в эту сторону уже существует.

Правозащитные организации давно поняли, что толкование прав человека не может быть внутренним делом того или иного государства.

Поняли это и многие политики.

Иногда международное сообщество или Соединенные Штаты Америки предпринимают разные меры против других государств, ведущих себя особенно нагло. Или вторгаются в них (Гренада, Панама, Ирак), или осуществляют просто карательные акции (Ливия).

Но при этом всегда возникает вопрос о законности подобных действий. Поднимается шум по поводу внутренних дел и принципа невмешательства. Президента Буша и генерала Шварцкопфа сравнивают с Гитлером. В результате страны, чувствительные к общественному мнению (хотя оно может быть не менее глупым, чем мнение одного глупого человека), дела до конца не доводят. Муамар Каддафи и Саддам Хуссейн живы и здоровы, и один по-прежнему укрывает у себя террористов, а другой уничтожает курдов и других своих «внутренних» врагов и пытается спрятать недоделанную атомную бомбу.

С таким положением должно быть покончено. И не словами (они бесполезны), а силой. Сила должна быть противопоставлена насилию.

Когда заходит об этом речь, то многочисленные умники во всем мире вступают в схоластический спор: «Если вы предлагаете применять силу, то чем же вы будете

отличаться от тех, против кого вы будете ее применять?» А ответ, по-моему, очевиден. Между употребляющими оружие бандитом и полицейским есть большая и принципиальная разница.

Мы спасем себя от произвола насильников только тогда, когда лишим соблазна достижения их целей разбойным путем. Когда (или если) во всем мире будет установлен новый порядок, правила и законы цивилизованного поведения, обязательные для всех людей, групп, партий, народов и государств.

Я не возьмусь составить хотя бы проект подобных законов и правил, но в общих чертах, мне кажется необходимо оговорить следующее.

Права человека должны соблюдаться повсеместно. Если внутреннее устройство того или иного государства несовместимо с соблюдением прав человека, то само это устройство незаконно.

Нужно обязательно разработать общие для всего мира четкие законы, правила, формулировки и процедуры провозглашения и определения суверенитета, государственного языка, гражданства, территориальной принадлежности, границ и прочих понятий, которые всяк толкует по-своему, которые вызывают столько конфликтов и так часто приводят к войне.

Спрашивают: а кто же такой порядок может установить?

Организация Объединенных Наций? Но в ней большинство принадлежит режимам, для которых насилие есть главное условие собственного существования, и вмешательства в их «внутренние дела» они добровольно никогда не допустят.

Но у маленьких детей не спрашивают совета, как их воспитывать. Мы не должны спрашивать у маленьких насильников совета по управлению миром.

Организация Объединенных Наций давно доказала, что она не может сколько-нибудь эффективно защищать права отдельных граждан, предотвращать и прекращать местные конфликты и войны.

В Совете Безопасности долго обсуждаются и несколько издаются резолюции о прекращении огня. Идут, откладываются и опять открываются бесконечные дебаты, послать в зону военных действий войска ООН или только наблюдателей. В конце концов какой-нибудь видный миротворец едет к месту действия, пожимает представи-

телям воюющих армий руки, с печалью на лице выслушивают истерики вдов и в лучшем случае убеждает стороны временно прекратить огонь. Который они опять открывают, едва дождавшись или не дождавшись отбытия миротворца.

Я не говорю, что ООН надо распустить. Пусть она останется такой, какая она есть. Но наряду с ней должно быть создано сообщество цивилизованных государств, прием в которое должен быть достаточно строгим.

А кто будет решать, какие государства относятся к цивилизованным и какие не относятся? На этот схоластический вопрос есть очень простой ответ: цивилизованные страны сами могут решить, какие страны относятся к цивилизованным.

К цивилизованным странам (это очевидно) относятся страны европейского содружества, США, Канада, Япония, Австралия и еще некоторые, соблюдающие права человека, с демократически избираемыми и сменяемыми правительствами, со свободной прессой и независимым судом. Эти государства, будучи наиболее сильными в мире и разумными, имеют моральное право и возможность и должны взять на себя обязанность по установлению на земле нового порядка.

Раньше это было невозможно. Теперь, по мере вероятного приобщения к цивилизации России и других стран бывшего СССР (и в перспективе неизбежного перехода на этот же путь Китая), установление такого порядка может стать реально осуществимым.

(Конечно, у России сейчас слишком много других проблем, но и обсуждаемая мною проблема для нее актуальна).

Цивилизованные страны как взрослые люди по отношению к детям должны взять на себя всю полноту ответственности за общее поведение.

Нормы цивилизованного поведения не должны признавать никакого насилия над человеческой личностью, никаких форм убийства, никаких войн и никаких установленных в дикарские времена правил ведения войны. (Всякая война — преступление, признание для нее каких-то правил равносильно признанию правил убийства).

Нормы цивилизованного поведения должны безусловно исходить из того, что жизнь любого человека, где бы он ни жил, священна, природа неделима, а исторические

памятники в какой-то степени принадлежат всему человечеству.

Для внедрения в жизнь правил цивилизованного поведения и наблюдения за их исполнением нужны определенные управительные институты.

Может быть, мировое правительство, но составляемое ни в коем случае не на основе равного представительства, а из граждан цивилизованных стран (из других стран в такое правительство могут включаться отдельные международно признанные гуманисты).

Нужен международный суд. И не такой, как теперешний суд в Гааге, а настоящий полномочный суд, и силы (допустим, международные войска), могущие и обязанные исполнять решения суда.

Каждый человек, чьи права нарушены, группа людей, народ, государство, не найдя справедливости в месте своего пребывания, имеют право обратиться в международный суд и рассчитывать на то, что их дело будет рассмотрено беспристрастными судьями, а решение судей — исполнено.

Должен быть такой порядок, при котором государства, грубо нарушающие права человека, признаются незаконными и враждебными человечеству. На них оказываются все меры воздействия: политические, экономические и, когда нужно, военные. Если поведение такого государства выходит за определенные рамки, ему выносятся предупреждение. Как только оно переходит к военным действиям, туда посылаются войска быстрого реагирования, все стороны конфликта разоружаются, виновные в убийстве людей привлекаются к ответственности, как убийцы. Кто бы они ни были — рядовые, генералы, премьер-министры и президенты.

Если то или иное общество оказывается неспособно поддерживать на своей территории мир и порядок, соблюдать права человека, обеспечивать безопасность всех граждан, своих и чужих — на такой территории по решению международного суда и на ограниченный срок может быть введено особое правление, вид протектората или опекуна.

Новый порядок должен быть основан на международных законах, которые соответствуют внутренним за-

конам цивилизованных государств, здравому смыслу и общечеловеческому представлению о гуманности.

Разумеется, установление такого порядка потребовало бы от человечества больших материальных затрат, но затрат все же гораздо меньших, чем те, которые идут на разработку программы СОИ, на производство ракет, водородных бомб, авианосцев, подводных лодок, на тушение нефтяных скважин, на помощь голодающим, беженцам и калекам.

Я думаю, установлению нового порядка больше всего препятствует традиционное мышление, в соответствии с которым каждая страна стремится иметь сильную армию и тратить большие деньги на оборону.

Но этому мышлению уже сейчас нанесен удар и большой. Возникает вопрос: если Запад и Восток больше не угрожают друг другу, то зачем нам нужны большие армии? Зачем Америке программа СОИ? Зачем России или Украине Черноморский флот? Если российские ракеты не нацелены больше на США, то на кого они нацелены? Зачем подводные лодки лезут в чужие территориальные воды и зачем шпионят шпионы?

Не полезнее ли было бы все материальные и духовные силы, которые тратились и могут впредь тратиться на бессмысленное противостояние, направить на борьбу с мировым насилием.

У многих людей на земле есть потребность в некоей общей позитивной идее. В цели, заслуживающей того, чтобы к ней объединенно стремиться. Рождение подобных целей часто приводит в движение большие силы. Правда, цели чаще всего бывают или заведомо враждебными человечеству и проповедующими насилие, или утопическими, попытка достижения которых опять-таки приводит к насилию.

Создание мира без насилия является целью гуманной, реалистичной и неизбежной. Россия, переживающая сейчас тяжелый политический, экономический и психологический кризис, могла бы найти и для себя большую и достойную роль в движении к этой цели. Стремление к этой цели может объединить всех людей и все местные и международные организации, уважающие права человека, защищающие природу и вообще жизнь на земле.

Силы зла обступили нас со всех сторон, рано или поздно человечеству придется применить ответную силу.

Цивилизованный мир выиграл холодную войну про-

тив тоталитаризма. Пора начать и выиграть войну против насилия.

Мир всех людей на земле, во всех ее уголках есть наше дело, а если мы этого вовремя не осознаем, то нашим общим делом неизбежно будет война.

1992

Размышления о Московской книжной ярмарке

Четвертый раз проводится Московская международная книжная ярмарка. Я был участником первых двух и поэтому меня можно считать ветераном. И даже выдать мне почетный диплом с правом бесплатного проезда в московском городском транспорте.

Когда я посещал ярмарку, меня сопровождали до двух десятков работников КГБ, что давало мне основания считать себя очень важной и опасной персоной. И напоминало, какой постоянной заботой окружен советский писатель в отличие от любого другого.

Третья ярмарка проводилась в Москве, в Нью-Йорке, куда к тому времени съехалось немало русских писателей. И я там был. Но не заметил за собой никакого «хвоста». И мне было обидно, что американские секретные службы меня не ценят, не знают, как я опасен, и не выделили для слежки со мною хотя бы пару своих агентов. Чем я, конечно, тут же воспользовался, передав буржуазным издателям свой последний секретный роман, снятый на микроплёнку и спрятанный в каблуке.

Четвертую ярмарку следовало бы провести в Москве, Нью-Йорке и пермско-мордовских лагерях, где писателей также скопилось порядочно. Там они рубят лес и производят другие полезные государству работы.

Сидят они за распространение заведомо ложных измышлений, как считают одни, или за свои убеждения, как считают другие. Там им созданы все условия для хорошей работы, а от буржуазных издателей их надежно охраняют отважные воины Министерства внутренних дел СССР.

Если считать писателем каждого человека, который что-нибудь пишет (а похоже, к тому идет), бывший глава Министерства внутренних дел Щелоков — тоже писатель. Я сам видел его книгу, которая называлась то ли «На страже порядка», то ли как-то еще, точно не

помню. Говорят, он теперь тоже сидит за распространение среди родственников заведомо присвоенных иностранных автомобилей. Или, говоря иначе, за свои убеждения. Потому что, будучи министром, был убежден, что между сажающим и сажаемым большая разница. Очень опасное и вредное убеждение. Многие предшественники министра думали так же и понесли заслуженное наказание. Они забыли, что в нашей стране, где права человека не миф, а реальность, каждый имеет право сажать и быть посаженным.

Нечего и говорить, что книга писателя-министра сейчас так же запрещена, как, скажем, книги писателя Микола Руденко.

Говорят, что Микола Руденко сидит только за то, что хотел говорить правду. А вот Щелоков и правду говорить не хотел, он сидит только за то, что хотел ездить на четырех «Мерседесах».*

Есть мнение, что в Советском Союзе лучших писателей преследуют. К сожалению, бывает иногда и такое. Вот, например, писатель Брежнев. Еще недавно миллионы людей от дошкольного до пенсионного возраста читали его книги, изучали, конспектировали, обсуждали на многочисленных читательских конференциях. Самые маститые критики считали, что Брежнев пишет не хуже Льва Толстого или даже немного лучше. Потому что у Толстого были отдельные недостатки, а у Брежнева не было и отдельных. И не зря другой крупный писатель Георгий Марков вручил писателю Брежневу Ленинскую премию за высшие достижения в области литературы.

А теперь что? Книги писателя Брежнева больше не издаются, не изучаются и скоро, я думаю, будут запрещены так же, как, допустим, мои. Но все же их можно использовать. Сдав в макулатуру двадцать килограммов сочинений Брежнева, можно получить талон на один килограмм сочинений Маркова. За четыреста килограммов Брежнева можно получить двадцать килограммов Маркова. За двадцать килограммов Маркова можно получить одну книгу Марка Твена, Жоржа Сименона, или Юлиана Семенова. За три книги Твена, Сименона и Се-

* 13 декабря 1984 года, вскоре после лишения генеральского звания, Щелоков скончался в Москве при загадочных обстоятельствах. Ходят слухи, что он покончил с собой.

менова можно на черном рынке получить одну книгу Джиласа. За одну книгу Джиласа можно получить семь лет. За семь лет можно спилить целый лес. Спленный лес можно переработать в бумагу. На этой бумаге можно будет напечатать книги Юрия Андропова, который имеет шанс стать к тому времени писателем не хуже Толстого. Если даже его книги впоследствии будут запрещены, — не беда. Четыреста килограммов этих книг можно будет обменять на двадцать килограммов книг Маркова. За двадцать килограммов Маркова можно будет получить... Но об этом я, кажется, уже сказал.

Самая передовая в мире советская литература развивается последовательно, стабильно и своеобразно.

1983

Тревога

На днях в столице нашей родины состоялся очередной пленум правления Союза писателей СССР. Повестка дня: «Задачи писательских организаций страны в связи с подготовкой к XXVII съезду КПСС и о созыве VIII съезда писателей СССР». На пленуме с докладом выступил дважды Герой социалистического труда, первый секретарь правления Союза писателей СССР, депутат Верховного Совета СССР, член ЦК КПСС, лауреат Ленинской премии лично товарищ Георгий Мокеевич Марков.

В прениях выступили другие орденоносные товарищи, в работе приняли участие заведующий отделом КПСС, заместитель заведующего отделом ЦК КПСС, заведующий сектором отдела ЦК КПСС, два заместителя председателей советов министров республик, министры, заместители министров, заместитель начальника Главного политического управления Советской Армии и Военно-Морского Флота и прочие официальные лица; название каждой должности занимает несколько строк в газетном столбце.

Шизофрения чиновничества давно уже распространилась не только на живых людей, но и на учреждения, поэтому министерство культуры пишется с маленькой буквы, а Отдел культуры ЦК КПСС с большой.

Когда читаешь список больших чинов, а затем материалы пленума, возникает тревожное ощущение, что сложилась какая-то необычная ситуация, может быть, даже чрезвычайное положение, и Союз писателей наме-

рен то ли крепить оборону, то ли сам собирается объявить кому-то войну.

Надо сказать, что законы военного времени существуют и действуют в Союзе писателей СССР с самого основания этой организации, но иногда ситуация особенно обостряется, — тогда в бой вступают резервные соединения, возглавляемые секретарями ЦК КПСС, генералами и маршалами Советской Армии при поддержке держащихся в тени, но ощущаемых материально заградительных отрядов Комитета государственной безопасности.

В таких случаях отступивших с передовой линии работников пера вытаскивают на авансцену, подвергают скорому суду чрезвычайного трибунала и именем народа немедленно казнят при полном одобрении ошарашенной публики.

Сейчас, кажется, до этого еще не дошло, но ощущение тревоги заметно.

Впрочем, о тревоге в конце доклада Маркова сказано прямо: «Мы живем в тревожное время. Американский империализм с небывалой агрессивностью наращивает акции, ведущие прямой дорогой к ядерной катастрофе. Опасность, нависшая над человечеством, нарастает. В этих условиях долг советского писателя ясен — быть на передней линии борьбы, вместе с партией и народом, не щадя сил и не покладая рук, работать над воплощением задач сохранения мира и упрочения дела социализма».

Я не знаю, как именно докладчик собирается сохранить мир и упрочить дело социализма, но я уверен, что, если сохранить мир все-таки не удастся и американские империалисты начнут кидать в него свои ядерные боеголовки, он может дать достойный отпор и закидать американских империалистов своими романами. Они у него толстые, тяжелые, изданы огромными тиражами. Если любому империалисту дать как следует по башке одним романом Маркова, он, этот империалист, даже имея чугунный лоб, такого удара не выдержит.

Но, откровенно говоря, я чувствую, что основную тревогу докладчика и товарищей, принимавших участие в прениях, сейчас вызывают действия не американских империалистов, а кого-то другого, и я даже знаю кого.

В своих речах новый Генеральный секретарь ЦК КПСС обещает бороться не только с американским им-

периализмом и российским алкоголизмом, но и с чем-то еще. Своими врагами он объявляет среди прочих парадность и пустословие и, как он примерно выражается, негативные явления, чуждые социализму. И даже обозначает период, когда эти негативные явления расцвели и укрепились: 70-е годы.

Вовсе не обязательно съесть собаку в советологии, чтобы понять, в чей огород кидается камень. Парадность, пустословие и негативные явления, под которыми прежде всего подразумевается чудовищная коррупция, расцвели пышным цветом при Брежневе. Эти негативные явления проводились под его непосредственным руководством, в них участвовали его близкие и дальние родственники, его соратники и выдвиженцы.

Вся видимая деятельность советского государства свелась, в основном, к празднованию юбилея и к торжественным церемониям поздравлений и награждений, а невидимая — к захвату теплых мест и урыванию кусков пирога в соответствии с чином, а иногда и без соответствия.

Чинопочитание и самый беспардонный подхалимаж даже без признаков какой-либо иной деятельности стали обязательным и достаточным условием для успеха в любой карьере, в том числе и литературной.

Для того, чтобы достичь литературных вершин, уже не надо было вынашивать замыслы, изобретать сюжеты, искать метафоры. Даже не обязательно стало малевать несгибаемых коммунистов вроде Павки Корчагина или Макара Нагульнова. Уже даже и сам Ленин как литературный герой отошел на задний план.

Рассчитывать на самый большой успех, связанный с захватом должностей, расширением жилплощади, получением званий, премий и орденов, можно было только приняв прямое или косвенное участие в создании коллективной Брежневианы.

Если мы посмотрим списки лауреатов Ленинской, Государственной и других премий, списки деятелей литературы и искусства, награжденных орденами, а также списки людей, получивших звания народных и заслуженных артистов СССР, РСФСР и мелких республик, мы увидим, что ни один из создателей Брежневианы в них не обойден.

За право участия в этом вдохновенном труде, конечно, нужно было еще побороться, но и вакансий со вре-

менем открывалось все больше и больше. Можно было писать за Брежнева или о нем (выведя его, скажем, в виде героического полковника-комиссара или прогрессивного секретаря обкома ленинского типа). Можно было создавать кинофильмы о Брежневе или играть роль Брежнева (в этих ролях больше других отличились способный Тихонов и бездарный Матвеев).

Правда, и на этом поприще некоторые спотыкались. Один кинорежиссер был в числе первых, желавших запечатлеть на экране образ любимого Леонида Ильича, и подал соответствующую заявку. Но его прежде, чем допустить к прототипу, компетентные органы проверили. И выяснилось, что режиссер во время войны был полицаем. За это он понес суровое наказание — его исключили из партии, перевели из режиссеров в помощники, но, учитывая правильное направление мыслей, от судебного преследования воздержались.

Комедия парадности, пустословия и чинопочитания разыгрывалась на самых верхах и в еще более карикатурном виде отражалась на среднем и низком уровне.

Марков, который в восхвалениях вождя потерял остатки стыда и совести, назвал его Львом Толстым нашего времени и с поклоном поднес Ленинскую премию по литературе, получив за верноподданность разные отличия, в том числе вторую Золотую звезду Героя социалистического труда, как Шолохов и Уланова. И сам поощрял тех, кто хвалил его.

Евгений Евтушенко, ошарашенный недавно премией за свою инфантильную поэму «Мама и нейтронная бомба», в благодарственном слове отметил, что поэма эта могла появиться только при содействии лично Георгия Мокеевича Маркова. Каждый, кто разбирается в правилах советского придворного этикета, знает, что слово «лично» принято прилагать к имени только одной личности, а именно Генерального секретаря ЦК КПСС. Совершая столь незаметную церемониальную оговорку, Евтушенко хорошо понимал, что опытный церемониймейстер Марков ее очень даже заметит и отметит.

Как раз в упомянутые выше 70-е годы завершилось превращение Союза писателей из творческой организации в отдельное полицейское государство с ограниченным суверенитетом, как, скажем, Чехословакия.

У этого государства есть свое собственное правительство во главе с самим Марковым и его правой рукой

Юрием Верченко, и свой карательный аппарат, который неугодных подданных судит и приговаривает к различным наказаниям. Своей тюрьмы это государство не имеет и своих преступников содержит в общесоюзных тюрьмах. Примерно, как княжество Монако, которое, как говорят, заключает своих преступников во французские тюрьмы.

Литератор, не угодивший союзписательскому начальству и исключенный им из рядов, автоматически передается в ведение Комитета государственной безопасности, который, в свою очередь, объявляет исключенного врагом всего советского народа и ведет с ним бескомпромиссную борьбу, пока тот не скапучится от инфаркта, не окажется в лагере или, как в случае с автором этих строк, за границей.

Ведет себя союзписательское правительство, как всякое другое правительство. Там много заседают, встречаются и провожают всяких полномочных послов и делегатов, подписывают договоры о сотрудничестве, соглашения, декларации и протоколы. Много говорят о взаимном ненападении и неприменении первыми ядерного оружия.

Сам Марков ведет себя как небольшой, но полновластный монарх.

Лет, чтоб не соврать, много тому назад я оказался в его приемной, хотя пришел не к нему.

Приемная была большая. За несколькими столами трудились секретари. Почему-то в основном они были мужского пола. Еще какие-то молодые люди в темных костюмах, с гладкими прическами и темными папками время от времени пересекали пространство, скрывались за обитыми кожей дверьми или, наоборот, из них возникали.

Вдоль стен сидели десятка полтора маститых просителей, в числе которых были известная детская поэтесса, один Герой Советского Союза, один лауреат Ленинской премии, один заместитель директора Литфонда и другие лица, знакомые мне и не знакомые. Некоторые из них, как принято в столь важных учреждениях, переговаривались шепотом, время от времени скромно покашливая.

И вдруг из своего кабинета вышел сам Георгий Мокеевич с депутатским значком на отвороте пиджака (ни одной Золотой звезды у него тогда еще не было).

При его появлении все, сидевшие вдоль стен (включая детскую поэтессу), вскочили, мужчины вытянулись, а лауреат Ленинской премии даже щелкнул каблуками. Все таращили на депутата глаза и видом своим выражали готовность реагировать на любое его проявление — то ли громко захохотать в ответ на сказанную им шутку, то ли, тесня друг друга, кинуться за уроненным им платком.

Я продолжал сидеть и с удивлением смотрел на эту сцену из дурно поставленной в провинциальном театре комедии. Я, конечно, видел и раньше различные формы обожания подчиненными своего начальства, но все же не в такой откровенной форме.

Есть люди, которые выглядят столь величественно, что перед ними ноги сами стремятся выпрямиться. Но в облике Маркова ничего величественного не было. Небольшого роста, упитанный, бабье лицо с ничтожными чертами, выражение постное, глазки заплывшие.

Я себя почувствовал неловко. Встать перед ним я не мог. Я слишком презирал всю его деятельность и его писания, чтобы испытывать хоть какое-нибудь подобие почтения, а чинопочитанием в чистом виде тоже, в общем-то, не страдал. Но и сидеть, когда все стоят, было глупо. Получалось, что я бросаю вызов, хотя я, право, не собирался этого делать.

Я остался сидеть и отвернулся, искоса наблюдая, как Марков с вежливостью губернатора обходит всех присутствующих, никого не пропуская, пожимая каждому руку, иногда что-то произнося тихим, вкрадчивым женским голосом.

Когда его остроносые ботинки поравнялись с моими тупоносыми, я приподнялся, вяло потрогал его вялую руку и тут же сел снова, хотя все остальные продолжали стоять. И я заметил, что они пожирают глазами не только начальника, но и меня, всем своим видом выражая раздражение и даже возмущение моей непомерной гордыней: они, такие большие люди, стоят, а я, такой маленький, сижу, полагая, видимо, что я лучше их.

А я, надо сказать, ничего плохого о них не думал (но и хорошего, впрочем, тоже).

И Маркову я никак не нахамил, а, напротив, как воспитанный человек, встал, поздоровался и только после этого сел.

Но по быстрому взгляду, брошенному на меня, я по-

нял, что этот человек воспринимает мое поведение как неслыханную дерзость, которой он мне никогда не забудет.

С тех пор товарища Маркова я если и видел, то только на экране телевизора.

У меня нет никаких оснований утверждать, что Георгий Мокеевич где-то и как-то намеренно действовал лично против меня (хотя, как руководитель писательской организации соответствующие карательные акции он, конечно же, утверждал). Но я уверен, что когда обсуждался вопрос о моем исключении из Союза писателей или каких-нибудь других крутых мерах, то он, вероятно, припоминал о нанесенном его чину невысказанном оскорблении и еще одна свинцовая капля падала на соответствующую чашу весов.

Сейчас в Советском Союзе, как известно, объявлена борьба против разных вещей, в том числе против коррупции и чванства. Казалось бы, эти два порока далеко друг от друга отстоят, но из своего личного жизненного опыта я вынес твердое убеждение, что чванливый чиновник обязательно нечист на руку. И когда я видел перед собой бюрократа, требующего почтения к своему чину («Да вы знаете, кто перед вами сидит!»), я всегда не сомневался, что передо мной сидит вор.

Чванство и коррупция в Союзе советских писателей как раз к началу 70-х годов уже вышли за все вообразимые пределы.

Неосведомленный человек подумает: какая там может быть коррупция в Союзе писателей, если там нечего воровать, кроме бумаги и скрепок.

А вот как раз именно там можно воровать не хуже, чем в министерстве рыбной промышленности.

Подведомственный Союзу писателей Литфонд СССР ворочает миллионами. Там, в зависимости от приближенности к начальству, можно получить дачу, денежную ссуду, путевку в дом творчества, пыжиковую шапку. Одни получают это за взятку, другие по номинальной цене, третьи со скидкой, а четвертые и вовсе бесплатно.

Союз писателей ведает распределением квартир, автомобилей и поездками за рубеж.

Но главное не это. Главное то, что в руках союзписательского начальства находятся практически все главные издательства СССР.

То, что Союз писателей — очень богатая кормушка,

давно поняли многие, поэтому сейчас в списках этой организации числятся директора магазинов, бань, театров и стадионов, министры, партийные бюрократы всех рангов, генералы всех родов войск, включая КГБ и МВД и даже маршалы. Поэтому количество писателей, ступивших на этот путь по призванию, с каждым годом сокращается. Именно коррупция, а не забота об идейной чистоте писательских рядов является главной причиной преследования честных писателей по политическим обвинениям.

Но вернусь к Пленуму советских писателей.

Как я сказал, все выступления на этом пленуме и Маркова, и Михалкова, и Чепурова, и Загребельного и других мало мне известных видных писателей пронизаны духом тревоги. И происходит эта тревога не от действий американских империалистов. Империалисты им как раз для нагнетания психоза и обтяпывания личных делишек очень даже нужны.

Возможность перемен в самом Советском Союзе — вот что их больше всего тревожит. Если генеральный секретарь ЦК КПСС вправду решил покончить с коррупцией, парадностью, чванством и пустословием, то это обязательно отразится на сегодняшней союзписательской верхушке самым неприятным образом.

Советским Союзом однажды уже руководил один реформатор. Я имею в виду Никиту Сергеевича Хрущева. Реформы его были весьма половинчаты, но и при них некоторые из сегодняшних литературных боссов чувствовали себя весьма и весьма неуютно. Они тогда сначала притихли, а потом постепенно стали роптать, а иногда даже, вопреки своему воспитанию, и огрызаться. И нашли в конце концов поддержку среди сил, которые реформатора свергли и устроили им не жизнь, а малину.

И поэтому они теперь с тревогой вслушиваются в речи не американского президента, а Генерального секретаря ЦК КПСС. И очень надеются, что все эти обещания реформ и даже революции — всего лишь пустые слова, к которым они так привыкли.

И отвечают они тоже пустыми словами. Обещают ответить на призывы партии еще более напряженным трудом и, как выразился тот же Марков, давать больше и лучше.

Ну, насчет больше никто даже не сомневается. Уже так много надавали, что бумаги нет даже на издание

классики. А вот насчет того, чтоб лучше, это надо еще уметь. И хотя выступавшие на Пленуме призывали сами себя немедленно повысить качество, в этих их выступлениях послышалась мне неуверенность и не высказанная прямо тревога.

1985

Отрезанный ломоть

Я откликаюсь на статью Эльдара Рязанова не сразу, потому что соответствующий номер «Огонька»* шел до меня очень долго, а кроме того, я был занят переездом (временным) в другую страну и устройством на новом месте. Откликаюсь не для того, чтобы вступать в перепалку. Я Рязанова по-прежнему высоко ценю, мне понятна его досада на обстоятельства, не позволившие ему снять фильм по моему роману «Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина», мне понятны его обиды, но мне непонятно, на что он рассчитывал, когда брался за это дело. И на что рассчитывало руководство «Мосфильма».

С самого начала этой истории было совершенно очевидно, что права на постановку фильма по моему роману принадлежит фирме «Портобелло». Эти права были проданы фирме задолго до перестройки, — тогда, когда появление Чонкина на советском экране невозможно даже было себе представить. Поэтому с самого начала речь могла идти только о совместном производстве. Ни о чем другом.

Но у Рязанова и у «Мосфильма» были, оказывается, другие намерения, о которых, я, например, даже не подозревал.

Сейчас в статье Рязанова я прочел следующее:

«Нам было известно, что права «Портобелло» на экранизацию кончатся 18 ноября 1988 года. Мы надеялись, что если немного потянем, сможем освободиться от англичан и работать без них». Потом выяснилось, что права «Портобелло» вроде бы кончатся на год позже. Скорректировали свои планы с уточненной датой».

Вот вторая цитата:

«Перед поездкой наших представителей в Лондон мы

* См.: Эльдар Рязанов «Прощай, Чонкин». «Огонек», 1989, № 35.

все посовещались. Мы знали «права у англичан кончатся в ноябре 1989 года. И мы, если Войнович согласится передать права нам, можем смело приступить к съемкам картины».

Надо сказать, что эти планы меня весьма и весьма удивили. Прежде всего своим простодушным, нескрываемым, я бы даже сказал, азиатским коварством. Значит, когда представительные делегации «Мосфильма» ездили в Лондон, жили там в дорогих гостиницах, оплаченных владельцем фирмы «Портобелло» Эриком Абрахамом, и вкушали за его же счет изысканные обеды, переговоры, которые при этом велись, были заведомо липовые и рассчитанные на то, что партнер окажется дураком.

Обо мне мосфильмовские предприниматели, видимо, тоже думали не лучше, чем об английском продюсере. «Если Войнович согласится...» А если не согласится? Такой вариант Рязанову и мосфильмовскому начальству почему-то даже и в голову не пришел. А если бы пришел и меня бы спросили, то, очевидно, отношения с фирмой «Портобелло» пришлось бы или строить на другой основе, или прекратить на более ранней стадии.

Сейчас Рязанов упрекает меня, что я чуть ли не действовал за его спиной и тайком от него подписывал какие-то документы. Это не так. По поводу предполагавшейся картины о Чонкине я с Мосфильмом вообще ни в какие юридические отношения не вступал и вступать не собирался. Все связанные с этим договора я заключал только с фирмой «Портобелло» и, как сказано выше, задолго до появления на моем горизонте Рязанова. Сейчас Рязанов попрекает меня моим последним по времени соглашением с «Портобелло», но и эту бумагу я подписал в июне 1988, когда собственные планы Рязанова были, как говорится по воде вилами писаны, о чем сам Рязанов примерно в то же время поведал читателям «Московских новостей» в своей статье «Великодушие». Больше того, представителям «Мосфильма» с моего одобрения фирма «Портбелло» в Лондоне и мой литературный агент в Нью-Йорке предъявили все заключенные нами соглашения, так что никакогокота в мешке не было. И рассчитывать на то, что западный партнер где-то что-то прошляпит, было и некорректно, и нереалистично.

Надеяться в таком деле на меня тоже не следовало,

потому что вести свои дела в расчете на чужую оплошность я не умел, не умею и уметь не хочу. Эльдар Александрович изображает меня растяпой, который по незнанию английского языка подписывает сам не знает чего. Это неверно. Я английским языком владею вполне сносно, а вот в юридической казуистике разбираюсь не очень. Она мне бывает непонятна ни на русском языке, ни на английском. В этой казуистике люди моей профессии вообще разбираются редко, поэтому писатели на Западе (и я тоже) нанимают литературных агентов, которые разбираются. Мне приходится (часто по совету агента) подписывать много всяких договоров, все условия которых я не всегда держу в голове. Поэтому когда Рязанов позвонил и попросил немедленно сообщить ему, что написано в таком-то пункте моего такого-то договора, я ему сразу на этот вопрос ответить не мог (а потом, письменно, ответил). Рязанов, насколько я понимаю, в правовой казуистике тоже не очень силен, поэтому «Мосфильм» посылал в Лондон и в Нью-Йорк своих юрисконсультов и экономистов, и если уж те не разобрались, то чего требовать от меня? (Я частное лицо и имею право быть неделовым, а вот мосфильмовским специалистам, стремящимся к международному сотрудничеству, во избежание удручающих ошибок, следовало бы вникнуть, не только в здешние законы, но и в здешнюю этику, про которую советские люди часто думают, что она или примитивна — не обманешь, не продашь, — или вовсе не существует).

Замечу к слову, что с владельцами фирмы «Портобелло» Эриком Абрахамом и Катей Краусовой я нахожусь не только в деловых, но и дружеских отношениях. А если говорить о деловой стороне, то фирма «Портобелло» платит мне довольно большие деньги в твердой валюте, а «Мосфильм», если и заплатит, то поменьше и в валюте, которая здесь, где я живу, вообще хождения не имеет.

Итак, в переговоры с Рязановым, а затем и с «Мосфильмом» я вступил, будучи связан с «Портобелло» договорными обязательствами, о нарушении которых не могло быть и речи. Меня привлекала не передача «Мосфильму» моих прав, а именно совместное производство. Я думал, что совместное производство будет соблазнительно и Рязанову, и «Мосфильму». Оно давало возможности «Мосфильму» и «Портобелло» объединить

свои усилия и создать нечто незаурядное. Тем более, что был шанс убить трех зайцев, то есть сделать хороший фильм, показать добрый пример международного сотрудничества и заодно объединить в одном фильме три куска разорванной культуры, представленные в данном случае Рязановым, мною и Михаилом Барышниковым, желавшим сыграть главную роль.

Но вот «Мосфильм» с «Портобелло» не договорились и грандиозная затея лопнула, как мыльный пузырь. Обе стороны понесли при этом довольно большие убытки. «Мосфильму» то что, у него деньги казенные, а вот Эрик Абрахам сто тысяч долларов (надеюсь не последние) вынул из собственного кармана.

Сотрудничество не состоялось, как я теперь вижу, ввиду полной несовместимости всех сторон. Я не знаю, поняло ли это руководство «Мосфильма», но Рязанов, по-моему, нет, не понял. Он указывает на какие-то второстепенные причины и детали. Например, пеняет сам на себя, что не дал мне подписать (на том бы он меня и поймал) сценарий, написанный якобы нами совместно. (На самом деле есть два сценария. Один писал я один. В другом, написанном Рязановым, я дописывал отдельные сцены. Этот другой сценарий, если Рязанову нужно, я могу подписать задним числом, но от этого ничего не изменится.)

Эльдар Александрович сетует, что автор этих строк в своем последнем письме не нашел (цитирую) «ни одного слова благодарности к людям, которые, идя против течения, вкладывали все свои силы и способности, чтобы сделать фильм по его книге».

На самом деле я вовсе не рассматривал свое письмо как последнее и не считал, что не сойду в чем-то — Рязанов с «Портобелло», а я с «Мосфильмом» — мы и между собой должны непременно расплесться. Кроме того упомянутое письмо было написано под влиянием раздражения от состоявшегося накануне телефонного разговора, в котором Рязанов предъявлял мне несправедливые обвинения и вообще наговорил много такого, о чем я могу забыть только имея в виду, что это было сказано в состоянии аффекта. В том разговоре, идентифицируя меня со всем расчетливым и холодным западным миром, и употребляя весьма неточно местоимения «мы» и «вы», Рязанов сказал мне примерно так: «Вы слишком богаты, обращаетесь с нами, как с дикарями,

а мы бедные, но благородные. И «Мосфильм» благородный, и страна наша благородная».

Эти слова, надо сказать, меня и удивили, и разозлили. Потому что «мы» может быть и богаты, но я лично не богаче Рязанова. Относительно дикарей спорить не буду (элементы дикарства есть), а что касается благородства, то у меня, Эльдар Александрович, изгнанному из «вашей» благородной страны, тоже на этот счет есть свои отдельные соображения.

Так вот я разозлился и в письме Рязанова благодарить не стал. Но в Москве много раз, и лично и публично, я благодарил Рязанова за то, что он пытался экранизировать «Чонкина», способствовал публикации романа и добился моего приезда в Москву. Пользуясь случаем, я еще раз выражаю благодарность всем, кто содействовал реабилитации хотя бы моих книг в Советском Союзе и особенно (еще раз) Рязанову. Мне очень жаль, что мое сотрудничество с этим выдающимся комедийным режиссером так вот печально закончилось, но, оглядываясь назад, я теперь вижу точно, что это сотрудничество на данном этапе и не могло состояться. И дело не только в фирме «Портобелло».

Некоторые мои читатели (или слушатели), вероятно, знают, что перестройку я принял сразу, с первых ее шагов. Я относился к числу тех, кто с самого начала поверил, что перестройка—это не политический трюк каких-то отдельных личностей, а неизбежный и необратимый процесс. Процесс этот внушает большие надежды и не меньшие опасения. Чем он кончится, в конце концов зависит от суммы усилий всех, кто в нем участвует. Мне, честно говоря, тоже захотелось быть одним из участников. Потому что страну, которую Рязанов называет «наша», я тоже всегда считал и до сих пор считаю (и не собираюсь ни у кого спрашивать на это разрешения) своей. Я хотел принять участие в процессе не из меркантильных, а (я обычно стесняюсь такие слова говорить) из гражданских соображений. Поэтому предложение Рязанова соблазнило меня чем-то большим, чем просто желание увидеть Чонкина на экране. В расчете на это большее я, по приглашению Союза кинематографистов СССР, и отправился весной этого года в Москву. Приглашение пробил, конечно, Рязанов, а его поддержали, насколько мне известно Георгий Данелия и Андрей Смирнов.

Советское посольство в Бонне без задержек оформило визы, и 16 марта мы с женой и дочерью после восьмилетнего отсутствия отправились на родину. При этом у всех у нас (и у пятнадцатилетней дочери тоже) было написано на визах: «Цель поездки — переговоры с Союзом кинематографистов».

В аэропорту нас, как правильно пишет Рязанов, тепло встретили друзья, родные, близкие (ну и правильно, а как же еще родные, близкие и друзья должны были нас встречать?). Чтобы исчерпать сразу эту тему, скажу, что и потом было очень много радостных, и горьких, и трогательных встреч с близкими и неблизкими дома, на улицах и в переполненных залах.

Но были еще встречи, которых Рязанов, не видел, а я очень даже заметил.

На пути к друзьям нас встретила суровая таможенная служба, сотрудники которой точно знали, кто я такой, и вряд ли подозревали меня в перевозе наркотиков, оружия и валюты. Тем не менее, и мне, и моей жене, и моей дочери был устроен демонстративный и весьма дошлый досмотр, такой же грубый, каким нас провожали из страны. (Обычно иностранцев, к которым проявляется какой-то практический интерес, не досматривают, а тут мне было показано, что я если и иностранец, то далеко не первого сорта).

Рязанов заметил, что в аэропорту нас снимало телевидение, но не заметил, какое именно телевидение. А вышло так, что увидели наш приезд не советские, а британские телезрители по одному из каналов Би-Би-Си. Советское телевидение, правда, там тоже было, но оно тратило на нас пленку напрасно, заснятые кадры на экранах не появились, поскольку запечатлелась на них, как было сказано, «не та фигура».

По приезде я знал, что восстановлен в звании члена Союза писателей СССР. Но сообщено мне это было почти шепотом. Известие об этом странном восстановлении было опубликовано маленькими буквочками в никому за пределами писательского клуба неизвестной многотиражке «Московский литератор», но так и не появилось, например, в «Литературной газете». («Литературка» в отличие, например, от «Медицинской газеты» вообще даже и не заметила моего появления в Москве — должно быть, и для нее я «не та фигура»). Между прочим, само по себе мое «восстановление» было чем-то,

что в народе называется финтом ушами. Как объяснил мне потом один из секретарей СП, решение о моем когда-тошнем исключении из этой организации хотя и отменено, я не могу считаться членом СП, поскольку не являюсь гражданином СССР. А гражданином СССР я не являюсь потому, что в свое время был лишен этого звания указом Брежнева. Указ этот до сих пор не отменен. Правда, когда я был в Москве, некоторые люди мне говорили, что если я как следует попрошу, то отмена указа вовсе не исключена. Я отвечал: да, спасибо, но тогда мне и вовсе рассчитывать не на что, ибо исключена возможность того, что я попрошу. (Я не просил, чтобы меня лишали гражданства и не мне просить, чтобы его вернули).

(Для сравнения: когда я выезжаю из Германии или возвращаюсь в нее, я ни у кого не прошу разрешения и некому сказать спасибо. Теперь вот я приехал на год в Америку. И собираюсь ездить в Чикаго, Сан-Франциско, на Гавайские острова. Где, кому сказать спасибо? Я не знаю).

В Москве, как я уже сказал, ко мне было проявлено довольно много интереса. Я выступал перед публикой, давал интервью газетам, радио и телевидению, (программа новостей в первый день отказалась меня показать, Останкинскую студию мне тоже — не та фигура — не предложили), но в некоторых передачах я все-таки появился.

Я попал в Москву в довольно бурное время. В разгаре была предвыборная кампания. Повсюду шумные митинги, телевизионные дебаты и прочее. Выступают кандидаты, доверенные лица, члены неформальных объединений, представители народных фронтов. Я на какое-то время погрузился в эту суету, но вскоре понял, что это меня не касается, я здесь чужой. Для кого хороший, для кого плохой, но для слишком многих чужой. Отрезанный ломоть. Я здесь не могу ни быть избранным, ни избирать, ни издавать журнал, ни создавать кооператив, ни купить, допустим, на свои гонорары квартиру в Москве, избушку в деревне. У меня здесь нет ни кола ни двора, никаких прав и никаких обязанностей, кроме обязанности убраться восвояси, как только кончится виза.

Во время моих выступлений меня много раз люди звали вернуться («приезжайте, вы нам нужны»), но на

других уровнях я подобных призывов не слышал. Правда, где-то кто-то как-то упомянул об этой проблеме в печати (и Рязанов, не забывая, по этому поводу несколько раз выступал), но власти хранят молчание, как будто и проблемы никакой нет. Сейчас очень много пишут и говорят о репрессиях сталинского периода и гораздо меньше о временах более близких. И вот перестройка идет, а бывшие заключенные по-прежнему не реабилитированы, а изгнанные из страны живут там, куда ветром занесло. Конечно, если даже и позвать обратно, то вернуться не все, но извиниться следует все-таки перед каждым. И отменить все указы о лишении разных людей гражданства. Но об этом я большого беспокойства в Москве не заметил и понял, что проблема сия находится на далекой периферии общественных интересов.

Так или иначе, но в Москве мне слишком часто приходилось чувствовать себя иностранцем. Вот, например, такой случай.

Явился я как-то на Мосфильм для встречи с генеральным директором В. Н. Досталем. Пришел на пару минут раньше условленного часа и сказал секретарше, что мне надо видеть Владимира Николаевича.

Секретарша в ответ:

— Владимир Николаевич принять вас не сможет, потому что у него сейчас будет иностранная делегация.

Я хотел было возмутиться: как так, он ведь именно меня на это время как раз пригласил, а потом прикинул и понял, что это же я и есть иностранная делегация.

Ну принимали меня, примерно, как Риббентропа. С одной стороны длинного стола советская делегация (человек, пожалуй, двенадцать), а с другой стороны германский рейх представлял я один. Представители советской стороны сдержанно улыбались, натужно шутили и некоторые при этом сверлили меня глазами, давая понять, что нас, мол, на мякине не проведешь.

Все эти столкновения с реальной действительностью, ясное дело, отражались на моем настроении. Чем более росло мое ощущение непричастности к происходящим событиям, тем быстрее таял энтузиазм, связанный с возможной постановкой будущего фильма. Если я в этой стране чужой, то зачем мне стремиться к постановке фильма именно здесь?

В Москве я, естественно, встречался много раз с Ря-

зановым. Время от времени мы с ним работали над сценарием.

Дорабатывая сценарий, я все больше ощущал, что затеянное дело кажется мне все менее соблазнительным. Тем более, что я сегодня здесь, а завтра там. А послезавтра пустят ли меня снова сюда, неизвестно. Я сказал на Мосфильме, что хотел бы время от времени присутствовать на съемках. Но для этого мне нужна по крайней мере постоянная виза. Мне было отвечено: постоянной не будет, а насчет многократной мы похлопочем. Впрочем, гарантии тоже нет: «Вы что забыли, куда вы приехали?» Я стал задумываться. Если я приехал во всех смыслах туда же, откуда уехал, то, пожалуй, пора подумать, стоило ли приезжать?

Конечно, дело не в том, что мне не дают визы и не возвращают гражданства. Рязанов не виноват, и я не путаю его с государством. Но, работая над фильмом, я вступил в отношения не только с ним и не только с Мосфильмом, а со всей советской системой, которая ко мне свое отношение изменила не очень сильно. Ну да, меня в Москву ненадолго пустили (премного благодарен), но обращаются, как с иностранцем, причем иностранцем второго сорта, с которым можно особо не чикаться.

Пока я обдумывал ситуацию, на поле боя появилась группа генералов Героев Советского Союза из Одессы. В своем открытом письме главным редакторам «Огонька» и «Юности» Виталию Коротичу и Андрею Дементьеву они возмущались публикацией «кошунственного измышления» (так они именовали мой роман), стыдили своих адресатов, а уж со мной и вовсе не церемонились, назвали меня и предателем, и клеветником, и сравнили (мне, правда, не привыкать) с Геббельсом (в печатном варианте это сравнение — большое спасибо — исчезло).

Когда письмо было опубликовано, я уже находился в Мюнхене, но до меня доходили известия, что генеральское сочинение произвело нужное впечатление и над картиной о Чонкине и над какими-то моими публикациями нависли тучи. Нет, конечно, сейчас времена не те, да и генералы не в прежней силе, но отбиваться от них как-то все-таки нужно.

Я и вовсе приуныл и стал думать, что вообще я, видимо, напрасно в это дело встрял. Если генералы все еще имеют возможность вмешиваться в литературу и искусство, где гарантия того, что фильм получится таким,

каким я его хотел бы видеть? Не добьются ли их превосходительства в конце концов запрещения картины на том или ином этапе? Или, может быть, еще хуже — в борьбе с ними придется пойти на какие-то уступки, а я этого точно не захочу. Я во многих делах склонен к компромиссу, но с невеждами, лезущими в искусство, чего бы они ни носили на погонах или на груди, у меня никакого компромисса быть не может. Я не только не хочу им уступить что бы то ни было, но даже вступать с ними в какие-то ни было обсуждения не желаю.

Конечно, будь я признанным в стране гражданином да имей доступ к печатным изданиям, я бы этим генералам несколько оплеух отвесил, за мной, как говорится, не заржавеет. А тут...

Вот Рязанов ответил на генеральские оскорбления и подписался всеми своими регалиями: народный артист, лауреат и прочее — тоже вроде как генерал. А у меня звание простое — отщепенец. Я все еще непрощенный преступник, со мной, как некоторые думают (правда, ошибочно), можно поступать как угодно. Меня, прожившего даже по советским понятиям не самую легкую жизнь, с малых лет работавшего физически, можно называть бездельником, паразитом и попрекать куском хлеба, которого я не съел. Меня, насильно выкинутого из страны, можно называть предателем, перебежчиком, опять-таки кем угодно.

Конечно, брань на врату не виснет, и я к ней уже привык. Но советскому обществу пора учиться от нее отвыкать. Облыжные и безнаказанные обвинения отдельных людей наносят всему обществу гораздо больший урон, чем можно себе представить. Общество это станет только тогда правовым, когда клеветник в любом мундире, будет рисковать тем, что придется доказывать свои утверждения в зале суда.

Рязанов описывает, как, пробивая картину, он с генералами воевал, а штатское начальство — кого уговаривал, кого обводил вокруг пальца. Все это он делал (я нисколько не сомневаюсь) с лучшими намерениями. В советских условиях до сих пор только так и надо крутиться, иначе такого острого фильма, как «Чонкин», не сделаешь. Тут и мне надо было бы проявить адекватную смекалку и изворотливость. Но в том-то и дело, что я этого не умею, никогда не умел и в конечном счете именно поэтому оказался за пределами советской системы и

советских границ. Может, раньше и стоило научиться такому умению, а теперь уже ни к чему, до конца дороги добреду и без этого.

Пока я предавался своим сомнениям, отношения между фирмой «Портобелло» и «Мосфильмом» осложнялись. Эрик Абрахам (за свой счет) приезжал в Москву, и ему не понравились сценарий и актерские пробы (хотя актеры были такие, что лучше не подберешь). Мосфильмовцы (за счет Эрика) ездили в Лондон. Советские люди в одиночку передвигаться не умеют, поэтому Эрику опять пришлось принимать целую делегацию с руководителем, заместителем (не знаю, был ли там секретарь первичной организации). В Лондоне о многом не договорились. Абрахам решил, что в Москве фильм, так сказать, мирового класса не сделают и решил делать его в другой стране, на другом языке и на других условиях. При этом он под давлением московских делегатов и по моей просьбе разрешил (разрешил, повторяю, совершенно бесплатно) «Мосфильму» делать свою картину, но только для советской аудитории. Потому что он не хотел, чтобы советский фильм перебежал дорогу его фильму.

Достоин ли Абрахам осуждения? По-моему, нет. Несколькими годами назад он купил права на экранизацию романа, потом продлевал договор и платил за продление. И вообще долгое время живет этим делом, на которое возлагает определенные надежды. А теперь что, он должен уступить безоговорочно, бесплатно, себе в убыток права, да еще людям, которые его хотели надуть? С какой стати? И когда Рязанов пишет: «мы все взбесились!», я его просто не понимаю. Я вижу во всем этом повод для огорчения, а для бешенства нет, не вижу. И не вижу достаточной причины вообще, чтобы отказываться от постановки фильма на данных условиях. Конечно, они не лучшие, но соответствуют обстоятельствам, с которыми надо считаться. Тем более, что условия были поставлены «Портобелло» не на вечные времена. Через два-три года фильм мог бы быть показан за рубежом, а если бы он (вот к чему надо было стремиться!) оказался выдающимся, то удержать его в пределах советских границ было бы и сейчас невозможно.

Итак, фильм по моему роману в Советском Союзе не состоялся. Мне легче всего (и это правда) сказать, что мое дело сторона, права на книгу проданы, а я на их те-

перешнего владельца могут иметь только ограниченное влияние.

Но дело в том, что я не только физически, но и душевно стою на стороне Эрика Абрахама. Скажу больше. Даже и при (вообразим себе) отсутствии фирмы «Портобелло» мое сотрудничество с «Мосфильмом» вряд ли бы завершилось успешно.

Во время описываемой истории я заметил, что, готовясь к постановке фильма, Рязанов вроде бы даже и не понимает, что у меня могут быть свои отдельные интересы. Причем интересы не только творческие (по этой части у нас тоже были некоторые расхождения), но и всякие другие, включая финансовые. А мосфильмовское начальство меня и вовсе в расчет не принимало, даже не знаю уж почему.

На переговорах в Лондоне Эрик Абрахам по моей просьбе включил в число условий для сотрудничества выдачу мне постоянной или многократной (по крайней мере) визы. Ему было высокомерно отвечено, что вопрос о визе относится к числу не имеющих отношения к делу. Ответ не только нахальный, но и совершенно неделовой. Потому что одного этого ответа для меня лично было бы достаточно, чтобы прекратить с такими партнерами всякие отношения.

Да, приступая к работе с Эльдаром Рязановым, я был рад, что фильм по моей книге будет делаться талантливым русским режиссером, по-русски и на русской земле. Ради этого я до известной степени готов был пренебречь своими материальными интересами. Но я-то это сотрудничество рассматривал как первый шаг к моему, пусть не полному (дело не в месте жительства), но достойному возвращению в Россию.

А если этого нет, и нет даже гарантированного права приехать на премьеру и передвигаться по стране, и посетить родные места и могилы, то мне в такой стране никакой фильм не нужен. Пусть уж будет английский, американский или какой получится.

В своей статье Эльдар Рязанов упрекает меня: я не выразил сожаления, что фильм по моему роману не состоится в России. Что делать, Эльдар Александрович! Устал я, право, сильно устал просить, благодарить и выражать сожаления. Жаль, конечно, но что там фильм — вся моя жизнь, можно сказать, не состоялась в России.

10 декабря 1989

Борьба лысых и волосатых

Советская государственная система одна из самых загадочных в мире. Она существует вот уже семьдесят лет, а до сих пор никто не может понять, что это такое. Одни говорят, это марксистское общество, другие утверждают, что оно с марксизмом не имеет ничего общего. Одни настаивают, что это и есть социализм, другие называют это государственным капитализмом или даже феодализмом. Много споров идет насчет истоков советской агрессивности. Проистекает ли она из коммунистического учения или это проявление исконного русского империализма? Но самым, кажется, спорным является вошедшее в моду деление советских руководителей на ястребов и голубей. Кто-то когда-то придумал это деление, и с тех пор из года в год идет выяснение, кто из советских политиков относится к первому, а кто к другому виду пернатых, каково соотношение тех и других, какие среди них идут разногласия и на какое направление советской политики следует при этом рассчитывать. Этим занимаются разведки, министерства, департаменты и исследовательские центры. Тысячи высокооплачиваемых советологов вглядываются в лица советских руководителей, вникают в их многочасовые и невнятные речи, отыскивая между строк смутные намеки на голубиное или ястребиное направление мыслей. С радостной надеждой обращают свои взоры на пиджак, сшитый у Диора или Кардена, приходят в восторг, замечая, что жена советского лидера расплачивается за свои ожерелья карточкой «Америкэн экспресс», а про ее мужа сочиняют сладостные легенды, будто он в свободное от работы время слушает битлов, читает в оригинале Жаклин Сьюзен или Сьюзен Зоннтаг и вообще говорит с английским акцентом. (Справедливости ради надо сказать, что советские руководители, и голуби, и ястребы, даже по-русски изъясняются с элементарными грамматическими ошибками, а слова выговаривает так, как будто у них рот набит кашей. Впрочем, английский акцент тоже имеет место. Например, Брежнев русскую букву «в» произносил как английскую «дабл ю».)

Вся эта гигантская работа не дала до сих пор серьезных результатов, между тем как соотношение сил на советских верхах можно определить с первого взгляда,

если воспользоваться моей новой и гораздо более правильной методологией и делить кремлевских правителей не на ястребов и голубей, а на лысых и волосатых.

Некий наблюдательный человек заметил, что смена лысых и волосатых руководителей в Кремле происходит с такой же неизбежностью, как смена дня и ночи. И в самом деле. Ленин был лысый, Сталин — волосатый, Хрущев — лысый, Брежнев — волосатый, Андропов — лысый, Черненко — волосатый, а какой Горбачев объяснять не приходится, его портрет известен всем.

Из этого открытия, которое следует считать революционным и фундаментальным, можно вывести ряд определенных закономерностей. Вот они. Все лысые (Ленин, Хрущев, Андропов, Горбачев) революционеры или, по крайней мере, реформаторы. Все волосатые — реакционеры. Все лысые были утопистами и в конце концов терпели поражение. Ленин хотел построить коммунизм, не построил. Хрущев собирался засеять всю территорию СССР кукурузой, перегнать Америку по мясу и молоку и тоже построить коммунизм, но не достиг успеха ни в том, ни в другом, ни в третьем. Андропов намеревался укрепить дисциплину и повысить производительность труда, но не успел. Чем кончатся усилия Горбачева, мы пока не знаем, — но опыт его предшественников наводит на грустные размышления.

Волосатые, напротив, всегда добивались того, чего хотели. Сталин хотел превратить Советский Союз в супердержаву, чего и достиг. Брежнев хотел стать маршалом и писателем. Стал и тем и другим. У Черненко, когда он пришел к власти, могло оставаться только одно желание — быть похороненным на Красной площади, он там и есть.

К этому надо добавить, что от лысых всегда были одни неприятности. Они по существу не укрепляли, а расшатывали существующую систему, и волосатым приходилось упорно работать, чтобы уменьшить последствия разрушительной деятельности лысых. Ленин создал партию революционеров, с помощью которой сокрушили империю. Сталин потратил тридцать лет своей жизни на то, чтобы сначала уничтожить ленинскую партию, а затем восстановить империю примерно в прежних границах и даже расширить их. Хрущев десять лет восстанавливал ленинские нормы, Брежнев восемнадцать лет реставрировал сталинские нормы. Андропов успел очень

немного, поэтому и историческая миссия Черненко оказалась короткой.

Теперь пришел к власти поистине выдающийся реформатор Михаил Сергеевич Горбачев. Он энергично взялся за дело и за два с половиной года своего правления успел сделать столько, сколько Хрущеву не удалось за десятилетие. Горбачев обещает перестроить советское общество, сделать его динамичным, экономически сильным, демократичным, жизнеспособным и миролюбивым. Многие его планы вызывают симпатию разных людей, и я их охотно поддерживаю, надеясь, что они все-таки сбудутся. Но когда я думаю о перспективах, я исхожу из соображения, что Горбачев правит Советским Союзом не единолично, у него есть соратники и помощники. Я думаю, кто же они, и всматриваюсь в портреты руководителей КПСС. И вот мои наблюдения. В Политбюро ЦК КПСС самым лысым после Горбачева является активный перестройщик и реформатор Александр Яковлев. При внимательном рассмотрении можно заметить обнадеживающие просветы в курчавой шевелюре Эдуарда Шеварднадзе. Лысым его назвать никак нельзя, но лысоватым можно. Совсем недавно полным членом Политбюро был избран Виктор Никонов, которого с некоторой натяжкой можно тоже отнести к лысоватым. Остальные члены Политбюро — Воротников, Громыко, Зайков, Лигачев, Рыжков, Соломенцев, Чебриков, Щербицкий — вполне волосаты. Причем, совершенно очевидно, что чем волосатей, тем реакционней. Подведем баланс: два лысых, два лысоватых и девять (!) волосатых. Положение лысых покажется нам еще более шатким, если мы посмотрим на портреты кандидатов в члены Политбюро — они все до одного волосаты. (Среди них был один более или менее лысый — министр обороны Сергей Соколов, но ему пришлось покинуть свой пост благодаря подвигу длиноволосого Матиаса Руста.)

Похоже, что главным представителем фракции волосатых является второй человек в Политбюро — Лигачев. Образ его мыслей вполне соответствует густоте волосяного покрова. То он призывает писателей к созданию еще более ярких образов коммунистов (хотя уже созданы такие образы, что ярче не бывает), то обрушивается на газету «Московские новости» за некролог об умершем в эмиграции писателе Викторе Некрасове, а то и вовсе ностальгически вздыхает по временам брежневско-

го застоя: это, оказывается, для него были очень ин-
ресные и продуктивные годы. Со странными для времен
перестройки и гласности речами выступает председатель
КГБ Виктор Чебриков. Несмотря на большие залысины,
он все-таки тоже относится к волосатым.

Состав секретарей ЦК КПСС, не входящих в Полит-
бюро, тоже не обнадеживает. Один из них — Анатолий
Добрынин — по степени оголенности черепа имеет шан-
сы быть причисленным к реформаторам, но его влияние
на ход событий вполне может быть уравновешено и да-
же нейтрализовано включением в число секретарей
Александры Павловны Бирюковой, у нее прическа про-
сто шикарная.

Короче говоря, хотя в целом влияние лысых значи-
тельно возросло, подавляющее большинство принадле-
жит волосатым и это не может не настораживать.

Должен признаться, я тоже пока что не облысел. Я,
однако, стою на стороне лысых и надеюсь на то, что они
в конце концов окажутся в большинстве. Но как этого
достичь, я не знаю. Подбирать руководящие кадры по
степени лысости недемократично и пахнет дискримина-
цией. Выдергивать волосы — больно. Брить головы на-
голо, как это делают некоторые звезды рок-концертов,
бесполезно: волосы отрастают довольно быстро. Так что
изменить ситуацию практически невозможно. Но вполне
возможно, наблюдая за соотношением в советском ру-
ководстве лысых и волосатых, научно предсказать веро-
ятное направление советской политики на ближайшее
время.

Я полагаю, что отныне этот мой скромный труд ста-
нет незаменимым пособием для западных лидеров, дип-
ломатов, банкиров, промышленников, бизнесменов и со-
ветологов. Я надеюсь, что теперь люди, ведущие с
Советским Союзом переговоры о разоружении, строи-
тельстве газопроводов, предоставлении кредитов и рас-
ширении культурных обменов, руководствуясь данным
исследованием, будут обращать внимание на состояние
причесок советских руководителей и только после этого
принимать ответственные решения.

Давайте пофилософствуем

Признаться, люблю на досуге пофилософствовать. Я даже учение философское создал, суть которого сводится к трем утверждениям, соединенным в одно: жизнь коротка, соблазнов в ней много, а денег мало. Философия моя тем хороша, что бесспорна и в проверке не нуждается. А вот некоторые другие нуждаются. Помню высказывание одного советского философа. Оно было сделано на заре развития электроники, когда простейшие компьютеры еще не помещались в коробке от сигарет, а представляли собой сооружения величиной с шестизэтажное здание. Так вот в те самые времена, когда в Советском Союзе появился первый подобного рода мыслящий монстр, какой-то академик-философ, может быть, Митин, а может быть, кто-то другой ознакомился с работой этой громадины и сказал так:

— Говорят, что электронно-вычислительная машина очень умна. Говорят, что если заложить в нее все положения марксизма, она точно скажет, правильное это учение или неправильное. Но мы такой проверки, конечно же, никогда не допустим.

Я вспомнил это высказывание недавно, когда смотрел выступление по советскому телевидению группы ведущих советских философов в составе которой были два академика, Фролов и Ойзерман, член-корреспондент академии наук Степин и девять профессоров.

Речь шла о месте философии в жизни вообще, о месте философии в жизни советского общества и о той практической роли, которую философия может играть в условиях перестройки.

Откровенно говоря, передачу эту я начал смотреть без особого энтузиазма, потому что предмет дискуссии во всяком случае в тот момент, когда я начал смотреть передачу, лежал далеко от сферы моих интересов. Кроме того, я предполагал, что философы-профессионалы воспарят в какие-то недоступные высоты и заставят меня напрягать свою мысль, а напрягаться мне никак не хотелось. Но послушав немного, я заинтересовался, вник в предмет дискуссии и остался от нее под очень сильным впечатлением. Но... как бы это сказать поточнее... на меня произвела впечатление не высота и не глубина, а напротив, в некоторых случаях совершенно детский уро-

вень размышлений. Хотя были выражены и серьезные мысли. Например, профессор Соловьев вспомнил послевоенное высказывание Сталина о покорности русского народа, который терпит такое правительство. Философ сказал, что покорность и терпеливость народа хороши в меру и что народ должен уметь отстаивать свои права. И это правильно не только с точки зрения народных, но и государственных интересов. Судите сами. Государство, которое постоянно давит народ и принуждает его к безусловной покорности, в конце концов проигрывает. Народ работает покорно, но плохо. В результате плохой работы всего народа государство слабеет и приходит к результатам совсем не таким, которых оно ожидало. Выступавшие философы много говорили о пользе и необходимости критики. Без критики, говорили они, никакой смелости мысли быть не может, без критики нельзя познать действительность, без критики нельзя развиваться. Но в последнее время в философии, как и во всем остальном, наблюдался некоторый застой, и философам приходилось, как они теперь признают, говорить чепуху. Например, именно философы в шестидесятые годы пришли к выводу и убедили в нем Хрущева, что нынешнее, то есть тогдашнее поколение будет жить при коммунизме. Во-первых, это, по-моему, не точно фактически. Если не ошибаюсь, это еще Ленин говорил, что нынешнее, то есть существовавшее при нем поколение доживет до коммунизма. Во-вторых, кто бы это и когда ни сказал, при чем тут философия? Это некое предположение (неважно даже правильное или неправильное), некий план, который к философии никакого отношения не имеет. Академик Ойзерман рассказал, что еще совсем недавно его коллеги философы пороли такую чушь, что даже уши вяли. Например, однажды он и его старший коллега (а раз страшней, то, наверное, тоже в меньшем чине) встречались со своим американским коллегой. Причем не каким-нибудь там антисоветчиком, а (Ойзерман это подчеркнул) другом Советского Союза. Но держались все-таки настороженно. Пока друг Советского Союза критиковал капиталистическую систему, наши философы ему охотно поддакивали. Но потом друг спросил: «А у вас есть какие-нибудь недостатки?» И тут философы растерялись и не знали, что ответить. И мне такая их беспомощность кажется странной. Чего там теряться? Нет никаких недостатков, да и все. Это же

ясно. Потом от недостатков и достоинств двух систем перешли к обсуждению проблемы, что будет в случае мировой войны. Обе стороны согласились, что ничего не будет. Вернее, ничего не останется. Но и этот печальный вывод не поколебал убеждения старшего коллеги Ойзермана, что как бы то ни было, будет война или не будет, а социализм на земле все равно победит. То есть победит даже в том случае, если наша планета превратится в пылающий шар или, наоборот, в насквозь промерзшую глыбу. Ну, конечно, для произведения подобного рода мыслей быть академиком вовсе не обязательно. Достаточно закончить пару классов школы для дефективных. И я бы отнесся с сочувствием к критическим воспоминаниям Ойзермана, но и его собственные теперешние рассуждения поразили меня своей инфантильностью. Почему, говорит он, почему я не могу высказывать то, что думаю? Даже если я выскажу ошибочную мысль, разве я перестану быть советским человеком, разве перестану быть марксистом? Говоря это, академик разволновался, и мне захотелось его немедленно утешить и сказать: «Не беспокойтесь, товарищ Ойзерман, если вы будете таким способом доказывать свою правоту, то ни советским человеком, ни марксистом вы быть не перестанете, нет. А вот станете ли вы философом, это, несмотря на ваше высокое звание, еще не ясно». Мне кажется, что нормальный философ, доказывая истину, вовсе не должен беспокоиться, чтобы она вписывалась в пределы исповедуемого им учения. Больше того, если истина не соответствует учению или даже опровергает его, а философ не нашел, значит, он сделал открытие, значит, он имеет моральное право на время помешаться от радости и, как Архимед, с криком «Эврика», бежать по улицам, распугивая прохожих. А если он должен доказывать не истину, а свою приверженность учению, то ему будет трудно доказать свою принадлежность к профессии философа.

Мне скажут конечно: «Как же? Как же?..»

А я скажу: «А вот так же».

Дело в том, что для нормальной философии никаких закрытых для обсуждения тем, никаких запретных тем не должно быть. Конечно, бывают времена, когда глубина философских рассуждений соотносится со статьями уголовного кодекса. В таких условиях человек имеет право от философии отказаться и найти себе более без-

опасную профессию, скажем, пойти в каскадеры. Или философствовать с женой на кухне. Или продолжать свое дело официально, в пределах установленных ограничений. Но в таком случае следует философски сознавать, что то, чем ты занимаешься, есть служение чему-то или Услужению, что угодно, только не философия.

Как я уже сказал, участники дискуссии, ссылаясь, конечно, на Маркса, говорили, что философия невозможна без критики, причем не какой-нибудь критики отдельных недостатков, а критики буквально всего. Одна из участниц, профессор Гайденко, напомнила о Рене Декарте, который подвергал сомнению все сущее. А если все сущее, то, может быть, можно подвергнуть сомнению и... позвольте перевести дыхание... дайте воды...

Говорят, сказавши «а», надо сказать и «б». А сказавши «б», двигаться дальше до самого конца алфавита. До самой буквы «я». Если подвергать сомнению все, то следует подвергнуть ему и учение Маркса. Прошу товарищей марксистов понять меня правильно и если очень хочется, то даже в чем-то поправить, но я далек от того, чтобы объявлять марксизм недостойной внимания ерундой. Говорить так о теории, с помощью которой был перевернуть весь мир, было бы слишком неосмотрительно. Но ведь что говорят? Марксизм — единственно правильное учение. Само это утверждение есть с философской точки зрения совершенный абсурд. Если это учение абсолютно и бесспорно верно, значит оно перестает быть наукой, а превращается в религиозное вероучение, которое развивать нельзя. Его можно только толковать, да и то в ограниченных пределах. Это значит также, что все остальные мировоззрения, которые возникли до Маркса, при Марксе и после Маркса — неправильные. Ну, допустим... Тогда, философствуя дальше, подумаем: а почему же в некоторых странах люди, не изучивши Маркса, выращивают большие урожаи, шьют добротные сапоги, делают отличные автомобили и за болгарской зубной пастой в очередях не стоят. Может быть, они достигают этого с помощью какого-то неправильно-го мировоззрения?

Сколько существует марксизм, столько среди его толкователей идут жестокие споры, иногда даже с применением огнестрельного оружия. Противники уличают друг друга то в догматизме, то ревизионизме. Причем споры ведутся на уровне средневековых дискуссий на

тему о том, сколько дьяволов поместится на конце иголки.

И тут я подхожу к самому главному пункту моих ненаучных рассуждений. А может быть, вообще марксизм не надо ни догматизировать, ни ревизовать, а если что нужно, брать из него, а что не нужно, выкидывать. Мысль, конечно, кощунственная, но философия кощунства не признает и, как сказано выше, подвергает сомнению все. А я лично от сомнений перейду к утверждению, в котором не мог бы усомниться даже Декарт. А именно, что никакого единственно правильного мировоззрения в мире нет и быть не может. Больше того, оно вообще никому не нужно. Ведь, правда же, есть огромный мир, в котором все учения сосуществуют и по отдельности и в смешанном виде. Все они одновременно и признаются, и подвергаются критике, и отвергаются. Признавать только одно учение, даже очень хорошее, это все равно, что пользоваться ну, допустим, аспирином для лечения насморка, рака, экземы, катаракты и облысения. Как говорили в былые времена сами марксисты, предполагать возможность единственно правильного учения, это идеализм, гегельянство и кантианство.

В другое время я, возможно, и не стал бы обо всем этом говорить. В конце концов, что мне до марксизма? Но дело в том, что если люди, которые руководят перестройкой, хотят довести этот процесс до конца, они должны до конца все додумать, дойти, как говорится, до самой сути и признать, что никаких единственно правильных мировоззрений нет, быть не может и не надо.

Как-то мне пришлось разговаривать с одним очень ученым американцем. Я ему рассказывал о жизни в Советском Союзе, которую он себе представлял довольно смутно. И очень удивлялся. И спрашивал, а почему это таким образом устроено, а не таким? А потому, отвечал я, что это соответствует марксизму. А почему нельзя сделать так-то? А потому что это будет противоречить марксизму. Американец меня слушал-слушал, а потом с чего-то вдруг разволновался, вскочил, стал бегать по комнате, размахивать руками, хлопать себя по лбу.

— Я в вашей жизни могу понять многое. Но я не понимаю одного: почему в век компьютеров, лазеров, атом-

ных реакторов и космических кораблей, вы двумя руками держитесь за учение этого парня, который в жизни не видел даже простой стиральной машины.

1988

Лживая правда

Недавно мне удалось совершить довольно крупное научное открытие. Настолько крупное, что я лично могу его сравнить только с законом всемирного тяготения или теорией относительности.

Суть открытия состоит в том, что, оказывается, можно лгать, говоря чистую правду.

Собственно говоря, подобной возможностью некоторые люди успешно пользовались и до моего открытия. Но открытие становится таковым только тогда, когда оно сформулировано. Скажем, яблоки падали вниз, а не вверх и до рождения Ньютона, а, попадая в воду, частично теряли свой вес до рождения Архимеда. И сам Архимед много раз купался в различных водоемах и не шел немедленно ко дну даже в то время, когда о законе Архимеда не имел ни малейшего представления.

Короче говоря, объективными законами природы мы пользуемся обычно задолго до их открытия. Но этот закон открыл все-таки я и надеюсь со временем мне будет присуждена за него какая-нибудь очень хорошая престижная премия.

Закон этот я назвал «Лживая правда».

Вот некоторые практические примеры его применения.

Как-то, примерно полгода тому назад в одной советской газете я с удивлением прочел следующее сообщение. В каком-то из калифорнийских университетов ученые изобрели электронный калькулятор. Этот калькулятор умеет складывать, вычитать, делить и умножать, извлекать квадратные и кубические корни и производить другие вычисления. По своим размерам калькулятор не больше коробки сигарет и питается от вставленной в него обыкновенной батарейки для карманного электрического фонаря.

Прочтя это сообщение, я подумал, что бы это могло значить? Для чего это сообщается и что автор заметки на самом деле хотел сообщить?

Все, что в заметке сказано — чистая правда. Ученые в Америке действительно такой калькулятор изобрели.

Питаясь от батарейки, он складывает, вычитает, делит, умножает, извлекает корни, вычисляет гео- и тригонометрические функции. Правда, изобретено это краманное чудо лет, наверное, не меньше, чем двадцать назад. О чем в заметке не упомянуто. Но ведь заметка маленькая, в несколько строк. В ней всего не упомянешь.

Но без упоминания даты это абсолютно правдивое сообщение является таким же лживым, как если бы нам преподнесли последнюю новость, что в Америке построена коляска, которая приводится в движение не лошадьми, а двигателем внутреннего сгорания.

Упомянутые карманные калькуляторы давным-давно вошли в быт американцев и жителей других стран Запада. И не только карманные. Все часовые магазины завалены, например, ручными часами, снабженными миниатюрными калькуляторами, которые могут производить все перечисленные и многие неперечисленные математические действия. Причем среди этих миникалькуляторов есть такие, которые даже смены батареек не требуют, питаются солнечной энергией, что было бы особенно полезно в Советском Союзе, где не то, что батарейку для часов, а и обыкновенную, для фонаря, не всегда не везде достанешь.

Для чего все-таки сочинялась эта заметка?

Кто понимает, тому понятно для чего. Во-первых, для того, чтобы показать объективность советской печати. Вот, мол, мы не только плохое, но и хорошее в Америке замечаем. Когда оно, конечно, есть. А во-вторых, показать это хорошее так, чтобы общее впечатление осталось плохое.

Прочтя заметку, советский читатель может сказать: ну и что? У нас такие калькуляторы размером с сигаретную пачку тоже есть. И появились они даже не сегодня, а лет пять-шесть назад. И поневоле у него возникнет мысль, что по части калькуляторов американцы от нас порядочно поотстали.

Откуда ж ему знать, что эти советские калькуляторы содраны с американских или японских, появились в Советском Союзе намного позже, качество их гораздо ниже, а цена, соответственно выше. Калькулятор размером в пачку сигарет и стоит в Америке примерно так же, как сигареты, а советский такой же еще лет пять назад, то есть перед моим отъездом на Запад, стоил триста рублей. Это тысяча пачек «Явы». Теперь советские кальку-

ляторы может быть тоже подешевели, но наш разговор сейчас не об этом.

Наш разговор о лжи, в том числе и о такой, которая состоит исключительно из правды.

Надо сказать, что правдиво лгать умеет не каждый. Например, прочел я как-то в газете сообщение, что какой-то полицейский в Нью-Йорке подошел к мальчику и застрелил его без всякой причины. И как будто это даже для американских нравов вполне нормально. Если есть полицейский, у которого есть пистолет, и поблизости есть мальчик, то почему бы его и не застрелить?

Но это ложь откровенная, топорная. От нее даже иной и советский журналист поморщится. Ну это уж, скажет он, слишком грубо. Среди более квалифицированных журналистов принято мнение, что врать надо более тонко, более правдоподобно.

Вот и стараются.

Бывают, конечно, и у них всякие досадные оплошности. Например, как-то я, помню, смотрел по телевизору один из фильмов Валентина Зорина о Соединенных Штатах Америки. Ну тот, конечно, со свойственной ему объективностью перерыл в Америке все, какие ему попались свалки и разгреб все мусорные кучи. Вот он показывает жизнь какой-то черной семьи. Само собой, сорванные с петель двери, выбитые стекла, помойка, крысы, несчастная негритянка развешивает белье. Веревка бельевая с одной стороны привязана к столбу, а с другой стороны каким-то образом к кадиллаку, то есть к автомобилю вроде ЗИЛа, на которых у нас катаются только члены Политбюро.

А вот, например, ложь уж настолько правдивая, что даже вроде и не придерешься. В «Литературной газете» от 24 июля в самом внизу 9-й страницы помещено скромное сообщение. Весь текст занимает места меньше, чем название рубрики и заголовок.

Рубрика называется «Социальная бухгалтерия». Заголовок: «Потребление масла». Это все большими буквами.

А маленькими дословно сказано вот что: «Журнал «Фото-Япония» приводит следующие цифры потребления сливочного масла в некоторых развитых странах мира (на душу населения в год): Канада — 4,3 килограмма, Голландия — 3,5, США — 2,0, Япония — 0,6». И все. И никаких тебе объяснений, дополнений и ком-

ментариев. Комментарии вроде как бы излишни: ясно и без комментариев, что канадцы живут еще, видимо, так-сяк и хлеб маслом намазывают, может быть, даже с двух сторон. Американцы намазывают только с одной стороны, а вот бедным японцам и вовсе туго приходится. Шестьсот граммов масла в год на одного японца. Вы скажете, а чего там, японцы они же маленькие. А я вам скажу, нет, не маленькие. У них за последние годы тоже сильная акселерация произошла. Некоторые даже до двух метров, а то и больше повымахивали. И желудки у них служат не только для того, чтобы хакари делать, но и для переваривания всяких съедобных вещей, в частности тоже и сливочного масла. Но с маслом у них, оказывается, дело еще не очень хорошо обстоит. Даже хуже, видно, чем в Советском Союзе. Потому что в Союзе какой бы дефицит масла ни был, но уж килограмм за целый год достать-то все-таки можно, а в Японии, похоже, и того не достанешь.

Но мне, честно говоря, японцев этих несколько не жалко. И говорю я это вовсе не из национальных предубеждений (у меня их нет), а потому лишь, что в Японии, насколько мне известно, никаких продовольственных проблем (а кстати сказать, и продовольственных программ) нет.

А холестерин есть. Этим проклятым холестерином, как известно, сливочное масло чересчур даже насыщено. Мы холестерин вместе с маслом едим, а он, негодяй, оседает на стенках сосудов, закупоривает их и способствует развитию инфаркта или инсульта. Ну и общему ожирению сливочное масло очень тоже способствует. Уберегая себя от болезней и преждевременной смерти, некоторые люди бросают пить, курить, колотья наркотиками, и сливочного масла по возможности избегают. И вот приходит такой осторожный японец в токийский или йокогамский какой-нибудь иной супермаркет, посмотрит на полки, где масло это в большом количестве залеживается, посмотрит на свой живот, пульс посчитает, вздохнет и купит маргаринчику. Он же не камикадзе. Если уж он хакари не делает, так зачем ему убивать себя холестерином?

Купит он маргарин, и ему хорошо, и «Литературной газете» неплохо: есть чем одурачить читателя. И преподнести ему ложь, состоящую из одной только правды.

Но тут надо добавить вот что. Я уже однажды гово-

рил и сейчас повторяю для тех, кто не слышал. В природе есть много вредных вещей, кроме холестерина. Американские ученые провели исследования и совершенно точно установили, что в организме людей, которые постоянно лгут, вырабатываются очень нехорошие гормоны. От них так же, как от холестерина, стенки сосудов делаются неэластичными, что опять-таки приводит к инфарктам, инсультам и прочим неприятностям.

Так что советским газетчикам вообще и работникам «Литературной газеты» в частности, ради своего собственного здоровья следовало бы воздерживаться не только от чрезмерного потребления сливочного масла, которое, наверное, еще можно достать в редакционном буфете, но и от употребления лжи, даже если она выглядит вполне правдивой.

1988

**Речь о сионизме
на расширенном
закрытом заседании
редколлегии журнала
«Ваш соплеменник»
с активом**

Уважаемые товарищи сопляки... то есть, извиняюсь, я имел в виду соплеменники. Соплеменницы тоже.

Мы собрались здесь на закрытом заседании для того... Кстати, надеюсь, все двери-окна закрыты, никто посторонний не просочился. Нет? А то ведь они, те, о ком я буду сейчас говорить... Они имеют такую способность и пролезают повсюду. Пошарьте под лавками, оглянитесь вокруг себя, взгляните в своего соседа, загляните в собственную душу, не сидит ли там сионист? Это я говорю, потому что увы... Сионисты — это такая порода... Все наши попытки защититься от их проникновения к результатам приводят плачевным. И это снова — увы. Закрываем двери, шпингалетим окна, заклеиваем форточки, конопатим все щели — все равно проникают, как радиация.

Некоторые беспечные люди считают: ну и пусть, мол, себе проникают, что в том плохого? А я спрошу так: а что в том хорошего?

Всем давно известно то, чего никто никогда не слышал, а именно что? Что сионисты хотят нас поработить и растлить наши души и вообще хотят, чтобы наша на-

ция исчезла с лица земли. С этой-то целью они (дважды и трижды — увы) достигли немало. Они распяли Христа, совершили революцию, уничтожили видимо-невидимо наших храмов и святых мест, а народ наш нещадно спаивают: пей, говорят, Ваня, истина в самогоне. Здесь они успехов достигли? Достигли, тысячу раз — увы. Также пытаются изменить наш генотип, а именно: женись на наших женщинах и выходя замуж за наших мужчин, делают нам полукровок. Пользуясь нашей безграничной доверчивостью, перекрашиваясь в блондинов, скрываясь под нашими именами.

Можно ли дальше такое терпеть? Конечно, нельзя. Тут встает старый вопрос: что делать? Некоторые рекомендуют методы: бей сионистов, спасай Россию. Выйдет из этого чего? Нет, не выйдет. А как же быть? Надо подойти научно. Первое — изучить проблему, второе — принять решение, третье — начать действовать. Так вот, изучение проблемы показывает, что мы (миллион раз увы) действуем непрактично, прямолинейно, получается шуму много, а толку мало. А на самом деле надо учиться у них. Они действуют исподтишка, они к нам проникают, они нас разлагают, они делают вид, что они — это мы. Давайте и мы будем действовать так же, давайте противопоставим, давайте мы к ним проникнем, давайте мы их разложим, давайте сделаем вид, что мы — это они.

Некоторые вопрошают, как это практически. А практически это так. Давайте прямо сегодня перекрасимся в брюнетов и подкурчавим перекрашенные прически, потому что сионисты, как мы знаем, бывают обыкновенно курчавы. Второе, я знаю, что любой из нас готов для торжества нашего дела пожертвовать всем своим. Давайте, не впадая в крайности, жертвуем для начала не всем, а только лишь крайней плотью. Это называется обрезанием. Скажу сразу, что операция эта почти безболезненная и полезная в гигиеническом отношении. Так говорят сионисты, а они знают, что говорят. Между прочим, операция и безопасная, поскольку будет производиться специалистом, приглашенным нами из синагоги. Некоторые товарищи спрашивают, а нельзя ли обойтись? Отвечаю: обойтись никак нельзя — на следующее заседание будут пропускаться только товарищи по предъявлению доказательств, что они все это проделали.

Ну, конечно, вам всем хорошо известно, что сиони-

сты — народ подозрительный и недоверчивый. Одним только обрезанием их не проведешь, тем более, что мусульмане делают то же самое. Поэтому для усыпления их бдительности мы должны принять иудаизм, носить ермолки, отрастить пейсы, ходить в синагогу и соблюдать субботу. Это, кстати, означает, что отныне все субботники должны быть отменены и заменены воскресниками. К сожалению, мы подсчитали свои возможности и видим, что с кошерной пищей у нас не получится. Но тут, товарищи, нам поможет мировой сионизм. Как только они убедятся, что мы обрезались, приняли иудаизм, носим ермолки, ходим в синагогу и соблюдаем субботу, они нас завалят кошерной пищей. Что? Кошерная пища — это не вегетарианская пища. Кошерная даже водка бывает. И закуска к ней тоже. Так что с этим все в порядке.

Чтобы усыпить бдительность, надо нам подумать о том, на каком языке мы пишем. Пора, пора, товарищи, переходить на идиш и на иврит. Понятно, что оба языка нам совершенно чужды, поскольку даже писать, особенно в зрелом возрасте, задача не из легких. Но не секрет, что многие из нас, и нашим не овладев, все-таки что-то пишут.

И еще один аспект, тоже довольно важный. Как я уже сказал, они выходят замуж и женятся на нас, делая нам полукровок. Давайте ответим тем же, будем жениться на них, выходить за них замуж, делая им полукровок.

Ну вот, товарищи. Что еще? Ну, больше ничего. Поговорили — пора за дело. Еще раз увы и шалом.

1989

Заговор патриотов

Лидия Корнеевна Чуковская позвонила однажды своей знакомой, которая жила в коммуналке. Трубку снял мужчина. «Можно Сарру Абрамовну? — спросила Чуковская. «Здесь евреев не живет», — ответил мужчина. Лидия Корнеевна не поверила и спросила: «А вы кто?» «А я русский». «Нет, вы не русский», — сказала Чуковская. «Почему?» — удивился тот. «Потому что если бы вы были русский, вы бы сказали: «здесь евреи не живут».

Я не знаю, убедила ли она своего собеседника. Думаю, что скорее всего не убедила. Потому что многие

из тех, кто ныне объявил себя российскими патриотами, в знании какого-нибудь языка вообще не нуждаются. Я знал патриота, который слово «Россия» писал через одно «с», зато «Русь» через два. У патриотов грамота не в чести, а словарь у них короткий: евреи, жидо-масоны, храм Христа Спасителя, Каганович, духовный геноцид, русофобия. И лозунг у них простой: за веру, царя, Ленина, Сталина, КГБ, Советскую власть и Отечество. Им нужна великая Россия — антикоммунистическая под руководством КПСС. А может быть, даже и КПСС и царя-батюшки. (Проживающий в Испании наследник российского престола уже сообщил советским интервьюерам, что монархия совместима с любой системой. Теперь осталось совместить советскую систему с монархией, а это вполне представимо — и все будет в порядке).

Между прочим, слово «патриот» я употребляю только в негативном смысле, потому что позитивного смысла оно вообще не имеет. Чувство привязанности к месту своего обитания свойственно почти каждому человеку, это чувство, как правильно сказал, кажется, Окуджава, доступно и кошке. Любить свою страну могут люди и хорошие и плохие, а вот кичиться этим чувством, торговать им и отрицать его наличие у других — этим занимаются обычно или дураки, или отпетые негодяи. Тут как раз к месту будет напомнить чье-то высказывание, которое записал в числе наиболее близких ему изречений Лев Толстой: «Патриотизм — последнее прибежище подлеца».

Утверждения наших доморощенных патриотов алогичны, абсурдны, основаны на галлюцинациях, порожденных манией величия, комплексом неполноценности, на меркантильном расчете. Они построены на торопливом желании присосаться к вновь возникающей единственно верной идеологии, войти в будущие патриотические парткомы и уже сейчас стать в очередь к будущим распределителям (не отдаляясь пока что от нынешних). Патриоты из «Молодой гвардии» и «Нашего современника» в большинстве своем отличаются полным отсутствием совести или морали и относятся к числу тех, кто, по народному выражению, за копейку в церкви плюнет. Умилиться можно, видя, с каким бесстыдством и легкостью эти люди совмещают в себе и на себе несовместимое: в кармане членский билет партии воинственных безбожников, на шее — крест.

Не испытывая, видимо, ни малейшего неудобства, эти партийные прихожане вчера гордились своим пролетарским происхождением, сегодня — своей сомнительной чистопородностью. Вчера искали вокруг себя врагов коммунизма, теперь с тем же рвением охотятся на врагов России. Впрочем, враги вот уже четыре с лишним десятилетия все те же — евреи.

Евреи были, есть и будут виноваты во всем. И виноваты все. Даже тот, кто еще собирается только родиться, уже виноват в том, что он распял «нашего бога» (выражение Валентина Распутина), привез в Россию марксизм, устроил Октябрьскую революцию, разрушил храм Христа Спасителя, подбил Сталина затеять коллективизацию, голод на Украине и в Поволжье, а теперь насаждает музыку «рок», подрывает устои советской власти. Евреи виноваты в том, что установили советскую власть, они же виноваты, что советскую власть разрушают. Уезжающий еврей виноват в том, что уезжает, остающийся — в том, что остается.

Говорят, суждения патриотов настолько невежественны, что заслуживают только брезгливой гримасы, но не возражений. Что же там возражать, неужели сейчас на закате двадцатого столетия еще есть люди, которые поверят в эти бредни старые и обновленные, в то, например, что евреи потребляют в пищу кровь христианских младенцев, что протоколы сионских мудрецов — истинный документ, а не фальшивка, сочиненная в свое время предтечами нынешних «памятников»?

К сожалению, да, поверят. Если люди тысячу лет верили в леших и упырей, семьдесят лет верили газете «Правда», если сейчас они верят в экстрасенсов и мумие, почему бы им не поверить и в зловещие замыслы сионистов?

Да и трудно простому человеку удержаться в неверии, когда в официальных газетах и журналах его убеждают не какие-нибудь там партийные пропагандисты, а большие русские писатели, гордость русской литературы, совесть русского народа, а с ними большой русский математик, лауреат Ленинской премии.

Но о математике поговорим ниже. А пока о писателях, к которым принято прилагать двойное прилагательное «большой русский». На безрыбье застойных лет, когда всякая другая литература была разогнана или задавлена, на поверхности остались одни деревенщики. Они

выгодно выделялись на фоне секретарской литературы, их одних только можно было читать, поэтому их значение вольно и невольно преувеличивалось. В сознании многих они доросли до больших писателей и олицетворяли совесть народа, хотя не были ни тем, ни тем: совесть народа тогда находилась не в правлении Союза писателей, а в тюрьмах, лагерях и в городе Горьком. В те времена, когда многие люди, рискуя головой, протестовали против политических репрессий, деревенщики сидели, набрав в рот воды, и даже на высылку теперь ими прославляемого Солженицына никак не отреагировали. Тем не менее критика и молва неизменно их поднимали и дотасили до заоблачных высот. Тот же Солженицын сказал, а сами деревенщики радостно подхватили, что они, выросши в деревнях и окончивши Литературный институт, пишут о деревне не хуже, чем Тургенев и даже Толстой. Обижаясь на звание деревенских, они опять же ссылались на пример Толстого. Толстой тоже писал о деревне, но его никто не называет деревенским. Толстого и в самом деле никому не пришло бы в голову называть ни деревенским, ни военным, ни городским, ни дворянским, потому что по масштабу ума, таланта и личности он был вселенский писатель. А деревенщики не потому деревенщики, что пишут о деревне, а потому, что уровень осмысления действительности — деревенский.

Но репутация есть репутация, и теперь рядовой российский гражданин, поверив своим писателям во всем, почему же не будет верить их речам о еврейском засилии? Сам он, может быть, вокруг себя никакого засилия не замечал, но, читая высказывания своих деревенских наставников о зловещих кознях евреев, думает (и логично), что если такие грамотные люди, «не с нашими головами» про это вот говорят, то что-то где-то, стало быть, есть. Размышления подобного рода приводят гражданина к вопросам, подобным тому, какой мне пришлось услышать лет почти что сорок тому назад. Тогда (точнее, в 1952 году) один из курсантов школы авиамехаников, где я учился, начитавшись всяких ужасов о безродных космополитах, встал на уроке политзанятия и задал преподавателю вопрос, к которому его подвели все газеты: «Товарищ старший лейтенант, а почему у нас, в Советском Союзе, евреев не расстреливают?»

Я думаю, что некоторые усердные читатели «Молодой гвардии» и «Нашего современника» опять дозрели до

того же вопроса: почему у нас, в Советском Союзе, евреев не расстреливают? А от вопроса недалеко уже и до ответа и до действия.

Слухи о грядущих погромах гуляют по всей стране и за ее пределами. Проходят одни и назначаются новые сроки. Если власти и, правда, решили принять серьезные меры против потенциальных погромщиков и погромы не состоятся, то сам по себе страх, нагнетаемый слухами, это уже есть вид террора. Тем более, что погромы армянские, осетинские, месхетинские да отчасти и русские уже состоялись.

Сегодня, когда рухнули бывшие идеологические и моральные препоны, государственная власть ослабла, а партийным начетчикам никто больше не верит, кто способен умерять страсти? Люди поворачивают свои глаза и уши к писателям, деятелям культуры, священнослужителям, и те могли бы своим словом и авторитетом удержать людей от межнациональных распрей, остановить разгул, разбой, совершенно бессмысленные насилия и убийства.

К сожалению, люди, которые могли и должны бы способствовать умиротворению, сами разжигают вражду. Когда я читал отчет о пленуме Союза писателей РСФСР, я думал с ужасом, что же это за уроды такие, откуда они взялись? Вот уж правда, Михаил Дудин к месту привел слова Некрасова: «Люди холопского звания — сущие псы иногда».

На этом пленуме выступали погромщики идеологические. А на заседание писательской организации «Апрель» пришли уже погромщики практические. В этот раз пришли с мегафоном, в другой раз обещали прийти с автоматом. Ну, а если придут не с автоматом, а хотя бы с дубиной и начнут ею действовать, то я нашим патриотам-писателям за каждую разбитую детскую или женскую нерусскую голову, выдал бы по специальному ордену. Потому что дубину эту выстругивают сегодня они.

Такой разнузданной антиеврейской пропаганды, какой заполнены страницы «Нашего современника», «Молодой гвардии» и «Литературной России» мир не слышал со времен Третьего Рейха. Причем совершенно уже без причин. Ну ладно, согласимся, что евреи в 20-х годах занимали видные места в правительстве, в ЧК и где там еще. Но почему бы при этом не обратить внимание

еще и на то, что уже в 30-х годах бывшие члены правительства заняли места на скамье подсудимых, что в тех же тридцатых среди следователей ЧК было много евреев, но и среди подследственных их было немало.

Сколько в Советском Союзе евреев сегодня? Патриоты подсчитали точно: «0,69 %. Вычислили, что в литературе, науке, музыке, шахматах евреев: 80 процентов или около того. Но если уж считать по правилам, а не по принципу «сколько вам надо», то следует учесть, что в высшем руководстве КПСС евреев давно уже ровно ноль целых, ноль десятых, ноль сотых процента. С середины 30-х годов до середины 50-х там еще болтался и тем портил общую картину Лазарь Каганович, но вот уже тридцать лет и три года, как нет и его. Нет никаких евреев в Политбюро ЦК КПСС, в Президиуме Верховного Совета, в Совете министров СССР, в Генеральном штабе Советской Армии и на всех уровнях КГБ. Тридцать лет без евреев. Да за это время любая страна может восстановить свою экономику даже после самой опустошительной войны. И в этом вряд ли могут ей помешать даже очень зловредные скрипачи и шахматисты.

Читая сочинения наших патриотов, я все же пытаюсь понять, что движет ими, какие заботы? Неужели только ненависть к людям иных кровей? Но к своему собственному к русскому народу они как относятся? Они его любят? Что-то я в этом не очень уверен.

В самом деле, давайте посмотрим, что происходит. Страна после многих лет чудовищного разорения получила исторический шанс стать на ноги. Причем, шанс, может быть, мизерный и совсем последний. Сейчас надо думать и решать не кто виноват, а что делать. Главные виновники всех национальностей давно уже находятся на том свете, за пределами нашей юрисдикции. Кто из них больше виноват, сколько среди них было процентов кого, — можно разобраться потом, мертвые подождут, у них времени много. А патриоты все считают, все загибают пальцы, будто и дела нету важнее. Народный писатель и партийный депутат Василий Белов, отзаседав в Верховном Совете СССР, прикатил на уже упомянутый пленум Союза писателей РСФСР. И говорит вот что: «Когда вы вчера обсуждали здесь такие страшные вопросы, которые звучат и сегодня, в это время Верховный Совет обсуждал вопрос о въезде и выезде». Какие же страшные вопросы обсуждали писатели РСФСР? Они

обсуждали публикацию отрывков из сочинения Андрея Синявского и подсчитывали количество евреев в ленинградской писательской организации. Белов хотел бы к этому делу подключить и Верховный Совет страны, куда он сам, между прочим, прошел по партийной разрядке. Будь он не обкомовским выдвиженцем, а настоящим депутатом, пекущемся о благе собственного хотя бы народа, ему следовало бы знать, что вопрос въезда и выезда — это вопрос человеческой свободы. В стране, где вопрос въезда и выезда не решен, любой человек — русский или не русский, избиратель и депутат — остается государственным рабом.

Пока депутаты патриотического направления считают евреев, страна вот уже пять перестроечных лет топчется на одном месте, никак не сдвинется. Потому что мы все боремся. Интересно, что те же люди, которые выступают против евреев, музыки-рок, длинных волос и коротких юбок, с большой подозрительностью относятся почти к любым сколько-нибудь разумным экономическим предложениям. Поэтому у них к евреям приравнены все здравые экономисты — Абалкин, Шмелев, Попов, Заславская, Аганбегян. Зачем же нам экономика, это же так приятно, что мы бедные, мы нищие, мы хуже всех!

Русская поговорка говорит: бедность — не порок. Известная острота добавляет: бедность не порок, но большое свинство. И правда, свинство.

Да, страна разорена. Но она до сих пор еще обладает огромными пространствами плодородных земель. Ее недра, несмотря на семидесятилетнее варварство, все еще забиты неисчислимыми запасами природных ископаемых. Если немедленно, вот сейчас заняться разумной, созидательной деятельностью, если по весне нормально посеять, а по осени с умом убрать, то не к концу тысячелетия и не к концу пятилетки, а уже в этом году (в этом!) будет положительный результат. Америку не догоним, но на полках магазинов кое-что все же появится. Однако споры идут жаркие, решения принимаются половинчатые, а положение все хуже и хуже.

Некоторые патриоты говорят, и я с ними согласен, — что трудно себе представить, чтобы такое безнадежное сползание к катастрофе проходило без чьего-то злого умысла, без заранее разработанного и осуществляемого шаг за шагом плана. Кто может так вот планомерно, и

злонамеренно вести страну к гибели? Только те, кто ее ненавидит. То есть опять же... Тут я поставлю многообразие и задам такой вопрос: неужели действительно есть люди которые думают, что какие-то русофобы — всамделишные, а не выдуманные — только о том и думают, как бы погубить эту самую несчастную и ненавистную им Россию. Кто так думает? Какой-то от рожденья кретин или сумасшедший? Ну да, такие люди есть. И есть так называемые зоологические антисемиты, которые впадают в истерику при слове Эйнштейн или Троцкий. Зоологические меня как раз меньше всего возмущают, это люди, которые нуждаются в психиатрической помощи. Но есть заведомые проходимцы — и их большинство, — которые делают вид, что они зоологические. Они бьются в конвульсиях, исходят пеной (часто буквально) не потому, что они действительно в душе за или против кого-то, а потому, что за это «за» или «против» им дадут путевку в санаторий, лишнюю курицу в буфете, а то глядишь, и к теплomu месту пристроят.

Игоря Шафаревича я бы отнес к первой категории. Он бьется не за курицу, а за идею, не высказав которую не мог бы спокойно, как он говорит, умереть. Теперь, кажется, все в порядке, в книге «Русофобия» он излил душу полностью.

Согласно этой книге и другим подобным источникам, русофобы, ненавидя Россию и русских, с давних пор составили заговор и очень целенаправленно ведут против объекта своей ненависти войну на полное уничтожение. В число военных действий входит всего дискредитация русских. С этой целью русофобы утверждают (цитирую Шафаревича), что «архетипические» русские черты — это рабская психология, отсутствие чувства собственного достоинства, нетерпимость к чужому мнению, холуйская смесь злобы, зависти и преклонения перед чужой властью...» «До сих пор в психике народа доминирует власть, «тоска по Хозяину», «русский мессианизм» (а проще «вселенская русская спесь»), начало которого авторы видят в концепции «Москвы-Третьего Рима»... Но причину своих несчастий русские понять не в состоянии. Относясь подозрительно и враждебно ко всему чужеродному, они склонны винить в своих бедах кого угодно: татар, греков, немцев, евреев...только не самих себя».

«...марксизм был русскими извращен, переиначен и использован для восстановления старых русских тради-

ций сильной власти. Сталин был очень национальным, очень русским явлением, его политика — это прямое продолжение варварской истории России».

«Главная опасность, нависшая сейчас над страной, — возрождающиеся попытки найти какой-то собственный, самобытный путь развития — это проявление исконно «русского мессианства». Такая попытка неизбежно повлечет за собой подъем русского национализма, возрождение сталинизма и волну антисемитизма. Она смертельно опасна не только для народов СССР, но и для всего человечества. Единственное спасение заключается в осознании губительного характера этих тенденций, в искоренении их и построении общества по точному образцу современных западных демократий.

И наконец заключительный вывод о прошлом и будущем русских: «истории у них вообще никогда не было, имело место лишь «бытие вне истории», народ оказался мнимой величиной, русские только продемонстрировали свою историческую импотенцию, Россия обречена на скорый распад и уничтожение».

Прочтя эту книгу Шафаревича, а также работы его единомышленников, я подумал, что вообще-то в мыслях этих людей есть резон. Они в чем-то правы. Больше того, я двинулся дальше и, руководствуясь учением Шафаревича и других русофобиологов, пришел к выводу, что русофобы не миф, а жидо-масонский заговор действительно существует. Путем дальнейших умственных заключений я открыл на территории СССР большую, тщательно законспирированную и широко разветвленную жидо-масонскую организацию, которую я намерен разоблачить не позже, чем в следующую субботу. Всем заинтересованным патриотически настроенным гражданам я советую запастись карандашами, бумагой и настроить свои приемники на волну радио «Свобода» и выйти в нужное время на связь. Будет раскрыт жидо-масонский заговор, будут разоблачены его главные участники, названы их фамилии, звания, должности и адреса.

1990

Муравьи-русофобы

Прошлый раз я обещал разоблачить жидо-масонов и русофобов, раскрыть их истинное лицо с указанием фамилий, должностей, званий и адресов. Скажу сразу, что я не буду касаться отношений русских и нерусских

в нерусских республиках. Это отдельная тема. А пока поговорим о наших русских патриотах внутри России. Меня интересуют те из них, которые объявили войну евреям. Некоторые думают, что если речь идет о евреях, то неевреев это никак не касается. На самом деле это касается всех. Представим себе, что патриоты из «Памяти» или из другой подобной организации захватили власть. Они, конечно, возьмутся сразу же за евреев. Что они будут делать?

Есть три известных варианта. Первый — окончательное решение еврейского вопроса по гитлеровскому образцу — кое-кого соблазняет, но в настоящий момент (это даже и сумасшедшие знают) оно нереально.

Второй вариант: просто вытолкать всех евреев за границу. У этого варианта есть тот недостаток, что если они, евреи, уедут и на новом месте более или менее прилично устроятся, то здесь некоторым оставшимся будет обидно, что они там живут хорошо, а здесь некому сказать «жидовская морда».

Остается третий, уже испытанный вариант: туда евреев не выпускать, а здесь во всем ограничивать. Прижать их еще больше, чем они прижаты сейчас. Не принимать их в университеты и институты, не утверждать их диссертации, не пускать их в партию, держать подальше от руководящих должностей, отстранять от скрипок, шахмат, печатных станков и магазинных прилавков. То есть делать то, что уже делалось, но с максимальной строгостью, не оставляя ни малейших лазеек.

Евреям будет, конечно, плохо. А что будет с русскими? Давайте без лишних эмоций представим. Для того, чтобы не допускать евреев, надо их выявить. Для того, чтобы выявить, надо иметь большой проверяющий аппарат, отделы кадров, полицию и стукачей. Надо следить, кто скрылся под псевдонимом, кто взял фамилию жены, кто просто подделал паспорт. Надо преследовать евреев, полуевреев, четвертьевреев и носителей более мелких дробей. Нельзя упускать из виду всех, кто находится в смешанных браках. Надо наказывать сочувствующих, помогающих, укрывающих, недоносящих. То есть евреев 0,69 %, но для того, чтобы борьба с ними была эффективной, ей должны заниматься все 100 % населения.

Евреи, известно, люди неблагодарные, от такой заботы они будут рваться в Израиль, в Америку, к черту в

зубы. Вместе с ними туда же устремятся половинки, четвертинки, осьмушки и так далее. Опять же смешанные. Ну и еще те, кто будет себя выдавать за евреев. Если их выпускать, страна теряет их мозги (об этом недавно в интервью корреспонденту «Нью-Йорк Таймс» беспокоился Валентин Распутин). Если не выпускать, то мозги их будут направлены на то, как бы сбежать или заставить власти отступить. Опять-таки для того, чтобы такую ситуацию сохранять и охранять, надо усиливать контроль за поведением людей, укреплять тайную полицию. Все это несомненно скажется на международных отношениях, а там само собой — укрепление границ, гонка вооружений и вообще все то, что было, но в худшей форме. Все это опять-таки за счет всех, а не только за счет евреев. И в конце концов такая политика, будучи проведенной в жизнь, неизбежно привела бы Россию к полному краху. Вот, на самом деле, какое будущее готовят России люди, которые называют себя ее патриотами.

Если они не понимают, что делают, то они либо дураки, либо сумасшедшие, а если, да, понимают, то у меня есть только одна гипотеза. Тогда эти люди — сознательные враги России, они прикидываются ее друзьями, они кричат о своем патриотизме, чтобы пробраться наверх, захватить все ключевые посты и затем привести страну к катастрофе. То есть они и есть русофобы.

Вы не согласны? Давайте попробуем разберемся.

Вернемся временно к книге Шафаревича «Русофобия». Глянем на нее. Книжка серенькая на шершавой бумаге. Такое впечатление, что издана не в Мюнхене, а где-нибудь в Пензе или Калуге. На обложке портрет автора. Выражение лица печальное-печальное. Видно, огорчается человек, что евреев на земле еще очень и очень много. И ему за всю его жизнь, видимо, никак с ними не справиться. Хотя очень хочется. Настолько хочется, что взявшись за исследование феномена русофобии, автор с первых строк потерял всякий контроль над собой и плетет черт те чего.

Я не смею подвергать сомнению репутацию Шафаревича-математика. Но я всегда думал, что серьезная исследовательская деятельность и особенно в точных науках, может быть основана только на безусловном и даже автоматическом уважении к фактам. Я понимаю, что ученый из любой области, если даже берется не за свое

дело, может ошибиться, но когда он начинает подгонять условия задачи под заранее подготовленный ответ, тогда всякая наука вообще кончается. Но такой недобросовестности в подборе и толковании выбираемых и приводимых данных, какой отличается книга Шафаревича, трудно представить не только в математике, но даже в самой низкопробной политической агитке. Факты автор передергивает, цитаты вырывает из контекста, мысль своего оппонента искажает, даже биографические данные своих оппонентов он обязательно исказит, перевернет, перетолкует. Никакой возможности компрометации своего даже мертвого противника не упустит. Например, упомянул фамилию автора плана Маршалла, спешит заодно просветить читателя, что фамилия Маршалл происходит от еврейского слова «маршалик» — шут в гетто. Прочтя это, я думаю, ну для чего он это сообщает? Если так важно, от какого слова происходит какая фамилия, то почему бы не сообщить нам заодно происхождение фамилии Шафаревич?

Пророком наш математик оказался очень неудачным. В книге своей он говорит о безудержном покорении всего мира однопартийной коммунистической системой и говорит в том самом 1989 году, когда коммунистическая система практически рухнула во всей Восточной Европе и терпит очевидный крах в самом Советском Союзе. Попал пальцем в небо.

А когда наш математик заговаривает о литературе, то тут уж проявляет столь чудовищное невежество, что уши вянут. Ну вот, например, сетует, что поэт Галич (в скобках Гинзбург) писал из русофобских (а как же!) соображений песенки о русских пьяницах, хотя ему проще было бы писать о преуспевающем советском драматурге, каковым был сам Галич. Как говорят, надо же, во дает! Неужели не понимает профессор, что если бы все преуспевающие драматурги писали только о преуспевающих драматургах, мы бы никогда ничего не узнали ни про Гамлета, ни про Чацкого, ни про госпожу Простакову, на которую сам наш профессор немного смахивает.

Меня именно исследовательская недобросовестность Шафаревича настолько поразила, что я спросил недавно у одного крупного физика, действительно ли Шафаревич — крупный ученый. Он сказал: да, крупный. Я спросил, а разве возможно, чтобы крупный ученый писал такую чушь, пусть даже за пределами его профессии?

Ведь в своей науке он не может, наверное, обойтись без строгого и беспристрастного анализа. Физик сказал: «В математике, музыке и шахматах все возможно. В этих сферах больших успехов иногда достигают люди, которые во всем остальном круглые идиоты».

Если мой приятель прав, то это сочинение Шафаревича извиняет. Если же нет, то тогда возникает странное впечатление. Странность вот в чем. Разоблачая русофобов, Шафаревич утверждает, что они приписывают русским несвойственные им черты и стремления. Приписывают, повторяю, любовь к сильной власти, рабскую покорность, стремление к мессианизму, отрицание демократического пути развития, подозрительность ко всему чужеродному, склонность винить в своих бедах кого угодно — татар, греков, немцев, евреев... только не себя.

Он начинает по пунктам разбирать эти обвинения, но в результате не только не опровергает их, а подтверждает. Сам выступая от имени русских, говорит, что сильное государство это хорошо, что демократия это плохо, что России демократическое развитие не подходит, что Россия должна идти каким-то своим путем и что виноваты во всем евреи. И вот когда я все это читал, у меня закралось сомнение. А может быть этот самый Шафаревич действует по принципу «держи вора», то есть держи русофоба, а сам таким хитрым путем показывает, что русофобы о русских говорят очень правдиво.

Если бы Шафаревич действовал в одиночку, его одного вывести на чистую воду не составляло бы большого труда. Но есть же и другие люди, в патриотизме которых и сомневаться даже неудобно. Все же смущает, что они, идя по стопам русофоба Шафаревича, претендуют на то, что говорят от имени России, являются ее, России, единственным голосом. Не фигурально, а в буквальном смысле. Например, печатают произнесенную на съезде депутатов невнятную речь Василия Белова, и вместо того, чтобы назвать ее скромно речью Белова или голосом Белова, ну в крайнем случае голосом Вологодчины, дают ей заголовок «Голос России». И погромщики, что явились на заседание писательской группы «Апрель», тоже выступали не сами от себя, а от имени России. Все эти люди, которые называют себя патриотами, чем агрессивней, тем уверенней выступают от име-

ни всей России, выступают так, как будто вся Россия их и только их уполномочила говорить от своего имени.

Я совершенно отчетливо вижу, что ко всем реальным планам переустройства жизни в России патриоты относятся или равнодушно или враждебно. Выступают против наиболее толковых предложений по улучшению дел в сельском хозяйстве и экономике. На экономику и сельское хозяйство у них времени не хватает, они заняты попыткой натравить русский народ на евреев? А для чего? Допустим, что им даже отчасти это удастся. Но еще больше им удастся настраивать мир против русских. Слух об их речах далеко расходуется. Доходит до Мюнхена, Лондона, Вашингтона. Не говоря уже о Тель-Авиве. Конечно, многие люди знают, что фашисты есть всякой национальности. Есть фашисты французские, американские, немецкие, еврейские, в каждой семье не без уроды. И никакую семью подобный урод полностью не представляет. Но встречаются и люди, которые судят о семье именно по уроду, а о народах по фашистам. Я, живя в Германии, даже сейчас, через сорок пять лет после войны, очень хорошо это чувствую. Здесь когда-то местные патриоты захватили власть, и до сих пор миллионы людей в мире относятся с подозрением ко всем немцам.

Так вот, выступая с фашистскими или полуфашистскими призывами от имени всех русских, эти наши патриоты настраивают мир против русских, именно они являются главными вдохновителями и распространителями русофобии.

Так, может быть... Нет, правда, давайте еще раз посмотрим.

Вот говорят, есть такая группа людей, малочисленная (опять же ноль, сколько-то сотых процента), но очень уже вредная. Эти люди, притворяясь своими, выдавая себя за истинных радетелей России, пролезают во все дырки, захватывают власть, овладевают органами печати, проповедуют свои идеи и исподволь делают все, чтобы погубить Россию. Эти люди по всем признакам очень похожи на тот «малый народ», который представил нам Шафаревич. Малый народ, который постоянно сбивает с пути и подталкивает к пропасти «большой народ». Действуют эти «малонародцы» исподтишка. Как только появляется у них малейший шанс привлечь к себе внимание, они возникают, кричат, шумят, как

только соотношение сил не в их пользу, они немедленно исчезают. В этом убедиться нетрудно. Когда происходят массовые демонстрации и десятки, сотни тысяч людей выходят на улицу, этих патриотов, этих борцов с русофобией и жидомасонством просто не видно. Почему же они исчезают? Видно, не очень верят они в русский народ, видно, боятся, что русский народ им шею намылит. А еще вопрос, куда они исчезают и где они прячутся в перерывах между своими появлениями?

И тут нам придет на помощь учение о жидо-масонах. Опять же, кто такие жидо-масоны? Один из героев Беловского романа «Все впереди» говорит, что масоны это такие люди, которых никто не видел и никто о них ничего не знает. Именно поэтому, отвечает другой, я и испытываю к ним отвращение. Прямо по старой песенке, которая в современном виде зазвучит так: «Я маленькая девочка, танцую и пою, масонов я не видела, но я их не люблю». Учение о масонах говорит, что это зловредная, большая, тайная организация. Члены масонской ложи действуют, разумеется, подпольно. Как они организованы, знают только они.

Я смотрю вокруг себя: к кому все эти признаки подходят? — и говорю себе: «Батюшки, так это же «Память»! Ну все прямо как раз про нее. Потому, что все говорят: «Память», «Память». Говорят, что она по всей стране, во всех городах распространилась, что в ее рядах миллионы. А в каких именно городах? А сколько именно миллионов? И кто среди этих миллионов? Давно я слышу имя Дмитрий Васильев, с недавних пор слышу фамилию Сычев. А кто еще? Все, как говорится, покрыто мраком неизвестности.

Писатели-деревенщики на вопрос, что они думают о «Памяти», от прямого ответа обычно уклоняются. Я, мол, не знаю, я с этими людьми незнаком, но мне кажется, они говорят дельные вещи, по-моему, прежде чем ругать, их надо выслушать. Выслушать, может быть, и надо, но поверить, что Белов или Распутин не знакомы с «Памятью», мне лично трудно. «Память» ищет поддержки везде, где только возможно, так неужели она не сунулась к своим родимым патриотическим классикам? Тем более видя такое теплое к себе отношение. А если нет, если гора не идет к Магомету, то почему бы деревенщику не пойти познакомиться с организацией, которая дует в ту же дуду. (Тем более, что в «Памяти», го-

ворят, есть какое-то прогрессивное крыло, но мне его издалека не видно. Я спрашивал у близко живущих, те тоже замечают, что «Память» мешает все время одним и тем же черным крылом). Пару месяцев тому назад фюрер «Памяти» Дмитрий Васильев давая интервью ногинской районной газете, очень интересничал, излагая свои монархистские взгляды (а еще недавно божился Лениным). Когда его спросили, сколько человек в «Памяти», он сообщил, что хватает, но сколько именно — не сказал. Его спросили, какие «большие» люди состоят в «Памяти», он ответил, что состоят очень видные деятели, но кто именно, пусть, мол, это остается нашей маленькой тайной.

Короче говоря, налицо тайная организация. Вроде масонского ордена. Где «Память» это всего лишь видимая, или, точнее сказать полувидимая часть айсберга. А основная часть временно погрузилась в пучину по моему где-то в районе Лубянки. Не случайно демонстранты на улицах Москвы ставят знак равенства между «Памятью» и КГБ, а Юрий Афанасьев сказал, что это армия КГБ. Не батальон, не полк, а целая армия.

Итак, наше исследование показывает, что члены организации «Память», а с ними некоторые наши крупные писатели, а с ними математик Шафаревич, похоже, и есть самые настоящие русофобы, а может быть, даже и жидо-масоны. Тут вы мне скажете, что этого не может быть, потому что русофобы, а тем более жидо-масоны это и по названию видно — евреи. А патриоты — люди русские. Я спрошу, а откуда вы знаете? Мне скажут, ну как же, как же, у них у всех фамилии русские, кроме, может быть, Шафаревича. У них и лица тоже, хотя и с азиатской косиной, но все же вроде бы наши. Меня бы такое доказательство смутило, но на помощь мне приходит одна теория из новейших. У одного из патриотов я прочел очень интересное наблюдение над жизнью муравьев. Там говорится, что эти насекомые живут в своих муравьиных кучах, роют землю, тащут кто соломинку, кто щепку, изо дня в день мирно трудятся, строят свое муравьиное счастье. Но вдруг появляются среди них некие пришельцы. Тоже вроде как муравьи, но не настоящие, а как бы муравьиные, что ли, евреи. Или псевдомуравьи. А выглядят так, что от настоящих не отличишь. И вот, попадая в муравьиный рой, эти самые псевдомуравьи начинают вести свою разрушительную

работу. Личинки настоящих муравьев пожирают, а свои псевдоличинки подкладывают. Проходит какое-то время, и настоящие муравьи просто полностью исчезают, их целиком замещают псевдомуравьи, которые опять же ничем не отличаются от настоящих, так что я и не знаю, что за беда. Вы говорите «русские», «русские». А может, это псевдорусские. Может, это евреи прокрались в русский рой, личинки наших будущих патриотов пожрали, свои собственные отложили и вот вылупились Псевдокуняев, Псевдошафаревич, Псевдобелов, Псевдораспутин и Псевдотатьяна Глушкова. И вот они под видом борьбы с русофобией сами же эту русофобию проталкивают. Ведь настоящие русофобы, они не простые. Они хитрые.

1990

«Из русской литературы я не уезжал никуда»

Беседу ведет Татьяна Бек

Когда ты почувствовал себя писателем?

— Когда и как, точно сказать не могу, но какой-то такого рода зуд был у меня с детства. Он появлялся время от времени. Помню, читал я лет в десять Островского...

— Какого?

— Драматурга. И мне казалось: все написанное им так достоверно, что наверняка не выдуманно. Видимо (я так решил), он просто слушал и записывал. И вот однажды моя мать повздорила с нашей соседкой, а я, слушая их ругань, думал, что разговор очень интересный, и стал записывать, что они говорят. Записывал-записывал, но вижу, не поспеваю. Ну, думаю, надо же, Островский, наверное, умел быстро записывать, потому у него получалось, а у меня нет. На том я и прекратил свои упражнения. Потом, уже в более сознательном возрасте, у меня снова возникал этот зуд, но я себя нарочно останавливал, потому что у меня отец (ты его знала и помнишь) писал и стихи, и прозу и был профессиональным журналистом-газетчиком и вообще, безусловно, талантливым человеком, но я видел, что все это у него совершенно не идет, никто его не печатает. И я еще в детстве понял, что быть писателем-неудачником — большая трагедия. И потому я в эту сторону даже не смотрел. А потом, когда я служил в армии (а служил я четыре года), так там — кроме самой службы — абсолютно некогда

было чем-то заняться. Армия не давала времени даже книги читать, и я за эти четыре года прочел только одну книгу.

— *Что за книга?*

— «Милый друг» Мопассана. А до этого я читал очень много, у меня была способность так называемого партитурного чтения, и я книги буквально заглатывал. Но в армии я эту способность утратил навсегда. Четыре года перерыва в умственном развитии! В армию я пришел без образования — у меня было семь классов в 19 лет. Я был столяр, в армии стал механиком, но ни та, ни другая специальность меня не удовлетворяли. Я хотел чего-то интеллектуального, а для этого у меня не было образования.

— *Как же ты потом поступил в пединститут, если всего семь классов?*

— Я после армии пошел в десятый класс вечерней школы, кончил его и в институт поступил не сразу. Когда срок службы подходил к концу, я задумался, что же дальше. Собирался пойти по авиалинии, так как до армии занимался в авиаклубе, летал на планере, прыгал с парашютом, и авиация меня вообще очень привлекала. Думал пойти учиться на авиационного инженера, но тогда надо было после армии идти в последние классы вечерней школы. Значит, нужно три года и где-то работать, и учиться. И потом, даже если я сразу поступлю в институт и проучусь пять-шесть лет, то лишь в 32 года стану начинающим инженером.

И тогда я стал думать, нет ли такой профессии — разумеется, интеллектуальной, — которой можно было бы заниматься, не имея формального образования. Я попробовал рисовать, потом поступил в драмкружок, даже играл в пьесе «Снежок» негритенка! Быстро увидел, что из меня ни художника, ни актера не выйдет. А у меня был друг, который писал стихи и даже иногда их печатал в центральной прессе... Я посмотрел и думаю: так, наверно, и я напишу. И я попробовал сочинить стихотворение — было это в 1953 году, — написал его и оставил в тетрадке. Были это очень глупые, бездарные стихи. А потом, примерно через год, один мой сослуживец их обнаружил и сначала давай надо мной издеваться, бегая по казарме и читая стихи вслух. Я за ним, как сейчас помню, тоже бегал и стихи вырывал. А потом, наиздевавшись, он подходит и говорит: «Слушай, почему ты эти

стихи в газету не пошлешь?» Я говорю: «Кому они нужны, это совсем плохо». А он в ответ: «Ты что? Хорошие стихи». И я подумал: действительно, чего я теряю. — и послал стихи в газету «Знамя победы» Киевского военного округа. Вскоре я как раз уехал в отпуск (единственный раз за четыре года службы меня отпустили на десять дней), а когда приехал, меня ждал почтовый перевод на 9 рублей 80 копеек тогдашними деньгами, а на бланке было написано: «за опубликованные произведения». Поскольку у меня лишь одно было произведение, его-то я и стал искать — нужную подшивку нашел, но ее солдаты уже разобрали на курево и на другие надобности. Так я ничего и не обнаружил. А потом в уборной случайно попался мне клочок газетной бумаги, на котором было напечатано: «О воспитательной роли старшинсверхсрочников пишут такие-то и такие-то...»

— *Не может быть!*

— Клянусь, клянусь. И поскольку моя фамилия на одну из первых букв алфавита, то я стоял в этом списке первый. Надо сказать, все это меня поощрило и морально и экономически. Я эти стихи писал минут 15, а заработал десятку. Неплохой приварок к солдатскому жалованью.

Я стал писать стихи дальше и посылать туда же. А мне стали отвечать: это, дескать, похвально, что раскрываешь патриотическую тему, но вот рифма плохая и еще чего-то не то. Ну, сама знаешь, как в таких случаях отвечают: читайте книгу Исаковского о поэтическом мастерстве...

— *Или Маяковского «Как делать стихи».*

— Я сам потом так же отвечал на самотек, дело известное.

Да. И больше меня не печатали. Но тут я взглянул на это дело всерьез, хотя начиналось оно для меня как бы в шутку. Оставался год службы в армии. Пройдет он для меня, думаю, зря. И решил я, что все свободное время буду писать стихи просто так. Я знал, что стихи плохие, что пишу ужасно. Но знал я и то, что дело это требует определенных навыков, тренировки и знаний. Так? И пошел я в библиотеку. До этого у меня интереса к стихам не было (в детстве был, потом прошел). Брал в армейской библиотеке все без разбору. Не считая классиков, брал и советских — Сергея Смирнова, Сергея Васильева, еще кого-то, всяких. Ну, конечно, Симонова,

Твардовского. И поставил я себе условие: писать ежедневно не меньше одного стихотворения — независимо от качества, от того, пишется ли, не пишется. Больше можно, а меньше нельзя. Однажды написал даже 11 стихотворений в день (нет, только слово «стихотворение» ставь в кавычки, оно здесь условно — все это было действительно очень плохо). Думаю, буду писать, а если через год увижу, что ничего не получается, я это дело брошу... Я писал-писал-писал, и вдруг месяца через три вышло стихотворение, которое мне самому понравилось: что-то в нем было. Я даже побежал с этим стихотворением к одному солдату, который был до службы учителем русской литературы, и он мне сказал: «Я тоже писал стихи, но такие хорошие у меня не получались», Это меня вдохновило, и я стал писать дальше-дальше-дальше-дальше, все так же, каждый день во что бы то ни стало. И что-то, какие-то строчки и даже строфы стали появляться; какое-то настроение и даже намек на мысль.

— *А почему ты тогда еще не пытался писать?*

— Пытался. Но проза — прошу у тебя прощения, — на мой взгляд, более трудный и таинственный род литературы. В поэзии ты как бы плывешь по реке: рифма, как берега, размер и ритм — бакены и вешки. А проза — это как плавание в океане, где нет никаких ориентиров и правил, и компаса тоже нет... Короче говоря, в прозе у меня поначалу вообще ничего не получалось: выходила полная мур, жижа, отсутствие мускулов.

— *И все же ты потом полностью перешел на прозу. А что в тебе осталось как в прозаике от недоволившегося поэта?*

Амбиция! Мне все время хочется доказать, что я был хороший поэт. Но если говорить всерьез, то стихотворный опыт очень помог мне в прозе, ибо тот ритм, который я нащупал в стихах, дал мне интуитивное представление о ритме в прозе. (Я не имею в виду, не дай Бог, ритмическую прозу — я ее не люблю. Я говорю шире: о строе прозаической речи вообще). Словом, стихотворный опыт не прошел даром.

— *Твои прозаические вещи 60-х годов («Мы здесь живем» и «Два товарища», «Хочу быть честным» и «Владычица») — это так или иначе традиционные повести даже не без нравственно-учительского пафоса. Юмор, сатира и гротеск, которые восторжествовали в*

твоей прозе позднее, ощущались здесь пока лишь в глубинной подоснове. Как произошла эволюция?

— Когда меня спрашивают, считаю ли я себя исключительно сатириком, я всегда отвечаю: нет. Я начинал как реалист. Когда я написал «Мы здесь живем», то показал повесть одному старому писателю. Его звали Арнольд Одинцов. Показал и спросил, как он думает: напечатают это или нет? Он ответил: эту повесть напечатают, но вообще вас потом за то, что вы пишете, будут очень сильно бить. Я спрашиваю: «Почему?» Он говорит: «Потому что то, что вы пишете, слишком похоже на реальную жизнь». И когда повесть вышла, помимо положительных отзывов — сколько было ругательных! Критик М. Гус в статье «Правда эпохи и мнимая объективность» написал, что Войнович придерживается чуждой нам поэтики изображения жизни «как она есть». Помоему, это перл. Но самое смешное, что я с Гусом был согласен. Правильно он определил. Такую поэтику я себе и выбрал — изображение жизни как она есть. А юмор был, наверно, и в моих первых вещах...

— Именно юмор — и не более того. К тому же не всегда тобою осозанный.

— Верно. Например, в той же повести «Мы здесь живем» я написал об одном персонаже, что на нем были милицейские галифе и белые тапочки. Когда я читал это вслух, люди смеялись, а я удивлялся: чего смешного-то? Я тогда любил читать вслух, и, знаешь, именно реакция публики помогла мне понять, что я пишу с юмором.

Кстати, еще два слова о юморе. Это ведь прежде всего не то, что специальные юмористы пишут как специальную юмористику. Часто читатель как подлинный юмор воспринимает то, что он попросту узнает. Эффект узнавания вызывает у читателя радость, он смеется даже в случаях, когда текст никаких претензий на юмор не содержит.

— И все же как ты смог столь резко вырваться к сатире, иронии, фантастике, к «гротескному реализму», как сказал бы Бахтин?

— Специально я никуда не выкруливал. Я развивался. Развивался, но, мой взгляд, на жизнь становился все более горьким. Чем дальше, тем больше замечал я в жизни тех страшных вещей, которых не видел раньше. К тому же и сама действительность становилась на гла-

зах все более гротесковой. Я часто так говорю: это я сатирик, я действительность сатирична и гротескова. И придумана кем-то, а не мной. Я же недаром писал в «Иванькиаде», что автором этой истории следует считать не меня, а Иванько и его компанию.

— *Все-таки, скажи пожалуйста, какая духовно-художественная задача тебе ближе теперь — учительски-проповедническая (толстовская) или гротескно-сатирическая (салтыково-щедринская)?*

— Я бы сказал: гоголевская. Или точнее: гоголевски-чеховская. Мне всегда была ближе отстраненная манера изображенной жизни — без прямого авторского вмешательства и без авторского насилия. Хотя с возрастом я начинаю чувствовать в себе крен к проповедничеству, что пытаюсь задавить, ибо знаю, что это скучно.

— *Мой любимый рассказ у тебя — «Расстояние в полкилометра» (1961). Как он родился?*

— Жизненная основа этого рассказа такова. Я в те годы часто бывал во Владимирской области, на станции Мстёра (не надо путать с поселком Мстёра, где живут народные умельцы; это в 15 километрах от станции, где я никаких умельцев не встречал). И когда я туда приезжал, каждый раз тамошняя жизнь потрясала меня своей обнаженностью. Яркостью повседневной скуки, я бы так сказал, Вроде бы люди живут очень косо, и в то же время происходят потрясающие вещи. Скажем, в «Расстоянии...» есть один персонаж, который другого на тачке вез по деревне за чекушку, да?

— *Конечно. Это Очкин, а другой — плотник Николай Мерзлякин, образ, исполненный диалектики. Над Очкиным он издевался, заставлял возить себя на тачке, а «любимым предметам собственного изготовления» — ящичкам, столам, полочкам, то есть, в сущности, деревяшкам, давал ласковые имена и разговаривал с ними, очеловечивая. По-платоновски странно и страшно.*

— Андрей Платонов — мой, наверное, самый любимый русский писатель XX столетия. Но это к слову. Что касается моего рассказа, то я не то чтобы прямо воспроизвел мстерскую жизнь, но я переполнялся ею. Что же до народного характера, то с годами мой взгляд на него не изменился в корне, но, как я думаю, заметно обогатился жизненным опытом.

— *Не только с годами. Разные грани этой диалектики*

разглядывал ты и тогда, в 60-е. Была у тебя такая повесть-притча «Владычица» (кстати, почему ты не переиздаешь ее теперь?), подспудную мысль которой я понимаю вот как: культ личности уничтожает личность. В 60-е годы все это прозвучало так. Интересно, что в 70-е та же тема совершенно иначе решалась тобою в историческом романе о Вере Фигнер «Степень доверия», и уж совсем неожиданно, «перевернуто» — в сатирической антиутопии «Москва 2042» (1985), о которой я потом буду тебя пытаться отдельно. С самого начала тебя так или иначе интересовали оборотные стороны русского праведничества, учительства, мессианства.

— Почему «Владычица» не переиздавалась здесь теперь, когда я вернулся в родную словесность? Просто я еще не привык, что могу тут спокойно издаваться, и иду как бы по воле волн. Как кто составит мой сборник, так я с этим и соглашаюсь (а вообще-то надо бы «Владычицу» переиздать). Я десять лет прожил на Западе, где такая повесть вообще никого заинтересовать не может — особенно в силу своей притчевости.

— *А здесь эту повесть помнят.*

— Наверное, потому что она очень о русской жизни, да? О тогдашней и о теперешней. Надеюсь, что и сейчас «Владычица» не совсем устарела.

— *Проблема культа личности, которая в последнее время довольно монотонно решается у нас преимущественно на материале сталинщины, связана с широким спектром вопросов профессионального революционерства и диссидентства. Ведь есть тонкая грань, за которой «народный праведник» (особенно на российской почве) становится опасным явлением с чертами диктаторства и бесовщины...*

— Это тема не простая. У нас говорят больше о бесовщине в среде, так или иначе противостоящей государству. А что было с другой стороны? Все эти идеологические компании, которые мы или наши родители видели. Поиски врагов народа. кулаков, троцкистов, уклонистов, космополитов, диссидентов — разве это не бесовщина? Я сам неоднократно был свидетелем и жертвой подобных бесовских шабашей в нашем родном Союзе писателей. Я хорошо помню, как один за другим встают будто бы нормальные люди и вдруг начинают плести такую злобную чушь, такой бред, что смотришь и не возьмешь в толк, то ли ты чего-то не понимаешь, то ли эти люди все

до одного свихнулись. Причем ведь не просто несут ахи-нею, а впадают в раж, до дрожи, до судорог, до пены у рта. Кажется, спусти его с поводка, он тут же зубами тебе в глотку вгрызется.

А что касается диссидентов, то там бесноватые тоже, конечно, водятся, но все же не только они. Это я хочу отчетливо подчеркнуть, потому что вижу много «премудрых пескарей», которые каждого, кто оказывает сопротивление насилию, готовы записать немедленно в бесы. Чтобы оправдать свое собственное покорное лежание под корягой.

Когда наступает период всеобщей покорности и люди ведут себя как загипнотизированные перед всесилием и наглостью власти, то общество хотя бы впоследствии, хотя бы очнувшись, должно почувствовать благодарность к людям, которые этой власти говорят «нет». И тем самым защищают, иногда в одиночку, честь всего общества. И даже шире — жизнь общества, которое, пока в нем есть такие люди, еще может рассчитывать на звание живого, а без них оно мертво. Кроме того, движение протеста вовлекает в себя и тех людей, кому общество должно глубоко поклониться.

— *Ты имеешь в виду Сахарова?*

— Его в первую очередь, но не только его. Сахаров был самой заметной и крупной фигурой, но рядом с ним стояли люди, значение которых вольно или невольно уменьшается...

— *Например?*

— Ну, если взять и живых и мертвых, это Юрий Орлов, Андрей Амальрик, Владимир Буковский, Петр Григоренко, Анатолий Марченко... Кого-то я, может быть, пропустил. Это все крупные личности, которые пошли в так называемое диссидентство по велению души: с ними случилось то, что с Радищевым, который «оглянулся окрест, и душа его страданиями людей уязвлена стала».

Таковыми же были и многие революционеры.

Но, конечно, всякие такие движения привлекают и людей, не обладающих высокими душевными свойствами, но обуреваемых страстями, непомерным тщеславием. Желанием непременно сегодня же прославиться на весь мир. Я знал людей, которые упивались звучанием собственного имени по иностранному радио. Один, например, все время считал: «Сегодня обо мне шесть раз по радио говорили». Вот эта возможность немедленно прославить-

ся бывает губительна в прямом смысле. Ну и, естественно, среди таких людей попадается немало типов тоталитарного образа мыслей и действий. В моем понимании, большевизм — это не конкретная идея, а определенный образ действий. Идеи и цели могут быть разные, а пути достижения те же. «Большевики» борются против режима, кажутся большими свободолюбцами и на самом деле жертвуют собой, своей свободой, иногда даже и жизнью, но, как только в их руках оказывается хоть малейшая власть, они ее тут же используют для подавления других, причем такими средствами, до которых их преследователи додуматься не могли. И это явление повсеместное. Это было и есть в России, в Камбодже, на Кубе, во всех странах азиатского коммунизма и антикоммунизма тоже. Потому что большевик может быть в равной степени и коммунистом, и коммунистом с приставкой «анти».

— *Я недопоняла. Поясни.*

— Вот тебе жизненный факт. А может быть, анекдот. Говорят, в Вашингтоне однажды разгоняли коммунистическую демонстрацию. Полицейский навалился на какого-то человека, бьет его резиновой дубинкой по голове. Тот кричит: «Что ты делаешь? Я антикоммунист!» Полицейского это не остановило. «Мне, — сказал он, продолжая работать дубинкой, — совершенно все равно, коммунистом какого рода ты являешься».

— *Теперь поняла!*

— Естественно, что «большевики» водились и в диссидентской среде. И меня нисколько не удивляет превращение большевика из жертвы в тирана, который своих бывших единомышленников и сокамерников объявляет криминальными элементами и расправляется с ними полицейскими методами. Если у него есть полиция. А если полиции нет, то он использует те возможности, какими располагает. Иногда даже очень мизерные возможности.

На карикатурном уровне это проявляется и в эмигрантском мирке, от которого я, слава Богу, не зависел, но который наблюдал с любопытством.

— *Вот это очень интересно, поскольку нам здесь оно малоизвестно. Расскажи поподробнее.*

— В этом мирке каким-то образом со временем образовались свои кормушки, в основном, в виде отдельных печатных органов. Эти печатные органы — некоммерческие. Они существуют не за счет подписчиков, а за счет

богатых западных благотворителей. Кажется, это хорошо. Но поскольку издание от читателя, от потребителя не зависит, оно немедленно превращается в кормушку для угодных. Такой, я бы сказал мини-социализм в мире капитализма. Или антисоветский Союз советских писателей. Со своей, очень похожей на здешнюю, системой распределения символических благ и чинов по весьма условной иерархии. В том мире возможностей не много. Там человека нельзя арестовать, нельзя наградить орденом, дать дачу или машину с шофером. Но все же общее есть. Там тоже печатают своих. К фамилиям своих прибавляют нужные эпитеты: великий, большой, выдающийся, замечательный. Даже мелкие эмигрантские литературные премии распределяют часто среди угодных.

В этом эмигрантском мире главная фигура естественно и заслуженно — Солженицын. Но он постепенно, и это началось еще в СССР, из уважаемой личности превратился в неприкосновенную. Как в свое время Шолохов. В некоторых кругах нельзя критиковать ни его книги, ни мысли, ни отдельные высказывания. Как только это делаешь, сразу же на тебя косятся: а что, а почему, для чего ты говоришь, уж не по заданию ли каких-нибудь органов?

Газеты и журналы, о которых я уже сказал, подчинены культуре Солженицына. «Вестник РСХД» или «Русская мысль» на каждую публикацию Солженицына отзываются с восторгом. В том, что он пишет, можно искать только достоинства. И никогда не недостатки. Когда-то шолоховский роман «Они сражались за родину» читали вяло, но печать хвалила. То же самое с «Красным колесом» Солженицына. Или даже с его опусом по поводу обустройства России. Сам опус подавался как чуть ли не величайшее событие века. Если о Солженицыне пишут, то обязательно с непомерным употреблением превосходных эпитетов Великий Писатель. Великий Труженик. Великий Современник. Да чаще всего с большой буквы и Великий, и Писатель, и Труженик, и Современник. В «Русской мысли» ни одна строчка Солженицына не появляется без его портрета, а то и без двух. Если печатают что-то им написанное, то текст и портрет. Если о нем написанное, то текст и портрет. Если им написанное и о нем написанное то два текста и два портрета. Иногда даже одних и тех же.

— По-моему, это смешно. Это было бы смешно, о ком бы речь ни шла, хоть о Толстом или Шекспире!

— Говорят культ культу рознь и культ личности писателя не вреден. А по-моему, вреден. Ну, может быть, не всегда, может быть, культ Толстого особенно вреден не был, но культ Чернышевского был вредный и долгий. Сейчас кажется смешно, как можно было любить Чернышевского. А вот любили. Поколения революционных романтиков выросли на Чернышевском, даже Есенин, уж, казалось бы, куда как далекий человек от такого рода литературы, а и тот в юности был очарован романом «Что делать». У Набокова главу о Чернышевском даже эмигрантские редакторы еще в 30-х годах выкидывали из романа и вообще недоумевали как он посмел затронуть столь священную личность.

— Такое преувеличение значения поступков, действий, слов одного-единственного человека само по себе — разновидность бесовщины, если вернуться в наши дни, со страниц эмигрантской прессы в перестроечные времена перекочевала на страницы советские...

— Да Советская пресса перед Солженицыным (но не только перед ним) виновата, что нагородила о нем много лжи, однако непомерное усердие в другую сторону тоже приводит ко лжи. И, кстати, самому Солженицыну не приносит ничего, кроме вреда. Тем более что у него критическое отношение к самому себе развито не очень-то сильно.

— Зато у тебя критическое отношение к кумиротворению развито более чем сильно, болезненно сильно, причем тут ты всегда идешь «против течения» — значит, ощущаешь это свое противостояние принципиально важным?

— Некоторые считают меня заведомым недоброжелателем Солженицына, причем исходят из того, что мое недоброжелательство продиктовано завистью или какими-то другими мелкими соображениями. Но это неправда. Времена, когда Солженицыну стоило завидовать, увы, прошли.

Я и сейчас отдаю ему должное. (Как, кстати, и автору «Тихого Дона».) Солженицын это не просто некий человек, это очень большое явление литературное, общественное и историческое. Он вошел в историю, и усилиями отдельных людей его оттуда не вычеркнешь. Но он все же человек со своими достоинствами и недостатками, а

мне предлагают сусальный образ, икону, на которую я должен молиться. Причем началось это не сейчас, а давным-давно, когда и Солженицын и тем более я еще находились в Советском Союзе. Тогда уже Солженицын, подвергавшийся большой травле, стал объектом всеобщего поклонения, принимавшего с самого начала весьма безвкусные формы. Я помню его портреты, рассказы о нем, напоминавшие больше житийную литературу. Я тогда много раз настойчиво выступал в его защиту (и тоже иногда с неуместным перехлестом), за что бывал неоднократно наказан. И уже тогда меня во всей этой атмосфере что-то коробило, и я в некоторых случаях уклонялся от актов внешнего поклонения. Но при этом, повторяю, я защищал Солженицына не однажды до самой его высылки и после нее. Я и сейчас готов защищать его, если бы вдруг понадобилось, но я должен сказать, что культы любых личностей мне всегда отвратительны и культ личности Солженицына тоже.

— *Это отвращение к кумиротворению заложено в тебе «с малых ногтей» или пришло с годами?*

— Сколько я себя помню, меня всегда сильно принуждали любить неких кумиров и признавать за ними несуществующие добродетели и сверхчеловечные качества. Я еще в детстве усомнился что Сталин мог разбираться во всех науках, работать круглые сутки, руководить всеми сферами нашей жизни, командовать войсками и прочитывать ежедневно четыреста страниц художественной литературы. Эти сомнения я редко выражал вслух, потому что за них могли посадить. Но помню свои студенческих времен споры о Ленине. Я в то время никак не был антиленинцем, не сомневался во многих его достоинствах, но не верил в исключительную ленинскую прозорливость и в то, что он был «самый человечный из всех прошедших по земле людей».

Вздор, который я слушал всю жизнь об этих двух культовых личностях, меня всегда раздражал. А потом культ Солженицына — тоже. Но те два культа возникли без меня, а этот складывался на моих глазах и в конце концов заинтересовал меня как литературная тема. И не только как литературная. Считаю синдром кумиротворения застарелой хронической болезнью российского общества.

Об этой болезни я много думал и даже писал. Уже «Владычица», ты верно заметила, это о культе личности.

А потом у меня возник некий образ, который в существенном виде кому-то понравился, а некоторых людей возмутил. Эти люди воспринимают мой роман «Москва 2042» чуть ли не как физическое нападение на Солженицына, считают, что я решил в таком виде изобразить Солженицына и делаю это для сведения личных счетов или для того, чтобы заслужить чье-то одобрение. Но у меня с Солженицыным никаких личных счетов нет и быть не может. Меня интересует не он лично, а явление, которое он представляет: все люди, которые становятся кумирами толпы, друг на друга похожи.

Но если даже кто-то в моем романе не видит обобщения, а видит только Солженицына, если это всего лишь пародия или даже карикатура на одного человека, то что в этом ужасного? Ничего бы ужасного и не было, если бы опять-таки речь шла не о культовой фигуре. А само по себе несуразное негодование некоторых читателей этого романа как раз доказывает наличие культа. И доказывает, что мой роман написан на очень болезненную и актуальную тему.

— *Между прочим, никакой культ личности не может существовать сам по себе, без применения поощрительных мер или карательных санкций. Мы знаем, что бывало с теми писателями, кто сомневался в исключительных добродетелях Ленина и особенно Сталина. Из новейшей истории у всех на памяти смертный приговор, вынесенный аятоллой Хомейни писателю Салмону Рушди. У культотворителей не всегда бывают такие возможности, как у Хомейни, но все они, как правило, пытаются применить к отступнику карательные санкции в доступных им пределах. Насколько я знаю, посильным «мерам» и «санкциям» подверглась и твоя «Москва...», когда вышла в свет?*

— Пределы эти в эмигрантском мире очень малы, и в виду своей малости сами санкции выглядят комическими, но они стоят упоминания. Например, газета «Русская мысль». Раньше я там, за неимением большого выбора, время от времени печатался. Но после выхода романа мою фамилию в этой газете упоминать запрещено. А там работают наши известные диссиденты. Раньше они боролись за свободу, потом сами установили идеологическую цензуру и список запрещенных имен.

Другой пример. В Нью-Йорке есть организация «Интернейшнл Литерари Сентер». Когда-то отпочковалась от

радио «Свобода». В эпоху застоя ее задачей было способствовать проникновению в СССР недоступной советскому читателю, но интересующей его литературы. Организация, полезная не только для читателей, но и для живущих в эмиграции писателей. Например, я издал книгу, но посылать ее в Союз в сколько-нибудь ощутимых количествах не могу, она стоит слишком дорого. Но если кто-то из приезжих соотечественников интересуется, я отсылаю его в эту контору, и там ему дают книгу бесплатно.

С тех пор, как вышла «Москва 2042», в этой конторе не только этого романа, но и никаких моих книг больше нет. Потому что там работает Вероника Туркина, она и ее муж Юрий Штейн — очень близкие к Солженицыну люди. Вероника и на работе проявляет свои личные привязанности, пристрастия и антипатии за счет, как принято говорить, американского налогоплательщика. Все полки завалены прежде всего книгами самого Солженицына, и это правильно, потому что спрос на Солженицына всегда был самый большой. Но спрос на сочинения близких к нему авторов был гораздо скромнее. Тем не менее именно их книги контора закупала в больших количествах и всучивала приходящим соотечественникам. Те хватали охотно Солженицына, а остальное принимали как нагрузку, и по выходе из конторы, кое-что просмотрев, а что и не глядя, выбрасывали на помойку.

Я думаю, что не покажусь слишком нескромным, если скажу, что мои книги у русских читателей пользовались, может быть, не таким спросом, как книги Солженицына, но достаточно большим. Во всяком случае, даже в книжных магазинах, где один экземпляр стоит 15—20 долларов, мои книги никогда не залеживались.

Так вот, когда мой роман эта контора купить отказалась, я позвонил начальнику конторы, его зовут Джордж Минден. Позвонил и спрашиваю: «Господин Минден, а почему вы не хотите купить мой роман «Москва 2042»? Он отвечает: не покупаем, потому что спроса нет. Я удивляюсь: неужели никакого спроса? Никакого, говорит. Я говорю: а вот меня многие просят прислать им именно этот роман. Он помялся, потом отвечает: «Ну хорошо, вы мне пришлите список этих людей, а мы им отправим». А разговор этот происходит в 86-м году, когда понятие «антисоветская литература» еще не отменено, а чтение такой литературы все еще относится к числу очень опасных занятий. Именно поэтому сообщить кому бы то ни

было фамилии людей, читающих «антисоветчину», было не принято. Я говорю Миндену: «Список вам, а копию, может быть, сразу в КГБ?» Он смутился, потом рассердился и не выдержав, говорит: «Ну хорошо, а зачем вы в своем романе изобразили Солженицына?» Я спрашиваю: «А какое ваше дело, кого я изображаю? Если вы желаете указывать писателям, что им можно писать, а что нельзя, вам надо ехать в Советский Союз, там вам найдется место в цензуре или в идеологическом отделе ЦК КПСС».

— *Пускай приезжает. Цензорам у нас, увы, и теперь, пять лет спустя, работа найдется...*

— Ладно, передам. А тогда, если бы я на него дальше стал давить, то, может быть, чего-нибудь бы и добился, но мне стало скучно. Правда, потом мне помогла мои собственные книги закупить другая организация, так что экземпляров двести я в Союз все-таки переслал.

Но на этом карательные санкции против меня не кончились. Год спустя роман вышел на английском языке, и появление его стало культурным фактом американской жизни. Русская служба «Голоса Америки» игнорировать такой факт не может. В этом случае они попытались мой роман не заметить. Но кто-то им сказал, что я собираюсь по этому поводу скандалить, хотя на самом деле я не собирался. И вот я уже вернулся к себе в Германию, живу там, ни о чем не думаю, вдруг звонок из Вашингтона. Главный редактор русской службы Наталья Кралксон спрашивает, буду ли я удовлетворен, если они передадут сокращенную версию романа — пятнадцать передач по пятнадцать минут. Для большого романа 225 минут не так уж много, но я согласился. Несколько раз я ездил в Мюнхен записывать роман на магнитофон, после чего получил от «Голоса Америки» гонорар. Я, естественно, думал, что роман передан на Советский Союз. Через два года я приехал в Вашингтон и из случайного разговора с одним из редакторов «Голоса Америки» узнал, что роман никто и не собирался передавать, его только записали для того, чтобы от меня откупиться. А не передали потому, что очень боятся «вермонтского обкома». Там это выражение «вермонтский обком» в ходу. Время от времени из Вермонта звонит жена Самого и сообщает, что такая-то передача понравилась. И тогда редактор передачи ходит задрав нос. Или опустив нос, — если передача не понравилась.

Так вот. Узнав, что роман передан не был, я позвонил Наталье Кларксон и спрашиваю, почему, мол, вы заказали мне чтение романа, а потом его не передали? У нее объяснение чисто советское: «Мы решили не передавать ваш роман, потому что сейчас в Советском Союзе перестройка и мы не хотели омрачать отношения между СССР и США».

— *Так когда-то в СССР объясняли непечатание неудобных вещей сложным международным положением и тем, что это будет на руку враждебным силам... Зеркальное сходство.*

— Именно. Другой редактор, Виктор Французов, нашел объяснение Кларксон неуклюжим и высказался так: «Нет, мы никого не боимся: но мы о вашем романе советским слушателям сообщили и считаем, что этого вполне достаточно».

Я говорю: «Нет, вы сообщили советским слушателям мало. А ваше объяснение и вовсе недостаточно. Вы роман у меня купили, и у вас не могло быть никаких причин его не передавать, кроме идеологических цензурных соображений. Вы не передали, потому что боитесь Солженицына».

Французов человек вообще мягкий и вежливый, но тут стоит твердо: — «Нет, я вам сказал, мы никого не боимся, но вы напрасно пытаетесь оказать на нас давление. «Голос Америки» никакому давлению не поддается».

Я говорю: «Я на вас давление оказывать не собираюсь, но вы тоже никак не можете мне помешать говорить то, что я считаю правдой...»

— *Значит, твой роман не был передан по американскому радио и американский налогоплательщик зря потратил деньги на твой гонорар?*

— Да. Дело это прошлое, и я ни на кого не жалуюсь. Тем более что роман был передан другими радиостанциями (Би-би-си и «Немецкая волна» его передавали с большими сокращениями, зато «Свобода» передавала четыре раза практически полностью). Но я показываю на конкретном примере, как культ личности создается, кем укрепляется и чем поддерживается. В данном случае защитники культа меня не расстреляли, не посадили, но я боюсь, что это объясняется не избытком благородства борцов с романом, а недостатком возможностей.

— *А я свидетельница того, что именно от страха перед прототипом Карнавалова ни один советский жур-*

нал — даже на гребне перестроечной гласности и остром дефиците в современной прозе — опубликовать роман «Москва 2042» не решился. Сотрудник журнала «Нева» лично мне так и сказал: «Роман Войновича замечательный, очень хотим печатать, но опасаемся из-за Солженицына...» Так и проопасались. По той же причине воцарился теперь почти полный заговор молчания вокруг романа и в критике. Все же он вышел у нас книжным изданием, а критика точно в рот воды набрала. Почему и у нас тут все — и слева, и справа — так боятся кумира?

— Не знаю. Боятся здесь, боятся там. Но ладно, хватит о нем...

Солженицын в литературе и истории есть и остается, и никому его оттуда не вычеркнуть, но культ его личности кончается, и это хорошо, потому что всякий культ личности — явление нездоровое. К сожалению, сама болезнь не кончилась, наше общество недоразвито, и в нем скоро и обязательно появится новый объект культового поклонения. Кто бы он ни был, он будет непременно напоминать Сим Симыча Карнавалова.

— Вот и поговорим лучше о Карнавалове как о художественном образе. Ясно как белый день, что в образе Сим Симыча наше трусливое общественное сознание увидело не типизацию, а просто шаржированные черты прототипа — очередного кумира, к которым у нас нельзя прикасаться даже литературной фантазии, а тем более с элементами карикатуры и пародии. (История русской словесности богата трагикомическими «сшибками» прототипов и персонажей — вот и твоя очередь пришла помучиться на этой ниве. Терпи!)

Итак, что такое Карнавалов и карнаваловщина? И, кстати, отталкивался ли ты, давая герою фамилию, от бахтинской теории художественного «карнавала», разработанной на материале Рабле?

— Сознательно я ни от Бахтина, ни от Рабле не отталкивался. Просто, видимо, работа моя шла в этом, существующем веками, русле. Вообще в романе, который называют и антиутопией, и сатирой, и памфлетом, и пародией, есть некий карнавал, что очень важно. Пожалуй, действительно (я об этом не задумывался) много в романе и раблезианского...

— Еще бы: и «площадное слово», и смех, направленный на себя, и сплошные, по Бахтину, «образы материально-телесного низа»...

— Да? А я и не знал толком. Что же касается других литературных предтеч, то это и «Капитанская дочка» Пушкина, которая, как я потом понял, жила в моем подсознании. Помнишь образ Пугачева — заячий тулупчик... царские знаки...

— *Но этот Пугачев гораздо симпатичнее, чем Карнавалов. Симпатичнее в первую очередь автору.*

— Это тонкая материя — любовь или нелюбовь к герою. Я ведь героя люблю не за хорошие или плохие качества, а за его необычные черты. (Я, скажем, ужасно люблю Собакевича, но это не значит, что хотел бы жить с ним рядом).

— *Тип Карнавалов не нов в русской литературе — Фома Опискин у Достоевского, Иудушка Головлев у Салтыкова-Щедрина.*

— Да, но в этих героях главное — ханжество, а я хотел заострить внимание на страсти к глобальному вождизму (театральные жесты, эффекты, воздевание рук — это уже следствие).

Как видишь, прототипов — и реальных (Пугачев, Бакунин, Хомейни), и литературных — у Карнавалова хоть отбавляй. И пусть меня судят за собирательный художественный образ! Обижаться на то, что некто похож на некий литературный тип, — это глупость. Писатель, как гоголевская Агафья Тихоновна, соединяет губы Никанора Ивановича с носом Ивана Кузьмича, а развязность Балтазара Балтазарыча с дородностью Ивана Павловича. И единственное наказание для художника, если его образ ни на кого не похож и если он скучен, — значит, книгу не будут читать.

— *В романе выведен еще один весьма характерный образ — Зильберович, идейный клевет и прихлебатель Карнавалова. У него тоже, наверное, есть, как говорится, претенденты на прототипа, обиженные и разгневанные, а?*

— Мой роман в равной степени и о карнаваловщине, и о — как бы это сказать — зильберовичизме. Те, кто обижаются на меня за образ Карнавалова, должны бы обижаться как раз за образ Зильберовича, ибо он списан именно с них, «апологетов». Они теперь точь-в-точь повторяют поведение Зильберовича, сами того не ведая. В романе (еще до всякой реакции на него) я написал, что к рассказчику приехал Зильберович и требовал вычеркнуть Сим Симыча. Мои нынешние «оппоненты» как будто вышли из романа и продолжают в том же духе.

— Но это же здорово и очень даже весело! Говоря научно, зильберовичизм — неотъемлемая часть карнаваловщины. В последнее время (в своих радиоскриптах, в очерках) ты ввел новое слово — «измофрения», то есть болезненная тяга тоталитарного общественного сознания творить себе неприкосновенных кумиров, создавать всевозможные «измы»...

— В демократическом обществе эти кумиры тоже возникают, но они скорее «лопаются», ибо там очень большая конкуренция «кандидатов в кумиры». Да. И кроме того, в тамошнем обществе есть нормальная привычка критиковать любого человека, разбирать его действия в прессе и так далее. Любой выдающийся человек, хоть даже и президент, может быть обсуждаем. Один говорит, что он дурак, другой говорит, что он очень умный, третий скажет, что он актер, позер и прочее. И в результате, поскольку о нем можно сказать все, складывается к этой личности вполне нормальное отношение. Естественно, что и президент — человек, что у него есть человеческие особенности, слабости. Он на виду, никакой тайны. Объект же культа, кумир обязан быть загадочным, таинственным, непонятым, вещью в себе, что делает его как бы отчужденным от нас: он «не как мы», он живет по иным законам.

— Получается, что дело все-таки не только в том или ином общественном строе, но и в каких-то ущербных качествах человеческого духа, который склонен в уродливых и унижительных формах «творить себе кумира» и гнать из кумирни людей ироничных и независимых. Страсть толпы к культу одной-единственной сильной личности (или теории) зиждется, как я думаю, и на малодушном стремлении снять с себя напряженную личную ответственность за происходящее. Не здесь ли истоки того очевидного фиаско, которое потерпело наше многострадальное отчество на данном этапе? Итак, виноват ли кто-то конкретно? Маркс? Нечаев? Ленин? Сталин? Или дело также и в массах?

— Ты в своем вопросе почти уже на него и ответила. Я вижу, как сказал бы вождь, «три источника» этого самого фиаско. Во-первых, народный характер, народное сознание жаждет вождя или учения, с помощью которого можно было бы решить все проблемы сразу. Существует не только культ личности, но и культ теории. Ска-

жем, культа Маркса как такового не было, но был культ марксизма, марксизмофрения.

— *«Учение Маркса всесильно, потому что оно верно?»*

— Вот и дождалось общественное сознание всесильного и верного учения. Итак, первый источник — народное сознание. Второй — Маркс, марксизм, «изм» вообще. Третий — Нечаев, нечаевщина как способ внедрения любого «изма» в жизнь.

Тут вот что интересно. Любая утопия, будь она хорошая или плохая, непременно порождает мерзкие методы, потому что утопия неосуществима в принципе. Пытающиеся ее реализовать сталкиваются с невозможностью это сделать — и неизбежно применяют силу. Так если ключ не входит в замок и не может открыть дверь, то начинают давить, вертеть и все в итоге ломают. Когда хотят совместить утопию с жизнью, применяют, повторяю, силу отдаляя тем самым реальность от запрограммированного идеала. Кажется, ну еще, еще, еще немного, пожертвуем этим, убьем еще вот этих, а потом все у нас будет хорошо... а в конце концов утопия вовлекает в преступление все большее число людей. Сначала преступление совершает отдельный Нечаев, потом вовлекаются все новые круги людей — а утопия все неосуществима. Поэтому утопии лишь условно можно делить на «хорошие» и «плохие»; они при внедрении требуют преступных действий.

— *Что ж, вредны даже такие гуманистические литературные утопии, как «Город солнца?»*

— Это на бумаге ничего. На бумаге писатель может сочинять что угодно. Но когда реальное общество начинают строить в соответствии с утопией, то добра не жди. А кстати, твой «Город солнца» и на бумаге выглядит достаточно отвратительно. Например, там, в Городе солнца, все люди работают: если у него нет ноги, он делает то-то, если нет руки, — то-то, для всех предусмотрена некая трудовая деятельность. А если у человека нет ни рук, ни ног, но есть хотя бы один глаз и одно ухо, то он отсылается в деревню и служит там соглядатаем. Нравится?

— *Ужасно нравится! Но пошли дальше. Образ соглядатая без рук, без ног в деревне — это уже ближе к «Жизни Ивана Чонкина», которую ты пишешь всю жизнь и которую нам с тобой давно пора вспомнить. Меня вот что интересует: предтеча этого повествования больше литературная (в «Чонкине» же масса переключек — со Швейком, с Платоном Каратаевым, с Теркиным нако-*

нец, — не знаю только, сознательных или иррациональных) либо сугубо жизненная, лишь преображенная под пером?

— Специально я никакого литературного контекста в виду не имел. У Чонкина есть две основные предтечи: это сказочный Иванушка-дурачок и совершенно реальный человек, которого я видел и знал в жизни. Это распространенный тип, и жил, он, не в одной деревне, и в каждой есть свой Иванушка-дурачок, который, как замечательно показано в русской сказке, на самом деле не дурачок, а человек простодушный у которого что на уме, то и на языке и который не заботится о впечатлении, какое производит. Этот простодушный и бесхитростный человек другим людям кажется дурачком, потому что он не понимает их мелких хитростей и уловок.

— А не является ли Чонкин в известной мере твоим альтер-эго?

— Является. Существуют вещи, которые мне хочется сказать, но я все же опасаясь предубеждений как человек, испорченный цивилизацией, а от имени Чонкина я могу говорить что хочу. Мысли, которые кажутся глупыми, зачастую не так и глупы. Например, Чонкин по-своему опровергает Дарвина. Он говорит: если труд превратил обезьяну в человека, то почему он не сделал того же с лошадью? Чонкинское опровержение звучит глупо, — но не глупее опровергаемой мысли! И напрасно ты улыбаешься.

— Короче, Чонкин — это твой «сокровенный человек», это как бы нереализовавшееся в тебе.

— Пожалуй. Только не знаю — лучшее или худшее. Что касается литературных источников, то это не только именно сказка, но и вообще старый жанр историй о солдате — от фольклора до Салтыкова-Щедрина, «Швейка». Я, конечно, ко времени работы над «Чонкиным» читал и любил эту книгу Гашека, но думаю, что настоящего влияния и сходства тут, кроме поверхностного, нет.

— А как возникло имя Чонкина? Оно рифмуется с Теркиным, что позволяло, насколько я помню 70-е годы, некоторым людям усматривать здесь скрытую полемику или даже пародию на книгу Твардовского?

— Как возникло? Расскажу. Замысел Чонкина возникал постепенно. Сначала я написал рассказ о деревенской девушке, которая полюбила солдата (они встретились вечером накануне войны). Он служил в части рядом

с деревней, а утром его разбудила сирена: он вскочил, побежал — и с концами. Девушка знала только, как его зовут, а больше ничего о нем не знала. Но она стала воображать себе, какой он, как бы могла сложиться их жизнь и всякое такое. Она долго ждала от солдата вестей, думая: то, что между ними произошло, для него очень важно, и он просто так пропасть не может. А поскольку он пропал, она сама стала писать себе письма от его имени. И в этих письмах воображала его летчиком, героем, потом полковником. И так далее. По мере написания писем ее воображение смелело — она описывала его подвиги, присваивала ему звания и награждала его орденами. К концу войны он у нее стал Героем Советского Союза, и, поскольку он к ней никак не возвращался, она, Нюра, сама себе составила извещение, что он погиб.

— *В каком году ты это написал?*

— В 1958 году. Написал и задумался: а какой же он был на самом деле? Он же у меня не был описан — лишь тот солдат, которого сочинила Нюра. И я думал-думал-думал, какой же он был, и решил написать второй рассказ об этом человеке. Я догадывался, что «герой» должен быть написан по контрасту с тем, кого представляла себе Нюра, — простой и придурковатый. Но образа не было. Я и так и сяк, нет образа, и все. И вдруг я вспомнил — так ярко! — один момент своей службы в армии. Это было в Польше, в закрытом военном городке, на бывшей немецкой территории. Иду я солнечным днем и вижу: движется большая немецкая телега с надувными шинами. Смотрю, лошадь идет, а никакого седока в телеге нету. Я слегка удивился, но глянул под телегу, а там какой-то солдат зацепился ногой за вожжу. Лошадь идет, его тащит, а он, насколько я помню, даже не пытается решить эту ситуацию. Через пару дней я увидел того же солдата, уже сидящим на облучке, — он сидел такой веселый, разухабистый и погонял лошадь. А голова у него была перевязана бинтами. Я спросил: «Кто это?» и мне ответили: «Да это же Чонкин!»

Все. И больше ничего. На этом восклицании сложился образ. А настоящий Чонкин, кстати, вскоре погиб на охоте, его там убили вместо оленя... О Чонкине долго оставались воспоминания. Например, был у меня командир, майор Догадкин, который, когда особенно сердился, топал ногами и кричал мне: «Я тебя вместо Чонкина пошлю на конюшню». Так вот и остался на задворках памяти

образ человека, которому самое место только на конюшне. И однажды я вспомнил этот образ зрительно и понял, кем был на самом деле воображаемый Нюрин полковник.

— *Какая непокорная вещь — прозаический замысел! Со своими зигзагами и боковыми побегами...*

— Замысел замыслом, а потом начались проблемы. Как только я написал первый большой кусок «Чонкина», то понес его в «Новый мир». Твардовский отнесся к этому критически и сказал: «Что за герой? Таких героев было много: Бровкин, Травкин...» Потом, подумав, говорит: «Теркин...»

— *Обиделся?*

— Не знаю, обиделся ли он, не обиделся... Но мне в ту пору многие люди это говорили (и твой отец тоже). Сейчас уже совсем не говорят, поскольку Чонкин стал образом самостоятельным, а пока я это писал, многие меня «ловили» на перекличке с Теркиным. Причем одни считали, что Чонкин просто идет от Теркина, другие же полагали, что это полемика, противопоставление, даже нарочитое снижение предшествующего образа. Хотя утверждаю: у меня не было и нет ни того, ни другого, ни третьего.

Меня, признаюсь, удручали эти постоянные сопоставления, и я даже хотел сменить герою фамилию. Придумывал и такую, и эту, по-всякому с фамилией вертелся, но чувствую, ничего ему не подходит. Только Чонкин! Есть у меня рассказ «Путем взаимной переписки», там герой сержант Алтынник...

— *А я всегда считала, что Алтынник как бы литературный брат Чонкина, его самоценный эскиз что ли. (Оба они солдаты, оба простодушные и беззащитные... Да и зовут их обоих, кстати говоря, Иванами.)*

— Да, братья. Но все же двоюродные. Я даже пытался переименовать Чонкина в Алтынника — нет, не идет ему это имя. Алтыннику идет, а Чонкину нет.

— *Смотри, ты у нас, получается, писатель армейский. Как опубликовался впервые в военной газете, так и пишешь всю жизнь об армии. Но думаю, в военно-художественную секцию (есть такая замечательная секция в Союзе писателей СССР) тебя бы вряд ли приняли. Ох, не любят тебя генералы — что с ними было, когда «Юность» опубликовала «Чонкина»!*

— Ну да, многие советские генералы (не все, впрочем) меня не любят, но не по той причине, которая на ви-

ду. Они меня не любят не за Чонкина, а вообще за «выход из строя». За все, что я пишу. Дело в том, что генералы, которые лезут в литературу, это в большинстве своем не просто генералы, а военные аппаратчики, военно-партийная номенклатура, которая от просто партийной отличается только формой одежды, да и то условно. Аппаратчик (возьми хотя бы Брежнева), он то военный, то штатский — в зависимости от того, куда пошлет его партия. Что касается литературы, то он ее никакую не любит, но у него есть представление, какая она должна быть. А она должна быть унифицированная, как солдат. За солдата ведь все подсчитано точно, как и что он должен носить. Прическа не длиннее двух сантиметров, пилотка набекрень — один палец от правого уха, подворотничок выступает на полмиллиметра, ремень затянут так, чтобы можно было просунуть только два больших пальца, строевой шаг сорок сантиметров. Все просто, ясно и — с места с песней шагом марш. Вот такой, по мнению аппаратчика — хоть военного, хоть не военного, — должна быть литература. Всякая другая литература кажется ему подрывной. Да она такая и есть! Свободная литература и вообще духовность, так же как свободное хлебопашество, с властью номенклатуры несовместима.

— *Одно из, увы, провидческих мест в твоей антиутопии «Москва 2042», которой мы уже касались, это предсказание относительно слияния партийной (и даже армейской) идеологии с православием. Чего стоит один только отец Звездоний — священник с генеральским званием! Как это ты догадался еще в начале 80-х, когда подобным слиянием и не пахло?*

— Когда я писал этот роман, то держал в голове все известные мне тенденции развития и нашей страны, и разных иных государственных структур. При работе над романом прогнозы, предвидения и соображения возникают не как в застольном разговоре, а через попытку напряженного анализа. Ну, и интуиция. Она часто ведет руку пишущего хотя ему самому и непонятным путем, но как раз туда, куда надо. Пушкинская Татьяна вышла замуж за генерала неожиданно для Пушкина, который умом не мог постичь того, что постиг интуицией. А интуиция (она вид инстинкта) бывает умнее ума и подсказывает парадоксальное и самое правильное решение. Такое, какого ум не придумает.

— *А твоей художественной интуиции помогло то, что*

ты в 70-е годы, работая над биографией Веры Фигнер, серьезно занимался историей?

— Помогло, безусловно. Меня еще тогда, в 70-е очень удивляло, что многие люди совсем не ощущают, что живут в истории (потому часто и машут рукой на жизнь — мол, как всегда было, так и будет). А я, начав работу с историческим материалом, почувствовал это очень остро. Я увидел, что одни тенденции разворачиваются, а другие бесконечно повторяются. Есть твердые законы исторического движения. (Кстати, знание это помогло мне, когда я писал Чонкина. Астроном Шкловский сказал, прочитав «Чонкина», что он служил в армии до войны и удивлен, как у меня получилось описать ее, реально не зная. Я говорю: «Очень просто. Я читал Куприна, который описывал дореволюционную армию, потом сам служил в армии послевоенной — и если послевоенная армия так похожа на дореволюционную, то в промежутке, по сути, было то же самое»).

Итак, есть закономерности, совсем не меняющиеся, и есть закономерности развития. Это особенно чувствуешь, погружаясь в историю и видя: все-все было, люди жили, страдали, и были среди них диссиденты, и были честолюбцы, и были просто очень хорошие люди. Как и сейчас. И ты понимаешь (поскольку смотришь из современности), куда все это шло...

Как я угадал относительно слияния православия с официальной идеологией? Православие православию рознь. Есть идеологическое православие. Я уже в 70-е годы заметил, что многие полагают: мы отошли от идеологии, придя в религию. На самом деле они сменили одну идеологию на другую, воображая при этом, что совершают героический поступок (чем питались их честолюбие и гордыня). Это все говорит как раз об идеологизации подобной «веры», ибо для человека, верующего органически, — не важно, есть ли в его вере героизм, «подвиг» или нет.

— *На секунду перебью тебя. Послушай, какие хорошие слова об этом одного московского священника прочла я недавно в газете: «Обращение к религии в качестве смены идеологии — это тяжчайший грех! Нельзя заменить Маркса на Христа. Вера — это не идеология. Это жизнь и смерть. Она стоит у колыбели и у гроба...»*

— Точно сказано. В 70-е годы эти самые герои веры утверждали, что коммунистическая партия и религия —

антонимы, что партия ни за что не признает православия: «Вот уж чего она никогда не допустит...» А я тогда же понял, что обязательно признает, непременно допустит, более того: с ее партии, стороны будет очень глупо не овладеть этой выгодной силой. Я знал, что так оно произойдет: обязательно и неизбежно.

— *Нет, но все же в те годы религия преследовалась действительно. Людей вызывали, мучали, сажали. Я знаю одну учительницу, которую как раз в 70-е годы выгнали с работы из подмосковной школы только за то, что она крестила в церкви своего младенца... Об этом забывать нельзя.*

— А кто ж забывает? И сейчас религия может преследоваться — зависит от ее формы. Вроде бы религиозной свободы прибавилось...

— *А неугодных священников почему-то убивают и преступление все расследуют и расследуют.*

— Да-да-да. Православие хотят приручить сверху и приручаемое православие ласкают, не убивают. Но есть православие другое, независимое — оно-то и неугодно. Однако в моем романе описан итог этого слияния, а мы сейчас свидетели лишь процесса. Мой роман, повторяю, предупреждение, и я не хотел бы подобного итога, но уверен, что коммунистическая партия желает именно такого результата — приручения и подчинения столь мощной силы, как религия.

— *Скажи прямо, ты считаешь, что демократия в нашем обществе обречена на успех?*

— Нет же. Я предупреждаю о худших вариантах. Но шанс демократического развития остается, он есть. Более того, в перспективе или обязательно демократия победит, или весь мир погибнет. Часто люди с наивностью говорят: «Ну, демократия, а дальше что?» Неверная постановка вопроса. А дальше — ничего! Демократия в отличие от коммунизма не цель, а способ существования, и при демократии разные социальные, национальные, классовые ли группы (как и отдельный человек) могут иметь свои цели или никаких целей не иметь. Она просто создает нормальные условия для развития общества и личности. Демократия — это способ естественного существования, и поэтому Советский Союз, как и все другие страны, рано или поздно к этому придет. Если не погибнет.

— *Ты приехал восемь лет спустя после того, как тебя в семье отсюда выперли, а теперь (уже спустя десять*

лет) вернулся на родину основательно, получил здесь жилье, включился в нашу жизнь. Что приобрело советское бытие за минувшие годы, а в чем, возможно, деградировало?

— Правду сказать, я еще не включился, а включаюсь — и с большим трудом. А что касается бытия, то вначале было впечатление, что советское общество проснулось, и это чрезвычайно обнадеживало, но когда оно, как ребенок, заговорило, язык его оказался весьма удручающ.

— Ребенок, похоже, «дебильный»?

— Дебильный, это уж, наверное, слишком, но достойный внимания дефектолога. И когда началась перестройка, кое-кто утверждал: «Ну, сатирику теперь в СССР делать нечего». А выяснилось, что тут как раз для сатирика открылось множество новых объектов.

— Почему ты все-таки сюда приехал и не смог без всей нашей «деградации» жить?

— Вдали от всего от этого я живу как на пенсии, а тут я хотел бы «в одну человеческую силу» хоть немного способствовать возможным позитивным переменам, в которые все равно верю. Только не подумай, что я считаю: вот напечатаю книгу — и все поймут, что они неправильно жили. А все-таки вода камень точит. Главное, обществу (и каждому из нас отдельно) нельзя пребывать в унынии, складывать руки, полагая: все равно потонем...

— Если бы просто — складывать руки. Хуже: тонуть, махая друг на друга руками-кулаками. Как ты думаешь, почему в наши дни в нашей стране так называемый национальный вопрос принял столь острые, страшные, уродливые, агрессивные формы?

А если уж говорить о русской литературе, то почему «деревенская проза», зарождавшаяся как честное и совестьное течение, выродилась в явление, отравленное имперскими амбициями? Спрашиваю об этом тебя, поскольку считаю, что ты как раз — да простят меня Распутин с Беловым — был и останешься в лучших своих вещах настоящим писателем-деревенщиком...

— Я вообще думаю, что национальные амбиции всегда возникают в среде закомплексованной и ощущающей неполноценность. Те, кого называют «деревенщиками», — люди литературно одаренные, но с ними случилось вот что. «Перестройка» подорвала их литературное владычество, когда они на Олимпе царили, когда у них не было

нормальной конкуренции, а напротив, секретарская литература возвышала их репутацию, выгодно ее оттеняя... И вдруг возникает некое брожение, некое движение, среди которого они могли бы и в нынешние годы занять достойное место, если бы не искажающее личность тщеславие. (Кстати, нормальный человек, если на него свалилась даже всемирная слава, не теряет голову и относится к этому скорее как к преходящему недоразумению. Только так: не терять голову при большом успехе и не терять достоинства, если тебя не замечают.) Эти, и национальные и имперские, амбиции литрусофилов — от нынешнего комплекса неполноценности. И тоже, надо сказать, от номенклатурного «генеральского» мышления.

— *Вспомнила сейчас, что в повести «Шапка» выведен такой персонаж — поэт Василий Трешкин, «решивший изучить и понять загадочное поведение сионистов». Этот трагикомический шарж — лучший ответ на мой предыдущий вопрос. А вообще откуда взялась твоя повесть «Шапка»?*

— К ее первой публикации в журнале «Континент» есть эпиграф: «Эта шапка сшита из шинели Гоголя».

— *А почему ты потом эпиграф снял?*

— Скажу, почему. Мне очень важен эффект достоверности, а такой эпиграф сразу настраивает читателя на сочинение — это как бы литературно-ассоциативная игра.

— *Вот-вот. У тебя вообще репутация писателя абсолютно не филологического, сугубо жизненного, далекого от литературных реминисценций. Впечатление обманчивое (и, как я теперь вижу, сознательно тобою поддерживаемое) — на самом деле ты отнюдь не «дитя природы» и в каждой своей новой вещи полемически шьешь новую прозу из материала мировой культуры. Тут и фольклор, и Рабле, и Салтыков-Щедрин, и Гоголь. Но это к слову, извини, что перебиваю.*

— Ничего, перебивай! Я действительно прячу концы в воду. У читателя пусть возникают всякие ассоциации, но — помимо меня. Я уже говорил, что мои духовные учителя — это в первую очередь Гоголь и Чехов, я всю жизнь колеблюсь между ними. В «Шапке» я максимально для меня приблизился к Гоголю, причем не конкретно к «Шинели» — глубже. Гоголь сказал как-то, что всех своих героев со всеми их недостатками он списывает с себя. Так вот, в связи с «Шапкой» тоже искали прототипов, дескать, я с того-то или с того-то пишу. Нет. В данном

случае, хотя никто об этом не догадывается, главный прототип Ефима — я сам. Самоирония помогает держать дистанцию и скрывать даже от себя самого, что я, как Ефим, тоже хочу получить шапку получше, которая бы меня отличала от тех, у кого ее нет. Все эти мелкие амбиции во мне есть, но я их, естественно, сам в себе давяю. И страхи я часто испытываю те же, что и мои герои,

— *Страх есть внутри каждой личности, он закодирован в человеческой природе, но одни борются с ним, а другие не считают это нужным.*

— А я бы сказал иначе. Во мне есть два страха — страх совершить некий поступок и страх не совершить его: тогда всю жизнь буду ощущать себя подлецом. И страх перед вторым делает меня бесстрашным в первом (хотя я вовсе не бесстрашен). Как всякий человек, я боюсь смерти, но еще больше, гораздо больше, я боюсь бояться.

— *«Боязнь страха» — есть такое малоизвестное стихотворение Бориса Слуцкого. Послушай:*

До износу — как сам я рубаху,
до износу — как сам я штаны,
износили меня мои страхи,
те, что смолоду были страшны.

...Как бы до смерти мне не сорваться,
до конца бы себя соблюсть
и не выдать, как я бояться,
до чего же

бояться
боюсь.

Так о страхе перед страхом никто еще не сказал, да? А если вернуться непосредственно к «Шапке», то интересно сравнить ее с «Иванькиадой»; два опять же боковых, двояродных ростка из одного материала, из одной темы, Росток документальный и росток художественно-беллетристический. Тема: борьба за материальные блага как борьба скрытых и явных амбиций.

— Я хочу подчеркнуть, что эти вещи, и впрямь родственные, не о Союзе советских писателей, как полагают многие, а о человеке в обществе. Такие истории могут произойти где угодно, в любом обществе, даже в американском, например, университете, где вполне по-нашему

борются за место. Это общечеловеческие страсти, а не просто страсти советских литераторов.

— Среди написанного тобой за всю жизнь накопилось немало вещей документального толка — от той же «Иванькиады» до очерков «Антисоветский Советский Союз» и писем правительству. Эта приверженность документу идет, думаю, от того, что ты живешь, не разделяя свою ежедневную жизнь и искусство. Правильно?

— Вообще-то говоря, когда я начинал писать, я меньше всего собирался стать документалистом. Просто жизнь слишком грубо вторгалась в мои общие планы. Я обратился к документу (и к иронии тоже) как к спасению, когда уже не до художеств. Возьмем «Иванькиаду». Я сидел и писал своего «Чонкина», но эпопея с квартирой и с товарищем Иванько навалилась и стала мешать мне работать. Тогда я и решил воспринимать свои перипетии как творческий документальный материал. Как человек я еще переживал то да се и хотел определенного развития событий, но когда я стал глядеть на это, как писатель, собирающий материал, — мне сделалось все равно, отнимет у меня Иванько квартиру или нет. Как писателя меня уже удовлетворяло любое развитие сюжета.

То же самое — книга «Антисоветский Советский Союз». Меня слишком много спрашивали, когда я попал на Запад, а что там такое, а как это выглядит. Я стал рассказывать про разные стороны советской жизни — так получилась серия очерков. Но, повторяю, у меня произошло вынужденное обращение к документальному жанру как спасительная акция в ответ на жестокий напор жизни, что ли. Если бы моя жизнь сложилась благополучнее и спокойнее, вполне возможно, я никогда не обратился бы к документу. А впрочем, не знаю. Не знаю.

Расскажи, если можно, о мемуарно-автобиографическом повествовании, над которым сейчас работаешь.

— Об этом я буду говорить условно, поскольку не уверен, удастся ли мне осуществить замысел книги, которую я хотел бы назвать «Замысел». Книга и мемуарная, и — в то же время — основанная на вымысле: эти куски будут переплетаться и сливаться до неразличения грани. Будет она, книга, и философской, и литературоведческой, и все вместе. Такой вот смешанный жанр. Я рассматриваю здесь человека как замысел Божий (я, как ты знаешь, не религиозен, так что слова «замысел Божий» я употребляю в широком философском плане). Бог при со-

здании вложил некую свою идею и ждет от человека определенного поведения. Но тот, став самостоятельной единицей, от Бога отрывается и ведет себя «не так». Человеку невероятно важно понять замысел Божий в себе. Гений, я думаю, это тот, кто понял Божий замысел и точно следовал ему. А часто человек не знает своего призвания, не смог услышать голоса и терпит фиаско. Есть и такие люди, которые вроде бы и слышат голос и призвание свое осознают, но обстоятельства или соблазны заставляют их вести себя не вполне в соответствии с замыслом. Тогда даже при наличии больших или меньших успехов этот человек не реализуется сполна.

— *А как ты рассматриваешь себя?*

— Вот и себя — как замысел Божий. Я пытаюсь в этой книге сам себя понять. Разбираюсь, разгадал ли я этот Замысел, хорошо ли следовал ему, если же не следовал, то, где и почему. Это автобиографическая часть — в ней же я рассматриваю и другой замысел. Замысел моей книги и моего героя, по отношению к которому уже я — Бог. Так я, как Бог, создал Чонкина, и дальнейшее зависит от того, будет ли он следовать моему замыслу. А он не подчиняется мне и ведет себя так же, как я — по отношению к Богу. Я не подчиняюсь, уклоняюсь, не воплощаю того, что в меня заложено и мне заповедано, — и у Чонкина та же история... Все это должно перемежаться бытовыми подробностями, реальными и вымышленными. На «Чонкине» (а потом и на «Москве 2042») я убедился, что жизнь и художественный замысел совсем не далеки друг от друга. Одно влияет на другое. Обстоятельства жизни писателя формируют то, что он пишет, — это известно. Но есть и обратная связь: вымысел писателя потом влияет на его жизнь.

— *Об этом Арсений Тарковский сказал:*

На меня любая строчка
Точит нож в стихах моих...

— Да. Это так. Моя биография легла в основу, скажем, «Чонкина», а «Чонкин», выйдя из-под пера, лепил мою биографию дальше. Меня из-за Чонкина выгнали из Союза писателей, из Советского Союза и прочее. Жизнь моя благодаря литературному герою круто переменилась, но это, в свою очередь, повлияло на ранний замысел. Если бы я оставался в Союзе, то (у меня был такой план) я довел бы Чонкина до 1956 года. Он в Германии, он ухо-

дит в самоволку, его ловят, судят, сажают, дают большой срок, в тюрьме все нагнетается, потом — 56-й год, его, как и многих других, освобождают, реабилитируют, и на этом роман заканчивается... Но поскольку из-за Чонкина я оказался за границей, возникли новые впечатления, которые замысел изменили. Я (впрочем, не сразу) решил, что Чонкин тоже должен оказаться за границей. Я увидел, что там, в Германии, живет очень много таких же чонкиных. Мы представляем себе эмиграцию преимущественно как военную и интеллектуальную (генералы, художники, музыканты, писатели) и совсем не знаем простых людей эмиграции, которые были занесены туда ветром судьбы, войны. Самые простые люди после войны оказались в числе так называемых перемещенных лиц. Вот уж кто-кто (какие-нибудь крестьяне, типа того же Платона Каратаева), а они никогда и не помышляли об эмиграции. Когда я таких людей узнал, это было столь сильным впечатлением, что мне захотелось развить замысел «Чонкина» именно в данном направлении.

— Да, настоящий узел замыслов. Дай Бог тебе написать эту книгу. Устал? Ну, все, последний вопрос. Повесть «Хочу быть честным», напечатанная в «Новом мире» Твардовского в 1963 году, дала название и твоему первому нынешнему сборнику, который вышел здесь после огромного перерыва в отечественных публикациях. Стало быть, этот девиз или даже заклинание стало для тебя важнейшим навсегда. Так? Но есть у этой повести и еще один ключ — эпиграф из Генри Лоусона, австралийского поэта:

Мой друг, мой друг надежный,
Тебе ль того не знать:
Всю жизнь я лез из кожи,
Чтобы не стать, о Боже,
Тем, кем я мог бы стать...

(Знаю, кстати, что первый вариант твоего названия повести был «Кем я мог бы стать» — и мне он нравится куда больше, — но ты сменил его под нажимом редакторов «Нового мира», которые вообще почему-то любили менять заголовки, ломая их тайную мистику...) Так вот: ты хотел быть честным и — по мере сил — стал. А кем ты не стал из того, «кем мог бы стать»?

— Мы об этом уже говорили. Если бы я пошел поперек Божьему замыслу во мне, жизнь могла бы сложиться совсем иначе. Первые годы я пробивался очень трудно.

писал, нигде не служил, жил на маленькие, нищенские заработки, ходил вечно голодный, в протертых штанах, в стоптанных ботинках. И вдруг судьба подкидывает приманку. Я устроился работать на радио и стал там получать тыщу (по нынешнему: сто) рублей — тогда для меня огромные деньги. Там же я стал писать песни, которые начали приносить мне неслыханные, по моим тогдашним представлениям, прибыли, как сочинитель песен я к тому же сразу стал угоден властям, включая даже Хрущева, который провыл с трибуны Мавзолея мой «Гимн космонавтов» (после чего редакции журналов и издательств, доселе равнодушные, оборвали мне телефоны с феерическими предложениями). Когда я увидел, что репутация поэта-песенника становится фактором моей судьбы, я немедленно от этого отрешился: я ни за что не хотел славы и благополучия таким путем.

Этот этап я отсек. Но дальше — новые соблазны. Написал и напечатал первую повесть «Мы здесь живем» — успех. И я мог пойти не совсем в свою сторону, причем сместившись несильно, чуть-чуть, обманывая себя самую малость. (Даже Лев Аннинский написал про меня тогда, что я настоящий «почвенник», и мне оставалось слегка этой репутации подыграть, делая вид, что и впрямь почвенник). Еще полагалось заботиться, как ты выглядишь в глазах начальства, — требовались некие чисто ритуальные действия. Например, хоть иногда появляться на собраниях, на выступлениях, немножко хитрить. Без большой подлости, но в подловатом, я бы сказал, направлении. При известном политезе я мог бы стать секретарем Союза писателей. Вот.

Но этому в силу моего характера свершиться было не суждено. Я всегда знал, что у кого как, а у меня эти, даже небольшие, компромиссы приведут к разрушению личности. Я знал, что сервильное поведение принесет мне бытовые удобства, но исказит мою жизнь, мою работу, мое самочувствие. Мне будет тошно. Помнишь пушкинские слова: «Жалок тот, в ком совесть нечиста...»? Это очень серьезно. Можно быть царем — и жалким, несчастным человеком. Итак, я сознательно уклонялся от «благополучного» хода судьбы (хотя порою нарочно лез на рожон, чего теперь в себе не одобряю.)

Вообще о себе я думаю приблизительно так. Божий замысел в себе, мне кажется, я более или менее угадал, хотя и не сразу. Следовал ему не всегда. Иногда мешали

объективные обстоятельства жизни, а чаще препятствия, которые я сам необдуманно воздвигал. Было много ошибок, заблуждений, неоправданных страхов, уступок разным силам и условностям. Слишком много времени провел в праздности, лени, суете и застольях. В результате жизнь получилась, как первый блин — комом, но второго блина спечь, увы, не придется.

Впрочем, я считаю, основа Высшего Замысла в том, что всякая человеческая жизнь самоценна независимо от ее практических результатов. И к моей жизни это относится тоже.

Февраль 1991 года.
Москва

У вымени мертвой коровы

Под недавно опубликованным манифестом о создании независимого союза писателей стоит и моя подпись. Я подписал этот документ потому, что считаю своевременным созданием Союза писателей, который не зависит от властей, партий и всяких прочих указующих и карающих инстанций. Мне необходимо знать и то, что, поскольку это не независимый союз, а союз независимых, то каждый вошедший имеет право быть независимым и от самого этого союза.

Хорошо, что писатели из разных республик, войдут в новый союз не как представители каких-то сил, а как личности. Я надеюсь, что присутствие этих личностей в союзе будет способствовать сохранению контактов между литературами разных народов распадающегося нашего Союза ССР. Я надеюсь на взаимовлияния этих личностей и литератур, на то, что это взаимовлияние будет способствовать атмосфере взаимной приязни между народами и личностями, как бы они ни отличались друг от друга образом жизни, религией, языком, цветом глаз или волос. И что мы будем встречаться друг с другом как друзья и коллеги, а не как каждый для каждого чужаки.

С большой надеждой ожидаю я, что новый союз в самом деле станет прибежищем новых дарований. Есть очень много молодых людей, талантливых и неприкаянных, которым надо помочь стать на ноги, но дальше не вести их за ручку, а — пусть идут сами.

Прочтя манифест, я обратил внимание на пункты, которыми я, скажем прямо, не дорожу. Но, понимая, что

большинство подписавших хочет видеть манифест именно таким, каким он получился, я решил, что потом выскажу свое независимое мнение по частностям. Именно мнение, а не призыв.

Мое мнение такое. Союз писателей СССР умирает. Его отход похож на агонию крестного отца мафии. Вокруг постели папаши столпились члены клана, из которых одни ожидают того мига, когда можно будет вступить в поножовщину за наследство, а другие уже вступили.

Впрочем, такому многоголовому чудовищу, каким является умирающий Союз, может быть, больше подходит сравнение не с крестным отцом, а с самой мафией. Он и был (и еще есть) мафия. То есть организация, которую можно назвать преступной. Разумеется, не все члены Союза были преступниками, но преступные элементы создавали и направляли организацию, и в конце концов вся организация достигала преступных целей преступными средствами. В манифесте об этом кое-что сказано, но там же есть и попытка установить некий баланс при помощи слов... несправедливо огульно отрицать все, что сделано...»

Может, и несправедливо, но добрые дела Союза писателей не стоит преувеличивать. Силами некоторых активистов, при молчании подавляющего большинства и от имени всех поголовно писателей преступления против литературы и ее создателей (чаще всего самых лучших) совершались на протяжении всей доперестроечной истории этого Союза: и в ужасные сталинские времена, и в либеральные хрущевские, и в застойные брежневские. Союзом писателей столько погублено душ и книг, что на фоне этих злодеяний все добрые дела данного заведения стоят не больше, чем пятикопеечная свечка, поставленная убийцей за упокой души убиенного. Даже и того меньше, потому что свечка — это признак раскаяния, а в деятельности СП, его лидеров и участников расправ над писателями, за редчайшими исключениями, никаких признаков раскаяния незаметно.

В манифесте есть пункт, что писатель, входя в новый союз, может не выходить из старого. Боязнь покинуть Союз писателей СССР напоминает мне картину из военного детства: теленок сосет убитую корову.

Я понимаю писателей, которые не хотят выходить из старого союза, разделяю все их опасения и никого не осу-

жду, но не надо выдавать стремление сохранить оба членства за следование каким-то принципам. Это что-то другое. Это все-таки вид конформизма. Притом конформизма, по-моему, бесполезного. Это как бы попытка стоять одной ногой в спасательной шлюпке, оставляя другую на тонущем корабле в безумной надежде (или в страхе), что вдруг он совсем не утонет.

Не знаю, согласится ли кто с этими моими соображениями или нет, но вот по следующему пункту, насчет Литфонда, я, наверное, и вовсе не найду единомышленников.

Дело в том, что я вообще против Литфонда как такового. Потому что наличие его создает в литературной жизни атмосферу богадельни. Писатель стремится достичь материального благополучия не своим трудом, а попрошайничеством: стоит с протянутой рукой и ждет, что в нее кто-то что-то положит. А когда одному кладут больше, другому меньше, это вызывает недовольство тех, кому положили меньше, и недостаточное довольство тех, кому досталось больше, потому что им и этого мало. Разумеется, допущенные к кассе (или дорвавшиеся до нее) кладут прежде всего и больше всего себе самим. Само по себе наличие общей кассы создает, я разрешу себе так выразиться, коррупциогенную обстановку.

Защитники Литфонда вспоминают, кто его создавал и для чего. Поминают все имена Тургенева и Толстого. И напрасно. Советский Литературный фонд, рожденный в 1934 году, не имеет ничего общего с «Обществом для пособия нуждающимся литераторам», основанным в 1859 году. И сравнивать нечего.

Советский Литфонд, как остроумные люди заметили, это благотворительная организация, которая помогает не бедным, а богатым. А для небогатых это просто приманка, и чаще всего пустая.

Помню, когда в 1974 году я собирался прощаться с Союзом писателей, многие люди пугали меня не столько нечленством в СП, сколько тем, что я перестану быть членом Литфонда (мне и другим исключенным в застойные времена пастернаковской привилегии оставаться членами Литфонда не предоставили). Снявши голову, я по волосам плакать не собирался, но любопытства ради прикинул, что мне было дано за двенадцать лет моего пребывания в Союзе писателей и Литфонде — и что отнято, кроме справки о роде занятий.

За эти годы я неоднократно наказывался всячески, в

том числе материально: набор моих книг рассыпался, пьесы снимались с постановки, киносценарии клались на полку и песни исполнялись без слов. Мои общие убытки в результате всех этих акций исчислялись по крайней мере десятками тысяч рублей. А как мне помогал в это время Литфонд? Когда я болел, мне платили больничные. Но каждому работающему человеку с достаточным производственным стажем больничные полагаются без всякого Литфонда. Еще что? Путевки в Дом творчества? Один раз, кажется, я получил бесплатную путевку, а остальные разы за свои денежки и не такие уж маленькие. За такие же деньги я снимал где-нибудь дачу и чувствовал себя там не хуже, чем в Доме творчества. Ну, еще ссуду дважды, может быть, я получил безвозвратную, рублей по двести. Так что за двенадцать лет всех литфондовских благодеяний вместе взятых было мне оказано рублей на шестьсот. Но если правда, что из каждого авторского гонорара государство вычитает 15 % в пользу Литфонда, то это значит, что Литфонд отщипнул мне кроху от куска, у меня же отнятого. Ну, а что касается пошива в этом заведении разных кожаных и трикотажных изделий, то к этому я выразил свое отношение в повести «Шапка» и повторяться не буду.

В том-то и дело, что Литфонд бедным писателям помогал очень редко, неохотно и нещедро, всегда сопровождая подачи свои разными унижительными условиями. А вот богатые получали практически бесплатно дорогие дачи, им давались и списывались многозначные суммы, постоянными должниками Литфонда были и Шолохов, и Фадеев, и Федин и прочие, прочие, прочие вплоть и до наших нынешних отцов основателей независимого союза, которые тоже люди не бедные. Согласны ли они изменить ситуацию, чтобы Литфонд помогал не им, а кому-то другому?

Вообще-то (это мое убеждение), писатель, как всякий работающий человек, должен жить самостоятельно и питаться плодами своего труда. В начале пути, или во время болезни, или в какие-то особо трудные минуты ему можно помочь. Но, как правило, деньги на жизнь писатель должен не получать, а зарабатывать. Это, может быть, не всегда под силу поэту или критику, но для прозаика или драматурга в такой огромной стране, как Россия, с многомиллионным читателем, все еще тратящим деньги на книжки, существование на литературные гоно-

рары должно быть естественным. (В маленькой стране — другое дело. Там мало народа, мало читателей, мало покупателей). Да, конечно, в условиях рынка на первое место по тиражам выйдут сочинители детективов или секс-романов, но и серьезный писатель на этом рынке найдет себе достаточно покупателей.

Мы знаем много примеров, когда очень хороший писатель нуждался в помощи, но его к этой нужде приводили насильно. Допустим, Булгаков, Платонов, Зощенко много бедствовали (а Литфонд безмолвствовал), но только потому, что их в эти бедствия ввергали. Если бы их книги не запрещались, они никогда не нуждались бы ни в чьей помощи и очень хорошо обходились бы без Литфонда.

Всегда могут найтись единицы (но не тысячи), которым на каком-то этапе стоит помочь, но для этого на Западе, например, существуют не один, а разные фонды. Разные и — что важно — не зависящие от тех, кому они чего-то дают. А кроме того есть газеты и журналы, с которыми писатель может сотрудничать, есть университеты, где он может что-нибудь преподавать или получить место *writer in residence* (не знаю, как перевести на русский — писатель на жительство, что ли). Занимая такое место, писатель ведет семинары (примерно, как в Литинституте) и за эту непыльную, но полезную работу получает очень недурную зарплату. И это нормально. Из 10 000 членов СП есть тысяч девять с половиной, которым вовсе не обязательно быть свободными художниками, они ничем такой привилегии не заслужили.

Есть и еще одно соображение. Конечно, Литфонд за время своего существования накопил большие богатства, и неплохо бы ими как-нибудь по совести распорядиться (лучше всего напасть на него ночью в масках, все захватить и поделить поровну). Но сейчас, в период развала всех структур, естественно желание стоящих поближе к кормушке урвать от нее как можно больше и убежать.

Я думаю, что в процессе борьбы за Литфонд разные силы раздерут его на части, и от него ничего не останется. И чтобы ему оставаться богатым, нужны новые поступления. А откуда они возьмутся? Раньше государство сколько хотело, столько из нашего кармана вынимало, нас о том не спрашивая. А теперь если будет рыночная экономика, то мы, наверное, сами начнем решать, куда деньги вкладывать, куда нет. А с нас отовсюду будут тянуть. Члену Союза писателей надо заплатить взносы.

Если он в двух союзах, то двойные. Если он еще член ПЕН-Клуба, то и туда.

А в Литфонд?

Если эта организация существует в самом деле для помощи неимущим, то должно быть так. Богатые люди туда платят много, но оттуда не берут ничего. А бедные ничего не платят, но кое-что берут. Так вот я спрашиваю богатых: вы согласны платить и не брать?

Теперь перехожу к сути моего предложения, которое никем принято, конечно, не будет.

Рынок, как известно, наступает. Хорошо это или плохо, но его уже никто не удержит. Он создает новую систему ценностей и общественных отношений. Кто был никем, может быть, и не станет всем, но — кто был всем, вполне рискует стать никем. Это касается в первую очередь партийных боссов, преподавателей марксизма-ленинизма, секретарей Союза писателей СССР и, увы, большинства рядовых писателей тоже.

Рынок — дело жестокое. Правда, не такое все же жестокое, как социалистический образ жизни. На рынке писателя не убивают, не сажают, не ссылают, не выгоняют за границу и не заставляют придерживаться единственно правильного художественного метода, благодаря при этом партию, которая его этим методом вооружила. На рынке закон простой: пиши, что хочешь, хоть про секретарей обкомов, хоть про коров. А дальше — найдешь покупателей, будешь сыт, не найдешь, останешься голодный. И даже если партия и правительство тебя провозгласят величайшим и навешают на тебя всяких золотых знаков отличия, то и это потенциального покупателя твоей книги не соблазнит.

Как мы привыкли жить? Каждый писатель (не секретарь и не член парткома, а рядовой), если он никого не трогает и никому не мешает, время от времени должен издавать свои книги. Не потому, что они кому-то в самом деле нужны, а потому, что он член Союза писателей, ему скоро исполнится пятьдесят лет, у него больна жена, его два года не издавали и вообще товарищу надо помочь. Помочь — это значит — много тысяч рублей потратить на издание его книги и, ничего за них не выручив, несколько тысяч заплатить автору. А саму книгу подержать на каких-то полках, а потом сдать в макулатуру. На рынке, который живет по законам здравого смысла, такой номер не проходит. На рынке, если уж какие-то

благодетели пожелают помочь человеку, то они ему лучше заплатят в два раза больше, ничего не издавая. И это правильно. Издавать книгу, которая никому не нужна, не только коммерчески глупо, но и безнравственно.

Короче говоря. Неизбежное наступление рынка — это для большинства — членов Союза советских писателей полная и нежданная катастрофа. Моральная и материальная. Их писания коммерческой ценности не представляют, а художественной тем более. И что им теперь делать? Те из них, кто помоложе, возможно, переqualифицируется по примеру Остапа Бендера в управдомы. Но есть такие, кто до пенсии пока не дожил, а возраст, в котором еще можно овладеть другой профессией, уже перешли. Допустим, те, кому сейчас лет пятьдесят с лишком. Им без помощи просто не выжить. Но помогать им надо не изданием их не имеющих спроса книг, а просто деньгами. В какой форме, не знаю. Может быть, в виде пенсий: или в связи с потерей кормильца, или как инвалидам идеологической войны. А лучше всего до достижения пенсионного возраста выдавать им обыкновенное и распространенное в странах с рыночной экономикой пособие для неимущих. Конечно, такого пособия не заслужили секретари СП и другие, приближенные к литфондовой кассе люди, которые высосали из нее все, что смогли, да и сейчас досасывают остатки, вроде того теленка, что припал к вымени мертвой коровы.

1992

Вам барыня прислала сто рублей

Скажу сразу, я не судья и объективным быть не обязан. Из всех ролей, которые распределяются между участниками данного судебного разбирательства, я себе выбираю роль потерпевшего. Разумеется, всего лишь одного из многих миллионов. Причем потерпевшего намного меньше других. Но все-таки именно потерпевшего, которому желательно быть правдивым, но не обязательно объективным.

В Конституционном суде разбирается вопрос, было ли конституционным решение президента России Ельцина об отстранении от власти Коммунистической партии Советского Союза. В споре, где выясняют свои отношения представители КПСС и их противники, я стою на стороне противников. Когда выступают Сергей Шахрай или Ан-

дрей Макаров, я заведомо с ними и желаю, чтобы они победили.

Но...

Естественно, я, как и очень многие другие люди, ожидал этого суда с большим волнением. Я думал, что вот наконец-то будет сказано все. Я, честно говоря, ожидал чего-то вроде нюрнбергского процесса. Ну, не совсем такого. Тот состоялся после полного разгрома нацистов вместе со страной, в которой они верховодили. Тогда еще были живы главные нацистские преступники, а теперь, главных, конечно, нет. Ленин, Сталин, Ягода, Ежов, Берия, Андропов уже находятся вне нашей юрисдикции. А к тем, из партийной верхушки, которые выросли на наших хлебах в более поздние времена, к ним у меня отношение не столь однозначное, поэтому я был бы за то, чтобы судить не личности, а партию в целом. Но судить, разбирать все ее действия до конца непредвзято, не обходя никаких острых углов.

Однако не тут-то было. То, что я увидел, я сравнил с известной игрой, которая, как вы помните, начинается так: «Вам барыня прислала сто рублей. Что хотите, то купите, черный с белым не берите, «да» и «нет» не говорите...»

Вероятно, эта игра некоторым из судей в детстве настолько понравилась, что они и сейчас решили в нее поиграть. Облачившись при этом в черные мантии с выпущенными из-под них белыми манжетами.

Игра развивается по всем правилам. С упоминанием всей гаммы цветов, кроме черного с белым. С любыми ответами, кроме «да» и «нет».

Идет процесс по делу об отстранении от власти КПСС. Какой он, этот процесс? Единственный ответ: политический. Судья стучит деревянным молотком по медной тарелке: стоп, вы проиграли, это процесс не политический, а правовой. КПСС является (лась) политической партией. Стоп — звенит медь — мы судим не партию, а... (черный с белым не берите, «да» и «нет» не говорите) государственную структуру.

Ну, да, то есть нет, то есть ни да, ни нет, партия была не только государственной структурой, а могла повторить слова Людовика XIV: «Государство — это я!»

Партия и была государством, но именно политическим, насквозь пронизанным политикой и политические цели ставившим превыше любых государственных.

Я, например, сколько жил (долго) под властью КПСС, столько слышал всякие слова с прилагательным «политический» (политический процесс, политическая пропаганда, политическое образование, политическое убийство) или с приставкой «полит»: политбюро, политотдел, политорганы, политэкономия, политрук, политиздат, политпросвет, политучеба, политизолятор, политзаключенный, а также с тем же скрытым эпитетом в аббревиатурах Главпур и ГПУ, что, кстати, означало одно и то же: Главное политическое управление.

В этом политическом государстве с рождения его и до смерти и всегда господствовала политическая полиция, которую сравнить можно только с гестапо. Члены этой полиции, как и гестаповцы, придумывали себе всякие возвышенные определения вроде «рыцари революции» или «карающий меч революции», хотя я бы лично назвал их, наверное, топором. Топором в руках КПСС.

КПСС была государством, но в то же время и партией. Говорят, что слово «партия» ей никак не подходит, потому что партия это значит всего лишь часть чего-то целого. Но она и была частью общества. 19 миллионов человек состояли в КПСС, но еще 280 миллионов в партии не состояли.

В эти 280 миллионов следует включить и детей. Впрочем, детей партия тоже в покое не оставила и создала для них детские коммунистические партии октябрят, пионеров и комсомольцев. Эти детские партии имели один существенный недостаток: у них не было своего собственного ЧК, что не давало детям возможности друг друга расстреливать. А все остальное — одобрять, поддерживать, всем сердцем быть вместе, стучать друг на друга, разоблачать врагов, отрекаться от родителей — это им разрешалось.

Конечно, взрослая КПСС для обыкновенной партии захватила слишком много власти, но кто сказал, что она должна быть обязательно обыкновенной? Она была очень необыкновенной, она была партией тоталитарного типа. Она имела руководящую номенклатуру, разветвленную сеть корыстных активистов и некий балласт из рядовых членов, которые, впрочем, свою, нужную партии роль тоже играли.

В партию люди вступали по нескольким причинам: 1) по дурости — 2) по идейным соображениям (то есть

тоже по дурости, но как бы на научной основе) и — 3) ради карьеры.

Среди всех трех категорий попадались люди относительно (но не абсолютно) приличные, однако лицо партии определялось — не ими, а теми, кто (из категории карьеристов) активно и с охотой проводил любое решение партии в жизнь, одобряя все ее злодейские и идиотские акции, будь то изъятие церковных ценностей, уничтожение кулачества — как класса, истребление оппозиции, расстрел польских офицеров и новочеркасских рабочих, постановление о журналах «Звезда» и «Ленинград», вторжение в Венгрию, Чехословакию, Афганистан, расправы над инакомыслящими, внедрение социалистического реализма, заключение людей в лагеря, тюрьмы, психушки и прочее, изучение произведений Сталина-Брежнева и введение неписанных, но действовавших грамматических правил, согласно которым отдел райисполкома пишется с маленькой буквы, а Отдел ЦК КПСС с большой. Замечу к слову, что среди самых, как считалось, «идейных», то есть твердолобых коммунистов был наибольший процент воров, взяточников, расхитителей общественного имущества в особо опасных размерах, казнокрадов, убийц, насильников и растлителей. Часто наиболее опасные уголовники именно преданностью КПСС или ее идеалам прикрывали свои мерзейшие преступления.

Любое, сколько-нибудь серьезное разбирательство деяний КПСС никак не может не быть политическим. А вот что касается конституции, кто ее, когда и зачем нарушил, то тут граждане судьи, прошу простить за резкое слово, но мне лично на эту конституцию, как говорится, с высокого дерева наплевать. Да, именно, так!

Мне скажут, разве можно так вот неуважительно о конституции, а я на это отвечу, что уважать ее никакой причины не вижу, и в том, что стоит за нее непременно держаться, тоже никак не уверен.

Не странно ли было бы, если бы Международный трибунал в Нюрнберге, судивший нацистскую партию и ее главарей, руководствовался исключительно законами Третьего Рейха?

Но не то ли мы видим в конституционном суде?

Разбирается вопрос: соответствовало ли Конституции отстранение КПСС от власти? Какой конституции? Ну, конечно, советской, поскольку никакой другой у нас не было тогда и сейчас еще нет.

Некоторые считают, что сама по себе Конституция СССР была хорошая и будто бы даже самая лучшая, самая демократическая в мире, а вот исполнители были плохие. Так это же, граждане, мы уже проходили, то же самое слышали о всех наших измах.

Марксизм-ленинизм-коммунизм-социализм — в теории были прекрасны, а на практике испорчены. Конституция была хорошая, а партия плохая, впрочем, то есть, не очень плохая, а не совсем хорошая, плохая только в том смысле, что хорошую конституцию нарушала.

А вот мой вопрос: была ли она на самом деле так уж хороша, эта самая Конституция? Можно ли назвать хорошим автомобиль, который всем хорош, но имеет один недостаток — не ездит? Если он не ездит, значит есть смысл подумать, достоин ли он вообще права называться автомобилем. То же и с конституцией. Она должна существовать не только на бумаге. Она должна предусматривать инструменты, которые сами бы ее защищали. Если таких инструментов нет или они не работают, значит, грош цена такой конституции.

Вопрос аналогичный предыдущему: можно ли считать передвижную душегубку хорошим автобусом? Даже если отключить подачу выхлопных газов в пассажирский салон? Становится ли советская конституция более уважаемой после исключения из нее статьи шестой?

Не становится. Вся эта конституция, кем бы она ни сочинялась, Бухариным, Сталиным, Сусловым или Брежневым, с шестой статьей и без нее, имела своей целью, не создание в стране конституционного образа жизни, а увековечивание партийного диктата. Утверждение, что программа партии не соответствовала конституции, бессмысленно: с точки зрения партии конституция должна была соответствовать программе построения коммунизма, а не наоборот. И кстати сказать, о если бы теперешний суд назывался не конституционным, а допустим программным, то тогда партию можно было бы отстранять от власти с большим основанием, чем сейчас, поскольку она своей программы не выполнила и коммунизма нам не построила.

А с конституцией как раз все наоборот.

По букве она, возможно, была чем-то другим, но по духу она была создана не для ограничения власти КПСС, а напротив, для установления вечного владычества над нашими делами, телами и душами.

Партия эту конституцию сама для себя сочиняла, сама ее толковала, сама приспособлявала под свои нужды, и приспособила настолько, что конституция нисколько не мешала ей вытворять с огромной страной все, что угодно. Именно эта конституция в любом ее варианте была основой всех злодеяний, совершенных Коммунистической партией Советского Союза.

Таким образом к чему мы приходим?

Сейчас я собираюсь высказать выношенную мною крамольную мысль, но прежде того выражу надежду, что узники, томящиеся в застенках Матросской тишины, не подвергаются очень уж зверскому обращению, что у них, в их мрачных одиночках, есть — если не цветные телевизоры, то по крайней мере коротковолновые приемники, которые они, как Горбачев в Форосе, из каких-нибудь кусков кроватей сварили, и в их, как сказал поэт, «капторжные норы доходит мой свободный глас».

Так вот мой глас утверждает, что основной целью Конституции СССР с шестой статьей или без нее было укрепление и сохранение советского строя всеми возможными и невозможными способами. Поэтому разрушители этого строя конституцию нарушали, а гекачеписты, умно или глупо (по-моему, все же глупо, за что им большое спасибо) ее отстаивали. Опять же спасибо, что не отстояли.

И в попытке переворота их обвинять тоже не следует. Антипартийный переворот состоялся, но совершен не ими, а их противниками. Гекачеписты если уж и судить, то за что-то другое, чему, впрочем, есть прецедент. В свое время советские суды судили своих противников за попытку реставрации капитализма, — так вот, гекачепистам можно вменить в вину попытку реставрации развитого социализма.

Нет, я не поклонник гекачепистов и на демонстрацию с их портретами не пойду. Но не только они, а вся КПСС была политической бандой, она узурпировала всю власть в стране, поработила, унижала и тиранила весь народ, лишив его права и возможности выбора, вменив ему в обязанность постоянно выражать ей свой безмерный восторг, она сочиняла законы, которые сама не уважала, а почему мы должны уважать ее законы? Да пусть она провалится вместе со всеми своими законами и вместе со своей конституцией.

Если, допустим, конституционный суд, поработав

своими тринадцатью головами, придет к выводу, что отстранение партии состоялось в результате переворота, то лично я скажу, ну и пусть! Тогда да здравствует переворот!

Вы скажете: «Ах, ах! Да разве ж так можно?»

А вот и можно.

Если тиранический режим не дает людям никакой возможности достойного существования и смены своих правителей путем свободных, обеспеченных законами выборов, то сам этот режим незаконен и свержение его путем переворота, восстания или революции, с точки зрения международного права, считается абсолютно допустимым.

В некоторых случаях отстранение от власти может быть произведено с помощью прямого иностранного вмешательства.

В 1945 году вооруженные силы союзников отстранили от власти нацистскую партию, не считаясь ни с какими установленными ею законами, а потом судьи из стран-победительниц судили главарей этой партии уголовным судом.

Правду сказать, это кое-кому тогда не понравилось. А некоторым не нравится до сих пор. Совсем недавно один немецкий юрист говорил мне, что Нюрнбергский процесс не был в правовом отношении приемлемым, потому что, мол, впервые в истории победители судили побежденных. На что я ему заметил, что побежденные заталкивая в газовые камеры мужчин, женщин, стариков и детей, расстреливая из пулемета, сжигая живьем, тоже вели себя, с юридической точки зрения, не совсем безукоризненно и если бы им самим доверить суд над собою, то они, вероятно, были бы полностью оправданы, а может быть, даже представлены к каким-нибудь высшим наградам. Они, кстати, в Нюрнберге в 45-м году на вопрос суда, признают ли себя виновными, один за другим вскакивали и нагло выкрикивали: «нихт шульдиг». То есть не виновен.

Вернемся однако в Москву 92-го года. В Конституционном суде истцы, ответчики и сами судьи — ходят вокруг да около, а главного не касаются. Защитники КПСС стараются преступную ее сущность затушевать. А противники?.. Казалось бы, вот сейчас им самое место и время резануть всю правду-матку как есть. Но и они дошли до какой-то невидимой нам черты и снова — стоп:

черный с белым не берите, да и нет не говорите, это суд не уголовный, а правовой, мы судим не партию, а государственную структуру и решаем только вопрос, соответствовало отстранение ее от власти конституции или не соответствовало. И ничего больше.

А почему ж это так? Потому что судьи сами для себя, по-моему, не уяснили, в чем состоит их задача. Если суд Конституционный, то опять же на основе какой конституции, а если на основе филькиной грамоты, сочиненной идеологами КПСС, то и суд этот не конституционный, а филькин. Несмотря на белые манжеты и черные мантии. Это я говорю не для оскорбления суда, а для того, чтобы показать всю его бессмысленность.

Дело с самого начала загнано в рамки, в которых ему тесно. Из которых оно само по себе стремится вырваться. Но суд все время возвращает его назад, к второстепенным вопросам. Это как если бы, предположим, разбирая дело Родиона Раскольников, суд опустил все, что касается убийства старухи и ограничил себя только рассмотрением того, имел ли право Раскольников взять чужой топор — и кто в этом больше виноват, он, взявший топор, или дворник, который топор не спрятал.

Адвокат Андрей Макаров рассказал нам историю о том, как Политбюро ЦК КПСС за два дня до выборов в Верховный Совет СССР уже знало (и торжественно одобрило) их результаты. Это звучит смешно, но не ново. О том, что очередные выборы закончатся полной и убедительной победой блока коммунистов и беспартийных неизвестно над кем, но со счетом 99,99 на 0,01 — мы все вместе и каждый в отдельности знали за два дня, за два месяца и за два года.

Уважаемый мною Сергей Шахрай говорит: суду будет представлен рассекреченный документ о деле одного из генералов КГБ, возглавлявшего отдел по убийствам политических и прочих противников этой организации внутри страны и за рубежом. Среди деяний этого одного генерала из одного из отделов есть убийство в одном городе одного священника.

Конечно, убийство одного священника или любого иного одного человека есть само по себе ужасное преступление, но, увы, затрагивая эту тему не по касательной, следовало бы рассказать не об одном священнике, а о десятках миллионов людей, которых расстреливали поодиночке и группами, из пистолетов и пулеметов, —

колоннами и эшелонами, и топили в баржах живыми, и закапывали в землю, и умаривали голодом, и превращали в лагерную пыль, и пытали в психушках. Речь должна идти о преступлениях, по бессмысленности, по жестокости и по масштабам не имевших равных во всей человеческой истории.

А нам говорят о подделках каких-то списков и отдельно взятом убийстве, да и тут судья стучит молотком: мы не об уголовщине, а о нарушениях пунктов номер таких-то и подпунктов таких-то.

Но тогда вообще стоило ли затевать суд?

Сколько бы участники процесса, истцы, ответчики и судьи, ни стремились этого избежать, суд над КПСС может быть только политическим и никаким иным. Попытка превратить его в неполитический, делает его фарсом. В игру типа «вам барыня прислала сто рублей..»

Впрочем, я не уверен, что судьям удастся удержаться в рамках. Уже стучатся в двери суда свидетели не нарушения пунктов, а ужасных массовых злодеяний, и как в «Страшной мести» Гоголя дрожит земля оттого, что поднимаются во всех краях мертвецы и тянутся грызть главного мертвеца, эту самую проклятую КПСС.

У меня нет ни малейшего сомнения в том, что настоящий беспристрастный суд, выслушав и оценив доводы сторон, пришел бы к неизбежному выводу, что КПСС была и должна быть объявлена преступной политической организацией. И достойна безусловного запрещения, независимо от того, какими правилами она руководствовалась и насколько прилежно пренебрегала своей собственной конституцией.

То что среди миллионов ее членов были и относительно порядочные люди, дела не меняет. Члены гитлеровской НСДАП тоже не все бегали с топорами и не все заталкивали людей в газовые камеры. Среди них тоже были такие, которые только платили членские взносы, очень неохотно вытягивали руки и молча открывали рот, делая вид, что кричат «Зиг, хайль»! Мне приходилось встречаться с такими людьми в Германии. Один старик мне незадолго до своей смерти рассказывал, как его, несчастного, после войны преследовали за то, что он, будучи всего лишь почтовым служащим и никого в жизни своей не расстреляв, вступил в нацистскую партию и состоял в ней, в душе ее осуждая. Единственное, чего он достиг, так это того, что из простых

почтальонов был передвинут на должность заведующего почтой. За что после войны его жестоко покарали, передвинув назад, в почтальоны.

Таких людей, как этот почтальон, нацистов или коммунистов, я лично строго бы не судил, но и в заслугу бы им пребывание в партии не поставил. Потому что партия эта была шайкой, а они — пусть пассивными, но все-таки членами шайки.

Кто не обманывал сам себя, тот знал, что это так.

Большевик Роберт Индрикович Эйхе, арестованный в 1937 году как «враг народа», на вопрос судьи, признает ли себя виновным, отвечал: признаю себя виновным в том, что состоял в преступной банде ЦК ВКП(б). Мой собственный отец состоял в той же ВКП(б) всего лишь четыре года, никакой партийной карьеры не делал, никого не убил, не зарезал, но, отбыв свои пять лет в заключении, говорил мне всегда, что получил свой срок вполне по заслугам. «Я, — говорил он, — состоял в преступной организации и должен был быть за это наказан».

Я не призываю никого присоединиться к столь строгим оценкам своего партийного прошлого, и сам никому судьей быть не собираюсь, но если вдруг окажусь, не дай Бог, под судом, то члену нацистской партии или коммунистической, даже бывшему, добровольно решения своей судьбы не доверяю.

Некоторым слушателям мои высказывания покажутся, может быть, слишком экстремистскими, но я их оцениваю иначе. В своих рассуждениях я исхожу из того, что допущение людей к некоторым занятиям не может не сопровождаться определенными и даже повышенными моральными требованиями к их образу жизни теперь или в прошлом. Например, человек, не умеющий хранить чужие тайны, не может быть врачом или священником. Вора, даже бывшего, я бы никогда не назначил директором банка, а взяточника — мэром, допустим, города или района и уж, конечно, никому не доверил бы судить — собственных детей или родителей, — своих врагов, личных друзей или партию, в которой сам состоял.

А тут что мы видим?

В суде по поводу отстранения КПСС от власти участвуют три стороны: защитники КПСС, противники КПСС и беспристрастные судьи. Замечательность этого исторического и юридического казуса в том, что все три

стороны представлены, в основном, бывшими членами КПСС. Одной стороне хочется свою партию полностью оправдать, другой желательно частично ее осудить, судьи разрываются между теми и другими, но полную правду сказать не хочет никто. Потому что признать партию, в которой сам состоял, преступной, значит и себя не избавить хотя бы от моральной, хотя бы от малой ответственности за ее преступления, а на это способен не каждый.

И тут логика моих рассуждений неизбежно ведет меня к проигрышу в игре в барыню, которая прислала сто рублей.

На вопрос, может ли суд, в котором и ответчики и истцы, и 9 из 13 судей были членами КПСС, вынести объективное суждение о КПСС, я не знаю никакого другого ответа, кроме ответа: НЕТ!

Тут я, пожалуй, еще добавлю, что в свое время учреждение Конституционного суда и избрание в него несменяемых судей меня очень удивило. Это было подражание другим странам, но в других странах конституции настоящие, в других странах от избираемого судьи требуется кристальная честность и в целом безупречная репутация. В Америке один из кандидатов в члены Верховного суда не попал на это место только потому, что когда-то, в детстве, да и то, кажется, всего один раз, выкурил самокрутку с марихуаной.

Но многолетнее пребывание в КПСС разве лучше одноразовой затяжки марихуаной?

Когда в Верховном совете России обсуждались кандидатуры членов Конституционного суда, я сказал одному из своих друзей, депутату этого совета, что судьями не могут быть бывшие члены КПСС. Мой друг спросил, а из кого же их выбирать? Членами такого суда должны были быть высококвалифицированные юристы, правоведы, естественно, в прошлом, большинство из них были члены КПСС.

Я сказал, что выбор, конечно, не слишком широк, но в таком случае нельзя избирать этих людей пожизненно, потому что они должны быть не только высококвалифицированными, но и высоконравственными. Друг мой сказал, что их можно и нужно выбирать пожизненно, в таком случае они будут лучше прежних судей, потому что, памятуя о своей несменяемости, не будут иметь причин бояться начальства. Я возразил, что сама по себе

несменяемость от страха перед начальством по крайней мере некоторых из них никак не спасет. Начальство не может их сменить, но отказать им в случае их строптивости в каких-то благах все еще может. Я добавил, что важно, чтобы они не только не боялись начальства, но чтобы боялись своей совести. Потому что несменяемый негодяй гораздо опаснее сменяемого. У меня нет никакой уверенности в моральной чистоте всех конституционных судей, тем более, что репутации некоторых из них весьма подмочены их прошлым пребыванием не только в КПСС, но и в других подвластных партии мерзких структурах.

И еще одно соображение, опять-таки связанное с нашей темой. Среди высшего руководства России очень много бывших коммунистов. Я не имею ничего против многих из этих людей персонально, но ясно вижу, что их прошлое отражается на их мыслях, решениях и действиях. Они — одни сознательно, другие инстинктивно — тормозят развитие процессов, ведущих к оздоровлению общества, и уж, конечно, только единицы из них готовы, как говорят американцы, назвать кошку кошкой и признать, что они сами состояли в преступной организации.

Но эти-то люди заняли свои должности не навсегда. С течением времени руководство страны неизбежно будет обновляться. На смену бывшим членам КПСС придут новые фигуры, не отягченные подобным прошлым. И через какое-то количество лет может случиться так, что в России останется только одна организация, с большинством из бывших коммунистов. Это будет несменяемый Конституционный суд.

СКАЗКИ



СКАЗКА О ПАРОХОДЕ

Здравствуйте, детки большие и маленькие, молодые и старенькие. Мы начнем эту сказку с начала про волшебный один пароход. Вместе с ним отойдем от причала, ну, а там — куда бог заведет.

Итак, в некотором царстве, в некотором государстве был некоторый пароход. Ветхий был пароходшко, ходил по малокаботажным маршрутам из порта А в порт Б и обратно. А пассажирами его были разные люди. Помещики, капиталисты, попы, купцы, военные, студенты, интеллигенция и простой люд, то есть рабочие и крестьяне, эти в основном в трюме да на нижних палубах располагались. Рабочие были, в основном, голь перекатная, а крестьяне еще ничего, плавали, всегда имея при себе мешки с провиантом. Ну, плавали так из года в год, кто на базар, кто в церковь, кто на службу, кто по семейным делам, а кто на митинги и демонстрации.

Плавали, плавали и доплавались до того, что однажды пароход был захвачен пиратами. Но не плохими пиратами, а хорошими. Которые решили доставить пассажиров из порта А не в порт Б, а в страну Лимонию. Туда, где растут лимоны и текут молочные реки с кисельными берегами. Но поскольку пассажиров было слишком много, пароход старый, а путь неблизкий, решили для начала кое-кого скинуть



за борт для облегчения. Скинули помещиков, капиталистов, попов, купцов и военных. При этом всякие там часы, кресты, цепочки, бумажники — все это у них предварительно отобрали, чтобы плыть им было полегче. Скинули часть интеллигенции, а другую часть, попутчиков, оставили, потом, мол, скинем, подальше. Команду пираты тоже сбросили за борт, своих людей всюду расставили. Ну, перво-наперво кинулись, конечно, посмотреть всякие там карты, лоции и другие морские книги, где там страна Лимония обозначена. Искали, искали — не нашли. Пиратский предводитель, теперь он стал капитаном, говорит: «Эти лоции-шмоции нам вовсе и не нужны, у нас есть капитальный труд знаменитого волшебника Карлы Марлы. По этому труду, который так и называется «Капитал», мы и продолжим наш путь».

Сожгли лоции-шмоции в топке, стали изучать «Капитал». А в «Капитале» сказано, что страна Лимония находится сразу за горизонтом. Посмотрели, горизонт недалеко находится, теперь, когда корабль в результате скидывания части пассажиров за борт облегчился, доплыть до горизонта — раз плюнуть. Поставили пароход носом к горизонту — поплыли дальше. Тут первые подводные рифы обнаружались. Стали думать, как быть. Обходить рифы или переть прямо на них, авось обойдется.

Капитан был человек умный и сказал так: «Видеть рифы и идти на рифы — это архиглупость и пустейшая фраза. Каждый моряк должен уметь лавировать».

Скоро сказка сказывается, да нескоро дело делается. Пока лавировали между рифами, капитан простудился и умер, уступив место на мостике своему помощнику.

Тот, вставши на мостик, огляделся, заглянул в «Капитал», принял новое решение. «Ну, что ж, — сказал он, покуривая трубку, — полавировали немножко и хватит. Полный вперед!»

Ему говорят, как же полный вперед, когда рифы еще виднеются. «Ничего, — говорит, — как-нибудь. У нас теперь будет такая теория. Если хочешь пройти над рифами, требуется, чтоб пароход выше поднялся, надо скинуть лишний балласт». Лишним балластом оказались мужики с мешками. Мужиков скинули, мешки оставили, пароход еще более облегчился. Нашлись, однако, малoverы и в самой пиратской команде. Мужиков, говорят, скинуть нужно, но первый капитан учил нас еще и

лавировать. Хватаются за руль и одни пытаются влево крутить, а другие, наоборот, вправо. Так они потом и были названы — левые уклонисты и правые. Капитан велел и тех и других за борт скинуть, акулам. Акулы их охотно пожрали, им что левые, что правые—все на один вкус.

«А теперь, — говорит капитан, — полный вперед, горизонт уже недалеко». Идет пароход, пытит. Кочегары уголь шуруют, котлы кипят, пароход идет полным ходом, вот-вот к горизонту приблизится. А чтобы не скучно было плыть, велел капитан остаткам интеллигенции песни сочинить веселые. Те сочинили, команда и пассажиры поют:

Плывем мы правильным путем,
И нет пути исконнее.
До горизонта доплывем,
А там уже Лимония.

Плывут, плывут, а горизонт все впереди и совсем близко. Земля покинутая давно удалилась, уже и сзади, и с боков ничего не видать, кроме горизонта. Уже некоторые люди стали забывать, что когда-то жили на суше, уже бабушки внукам сказки стали сказывать, что далеко за задним горизонтом есть такая штука, как земля. Лимоны, правда, там не растут, реки текут не молочные, а люди как-то все же живут.

Команде-то все равно, она уголь шурует, пар держит, а среди пассажиров брожение намечается. Если, мол, за передним горизонтом никакой Лимонии не видно, то не лучше ли повернуть назад к заднему горизонту, там хотя и не Лимония, но все же какая-никакая земля. Пришлось и этих пассажиров скормить акулам.

Так, долго ли коротко, а лет тридцать с лишним проплыли, когда вдруг помер второй капитан, хотя и считался бессмертным.

Третий капитан оказался волонтаристом. Он сказал: «Раз горизонт у нас со всех сторон, будем плавать зигзагами и так или иначе до Лимонии доберемся».

Ему говорят, да куда же мы доберемся, если уже и припасы кончаются. Все, что у мужиков отобрано, поедем.

А ничего, говорит, кукурузу на палубе посадим, будем кушать мамалыгу. Взялись с песнями за работу.

Песни пели примерно такие:

Наши воды глубоки,
И дороги далеки,
Но идем мы все тем же путем.
Разведем кукурузу,
Будем кушать от пуза,
А в Лимонию все же попадем.

Насадил вездe кукурузу. И на верхней палубе, и на нижней, и на носу, и на корме. Выросла кукуруза большая-пребольшая. Такая большая, что сквозь нее уже никакого и горизонта не видно. Правда, выросли одни стебли. Но когда они молочно-восковой спелости, их тоже есть можно. Коровы, во всяком случае, их едят очень даже охотно. Но поскольку на пароходе коров давно уже не было, пассажиры сами стали той кукурузой питаться. А напивавшись, устроили бунт и самого капитана акулам скинули.

Появился на мостике новый капитан — брови широкие, взгляд орлиный, сам из себя красавец. Этот оказался не волюнтарист. Он кукурузу на палубе не сажал и зигзагов велел никаких больше не делать. И пар приказал немного сбросить, поскольку за горизонтом, ясно, уже ничего, кроме горизонта, не будет.

Его спрашивают: «Когда же будет Лимония?» Он говорит, скоро будет, а давайте, не дожидаясь ее, начнем развлекаться». «А как, — спрашивают, — развлекаться?» «А давайте будем праздники праздновать». «А какие, — спрашивают, — праздники?» «А всякие, — говорит. — Годовщины нашего отплытия и мои дни рождения. А еще, — говорит, — давайте, вы будете награждать меня разными орденами и хлопать в ладоши, а я буду плакать».

Надо сказать, что этот капитан был изобретательный. Люди награждали его орденами, хлопали в ладоши, он плакал и все еще чего-то придумывал. «А теперь, — говорит, — давайте вы будете называть меня не капитаном, а адмиралом. А теперь, давайте, я буду писать книги, а вы будете их изучать и конспектировать».

«Давайте», — говорят.

Написал адмирал для начала первую книгу воспоминаний под названием «Как я учился плавать». Он написал, а команда и пассажиры стали изучать и конспектировать, про Лимонию уже даже не думая. Уголь к тому

времени, в общем-то, кончился, котлы остыли, команда и пассажиры никуда не плывут, изучают адмиральскую книгу «Как я учился плавать». Книга оказалась гениальная и заслуживала всяческих наград. Ну, и награждали Адмирала. Прочтут страничку, Адмиралу медаль, прочтут главу — орден. За всю книгу присвоили ему звание Героя Черного моря. Ему понравилось. Написал он второй том воспоминаний «Как я научился плавать». Потом дальше пошло: «Как я стал капитаном», «Как я стал адмиралом». Взялись ему навешивать ордена и присваивать звания одного за другим. Стал он Герой Белого моря, Герой Красного моря, Герой Балтийского моря и Герой четырех океанов. Потом решили ему присвоить звание Классика мировой литературы тоже с вручением специального ордена. И когда ему последний орден вручили, он вдруг, не выдержав всей навешанной на него тяжести, рухнул и так и остался заваленный орденами.

После Адмирала другие люди взялись за управление кораблем. Ну, двое из них сразу померли, о них говорить нечего.

Наконец появился на мостике человек уже из нового поколения. Который не то, что Лимонии, а и обыкновенной земли не видал, потому что родился уже на корабле. Этот скромным оказался. Адмиралом меня, говорит, не зовите, я всего-навсего капитан. И орденов тоже не давайте, я их покуда не заслужил. И вообще давайте, если уж не до Лимонии, то хоть до чего-нибудь доплывем. Потому как забрались мы далеко и если не выберемся, то в конце концов все потопнем. А не потопнем, то помрем с голоду или от жажды. Так что давайте опять разводить огонь и нагревать котлы. Угля, конечно, у нас уже почти нету, но можно подтапливать адмиральскими книжками — вообще, — говорит, — давайте отнесемся к нашему прошлому критически. Все капитаны у нас были дураки, кроме первого. Тот хотя бы умел лавировать. А нам лавировать уже некогда и негде, никаких рифов нет, а есть сплошная глубина. И надо нам потихоньку плыть обратно. Его тут, конечно, стали спрашивать, куда же обратно и где это обратно находится, если вокруг один горизонт.

А новый капитан говорит: «Надо нам вернуться к старому руководству, которое «Капитал» называется. Надо трогаться в путь и изучать «Капитал». Ну, трону-

лись и изучают, но все бестолку. Потому что в «Капитале» только один путь указан — вперед.

Тем временем пароход, хотя и медленно, но куда-то плывет.

А команда и пассажиры поют новую песню:

Мы все плывем, но все не там,
Где надо по расчетам...
Был умный первый капитан,
Второй был идиотом.
А третий был волонтарист,
Четвертый был мемуарист.
Кем были пятый и шестой .
Чего они хотели,
Увы, ни тот и ни другой
Поведать не успели.
Так как нам быть?
Куда нам плыть?
По-прежнему неясно.
Зато об этом говорить
Теперь мы можем гласно.

СКАЗКА О НЕДОВОЛЬНОМ

Жил-был один человек и всегда чем-то был недоволен. Идет снег, ему не нравится — холодно. Светит солнышко, он недоволен, что жарко. Дождь идет, ему мокро.

Вот такой привередливый человек. Но если бы речь шла только о климате. Так нет же, ему и всякие другие обстоятельства жизни тоже не нравились. То ему горько, то кисло, то жестко, то тесно, женой недоволен, детьми недоволен, самим собой и то недоволен. Мы, конечно, проявили гуманизм, понимание и терпение. Мы его вызывали, мы с ним беседовали по-хорошему, мы надеялись, что он поймет все и осознает. Мы ему говорили: ну, как же тебе не стыдно! Ну, допустим, климат у нас не тот, и жена у тебя неряха, и сын — двоечник, и у самого тебя печень болит, но ты посмотри вокруг, сколько чего хорошего делается. Как преображается жизнь, какие строятся заводы, электростанции и прочие вещи. Говорили мы с ним обо всем этом, а толку — чуть. Все равно всем недоволен, товарищеским нашим советам внимать не хочет, проявляет заносчивость, недоверие к

коллективу, на путь исправления не становится. Пришлось применять более строгие меры. Арестовали его, судили, приговорили к расстрелу.

Конечно, насчет арестов и приговоров мы в свое время допускали некоторые перегибы, отклонения и нарушения. В чем мы впоследствии честно и смело признались. И вернулись к нормам. И хватит об этом. Тем более, что этого недовольного мы не расстреляли, не успели. И даже напротив, в период возвращения к нормам вновь пересмотрели его дело, взвесили обстоятельства, учли его молодость, глупость, политическую незрелость, и, руководствуясь чувством гуманности, решили расстрел заменить лагерным сроком. Отправили на лесоповал бревна пилить.

Казалось бы, радоваться человек должен, испытать чувство благодарности, оценить наш гуманный подход. А он опять недоволен. Климат, говорит, суровый, срок большой, бревна толстые, а пайка тонкая.

Мы опять проявили понимание, терпение, гуманизм. Погоду не улучшили, но срок скостили, норму по бревнам снизили, а пайку увеличили. А он все недоволен.

В период второго возвращения к нормам заменили ему лагерь ссылкой. С лесоповала перевели на лесопилку. Казалось бы, совсем стало хорошо. Ни тебе заборов, ни конвоиров, ни собак. Только и делов-то, что ходить на лесопилку да в милиции по вечерам отмечаться и из дому позже восьми вечера не отлучаться. Разве это не гуманно? А он, что вы думаете? Опять недоволен. На лесопилку ходить не хочет, в милиции — трудно, что ли? — отмечаться не желает и по вечерам дома сидеть ему тоже не нравится. За такую капризность его следовало бы наказать, но, руководствуясь чувствами собственного человеколюбия, мы в процессе третьего возвращения к нормам уж даже на такую крайнюю меру пошли, что вовсе от наказания его освободили. Живи, где хочешь (за исключением, понятно, столиц, областных центров, больших городов и городов-героев). Теперь он сторожем на складе лесопиломатериалов работает, зарплату получает восемьдесят рублей, комнату ему дали в полуподвале рядом с котельной, а в нем опять никакой благодарности, а напротив, сплошное недовольство. Вот какой трудный, неуживчивый человек. Сколько для него ни старайся, сколько ни угодь, он все равно недоволен.

МЫ ЛУЧШЕ ВСЕХ

В некотором царстве, в некотором государстве жили-были мы, и мы были лучше всех. Вернее, сначала мы были такие, как все. Вечером ложились, утром вставали, весной сеяли, осенью собирали, зиму на печи проводили, детей зачинали.

Но однажды мы решили, что мы лучше всех. Скинули царя, поставили председателя, стало у нас не царство, а председательство. Председатель согнал нас на митинг: «Отныне, — говорит, — товарищи, мы лучше всех. Кто за? Кто против? Кто воздержался?»

Сначала были такие, которые против — их, понятно, уволокли. На мыло. Потом уволокли воздержавшихся. Назначили новое голосование. Кто за то, что мы лучше всех? Мы стали в ладоши хлопать.

— Позвольте, — говорит председатель, — ваши аплодисменты считать одобрением предыдущих аплодисментов.

Мы ему в ответ выдали бурные аплодисменты.

Позвольте ваши бурные аплодисменты считать одобрением продолжительных.

Тут мы и вовсе впали в раж и в овации.

Да здравствует председатель, да здравствует председательство, да здравствуем мы, которые лучше всех! Кричим, плачем, руками плещем, на ладонях мозоли такие набили, хоть гвозди без молотка заколачивай. Гвозди, однако, заколачивать некогда, надо же заседать на собраниях, выступать на митингах, помахивать ручками на демонстрациях.

Тут надо несколько слов сказать о наших обязательствах. Мы, конечно, и так уже были лучше всех, но, собираясь между собой, брали на себя обязательство быть еще лучше. Один, скажем, говорит: «Беру на себя обязательство стать лучше на шесть процентов». Аплодисменты. Другой обещает быть лучше на четырнадцать процентов. Продолжительные аплодисменты. Третий говорит: «А я беру обязательство стать лучше на двести процентов». Ему, конечно, самые бурные аплодисменты и звание «лучший из лучших». Но не самый лучший, потому что самым лучшим у нас завсегда был наш председатель.

А вокруг нас другие люди живут. Раньше они считались такими, как мы, но с тех пор, как мы стали лучше

всех, они, понятно, стали всех хуже. Ну, и в самом деле. Живут скучно, по старинке. Вечером ложатся, утром встают, весной сеют, осенью собирают, зиму на печи проводят, детей зачинают, в свободное время пряники жуют. Обыватели, одним словом. А мы живем весело. На работу ходим колоннами. С песнями и знаменами. Лозунги произносим: выполним, перевыполним, станем даже лучше самих себя. А планы у нас серьезные, планы у нас грандиозные. Накопаем каналов, просверлим в земном шаре сквозную дыру, соединимся с Луной при помощи канатной дороги, растопим Ледовитый океан, а Антарктиду засеем овсом. И тогда уж станем настолько лучше всех, что даже страшно.

Постоянно улучшаться очень помогали нам наши философы, писатели, поэты и композиторы. Философы создали передовую теорию всехлучшизма, теорию всем понятную и доступную: «Мы лучше всех, потому что мы лучше всех!» Писатели написали много романов о том, как просто лучшее побеждает менее лучшее, а затем уступает дорогу еще более лучшему. Поэты и композиторы на эту же тему сочинили немало песен, которые помогали нам достичь небывалых высот всехлучшизма. Высот мы достигли, но всех планов все же не выполнили. Землю сверлили, недосверлили, канат тянули, не дотянули, льды топили, не растопили, а овес в Антарктиде еще не взошел. Но наворочали много. Мы бы еще больше наворочали, но голод не тетка. Эти-то, которые хуже всех, они свое наработали, сидят, пряники жуют с маслом. Мы на них смотрим с презрением, как на бескрылых таких обывателей, а кушать, однако, хочется.

Собрал нас председатель: «Мы, — говорит, — хотя и лучше всех, но в пути немного затормозились. А чтобы стать нам еще лучше, надо, говорит, догнать и перегнать тех, которые хуже всех». Ну, стали перегонять. Те, которые хуже всех, зимой еще греются на печи да детей зачинают, а мы уже на поля вышли с песнями да знаменами. Они ждут милостей от природы, когда весна сама к ним в гости придет, когда солнышко пригреет, и только тогда идут сеять, а мы дожидаться не стали и по снегу все засеяли и этих, которые хуже всех, враз догнали и перегнали. Эти, которые хуже, по осени еще на полях ковыряются, урожай собирают, а у нас уже все готово и собирать нечего. Опять зима наступила, эти пряники жуют, а мы лапу сосем как медведи. Лапа, как

известно, продукт диетический. Ни диабета, ни холестерина, ни солей, ни жировых отложений. При таком питании мозг отлично работает, все время одну и ту же мысль вырабатывает: где бы чего поесть? А поскольку поесть в общем-то нечего, то мозг еще лучше работает, и стала возникать в нем такая мысль, что, может быть, мы лучше всех тем, что мы хуже всех. И мысль эта уже распространяется, проникает и внедряется в наши массы. Мы лучше всех тем, что мы хуже всех. И хотя на митингах и собраниях мы все еще говорим, что мы лучше всех, но между митингами и собраниями думаем, что мы всех хуже. Иногда среди нас попадаются разные смутьяны, которые хотят нас принизить и оскорбить, намекая на то, что мы не лучше всех, и не хуже всех, а такие, как все. А мы до поры до времени это терпим, но долго терпеть не будем, уволокем их на мыло. Потому что мы всегда готовы быть лучше всех, в крайнем случае сойдемся на том, что мы хуже всех, а вот быть такими, как все, мы, нет, не согласны.

ВТОРАЯ СКАЗКА О ПАРОХОДЕ

Ну вот, детки. Сказку о пароходе, который плыл семьдесят лет не туда, вы уже слышали. Теперь он плывет туда, это вы уже тоже знаете. Знаете и про нового капитана. А как он взялся за дело, этого вы не знаете, а чтобы вы узнали, пришлось написать мне вторую сказку о пароходе. А дело было так. Как сменил новый капитан предыдущего, сразу вызвал к себе в каюту всех членов высшего корабельного совета, в который входят первый помощник по политчасти — перпом, старший помощник — старпом, старший механик — стармех, штурман, лоцман, боцман, главный кок и помощник капитана по корабельной безопасности — помкорбез.

Пришли они, расселись на мягких диванах, капитан говорит:

— Докладывайте.

Первым стал докладывать первый помощник.

— По моей политической части, — говорит, — все у нас хорошо, экипаж и пассажиры прилежно изучают историю движения нашего парохода, ведут конспекты, подтягивают отстающих, проявляют высокую сознатель-

ность и беззаветную преданность. Это все, так сказать, в общих чертах.

— А если не в общих чертах? — спрашивает капитан.

— Если не в общих, то надо признать, что имеются отдельные недостатки. Изучая историю, команда и пассажиры бурчат, что пароход идет не туда, что все продукты достаются высшему корсовету. Есть тенденция к ношению широких штанов и длинных причесок, к западным танцам и музыке рок, распространяются политически вредные анекдоты и имеются намерения к бегству. Некоторые прямо так и говорят: как только дойдем до ближайшего порта, так мы тью-тью.

— Ха-ха, тью-тью, — сказал штурман, — до ближайшего порта дойдем нескоро.

— А некоторые, — возразил перпом, — никакого порта не дожидаясь, крадут шлюпки или даже кидаются за борт без ничего.

— А ты что скажешь? — спросил капитан и обратил свое внимание на комкорбеза, который сидел и подробно записывал, кто чего говорит и кто чего думает.

— А скажу так, — сообщил комкорбез, — что в целом доклад перпома следует одобрить как откровенный и деловой, но надо заметить также и то, что нездоровые настроения среди членов команды и пассажиров имеют свою положительную сторону, поскольку способствуют эффективной работе корбезопасности.

— А у тебя что? — капитан повернулся к старпому.

— У меня полный порядок.

— А конкретно?

— А конкретно — борта нашего судна проржавели, в определенных местах имеются течи, и вода поступает внутрь корабля.

— Но с этим, — сказал капитан, — я полагаю, ведется борьба и вода откачивается.

— Борьба ведется, — согласился старпом, — но вода не откачивается, поскольку имевшаяся на борту корабельная помпа переделана в аппарат для самогонварения, а брезентовые шланги порезаны на рукавицы. С течью боремся посредством затыкания.

— Что используете в качестве затыкательного материала?

— В качестве затыкательного материала используем живую силу, то есть нашу прекрасную молодежь.

— Ну, и как?

— В прошлом наша прекрасная молодежь представляла собой прекрасный затыкательный материал и с энтузиазмом затыкала собою все дырки. Теперь же, когда ее посылают затыкать, она ответно посылает...

— Понятно, — прервал капитан, — а что у нас в машинном отделении происходит?

— В машинном отделении все хорошо, — доложил стармех. — Угля нет, котлы топим книжками предыдущего комсостава. Три машины из четырех не работают, зато являются бесценным источником запасных частей для четвертой машины, если их конечно, по дороге не разворуют.

— Ну, чтоб не разворовали, надо поставить охрану, — заметил перпом.

— Ни в коем случае, — возразил штурман. — Если поставить охрану, то она тоже начнет воровать, потому что и охранникам жить как-то нужно.

— Ну, а по твоей части что у нас? — обратился капитан к штурману.

— По моей части полный порядок, — доложил штурман. — Корабль идет точно выверенным правильным курсом в неправильном направлении.

— А правильным курсом в правильном направлении можно идти?

— Никак нет, поскольку все карты предыдущим руководством были утоплены, компас разбит, секстант продан и пропит.

— Предыдущим руководством? — спросил капитан.

Штурман вопроса не расслышал, а помкорбез сделал какую-то пометку в блокноте.

Спросили, как дела у лоцмана, выяснилось, что хорошо.

— Когда начнем тонуть, глубины хватит, — пообещал тот.

У боцмана тоже все шло неплохо: палубы и всякие железки на корабле, ботинки и пуговицы у матросов надраены, люки, наоборот, задраены, но дисциплина хромает, потому что у команды уже нет никакого страха.

По этому поводу был спрошен опять помкорбез, который некоторые упущения по части страха свалил на перпома.

— Сам по себе страх без политико-воспитательной работы нужного эффекта не дает, хотя мы со своей сто-

роны делаем все, что можно. За последний отчетный период нами разоблачены и изолированы в трюме четыре машиниста, один буфетчик, два вахтенных матроса и один пассажир.

— А за что пассажир?

— За то, что пел враждебные песни. Раньше мы какие песни пели? Раньше мы пели песни оптимистические. «Плывем мы правильным путем и нет пути исконнее...» Такие песни мы пели. А тут я иду мимо и слышу, этот поет что-то ужасное. Тут все свои, и я позволю себе исполнить... Он пел:

Здравствуй, Ваня, здравствуй, Маня,
Я — казанский сирота.
Ни папани, ни мамани
Не имею ни черта.

— А ничего! — сказал капитан. — Неплохо.

Лоцман хотел даже списать слова, но помкорбез не посоветовал.

— Это начало еще можно терпеть, — сказал он, — оно просто незрелое и ни к чему не зовет. Но дальше-то совсем плохо.

— А что плохо? — спросил с интересом лоцман, надеясь если не записать, то хотя бы запомнить.

— А вот что плохо, — ответил помкорбез и пропел:

Заблудившись в океане,
Ох, до суши не дойдешь.
Нет папани, нет мамани,
И меня не станет тож.

— Да, — вздохнул перпом, — типичный пример упаднических настроений. С такими настроениями далеко не уплывешь.

— Ну, что ж, товарищи, — вмешался опять капитан. — Дело ясное. Значит, дела у нас обстоят таким образом. С курса мы сбились, и, куда идем, неизвестно. Корпус проржавел, дает течи, затыкать их нечем и некем, поскольку народ разуверился и ничего собой затыкать больше не хочет. Три машины из четырех не работают, а четвертую, кроме капитанских книжек, топить нечем. Можно пустить на топку всякие лишние мачты, палубные доски и пароходную мебель, но этого топлива нам хватит только, если мы будем идти исключительно правильным курсом и в правильном направлении, кото-

рого мы не знаем. Если мы будем идти неправильным путем и в неправильном направлении, то в конце концов всякое топливо кончится, течи будет все больше и больше и мы непременно потопнем.

— Как пить дать потопнем, — подтвердил лоцман.

— Кстати, насчет питья, — сказал капитан и посмотрел на боцмана.

— Без питья-то жить можно, — заметил боцман. — А вот без питания труднее.

— Кстати, что насчет питания? — капитан повернулся к главкоку.

Главкок поднялся, стянул с головы колпак и доложил, что, хотя перебой с питанием действительно имеют место, для высшего корсостава продуктов на определенный неопределенный период пока хватит.

— Ну, а остальные пусть питаются, как хотят, — беспечно заметил штурман.

— Это будет большая политическая ошибка, — возразил перпом. — Если мы не будем кормить команду, она перемерет, а сами мы корабль до места не доведем и потопнем. Если мы не будем кормить пассажиров, они взбунтуются и выкинут нас за борт акулам.

— Есть, есть идея! — закричал лоцман.

Все повернулись к нему.

— Идея такая, — сказал лоцман. — Мы снимаем ночью все шлюпки, грузим на них остатки продовольствия и пресной воды, садимся сами и...

— И-и! — передразнил помкорбез. — Шлюпок-то давно нету. Украдены.

— Как? Все украдены или частично? — спросил капитан.

— Крались частично, а украдены все, — смущенно признал помкорбез.

— Ничего себе! — Капитан даже присвистнул. — А куда же смотрели твои молодцы?

— А мои молодцы как раз первые и смотрели, как бы эти шлюпки украсть и удрать, — пролепетал помкорбез и смутился совсем.

— Ну, и хорошо, — сказал капитан. — Так даже лучше. Шлюпок нет, бежать не на чем, значит, будем вести наш пароход дальше. Во избежание усиления недовольства команды и пассажиров часть продуктов из нашего камбуза надо передать им.

— Категорически возражаю! — вскочил замполит.

И, заикаясь от волнения, объяснил, что он лично согласен на любые изменения курса и на любые лишения, но ухудшение питания высшего корсостава будет идеологической, политической, тактической и стратегической ошибкой. — Мы с вами, — продолжил он, — хорошо знаем, что бытие определяет сознание. Если мы поделимся продуктами с другими и тем самым ухудшим наше бытие, то тогда и наше сознание тоже ухудшится. А с плохим сознанием мы не сможем вести наш корабль правильным курсом и в правильном направлении.

— Это верно, — вздохнул лоцман.

— Но народ-то чем-то кормить все же надо, — возразил боцман.

— А вот раз наш боцман такой сознательный, — сказал помкорбез, — давайте его отстраним от нашего камбуза, а его спецпак распределим поровну между командой и пассажирами. Таким образом народ успокоим и проведем идеологический эксперимент: посмотрим, как будет ухудшаться сознание боцмана.

Боцман, понятно, пожалел, что оказался таким правдолюбом, но возражать было уже бесполезно, потому что его из каюты вывели. И стали выработать окончательное решение. Споров было много. Один говорит, надо идти задом наперед, другой предлагает идти передом назад. Приняли компромиссное решение идти левым боком в правую сторону. После чего вышли уже к команде и пассажирам. Собрали всех на верхней палубе, поставили стол президиума. Члены капитанского совета все, кроме боцмана, сели за стол, боцману нашлось место в заднем ряду, а капитан вышел к трибуне и говорит:

— Уважаемые члены команды, пассажиры и пассажирки! Как вам известно, семьдесят лет назад мы вышли из пункта А с целью прибытия в пункт Б, но затем резко изменили курс и направились в страну Лимонию, где растут лимоны и текут молочные реки с кисель-берегами. Мы должны признать, что заветного берега мы еще не достигли. Для этого были объективные причины. У нас были враги, которые постоянно сбивали нас с курса. Мы сбивались потому, что шли неизведанным путем, не имея при себе ни карт, ни лоций и, вообще-то говоря, не имея точного представления, где находится страна Лимония и существует ли она вообще. Возможно, было ошибкой избирать водный путь, проще было бы

добираться по суше. В пути нам встретились туманы, бури, штормы, подводные рифы и надводные айсберги. Наши люди героически преодолевали трудности. Мы должны вспомнить подвиги наших матросов, вахтенных, механиков и кочегаров. Они трудились в поте лица, иногда даже сами сгорая в топках, затыкая своими телами пробойны, падая за борт, попадая в пищу акулам. Были определенные ошибки и со стороны прежнего руководства. Оно не прислушивалось к трезвым голосам, указывавшим на неправильность направления. Оторвавшись от основной массы, оно поедало больше продуктов, чем нужно. С этим мы решили покончить, теперь к голосам прислушиваться будем. Кроме того, часть продуктов, предназначенных для питания высшего корсостава, теперь в порядке эксперимента будет распределена между всеми.

— Правильно! — закричала дружно команда.

— Правильно! — закричали пассажиры.

— Неправильно! — хотел крикнуть боцман, сидя в заднем ряду, но, увидев показанный ему кулак помкорбеза, промолчал.

— Кроме того, — продолжал капитан, — мы решили значительно улучшить условия вашего бытия, сделав его более свободным и радостным. Отныне снимаются всякие ограничения на ширину брюк и длину волос, разрешается малевать абстрактные картины, петь безыдейные песни и танцевать танцы, которые прежде считались враждебными. Кроме того, разрешается критиковать руководителей нашего рейса на любом уровне, вплоть до боцмана.

— А бить его можно? — прокричал кто-то из команды.

— Нет, товарищи, бить нельзя. Для битья у нас есть и продолжает эффективно действовать наша прекрасная и закаленная в пути служба корбезопасности. Если вы кого-то хотите побить, подайте заявление в письменной форме, оно будет рассмотрено. Но, товарищи, представляя вам такие большие свободы, высший корсовет рассчитывает, что вы все будете проявлять большую сознательность, все до одного будете способствовать нашему движению вперед. У нас не должно больше быть пассажиров, которые слоняются по палубам, смотрят вдаль или на корме забивают козла. Все теперь будут членами команды, все должны что-то делать. Одни,

скажем, пишут книжки, другие их собирают, третьи топят ими котлы, четвертые изыскивают для топки всякие ненужные деревянные вещи. Кому совсем нечего делать, пусть сядут на весла. А тем, у кого и весел нет, можно взять простыни или одеяла, сделать из них паруса и дуть в них. Таким образом каждый человек сможет вносить посильный вклад в наше движение. Ну, а в свободное от работы время мы не возражаем против разведения на палубах огородов и развития мелких ремесел.

Речь капитана была встречена бурными аплодисментами, а затем напечатана в бортовой газете «Всегда на вахте». Правда, напечатана была не полностью, с некоторыми сокращениями. Указания на негативные явления в прошлом из статьи капитана были выброшены, но вставлены в статью первого помощника. «Негативные явления, — написал перпом, — играли в нашей жизни положительную роль. И в негативные времена мы позитивно трудились и пели веселые песни. Сейчас мы много и смело говорим о том, что иногда порой сворачивали с правильного пути на неправильный. Да, это так, и мы признаем это со всем свойственным нам мужеством. Но, говоря об этих негативных и многократно осужденных нами явлениях, мы не должны забывать главного, что и неправильным путем мы шли в правильном направлении. Конечно, товарищи, у нас и сейчас есть еще некоторые недостатки, которые нужно устранить, но торопиться не следует. Это было бы недальновидно. Если мы сейчас устраним все недостатки, то тем, кто придет после нас, нечего будет исправлять».

Конечно, такие выступления капитана и первого помощника не остаются без внимания, все замечают, что вопросы ставятся остро и совершенно по-новому. Разговоры об этом идут на мостике, в каюткомпании, в матросских кубриках, в пассажирских каютах и на всех палубах. На палубы повылазила дикая молодежь — хиппи, панки, люберы и металлисты. Поют всякие неформальные песни без слов, без музыки, но с криком.

Помкорбез по пароходу прогуливается, к разговорам и крикам прислушивается, но сам при этом не говорит, только похлопывает себя по кобуре. Тем временем пароход продолжает идти отчасти задом наперед, отчасти передом назад, отчасти левым боком в правую сторону, отчасти правым в левую, но зато в совершенно правильном направлении. Конечно, среди плывущих имеются

разногласия. Одни все еще надеются доплыть до страны Лимонии, другие согласны доплыть до чего попало, третьи, которые ближе к камбузу, вообще никуда плыть не хотят, им и здесь хорошо. В результате этого разнобоя получается так. Капитан во весь голос командует: «Полный вперед!» Первый помощник вполголоса поправляет: «Малый назад!» Штурман крутит компас вправо, рулевой вращает штурвал влево, впередсмотрящий глядит назад, кочегары подбрасывают уголь, вахтенные через трубу заливают топку водой, пассажиры взмахивают веслами, но гребут в разные стороны, кто-то сверлит в корпусе дыры, кто-то их затыкает. А есть и такие, которые из собранного якобы на топку дерева строят шлюпки. А есть даже и такие, которые по ночам сигают за борт и пускаются вплавь без ничего, считая, что лучше потопнуть или быть съеденными акулами, чем плыть дальше на этом пароходе в любом направлении. Хоть в правильном, хоть в неправильном.

НОВАЯ СКАЗКА О ГОЛОМ КОРОЛЕ

В некотором царстве или, точнее сказать, королевстве жил-был король. Тот самый, которого до меня уже описал Ганс Христиан Андерсен. Тот король, который ходил голый. Долго, между прочим, ходил. Уже и Андерсена, который его придумал, не стало, а король все ходит и ходит. И все голый. Из года в год король ходит голый, а вся королевская рать ходит за ним и твердит, что у нашего короля новое платье. Замечательное платье. Лучше всех. Ни у какого другого короля во всем мире нет подобного этому платью. Именно другие короли ходят совсем голые или, в лучшем случае, в каких-нибудь обносках, которые вот-вот с них спадут.

А наш король разодет, как куколка.

Все жители королевства это знали и подтверждали это при каждом удобном случае. В определенные дни и в неопределенные тоже подданные его величества сходились на митингах и собраниях, выходили на демонстрации, выражая единодушное восхищение платьем своего любимого монарха. И хотя само это платье было выше всяких похвал, народ того королевства торжест-

венно обещал, что скоро-скоро королю будет сшито платье еще лучше этого.

Конечно, в семье не без урода, и среди жителей королевства попадались такие личности, которые находили, что платье короля не совсем хорошее, что король, говоря другими словами, в общем-то мог бы быть одет и получше. Страже и тайной королевской полиции против таких клеветников приходилось принимать определенные меры воспитательного характера. Кого в кандалы закуют, кого засекут кнутами, кого на кол посадят, каждому, как говорится, свое.

Несмотря на столь суровые вынужденные меры, подобные преступления полностью изжить все же не удавалось.

Иной раз кажется, всюду уж тишь да гладь и народ поголовно и полностью восхищен платьем своего короля, как откуда ни возмись, появляется некий глупый мальчик и не своим голосом вопит: «А король-то голый!»

Начитавшись Андерсена, мальчик, конечно, воображает, что, как только он это выкрикнет, народ тоже смекнет, что к чему, и заметит, что король, действительно, гол. И все скажут: «Спасибо тебе, мальчик, спасибо, дорогой, спасибо, умница, что подсказал, мы-то сами не видели». И даже найдется еще какой-нибудь Андерсен, который про него сказку напишет. Мальчик не знал, что королевство живет по сказкам не Андерсена, а дедушки Карлы Марлы, а в этих сказках всякие глупые возгласы насчет голости короля приравняются... как бы это сказать... к террору.

Стоило мальчику что-нибудь такое воскликнуть, как королевская стража тут же его хватала и уволакивала, а народ расходился, про себя бормоча: «Сам виноват, не надо чего зря болтать языком. Подумаешь, Америку открыл: король голый! Ясно, что голый, все знают, что голый, но кричать-то зачем?»

Следует отметить, что строгие меры приводили к положительным результатам, со временем количество таких глупых мальчиков постепенно, в общем-то, убавлялось. Одним родители загодя пороли, другие сами без порки умнели. И, поумнев, начинали понимать, что выражать свои мысли можно по-разному. Можно опасным, а можно совсем безопасным образом. Можно кричать, что король гол, имея в виду, что он гол. А можно, имея

в виду то же самое, кричать, что король распрекрасно одет.

В результате в этом королевстве развилось очень высочайшее искусство наоборотного понимания. Иногда даже понимания с юмором. То есть, один житель королевства встречал другого и говорил: «Вы видели, какое сегодня замечательное платье у короля?» Другой немедленно хватался за живот и хохотал до упаду, понимая, что речь идет о том, что у короля вообще никакого платья нет. «Да-да-да, конечно, я обратил внимание, — отвечал другой, давясь от смеха. — Причем мне кажется, что сегодня на нем было платье еще лучше вчерашнего». После чего от смеха давились оба.

Нельзя не отметить того, что и литература в королевстве тоже развилась необычная. Там были писатели правоухосторонние, которые писали через правое ухо. Правоухосторонние писатели, допустим, писали так: «В нашем королевстве и далеко за его пределами, и на всем белом свете все знают, что лучшее в мире платье носит наш любимый король». Люди, читая такие слова, мысленно возмущались, мысленно говорили: «Какая ложь!» — и выкидывали эти книги немедленно на помойку. Выкидывали, впрочем, тоже, в основном, мысленно. Лево-же-ухосторонние писали то же самое, иногда слово в слово и даже с теми же точками и запятыми, но имели в виду совершенно противоположное. И люди, читая те же слова, надрывались от смеха, а потом текст передавали из рук в руки, переписывали, а то даже заучивали наизусть. Со временем разница между писателями левоухосторонними и правоухосторонними в значительной мере стерлась. Настолько стерлась, что многие современные специалисты, читая книги, никак не могут понять, что именно левоухосторонние сочинители отличались от правоухосторонних. Тем более что, как известно, в свое время правоухосторонние из тактических соображений иногда выдавали себя за левоухосторонних, а левоухосторонние успешно делали вид, что они правоухосторонние.

Иностранцы, бывая порой в том королевстве, потом сообщали в своих газетах и очень удивлялись тому, насколько глубоко наоборотное понимание проникло в сознание каждого жителя королевства. И все началось именно с королевского платья. С тех пор, когда стало считаться, что тот, кто хвалит королевское платье, гово-

рит правду, а кто говорит, что платья нет, — лжет. В конце концов люди стали называть черное белым, горькое сладким, сухое мокрым, плохое хорошим и левое правым, а правое — левым. И в конце концов все перепуталось до невозможности. Если человеку говорили, что на улице очень тепло, он надевал шубу. Если говорили, что холодно, он, наоборот, раздевался, почти как король. Если ему про какую-то еду говорили, что это очень вкусно, он ее не трогал, опасаясь, что его от нее стошнит.

Тем временем время шло, в королевстве ничего не менялось, и король как ходил по улицам в чем королева его родила, так и ходил, постепенно старея. Или, в переводе на местный язык, быстро молодея. А чем больше он старел, то есть молодея, тем больше отсутствие платья сказывалось на королевском здоровье. Здоровье его все время ухудшалось, то есть, говоря по-тамашнему, наоборот, улучшалось. Улучшалось так, что то насморк у него, то грипп, то воспаление легких, того и гляди, загнетя. То есть, наоборот, разогнетя.

В конце концов, собрались королевские министры на закрытый совет министров и стали думать, что делать. Первый министр говорил так.

Конечно, у нашего короля очень хорошее платье, очень элегантное платье, но в виду течения возраста в обратную сторону и наступления время от времени временных похолоданий, то бишь потеплений, я предлагаю сшить королю совсем новое платье и надевать его поверх старого нового платья, пусть новое новое будет не столь элегантно, как старое новое, но чтобы в нем все же королю было холодно, то есть тепло. Министр идеологии говорит: нет, так дело не пойдет, если мы сошьем королю новое новое платье, то народ, увидев его, решит, что старое новое платье было вовсе не платье, то есть это было даже совсем ничто, то есть король, скажут, был просто гол. Поэтому я предлагаю никакого нового платья не шить. Министр хлопчатобумажной промышленности говорит: тем более, что для нового платья у нас в королевстве слишком много хлопка и слишком много бумаги, иначе говоря, ни того, ни другого нет. Министр королевской тайной полиции ничего не говорит, только что-то записывает, у него-то бумага есть.

Думали-думали и решили примерно так, что столь замечательное, то есть бедственное положение в коро-

левстве сложилось потому, что мы слишком много говорили правды, то есть, конечно, вдали. А теперь будем не слишком. Давайте, говорят, вернемся к исконным понятиям и черное будем называть, ну, если не сразу черным, то для начала, может быть, синим, а потом даже серым. А правду будем называть правдой или почти правдой, или правдой в значительной степени, а про ложь скажем, что она не всегда отражает то, что видит, правдиво, порой отражает не совсем правдиво, иногда даже неправдиво совсем.

Так порешили министры и объявили свое решение народу.

Оживилось королевство. Люди так устали от правды, которая наоборот, что, как только им разрешили, все наперебой кинулись говорить правду, которая правда. Кинулись-то кинулись, а не могут. Рты пораскрывали, а языки, хоть и без костей, не ворочаются, липнут то к верхнему небу, то к нижнему. Привыкли все говорить наоборот, а не наоборот не привыкли. Но люди стали все же учиться и тренировать свои языки, приучая их к правде. И вот ораторы выступают, газетчики пишут, что в результате определенных негативных тенденций в последние двадцать лет король наш одет не очень-то хорошо. Раньше мы, мол, писали и утверждали, что король наш одет лучше всех, но это не совсем так.

Понятно, вскоре наметился в выступлениях разноречивой. Одни говорят, ну зачем уж так, наш король и раньше был одет распрекрасно, и сейчас он наряжен не плохо. Ну, может быть, какой-то небольшой непорядок в его одежде бывает, но это может случиться со всеми. А если даже случался большой непорядок, то зачем же об этом вспоминать и бросать тень на нашего короля?

Другие, конечно, были критичнее. Нет, говорят, мы должны сказать правду, мы должны сказать полную правду. Король наш одет недостаточно, он, можно даже сказать, почти совсем не одет. И, между прочим, люди говорили все это совершенно свободно, никакая стража их не хватала, да и вообще никакой стражи видно не было, не считая, естественно, секретных агентов, — тех было видно, но трудно было узнать, поскольку они делали вид, что они тоже такие же люди, как мы.

Граждане королевства продолжали обсуждать недостатки королевской одежды и изъяны в ее покрое, а король ходил между ними и проклинал их, как мог. Он

был уже старый, он мерз, дрожал от холода, у него были насморк, грипп и воспаление легких одновременно. Ему хотелось, чтобы кто-нибудь из людей заметил, что он совершенно гол, чтобы появился хотя бы какой-нибудь глупый мальчик, но мальчиков глупых давно уже не было, все были умные и готовы были в крайнем случае обсуждать качество королевской одежды, но не ее отсутствие.

И тогда король не выдержал и сам закричал на всю Дворцовую площадь:

— Король голый! Голый! Голый!

При этих криках в народе произошел некий переполох. Одни очень перепугались. Другие сразу низко потупились и поспешили уйти с Дворцовой площади подалее от греха, боясь, что запишут в свидетели. Секретные агенты и невесть откуда возникшая тут же стража кинулись вязать бунтовщика, думая, что это опять какой-нибудь глупый мальчик. Но увидев, что это не глупый мальчик, а сам король, растерялись и не знали, что делать.

А тут как раз появился глупый мальчик.

— Король голый! — закричал он. — Голый! Голый!

И еще много — десять, двадцать, а может, и сто глупых мальчиков тут появилось, и все стали кричать, что король голый. И стража, видя, что глупых мальчиков так много, тронуть их не решилась. Тем более, что король и сам принародно признал свою голоту.

С тех пор в этом королевстве можно говорить, что хочешь. Даже что король голый. Никто на это не обращает внимания. И ничего из этого не происходит. А король, как ходил, так и ходит голый. Потому что ему все никак не могут сшить новое новое платье. То материалу подходящего нет (а королям из чего попало платья не шьют), то портных достаточно искусных найти не могут (а не искусных для такой важной работы не приглашают). Так он и ходит голый. И говорить об этом можно сколько угодно. Чем люди некоторое время и занимались. Ходили по улицам и кричали что король голый. На демонстрациях носили его голые изображения. На концертах пели о его голости всякие неприличные частушки.

Но в конце концов всем это ужасно наскучило. И сама жизнь в королевстве тоже стала удивительно скучной. Раньше люди получали удовольствие оттого, что ходили смотреть на голого короля. И оттого, что, крича

о его замечательном платье, понимали, что на самом деле никакого такого платья нет. И очень смеялись, передавая друг другу свое впечатление от прекрасного платья короля. И возмущались книжками правоухосторонних писателей, которые писали в прямом смысле, что король хорошо одет. И надрывали животики, читая книжки левоухосторонних писателей, которые писали книжки о том, что король прекрасно одет в совершенно обратном смысле.

И вообще тогда жить было лучше, чем сейчас.

СКАЗКА О ГЛУПОМ ГАЛИЛЕЕ

В некотором царстве, в некотором государстве на некоторой планете, называвшейся, допустим, Земля, жил был некий молодой, подающий надежды и очень умный астроном по имени, скажем, Галилей. Сразу оговорюсь, что наш Галилей сказочный, и его биография с историческим Галилеем совпадает не полностью. Хотя в чем-то все-таки совпадает. Сказочный Галилей жил в государстве, где люди трудились не покладая рук, сеяли хлеб, варили сталь, добывали уголь, пели песни и выступали на митингах. Но он сам песен не пел, от работы отлынивал, от митингов уклонялся и вообще, с государственной точки зрения, занимался совершеннейшей чепухой. Чепуха эта заключалась в том, что Галилей по ночам, пренебрегая, между прочим, супружескими обязанностями, сидел у себя в обсерватории и тарашился неотрывно на звезды через такую трубу, которая называется телескопом. Причем не просто тарашился, а в надежде весь мир удивить и додуматься до того, до чего другие люди без него додуматься не могли. И додумался. И побежал утром к жене. А она как раз только позавтракала и принялась за стирку белья.

— Слушай, дорогая, — кричит ей с порога ученый. — Ты знаешь, какой я умный? Ты знаешь, какое я открытие сделал? Нет, ты не знаешь, ты даже представить себе не можешь! Ты знаешь, я сделал такое открытие, которого даже Птолемей не мог сделать! Я открыл, что Земля наша круглая и вращается, причем очень интересно вращается. Вокруг своей оси вращается и одновременно вращается вокруг Солнца!

Галилей, конечно, думал, что жена, услышав такое,

кинется ему на шею с объятиями, ах, ты, мол, мой умник, мой гений, гениюша, такое открытие совершил! Не зря, скажет, я малой твоей зарплатой удовлетворялась и ночи проводила в сплошном одиночестве. Но ничего подобного наш бедный Галилей не дождался. Жена вместо того, чтобы на шею кидаться и такие слова говорить, бац ему мокрыми кальсонами по мордасам. Ты, мол, мне баки не заливай про верчение Земли и про прочее, я-то знаю, что ты там не на звезды тарашисься, а на свою аспирантку Джульетту.

Вот такие бывают женщины. Им какое открытие ни соверши, они всему норовят дать свое собственное истолкование. Если бы жена Галилея поняла, что он действительно совершил большое открытие, может он, ей об этом сказав, языком дальше трепать не стал бы. А тут он расстроился и пошел, понятное дело, в тратторию. Там, как водится, выпил и на всю тратторию расхвастался, какой он умный, как он открыл, что Земля круглая и вращается, и что сами мы на ней тоже вращаемся, как на карусели, и летим в пространство неизвестно куда. А в траттории народ разный, кто на Галилеевы слова вовсе внимания не обратил, кто посмеялся, вот, мол, до чего человек доклюкался, что такую дурь порет. И там же, естественно, нашелся сексот, который тут же слова астронома на ус намотал и в Святейшую Инквизицию, как тогда выражались, стукнул. В Инквизиции, понятно, такой острый сигнал оставить без внимания никак не могли, и вот получает наш ученый повестку туда-то и туда-то явиться с вещами. Нет, вру, первый раз вызвали его без вещей. Ну, насколько нам известно, настоящему историческому Галилею в Инквизиции показали орудия пыток, после чего он сказал, что Земля не вертится, а потом, выйдя оттуда, изменил свои показания и сказал, что нет, вертится. Но я же пишу не историю, а сказку, и в моей сказке все было совершенно не так. В сказке моей никаких таких пыточных орудий нет. Но есть Главный Инквизитор, человек вежливый и современный. Вот приходит к этому человеку наш астроном, а тот его в своем кабинете встречает, заключает в объятия, хлопает по спине:

— Здравствуйте, — говорит, — Галилей Галилеевич, безумно рад вас видеть! Как здоровье, жена, детишки, все хорошо? Очень за вас рад, не хотите ли кофею?

Принесли им кофею.

— Пожалуйста, — говорит Инквизитор, — угощайтесь, берите молоко, сахар, пряники. Так вот, Галилей Галилеевич, пригласил я вас по делу, можно сказать, совершенно же пустяковому, сейчас мы во всем разберемся и пойдем я к себе домой, вы — к себе.

— А в чем, собственно, дело? — спрашивает Галилей.

— Да и дела-то, собственно, никакого нет, а просто вот поступили в нашу контору от трудящихся сигналы, что будто бы вы проповедуете совершенно нам чуждую, псевдонаучную и во всех отношениях гнилую теорию, будто Земля, как бы это сказать, круглая, наподобие футбольного мяча, и как будто она при этом даже и вертится. Я, конечно, в это нисколько не верю, но сигналы поступают, и мы на них вынуждены реагировать.

— А тут верить или не верить вовсе даже нечего, — отвечает ему Галилей, — дело в том, что Земля, действительно, круглая и, действительно, вертится. Причем, вертится, как бы сказать, двояко: и вокруг себя самой, и вокруг Солнца тоже вращается.

И стал увлеченно рассказывать, каким образом происходит смена дня и ночи и времена года почему тоже меняются.

Товарищ же синьор Главный Инквизитор тем временем вежливо слушает и улыбается. А потом:

— Галилей Галилеевич, — спрашивает, а вы психиатру давно не показывались?

— Простите, не понял, — говорит астроном.

— Ну, послушайте, ну, как же это может быть, чтобы она круглая была и вертелась. Ведь, рассудите сами, если бы она была круглая и вертелась, то мы бы с нее все непременно попадали и полетели неизвестно куда вверх тормашками.

Галилей стал ему, естественно, чего-то там такое насчет магнетизма плести и насчет всемирного тяготения, но Инквизитор только рукой махнул.

— Ладно, — говорит, — идите, подумайте, крепко подумайте и с женой, кстати, посоветуйтесь, она у вас женщина здравомыслящая, она вам объяснит, вертится Земля или не вертится.

Ну, пошел Галилей домой к жене, она как раз шваброй пол протираала.

— Ну, что, — говорит, — опять на звезды смотрел, опять открытия делал? — и, конечно, бац ему шваброю промеж рогов.

Галилей обиделся. И сказал жене, что был на этот раз не в обсерватории, а в Инквизиции, и что ему велели там идти домой и с женой посоветоваться.

Услышав слово «Инквизиция», жена первый раз поняла, что дело серьезное, похуже даже, чем если муж за аспиранткой ухлестывает. И только теперь заинтересовалась мужниным открытием. И стала его подробно расспрашивать, как ему такая нелепица пришла в голову. Он стал ей подробно объяснять.

— Ну, хорошо, — говорит жена, — допустим, ты даже прав и Земля в самом деле вращается. Но тебе-то какая с этого польза?

— Дело не в пользе, — объясняет ей Галилей, — а в том, что это научная истина. А я как ученый отказаться от истины не могу.

Жена видит, дело нешуточное. Драться больше не стала, а стала его уговаривать. Зачем, мол, делать такие открытия, от которых одни только неприятности? Пусть она вращается сколько угодно, а ты себе помалкивай, она от этого своего вращения не прекратит и квадратной не станет.

Тут уж и Галилей рассердился, напыжился и стал произносить всякие возвышенные слова о верности своим принципам и убеждениям, о совести ученого, об ответственности перед грядущими поколениями и так далее в этом духе.

Жена в свою очередь тоже много слов на него потратила. Так и так уговаривала. Обещала даже аспирантку простить и на шашни их смотреть сквозь пальцы. Тюрьмой пугала. Молодостью своей попрекала. Детьми малыми заклинала. А Галилей уперся, как баран, и ни в какую.

Прошло какое-то время. Земля вращалась вокруг своей оси, вокруг Солнца, день сменялся ночью, а лето зимой, время текло, отношения в семье становились все хуже. Да если б только в семье! Постепенно стал замечать Галилей, что на работе к нему начальство все хуже относится, соседи на лестнице не здороваются, друзья не звонят, а при случайной встрече на другую сторону улицы переходят. А аспирантка Джульетта сменила тему своей диссертации и руководителя тоже сменила. Чувствует Галилей, что тучи над ним сгущаются, а ничего поделать не может.

И вот, наконец, приглашают Галилея в Астрономиче-

ское Управление для разбора его персонального дела. Собрались, надо сказать, все светила тогдашней науки, стали разбираться. С кратким вступительным словом выступил Главный Астроном. Так, мол, и так, товарищи синьоры, с некоторых пор в нашем здоровом коллективе стали наблюдаться нездоровые явления. Сотрудник наш синьор Галилей распространяет вокруг себя всякие вредные небылицы о том, что Земля наша, на которой мы с вами живем, трудимся, является всего-навсего неким шаром, который вращается в пространстве вроде волчка. Вот я бы попросил наших ученых мужей тоже высказаться по этому вопросу.

Ну, стали ученые один за другим подходить к микрофону. Как потом было записано в протоколе, они выступали страстно, принципиально, выражая чуткость и озабоченность судьбой их заблудшего коллеги.

Один из выступавших долго говорил о незыблемости основополагающих основ учения Птолемея. Другой осветил международную ситуацию, которая настолько сложна, что любой отход от наших нерушимых научных принципов играет на руку врагу и увеличивает опасность войны. В общей дискуссии приняла участие и Джульетта. Она обратила внимание собравшихся на падение нравов в среде молодежи, где наблюдаются идейные шатания, пацифизм, алкоголизм, наркомания, преклонение перед всем иностранным, а в результате — внебрачные половые связи, разрушение семьи и сокращение рождаемости. Одной из причин такого положения дел Джульетта считала возникновение разных незрелых теорий, вроде теории Галилея.

— Если Земля круглая, — сказала Джульетта, — если она вертится, значит, все дозволено, значит никакой твердой почвы под ногами нет, значит, можно пить, курить, колоться, воровать, убивать, прелюбодействовать.

Еще один ученый напомнил, что государство этого самого Галилея с детства растило, кормило, одевало, обувало и обучало. Но Галилей никакой благодарности, очевидно, не чувствовал, а напротив, снедаемый дьявольским честолюбием и подстрекаемый своими единомышленниками из-за рубежа, все дальше отрывался от коллектива, к мнению товарищей не прислушивался, проявлял признаки зазнайства, высокомерия и вообще считал себя слишком умным.

Еще один астроном по поводу Галилея выразился со-

всем коротко. — Я бы лично таких, с позволения сказать, ученых просто расстреливал, — сказал он и под аплодисменты сошел с трибуны.

Потом опять выступил Главный Астроном.

— Ну, вот, — сказал он, — я рад, что у нас получилось такое оживленное собрание. Выступавшие говорили взволнованно и заинтересованно, они всячески пытались помочь Галилею осознать свои ошибки и заблуждения. Выйдите, гражданин Галилей, на трибуну, наберитесь мужества, признайтесь в своих ошибках, и мы вам все постепенно простим.

Галилей на трибуну вышел, но мужества не набрался. Сначала он, пытаясь увильнуть от ответственности, что-то такое мямлил, что будто о вращении Земли утверждал не из враждебных намерений, а из преданности научной истине. А потом и вообще обнаглел, улыбнулся и сказал:

— Что бы вы тут ни говорили и что бы со мной ни сделали, а все-таки она вертится!

После чего, естественно, терпение у всех лопнуло. Решением общего собрания Галилей из Астрономического Управления был уволен, и к делу его опять приступила Святейшая Инквизиция. В то время суток, когда Земля повернулась к Солнцу другой стороной, а на этой стороне наступила ночь, приехала к Галилею ночью коляска под названием «черный ворон» и увезла его далеко-далеко.

И вот сидит он в тюрьме. Земля тем временем вращается. И все, что на ней есть: поля, деревья, коровы, тюрьмы — все это тоже вращается. Раз в сутки — вокруг земной оси, раз в год — вокруг Солнца. Вращаясь вместе с тюрьмой, Галилей постепенно состарился, жена его тем временем вышла за другого, а дети переменили фамилию, чтобы не портить себе карьеру.

А Галилей сидел и думал и гордился собой.

— Ну, ничего, — говорил он себе, — ничего, что состарился, ничего, что жена бросила, ничего, что дети отказались, ничего, что сижу в тюрьме. Зато я остался верен своим принципам, а Земля как вращалась, так и вращается, и рано или поздно всем придется признать, какой я был умный.

И, как все большие ученые, наш Галилей оказался в конце концов прав. В результате неутомимого вращения Земли и часовых механизмов наступило, наконец, то

сказочное время, когда мудрым, смелым и, как было сказано, своевременным постановлением правительства было признано, что Земля круглая и вращается вокруг своей оси и вокруг Солнца. В связи с этим постановлением наш сказочный астроном был помилован по старости лет и выпущен на свободу без пенсии.

И вот вышел он за ворота тюрьмы, идет со своими пожитками по улице. А навстречу ему мальчик с новеньким глобусом. Идет, вертит глобус и поет песенку «Глобус крутится, вертится, словно шар голубой».

Увидя глобус, Галилей удивился и, остановив мальчика, спросил, что это такое. Мальчик охотно объяснил, что глобус — это как бы макет Земли, которая имеет форму шара и вот так вот вертится.

— Ага! — сказал Галилей торжествуя. — Значит, круглая и вертится? А известно ли вам, молодой человек, кто об этом первый сказал?

— Конечно, известно, — сказал мальчик. — Всем известно, что первый об этом сказал Галилей.

— Галилей? — взволнованно переспросил ученый. — А что, этот Галилей, наверно, очень умный был человек?

— Галилей-то? Да что вы! У нас про него даже песенка есть такая: жил на свете Галилей, звездочет и дуралей.

— Что за глупая песенка! — закричал астроном. — Как же Галилея можно называть дуралеем, если он первый сказал, что Земля круглая и вертится!

— А потому и дуралей, — объяснил мальчик. — Умный не тот, кто говорит первый. Умный тот, кто говорит вовремя.

С этими словами мальчик, вертя глобус, пошел дальше. А Галилей посмотрел ему вслед и заплакал. И подумал, что жизнь его прошла зря. Потому что, открыв много такого, чего люди раньше не знали, он только в конце жизни узнал истину, которую другие постигают в детстве.

ТРЕТЬЯ СКАЗКА О ПАРОХОДЕ

Здравствуйте детки, давно мы с вами не виделись, давно не слышались. Давно я вам сказки не сказывал, давно вы им не внимали, давно на ус не мотали. Пришла пора еще позавчера, а может, даже в запрошлом годе рассказывать вам нашу третью сказку о пароходе.

Помните, оставили мы наш пароход посередине океана и с той поры не знаем, не ведаем, чего там с ним случилось, что приключилось, то ли он уже благополучно потоп, то ли еще на плаву терпит бедствие.

Выяснилось, что да, не потоп, но терпит. А почему он, терпя столь долгое бедствие, до сих пор не потоп или почему, не потопнув, терпит столь долгое бедствие, понять было бы невозможно, если не знать того, что пароход-то наш не простой, а заколдованный. А заколдовал его еще в незапамятные времена злой волшебник Карла Марла. Росточку, как и положено карле, он был невеликого, зато вот с такою преогромнейшей бородащею. А помогал ему в колдовстве Фриц по прозвищу Ангелочек, ученый по части черной магии и большой проходимец насчет женского полу.

Ну, понятно, в начале пути и команда парохода, и пассажиры относились к Карле Марле, да и к тому же Фрицу с большим незаслуженным уважением и даже организовали между собою такое движение карлистов-марлистов. Но, по прошествии времени и миль за кормой, кое в чем как-то вроде засомневались. Карла Марла в своем капитальном труде «Капитал» предсказывал, что по преодолении ближайшего горизонта впереди непременно замаячит страна Лимония, но пароход вот уже восьмой десяток лет океан туды-сюды бороздит и не то, что Лимонии, а и вообще ничего сухого впереди не видеть. Постепенно пароходский народ приуныл, впал в депрессию, зазвучали на палубе песни грустные-грустные. Вроде такой:

Злой волшебник Карла Марла бородастый
Нам за что наколдовал такую муть?
И куда ж ты завлекал нас, и куда ты
Нас в конце концов собираешься привезть?
Чем тебе мы, злой колдун, не угодили?
Не исполнили каких твоих затей?
Разве мало мы друг друга колотили?
Разве мало переломано костей?
Разве мало мы страдали? Разве мало
Потеряли наших братьев за бортом?
Пожалей нас, утопи нас, Карла Марла,
И, пожалуйста, сейчас, а не потом.

Пели на пароходе эту песню и по одиночке и хором, и — никто ничего. Даже помкорбез не обращает внима-

ния. Раньше бы он за такую песню не то, что сочинителей и не только исполнителей, а и тех, кто слышал, закатал бы в трюм до скончания дней. А теперь ничего. Ходит по палубе, улыбается, ну, иногда, правда, по кобуре слегка рукой проведет, но того, что лежит в кобуре, не вынает. Ничего не поделаешь, вышло народу высочайшее капитанское разрешение петь любые песни и болтать языком все, что взбредет на ум.

Народ при этом оживился, и как водится, обнаглел. У народа вообще есть известное свойство: как только ему волю дают, он наглеет. Нет чтобы воспользоваться возможностью и свободным изливанием души выразить капитану свою любовь и сказать что-нибудь хорошее о команде, о пароходе, о пройденном пути.

Куда там!

А ведь раньше как было хорошо. Переход шел вперед. Капитан смотрел вдаль, рулевой крутил штурвал, кочегары кидали уголь, а пассажиры сочиняли и пели песенки, вроде вот этой, помните?

Мы все плывем, но все не там,
Где надо по расчетам.
Был умный первый капитан,
Второй был идиотом.
А третий был волюнтарист,
Четвертый был мемуарист.
Кем были пятый и шестой,
Чего они хотели,
О том ни тот и ни другой
Поведать не успели...

Успели, не успели, а у народа пароходского обо всех капитанах, кроме первого и последнего, сложилось мнение очень такое, как бы это сказать, не очень хорошее. Очень, очень не очень.

Про первого же капитана на пароходе все так примерно до позавчерашнего дня думали, что этот-то уж точно гений чистой воды, может быть, даже не хуже, чем Карла Марла. Так про него думали и когда он живой был, и когда стал вечно живой, то есть фактически мертвый.

К слову сказать, первого капитана люди звали промеж собою просто Лукич. Лукич был такой замечательный человек, столь простой и столь человечный, так его все любили, что и после смерти расстаться с ним никак

не могли. Сладили ему стеклянный гроб, куда и положили, как спящую красавицу. Чтоб можно было им всегда, всем и досыта любоваться. И после того семьдесят с лишним лет возили его по океану, как бы за молчаливого и бесплатного советчика во всех трудных делах.

Как налетит, допустим, тайфун, или рифы по курсу появятся, или акулы к борту приблизятся, так капитан, прежде чем скомандовать лево руля или право на борт, идет советоваться к Лукичу. Другие люди тоже. Какие у кого проблемы, прыщ на носу вскочил, жена к другому в каюту ушла, сомнения в правильности нашего пути по пути возникают, в космос ли надеется человек подняться или в пучину вод погрузиться, в таком случае перво-наперво куда? К Лукичу. За советом.

И так много было желающих советоваться, что очередь ко гробу иногда обвивалась вокруг корабельной рубки, а хвост ее кончался где-то возле кормы, отчасти даже засунувшись в трюм.

Однако в результате наступившей свободы, упаднических песен и пустого болтания языками, иные пассажиры, засомневавшись, стали склоняться к тому, что Лукич, может, и гений, но не чистой воды, а мутной, и не воды, а суши — или вообще не гений или гений, как говорится, в обратном смысле. Потому что, хотя сам он был как будто умный, но глупостей наворотил столько, что и дураку не отворотить. И этот вот самый пароход захватил, как след не подумавши. Причем пассажиров отправил в океан, а сам в стеклянной своей ладье отплыл совсем в ином направлении.

А народ на этом пароходе дырявом донныне плывет, да все не туда, к светлым горизонтам, которые постоянно темнеют вдаль.

И еще интересно то, что до гласности все на пароходе было чересчур хорошо. А во время гласности все стало исключительно плохо. И сам пароход — плохой. И капитаны один другого ужаснее, кроме первого да последнего. Да и в первом, как сказано выше, появились сомнения, а последний тоже, как бы сказать... да... ну, нет, все-таки не скажу.

Я-то не скажу, а другие чего ни попадя говорят. Иные уже не только позволяют себе сомнения в пройденном пути и в Карле Марле и в отдельных капитанах, но и далее того обобщают. Вообще, говорят, пароходская жизнь наша несправедливо устроена, Одни, мол, нежатся в

роскошных отдельных каютах, другие теснятся в совместных кубриках. Одним райские яства через спец-окошко из камбуза подают, других одной ржавой селедкой питают, и та в последнее время исключительно по талонам. Да и по талонам ее тоже исключительно не бывает. И иногда даже исключительно не бывает талонов.

Пассажиры таким состоянием дела давно уже недовольны, а как показать, что недовольны, не знают. Раньше недовольство свое они выражали тем, что славили капитана. Так и кричали: «Слава нашему великому капитану!» Сами при этом думая: «Чтоб ты сдох!» Провозглашали: «Да здравствует наш величайший и мудрейший капитан, мореход и предводитель, лучший друг всех идущих по морскому пути!» А сами мысленно говорили: «Чтоб ты пропал, собака!»

Так в прошлые времена выражали недовольство капитанам. Теперь стали выражать иначе. На общую палубу стали выходить с лозунгами всякими, плакатами и тарнспарантами. И там все такие слова: долой, в отставку, на свалку и на мыло.

Капитан попервах особо не волновался, всегда зная, что у народа такая привычка: говорит он одно, а подразумевает все же другое. Поэтому неприятные эти призывы капитан понимал в обратном приятном для себя направлении.

Все же раньше начальство подобных безобразий не допускало, полагая, что если кто провозгласит что-то такое, так из этого что-то другое непременно воспоследует. А теперь все и ясно, что кричи чего хочешь, от этого ни вреда, ни пользы никому нету. Выйдет народ, покричит, помашет кулаками да тряпками, но, накричавшись и намахавшись, тут же по кубрикам разбредается, утомленный.

Тем более, что и сам капитан, и остальное начальство, чего уж там говорить, другое стало. Что ни начальник, то демократ и завсегда с народом. И до обеда с народом и после обеда с народом. Обедают, правду сказать, поврозь. Но зато теперь не только с Лукичом, но и с народом начальство советуется: согласны? — спрашивает. Народ соглашается: согласны. Или не согласны? Народ соглашается: не согласны.

Так вот в полном согласии двигались дальше в темные дали к светлым горизонтам, покуда на горизонте не зачернела земля.

Первым ее заметил сзади впередсмотрящий. Залез на мачту, направил подзорную трубу на горизонт и чуть от радости обратно на палубу не свалился.

— Земля! — кричит, — Земля!

Пассажиры сперва не поверили. Они уже семьдесят лет плывут никакой земли отродясь не видали, окромя миражей, галлюцинаций, алкогольного бреда, а также отдельных рифов. И тут говорят сзадивпередсмотрящему:

— Врешь, — говорят, — не верим.

А тот не в шутку волнуется:

— Дураки, — говорит, — да что же вы за фомы неверные, говорят же вам, остолопам, вон же она, земля.

Наиболее зоркие ладошки козырьками к переносью приладили, пристально так прищурились, пригляделись: и правда, вдали чегой-то такое вроде как бы маячит. Еще чуть-чуть пару поддали, приблизились, видят: ну да, земля. Прямо точь-в-точь такая, о какой бабушки-дедушки когда-то рассказывали.

Все от мала до велика на палубу повысыпали, да все к одному борту прилипли, так что пароход накренился, бортом воду черпает.

Выскочил на палубу старший помощник.

— Вы что, говорит, совсем, говорит, что ли, почокались, на один борт навалились, так, говорит, нашу посудину не трудно и перевернуть, потопнете под конец пути, самим же обидно будет. Рассыпьтесь, — говорит, — по палубе равномерно.

Тут и капитан на палубе появился, сунул брови в бинокль:

— Стоп! — говорит. — Все машины немедленно стоп.

Народ кричит:

— Чего там стоп, давай двигай дальше.

Появились, откуда ни возьмись, радикалы всякие, экстремисты из трюмов на свет повылазили и диссиденты.

— Полный, — кричат, — вперед.

Супротив них выдвинулись стойкие карлисты-марлисты, патриоты и защитники принципов.

— Осади, — говорят, — назад.

Центристы говорят:

— Не будем ссориться, давайте сойдемся на компромиссе, будем стоять на месте.

Радикалы гнут свое, если дальше, мол, не пойдем,

мы здесь все непременно потопнем. А карлисты-марлисты говорят:

— Лучше потопнем, но с принципами нашими не расстанемся и пройденному пути не изменим.

Патриоты молвят, что лучше на своем родимом корабле помирать, чем на чужом берегу, пусть он даже хоть весь будет лимонами усажен.

— Тем более, — говорят карлисты-марлисты, — что при высадке можно разбиться запросто о прибрежные скалы.

Центристы им подпевают, говоря, что высаживаться на суше не стоит, потому что там неизвестно чего. Может, там джунгли непролазные, может, тигры, удавы, крокодилы, динозавры, а то даже и людоеды.

— Ничего, — кричат радикалы, — ни удавов, ни динозавров не боимся, а людоеды если и есть, они нас кушать не будут, поскольку в нас только кожа да кости — обезжиренный суповой набор. А если людоеды захотят начальством питаться, карлистами и марлистами, то мы лично не возражаем: приятного аппетита.

Тем временем у начальства свои заботы. Оно переполошилось, и вот в капитанской каюте при закрытых дверях началось срочное заседание корабельного совета. Собрались, кроме капитана, первый помощник, штурман, лоцман, боцман, помкорбез и главный бомбардир, который только называется бомбардиром, а на самом деле больше всего любил заниматься с личным составом строевой подготовкой. При закрытых дверях обсуждали они вопрос: причаливать к берегу или же нет. Думали, думали, ничего не придумали, решили послать капитана к Лукичу за советом.

Сказано — сделано. Явился капитан к Лукичу. Присел на краешек гроба и говорит примерно вот что. Так, мол, и так, дорогой Лукич, дела у нас сложились сложные.

Он говорит, а Лукич молчит, он и раньше молчал и советы давал молчаливые.

— Так вот что, — говорит капитан, — согласно капитальному учению Карлы Марлы и твоим, Лукич, незабвенным заветам, шли мы много лет правильным путем в неправильном направлении и вот в конце концов дошли до Лимонии.

Говоря это, капитан заметил, что Лукич во гробе зашевелился и даже приоткрыл один глаз.

Капитан заволновался, вскопчил на ноги и вопрос свой закончил стоя.

— Вопрос у нас такой, — сказал он. — До Лимонии мы дошли, а теперь не знаем, как быть. Приставать к берегу или нет?

И тут произошло полное чудо, как и полагается в сказке. Крышка гроба отлетела и со звоном упала на палубу. Но все ж не разбилась, потому что была не из простого стекла и не из золотого, а из бронированного.

Лукич выскочил из гроба и сразу же стал топтать восковыми своими ногами и кричать на капитана, слегка при этом картавя:

— Ах ты, какой дурак! Что значит приставать или не приставать? Это же архиглупость. Я бы каждого, кто произносит такие слова, ставил немедленно к стенке.

— Дорогой Лукич, за что же? — перепугался капитан. — Я всю жизнь выполнял все твои заветы. Я вел пароход указанным тобою путем и довел его до Лимонии.

— Архичушь! — опять закричал Лукич. — Что значит, ты довел? А дальше что будешь делать? Выпустишь всех на берег, они там разбегутся и начнут жить сами по себе, без твоего руководства. А что ты будешь есть? Сознательный крестьянин не даст тебе ни одного лимона, а сам ты его вырастить не сумеешь и помрешь с голоду. И все движение карлистов-марлистов вымрет. Разве можем мы это допустить? Нет, не можем! Ты довел пароход до Лимонии. Если бы ты внимательно читал мои заветы, ты бы знал, что я, уходя от вас, завещал вам не довести, а вести, не дойти, а идти, не доплыть до конца, а плыть без конца. Иначе говоря, лавировать, лавировать и еще раз лавировать. Тех, кто таких простых вещей не понимает, надо решительно ставить к стенке. К стенке, к стенке, к стенке!

С этими словами Лукич вернулся в гроб, лег на спину и сложил на груди слепленные из воска руки.

Капитан положил крышку на место, подозвал к себе боцмана и велел свистать всех наверх.

А их и свистать нечего, все давно здесь.

— Дорогие члены команды, уважаемые пассажиры и пассажирки, — обратился к ним капитан, — от имени движения карлистов-марлистов и по поручению нашего корсчета докладываю вам, что основной этап нашего путешествия закончен.

Капитан переждал первые аплодисменты и продолжал.

— Долог был наш путь к намеченной цели, были в пути и подводные рифы, и боковые течения, и штормы, и бури, порой даже тайфуны, готовые поглотить наш корабль вместе с нами. Наше движение усложнялось наличием в наших рядах маловеров, которые мало верили, нытиков, которые ныли, и хлюпиков, которые хлюпали. Конечно, в пути случалось делать ошибки. Некоторые капитаны не оправдали возложенного на них доверия и заслужили впоследствии плохую славу. Но зато первый наш капитан Лукич, что бы про него сейчас ни говорили, был гений всех морей и океанов. Руководствуясь единственно правильным учением Карлы Марлы, Лукич указал нам путь вперед, мы по нему пошли навстречу неизвестному берегу и вот он, этот берег, перед вами.

При этих словах капитан точь-в-точь, как это делал Лукич, выкинул руку вперед и простер ее в направлении того, о чем говорил.

— Ура-а! — закричали люди и кинулись к своим пожиткам, готовясь сойти с ними на сушу.

— Минуточку! — охладил их капитан. — Не все так просто. Земля рядом, но мы по ней еще никогда не ходили. И нам надо подумать, как на нее ступить, левой ногой или правой. Всем сразу или по очереди. Если по очереди, то в какой очередности. Сначала женщины с детьми или ветераны движения. Или же активисты. Это же все надо обсудить. Выработать, я бы сказал, основную стратегию причализации. Процесс этот исключительно сложный и не верьте тому, кто говорит вам, что это не так. Тут некоторые нам подбрасывают, а чего, мол, там сложного, давайте, мол, поближе к берегу подойдем, друг за дружкой попрываем на него и все дела. Как будто мы, понимаете, какие-то, как бы сказать, козлы. Или допустим, кенгуру, знаете, есть животные такие в Австралии, которые прыгают. Но мы же не кенгуру, а мыслящие, можно сказать, хомо сапиенсы, мы прежде, чем прыгать, должны использовать свой интеллектуальный, так сказать, потенциал и взвесить все за и против.

Я думаю, товарищи, с этим вопросом, все ясно и мы на всякие уловки, которые нам расставляют, не отзовемся. А кто нам чего подбрасывает, тому мы все это

таким же порядком назад отбросим. Будем поступать, как нам подсказывает наша теория. А теория говорит, что надо сначала теоретически все рассчитать, а потом уже практически внедрить в практику. Я имею в виду, опять же, причализацию. Полную и необратимую причализацию нашего парохода к берегу, который всем уже виден. Даже тем, кто из себя незрячих как бы изображает, — так и перед ними реальность — уже наглядно, мне кажется, себя им являет. Так что не будем торопиться, а для начала пошлем на сушу ответственную делегацию. Пусть она разузнает, ну, что там за берег, какая почва, какого рода произрастают растения: деревья, кусты, трава или злаки. А также какие там обитают люди или животные. Все согласны с данным предложением?

— Согласны! — кричат пассажиры.

— Или не согласны?

— Не согласны! — кричат.

Людям некоторым очень не терпится на сушу, а другим все же боязно. Потому как приспособились они уже на пароходе, обжились. Оно хоть и тесно, и мокро, и голодно, и холодно, и качка бывает невыносимая, но все же как-то привычно. А тут взять и ни с того ни с сего — на берег. Потому в большинстве своем с капитаном согласились: надо в самом деле послать делегацию.

Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается.

Послать делегацию надо, да не на чем, шлюпки давно какие покрали, какие спалили. Ну, нашли запас надувных аварийных плотов. Надули первый плот, посадили на него делегацию, отправили, ждут возвращения. День ждут, два ждут, неделю, месяц, делегация не возвращается. Видать, составили ее из нестойких элементов, которые там, куда их послали, остались.

А пароход тем временем все топнет и топнет. Дырки на нем от приближения к берегу меньше не стали. И лопать уже тоже, в общем-то, нечего. Собрали вторую делегацию, понадежнее, из одних сплошь убежденных карликов-марликов. Но и эти уехали и пропали. Потом уже много времени спустя выяснилось, что обе делегации в полном составе там, куда уплыли, попросили укрытия. И потом кто-то слышал, уплывшие выступали по враждебному радио и пароход свой, на котором родились и выросли, поливали самыми последними, как го-

ворится, словами, а себя при этом называли убежденными антикарлистами и антимарлистами. Такие вот перевертыши.

Третью делегацию подобрали из убежденных патриотов. И как оказалось, правильно сделали. Эти там заболели ностальгией и остались на чужом берегу впредь до полного излечения. А один все же вернулся. На него потом все показывали пальцем: вот, мол, какой молодец, в смысле — дурак. Вернулся дурак с подарками. С апельсинами, мандаринами, грейпфрутами, стеклянными бусами и карманными калькуляторами.

Вернулся и сразу в корсовет — докладывать.

Так и так, говорит, земля, которая нам открылась, представляет собою некий архипелаг, состоящий из отдельных островов, и остров тот, который лежит к нам ближе всего, называется...

— Лимония, — подсказал капитан.

— Нет, не Лимония, — отвечает молодец, — а Чертополохия и заросла сплошь этим самым чертополохом.

— У-у! — сказали члены корсовета.

— А за этим островом есть еще три острова и они называются...

— Бурьяния, — пошутил помкорбез.

— Вовсе нет. Три других острова называются Апельсиния, Мандариния и Грейпфрутландия. Там живут наши враги, очень дружески к нам настроенные.

— Это они такие, потому что они нас не знают, — заметил помкорбез.

— Правильно, — сказал молодец, — я тоже так подумал. Интересно, что жители этих островов даже не слышали про Карлу Марлу, но достигли очень высокого уровня развития, поэтому, я думаю, их можно называть стихийными карлистами-марлистами. На островах, помимо произрастания одноименных фруктов, текут еще молочные реки с кисельными берегами, причем кисель тоже, в зависимости от названия острова, или апельсиновый, или мандариновый, или грейпфрутовый.

— А почему же ты там все-таки не остался? — спросил вернувшегося перпом.

— Родная палуба тянет, — вздохнул молодец. — Как засну, так все снится, снится. А кроме того, там извиляюсь, разврату много.

— А в чем именно проявляется? — заинтересовался штурман.

— А в том именно проявляется, что есть у них там такие... как бы сказать... пип-шоу. Монету бросишь, потом в специальную замочную дырку подглядываешь, а там такое... Тьфу! Даже и вспоминать противно.

— Нет, ты уж давай рассказывай, — попросил штурман.

— Рассказывай, рассказывай, — сказал перпом, — нам же это из научного интереса знать надобно.

— А чего там знать? Глаз к дырке приложишь, а там апельсинцы с мандаринками, или мандаринцы с грейпфрутландцами, или же, наоборот, черт-те чем занимаются.

— Давай подробнее, — попросил старпом.

— Да какой там подробнее. Они же это хитро все устроили. Там пока приладишься, пока разглядишь, что к чему, а дырка уже закрылась. Автоматически. Опять монету бросай. Я сто пятьдесят монет перебросал, смотрю в кармане пусто. Нет, думаю, не надо мне ваших апельсинов, не надо мандаринов, киселя вашего грейпфрутового не надо, вернусь на родной пароход. Пусть холодно, пусть голодно, а все же среди своих и никаких денег у тебя на всякую дрянь не выманивают.

— Ну, ничего, — сказал главный бомбардир, — вот мы у них высадимся, мы им с этими пипами порядок наведем. Если уж показывают, то пусть бесплатно. У нас все образование бесплатное, и это тоже должно быть без денег.

— Высаживаться у них не советую, — предупредил молодец, — они люди мирные, но натренировались в борьбе с пиратами. И если на них нападают, оказывают очень серьезное сопротивление. И пушки у них с нашими пароходскими не сравнить.

— Ну, а чего же нам делать? — спросил капитан.

— Они предлагают нам высадиться на Чертополохии и там работать. А они помогут. Они говорят, что когда их предки на их острова прибыли, там тоже был сплошной чертополох, они его весь повыдергали, землю перепахали, посеяло зерно, вырастили урожай, построили дома, наткали тканей, нашли одежды и так постепенно работали все лучше и лучше, пока у них не потекли молочные реки с кисельными берегами.

— И сколько ж у них на это времени ушло? — спросил капитан.

— Они говорят, немного. Лет четыреста, не больше.

— Ой, — вздохнул старпом, — все-таки долговато.

— Но они говорят, что ежели мы сразу все засучим рукава и сейчас же примемся за работу, то, может, даже лет за триста управимся.

— Ну, это уж вражеская уловка, — заметил перпом. — Голову дурят. Мы им поверим, засучим рукава, начнем корячиться с чертополохом, а политикомассовая работа, а изучение трудов Карлы Марлы, это значит все по боку?

— И никакой бдительности, — подхватил помкорбез. — Все занимают чертополохом, а друг другом не занимают.

— А кроме того, — подал голос главный бомбардир, — с точки зрения строевой подготовки, я думаю, что ей удобнее заниматься на палубе, а не в зарослях чертополоха.

— Вы говорите о мелочах, — заметил капитан, — не трогая при этом главного. А главное состоит в том что если мы высадимся на берег и поселимся там, то это будет коренное изменение всего уклада нашей жизни. У нас уже не будет штормов, не будет качки, не будет пассажиров, команде нечего будет делать, значит, и капитан такому обществу вроде и ни к чему.

— А еще и то надо отметить, — вмешался перпом, — что на борту наблюдается недовольство среди наших ветеранов. Они говорят, что если мы высадимся в Чертополохии, то следует считать весь пройденный прежде путь напрасным. Значит, ни к чему были наши усилия, наши страдания, наши жертвы. Старики говорят, что молодежь над ними смеется и не проявляет никакого почтения.

— Все ясно, — сказал капитан. — Ну, что ж, мы тут первыми наметками обменялись. Давайте определимся. Какие могут быть решения? Ну, в свете всего вышесказанного, это, на что нас со стороны толкают, — высадиться на берег Чертополохии и в чертополохе этом застрять, — это не проходит, правильно? Кто против этого голосует, прошу поднять. Не принято единогласно. Прошу опустить. Второе: напасть на эти Апельсинию, Мандаринию и Грейпфрутландию мы не можем, потому что они сильнее, а к тому, кто сильнее, мы никаких силовых методов не применяем. Кто за то, чтобы отвергнуть силовое решение? Отвергнуто единогласно. Третье решение остаться на пароходе и никуда не двигаться, тоже при-

нять нельзя, тогда мы либо потопнем, либо, не дождав-
шись потопления, помрем с голову. Я вижу вашу на-
смешку и полностью ее не одобряю. Вы имеете в виду,
что с голоду помрем не мы, а я скажу так, значит, сна-
чала не мы, а потом и мы. Так что такое решение для
нас неприемлемо, и кто за то, чтобы признать его тако-
вым... Можете опустить. Есть еще, с позволения сказать,
предложение, чтоб нам разделиться. Пусть, мол, каж-
дый надует свой плот и — спасайся, кто как может. Это,
думается, гнилая идея. Семьдесят с лишним лет мы
плыли вместе, значит, и дальше, чего бы там ни случи-
лось, будем идти до конца.

— Но все-таки что-то же делать надо, — сказал
штурман.

— Делать надо, — согласился капитан. — Думается,
что прежде всего надо накормить личный состав. С этой
целью попросим дружеской помощи у наших врагов.
Тем более, что они еще сами не знают, что они наши
враги. Свистать всех обратно наверх, и пусть все на раз-
ные голоса, кто как умеет, чего-нибудь просят.

Через некоторое время офицер патрульной службы
Сказочного Королевства Оранжевых Островов лейтенант
Джеймс Фруктовый, приближаясь на катере к острову
Чертополохия, услышал жуткие крики, от которых ему
стало нехорошо. Определив, откуда исходят крики, и
приложивши к глазам бинокль, он увидел тонущий па-
роход и людей, которые, стоя на палубе, размахивают
руками и что-то кричат. Направивши катер в сторону
парохода, Фруктовый вскоре расслышал, что пассажи-
ры кричат: «СОС! Помогите! Спасите!»

— Чего орете? — спросил лейтенант, подплывши.

Те опять орут:

— Помогите! Спасите!

— А от чего ж вас спасти и чем вам помочь? — спра-
шивает офицер.

— Тонем, — говорят, — дыры в бортах. Вода хлещет,
затыкать нечем.

— Так дойдите до берега и спасайтесь. Вот же он,
берег, рядом.

— Нет, что вы, мы на берег никак не можем. Пото-
му что для исхода на берег у нас еще теория причали-
зации не разработана.

— А без теории, просто так вы не можете?

— Не можем, потому что мы заколдованные.

— А кто же вас может расколдовать?

— Никто нас не может расколдовать. Потому что Карла Марла нас заколдовал, а сам помер. И Фриц Ангелочек помер. И Лукич остался вечно живой, то есть обратно ж помер.

— Ну, — говорит офицер, — если вы заколдованные и не можете высадиться на берег, который перед вашими глазами, тогда хотя б затыкайте дырки, чтоб не потопнуть. Или вы и этого не можете?

— Дырки затыкать мы можем, но сейчас не можем. Потому как голодные и силов не имеем.

— Если вы такие голодные, ловили бы рыбу. Здесь ее много. Сплели бы сети, забросили.

— А мы так и сделали. Сплели и забросили.

— И чего вытащили?

— А мы не тащили. Туды-то бросать полегче. А назад-то тащить тяжело.

— Да кто ж так делает? — удивился патрульный.— Кто же это сети забрасывает, а потом обратно не тащит?

— Мы так делаем, — говорят ему с парохода.

— Да вы дураки, что ли? — спросил Фруктовый.

— А мы сами не знаем. Дураки не дураки, но ученье у нас дурацкое. А вот его как раз забросить не можем, потому как оно заколдовано и не выбрасывается.

— Ничего не понял Фруктовый, понял только, что люди голодные, что надо помочь.

— Ждите, — молвил.

И с этими словами отчалил.

Видно, там он где-то кому-то чего-то сказал, потому что не прошло и года, как из-за острова на стрежень выплывают три баржи, по одной с каждого из Оранжевых островов, везут с собой продовольственную помощь. Сорок бочек апельсинов, сорок бочек мандаринов и столько же грейпфрутов. Не говоря уже о сгущенном молоке и о киселе в банках. А еще привезли какие-то веревки, лопаты, грабли, брезентовые рукавицы и мешки с какими-то зернами. Подошли баржи ближе, притерлись к пароходу бортами, передали сначала фрукты. А потом стали передавать остальное, а пассажиры апельсины, мандарины, грейпфруты похватали, за обе щеки уплетают, а на остальное смотрят, но брать не спешат.

— Это еще, — спрашивают, — что такое и для чего, если все равно это есть нельзя?

— А это, — говорят, — подарок от нашего губернатора. Это приспособления для расколдовывания.

Прибывшие на баржах думают, что сейчас те, которые на пароходе, от радости начнут чересчур высоко подпрыгивать, а те хоть бы шелохнулись.

— Каково, — спрашивают, — действие этих приспособлений?

— А действие, — объясняют прибывшие, — очень простое. Сначала вы подходите к суше, потом на этих веревках спускаетесь на берег, потом надеваете брезентовые рукавицы и начинаете выдергивать чертополох.

— Еще чего не хватало, — говорят те, которые на пароходе. — Для чего ж это мы его будем дергать?

— А для того, — им объясняют, — что, когда повыдергаете чертополох, тогда возьмете лопаты, землю перекопаете, граблями подравняете, а потом вот эти семена посеете и потом ежели будете ростки поливать, пропалывать, опылять и так далее, то и сами расколдуетесь, и землю расколдуете, и вырастите на ней очень хорошие лимоны.

Пароходские люди думают, одного, однако ж, понять не могут: зачем же им расколдовываться и столько сил ухайдакивать на выращивание лимонов, когда им почти что такие же плоды островитяне возят за просто так? Перпом между ними ходит.

— Кушайте, граждане, на здоровье, но на уловки на вражеские не попадайтесь. Это вас местные колдуны заманивают, чтобы заставить заняться прополкой чертополоха.

Пассажиры перпому отвечают: ты, мол, за нас не бойсь, мы, мол, не из тех, кому можно за просто так всучить грабли или лопату. И тем временем дареные фрукты за обе щеки уплетают.

А уплетши, тут же глотки опять разодрали:

— СОС! — кричат, — СОС! Помогите! Спасите! А иные даже и по-иностринному научились:

— Хелп! — кричат. — Хильфе! Рятуйтэ!

Приблизился катер:

— В чем еще дело? — спрашивает подплывший на катере лейтенант Сухофрукт.

— Как в чем дело? Разве ж не видишь, обратно все топнем.

— А чего же дырки не затыкаете? Вы ж пообедали.

— В том-то и дело, что пообедали, а после обеда мы отдыхаем.

— А работать вы после обеда никак не можете?

— Нет, — говорят. — Мы так заколдованы, что после обеда должны отдыхать. Нам лучше потоп, чем после обеда работать.

— А-а, — сказал офицер и снова отчалил.

Только отчалил, опять орут:

— Помогите! Спасите!

Офицер вернулся.

— Ну, что еще?

— Ну, как же ж, мы ж вашему благородию сколько раз сказали уже человеческим языком: топнем же, потому и кричим.

И снова кричат:

— Спасите!

— Да как же вас спасти, — говорит офицер, — если вы сами себя не спасаете?

— Если бы мы сами себя спасали, зачем мы бы стали орать? Да к тому же у нас дырки большие, а затыкательного материала нет. Так что и после отдыха затыкаться нам будет нечем. Раньше, бывало, наша молодежь дырки собой затыкала, а теперь то ли дырки велики, то ли молодежь отошшала, она в эти дырки проскакивает.

Опять вышли в путь баржи, везут затыкательный материал. Слышат, а на пароходе опять же крик:

— Помогите! Спасите! СОС!

С первой баржи им в рупор кричат:

— Ну, чего же вы там орете? Мы же вот возем вам затыкательный материал.

— Какой там затыкательный материал? — кричат. — Есть обратно хотим.

— Эй, вы! — кричат с баржи. — Да что ж вы за такие обжоры? Да мы ж вам только что сорок бочек апельсинов, сорок бочек мандаринов, сорок бочек грейпфрутов привезли. Куда ж вы все подевали?

— Как куда? Часть начальство себе взяло, часть на камбузе растащили, а остальное сгноили.

— Неужели уже сгноили? И так быстро. Ведь срок хранения еще не истек.

— А у нас истек. Мы ж заколдованные. Мы как до чего дотронемся, так оно все немедленно или сгнивает, или в воду падает, или в воздухе растворяется.

— Ну, что с вами делать? — говорят те, которые с баржи. — Тогда ждите, скоро опять прибудем.

Так и ходят эти баржи от своих островов к нашему сказочному пароходу и обратно. И возят ему то фрукты, то затыкательный материал, то лопаты, то грабли, то вилы, то молотки, то сети, то удочки, то крючки, то еще чего, но все без толку. Поскольку у нас пароход сказочный, а пассажиры заколдованы злым волшебником Карлой Марлой и работать не умеют. Зато очень хорошо поют. Когда они видят вновь подходящую баржу с подарками, выходят на палубу с гармошками, с балалайками, играют и поют песни. Чудные какие-то песни, странные.

— А что это вы поете? — спрашивают их те, что на барже.

— А это у нас называется песня дружбы, — откликаются с парохода.

Мы долго по морю плутали
Вдали от родимой земли.
Искали мы светлые дали,
Но темные только нашли.
А так же искали, конечно,
И вшей, и шпионов в себе,
И делали это успешно,
Что видно по нашей судьбе.
Еще мы стремились насилья
Разрушить весь мир, а затем...
Мы много чего поносили,
Теперь и не помним зачем.
И вас собирались тоже
Совсем уничтожить, но вы,
Заморские подлые рожи,
Уж больно живучи, увы.
Однако же славных утопий
В нас дух до сих пор не зачах.
И мы вас однажды утопим,
Как только силенок накопим,
Отъевшись на ваших харчах.
Пока ж мы остались в накладе
И очень уж хочется есть.
Подайте же нам, Христа ради,
Чего-нибудь, что у вас есть.

1989—1991



**МЕЖДУ
ЖАНРАМИ**

Роман

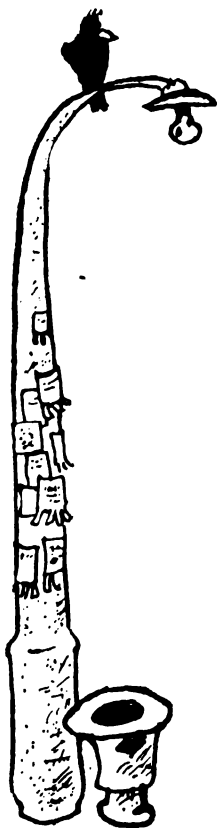
(Трагедия)

*Посвящается
Левину фон Вульфену*

Недавно я написал трагический роман из жизни эмигрантов. Роман называется... Впрочем, я не помню, как он называется, я загляну в рукопись и название впишу позже.

Хотя я писал этот роман примерно два с половиной года, не могу сказать, чтобы я очень уж напрягался. Работа шла, в общем легко. Стоило мне написать одну строку, как в моем воображении всплывала сразу другая, а за другой — третья. Никаких трудностей в описании природы или состояния героев я не испытывал, да и сюжет развивался как бы сам по себе.

Сюжет, между прочим, простейший. Русский писатель-эмигрант обнаруживает, что жена ему изменяет с его ближайшим другом художником. Он устраивает скандал, ей ничего не остается, как уйти к художнику. Как только она ушла, он понимает, что не может жить без нее ни секунды. Он ей звонит, и она немедленно возвращается, потому что не может жить без него. Но когда она возвращается к нему, она понимает, что не может жить без художника. Положение осложняется тем, что писатель и художник не могут жить друг без друга.



Все трое проклиняют друг друга, попрекают и объясняются в любви. Они пытаются разрешить проблему по-разному. То писатель выгоняет ее из дому, то художник. Иногда она уходит сама от одного к другому. Иногда уходит от обоих. Иногда писатель, бросив их обоих, куда-то уезжает, но не выдержав, возвращается. Другой раз уезжает художник. Потом они решают жить втроем и страдают от ревности и ненависти. Потом решают, что они вообще все должны разойтись. Дело кончается тем, что они собираются в мастерской художника все трое в строгих вечерних туалетах. Они ставят пластинку с концертом Шуберта и при свечах пьют шампанское. Шампанское, конечно, отравлено.

В двух словах такой вот роман. Я поставил точку месяц назад и тут же отнес рукопись издателю.

Вчера издатель пригласил меня к себе.

Мы сидели в мягких кожаных креслах у него в кабинете, увешанном портретами его лучших авторов (мой портрет, разумеется, среди них), нас разделял только журнальный столик, на котором заглавием вниз лежала какая-то книга.

Прежде, чем начать разговор, издатель предложил мне что-нибудь выпить: кофе, коньяк, виски, пиво. Я попросил кофе. Он выглянул за дверь и распорядился. Секретарша внесла кофе и удалилась.

Помешивая кофе, издатель посмотрел на меня внимательно и сказал:

— Слушайте, Владимир, вы написали потрясающий роман!

— Да, — сказал я смиренно, — я тоже так думаю.

— Когда я его перечитывал, я плакал.

— Я тоже, — сказал я.

— А последняя сцена, когда они при свечах и слушая Шуберта пьют отравленное шампанское, грандиозна. В мировой литературе ничего подобного не было.

— Да, сказал я, — мне тоже так показалось.

— Но, Владимир, послушайте меня внимательно. Дело в том, что этот роман мы уже напечатали два с половиной года назад.

— Вы его напечатали до того, как я его написал? — удивился я.

— Нет, нет. До такой изощренности наша техника еще не дошла. Два с половиной года назад вы написали этот роман, а мы его напечатали. Он шел с очень боль-

шим успехом, на него была отличная пресса, вы получили за него премию и при получении ее выступили с замечательной речью.

— Этого не может быть, — возразил я. — Неужели вы думаете, что я уже даже не помню, что написал?

— Я ничего не думаю, — сказал он со вздохом. — Но вот вам ваша рукопись, и вот вам ваш роман в напечатанном виде. — Он перевернул лежавшую на столе книгу и протянул мне.

Мне стало нехорошо. Я увидел, что напечатанный роман, так же, как и рукопись, называются... Сейчас я не могу вспомнить, как он называется, но потом посмотрю и скажу. Расстроившись, я положил в портфель книгу и рукопись и ушел домой, забыв попрощаться с издателем. Дома я положил перед собой книгу и рукопись и стал сравнивать. Когда я читал это, я плакал.

Интересно, что я не просто написал слово в слово тот же самый роман, под тем же названием и с тем же количеством глав и слов, но даже знаки препинания везде стояли одни и те же. Это тем более удивительно, что знаки препинания я обычно ставлю где попало.

Всю ночь я проплакал. Я плакал над постигшим меня ужасным несчастьем. Я думал, что же это случилось? Ведь я еще не так стар, чтобы быть пораженным столь глубоким маразмом. Два с половиной года изо дня в день, не разгибаясь, я писал этот роман страстно и вдохновенно. Я выкурил тысячи сигарет и выпил цистерну кофе. У меня все так хорошо получалось, я то смеялся над своей выдумкой, то обливался слезами, то хлопал себя по колену, восклицая: «Ай, да Пушкин, ай, да сукин сын!»

И что же?

К утру я решил, что, как только встану, немедленно пойду к доктору. Конечно, маразм зашел далеко, но все же есть от него какие-то средства, антисклеротин какой-то или как это там называется. Уже светало, когда я все же заснул.

Проснувшись, я свой визит к доктору решил отложить. Я подумал, ладно, я потратил два с половиной года впустую, ну и черт с ним. Жалко, конечно, но я не буду тратить время на визиты к докторам, а сразу же примусь за новый роман. Тем более, что у меня есть потрясающая идея, которую я вынашивал уже два с половиной года. Сюжет простейший. Русский писатель-эмиг-

рант обнаруживает, что жена ему изменяет с его ближайшим другом художником. Он устраивает ей скандал, она уходит, происходят еще разные коллизии (я еще не все придумал), и дело кончается тем, что все трое собираются в мастерской художника, ставят пластинку Шуберта и при свечах пьют отравленное шампанское.

Собственно говоря, у меня уже все продумано, и года через два — два с половиной я, пожалуй, этот роман закончу. 1984

Успех

Роман в объявлениях

Даю уроки русского языка.

Даю уроки русского языка.

Даю уроки русского языка и рисования.

Даю уроки русского языка и рисования, переписываю на машинке.

Даю уроки рус. яз. переп, на маш. ухаживаю за домашними животными.

Даю ур. рус. яз. пер. на маш. ухаж. за дом. жив. стираю, готовлю, подметаю полы, поливаю цветы.

Даю ур. рус. яз. переписываю, ухаживаю, подметаю, поливаю, стираю.

Ищу знакомства с интеллигентной состоятельной дамой не старше 35 лет. Серьезные намерения. Фото обязательно.

Даю ур. рус. яз. переп. подмет, полив. Ищу знак. с сост. дамой средних лет. Серьез. нам.

Д. ур. рус. яз. пер. ух. под. пол. Ищу знак. сост. дамой возраст неогран, оч. серьез. нам.

Беру уроки русского языка, ищу стройную, спортивную, интеллигентную даму до 30 лет для ухода за престарелой. Рекомендации и фото обязательны.

1981

Этюд

Я проснулся среди ночи в неизвестном часу и долго всматривался во что-то смутное, белевшее передо мной, пытаюсь определить, где я и кто я.

Чье-то шумное дыхание волнами наплывало слева, чье-то тихое отзывалось справа, я лежал, стараясь не шевелиться, смотрел на то, что белело передо мной, это был, видимо, потолок, да, похоже, что потолок, белый, с косо размазанными по нему тенями оконных рам.

Я скосил глаза влево: свет уличных фонарей сочился сквозь открытое наполовину окно, слабый ветер шевелил сдвинутые к краям занавески, шум прибоя накатывал волнами (значит, там, за окном, было море), я перевел взгляд направо и увидел, что рядом со мной лежит, посапывая во мне, какое-то существо с обнаженным плечом, какая-то женщина, может быть, даже моя жена, но, не помня, кто я, я не мог вспомнить, и кто она, как ее зовут, сколько ей лет, когда мы поженились и есть ли у нас с нею дети.

— Что же это такое? — подумал я без тревоги. — Откуда я взялся здесь, как оказались вокруг меня этот потолок, это море и эта женщина, что было до этого и было ли что-нибудь?

Может быть, я только что родился, может, очнулся после наркоза, после реанимации, может, до этого я попал в катастрофу, у меня отняли руки-ноги и обрубок, называемый «Я», не имея памяти, ощущает только то, что сиюминутно воспринимают глаза и уши.

Я пошевелил одной рукой, затем другой. Руки были тяжелые, но важно, что они были. Были и ноги. Я видел, слышал, двигал конечностями, значит, со мной все в порядке, я цел и невредим, единственное, чего мне сейчас не хватало — это сознания, кто я и где я.

Я закрыл глаза и попытался сосредоточиться.

В сознании что-то забрезжило...

...По дождливому морю мы плыли на каком-то кораблике, пили водку из граненых стаканов, ловили рыбу на «самодур», то есть голыми крючками без всякой приманки, пили, жарили на берегу барана, купались, пили, шел дождь и какая-то женщина возбужденно меня вопрошала: «Владимир, почему вы не уезжаете?»

Сейчас, лежа с закрытыми глазами, я вспомнил ее слова и удивился, если можно назвать удивлением то вялое чувство, которое во мне возникло. Почему она задала мне этот странный вопрос? Разве я не уехал мальчиком из Петербурга, разве не ютился в берлинской мансарде, страдая от холода, голода, безвестности и унижений, пробавляясь шахматными сеансами, уроками игры в теннис, и не я ли ловил бабочек в штате Вайоминг? Куда же мне ехать еще?

Бабочки, теннис, шахматы, были связаны одной ниточкой, стоило потянуть за один конец, как я сразу все вспомнил и сразу себя осознал: я старый человек, у ме-

ня все болит, я кое-что сделал в жизни, но зачем, скажите, зачем я написал Лолиту?

Эта мысль явилась ко мне неожиданно. Она меня озадачила, она меня растревожила; кажется, я никогда не жалел, что написал Лолиту, и даже считал ее своей лучшей книгой, но сейчас мне стало ужасно не по себе, я понял, что это не лучшая, это плохая книга, худшая не только из моих, но и из всех когда-либо написанных книг. Мне стало больно, и я заплакал.

Каждый, кто когда-нибудь о чем-нибудь думал, знает, что мы не всегда, я бы даже сказал, очень редко думаем словами. Мы думаем образами, ощущениями, представлениями, которые затем более или менее беспомощно пытаемся выразить словами. Мыслить и выражать свои мысли — далеко не одно и то же. Я, думаю, многие гении остались человечеству не известны только потому, что не сумели выразить свои мысли ясно, то есть столь примитивно, чтобы они стали доступны другим.

Я лежал неподвижно и плакал беззвучно, слезы из-под полуприкрытых век текли по щекам, к подбородку, но не дойдя до него, скатывались на шею. Я плакал и думал, что написал Лолиту, чтобы потрафить читателю, его больному и извращенному вкусу, потому что мне надоело бедствовать, мне захотелось известности и денег, которые за нее платят, и независимости, которую на них покупают.

Для многих Лолита оказалась полной неожиданностью, критики, застигнутые врасплох, сначала не отзывались, не зная, как реагировать, потом накинулись все сразу, одни превозносили, другие ругали, я с радостью воспринимал и то и другое: хорошо, когда хвалят, неплохо, когда ругают, хуже, когда молчат.

Кто-то из критиков назвал меня хулиганом, я был доволен, потому что литература, если хотите знать, есть вид хулиганства. Хулиган на улице привлекает к себе внимание тем, что шокирует общественное мнение и мораль, то же делает в книге писатель, который хочет привлечь внимание к себе или к тому, что он хочет сказать.

С помощью Лолиты мне удалось прорвать блокаду непризнания или, точнее, полупризнания, признания в среде знатоков и эстетов, которые, когда вам их представляют, делают умильные лица и говорят: «О!»

Да, в мире знатоков и эстетов меня знали, знали прекрасно, для знатоков было даже престижно быть лично

со мною знакомыми, в моей малой известности для всякого знатока был даже свой шарм, знаток потому и слышит знатоком, что знает известное не всем, а лишь узкому кругу ценителей, так сказать литературной элите.

Лолита принесла мне известность, деньги, и знатоки были разочарованы. Я нужен был им полунищим, в их представлении истинный художник и должен быть полунищим, если не нищим вовсе, по их романтическим представлениям он должен петь, как птичка, не заботясь о хлебе насущном, он должен им доставлять удовольствие, пользуясь их малой благотворительностью и ничтожными их подачками, сопровождаемыми благодушным хлопаньем по плечу: «Ладно, когда-нибудь разбогатеешь, отдашь» (надеясь, что никогда не разбогатеешь, никогда не отдашь и всегда будешь жить в ощущении своего неоплатного долга).

Потрясенные моим вероломством, знатоки поносили Лолиту в своих элитарных кругах, находя в ней много непристойности и мало художества, они сами не отдавали себе отчета, что на самом деле недовольны не непристойностями и не малой художественностью, а тем, что я как бы изменил их особому клану, как бы не оправдал надежд, и теперь им для того, чтобы по-прежнему слыть знатоками, надо искать мне замену, а это не так-то просто.

Я перестал плакать, открыл глаза. В комнате стало светлее, перекрестья теней от окна сползли с потолка на дальнюю стену. Стали видны отдельные предметы: спинка стула с повешенным на него полотенцем, и кусок зеркала, отражавшего угол стоявшего дальше шкафа.

В комнату проникали все новые звуки: торопливый стук каблуков, шуршанье метлы по асфальту, отдаленный гул самолета.

Вдруг в соседней комнате что-то зашипело, как шипит на сковородке яичница, потом сквозь шипенье пробился звон колоколов на башне... Биг-Бен? Нет, Биг-Бен, это, кажется в Лондоне, а здесь... Где здесь? Что здесь? Лион? Дижон? Монте-Карло? Женева?..

...Раздражающе громко грянула музыка, которую лет пятнадцать исполняли без слов, подбирали новые, не подобрали, скроили что-то из старых.

И сразу сознание прояснилось, все стало на свои места: я не в Лионе и не в Дижоне, никогда я не играл в теннис, не ловил бабочек в штате Вайоминг. И Лолиту

писал не я. Я не так уж и стар и лежу рядом со своею женой в сочинской гостинице у Черного моря. Срок нашего пребывания здесь кончается, скоро мы вернемся в Москву, я засяду за стол сочинять что-нибудь длинное или короткое и кроме всего прочего запишу этот бред, возникший у меня от того, что я пил водку, как в молодости, гранеными стаканами и был уже сильно пьян, когда какая-то женщина (Алла? Неля? Леля?) возбужденно меня вопрошала: «Владимир, почему вы не уезжаете? Неужели вы думаете здесь что-нибудь изменить?» И я, помнится, наклонился к ней и, с трудом ворочая языком, обещал, что как только выйдем на берег, я обязательно что-нибудь или все изменю.

Сочи, 1979 —
Штокдорф, 1981

Стихи на полях прозы

* * *

Был вечер, падал мокрый снег,
И воротник намок.
Сутулил плечи человек
и папиросы жег.
Он мне рассказывал о том,
что в жизни не везет.
Мог что угодно взять трудом,
а это не возьмет.
Он долго думал — все равно
не знает, отчего
искусство любит, а оно
не жалуется.
Давно он сам себе сказал:
зачем себе ты врешь?
Пора понять, что Бог не дал
таланта ни на грош.
Пора, пора напрасный труд
забыть, как страшный сон...
Но, просыпаясь поутру,
спешит к тетради он.
И снова мертвые слова —
ни сердцу, ни уму..
За что такая вот судьба,
зачем и почему?

«Ну мне сюда».
В руке рука.
Сказал вполусерьез:
«Давай пожму ее, пока
не задираешь нос».
И, чиркнув спичкой, человек
за поворотом сник.
Я шел один, и мокрый снег
летел за воротник.
1957

* * *

Все то, что было молодым,
Стареет. Может статься,
Умру почтенным и седым
И поглупевшим старцем.
Меня на кладбище снесут
И — все равно не слышу —
Немало слов произнесут
И до небес превознесут,
И в классики запишут,
И назовут за томом том,
Что написал для вас я...
Что ж, слава—дым, но дело в том,
Что к нам она всегда потом...
Но почему всегда потом
И никогда авансом?
Когда умру я в нужный срок,
Жалеть меня не смейте.
Я, может, сделал все, что мог,
За много лет до смерти.
Но если завтра попаду
Под колесо машины,
А то и вовсе упаду
Без видимой причины, —
То неужели в день такой
Не пожалеют люди,
Что ненаписанное мной
Написано не будет?
1957

ЗОЛОТЦЕ

Голову уткнув в мою шинель,
авиационного солдата,

девушка из города Кинель
золотцем звала меня когда-то.

Ветер хороводился в трубе,
а она шептала и шептала...
Я и впрямь казался сам себе
слитком благородного металла.

Молодость — не вечное добро.
Время стрелки движет неустанно.
Я уже наверно, серебро,
скоро стану вовсе оловянным.

Но, увидев где-то у плетня
девушку, обнявшую солдата,
я припомню, то, что и меня
называли золотцем когда-то.
1958

* * *

В сельском клубе начинались танцы...
Требовал у входа сторож-дед
корешки бухгалтерских квитанций
с карандашной надписью «билет».

Не остыв от бешеной кадрили,
танцевали, утирая пот,
офицеры нашей эскадрильи
с девушками местными фокстрот.

В клубе поднимались клубы пыли,
оседая на сырой стене...
Иногда солдаты приходили
и стояли молча в стороне.

На плечах погоны цвета неба...
Но на приглашения солдат
отвечали девушки: «Нэ трэба.
Бачь, який охочий до дивчат».

Был закон взаимных отношений
в клубе до предела прям и прост:
относились девушки с презреньем
к небесам, которые без звезд.

Ночь, пройдя по всем окрестным селам,
припадала к потному окну.
Видевшая виды радиола
выла, как собака на луну.

После танцев лампочки гасились...
Девичьих ладоней не пожав,
рядовые молча торопились
на поверку, словно на пожар.

Шли с несостоявшихся свиданий,
зная, что воздастся им сполна,
что применит к ним за опозданье
уставные нормы старшина.

Над селом притихшим ночь стояла...
Ничего не зная про устав,
целовали девушки устало
у плетней женатый комсостав.
1958

БАРАНЫ

Мысль о том, что борьба есть закон,
Человеком усвоена рано.
И в баранину с древних времен
Человек превращает барана.
Но издревле баран, как баран,
Размышлял примитивно и глупо:
«Люди могут забыть ресторан,
Обойтись без овчинных тулупов.
Есть в баране душа, есть и плоть,
Светят всем одинаково звезды.
Может быть, и барана Господь
Для чего-то для высшего создал».
И не знают они, чудаки,
Что, увы, плодоядному люду
Очень нравятся и шашлыки,
И другие скромные блюда.
Что баранина, если сварить,
Хороша и к жаркому и к супу...
И зачем без тулупов ходить,
Если можно ходить и в тулупах?

Человек очень занят. Ему
Дела нету до чьей-то планиды.
И, пожалуй, совсем ни к чему
Разбираться в бараньих обидах.
Он, охотник до умных затей,
Жил, скучал и, возможно, от скуки
Человек на планете своей
Напридумывал разные штуки...
Мчат машины, растут города,
Зажигаются мощные топки...
Скоро жизнь будет впрямь хоть куда.
Нажимай только нужные кнопки.
Только что человек ни найдет, —
Все ему приедается быстро.
И уже в межпланетный полет
Человека влечет любопытство.
Он, презрев и опасность и смерть,
Долетит до Луны и Урана...
Только жаль, никому не сумеет
Из баранины сделать барана.

1959

ЭЛЕГИЯ

Домой как-то после получки
Я брел в состоянии хмельном.
Коровы мечтая о случке
Вздыхали во мраке ночном.
А если в дороге случались
Собаки, и я различал:
Они меж собою случались, —
Я палкою их разлучал.
На крышах рыдали коты,
И птахи на ветках свистели,
И парень деваху в кусты
Затаскивал с низменной целью.
Был вечер на звезды нанизан,
Я шел в состоянии пьяном,
За чьим-то окном телевизор
Вещал о свершении планов.
О жатве, о нефтедобыче,
О шелесте славных знамен...
Такими вестями обычно
Бываю и я вдохновен.

Но тут героической теме
Решив изменить по пути,
Я думал: кого бы на время
Для низменной цели найти?
С надеждой такой неуместной,
С бескрылой такою мечтой
Шагал я по местности местной,
Подвыпивший и молодой.

1984

ЧУДО

Мятежный член художника Да Винчи
летал над потрясенною Европой,
то к звездам поднимался горделиво,
то опускался ниже облаков.
Случилось это вроде в понедельник,
или во вторник, или даже в среду,
короче, был обычный будний день.
Обычный день, привычная работа,
на рынках шла небойкая торговля
и в магазинах что-то продавалось,
толпились покупатели у касс.
Ученики за партами сидели,
водители сидели за штурвалом,
в мартенах сталь варили сталевары
и повара в котлах варили суп.
По всем дорогам ехали кареты,
возы с поклажей и автомобили,
шли железнодорожные составы
и по морям спешили корабли.
Цвели цветы, росли хлеба и дыни,
и овощи и фрукты поспевали,
и с криком гомосапиенс рождался —
другой со стоном тихим отходил.
Обычный день, но вдруг воскликнул кто-то:
«Летит!». И стал указывать на небо,
ему никто сначала не поверил,
но после все увидели: летит!
Повысыпали люди на балконы,
на площади, на улицы, и вскоре
остановилось всякое движение

и наступила дикая жара.
Все головы свои позадирали,
к глазам несли бинокли и лорнеты,
и объективы кино-фотокамер
нацелились тотчас же на предмет.
Все астрономы и домохозяйки,
купцы, шоферы, праздные зеваки
в пустое небо пялили глаза.
Два мужика в траттории открытой
провозглашали тосты за Да Винчи,
за член его и об заклад побились,
мол, упадет он иль не упадет.
Торговки рыбой громко хохотали,
а девушки притупливали глазки,
но все ж порою взглядывали в небо
и прыскали стыдливо в кулачок.
Монахини испуганно крестились
и предрекали светопреставленья,
и говорили: это не к добру.
Когда обыкновенная комета
появится на небе, это плохо,
а это не комета... Это, это...
кошмар и ужас, Господи, прости.
И педагоги были в затрудненье,
как детям объяснить явление это,
родители и вовсе растерялись,
вдруг дети разберутся, что к чему.
А дети впрямь все мигом раскусили.
Был мальчик там по имени Джованни,
а может быть, Джузеппе, я не помню,
а помню только, что, взглянув на небо,
у мамы он испуганно спросил:
«Ой, мама, это что еще такое?
Что за предмет такой продолговатый
над головами нашими летит?»
Конечно, мама несколько смутилась,
попробовала даже отшутиться,
потом нашлась: мол, это дирижабль.
Но мальчик был неглупый очень мальчик:
он в тот предмет попристальней взгляделся:
«Да что ты мама, это же пиписька,
ты посмотри, пиписька, — он сказал.
— Таковую же у дяди Леонардо
я видел в бане прошлую субботу,

точь-в-точь такую, правду говорю». Прохожий посмотрел на мальчугана, и дал ему конфету и мамаше: «Какой ваш мальчик умница», — сказал. А член летал над сушей и морями, пересекал различные границы и, наконец, приблизился к границе, которая обычно на замке. Его тотчас заметили радары, была внизу объявлена тревога, и прозвучали нужные команды, и поднялось дежурное звено. Майор Герой Советского Союза повел звено вперед по восходящей на встречу с неопознанным предметом, навстречу неизвестности самой. Звено несло, оно сближалось с целью, и посылало радиосигналы: «Снижайтесь плавно и гасите скорость, и идентифицируйте себя!» Но цель на то никак не отвечала, лишь наслаждалась волей и полетом, то к звездам поднималась горделиво, то опускалась ниже облаков. Тогда Герой Советского Союза на эту цель ужасно рассердился, отдал приказ готовиться к атаке, отдал приказ атаку начинать. Четыре перехватчика летели, а в них четыре летчика сидели, четыре пальца точно по команде решительно нажали кнопки «ПУСК». Четыре замечательных ракеты четыре цели точно поразили, четыре перехватчика при этом буквально разломались на куски. Три летчика немедленно погибли и лишь Герой Советского Союза живым покинул сбитый самолет. Майор на парашюте опускался, а рядом член Да Винчи опускался, кружил вокруг, жужжал и строил рожи (коли о члене можно так сказать). Майор Герой Советского Союза

был вне себя и дико матерился
и даже плакал от бессильной злобы,
но что он мог поделывать? Ничего.

А враг над ним глумился откровенно,
парил, кружил, снижался, поднимался
и вдруг пропал неведомо куда.

С тех пор его, насколько мне известно,
никто нигде ни разу не встречал.

Идут года, прошли девятилетия,
майор в отставку вышел генералом
и генералом был положен в гроб.

Давно уж нет и тех торговков рыбой,
и девушек смешливых, и монашек,
а мальчик тот Джованни иль Джузеппе,
представьте, жив еще и полон сил.

Он стал вполне солидным человеком,
благополучным, с неплохим доходом,
весьма примерным мужем и отцом.

Он трубку курит, он гуляет с тростью,
он думает о печени и почках,
о пользе равномерного питания
и о вреде безмерного питья.

Пустым мечтаньям он не предается
и в небо глаз не пялит понапрасну,
его теперь ничем не удивишь.

Года идут и славная легенда
о чуде, как-то явленном народу,
с годами затухает постепенно,
стирается из памяти людской.

Но все же есть, есть люди, для которых
легенда эта вовсе не легенда,
есть чудаки, романтики, безумцы,
которые, рассудку вопреки,
упрямо верят, что наступит время,
могучий член художника Да Винчи
вернется к нам, подымет к зениту,
разгонит облака, развеет мрак.

Все озарится сказочным сияньем,
вся наша жизнь тогда преобразится,
она в чудесный превратится праздник
и никогда не кончится при том.

1986

БАЛЛАДА О ХОЛОДИЛЬНИКЕ

*Дружеская пародия
на Беллу Ахмадули-
ну, посвященная ей
же*

Воспоминаний полая вода
Сошла и ломкий берег полустерла...
Нальем в стаканы виски безо льда,
Ополоснем сухую полость горла.
И обожжем полуоткрытый рот
И помянем, мой друг и собутыльник,
Давнишний год, метро Аэропорт,
Шестой этаж и белый холодильник,
Который так заманчиво журчал
И, как Сезам, порою открывался,
И открывал нам то, что заключал
В холодных недрах своего пространства.
Пусть будет он во все века воспет
За то, что в повседневности враждебной
Он был для нас как верный терапевт
С простым запасом жидкости целебной.
Была его сильна над нами власть,
Была его к нам бесконечна милость...
К нему, к нему душа твоя влеклась,
Да и моя к нему же волочилась.
А на дворе стоял тогда застой,
А на дворе стоял топтун ущербный,
А мы с тобой садились за стол —
И холодильник открывался щедрый.

1988

* * *

Жизнь повсюду меня мотала,
Был бродяга я, бич, бездельник...
И всего мне всегда хватало,
Но всегда не хватало денег.
Уж казалось, ну что мне нужно
В чередe вечеров и утр...
Ну, немного тепла снаружи
И немного калорий внутрь.

Ну, черняшки краюшку с корюшкой,
С луком репчатым или репою
Да бутылку на пару с корешом —
Я же большего и не требую.
Но, увы, так всегда бывает,
Что чего-то всегда не хватает
Из того, что за деньги дают.
То того, чем себя укрывают
То того, чем нутро заливают,
То того, чем закусывают.

1988

* * *

Облокотясь о пьедестал
Какого-то поэта,
Я вынул пачку и достал
Из пачки сигарету.
И закурил,
И думал так
Бессвязно и бесстрастно:
От сигарет бывает рак
Туберкулез и астма.
Гастрит, артрит, инсульт, инфаркт
И прочие болезни.
Курить нам вредно — это факт,
А не курить полезно.
И думал я еще о том,
Что, взгляд во тьму вонзая,
Стоит поэт, а я о нем
Ну ничего не знаю.
Не знаю, как он был да жил
Пред тем, как стать колоссом,
Чем честь такую заслужил
Что пил? курил? кололся?
Ну что ж, достукался и вот
Здесь стынет истуканом.
Не курит, шприц не достает
И не гремит стаканом.
А я себя по мере сил
Гублю напропалую.....
Я сигарету загасил
И закурил другую.

1990

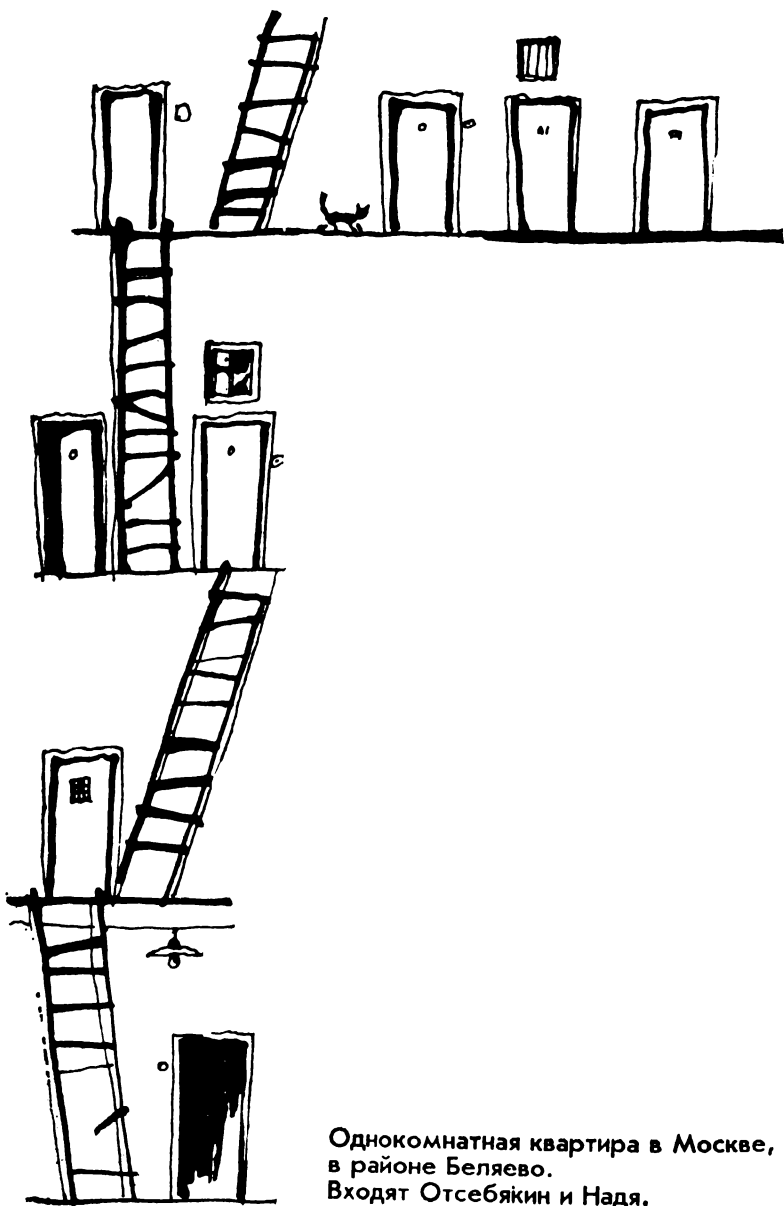
ФИЛОСОФИЧЕСКОЕ

Живущий только временно живет,
А не живущий не живет не временно.
Освободясь от жизненного бремени,
Он вечности частица и оплот.
Он там, где есть нежизни торжество:
Ни тьмы, ни света, ни зимы, ни лета...
Хорошего там нету ничего,
Но ничего плохого тоже нету.
Там нет дурных вестей, утрат, растрат,
Тюрьмы, суммы и чириев на коже,
Там дрожь не бьет и зубы не болят,
Не жмут ботинки и тоска не гложет.
Там смерть и страх неведом никому —
Ни храбрым людям, ни трусливым людям.
Пусть даже мир окончится, — ему,
Тому, кто там, конца уже не будет.
Ваш предок тем особо дорожил,
Такую мысль в себе лелеял гордо,
Что с Пушкиным в одну эпоху жил
И с Гоголем в одни и те же годы.
Что ж, за приливом следует отлив,
Не всякий век талантами расцвечен,
А наш и вовсе сир и сиротлив,
гордиться нечем, незачем и нечем.
Но жребий исправим, поскольку он
На время жизни выпал, а помрете, —
И с гениями сразу всех времен
В течение нежизни совпадете.
Когда вы там пребудете, но тут
Случится все хорошее, и даже
Враги все ваши старые умрут
И новые отправятся туда же.
Так не спешите, свой всему черед,
Вся ваша жизнь—лишь миг на перевале...
Вот минет он, и вечность развернет
Свой бесконечный свиток перед вами.

ФИКТИВНЫЙ БРАК



Водевиль
в одном действии



Однокомнатная квартира в Москве,
в районе Беляево.
Входят Отсебякин и Надя.

Отсебякин. Ну, вот мы и дома. Раздевайтесь, вешайтесь, так сказать, и проходите... Замерзли?

Надя. Да нет, ничего. Все о'кей.

О. Ой! Подморозило здорово, как и положено на Рождество. Крещенские морозы, однако же, бывают трескучие. На улице-то ладно, но если б они хоть автобус отапливали, а они экономят. Они теперь на всем экономят.

Н. Кто — они?

О. Власти. (Поспешно поправляется). Нет, я имею в виду, конечно, местные власти. Да вы не стесняйтесь, садитесь. Убрано не тщательно, квартира, сами понимаете, холостяцкая. (Пауза). А я лично дрожу не от холода, а от страха.

Н. От страха? А чего это вы так боитесь?

О. Сейчас-то уже не боюсь, а в загсе боялся. Вы разве не заметили, я когда расписывался, рука сильно дрожала? Я обычно не сокращенно расписываюсь, а полностью: «От-себя-кин». А тут «Т» написал, «с» написал, а дальше рука вовсе не подчиняется, и я тогда просто крючок вывел какой-то.

Н. Надо же! А в чем дело?

О. Ну как же. Фиктивный брак, сделка, можно сказать, тщательно незаконная.

Н. Подумаешь, незаконная. А кто сейчас по закону живет? Все воруют.

О. (осторожно). Я бы все-таки не обобщал.

Н. А я и не обобщаю. Я просто говорю: все воруют. Потому что не своруешь, не проживешь. Я в торговле работала, там все воровали, перешла в салон красоты, и говорить нечего.

О. Однако с мороза желательно разогреться. Как насчет чайку? Или кофе?

Н. С удовольствием.

О. А может, чего покрепче? Впрочем, вы, вероятно, водку не пьете?

Н. Почему же? Я женщина современная. Я и бормотуху употребляю.

О. Бормотуху? И часто?

Н. Нет, не часто. Иногда. С Витькой.

О. Кто это Витька?

Н. Витька? Хахаль.

О. Вы как-то выражаетесь не очень, я бы сказал, тщательно. Что значит хахаль? Можно ведь как-то иначе. Ну, допустим, возлюбленный.

Н. Витька? Возлюбленный? Ха-ха. Насмешили. Возлюбленные сейчас только в театре бывают или в кино. Да и то из прошлого века.

О. Хорошо, согласен. Возлюбленный — понятие, может быть, устаревшее. Можно сказать, например, ухажер.

Н. Ой, что вы! Ухажер — это все же тот, кто ухаживает, а Витька... ну, в общем, хахаль.

О. Ну, вот закуска готова, можно и выпить. (Наливает.) Берите вот хлеб, лук, сырок плавленый. Мяса, к сожалению, никакого. Вчера за одесской колбасой сорок минут стоял, давали по полкило в одни руки, а мне все же не досталось.

Н. В магазинах уже вообще жрать нечего.

О. Я бы все же не обобщал. Временные затруднения, конечно, имеются, но мы этого не скрываем.

Н. Вы-то не скрываете. Уж и скрывать нечего, все пусто.

О. Ну, ладно, об этом не будем. Выпьем. Я даже не знаю за... ну, в общем... будьте здоровы.

Н. О'кей.

Чокаются, выпивают, закусывают.

О. Что же этот ваш Витька — хороший человек?

Н. (удивленно). Витька? Вы что, смеетесь? Пьянь да рвань. В такси работал, человеком был. Потом за пьянку в слесари перевели на исправление. А там исправишься. Там чего-нибудь открутил — бутылка. Чего-нибудь закрутил — бутылка. Спивается народ.

О. Ну, это вы вообще... знаете... не надо. Я считаю, беда не в том, что много пьют, а что мало закусывают. Ну давайте еще?

Н. О'кей.

Чокаются, выпивают, закусывают.

О. Вообще, я считаю, в целом все идет нормально. Очень много построено всяких крупных вещей. Спутники летают. Октябрьская революция совершилась не зря. Если бы, скажем, не революция, вот я, Отсебякин, кем бы я был?

Н. Ну, так бы и был Отсебякин.

О. Не надо так. Критика в нашем обществе допустима, и мы ее приветствуем. Но она должна быть тщательно конструктивна. Недостатки, конечно, имеются. (Закусы-

вает.) Скажем, я инженер-электрик. У меня одно изобретение, шесть рацпредложений, имею рекомендацию в партию, а вынужден идти на нарушение закона, потому что холостой. Так все и считают: Отсебякин холостой, ему что. И если чего случилось, ну, допустим, там обмотка генератора перегорела, сверхурочно надо работать или праздничное дежурство, кого зовут? Отсебякина. Ты уж, Отсебякин, извини, ты ж холостой, тебя от семьи отрывать не надо. Это еще ладно, если говорят — Отсебякин. А то все путают. То Отсебятиным назовут, то Отсобакиным. Трудно, что ли, запомнить? Фамилия хотя и простая, но редкая. Я лично однофамильцев своих не встречал. А когда в командировках бываю, в справочных обычно интересуюсь, нет ли там какого-нибудь местного Отсебякина. И ответ всегда один: не значится. А поскольку у меня нет ни папы, ни мамы, ни тети, ни дяди и никаких других родственников, я думаю, может, я вообще на всей земле один Отсебякин остался. И все равно. Никакого уважения. Как-то к Седьмому ноября среди инженерно-технического персонала курицу распределяли... Нет, не к Седьмому, а на День Победы... Нет вру... Не на День Победы, а на Первое мая. Меня как раз как холостого на демонстрацию послали. Я еще Громыко на палке нес. Так вот на демонстрацию послали меня, а курицу Трошину распределили. У него, говорят, двое детей и диабет. А я вообще не уверен, что при диабете можно курицу есть. Ну, ладно, курица — это еще ничего. Курица, допустим, на почве временных трудностей, тщательно Продовольственной программой нашей партии предусмотренных. Но когда мне оказывают политическое недоверие, тут я тщательно прошу меня извинить. У нас сейчас как раз специалистов набирают в Англию. То есть вру, в Анголу. Я, конечно, сразу выразил готовность оказать братскому народу посильную помощь. Характеристики собрал, авторское свидетельство представил. И опять не пускают по той же причине, что холостой. Откуда мы знаем, говорят, может, ты намылился, чтобы слинять. У тебя же ни жены, ни детей. Ни папы, ни мамы. Ни тети, ни дяди. Если что, и спросить не с кого. Ну, вот скажите, Надя, вот посмотрите на меня. Я вам человек тщательно посторонний. То есть ни в фиктивном, конечно, а в фактическом смысле. Так вот, скажите, может такой человек, как я, предать свою родину, свой народ и сбегать?

Н. Не знаю. Это зависит, у кого какие возможности.

О. (возмущен). При чем тут возможности? Что ж я, Иван, что ли, не помнящий ничего? Я человек советский. Мне родина дала воспитание, образование, в люди вывела. И вообще, я патриот. Я люблю наши просторы, реки, поля, леса. Наши сосны, березы...

Н. Березовый сок тоже любите?

О. Не понял.

Н. Ну, сок, говорю. Березовый. Знаете, в песне поется: (Поет, фальшивя) «Березовым соком, березовым соком...»

О. Сок не знаю, не пробовал. А березы люблю.

Н. Береза — дерево неплохое. Горит здорово. Но пальма все же лучше. На ней бананы растут.

О. Ну и что, что бананы? Что ж я теперь за бананы родину, что ли, должен продать (Размышляет вслух.) Ну, допустим, у меня бы там кто-нибудь был. Дядя миллионер или тетя миллионерша. А у меня там никого. И здесь тоже. И все же здесь меня туда-сюда, а там я кому нужен? Конечно, был бы я как этот... гроссмейстер... Или бы на коньках ездил, как эти... вот... Протопопов и Аввакумова. И тоже надо понять, это ж не Англия, а Ангола, там куда побежишь? Джунгли вокруг и дикари. Поймают, как курицу, и распределяют между собой. И не посмотрят, что у меня авторское свидетельство и рекомендация в партию. И что, может быть, после меня на земле ни одного Отсебякина не останется.

Н. Слушайте, так вам, может, лучше вообще отказаться? Тем более если бежать не собираетесь, так зачем ехать?

О. Тщательно не понимаю. Как это зачем ехать? Сознательность ведь должна быть какая-то! Не только же для себя живем. Освободившимся народам надо помочь. Они же развиваются. Они еще в электричестве не понимают и плюс замыкают на минус. И вообще... Зарплата у меня какая? А там все же сертификатами платят. И на дублинку можно накопить, и даже на «Жигули».

Н. О'кей. «Жигули». У нас тоже один в Узбекистан... нет в Афганистан... Поехал за «Жигулями», а вернулся без головы. В цинке запаян, как шпрот.

О. Слушайте, я забыл. У меня же и шпроты есть. Я еще в прошлом году достал банку. Вот, хотел сразу съесть, да потом подумал, может, какой торжественный случай будет. Вот, пожалуйста. Подождите, сначала вы-

пьем. (Наливает). Ну вот. За все хорошее. Чтобы и шпроты и все такое можно было всегда достать.

Чокаются, выпивают, закусывают.

А я все же не пойму, для чего вы-то на эту фикцию согласились? У меня, можно сказать, служебная необходимость, а для чего вам-то?

Н. А просто так. Назло Витьке. Он хоть и пьянь, а задается. Ты, говорит, и мне нужна только время от времени. А другому и вовсе никому не нужна. О'кей, говорю, ты еще увидишь, нужна или не нужна. (Мечтательно.) Теперь колечко в магазине новобрачных по талону куплю, приду к Витьке, видал, скажу, вышла замуж. И не за алкаша какого-нибудь вроде тебя, а за инженера. В Англию едет, за «Жигулями».

О. (скромно). Ну, не в Англию, а в Анголу.

Н. А ему все равно. Он не различает. Он когда набухается, политуру от антифриза не отличит.

О. Я, конечно, в вашу личную жизнь не вмешиваюсь, но все же тщательно не понимаю. На вашем Витьке свет клином не сошелся. Есть много других мужчин.

Н. (недоверчиво). Мужчин? Не встречала. Алкашей полно. Да еще такие, вроде вас, иногда попадают. Вот вы, чем меня, себя бы лучше спросили. Вам-то зачем эта фикция? Если у вас служебные интересы и к тому же бежать не собираетесь, так и женились бы не фиктивно, а как положено. Семью б завели, детишек. Таких маленьких отсебякинят. Это ж какая радость! Годы-то ваши идут. Сколько вам лет? Пятьдесят?

О. (возмущен). Почему это пятьдесят? Откуда пятьдесят? Вы что это, замуж выходите, а даже в паспорт не смотрите? Я еще молодой. Мне только сорок два исполнилось.

Н. Ничего себе молодой. Моему брату сорок один, а у него уже внук есть. Рыжик. И потом, сегодня вам сорок два, а завтра будет восемьдесят.

О. Вы что, смеетесь? Сегодня сорок два, а завтра восемьдесят. Вы арифметику в школе проходили?

Н. Господи, я ж не про арифметику, я про жизнь. Будете старенький, с палочкой будете ходить. В аптеку надо будет сбегать, клизму поставить. Кто побежит? Кто поставит?

О. (сердится). Да что это вы такое говорите? Палочка, клизма. Когда это еще будет? Я еще молод и полон сил.

Я двухпудовую гирию четыре раза одной рукой выжимаю.

Н. О'кей. Гирию, четыре раза. А остальное вы можете?

О. Это в каком же смысле?

Н. Ну, в каком, в каком! Мужчина должен не только с гириями свою силу показывать.

О. Не понял.

Н. Надо ж, какой непонятливый. В школе арифметику проходил, а на переменах ему ничего не рассказывали. Я имею в виду, как у вас насчет этого дела? Или вы только гири таскать умеете?

О. Я вашей нездоровой развязности не одобряю, но если уж вы так интересуетесь и лезете во все дырки, могу объяснить, что я к женщинам тщательно равнодушен.

Н. Эй, дядя! Так вы гомик!

О. Кто? Комик?

Н. Не комик, а гомик. Я имею в виду гомосек. Надо ж, такой здоровый, лысый, двухпудовую гирию таскает — и гомик. Ой, не могу, принесите воды, умру от смеха!

О. Умрете, и зря. У меня порочных наклонностей нет. У меня была одна дама. Нинелька. Двенадцать лет под ручку ходили, а потом три месяца пожили и разошлись. Вот и все. И с тех пор я ни на какие серьезные отношения не согласен. А насчет того, что вы говорите, насчет этих комиков, так я лично их тщательно осуждаю. Потому что сами отвлекаются и других от общенародных задач отвлекают. Сейчас, как вы знаете, рост коренного населения падает, а азиатского возрастает. Скоро уже все будем косые. А эти ваши комики... от них не то что человек, даже мышь родиться не может. Ну, хорошо если этим занимается какой-нибудь, скажем, творческий человек. Ему, может быть, для вдохновения нужно. Но ведь есть же такие, что он, может быть, даже средней школы не кончил, может, даже закона Ома не знает, а туда же лезет. Как будто он какой-нибудь художник или артист (помолчав). Я, между прочим, и сам был артистом. В заводской самодеятельности Ленина изображал.

Н. Вы? Ленина? Никогда не поверю. Хотя вообще-то похож. Плешь точно такая.

О. Плешь тут ни при чем. Плешь и налепить можно. А главное — уметь изобразить. Во всей простоте и величии. (Неожиданно преображается, вскакивает на стул, говорит быстро, громко и сильно картавя). Октябрьская революция, о необходимости которой всегда говорили большевики, свершилась!..

Н. (смеется до слез на глазах, до истерики). Ха-ха-ха! Ой, не могу! Ой, убил! Зарезал!

О. (доволен). Что, похоже?

Н. Жуть как похоже! Как это... социалистическая революция... (Опять смеется). Ой, не могу! Так, пожалуй, и чокнуться можно! Слушайте, а чего это он так картавил?

О. Ну, мало ли чего! У разных людей бывают всякие дефекты. Речи и всего остального.

Н. А мне говорили, что он был еврей.

О. (поспешно). Не знаю, я политикой не интересуюсь.

Н. О'кей, я тоже не интересуюсь, но мне говорили,

О. Что говорили?

Н. Ну, что еврей.

О. (строго). Кто?

Н. (неуверенно). Ну, этот... ну... Ленин.

О. Я спрашиваю, кто вам это говорил?

Н. Ну, Витька

О. Я вижу, у вашего Витьки язык слишком длинный. Да за такие разговоры знаете, что бывает?

Н. А что? Что такое? Что я такого сказала? Ну, еврей, ну, и что. Среди евреев тоже неплохие люди бывают. У нас директор, Борис Маркович...

О. Я не спорю. Может быть, ваш Борис Маркович и хороший, но разве можно сравнивать с Лениным?

Н. А вы Бориса Марковича знаете?

О. Не знаю и знать не хочу.

Н. Ну, вот и не говорите. Борис Маркович, между прочим, «р» выговаривает не хуже нас с вами. Не то что некоторые...

О. Ну, знаете. Это вы уж совсем. Да раньше за такое...

Н. Мало ли чего раньше было! А теперь за это не сажают. Теперь что хочешь, то и говори. Хоть про русских, хоть про евреев.

О. Я бы все-таки воздержался. Нет, вы не подумайте. Я лично против евреев ничего не имею. Это Трошин считает, что все от них. Диабет его от евреев. Вывести, говорит, их надо всех, чтоб больше не было. А я этого тщательно не понимаю. Это даже противоречит основным положениям. Мы интернационалисты. Мы ко всем нациям терпимо относимся. И к плохим, и к хорошим. С другой стороны, и об экологии надо подумать.

Н. О чем?

О. Я имею в виду природное равновесие. В природе лишних организмов никаких не имеется. Одно выведешь, другое появляется. Еще худшее. Вот китайцы, допустим, воробьев уничтожили, и что получилось? Жуки всякие развелись, личинки. Рис весь поели, китайцам ничего не оставили. Опять пришлось воробьев за границей на золото закупать.

Н. Не пойму, что это вы городите. Евреи и воробьи. Какая связь?

О. А такая связь, что если природа без воробьев не обходится, так может, ей и евреи для чего-то нужны.

Н. Еще б не нужны! Да у нас в салоне... если б не наш Борис Маркович... Слушайте, а я вчера анекдот слыхала.

О. (заинтересованно). Про евреев?

Н. Нет Про Чапаева.

О. (поспешно). Политических анекдотов не слушаю.

Н. Да он короткий. Значит, Чапаев идет, а Петька сидит на дереве... Нет, наоборот, Петька идет, а Чапаев сидит на дереве...

О. Чапаев? Сидит на дереве? Ха-ха-ха-ха.

Н. Он сидит на дереве, а Петька идет... Ха-ха-ха.

О. (одновременно и сердится, и хохочет). Чапаев на дереве... Ха-ха-ха... Да что вы мне глупости рассказываете? Как это может быть: Чапаев и на дереве? Он же не птица какая-нибудь, а народный герой. А вы: Чапаев и на де... (не выдерживает и опять смеется).

Н. Значит, Петька идет, а Чапаев...

О. Стоп! Стоп! Не хочу слушать! И вообще, в моем присутствии прошу сомнительных анекдотов не рассказывать. Чапаев не птица какая-нибудь, а легендарный герой. Он жизнь свою отдал, чтоб мы с вами сегодня жили в хороших условиях. И вообще, я принципиально против таких насмешек над самым святым, что у нас есть (помолчав). Тем более что моего дедушку за анекдот расстреляли.

Н. Извините, я не знала.

О. Это, конечно, был перегиб. Во времена культа личности. Тем более что дедушка пролетарского происхождения. Его, конечно, потом реабилитировали. Бабушке компенсацию дали. Девятьсот рублей. Старыми деньгами (помолчав). Теперь дело другое. Возвращение к ленинским нормам. Теперь за анекдоты не расстреливают. Теперь гуманность, больше трех лет не дают. Доверие нам оказывают. А мы им злоупотребляем.

Н. (поднимаясь). Ну, ладно. Я, пожалуй, пойду.

О. Куда это вы?

Н. Не знаю куда. К Витьке пойду.

О. Как это «к Витьке»?

Н. А в чем дело?

О. Да как это в чем дело? Что же вы, не понимаете?

Н. Не понимаю.

О. Да как это вы не понимаете? У вас, конечно, представления обо всем очень смелые. Но все-таки надо знать и границы. И потом, в какое же положение вы меня ставите? Я все-таки занимаю заметное место. Инженер-электрик. У меня диплом есть, авторское свидетельство и рекомендация. И я не желаю, я не допущу выставлять себя на посмешище. Я не позволю, чтобы про меня ходили всякие сплетни. Что моя жена гуляет с какими-то алкоголиками. Я не дам мне рога наставлять. Я вам не козел какой-нибудь, и не олень, и не этот... тур кавказский.

Н. (удивленно). Надо же какой старомодный!

О. В этих вопросах — да, старомодный. В технике я признаю все передовое и современное. И в электричестве разбираюсь, и в электронике, и на компьютере работать могу. Но в вопросах сексуальных не желаю знать никаких революций и жене своей налево гулять никогда не позволю.

Н. Хо-хо-хо! Какой отсталый! А еще инженер. Да сейчас, если хотите знать, все гуляют. У меня подружка, Люська, диспетчером на Речном вокзале работает, так она с одним развелась, за другого вышла, живет с обоими, а с третьим в Сочи ездит.

О. Какая гадость!

Н. Гадость не гадость, а Люська довольна.

О. Все равно гадость. Вот родит ваша Люська ребенка и даже знать не будет от кого.

Н. А зачем ей знать? Какая разница, от кого? Лишь бы человек вырос хороший. И вообще, Люська — женщина современная, со спиралью ходит.

О. Какой разврат! А вы?

Н. Что я?

О. Вы тоже... гм... гм... современная?

Н. А вам-то какое дело? Что вы ко мне в душу лезете? Какой тоже нашелся. Учитель жизни. Женился фиктивно, чтоб делишки свои обстряпать, так еще в душу с

сапогами лезет. Или вы, может, забыли, что женились фиктивно?

О. (*опомнившись*). Да, действительно. Забыл. Потому что вы мне своими дурацкими анекдотами голову заморочили. Вы заморочили, а я забыл, что фиктивно.

Н. (*примирительно*). Хорошо, что вспомнили хоть теперь.

О. Теперь вспомнил. Да. (Взрывается, озаренный новой идеей). Да, но изменять вы мне собираетесь не фиктивно, а самым натуральным и тщательным образом!

Н. О, господи! Какой-то кусок придурка попался. Ладно, я пойду.

О. К Витьке?

Н. Да какое вам дело — к Витьке, к Петьке, к Митьке?

О. Не могу позволить. (*Загораживает дорогу*).

Н. Слушай, Оттебякин. Ты что, из дурдома выскочил? Пусти!

О. Не только не пушу, а вот еще и дверь запираю. Раз, два оборота, ключ в карман. Вот и все.

Н. Надо же. Слушай, Отсобакин...

О. Я не Отсобакин, а Отсебякин. Это все-таки разница.

Н. А мне все равно, хоть Отсобакин, хоть Откошкин. Открой — и все.

О. И не подумаю.

Н. О'кей. Тогда я... тогда я... Слушай, Отфедякин, открой или я из окошка выпрыгну.

О. С шестого этажа? Счастливого полета.

Н. (*меняя тон*). Слушайте, ну, что вы какой чудной, ну, откройте. Мне же пора. Что вы из себя дурака строите? Вы же не дурак. Вы человек образованный, артист, Ленина изображаете. (*Срывается*). Открой, тебе говорят, а то я кричать буду. (*Кричит*.) А-а!

О. (*смеется*). Голосок есть. Ну-ну, давай еще!

Н. А-а! Насилуют!

О. (*смеется*). Еще громче. Ну, покричишь. Ну, придет кто-нибудь. Допустим, даже участковый. А я ему брачное свидетельство в зубы. Какое насилие? Смешно даже.

Н. (*успокаивается*). О'кей. Дайте выпить.

О. С удовольствием. Тут как раз на две рюмки осталось. За что пьем?

Н. Чтоб ты сдох.

О. Некрасиво.

Н. У вас бумага и ручка есть?

О. А зачем?

Н. Заявление писать буду.

О. Не понял. Это какое же заявление? В милицию?

Н. Зачем в милицию? В партком.

О. В партком?

Н. А что? Имею право. Прошу принять меры против мужа моего Отсебякина, который фиктивно женился, чтобы сбежать в Англию и разрушить крепкую советскую семью.

О. Да что вы говорите? Фиктивно женился и крепкая семья. Это же просто чушь.

Н. Вот вы там, в парткоме, и скажите, что чушь.

О. Ну, уж это шантаж. Тщательный шантаж. Хорошо. Я не против. Мне эта Ангола и не нужна. Чего мне там делать? Чтоб мне там голову отрезали? От заграницы отказываюсь и завтра же подаю на развод.

Н. О'кей, я согласна.

О. Ну, и хорошо.

Н. Хорошо.

О. И я говорю: хорошо.

Н. И я говорю: хорошо. *(Помолчав)*. А квартиру как, на две комнаты в коммуналке поделим или вы как благородный человек полностью уступите брошенной жене?

О. Какая квартира? Это моя квартира!

Н. Нет, Оторвакин, это наша квартира.

О. Надо же, какая наглость! Фиктивно вышла замуж и уже в первый день... Аферистка!

Н. И я же аферистка. Он женился фиктивно, чтобы сбежать, а я аферистка. Да я на тебя не только в партком, я на тебя в органы напишу, я иностранным корреспондентам заявление сделаю.

О. *(задыхаясь)*. На меня... в органы? Иностран...а... а...а...

Н. Вот тебе и а!

О. А... а... *(Валцется на кровать)*.

Н. *(оторопев, смотрит на Отсебякина)*. Эй, вы чего это? Вы опять, что ли, Ленина изображаете? В Мавзоле? Слышишь, Отсебякин, ты это не надо. Не надо меня пугать. Я мертвяков с детства боюсь. А насчет органов, так это ж я пошутила. Ты ж меня запер, а мне чего делать? Меня Витька ждет. А органы эти, да ну их... Я их сама боюсь. Вставай, Отсебякин, не придуривайся. Чего ты так разволновался? Что мне, квартира твоя нужна? Холодильник или телевизор — допустим. Ну, даже если он

и цветной, чего я по нему не видела? Хлебоборов Кубани, что ли, не видела? Слышишь, Отсебякин, я тебе серьезно говорю, ты вставай, ты меня не пугай. Ты пошутил, я пошутила, а помирать незачем. Ты еще молодой, хотя и лысый. И тебе надо после себя еще хотя б одного Отсебякина оставить. А насчет Витьки, так что ж... У нас с ним фактически ничего и нет. Он же пьянь пропащая. Уже вообще ничего, кроме бутылки, не видит. Руки дрожат, ноги дрожат, про остальное и говорить нечего. Слышишь, что ли, эй! Молчит. Видать помер. Надо же! Только что был живой, а теперь мертвый. Дурак какой! Сам все затеял, и сам же помер. Где ж у него телефон? *(Набирает номер)*. «Скорая»? Очень срочно. Как что случилось? Человек помер! Как это вы к мертвым не едите? Может, его еще откачать можно. И вообще я мертвяков от живых не отличаю. Сердце работает ли? О'кей, я послушаю, держитесь у телефона. Вы слышите? Чего-то вроде чикает. А может, это часы чикают на руке. Откуда я знаю? Я не медик и не часовщик. Сколько лет? Да не старый еще. Лысый, правда, как Ленин, но еще в силе. Гири таскает. Да нет, сейчас не таскает, сейчас лежит. Отчебукин фамилия... то есть этот Отчебякин... Отсебякин точнее. Какой адрес? А откуда я знаю. Знаю только, что в Беляево, а улицу и номер дома не посмотрела. Держитесь у телефона, сейчас я в брачное загляну, там должно быть записано. Где же у него брачное? В кармане, должно быть... *(Лезет к Отсебякину в карман)*.

О. *(очнулся)*. А? Что? Где я? Кто это?

Н. Это я. Надя.

О. Откуда Надя? Какая Надя?

Н. Жена ваша.

О. А зачем по карманам лазить?

Н. Да ты, Отсебякин, не волнуйся, я только адрес хотела посмотреть, я думала, что ты мертвый. А если ты живой, то адрес и ни к чему. Может, тебе что-нибудь нужно, ты скажи, я все сделаю.

О. *(слабым голосом)*. Пить хочу.

Н. Пить? Сейчас. Минуточку. Ой, про «скорую»-то забыла. «Скорая», он пить хочет. Да кто хулиганит? Человек пить хочет, а при чем же тут хулиганство? *(Бросает трубку)*. Дураки какие-то, честное слово. Уже и попить человеку нельзя. Мало того, что жрать нечего, так и пить нельзя. *(Приносит воду)*. Пей, Отсебякин, пей от

пуза, вода не курица, она еще пока не дефицит. Ох, как ты меня напугал. Ты что же, сердечник? Так тебе надо не гири, а валидол с собою таскать. У меня Витька тоже сердечник, так у него валидол всегда при себе. Водку пьет, валидолом закусывает. И чего-то там у него расширяется. Тебе еще чего нужно?

О. Нет, спасибо. Мне уже лучше. Я вам за вашу заботу тщательно благодарен.

Н. Ой, что вы! Не за что. Спасибо, что живой остался. А то я мертвяков до ужаса боюсь. А то б еще следствие было. Как умер да почему? А я следователей боюсь еще больше, чем мертвяков. Я когда еще в торговой сети работала, сама чуть под следствие не попала. Потому и ушла. (Пауза). Ну, ладно, пожалуй, пойду.

О. Куда?

Н. К Витьке пойду, куда ж еще?

О. Не надо к Витьке.

Н. А куда ж мне? Домой? Там тоже весело. Мать, брат, жена брата, племянники. Рыжик...

О. И домой не надо.

Н. Слушай, Отсебякин, у тебя, может, не только с сердцем, у тебя и с головой не в порядке. К Витьке не надо, домой не надо. А куда надо? На улицу, на вокзал, куда?

О. Никуда. Здесь оставайся, живи.

Н. Ой, что это вы такое говорите? Как это я буду здесь жить? Я же здесь не прописана и вообще никто, и вы холостой человек... то есть я имею в виду, не фиктивно, а фактически. Может, кого привести захотите, чего ж я вам буду мешать?

О. Почему я буду кого-то приводить? Что же я... за кого же вы меня принимаете?.. Что же я, понимаете, легкого поведения? Я человек солидный, женатый...

Н. Вы женатый? Ах, да... (Смеется). Вы имеете в виду это... Вы имеете в виду, что... Так это ж просто так... Это просто фиктивно. На бумаге И вообще мы даже, можно сказать не знакомы

О. Это ничего. Поживем, познакомимся.

Н. О'кей. Я, вообще-то, не против. Вы мне, вообще-то нравитесь. Смешной, лысенький и Ленина здорово представляете. Только юмора не понимаете. Идейный слишком.

О. Да по правде сказать, никакой я не идейный, я их просто боюсь.

Н. Кого?

О. Властей. Местных. Ну, и всяких других тоже. Они дедушку моего расстреляли. А дедушка у меня был хороший. Он тоже пошутить любил. И дошутился. Сейчас, конечно, гуманизма стало побольше, а все-таки страшно. *(Помолчал)*. Оставайся, Надежда. Может, чего и получится.

Н. Вообще-то, могу и остаться. Я женщина современная, меня долго уговаривать не надо. Но все-таки, чтобы жениться не фиктивно, а фактически, надо же как-то полюбить друга друга, чувство свое проверить.

О. *(очень волнуясь)*. Полюбить, проверить... Мы с Нинелькой двенадцать лет проверяли. А друг мой, Семен Варвару свою пьяный приволок с танцплощадки. Утром не мог вспомнить, как ее звать. А вот уже двадцать два года живут, дочка в институт поступила, а сын ПТУ кончает. Вот тебе и любовь, вот тебе и проверка. Оставайся.

Н. О'кей. Допустим. Я говорю: не о'кей, а допустим. Вы человек как будто неплохой. Я тоже вроде добрая и... готовлю хорошо. *(Смутившись)*. Витька так говорит. Ну... в общем, можно попробовать. Если, конечно, вы просите.

О. *(взволнованно)*. Прошу и тщательно умоляю.

Н. О'кей. Я... *(Плачет)*. я... остаюсь.

О. Наденька, Надюша, что же ты плачешь?

Н. Мне... *(Плачет)*. Ви...

О. *(недоуменно)*. Тебе? Ви?

Н. Ви... Ви...

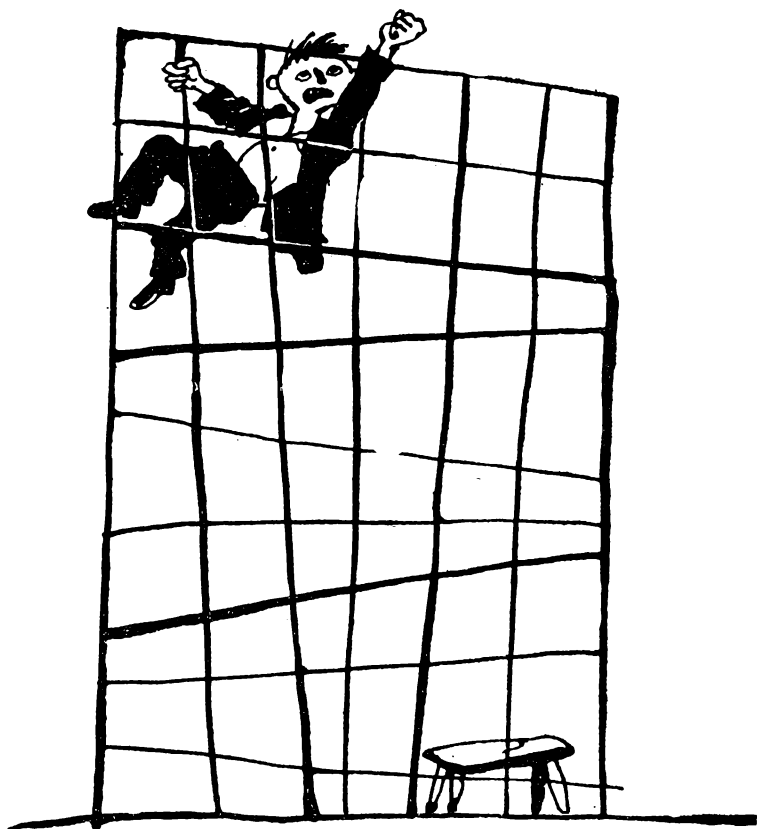
О. Виви?

Н. Ви... Витьку жалко.

Конец
1982

Трибунал

Судебная комедия
в трех действиях





Действующие лица

Подоплеков Семен.
Подоплекова Лариса,
Председатель.
Прокурор.
Защитник.
Секретарь.
Первый заседатель,
Второй заседатель,
Бард.
Горелкин.
Терехин.
Зеленая.
Автоматчики и два клоуна,
которые поочередно
исполняют роли:
Рабочего сцены,
Человека с приемником,
Зрителя,
Поэта,
Писателя,
Ученого,
Милиционера Юрченко,
Наседку,
Санитаров,
Демонстрантов,
Иностраннных корреспондентов.

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ Что-то вроде пролога

Посреди сцены длинный высокий стол, покрытый красным сукном. За ним три стула с высокими спинками. Еще три маленьких столика: один перед большим столом, на авансцене, два по бокам. В глубине сцены статуя Фемиды. Глаза у нее завязаны, в одной руке автомат Калашникова, в другой весы, на одной чашке которых лежит молот, на другой — серп. Слева от Фемиды — клетка, в каких держат зверей, а в клетке скамья подсудимых. В верхней части сцены портреты шестерых людей, нам пока незнакомых. На сцену выходит Бард с гитарой. Говорит тихим, домашним, совершенно не театральным голосом, в промежутке между фразами настраивая гитару.

Бард. Кажется, они еще не готовы. Я имею в виду исполнителей. У них даже еще, по-моему, и окончательный текст недоработан. Что-то там (*показывает пальцем на потолок*) еще утрясают. Да и председатель, кажется, не совсем в порядке. Возраст, стеноз, склероз, аденома, но врачи борются за его здоровье. Ну, ладно. Я вам пока что-нибудь спою. (*Поет*).

Течет река издалека,
Все ширясь и полнея.
Течет река, и облака
Качаются над нею...

Во время пения где-то, сначала далеко, а потом все ближе, ближе слышатся прерывистые и тревожные звуки сирены то ли «скорой помощи», то ли милиции, то ли правительственной машины. По мере того как звуки усиливаются, Бард поет все громче и громче, стараясь их перекричать.

Над ней то солнце припечет,
То вьюга зарыдает.
Вот так и жизнь моя течет,
В конце в ничто впадая.

(*Прекращает петь*). Нет, это невозможно.

(*Помолчав.*) Не понимаю, зачем это нужно. (*Имитирует вой сирены.*) У-у-у-у! Когда я слышу этот звук, мне хочется сразу поднять руки вверх. Я понимаю, было бы что-то срочное, а то так. Нет, я не критикан и не борец.

Я вообще, если хотите знать, принципиально против всякой борьбы. Потому что никакая борьба еще ни к чему хорошему не приводила. *(Напевает.)* «Вы жертвою пали в борьбе роковой...» Сколько их пало в борьбе роковой! Они обещали нам небо в алмазах, а мы его в овчинку увидели. Мир нельзя переделать в короткий срок. И не надо никакой борьбы, никаких жертв. Вам за них все равно никто спасибо не скажет. Поэтому надо заниматься своим делом и ничем больше.

1

Между тем звук сирены катастрофически нарастает. Свет в зале и на сцене гаснет. Звук сирены смешивается с шумом несущихся с огромной скоростью автомобилей. По сцене слева направо проносятся синие мигалки, в результате чего возникает ощущение, что кортеж автомобилей пересекает сцену. Внезапно мигалки гаснут, исчезают все звуки. Несколько мгновений в зале и на сцене полная темнота и тишина. Затем вспыхивает свет, и одновременно на сцене, во всех проходах и у дверей появляются автоматчики, которые направляют оружие на зрителей.

На сцену в темном строгом костюме выходит Секретарь. Деловой походкой подходит он к краю сцены и пристально всматривается в публику, как бы пытаясь определить, нет ли среди зрителей возможных злоумышленников. Не разрешив до конца своих сомнений, тихо уходит за кулисы. В репродукторах раздается шум бурных оваций, и на сцену гуськом выходят: Председатель, два заседателя, Прокурор, Защитник и Секретарь. Это их портреты висят над сценой. Все они, кроме Секретаря, гораздо старше своих изображений, точнее, вообще очень старые люди. Держась весьма сановито, они при этом старчески шаркают ногами, а Председатель еще трясет головой. Как бы отвечая на аплодисменты восторженной публики, они на ходу хлопают в ладоши. Из их ушей свисают провода слуховых аппаратов. Занимают места: Председатель — в центре, заседатели — по бокам, Прокурор — за маленьким столом слева, Защитник — справа и Секретарь — посередине. Молча раскладывают бумаги, иногда перешептываясь. Публика ждет. Наконец женщина в первом ряду не выдерживает и обращается к сидящему рядом с ней мужчине *(это чета Подоплековых)*.

Лариса. Сеня, я не понимаю, что здесь происходит! Почему здесь так много вооруженных людей?

Подоплеков. Успокойся, Лара. Что ты нервничаешь? Это же спектакль.

Лариса. Я понимаю, что спектакль, но почему так много вооруженных людей?

Подоплеков. Я не знаю почему. Наверное, так нужно. У них, вероятно, какие-нибудь такие роли. Ты разве никогда не видела на сцене вооруженных людей?

Лариса. Я видела. Но если это настоящий спектакль, то исполнители должны о чем-нибудь говорить, а эти вышли и молчат.

Подоплеков. Ну и что, что молчат? Возможно, у них такие вот молчаливые роли. Мне кажется, они изображают какое-то важное заседание. (*Обращаясь к Председателю.*) Товарищ артист, вы не скажете, какую вы роль исполняете?

На сцене происходит некоторое замешательство. Председатель переглядывается с заседателями, те пожимают плечами. К Председателю подбегает Секретарь и, взяв в руки конец торчащего из председательского уха провода, что-то быстро шепчет в него, как в микрофон.

Председатель. А-а, роль. (*Подоплекову*). Я исполняю роль председателя трибунала.

Подоплеков (*Ларисе*). Ну вот видишь, я тебе говорил, что это спектакль. А товарищ играет роль председателя, как бы сказать, трибунала. (*Председателю*). И что? И вы, очевидно, собираетесь как бы кого-то судить?

Председатель. Конечно. И даже не как бы, а просто судить. Раз есть трибунал, значит, он должен кого-то судить.

Подоплеков (*Ларисе*). Вот видишь. Я же тебе говорил. Интересная, я бы сказал, завязка. Раз есть, так сказать, трибунал, значит, он должен кого-то судить. (*Председателю*). Это, примерно, как у Чехова, правильно? Если на сцене висит ружье, значит, оно непременно должно когда-нибудь выстрелить. (*Смеется*).

Прокурор (*оживляясь*). Еще как выстрелит! Еще ды-ды, как выстрелит. Получше, чем у Чехова, выстрелит!

Председатель (*знаком остановив Прокурора*,

Подоплекову). А вы Чехова сами читали или вам кто-то рассказывал?

Подоплеков. Чехова? Ну, конечно же, сам читал. Все-таки я человек с высшим, как бы сказать, образованием. Бывают, конечно, люди с дипломами, которые ничего не читают, но я всегда что-нибудь читаю. У меня и библиотека есть, в общем, даже совсем неплохая. Правда, теперь книги стало доставать очень трудно. Бумажный, так сказать голод, и в магазинах одна только дрянь.

Лариса. Сеня, зачем ты так? Ты даже не знаешь этих людей, а такие слова говоришь.

Подоплеков. А что я говорю? Я ничего такого не говорю. Я говорю только, что купить нечего. Придешь в магазин, а там какие-нибудь речи, пропаганда, материалы съезда, опыт колхозного строительства. А какое-нибудь, так сказать, произведение иностранного, допустим, писателя вовсе даже и не достанешь.

Председатель. А вы и иностранной литературой интересуетесь?

Подоплеков. Ну, конечно, интересуюсь. Я все-таки, слава Богу, человек интеллигентный и любознательный.

Председатель. Слава Богу? Так вы еще и верующий?

Подоплеков. Я? Да, как вам сказать... Вообще-то я не крещеный. Мой отец, правда, хотел меня в детстве крестить, но потому что был коммунист... Мы жили в маленьком таком, знаете, городе, там всего одна церковь была, ну и если бы кто заметил, могли бы большие быть неприятности по партийной, допустим, линии. Но все-таки когда я о том о сем думаю, как оно все так получилось, то в голову невольно что-то закрадывается. Трудно, знаете, как-то представить, чтобы все это, ну, я имею в виду люди, коровы, собаки, ну и всякие другие звери, лягушки и насекомые сами по себе так вот, ну как бы из пыли, возникли. Я думаю, там, может быть, какой-то такой вроде как высший разум все-таки есть.

Председатель. Думаете все-таки что-то такое есть?

Подоплеков. Ну не то, чтоб я так действительно думал, но иногда время от времени какие-то, что ли, сомнения возникают.

Прокурор (дергаясь). Ды-ды-ды!

Председатель. Вы что-то хотели сказать?

Прокурор. Да, я хотел вопрос задать гражданину. Скажите, вот вы говорите, ваш отец член партии. А вы — нет?

Подоплеков. Нет.

Прокурор. А почему? Вам что, партия наша не нравится?

Подоплеков (*поспешно*). Ну почему же? Почему же не нравится? Партия у нас хорошая, и я ее политику целиком и полностью одобряю. И насчет вступления я, конечно, тоже не против, потому что хочется как-то, знаете, продвигаться по службе, расти как-то нужно... Я не в физическом смысле, тут уже просто генетика, у меня мама и папа оба были роста вроде как ниже среднего. А в служебном отношении без партии никуда. Но у нас сейчас такой порядок ввели, что толкают в партию сначала рабочий класс. На трех рабочих берут одного ИТР. А у нас в отделе всего трое рабочих: слесарь, сторож и истопник. Причем, что интересно заметить, слесарь чистый, как бы сказать, алкаш, истопник только что вышел из заключения, а сторож баптист, он в партию по религиозным убеждениям не вступает. Приходится стоять, так сказать, в очереди. Я, между прочим, сейчас в трех... нет, в четырех очередях стою: на квартиру, на «Запорожец», на югославский ковер и в партию.

Прокурор. И вы думаете, это возможно совместить — ваше желание вступить в партию с вашими религиозными взглядами?

Подоплеков. Да какие там у меня взгляды! Это у сторожа взгляды, а я просто думаю, что, может, есть что-то недоступное нашему пониманию, а если нет, так нет. Мне это, собственно говоря, безразлично. Но вы извините, я вас, вероятно, задерживаю. А вы кого, собственно, судить собираетесь?

Председатель. Что? Кого судить? Нам все равно кого. Ну, допустим, вас.

Секретарь. Да, допустим, вас.

Подоплеков. Меня? (*Смеется*). А почему меня?

Председатель. А почему не вас?

Секретарь. Вот именно. А почему не вас?

Подоплеков. Потому что меня вроде не за что. Я такой это, так сказать, самый простой человек, инженер. Хожу на работу, смотрю по телевизору хоккей, фи-

гурное катание, программу «Время», а ничего такого как будто не совершал. *(Садится на место)*.

Председатель. Всякий человек, который живет, что-нибудь совершает.

Секретарь. Точно. Всякий человек, который живет, что-нибудь совершает. А который не живет, тот ничего не совершает.

Председатель. Ну, что же вы сели? Поднимайтесь сюда.

Секретарь. И не стесняйтесь.

Подоплеков *(встает, смущается)*. Я? Да ну что вы! *(Смеется)*. Я перед публикой выступать не умею. Все -таки, как бы сказать, не артист.

Председатель. Ну, почему же не артист? Вы артист. Поднимайтесь, поднимайтесь!

Подоплеков *(смущаясь еще больше)*. Да что вы! Да какой уж из меня артист! Если вам нужен из зрителей какой-нибудь такой ассистент, вы уж, как бы сказать, пригласите кого-то другого. Потому что я перед публикой просто теряюсь. Я даже, когда меня на каком-нибудь таком, ну, скажем, на собрании даже, вот просят выступить в поддержку чего-нибудь, скажем, такого, я и то выйду и совершенно молчу. *(Спохватившись)*. Ну вы начинайте, начинайте. *(Садится)*.

Председатель *(переглянувшись с заседателями, смеется)*. Чудак-человек! Да как же мы можем без вас начинать? Мы же трибунал. Нам нужен подсудимый. Ведь суд без подсудимого — это все равно что свадьба без жениха. Поднимайтесь, поднимайтесь!

Секретарь. Только осторожней, не споткнитесь о ступеньку. А то можно очень сильно ушибиться.

Подоплеков *(вскакивает)*. Ну, мне это в конце концов надоело. Я думал, вы шутите. А вы из меня хотите какого-то, понимаете, клоуна сделать. А я вам вовсе не клоун. Вы выступаете, вот и выступайте, а я буду смотреть. А если что, и вообще уйду и потребую у администратора, пусть мне даже деньги за билет вернут. *(Жене)*. Пойдем, Лара! Я даже и вовсе этот спектакль смотреть не хочу, довольно, я бы сказал, дурацкий.

Прокурор. Ды-ды-ды-ды!

Председатель. *(Прокурору)*. Что? Что?

Прокурор *(волнуясь, встает)*. Товарищ председатель, я вот смотрю на то, что происходит, и думаю: а не слишком ли мы гуманны?

Председатель. Да, конечно, гуманны, а как же. Прокурор. Слишком даже гуманны. Но наш гуманизм не какой-то абстрактный. Наш гуманизм носит боевой, классовый, наступательный, я бы сказал, характер. А здесь что происходит? Вы просите его по-хорошему, а он издевается, нас задерживает, публику задерживает. А публика ждет.

Подоплеков. Вот именно, что публика ждет. Публика ждет от вас гражданских и реалистических произведений, а вы какой-то чушью занимаетесь. Модерн какой-то придумали. Театр, понимаете ли, абсурда. Глупость такую придумали — зрителей на сцену таскать. Да я такую мерзость и смотреть не желаю.

Лариса. Я же тебе говорила, не надо ходить на всякую современную чепуху.

Подоплеков. Ну откуда же я знал, что чепуха. Я думал, раз такое название, так значит детектив какой-нибудь про бандитов или про чекистов. Пойдем отсюда, ну их!

Председатель. Я вам последний раз приказываю: поднимитесь сюда или я прикажу вас доставить силой.

Подоплеков (*пробираясь к выходу*). Как же, прикажешь. Приказатель тоже нашелся.

Председатель (*милиционерам*). Доставьте его сюда!

Трель милицейских свистков. Горелкин и Юрченко прыгают со сцены, перегораживают Подоплекову дорогу. Завязывается борьба.

Подоплеков (*сопротивляясь*). Только без рук! Я буду жаловаться! Помогите! Люди, куда же вы смотрите? Что же вы молчите? Разве вы не видите, что здесь происходит? Лара!

Лара. Сеня!

Прокурор. Товарищ председатель, прошу заметить, он ударил милиционера. Он его убил!

Первый заседатель. Он убил милиционера!

Второй заседатель. Убил милиционера!

Защитник. Ну, зачем же сразу убил? Милиционер еще жив, он еще сопротивляется.

Горелкин и Юрченко доставляют Подоплекова с завернутыми за спину руками на сцену и тут же начинают обыскивать. Стаскивают пиджак, выворачивают карманы, раздирают подкладку. Выворачивают карманы брюк, вытаскивают ремень, спарывают пуговицы. Снимают ботинки, вытаскивают из них шнурки.

Горелкин (*составляя протокол, перечисляет изъятые при обыске предметы*). Паспорт общегражданский, выданный на имя Подоплекова Семена Владиленовича, — один. Профсоюзный билет — один. Театральные билеты — два. Справка о сдаче макулатуры — одна. Сигареты «Прима», спички, расческа сломанная одна, носовой платок грязный один, нож перочинный один.

Прокурор (*вскидываясь*). Зачем так длинно писать: «нож перочинный»? Напишите просто: «нож».

Председатель. А что это у вас, Горелкин, под глазом?

Горелкин. Разрешите доложить, товарищ председатель, это синяк, полученный во время задержания арестованного.

Прокурор. Я полагаю, товарищ председатель, что Горелкина надо немедленно отправить для медицинского освидетельствования и выяснить, насколько опасны для здоровья полученные им повреждения.

Председатель. Хорошо, хорошо, согласен. Приобщите протокол обыска к делу, водворите арестованного на скамью подсудимых и доставьте Горелкина в медицинское учреждение. Пусть наши специалисты окажут ему необходимую помощь. (*Засыпает.*)

Милиционеры отводят Подоплекова в клетку, после чего Горелкин, прикрывая рукой подбитый глаз, удаляется, а Юрченко с автоматом наизготовку занимает место у клетки. Подоплеков садится на скамью подсудимых, успокаивается и деловито оглядывает свою поврежденную при обыске одежду. Все выжидательно смотрят на Председателя, но он дремлет. Секретарь тихо подходит к Председателю и очень осторожно его тормозит.

Секретарь. Товарищ председатель! Товарищ председатель!

Председатель (*спросонья*). А?! Что? Ты кто такой?

Секретарь. Секретарь, товарищ председатель.

Председатель. Что за ерунда? Почему это ты товарищ председатель? Это я — товарищ председатель.

Секретарь. О'кей, о'кей, вы товарищ председатель. А я секретарь.

Председатель. А, ну это дело другое. Что делать надо?

Секретарь. Судить надо. Подсудимый к допросу готов.

Председатель. Подсудимый? (*Указывает на Прокурора*). Этот, что ли?

Прокурор (*оскорбленно*). Ды-ды-ды!

Секретарь. Нет, товарищ председатель. Это прокурор. А подсудимый этот.

Председатель. А, да, как же, помню. Это который Чехова из ружья застрелил?

Прокурор. Товарищ председатель, не Чехова, а милиционера. Чехова — это еще куда ни шло. А вот милиционера, да еще при исполнении служебных...

Защитник. Товарищ председатель, я протестую против искажения фактов. Он милиционера не застрелил, а только ударил.

Прокурор. Какая разница, застрелил или ударил? Важно, что милиционер получил тяжелые повреждения, в критическом состоянии доставлен в больницу и врачи борются за его жизнь.

Председатель. Прекратите базар! (*Встряхнувшись, Подоплекову*). Подсудимый, ваше имя, отчество и фамилия?

Подоплеков. Вы ко мне, что ли, обращаетесь?

Председатель. Конечно, к вам.

Подоплеков. А, может быть, я не признаю себя подсудимым.

Председатель. А это не важно, кем вы себя признаете. Важно, кем мы вас признаем.

Секретарь. Вот именно. Мало ли кто кем себя признает! Важно, кем мы вас признаем.

Председатель. Подсудимый, когда к вам обращаются, надо вставать.

Подоплеков (*поднимаясь*). Ну, хорошо, я могу и постоять.

Председатель. Назовите ваше имя, отчество и фамилию.

Подоплеков. Ну, допустим, Подоплеков Семен Владиленович.

Председатель. Кем работали до ареста?

Подоплеков. До незаконного задержания работал инженером в научно-исследовательском институте железобетонных конструкций.

Председатель. Национальность?

Подоплеков. Русский.

Председатель. Семейное положение?

Подоплеков. Женат. Имею двоих детей.

Председатель. К судебной ответственности прежде привлекались?

Подоплеков. Не привлекался.

3

Председатель (*встает и вместе с ним встают все участники спектакля*). Судебное заседание объявляю открытым. Всех находящихся в зале предупреждаю, что вы обязаны вести себя тихо, дисциплинированно. Во время заседания должна соблюдаться тишина. Покидать свои места, передвигаться по залу, выходить из зала категорически запрещено. Запрещено разговаривать, смеяться, обмениваться записками, подавать какие бы то ни было сигналы подсудимому, свидетелям или членам трибунала, пользоваться карандашами, ручками, блокнотами. Абсолютно не допускается использование звукозаписывающих приборов, фотоаппаратов и биноклей. В случае обнаружения подобной техники она будет немедленно конфискована, а владельцы ее понесут суровое наказание. Надеюсь, это предупреждение всем понятно и в процессе заседания никаких недоразумений не будет. (*Пауза, во время которой Секретарь подает Председателю бумаги. Председатель достает из кармана очки и надевает их поверх тех, которые уже на нем.*) Зачитывается обвинительное заключение по делу Подоплекова Семена Владиленовича, русского, женатого, имеющего двоих детей, беспартийного, ранее не судимого. Подоплеков обвиняется в том, что сего дня (*указывается действительная дата, когда играется спектакль*), явившись в театр, где происходило заседание специального трибунала, вел себя вызывающе, высказывал отрицательные суждения о нашей книжной торговле, предпочитая политиче-

ской литературе произведения буржуазных авторов, вел религиозную пропаганду, распространял клеветнические измышления по поводу нашей судебной системы и произносил угрозы, упоминая о каком-то ружье, которое якобы непременно должно выстрелить. Будучи привлечен к ответственности, отказался прибыть к месту совершения правосудия, не подчинился требованию председателя трибунала, называя данное заседание чушью, абсурдом, дурацким спектаклем, мерзостью...

Подоплеков. Да это какой-то бред!

Председатель. ...бредом...

Подоплеков. Идиотизм!

Председатель. ... идиотизмом. При задержании оказал сопротивление представителям власти, в результате чего милиционер Горелкин получил увечья и доставлен в больницу, где врачи борются за его жизнь. Все эти деяния предусмотрены уголовным кодексом и содержат в себе признаки таких преступлений, как распространение заведомо ложных и злостных измышлений в целях подрыва нашей системы, оскорбление и неподчинение власти с попыткой совершения террористического акта... (Засыпая). Террористи... (Спохватывается). Вы признаете себя виновным в предъявленных вам обвинениях?

Подоплеков. Конечно, нет.

Прокурор. Ды-ды-ды!

Председатель. Подсудимый, как председатель данного трибунала я должен вам разъяснить, что чистосердечное признание совершенных вами преступлений и искреннее раскаяние могут облегчить вашу участь.

Подоплеков. Но я не понимаю, в чем я должен признаться!

Председатель. Почему же вы не понимаете? Вы же не можете сказать, что обвинения вымышлены.

Подоплеков. Вот именно, что вымышлены.

Прокурор. Ды-ды-ды.

Председатель. Напрасно вы так говорите. С практикой вымышленных обвинений мы давно покончили. Мы предъявляем обвинения только в действительно совершенных преступлениях. Ну, посудите сами, разве не вы высказывались отрицательно о нашей книжной торговле? Разве не вы говорили о возможности существования высшего, как вы сами выразились, разума? Разве не вы оскорбляли суд и оказывали упорное сопротивление власти?

Прокурор. В результате которого милиционер Горелкин получил тяжелые повреждения, находится в критическом состоянии и врачи борются за его жизнь.

Председатель. У Горелкина, кажется, есть дети?

Прокурор. Да-да, у него очень много детей.

Защитник. Насколько мне известно, милиционер Горелкин бездетный.

Прокурор. Тем хуже. У него могло быть много детей, а теперь он умрет и не останется никого.

Подоплеков. Вы все врете! Что я мог ему сделать? Он такой здоровый, а я маленький. Я ему только пуговицу оторвал.

Прокурор. Между прочим, это тоже немалое преступление. Оскорбление мундира.

Председатель (*Прокурору*). А что, мы не можем допросить этого Горелкина?

Прокурор. Я думаю, что можем.

Председатель. Да, но он же в тяжелом состоянии.

Прокурор. Да-да, он в тяжелом состоянии, и врачи борются за его жизнь, но когда речь идет о долге, Горелкин готов подняться даже из гроба.

Председатель. Для допроса вызывается свидетель Горелкин.

Голос Горелкина. Я здесь.

4

Два санитары вносят на носилках Горелкина с перевязанной головой.

Председатель. Горелкин, вы, я вижу, находитесь в очень тяжелом состоянии.

Горелкин. В очень, очень тяжелом.

Председатель. Вы можете ответить на несколько вопросов?

Горелкин. Мне очень трудно, но я постараюсь.

Председатель. Постарайтесь, Горелкин, а руководство вашего отделения, я уверен, учтет ваш подвиг. (*Помолчав*). Скажите, вам знаком подсудимый?

Горелкин (*приподнявшись на локте, вглядывается в Подоплекова*). Так точно, знаком.

Председатель. Что вы можете сказать по данному делу?

Горелкин. Значит, дело было так. Находясь в дан-

ном театре на дежурстве, я был предупрежден, что ввиду важного юридическо-политического мероприятия здесь возможны провокации со стороны неустойчивых элементов и других групп враждебного населения. А майор Коротышев прямо сказал, что провокация не только возможна, а даже непременно будет ввиду неизбежного характера данного спектакля. И одному из нас, говорит, то ли тебе, Горелкин, то ли тебе, Юрченко, будет заехано в физиономию, и этот заезд необходимо будет использовать в борьбе с нашими идейными противниками. Я, конечно, надеялся, что заехано будет Юрченко, а не мне, но все же подготовился и, пришедши сюда, стоял вон там, когда мне было сказано, что вот этот человек, который с женой своей громко разговаривает, его как раз будем брать и, возможно, он, значит, этот заезд совершит. Ну, так оно впоследствии и получилось. Когда мы его вежливо пригласили на сцену, он стал произносить всякие слова, кусаться и махать кулаками, в результате чего я имею под глазом синяк и, возможно, даже сотрясение мозга.

Защитник. А как вы думаете, действия Подоплекова носили заранее обдуманый характер или были совершены в порядке самообороны?

Горелкин. Поскольку я заранее был предупрежден о возможном нападении, то я думаю, что и нападающий знал о своих планах заранее.

Прокурор. Правильно.

Председатель. Хорошо, свидетель, вы можете идти.

Горелкин. А, спасибо, спасибо! *(Вскакивает с носилок и порывается убежать).*

Председатель. Свидетель, куда вы?

Горелкин. Но вы же сказали, что я могу идти.

Председатель. Но я же не в буквальном смысле сказал. Я сказал в том смысле, что вы свободны. Но в буквальном смысле вам ходить еще, наверное, нельзя.

Прокурор. Тем более что врачи еще борются за вашу жизнь.

Председатель. Вы лежите, лежите, а наши специалисты сейчас вас бережно отнесут.

Горелкин. А, спасибо, спасибо. *(Ложится на носилки, его уносят).*

Защитник. Товарищ председатель, мне кажется,

свидетель был не в критическом состоянии, раз он может ходить.

Прокурор. Товарищ председатель, я протестую. Свидетель ходить не может.

Защитник. Но он же сейчас сделал несколько шагов.

Прокурор. Мало ли кто чего сделал. А, может, он был в горячке. Так бывает. Я сам помню, голову кому-нибудь, бывало, прострелишь, ну даже совершенно насквозь, так он сначала вроде как упадет, а потом вскакивает и бежит, как курица, знаете, без головы (*Смеется*).

Председатель. Ну, зачем вспоминать такие тяжелые вещи. Конечно, на фронте всем приходилось сражаться и даже убивать врагов.

Прокурор. Особенно врагов народа. У нас в СМЕРШе с ними не чикались, у нас этого гнилого либерализма не было. Бывало, выстроишь их в ряд и ды-ды-ды-ды!..

Председатель. Ну ладно, ладно, не надо вспоминать такие тяжелые вещи. Что было, то прошло, и хватит, с этим покончено навсегда.

Прокурор. А почему же не вспоминать? Это была наша боевая молодость, романтика сражений, перекличка умов, перекличка идей, перекличка сердец...

Председатель. Хватит, хватит, хватит. Конечно, было много хорошего, но были ли отдельные нарушения законности, с которыми покончено навсегда.

Прокурор. Вот оно и видно, что покончено. И развели либерализм, гуманизм такой, что каждый, кому не лень, выходит на сцену и что хочет, то говорит.

Председатель. А я говорю, хватит об этом. У вас есть вопросы к подсудимому?

Прокурор. Есть; Скажите, обвиняемый, каким образом вам удалось проникнуть в это помещение?

Подоплеков. Что это значит — проникнуть? Я не проник, я прошел, как все, через дверь.

Председатель (*мягко*). Подсудимый, не надо говорить за всех. Нас сейчас интересуют не все, а только вы.

Подоплеков. А я говорю, что прошел сюда, как все, по билету.

Прокурор. А кто вас снабдил билетом?

Подоплеков. Меня никто не снабжал, я купил два билета за свои собственные деньги.

Прокурор. Где купили?

Подоплеков. У нашего культурга Зеленой. Она тоже здесь находится, если вы мне не верите, можете спросить у нее.

Прокурор. Еще спросим. И когда же вы приобрели у нее эти билеты?

Подоплеков. Недели две тому назад.

Прокурор. То есть заблаговременно?

Подоплеков. Я не понимаю, к чему вы клоните.

Председатель. Подсудимый, вам не надо ничего понимать. Вам надо только отвечать на вопросы.

Прокурор. А что же у этой вашей Зеленой были билеты только сюда или еще куда-нибудь?

Подоплеков. Я не знаю. У нее бывают билеты на разные мероприятия. В другие театры, в кино, иногда в Лужники или на какие-то выставки.

Прокурор. Но вы из всех возможностей выбрали только эту? Почему?

Подоплеков. Потому что Зеленая мне сказала, что есть такая пьеса, называется «Трибунал», я подумал, что может быть что-то интересное, а если бы я знал, что такая дурь и что со мной такое будут вытворять, разве бы я пошел?

Прокурор. Еще бы! Каждый преступник, совершая преступление, рассчитывает избежать наказания. Если бы он знал, что наказание неотвратимо, с преступностью, для которой у нас нет никакой социальной почвы, ды-ды-ды-дывно было бы покончено.

Председатель. У защиты есть вопросы?

Защитник. Есть. Скажите, Подоплеков, вы сожалеете о том, что произошло?

Подоплеков. Еще бы не сожалеть! Да если бы я знал...

Защитник. У меня пока все.

5

Председатель. Для допроса вызывается свидетельница Подоплекова, поднимитесь сюда!

Лариса. Еще чего, буду подниматься. Над мужем издеваются, так еще и я вам нужна.

Председатель. Свидетельница, вы видели, что

бывает с теми, кто отказывается выполнить распоряжения судьи? Не заставляйте нас прибегать к силе вторично. Поднимайтесь.

Лариса. Хорошо, я подчиняюсь. (Поднимается на сцену.)

Председатель. Свидетельница, суд предупреждает вас, что на задаваемые вам вопросы вы должны отвечать только правду. За отказ от дачи показаний и за дачу ложных показаний вы будете привлечены к уголовной ответственности.

Лариса. Чего уж тут не понять?

Председатель. Распишитесь у секретаря, что предупреждение вам сделано.

Лариса расписывается.

Свидетельница, вы знакомы с подсудимым?

Лариса. Как же мне быть с ним незнакомой, если я его жена?

Председатель. Свидетельница, вы должны не комментировать вопросы, а отвечать на них по возможности ясно и кратко. Сколько лет вы знакомы?

Лариса. Двенадцать лет.

Председатель. А в браке сколько лет состоите?

Лариса. Это как считать. Мы сначала три года без расписки жили.

Прокурор. То есть незаконно?

Лариса (*Сердится*). Я вам говорю: не незаконно, а без расписки.

Председатель. Свидетельница, не придирайтесь к словам. Без расписки это и есть незаконно. И как же это с вами случилось?

Лариса. Что это?

Прокурор. Вас спрашивают, как вы впервые вступили на путь незаконных отношений с подсудимым?

Лариса. Обыкновенно, как все.

Председатель. Обобщать не надо, говорите конкретнее.

Защитник. Товарищ председатель, а мне кажется, свидетельница говорит достаточно конкретно. Как все — это значит, что были влюбленные взгляды, встречи под липами, пение соловьев, стихи любимых поэтов, вздохи, касания...

Лариса. Как здорово вы все описываете!

Защитник. Вот видите, значит, так все и было?

Лариса. Ну да, да, почти что. Правду сказать, всяких этих взглядов, лип, соловьев, стихов, вздохов не было. А касания, конечно, были. Мы познакомились у моей подруги на дне рождения, сидели рядом, и он под столом положил мне руку сперва на коленку...

Защитник. И вы, конечно, тут же дали ему отпор?

Лариса. Ну да, я хотела дать отпор, а потом побоялась. Дашь, думаю, отпор, а потом с этим отпором одним и останешься.

Прокурор. Какая распушенность!

Председатель (заинтересованно). И что же потом?

Лариса. Потом мы разговорились...

Защитник (подсказывая). О стихах? О звездах?

Лариса. Да нет. Совсем о другом. Он говорит, у меня ключ есть. Товарищ в командировку уехал, квартира простаивает.

Прокурор. И вы в тот же вечер согласились?

Лариса. Ну да, в тот же. Потому что на следующий вечер его товарищ уже возвращался из командировки.

Прокурор. У меня больше нет вопросов.

Лариса. А потом мы три года жили вместе и я ему на расписку ни разу даже не намекнула. А когда забеременела, он сам благородно мне предложил, и мы взяли за руки, как дети, и пошли в загс пешком.

Председатель. Значит, в законном браке состоите?..

Лариса. Девять лет.

Председатель. Дети большие?

Лариса. Игорь во втором классе, а Света в детский сад ходит, в старшую группу.

Председатель. Значит, вы вместе прожили большую жизнь. И наверное, никто другой не знает подсудимого так хорошо, как вы?

Лариса. Да уж, конечно.

Председатель. Очень хорошо. В таком случае расскажите нам все, что вам известно о подсудимом.

Лариса. О подсудимом мне известно, что он очень хороший муж, очень хороший отец и вообще очень хороший человек.

Прокурор. Ды-ды-ды!

Председатель. Хороший человек. Что значит хороший человек? Может быть, Гитлер для Евы Браун был тоже хороший человек!

Секретарь. Замечательный был человек. Товарищ председатель, а Геббельс был очень хороший семьянин. Он всех своих детей отравил, а потом жену застрелил и сам застрелился.

Члены суда смеются.

Председатель. Вот видите, какие хорошие люди бывают. Так что хороший человек это еще не характеристика. Вы нам расскажите что-нибудь конкретнее.

Лариса. Я не знаю, что вам рассказать.

Прокурор. Ну, расскажите хотя бы, что вам известно о его враждебных взглядах.

Лариса. Ни о каких таких взглядах ничего не знаю.

Прокурор. Ну хорошо. Когда вам стало известно о намерении вашего мужа проникнуть сюда?

Лариса. Вот вы опять говорите проникнуть. Мы не проникали, мы прости пришли. Сеня как-то вернулся с работы...

Председатель. Вы должны говорить не Сеня, а подсудимый.

Лариса. Для кого подсудимый, а для меня Сеня. Сеня как-то пришел...

Председатель. Свидетельница, а я вам еще раз говорю, вы должны называть его не Сеня, а подсудимый.

Лариса. А я вам говорю, что я не буду называть своего мужа подсудимым. Для меня он Сеня, Сенечка.

Председатель. Свидетельница, мне придется вас наказать.

Подоплеков. Лара, я тебя прошу, не возражай им. Ты же видишь, это какие-то придурки. Если они и тебя схватят, с кем же наши дети останутся?

Лариса. Я понимаю. Я должна быть очень осмотрительной, но не могу же я тебя называть подсудимым. Я люблю тебя, Сенечка.

Председатель. *(почти в истерике)*. Свидетельница, ну что же вы делаете? Я не хочу вас наказывать, но вы меня вынуждаете. Стража!

Подоплеков. Гражданин председатель, минуточку! Моя жена не подумала. Она, как бы сказать, политически незрелая. Это моя вина. Я когда газеты читал, ей ничего не рассказывал. А ей самой некогда. Работа, дорога, очереди. А еще ведь надо сготовить, постирать, за Светкой в садик сходить, у Игоря уроки проверить. Лара, пожалуйста, не противься, называй меня, как они хо-

тят. Мне все равно будет приятно. Я люблю слышать твой голос, что бы ты им ни произносила.

Лариса. Сенечка!

Прокурор. Ды-ды-ды!

Лариса (*спохватившись*). Подсудимый мой! Подсудимочкин! (*Плачет*).

Председатель (*растрогавшись, плачет*). Надо же! Какая любовь! Как она его любит! Почему меня никто так не любит? (*Плачет*).

Секретарь (*волнуясь*). Товарищ председатель, разрешите возразить. Мы вас любим. Вас народ любит. Вас все любят, кроме подсудимых.

Председатель. Да, да, я это знаю. Но иногда, знаете, хочется, чтобы не только народ, не только все вместе, но каждый по отдельности... Ну, да ладно. Продолжим допрос. (*Ларисе.*) Значит, вы говорите, подсудимый пришел с работы и...?

Лариса. ...и говорит, что достал билеты в театр. Я ему сразу сказала, что, наверное, какая-то чепуха, но потом подумала, что надо же когда-то выйти на люди, отвлечься от домашнего быта, от кухни, от стирки...

Прокурор. Значит, вы даже не попытались отговорить его от этой безумной затеи?

Лариса. Нет, не попыталась. Если б я знала...

Прокурор (*смеется*). Ну, вот опять. Если б я знала. Раньше надо было знать. Ведь это преступление не могло совершиться случайно, по внезапному, необдуманному побуждению. Оно, безусловно, результат выношенных и законченных убеждений. Вы живете с ним столько лет. Неужели за столько лет он ни разу не высказал вам своего неприятия нашей системы, своей звериной, я бы сказал, ненависти к нашему строю?

Лариса. Да что это вы такое говорите? Да зачем это он будет на себя такое наговаривать?

Председатель. Ну зачем же наговаривать? Бывает, у человека накипело на душе, по службе обошли, премии лишили, квартиру не дали, в автобусе кто-нибудь на ногу наступил, ну и срывается человек. На людях еще как-то терпит, а домой придет и сорвется. Ненавижу, говорит, эту власть, этот строй, эту систему...

Прокурор (*подхватывает*). Взял бы, говорит, пулемет, и всех этих председателей, секретарей, прокуроров ды-ды-ды-ды!

Лариса. Да что вы! Да как можно! Да мой Сеня,

он не только секретарей или прокуроров, он даже мухи в жизни не обидел.

Прокурор. О-ох, как тяжело с ней разговаривать!

Председатель. Ничего, надо терпеть. Терпеть иногда бывает трудно, но надо. Я жду, когда вы, свидетельница, наконец поймете, что перед вами не враги. Мы пришли сюда не для того, чтобы сделать кому-то плохо, а для того, чтобы разобраться во всем спокойно и объективно, чтобы помочь вашему мужу и вам. Но и вы должны помочь.

Прокурор. Да-да, вы должны нам помочь, вы должны рассказать... Может быть, ваш муж такой коварный и скрытный, что даже от жены скрывал свои звериные взгляды. Но между мужем и женой бывают же такие интимные, понимаете ли, ситуации, когда он не выдерживает и полностью раскрывает свою звериную сущность.

Лариса. А-а, вы об этом. Так это другое дело. Конечно, в интимной ситуации он иногда звереет.

Прокурор (*быстро*). И что он вам тогда говорит?

Лариса (*взволнованно*). Он ничего не говорит, он рычит.

Прокурор. И тем самым выражает свою звериную ненависть?

Лариса. Да что это вы такое говорите? Да почему же ненависть? Он выражает свою звериную страсть ко мне. Он такой, знаете, неумный. Другой раз придешь вечером... и на работе намаялась, и в очередях настоялась. В одной руке сумка и в другой руке сумка... Так он эти сумки из рук вырывает и кидается прямо, как зверь... Я говорю: «Сеня, да что же ты делаешь?»

Председатель. Не Сеня, а подсудимый.

Лариса (*покорно*). Да что же ты, говорю, подсудимый, делаешь! Да дай же хоть дух перевести.

Председатель (*нервно*). Свидетельница, не надо так говорить! Вы волнуете членов суда. Вы оказываете на них воздействие. В такой обстановке просто невозможно работать. (Наклоняется по очереди к заседателям, те кивают). Суд объявляет перерыв. Надо посоветоваться.

6

Все встают, и Председатель, как бы расстегивая на ходу штаны (но без излишнего натурализма), устремляется к статуе Фемиды с явным намерением справить под ней малую нужду.

Секретарь (*бежит за Председателем*). Товарищ председатель, только, пожалуйста, не сюда.

Председатель (*недовольно*). А почему это не сюда?

Секретарь. Дело в том, что это, извините, не писсуар, а статуя Фемиды, богини правосудия.

Председатель. Да? А я думал, это Зоя Космодемьянская. Но в богинь никаких я не верю и вообще думаю, что с религией надо бороться (*решительно становится под статуей*). Тем более что глаза у нее завязаны.

Секретарь. Товарищ председатель, у нее-то завязаны, а у публики нет. Тем более что при вашем высоком положении сейчас все взоры прикованы к вам.

Председатель. Да-да, я понимаю. Приятно быть популярной личностью, но и у популярности есть своя оборотная сторона. Куда идти?

Секретарь. Сюда, пожалуйста.

Секретарь берет Председателя под руку и ведет к дверям, за которыми скрылись уже Прокурор, Защитник и заседатели. На дверях табличка: WC. Двое автоматчиков застыли у дверей в почетном карауле.

Председатель. А что это у тебя за книга в руках?

Секретарь (*слегка смутившись*). Это, товарищ председатель, учебник английского языка.

Председатель. А зачем? Тебе что, наш язык не нравится?

Секретарь. Почему же, товарищ председатель, очень даже нравится. Но для того, чтобы знать врага, надо изучать его язык.

Председатель. А, ну это, конечно, правильно. Вот смотрю на таких, как ты, и радуюсь. Какую смену вырастили. Умную, образованную. (*Плачет*). Не зря все-таки мы страдали, не зря гибли от пули, от голода, от холода... (*Плачет*).

Лариса вскакивает на сцену, приближается к клетке.

Лариса. Сеня!

Подоплеков. Лара!

Лариса. Сенечка, ты не беспокойся, я буду за тебя бороться, тебя освободят, ты вернешься домой.

Подоплеков (*обреченно*). Нет, Лара, не надо себя тешить напрасными надеждами. Отсюда не возвращаются.

Лариса. Нет, Сеня, ты не прав. Ты должен ждать, ты должен верить, и справедливость рано или поздно восторжествует. Мой отец тоже в свое время пострадал, а потом его все-таки пусть посмертно, но реабилитировали. Это был праздник в нашей семье.

Подоплеков. Хватит тебе таких праздников, Лара. Не жди меня, выходи замуж. Ты еще молодая, красивая, у тебя и зарплата неплохая. Ты еще встретишь какого-нибудь хорошего человека. Только смотри, чтобы он не таскал тебя по театрам.

Председатель (*приблизившись к дверям туалета, недовольно оглядывается*). Это что там за разговоры? Разве можно допускать контакты подсудимого со свидетелем? Остановите их. Есть там кто-нибудь?

Голос Горелкина. Есть!

Появляется Горелкин в больничных штанах, шлепанцах и в милицейском форменном пиджаке.

Председатель. А, это вы, Горелкин? Вам уже лучше?

Горелкин. Никак нет, не лучше. Фактически я нахожусь при смерти и врачи борются за мою жизнь. Но когда я слышу, что кого-то надо остановить...

Председатель. Удалите, пожалуйста, подсудимого и отдыхайте. Главное в вашем положении, это уход и покой. (*Скрывается за дверь*).

Горелкин (*зычно*). Ну, разойдись! (*Толкает клетку в глубь сцены*).

Лариса (*оставаясь на месте, простирает руки*). Сеня!

Подоплеков. Лара, забудь меня! И детям не говори, что я арестован.

Лариса. Но они же спросят, куда ты делся.

Подоплеков (*удаляясь*). Скажи им... Скажи, что я попал под автобус.

Председатель (*выглянув из уборной, пальцем манит Секретаря. Шепотом*). Слушай, а как по-вражески будет жопа?

Секретарь. Эс, товарищ председатель.

Председатель (*удивленно*). Эс? А что же тогда по-ихнему значит Эс-Эс-Эс-Эр? Какая глупость! (*Скрывается за дверь*).

Секретарь (*идет по направлению к Ларисе и заглядывая в книгу, заучивает английские фразы*). Из Москоу э биг сити? Йес, ит из э вери биг сити. Москоу из э кэпитэл оф дэ Совет Юнион. Москоу из эн индастриал сентр оф дэ Совет Юнион. Дара мэни фэксторис ин Москоу... (*Наталкивается на Ларису*). О, сорри!

Лариса. Что?

Секретарь. А, это вы? Очень переживаете?

Лариса. Я не переживаю. Я возмущена. Я просто дрожу от негодования. За что вы схватили моего мужа? Что он вам сделал?

Секретарь. Лично я никого не хватал. Я сижу и пишу протокол. Что скажут, то и пишу. Скажут: «расстрелять», я пишу «расстрелять». Скажут: «освободить», я пишу «освободить».

Лариса. Напрасно вы себя пытаетесь оправдать. Вы тоже участвуете во всем этом безобразии.

Секретарь. Велл, я участвую. А вы разве нет?

Лариса (*изумленно*). Я? Ну да, ну конечно, но все-таки у нас очень уж разные роли.

Секретарь. Роли разные, а игра одна.

Лариса. Но имеет же значение, кто какое участие в этой игре принимает.

Секретарь. Вот именно! Имеет. Очень даже имеет. (*Неожиданно наклоняется к Ларисе*). Ничего, вот прокурор умрет, и тогда все будет хорошо.

Лариса (*видя в Секретаре тайного единомышленника*). Да? Вы, правда, так думаете?

Секретарь. Я не думаю, я уверен. Он же старый, больной и злобный. Он всех держит за горло. Но среди нас есть другие люди, с современными взглядами, знающие иностранные языки, не чуждые духу гуманизма.

Лариса. Вы уверены, что такие люди есть?

Секретарь. Я в этом не сомневаюсь.

Лариса. И вы думаете, что прокурор скоро умрет?

Секретарь. Ну, я не знаю, скоро ли, но когда-нибудь он умрет. Я не встречал еще ни одного бессмертного прокурора. Поэтому надо ждать, надо верить, надо надеяться. (*Заметив вышедшего из уборной Прокурора, меняет тему*). Нельзя сосредоточиваться на своих мелких обидах. Оглянитесь вокруг, и вы увидите, сколько хорошего

в нашей жизни. Сколько построено новых городов, заводов, электростанций...

Лариса. Я вас не понимаю, что вы такое говорите?

Секретарь (*продолжает список достижений*). ..больниц, спортивных сооружений, кинотеатров, дворцов культуры. (*Подбегает к Прокурору и идет рядом с ним через сцену.*) Ну что? Вы думаете, вам удастся доказать ваши обвинения?

Прокурор. Да что там ды-ды-дыказывать. Все и так ясно.

Лариса. Вот именно! Все и так ясно. Подоплеков ни в чем не виновен. Он самый безвреднейший на земле человек.

Прокурор. Ды-ды-ды, что вы мне такое говорите? Ды ни в чем не виновные они и есть самые вредные. Потому что виновному дашь поддых, под ребро и в челюсть, он признается и укажет, где труп лежит. А невиновный отпирается и где труп лежит не указывает, ссылаясь на свою якобы, так сказать, мнимую невиновность.

Секретарь. Полностью и абсолютно с вами согласен. Вы прекрасно формулируете ваши мысли и, по-моему, находитесь в очень хорошей форме. У вас такой здоровый, цветущий вид. Предвкушаю огромное наслаждение от вашей обвинительной речи.

Прокурор (*резко повернувшись к Секретарю*). Ды-ды-ды-ды! (*Скрывается за кулисами.*)

Секретарь (*возвращается к Ларисе*). Вот видали? Дать ему пулемет, так он всех ды-ды-ды без всяких разбирательств.

Лариса. А вы, правда, считаете, что у него очень хороший вид?

Секретарь. Да, неплохой. Некоторые с таким видом в гробу лежат, а он все еще ходит. Но все-таки время идет, возраст и болезни делают свое дело. (*Замечая вышедшего Защитника.*) Надо думать не только о себе. Но видеть, что происходит в мире. Империалисты нагло попирают свободу в Ливане, в Сальвадоре, в Никарагуа. В Чили полиция применяет против демонстрантов оружие. В Англии старые люди насмерть замерзают в собственных квартирах...

Лариса. Что? Какие старые люди? В каких квартирах?

Секретарь (*с пафосом*). В Америке, которая лицемерно рассуждает о правах человека, десять процен-

тов безработных. Половина африканского населения страдает от постоянного недоедания... (*подходит к Защитнику и идет рядом с ним.*) Ну что, вы думаете, вам удастся защитить подсудимого?

Защитник. Посмотрим. Все не так ясно, как кажется с первого взгляда.

Секретарь. Абсолютно с вами согласен. Все очень и очень не ясно. Между прочим, вы прекрасно выглядите. Надеюсь, вы в хорошей форме. Предвкушаю незабываемое наслаждение от вашей защитительной речи.

Защитник. Речь-то я произнесу, но прежде мне надо поговорить с моим подзащитным. Это моя обязанность.

Секретарь. И ваш благородный долг. Защищать человека, его права и достоинство, что может быть прекраснее этого. (*Уходит.*)

8

На опустевшей сцене появляется Рабочий сцены. Поправляет реквизит, подходит к Фемиде, меняет местами молот и серп. Справа выходит встрепанный Человек. В руках у него старый приемник «Спидола» с согнутой антенной. Из приемника несутся свист, визг, вой и другие характерные звуки глушения. Человек мечется по сцене, то поднимая приемник, то опуская, переворачивая вниз антенной и прикладывая к разным предметам. Таким образом он пытается найти место или положение, при котором лучше слышно. Рабочий оборачивается на шум, подходит сзади к Человеку с приемником, трясет его за плечо.

Рабочий. Эй, папаша! Вы что, сдурели? Да что это вы делаете?

Человек с приемником (*приложив палец к губам*). Тссс! Слышите, что говорят?

Рабочий. Слышу. (*Имитирует звук глушилки.*) У-у-у-у!

Человек с приемником. Да вы прислушайтесь. Слышите? Они говорят, что здесь в театре только что был арестован какой-то человек. Вы это видели?

Рабочий. Нет, не видел. Мое дело во время перерыва прийти, чего-нибудь поправить, передвинуть, а что тут между перерывами происходит, я не смотрю.

Человек с приемником. Как же вы не смотрите? Тут человека арестовали, а вы и не замечаете?

Рабочий. А за что арестовали-то?

Человек с приемником. Да вот именно что ни за что. Он просто пришел в театр, а его схватили.

Рабочий. А-а, в театр пришел! А вы говорите, ни за что! Правильно арестовали. Если в театре не работаешь, зачем в него ходить? И вы, папаша, между прочим, тоже зря по театрам шатаетесь. Да еще с такими, как говорится, незрелыми мыслями. Да еще с тарактелкой вот этой. А вот вас посадят и тоже будете говорить — ни за что.

Человек с приемником. Но я надеюсь, вы-то меня не выдадите.

Рабочий. Я-то не выдам, но за них (*показывает на зрителей*) не ручаюсь. Так что вы уж, папаша, лучше от греха подальше.

Рабочий подталкивает Человека с приемником к выходу. Тот спотыкается, падает. От удара с приемником что-то происходит, и звуки глушения сменяются чистым и ясным голосом диктора.

Радио. ...как мы уже передавали, был арестован прямо в зале театра, где он откровенно и резко критиковал существующую систему и призывал к соблюдению основных свобод и прав человека. Наблюдатели полагают, что столь необычная оперативность, которую власти проявили при аресте и предании суду инженера Подоплекова, объясняется их решимостью навсегда покончить с остатками инакомыслия...

Человек с приемником (*торопливо поднимаясь*). Слышали? Ну, теперь-то вы слышали?

Рабочий. Не слышал и слышать не хочу.

За сценой слышна трель милицейского свистка.

Ну вот видите, дослушались, достукались. Мотай, папаша, отсюда. Сейчас же поймают.

Человек с приемником. Бегу, бегу. (*Убегают.*)

Рабочий. Ну и мне тут делать нечего. (*Убегают.*)

На сцену выскакивает Горелкин в пижамных штанах, шлепанцах и в форменном кителе.

Горелкин (*не обнаружив никого на сцене, обращается к залу*). Кто тут чего говорил о Подоплекове? Чего молчите? Думаете, я ничего не слышал? Думаете, если

Горелкин при смерти, так он уже ничего и не слышит? Нет, Горелкин все слышит и все видит. Эй, гражданин! (Свистит.) Да-да, к тебе обращаюсь. Сядь на место. Сказано, не выходить из ряда, значит, не выходить. Вот так. Распустились, понимаешь. Никакой дисциплины, никакой сознательности. Еще говорят, свободы им не хватает. Да вам дай свободу, вы ж тут все вообще перевернете. (Продолжает бормотать что-то насчет свободы, уходит.)

9

Автоматчик, лязгая засовом, открывает дверь в клетку Подоплекова и закрывает за вошедшим внутрь Защитником. Защитник стоит перед Подоплековым, улыбаясь, но тот в апатии и ни на что не реагирует.

З а щ и т н и к (протягивает руку). Позвольте от всей души крепко пожать вашу руку.

П о д о п л е к о в (не глядя на Защитника, вяло протягивает руку). Пожмите.

З а щ и т н и к (трясет руку Подоплекова). Восхищен! Искренне восхищен вашим мужеством. Вы так прямо, откровенно, при всем народе высказали свои принципиальные, критические убеждения.

П о д о п л е к о в. Вы что, смеетесь? Какие у меня убеждения? У меня их отроду не бывало.

З а щ и т н и к. Ну зачем так скромничать? По-моему, у вас убеждения есть и вполне определенные.

П о д о п л е к о в. Убеждения, убеждения... Длинный язык у меня есть, а не убеждения.

З а щ и т н и к. Значит, вы чувствуете, что вели себя как-то не совсем правильно?

П о д о п л е к о в. Что за вопрос? Вы же видели сами, как я себя вел. Характер такой дурацкий. Всегда лезу узнать, что, где, чего. Все мне интересно. Сидел бы себе, помалкивал в тряпочку, как другие. Да что там говорить!

З а щ и т н и к. Очень рад от вас все это слышать. Когда человек сам понимает свои ошибки, начинает осознавать пагубность своих поступков, это уже и есть первый шаг к исправлению. А если вы к тому же прямо и принципиально осудите свое недавнее поведение во весь голос, моя задача защитить вас значительно упростится.

П о д о п л е к о в (настороженно). Я не понимаю, о чем вы говорите.

З а щ и т н и к. Слушайте, мы должны вместе разрабо-

тать определенную и четкую программу вашей защиты. Вот сейчас судьи выйдут, я попрошу дать вам немедленно слово, и вы сразу, без обиняков, не виляя, со свойственным вам мужеством скажете, что, оказавшись в тихой, спокойной, располагающей к размышлениям обстановке, обдумали свое неправильное поведение, осудили свое преступное прошлое и глубоко раскаиваетесь, что своими действиями нанесли непоправимый ущерб народу и обществу.

Подоплеков. Я ничего не понимаю, ничего не понимаю. Какой ущерб, какое преступное прошлое? Ну, сказал я что-то, ну, не подумал...

Защитник. Вот именно! Вот так и скажете, что не подумали. В конце концов судьи и прокурор, они же люди. Ну да, они действуют прежними методами, они старые, больные, у председателя недержание, а у прокурора, наоборот, моча не идет, ему больно, он нервничает, но все-таки они люди. Они могут понять и простить. Ну, конечно, полностью оправдать они вас не могут, но, учитывая чистосердечное признание и искреннее раскаяние, могут значительно снизить наказание. Ну, дадут они вам лет, скажем, пять, ну, десять от силы.

Подоплеков (*хватается за голову*). Десять лет!

Защитник. Ну что вы так пугаетесь! Десять лет это всего две пятилетки. Зато вернетесь, дети уже взрослые, не надо растить, беспокоиться. Они уже к тому времени и коклюшем переболеют и скарлатиной.

Подоплеков (*закрыв лицо руками, сквозь слезы*). Десять лет! Десять лет!

Защитник. Я вижу, вас ужасает сама эта цифра десять. Но что такое десять? Это всего лишь единица и ноль. Да и кроме того, в местах заключения тоже есть самые разнообразные возможности. Зачеты за перевыполнение плана. А может, так повезет, что попадете куда-нибудь, скажем, на урановые рудники. Там и вовсе день за три идет. Поработаете и через три года дома.

Подоплеков. Через три года? Лысый и импотент?

Защитник. Ну, что лысый — это даже удобнее. Не надо с собой расческу носить, не надо заботиться. А второе это и вовсе ерунда. Дети у вас уже есть, а в остальном я вообще никакого проку не вижу. Слушайте, Подоплеков, Семен Владиленич, Сеня, признайся честно и бескомпромиссно и ты мне поможешь. А я помогу тебе. Я буду тебя так защищать, я произнесу такую речь, ты

даже представить себе не можешь. Я когда в ударе, я такую речь могу закатить, что сам Плевако в гробу от зависти перевернется.

Подоплеков. Слушайте, а вы, может быть, того?..
(Крутит у виска пальцем).

Защитник (обиженно). Ты хочешь сказать, что я сумасшедший?

Подоплеков. Да не только вы. Председатель, прокурор, заседатели.

Защитник. Нет, Сеня, ты не прав. Так не может быть, чтобы ты один был нормальный, а все остальные нет. Ну сам подумай. Не может же быть так, чтобы все были сумасшедшие. Я, прокурор, председатель, заседатели, зрители. Нет, так не может быть. Скорее всего сумасшедший кто-то один.

Подоплеков. То есть я?

Защитник. Извини, я ничего плохого сказать не хотел.

Подоплеков. Да, может быть, вы правы. Может быть, я действительно сошел с ума.

Защитник. Вот! Это разумное предположение. На этом мы и будем строить нашу защиту. Вызовем хороших экспертов и отправим тебя лечиться. Там тебе процедуры разные, галаперидол, аминазин, шоковая терапия. Лет пять-шесть полечишься и выйдешь полным идиотом. Ничто тебя не будет волновать, все будет казаться в розовом свете.

Подоплеков. Нет-нет, только не это. Не хочу быть идиотом. Пусть будет тюрьма, лагерь, урановые рудники, расстрел, но идиотом быть не хочу.

Защитник (разочарованно). Ну, вот видишь. Так кто же ненормальный?

10

Друг за другом из уборной выходят Прокурор, заседатели и Председатель, поддерживаемый Секретарем. Часовые берут «на караул».

Председатель. Ну вот, теперь как-то полегче. Теперь можно и за дело.

Секретарь (оставив Председателя, идет к своему столику). Прошу встать! Суд идет! Прошу садиться.

Председатель. Продолжается слушание дела

подсудимого... подсудимого... (*Секретарю.*) Кого мы судим-то?

Секретарь шепчет в конец провода.

Подоплека? Вот этого? Как же, помню. А что милиционер? Он еще жив?

Прокурор. Пока жив. Но врачи все еще борются за его жизнь.

Председатель. Напрасно он полагается на врачей. Я лично в них разочарован. Раньше я в две вещи верил: в марксизм и в медицину. А теперь в медицину не верю. Ну, ладно. Продолжаем заседание. Для допроса вызывается свидетельница Соленая.

Секретарь. Зеленая, товарищ председатель.

Председатель. Ну, Зеленая. Здесь она?

Зеленая. Здесь.

Председатель. Поднимитесь сюда.

Зеленая поднимается.

Свидетельница, назовите вашу фамилию, имя и отчество.

Зеленая. Зеленая Альбина Робертовна.

Председатель. Вы знакомы с подсудимым?

Зеленая. Да, мы работаем в одном и том же НИИ.

Председатель. В каких служебных отношениях вы с ним находитесь?

Зеленая. Мы коллеги. Он инженер и я инженер.

Председатель. А культургом вы работаете в порядке общественной нагрузки?

Зеленая. Да, по поручению месткома.

Председатель. И вы проводите много культурных мероприятий?

Зеленая. Да, порядочно. Мы устраиваем культпоходы по местам боевой славы, по ленинским местам, организовали поездку по Золотому кольцу, участвовали во всесоюзной переключке под девизом «Никто не забыт, ничто не забыто», посетили «Бородинскую панораму», музей Вооруженных Сил, Выставку достижений народного хозяйства, провели литературную викторину под названием «Ленин и теперь живее всех живых» и беседу «Нравственные аспекты продовольственной программы», прослушали лекцию «Образ коммуниста в произведениях современных советских писателей», совершили два маршброска по местам боевой славы, сочетая его со сбором

грибов, ну и, кроме того, проводим коллективные вылазки в кино, театры и так далее.

Председатель. И подсудимый тоже участвовал во всех этих мероприятиях?

Зеленая. Ммм. Вы знаете, я, честно сказать, не помню. Вы знаете, иногда на некоторые мероприятия людей собрать трудно. Каждый придумывает какую-нибудь отговорку: теща приехала или жена болеет, или еще что-нибудь в этом духе.

Прокурор. И обвиняемый тоже уклонялся?

Зеленая. Да, уклонялся. Особенно, если какое-нибудь мероприятие патриотического характера или на ленинскую тему.

Подоплеков. Вранье! В викторине «Ленин и теперь живее всех живых» я участвовал и даже прочел отрывок из Маяковского.

Защитник. Это правда?

Зеленая. Да, это правда. Вообще Семен Владиленинович...

Председатель. Свидетельница, вы должны говорить не Семен Владиленинович, а подсудимый.

Зеленая. Извините. Вообще подсудимый человек начитанный. Много знает наизусть из Маяковского, из Ильфа и Петрова. Но в общественно-политическом плане проявляет пассивность.

Прокурор. Но сюда он пришел охотно?

Зеленая. Да, сюда охотно. Я ему когда предложила билеты, он очень заинтересовался названием, стал спрашивать меня, о чем это. Я говорю, не знаю, я слышала, там вроде кого-то судят.

Прокурор. А он что?

Зеленая. А он говорит: «Очень интересно, очень интересно. Я, говорит, люблю, когда кого-то судят».

Председатель. Когда кого-то, но не его.

Секретарь. Правильно. Когда кого-то, но не его.

Прокурор. Если он заранее этим процессом заинтересовался и даже приобрел билеты, можем ли мы считать, что он явился сюда с заранее обдуманном намерением, с надеждой извлечь для себя из этого мероприятия какую-то пользу?

Зеленая. Да, я думаю, мы можем так считать.

Подоплеков. Нахалка, что ты городишь? Какую пользу я из этого мог извлечь?

Председатель. Подсудимый, ведите себя в рам-

ках. Иначе я вынужден буду в дополнение к уже предьявленным вам обвинениям добавить оскорбление свидетелей и попытку оказать на них давление.

Защитник. Товарищ председатель, я думаю, что поведение моего подзащитного объясняется тем нервным напряжением, в котором он сейчас пребывает.

Председатель. Я это понимаю. Поэтому для начала я ограничиваюсь только предупреждением. У обвинения еще есть вопросы?

Прокурор. Есть. Скажите, свидетельница... Нравственный облик обвиняемого как человека, уклоняющегося от активного участия в нашей общественной жизни, как мещанина, замкнувшегося в мире своих мелких интересов, более или менее очевиден. Но как он вообще вел себя в коллективе, стремился ли привлечь кого-то на свою сторону, дружил ли с кем-то?

Зеленая. Не могу сказать точно. По-моему, ближе других он как-то сошелся с Терехиным, они в обеденный перерыв вместе в шахматы играли.

Защитник. А Терехин этот тоже здесь?

Зеленая. Да, должен быть здесь. Я думаю, он там где-нибудь в заднем ряду сидит. Точно, во-он он, видите?

Председатель (вглядываясь). Нет, не вижу. *(Раздраженно.)* Дайте бинокль.

Секретарь немедленно подает неизвестно откуда взявшийся бинокль.

Так. Это который же?

Зеленая. А вон видите, там, сзади, съежился.

Председатель. Это который в сером пиджаке, что ли?

Зеленая. Ну да, в полосочку.

Председатель. Да, да, вижу. А что это он в заднем ряду сидит? Билетов, что ли, получше не достал?

Зеленая. Нет, билеты у нас у всех были хорошие. Наверное, с кем-нибудь поменялся. У него уже привычка такая, он даже на собраниях всегда сзади других сидит.

Председатель. Ну хорошо, пусть сидит. *(В зал.)* Вы, Терехин, приготовьтесь, может быть, вы нам еще тоже понадобится. *(Прокурору.)* У вас еще есть вопросы к свидетельнице?

Прокурор. Есть. *(Зеленой.)* А скажите, свидетель-

ница, не выражал ли когда-нибудь обвиняемый своего неприятия нашей системы, своей звериной ненависти ко всему нашему?

Зеленая. Вслух? Нет, я от него ничего такого не слышала.

Прокурор. Ну, если вы не слышали и даже если никто другой не слышал, это может свидетельствовать только о его скрытности, о том, что он очень умело маскирует свою истинную сущность.

Зеленая. Об этом я как-то не подумала.

Прокурор. Вот именно, что не подумали. А надо было подумать. Если бы вы и ваш коллектив вовремя об этом задумались, подняли бы тревогу, преступление можно было предотвратить.

Зеленая. Да. Я думаю, что вы правы. Мы должны это учесть, сделать необходимые выводы, усилить воспитательную работу...

Прокурор. И повысить бдительность.

Зеленая. Да, да, вы правы.

Подоплеков. Мерзавка!

Председатель. Подсудимый, перестаньте выражаться!

Зеленая. Ничего, я к этому уже привыкла.

Прокурор (*заинтересованно*). Что, он часто вас оскорблял?

Зеленая. Ну, не так, так иначе. (*Волнуясь*.) Я, конечно, не хотела говорить, но раз он себя так ведет, я скажу. Вообще надо сказать, что Семен Владиленович...

Председатель. Не Семен Владиленович, а подсудимый...

Зеленая. Да, извините. Конечно, подсудимый. Подсудимый отличается неуживчивым характером, с коллегами заносчив, высокомерен. Хвастается тем, что он Маяковского чуть ли не всего наизусть знает. Ну и что. Я вот, например, на вечерах читаю иногда «Песню о соколе» Горького, но я же этим не хвастаюсь. И вообще, к коллегам по работе абсолютно равнодушен. Мы столько лет в одной комнате друг против друга сидели... И вот, знаете, иной раз прическу сменишь или придешь в новой кофточке... Ну хоть бы он раз заметил. Хоть бы раз сказал: «Алечка, как ты сегодня прекрасно выглядишь».

Председатель. Не Алечка, а свидетельница.

Зеленая. Ну пусть бы даже назвал меня свиде-

тельницей, но спросил бы при этом: «Где ты так загорела? Где ты достала эти туфли?» Но никогда же никакого внимания. Ведь он за столько лет даже не удосужился запомнить, когда у меня день рождения. *(Всхлипывает.)* И вообще, надумал жениться, взял женщину со стороны, хотя в нашем коллективе есть свои не хуже.

Лариса *(вскакивает на сцену)*. Это кто не хуже? Ты, что ли? Да Сеня мне всегда говорил...

Председатель *(грозно)*. Кто-кто говорил?

Лариса *(Председателю)*. Подсудимый, подсудимый говорил. *(Зеленой.)* Он мне всегда говорил, что у тебя ноги кривые и нос картошкой.

Подоплеков *(с упреком)*. Лара!

Зеленая *(надменно)*. Не знаю, кому он что говорил. Мне он говорил, что у меня нос греческий.

Лариса. Древнегреческий.

Прокурор. Вот видите, одной женщине он говорил одно, а другой другое. *(Зеленой.)* Ну, теперь-то вы видите, кого вы в вашем коллективе пригрели?

Зеленая. Да, конечно. Теперь я вижу, что это враг, которого, может быть, даже и расстрелять следует.

Прокурор *(радостно)*. Ды-ды-ды-ды!

Защитник. Товарищ председатель, я протестую. Свидетельница не должна давать советы суду.

Председатель. Совершенно верно. Свидетельница, вы не должны выходить за рамки. Если надо, мы сами приговорим подсудимого, а наши специалисты приведут приговор в исполнение.

Прокурор. Товарищ председатель, я не понимаю, почему мы должны затыкать ей рот. Где же наш хваленый гуманизм? Ведь она нам представила очень и очень интересные данные об обвиняемом как о мелком черством эгоисте, настолько погруженном в свои зловещие планы, что он даже не видит, в чем одета его сотрудница, и не помнит даже ее дня рождения. Не от этого ли отстранения от коллектива идут корни звериного неприятия всего нашего?

Защитник. Товарищ председатель, я протестую. Свидетельница, конечно, может высказывать свое личное мнение о моем подзащитном, но она не имеет права подсказывать, какой ему должен быть вынесен приговор.

Прокурор. Почему же она не имеет права? У нас всякий человек имеет права. И вообще, может быть, она хочет выступить общественным обвинителем.

Председатель. Хватит, хватит. Когда ее назначат обвинителем, тогда она им и будет. А сейчас ее дело отвечать на вопросы, и все. Свидетельница, вы свободны.

Зеленая спускается в зал.

Для допроса вызывается свидетель Терехин. Терехин здесь? *(Пауза.)* Я спрашиваю, где Терехин?

Зеленая *(из зала)*. Он только что там сидел.

Секретарь. Я тоже его только что видел.

Прокурор. Ды-ды-ды! *(Саркастически.)* Он тоже только что видел. Да надо было не видеть, а задержать. Ведь заранее было ясно, что сбежит.

Защитник. Ну, нет. Это было трудно предвидеть. Тем более что там вокруг него были люди.

Прокурор. Вот именно были люди. Но надо еще посмотреть, что за люди. Может, они тоже сбежать собираются.

11

Шум за кулисами. Горелкин волочит по полу Терехина.

Председатель. Что такое? Кого это вы притащили?

Горелкин. Так что, товарищ председатель, данный гражданин пытался бежать. Я его из такси выволок.

Председатель. А, Горелкин! Вы уже выздоровели?

Горелкин. Никак нет, товарищ председатель. Я очень болен и фактически нахожусь при смерти, но когда я вижу, что человек бежит...

Председатель *(растроган)*. Надо же! Сам находится при смерти, но когда речь идет о долге... Вот каких людей мы вырастили и воспитали! *(Плачет.)* Спасибо, Горелкин! Спасибо! Я уверен, что руководство вашего отделения учтет ваш подвиг, а наши специалисты немедленно окажут вам необходимую помощь.

Два санитары укладывают Горелкина на носилки и уносят.

(Утирая слезы). Какие люди! *(Терехину с упреком).* Что же это вы, свидетель, сбежать собрались? И не стыдно?

Терехин *(трясаясь от страха)*. Сты-ты-ты-ты.

Председатель *(передразнивая)*. Ты-ты-ты. Ваши фамилия, имя и отчество?

Терехин. Те-те-те-терехин.

Председатель. Тетететерехин или просто Терехин?

Терехин. Просто. Те-те-те-терехин.

Председатель. Имя-отчество?

Терехин. Пэ-пэпетр Ссыч.

Председатель. Петр Ссыч?

Терехин (*охотно соглашается*). Пэ-пэ-петр Ссыч!

Председатель. Что значит Ссыч? Может быть. Силыч?

Терехин (*соглашается*). Ссыч.

Председатель. Или Сергеевич?

Терехин (*соглашается*). Ссыч.

Председатель (*раздражаясь*). Я вас не понимаю. Ваш паспорт с собой?

Терехин (*соглашается*). Сэ-сэ-сэ-сэ... (*Дрожащими руками выворачивает карманы, из которых на пол летят какие-то бумажки, таблетки, носовой платок, спички и сигареты. Наконец находит и подает председателю паспорт*).

Председатель (*читает*). Сысоевич. А вы говорите Ссыч.

Терехин (*с готовностью соглашается*). Ссыч.

Председатель. Свидетель, сейчас вы будете допрошены по делу Подоплекова Семена Владиленовича. Суд предупреждает вас, что вы должны говорить только правду. За отказ от дачи показаний и за дачу ложных показаний вы будете привлечены к уголовной ответственности. Вам понятно предупреждение?

Терехин. По-по-по-по...

Председатель. Распишитесь у секретаря, что предупреждение было вам сделано.

Терехин непослушной рукой расписывается.

А что это вы так дрожите? Вам холодно?

Терехин. Хо-хо-хо-хо...

Председатель. Или жарко?

Терехин. Жа-жа-жа-жа...

Председатель. Слушайте, перестаньте дрожать. Возьмите себя в руки.

Терехин понимает приказание буквально и берется руками за бока.

Ну, успокоились?

Терехин. Успо-ко-ко-ко...

Председатель (*передразнивает*). Ко-ко-ко. Еще яйцо не снес, а кудахчет.

Секретарь (*хлопает в ладоши и смеется*). Здорово сказано. Еще не снес, а кудахчет.

Председатель. И поднимите свои вещи. Что это вы их по всей сцене раскидали? А что у вас там за таблетки?

(*Терехин ползая по сцене*). Седу-ду...

Председатель. Седуксен, что ли? Вот и примите его. Успокаивает.

Терехин высыпает в рот горсть седуксена, поднимается с колен.

Ну, теперь можете говорить?

Терехин. Теперь могу.

Председатель. Это правда, что вы с подсудимым находились в дружеских отношениях?

Терехин. Правда. (*Спохватившись*.) Нет, неправда. Мы только так. Иногда. В шахматы играли, пиво пили, и все.

Прокурор (*оживившись*.) Даже пиво вместе пили?

Терехин. Разве нельзя? Пить пиво законом не запрещено.

Председатель. Что вы беспокоитесь? Конечно, не запрещено.

Прокурор. Но обычно люди, которые пьют вместе пиво, они друг с другом разговаривают, иногда даже очень откровенно. Они иногда даже, как говорится, душу друг другу раскрывают. Хотелось бы знать, о чем вы говорили с обвиняемым?

Терехин. Ни о чем.

Прокурор. Совершенно ни о чем?

Терехин. Совершенно ни о чем.

Прокурор. Не могу поверить. Глухонемые и те о чем-то между собой говорят. Так о чем же вы говорили?

Терехин молчит.

Может быть, о женщинах?

Терехин молчит.

О спорте?

Терехин молчит.

О политике? Неужели даже о политике не говорили?

Терехин (*пугается*). О политике? Не го-го-го..

Прокурор. Не верю! Неужели даже за кружкой пива он ни разу не высказал вам своей звериной ненависти к нашему строю? Неужели, даже зевнув ферзя, ни разу не сказал, что он бы всех этих судей и прокуроров и адвокатов из пулемета ды-ды-ды?

Терехин (*в ужасе*). Ды-ды-ды! (*Падает на колени и, простирая руки, ползет к Прокурору.*)

Председатель. Свидетель, что вы делаете?

Терехин (*ползет к Председателю, обхватывает его ноги руками*). Я больше не бу-бу-бу...

Председатель вырывается и отскакивает в сторону. Терехин ползет и хватается за ноги Защитника, потом заседатель, повторяя «Не бу-бу-бу...»

Председатель. Свидетель, прекратите сейчас же истерику. (*Секретарю.*) Немедленно успокойте его!

Секретарь делает знак, врываются охранники-санитары. Терехину сквозь брюки втыкают огромный шприц и, обмякшего, уносят на носилках.

12

Председатель (*помолчав*). Ну, я надеюсь, с ним ничего страшного не случилось. Сейчас наши специалисты окажут ему необходимую помощь и все будет в порядке. Я не понимаю, почему наши вопросы вызвали у него такую нервную реакцию. По-моему, для нее не было никаких оснований.

Прокурор. Абсолютно никаких оснований.

Председатель. Хотя в мои обязанности, как председателя данного трибунала, это не входит, но я все-таки хотел бы вам, товарищи, объяснить, что запугивание публики не является нашей целью. Мы вовсе не для того здесь собрались. И если кто-нибудь из вас будет вызван в качестве свидетеля...

Прокурор. Или обвиняемого...

Председатель. Не путай меня! Если кто-нибудь из вас будет вызван, вам не следует беспокоиться. Вы же видите, мы никого огульно не обвиняем. Мы пытаемся вникнуть в существо дела и поэтому задаем вопросы иногда даже довольно острые, но если вы отвечаете на наши вопросы правдиво, если вы относитесь к нам с доверием...

Прокурор. С любовью...

Председатель. ...вам ничего не угрожает. Напротив, мы вам будем всячески благодарны за помощь...

На сцену из зала вбегают взволнованный Зритель. Подходит к краю сцены и обращается к публике.

Зритель. Товарищи!

Председатель. Эй, подождите, вы кто такой?

Зритель. Товарищи, я знаю, мне сейчас заткнут рот, но я не понимаю, что здесь происходит. Мы пришли посмотреть спектакль и развлечься. А это не спектакль, а черт знает что.

Председатель. Да кто он такой? Кто ему разрешил?

Прокурор. Защитник, заседатели, секретарьжимают плечами.

Зритель. Товарищи, я вас спрашиваю, что здесь происходит? На наших глазах одного сажают в клетку, как зверя, над другим издеваются до потери сознания, а мы все сидим и молчим...

Прокурор. Это провокация! Это вражеская вылазка! Мы должны немедленно дать ды-ды-ды, отпор!

Председатель. Гражданин, почему вы здесь оказались? Кто вас сюда вызывал? Если хотите выступить свидетелем, то для начала назовите ваше имя, отчество и фамилию.

Зритель. Да, я свидетель вашей преступной деятельности, когда невинных людей вы хватаете ни за что ни про что...

Председатель. Товарищ секретарь, немедленно удалите этого сумасшедшего из зала!

Зритель. Сам сумасшедший!

Прокурор. Товарищ председатель, позвольте мне поговорить со зрителем наедине.

Председатель. Да-да, поговорите. И постарайтесь его убедить.

Прокурор. Ды-ды-ды! Я постараюсь. Я очень постараюсь, товарищ председатель. *(Неожиданно крепкой хваткой берет Зрителя за шиворот и тащит за кулисы).*

Зритель *(уволакиваемый Прокурором)*. Товарищи, что же вы молчите? Сейчас взяли меня, а потом любого из вас! *(Исчезает за кулисами).*

Председатель. Как трудно работать с людьми! Какая невосдержанность и невоспитанность! Не вник-

нув в суть дела, не попытавшись даже понять значение происходящего, он выскакивает на сцену, нарушает общественный порядок. Ну скажите сами, что можно делать с такими людьми?

13

За кулисами справа раздается шум.

Председатель (Секретарю.) Что там еще?

Секретарь (бежит к источнику шума и немедленно возвращается. Берет конец провода). Товарищ председатель, представители трудящихся просят разрешения провести короткую демонстрацию в поддержку суда.

Председатель (ворчливо). Ну вот еще, демонстрация. Чего демонстрировать? Делать, что ли, нечего? Ну ладно, пусть войдут. (Публике.) Ничего не поделаешь, свобода.

По знаку Секретаря через сцену с плакатами проходят двое участников демонстрации. На плакатах написано: «Дурную траву из поля вон!» «Смерть Подоплекову!» Прокурор стоя аплодирует демонстрантам. Демонстранты, проходя мимо клетки, плюют в Подоплекова.

(Растроган.) Какие люди! Активные, целеустремленные. Не могут проходить мимо отдельных недостатков. (Плачет.)

14

Вслед за демонстрантами появляются два человека. Один держит телевизионную камеру. Другой с фотоаппаратом, магнитофоном и блокнотом.

Председатель. Товарищи, а вы откуда? Из какой организации?

Корреспондент с блокнотом. Мы не товарищи. Мы форин джорналистс.

Председатель (Секретарю). Что? Что? Что он сказал?

Секретарь (в провод). Он сказал, что они иностранные журналисты.

Председатель. Журналисты? Кто разрешил? Кто пропустил? (Журналистам.) А, здравствуйте, здравствуйте. Добро пожаловать. (Выходит из-за стола, по-

жимают журналистам руки.) Вот, познакомьтесь, мои коллеги.

Корреспонденты пожимают руки заседателям, Защитнику, Прокурору, Секретарю.

(Секретарю,) Спроси их чего-нибудь по-вражески, за чем пришли, чего хотят.

Секретарь. Из Москоу э биг сити?

Корреспондент. О'йор инглиш из соу гуд. Где вы учил ваш ннглиш? В Москва?

Секретарь. Йес, Москоу, из э вери биг сити!

Корреспондент (*слегка раздражаясь*). Слушайте, мы очень хорошо знать, что Москоу есть очень большой город, но мы также хотел знать про полытический процесс над диссидент Подоплеков.

Председатель. Что? Что? Что он говорит?

Секретарь. Они говорят о каком-то диссиденте Подоплекове.

Председатель. Диссидент Подоплеков?

Подоплеков (*из клетки*). Я протестую, я не диссидент. Я обыкновенный простой человек.

Председатель. Вот видите. Он обыкновенный простой человек. Зачем же вы его всякими такими словами оскорбляете?

Прокурор. Ды-ды-ды! Опять гуманность. Взять бы эту камеру да по башке ему.

Корреспондент. Что ви сказал?

Председатель. Прокурор сказал вам, что здесь никаких диссидентов нет. Здесь идет спектакль. Понимаете: сцена, зрители, артисты, спектакль.

Корреспондент. Я понимаю, это спектакл. А если это спектакл, то какой рол играет это джентлмен в клетка?

Подоплеков. Я играю роль идиота.

Секретарь. Ю си? Хи из плэинг дэ роль оф эн идиот.

Лариса (*вскакивает на сцену*). Я не согласна! Это клевета! Граждане корреспонденты, моего мужа схватили просто ни за что. И вот издеваются, глупости всякие говорят. Говорят, что он Чехова из ружья застрелил.

Корреспондент. А вы утверждаете, что он Чехова из ружья не стрелился? Нет?

Лариса. Ну, конечно же, нет. Чехов это наш писатель, классик. Он умер сто лет назад.

Корреспонденты записывают что-то в блокнотах.

Пишите, пишите. Так и напишите: говорят, что он застрелял Чехова, который давно умер. А про Подоплекова напишите в газетах, передайте по телевидению, что он ни в чем не виноват. Он хороший человек, хороший инженер, хороший семьянин, прекрасный муж и отец. Я вас очень прошу. Вы не бойтесь. Соберите какой-нибудь митинг, проведите демонстрацию с плакатами, с лозунгами: «Руки прочь от Подоплекова».

Прокурор. Ды-ды-ды!

Председатель. Подоплекова, подумайте, что говорите.

Корреспондент. Значит, вы не согласовываете, что Подоплеков есть один идиот?

Лариса. Да как же вы можете так говорить? Да вы посмотрите на него. Какой ясный ум и какое благородство в его глазах светятся. Разве можно назвать его идиотом? Это я идиотка, что не отговорила его идти на этот дурацкий спектакль.

Корреспондент. Я немножко не понимаюсь. Значит, он не идиот, вы есть идиот?

Секретарь. Дэра мэни идиотс ин Москоу.

Прокурор (вскакивает с места, подбегает к корреспондентам). Ну, хватит, хватит. Нечего тут допрашивать. Кто у нас идиот, кто не идиот, это мы сами без вас разберемся. Посмотрели, поснимали и даньки шон.

Прокурор подталкивает корреспондентов к выходу, те пятятся, на ходу снимая Подоплекова, Ларису и членов суда.

15

Председатель. Ну наконец-то мы остались одни и можем продолжить нашу работу. (Встает.)

И с ним вместе встанут все члены суда.

Суд приступает к слушанию сторон. Слово предоставляется государственному обвинителю.

Прокурор (встает и ходит по сцене. Говорит сначала вяло, потом все больше и больше накаляется). Товарищи судьи! Мы живем в знаменательную эпоху, когда все наши люди в едином порыве вдохновенно трудят-

ся, выполняя, перевыполняя, переперевыполняя взятые на себя обязательства, делая нашу жизнь еще лучше, еще прекраснее. Но в семье, товарищи, не без урода, и один из уродов сидит сейчас перед вами. Его преступные действия были всесторонне, объективно рассмотрены и доказаны, и я на них останавливаться не буду. Меня сейчас волнует другое. Я пытаюсь и не могу понять, как в нашем обществе мог вырасти такой закоренелый преступник. Почему ни в семье, ни на службе, ни в этом зале он не встретил противодействия своим далеко идущим и, я бы сказал, зловещим замыслам? Я знаю, мне возразят, скажут, что он своих вражеских убеждений никогда не высказывал, а свою звериную сущность умело скрывал. Но как раз именно это и должно было насторожить всех нас, кто здесь сидит. И я себе задаю вопрос: почему? Почему ни члены семьи, ни коллеги по работе, ни соседи по этому залу вовремя не забили тревогу, не подняли на ноги нашу общественность, не призвали наши компетентные органы? Я вам скажу почему. Потому что везде, где безнаказанно действовал Подоплеков, процветала крайне нездоровая атмосфера благодушия, ротозейства и головоутияства. Да, Подоплеков исправно ходил на работу, чертил чертежи, пил пиво, играл в шахматы, смотрел телевизор и думал: вот взял бы сейчас пулемет и всех этих дикторов, хоккеистов, артистов...

Подоплеков. Ложь! Я никогда такого не думал.

Прокурор. Вот видите, он и сейчас упорствует, выгораживает себя, меняет окраску, как хамелеон. Товарищи судьи, у нашей системы много врагов. Но враги эти разные. Есть враги, вроде того зрителя, которого мы здесь недавно видели. Они выходят на сцену и открыто, я бы сказал даже честно, высказывают свою звериную ненависть ко всему нашему. С таким врагом бороться не сложно. Его просто берешь — ды-ды-ды-ды — и все. Но гораздо большую опасность представляют для нас такие скрытые подоплековы. Их много. В этом зале и за его пределами есть миллионы таких, которые ходят на работу, пьют пиво, играют в шахматы, а свою звериную ненависть так тщательно и умело скрывают, что не высказывают ее даже в самых критических ситуациях. Именно это зловещее явление я и называю тем словом, которое давно уже следовало здесь произнести. Подоплековщина — вот оно это слово!

Крики из зала. Правильно.

Прокурор. К сожалению, болезнь зашла далеко. Это подоплековы внедрились во все ячейки нашего общества, как холероносные бактерии. Они управляют комбайнами, стоят у станков, заседают в президиумах и трибуналах. *(Неожиданно взрывается.)* Нет, вы посмотрите в этот зал, взгляните в этих людей, и вы увидите, что это все подоплековы. Да что там говорить о зале! Товарищи судьи, будьте наконец откровенны, взгляните в самих себя и посмотрите, не сидит ли в каждом из вас такой же вот Подоплеков.

Крики из зала. Правильно!

Прокурор *(нервно подскочив к краю сцены)*. Кто кричал «правильно»? *(Судьям.)* Вот видите, эти подоплековы уже даже «правильно» кричат, только чтобы скрыть свою звериную сущность. А мы тут валяем дурака, ломаем комедию, разглагольствуем о каком-то гуманизме, когда самое гуманное сейчас это взять автомат *(выхватывает из рук Фемиды автомат)* и всех дыды-ды!

Прокурор торопливо взводит затвор, намереваясь, видимо, полоснуть по залу. Секретарь сзади решительно набрасывается на Прокурора. На помощь Секретарю приходит Горелкин. Шум, возня, крики: «Ой!», «Сошел с ума!», «Отнимите оружие!» Слышна резкая автоматная очередь. Теперь уже все члены суда набрасываются на Прокурора.

Голос председателя. Вызовите «скорую помощь»!

Свет гаснет. Слышен приближающийся шум автомобильной сирены. Сцена озаряется мигающим светом, в котором Прокурора торопливо укладывают на носилки и уносят. Опять гаснет и вспыхивает свет. Судьи стоят за столом.

Председатель *(бесстрастно)*. Суд объявляет перерыв.

А н т р а к т

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

На сцену выходит Бард и, настроив гитару, поет вполголоса.

— Зачем зацветашь? — спросили цветок.

Ответил:

— Затем, чтобы цвести.

— Но есть ли в цветенье

Какой-нибудь прок?

Ответил:

— Наверное, есть.

А если и нету,

судьбе навсегда

спасибо за краткую честь:

пред тем, как увянуть, облететь без следа,

хотя бы без пользы поцвести.

Появляется Лариса с сумкой.

Л а р и с а (*запыхавшись*). Извините, что я вас прерываю. Что, все уже кончилось?

Б а р д. Что вы имеете в виду?

Л а р и с а. Я имею в виду судебное заседание.

Б а р д. А, заседание. Нет, оно еще не начиналось. И, возможно, не скоро даже начнется. Что-то случилось с прокурором. То ли он помешался, то ли у него инфаркт, никто точно не знает. Некоторые даже говорят, что он уже умер.

Л а р и с а (*всплеснув руками*). Какое счастье!

Б а р д. Да, но это только слухи. На самом деле ничего не известно. Власти хранят гробовое молчание. Они не хотят объявить о смерти прокурора до окончания процесса, а процесс никак нельзя закончить без прокурора.

Л а р и с а. Все-таки я рада. Потому что прокурор был очень уж злобный.

Б а р д. Да нет. Не то чтобы злобный. Просто человек старой формации, который не может иначе.

Л а р и с а. А что вы думаете о председателе. Он тоже старой формации?

Б а р д. Да, конечно. Но, в общем, человек неплохой. Бабник, выпивоха, рыболов.

Л а р и с а. А заседатели?

Б а р д. Видите ли, я вообще исхожу из того, что в

каждом человеке есть что-то хорошее, и в заседателях тоже. А если взять секретаря, то он вообще человек современный и хорошо образованный. Знает наизусть Тютчева, дома носит джинсы и любит джаз. И, как вы сами слышали, почти свободно говорит по-английски.

Л а р и с а. Как приятно все это слышать! Это внушает надежды, что с новыми людьми придут новые веяния. Как вы думаете, может быть, они его оправдают?

Б а р д. Кого?

Л а р и с а. Я имею в виду моего мужа.

Б а р д. Оправдают вашего мужа? Нет, я не думаю. Понимаете, система уже сложилась, и если не судить вашего мужа, то что тогда делать председателю, заседателям, секретарю, адвокату, охранникам?

Л а р и с а. Но вы же сами говорили, что они хорошие люди.

Б а р д. Ну, конечно, хорошие. Но у каждого есть семья, дети, которых надо кормить, растить, ставить на ноги, выводить в люди. *(Поет.)* «А если и нету, судьба навсегда...»

Л а р и с а *(прерывает Барда)*. Да, извините, я вас еще хотела спросить. Если здесь никакой защиты ждать не от кого, то, может быть, обратиться к каким-нибудь заграничным кругам. Я слышала, там сейчас большой шум. Говорят, даже какая-то ассоциация озабоченных ученых... это они так себя называют... создала комитет Подоплекова.

Б а р д. Это, конечно, неплохо. Толку не будет, но будет хотя бы шум. Между прочим, эти комитеты тоже в Подоплекове заинтересованы как в подсудимом. Без него им просто нечего делать. *(Поет.)* «А если и нету, судьбе навсегда спасибо за краткую честь...»

Л а р и с а. Как я хочу, чтобы моего Сеню выпустили!

Б а р д. Вы в этом уверены!

Л а р и с а. Неужели вы в этом можете сомневаться?

Б а р д. Не знаю. Мне кажется, ваше положение в обществе значительно изменилось к лучшему. То вы были просто жена какого-то инженера, а теперь жена известного человека, именем которого называют комитеты.

Л а р и с а *(сердится)*. Вы ошибаетесь, мне нужен не комитет Подоплекова, а сам Подоплеков. Мне нужен мой муж, а моим детям отец. Мы его любим. И пусть он

будет такой, какой есть: маленький, вздорный, неуклюжий. А вы напрасно делаете вид, что вы циник. Вы просто боитесь, но стесняетесь в этом признаться. А вы не стесняйтесь. Бояться не стыдно, стыдно придумывать философию. (*Видя Первого заседателя, направляется к нему*).

2

Первый заседатель пересекает сцену, отчасти рассуждая сам с собой, отчасти обращаясь к публике.

Заседатель. И все-таки, несмотря ни на что, я оптимист. Я верю, что постепенно все идет к лучшему. Некоторые люди не умеют анализировать и видеть факты в исторической перспективе. Вот, к примеру, об этом Подоплекове столько шуму, столько крику! Взяли его, видите ли, ни за что ни про что, на глазах у всех. А вы что хотите? Чтобы взяли, как раньше, ночью. И чтоб никто не видел. Раньше-то брали пачками и без свидетелей. А теперь, ну взяли одного. Зато все остальные сидят и спокойно смотрят. И если не будете заступаться, протестовать, то с вами, скорее всего, ничего не будет. Со всем ничего. Можете спокойно смотреть, а в антракте кушать пирожки с капустой.

Лариса (*она стояла рядом, ожидая пока Заседатель закончит свой монолог*). Гражданин заседатель, извините за беспокойство. Мне хотелось бы узнать насчет прокурора. Как он?

Заседатель. А вам зачем это знать?

Лариса. Просто хотелось выяснить, будет ли продолжено заседание.

Заседатель. Конечно, будет. В истории ничто никогда не остается незавершенным, все доходит до своего логического конца.

Лариса. Ну, в общем смысле я это понимаю, но если насчет заседания, так оно же не может продолжаться без прокурора.

Заседатель. Что-то вы такое, гражданка, плетете непонятное. Конечно, без прокурора не может, но вопрос-то решается просто: не будет этого прокурора, назначат другого. Без прокурора не останемся, не беспокойтесь.

Лариса. Да я, собственно, и не беспокоюсь. Я только хотела вас попросить: когда вы будете решать судьбу

моего мужа, вы должны помнить, что это прекрасный человек, талантливый инженер, идеальный семьянин.

Заседатель. Слушайте, зачем мне все это знать?

Лариса. Но должны же вы иметь представление о человеке, судьбу которого вы будете решать.

Заседатель. Да ничего я не буду решать. Моя роль сводится только к тому, чтобы кивать головой. Мне что-то говорят, я не слушаю, я киваю.

Лариса. Но, может быть, в некоторых случаях вам говорят что-то такое, с чем вы, по вашим убеждениям, не можете согласиться.

Заседатель. Что вы, гражданка! Я по моим убеждениям могу согласиться со всем. Кто я? Никто, просто пешка. Если я не буду кивать, меня заменят другим, который будет, и ничего не изменится. Во всяком случае сейчас. Но если говорить об исторической перспективе, то в этом смысле я в будущее смотрю с оптимизмом. Мы уйдем, на наше место придут другие, энергичные люди. Они будут образованнее и, может быть, даже умнее нас. Они многое исправят и улучшат.

Лариса. Да, когда-нибудь они, может быть, что-то исправят. Но что мне делать сейчас? Как мне сегодня бороться за моего мужа?

Заседатель. А никак. Никак не надо бороться. Поверьте, когда-нибудь все само собой образуется. Так или иначе, но все идет к лучшему. Конечно, не сразу, но лет через двести-триста таких процессов уже не будет, будет что-то другое.

Лариса. Вы такими масштабами меряете. Двести-триста. Я же не черепаха. Я до этого не доживу.

Заседатель. Это не важно, что вы не доживете. Я говорю об общей исторической перспективе, на которую я смотрю, в общем-то с оптимизмом. *(Уходит.)*

3

Второй заседатель быстро идет по сцене. Видит Ларису и пытается уклониться от разговора.

Лариса. Здравствуйте.

Заседатель *(вынужденно)*. Здравствуйте. *(Пытается обойти Ларису.)*

Лариса *(загораживает дорогу)*. Извините, у меня к вам просьба.

Заседатель. Да что вы пристааете ко всем со

своими просьбами. Надо же какая, никому не дает проходу.

Лариса. Что значит никому? Вы же заседатель.

Заседатель. Ну заседатель, заседатель. Но сейчас я, как видите, не заседаю, а хожу, сейчас я прохожий.

Лариса. Я понимаю, что сейчас вы прохожий. Но когда вы будете заседать, тогда к вам и вовсе не подступиться.

Заседатель. Ну хорошо. Что вы хотите?

Лариса. Я только хотела сказать, что мой муж Подоплеков...

Заседатель. Я знаю, что ваш муж невиновен.

Лариса. Конечно же, не виновен.

Заседатель. Ну и что, что невиновен? Это все знают. Я знаю, вы знаете, они (*показывает в зал*) знают.

Лариса (*растерянно*). А если знаете, зачем вы его судите?

Заседатель. Что значит зачем? А что же нам еще делать, если мы ничего другого делать не умеем?

Лариса. В таком случае вы его посудите немного, а потом оправдайте. И председателю скажите, что мой муж ни в чем не виновен.

Заседатель. Я такое скажу председателю? (*Громко смеется.*) Да вы что, за сумасшедшего меня принимаете?

Лариса. Ну почему же за сумасшедшего. Я принимаю вас за честного и порядочного человека.

Заседатель. Ай-яй-яй, какие слова! Честный и порядочный. Я, может быть, не честный и не порядочный, но и не сумасшедший. (*Сердится.*) Вы когда говорите, когда призываете меня, вы думаете своей головой, к чему призываете? Ну представьте, допустим, я сделаю, как вы говорите...

Лариса. О, это было бы очень хорошо!

Заседатель. Кому хорошо? Вам?

Лариса. Вам. Если бы вы подняли свой голос, это, знаете, произвело бы такой общественный эффект? Это оздоровило бы обстановку.

Заседатель. Ой, что я слышу! Уши вянут! Да как я могу поднять свой голос. Да меня тут же скрутят в бараний рог. И вам не помогу, и сам пропаду ни за

грош. (*Махнув рукой, идет дальше, бормоча про себя.*)
Общественный эффект, поднять голос...

Л а р и с а. Слушайте, а что же мне делать?

З а с е д а т е л ь (*останавливаясь*). Вам? (*Возвращается и, приложив ладонь ко рту, громким шепотом.*)
Бежать!

Л а р и с а. Бежать? Куда? Как?

З а с е д а т е л ь (*оглядываясь*). Куда угодно и как угодно. Здесь сидеть нечего. Здесь никогда ничего хорошего не будет. Люди деградируют, система разложилась, никаких изменений не будет ни сейчас, ни через двести, ни через триста, ни через тысячу лет.

Л а р и с а. Неужели вы думаете, что ничего нельзя изменить? Но если бы мы все сообща взялись за дело...

З а с е д а т е л ь (*морщится*). Слушайте, бегите и как можно скорее.

Л а р и с а. Как?

З а с е д а т е л ь. Как угодно. Достаньте путевку на турпоездку, надуйте воздушный шар, выйдите замуж за иностранца.

Л а р и с а (*смеется*). Скажете тоже. Не могу я выйти за иностранца, я уже замужем. Я буду добиваться освобождения моего мужа, а не добьюсь, буду ждать его возвращения.

З а с е д а т е л ь. Какие глупые и возвышенные слова! Она будет ждать! Да вы знаете, что это значит? Это значит, что вы из года в год будете писать жалобы и получать ответы, и писать жалобы на ответы и добиваться в приемных, чтобы вам разрешили поехать за тридевять земель, поговорить с ним через стекло и передать ему пару теплых носков.

Л а р и с а. Да, и я буду это делать, если моему мужу это будет необходимо.

З а с е д а т е л ь. Да, сейчас ему это будет необходимо. Но потом он горько пожалеет об этом.

Л а р и с а. Почему же это он пожалеет?

З а с е д а т е л ь. Неужели непонятно? Он просидит свои семь или десять лет, намучается, настрадает, он будет видеть вас в своих эротических снах такую, какая вы сейчас, молодую и сочную, а его у ворот свободы встретит измученная пожилая женщина с седыми волосами, впавшим животом и обвисшей грудью.

Л а р и с а. И вы думаете, он меня бросит? Вы не знаете моего мужа. Он благородный.

З а с е д а т е л ь. Тем хуже для него и для вас. Вы будете стареть, сохнуть без любви, без ласки, из благо­родства, а он потом из благодарности будет жить со ста­рой, иссохшей женщиной.

Л а р и с а. О Господи, да что это вы говорите? Вы меня так расстроили.

З а с е д а т е л ь. А вы не расстраивайтесь, вы бе­гите.

Л а р и с а. Ну как же бежать? Каким способом?

З а с е д а т е л ь. Если бы я знал каким, вы бы сей­час говорили с кем-то другим. (*Резко повернувшись, уходит.*)

4

Появляется Председатель. Медленно и тряся головой, идет вдоль сцены.

Председатель. Все-таки мир устроен неспра­ведливо. Почему какой-то темный и необразованный го­рец в каком-нибудь своем кишлаке без всяких врачей живет сто пятьдесят лет, а у меня, несмотря на то поло­жение, которое я занимаю, все болит, руки дрожат, го­лова трясется, весь организм разваливается... Почему? Почему природа не устроила так, чтобы продолжитель­ность жизни человека зависела от его значения?

Л а р и с а. Извините, пожалуйста, что я прерываю ваши размышления.

Председатель. А вы кто?

Л а р и с а. Подоплекова Лариса. Жена подсудимо­го Подоплекова...

Председатель. А, этого, который из ружья стрелял?

Л а р и с а. Да он не стрелял, я вас уверяю. У него и ружья-то никогда не было. Он только цитировал Че­хова.

Председатель. Ну, а зачем же было цитиро­вать. Мало ли кто какую глупость скажет. Зачем же ее повторять?

Л а р и с а. Я с вами согласна, но все-таки надо иметь в виду главное, что он не только не стрелял, но даже не собирался.

Председатель. Ну и правильно, правильно. За­чем в нас стрелять? Мы и сами скоро сойдем. Придут новые поколения. Может, они вам больше понравятся.

Л а р и с а. Скажите, а прокурору что, правда плохо?

П р е с е д а т е л ь. А кому сейчас хорошо? Да что прокурор! Все-таки он по должности ниже меня, а я тоже не очень здоров. Странно все-таки. Где бы я ни появился, меня везде охраняют. Везде принимаются строжайшие меры безопасности, чтобы какой-нибудь сумасшедший террорист не бросился на меня с ножом или пистолетом. А какой-нибудь жалкий микроб, какой-нибудь ничтожный вирус, которого даже в микроскоп нельзя разглядеть, свободно проникает в мой организм, грызет печень и почки, и ему нет никакого дела до того, что я занимаю такое важное положение, что если я умру, это будет такая потеря для общества.

Л а р и с а. Да, да это будет огромная и невосполнимая потеря.

П р е с е д а т е л ь. Извините, мне нужно по-маленькому. Тут где-то была Лиза Чайкина. Как вы думаете, под ней можно это сделать?

Л а р и с а. Конечно, можно. Тем более вам.

П р е с е д а т е л ь. Но я боюсь, что там люди. Может быть, они смотрят.

Л а р и с а. А вы плюньте на них. Не обращайтесь внимания. Я вас загорожу. *(Председатель подходит к статуе Фемиды. Лариса его загораживает.)* Слушайте, вы, конечно, извините, что я вас отрываю от важного дела... Но вам не кажется, что моего мужа арестовали несправедливо?

П р е с е д а т е л ь. Конечно, несправедливо.

Л а р и с а. Очень рада это от вас слышать.

П р е с е д а т е л ь. А вот скажите мне, у вас почки не болят?

Л а р и с а. Почки? Нет, пока, кажется, не болят.

П р е с е д а т е л ь. Вот. А у меня болят. Это разве справедливо?

Л а р и с а. Да, это, конечно, очень несправедливо, но это, как говорится, от Бога. *(Спохватившись.)* Извините, я вообще-то неверующая...

П р е с е д а т е л ь. В данном случае это не важно. Но если Бог так несправедливо все устроил, чего же вы ждете от нас, от людей?

Л а р и с а. Да, вы правы, но все-таки и во мне и, наверное, даже в вас есть чувство сострадания, которое вам хотелось бы удовлетворить. А тем более, если вы чувствуете, что у вас возраст, почки и путь ваш так или

иначе подходит к концу, так не лучше ли облегчить свою душу каким-нибудь добрым поступком.

Председатель. Темная женщина! Неужели вы до сих пор не осознали, что никакой души нет, а есть только химическое соединение белковых тел.

Лариса. Я с вами совершенно согласна, но все-таки каждому человеку, даже если он считает свою жизнь всего лишь движением материи, хочется оставить о себе хорошую память.

Председатель (*застегиваясь*). Какое невежество! Да кто помнит хорошее? Люди такие существа, что их надо давить, травить, делать им как можно больнее, вот тогда они что-то запоминают.

Лариса. Я с вами совершенно согласна, но все-таки...

К Председателю подбегает Секретарь.

Секретарь (*Ларисе*). Извините. (*Быстро шепчет Председателю что-то в провод.*)

Председатель. Ага. Вот оно что. (*Ларисе.*) Было интересно, но надо идти. Один человек, кажется, собирается оставить о себе хорошую память. (*Уходит, поддерживаемый Секретарем.*)

Лариса (*вслед*). Гражданин председатель. Я совсем забыла, я хотела у вас попросить свидание с моим мужем. Я хотела бы его повидать. Передать теплые вещи, гостинцы...

Секретарь (*вернувшись, торопливо*). Ничего! Вот прокурор умрет, и все будет хорошо.

Лариса. Нет. В это я уже не верю. Один умрет, другого назначат. Ждать некогда. Надо обратиться к общественности.

5

Появляется Ученый.

Ученый (*на ходу*). Преобразование природы — вот главное и достойное человека дело. Повернуть вспять сибирские реки. Напоить Енисеем безводные просторы пустыни Каракум, чтобы она стала цветущим садом. Построить гигантский водопровод и перекачать байкальскую воду в озеро Балатон. Путем направленных термоядерных взрывов растопить ледяной покров Антарктиды, превратить четырнадцать миллионов квадратных

километров ее территории в цветущий сад. Снести всю тайгу, засадить фруктовыми деревьями, превратить в цветущий сад...

Л а р и с а. Простите пожалуйста, вы ученый?

У ч е н ы й. Да, я ученый.

Л а р и с а. Я верю, вы мне поможете. Вы занимаете важное место в обществе. Вы, вероятно, даже близки к правительству.

У ч е н ы й. Ну, не следует преувеличивать, но, естественно, что к моему мнению правительство иногда прислушивается.

Л а р и с а. Это счастье, что я вас встретила. Вы мне поможете. Вы замолвите словечко за моего мужа.

У ч е н ы й. А что, собственно, с вашим мужем случилось?

Л а р и с а. Видите ли, его арестовали.

У ч е н ы й. А-а, арестовали. Ну, подумаешь. Я думал, действительно, что-то серьезное.

Л а р и с а. Да, но понимаете, его арестовали совершенно ни за что. И если вы используете ваш авторитет...

У ч е н ы й. К сожалению, никак не могу. От меня правительство ждет грандиозных планов, а я приду к ним с какой-то ерундой. *(Идет дальше.)* Я уже не говорю об Антарктиде. Но хоть бы Енисей дали повернуть для начала... *(Уходит.)*

6

На сцену выходит Поэт, одетый весьма живописно. Одна половина брюк у него розовая, другая — салатного цвета, свитер тоже разноцветный, а на шее белоснежный шарф.

П о э т *(бормочет на ходу).*

Одна девчонка
В дыму вальсирует.
Висок под локоном
Ее пульсирует...

Л а р и с а. Какие трогательные стихи! И очень хорошие рифмы: вальсирует — пульсирует. Очень, очень хорошо!

П о э т *(останавливается, смотрит на Ларису с интересом. Игриво).* Откуда вы, прелестное дитя?

Лариса. Я Лариса Подоплекова. Тут, вы видели, моего мужа судили.

Поэт (*насторожился*). Вашего мужа? Ах да, вашего мужа. (*Оглянувшись, шепотом*). Ну что же. Я вам желаю... Держитесь! (*Пытается уйти*.)

Лариса. Я вас прошу... Подождите! Вы мне должны помочь!

Поэт. Я вам пока могу помочь только советом. Наберитесь терпенья и ждите. Скоро все переменится. У меня наверху есть связи... Там один чувак... Я ему сам вожу джинсы, виски... Он Агату Кристи в подлиннике читает.

Лариса. Это очень приятно слышать. Но ждать некогда. Вы слышали, что прокурор сказал?

Поэт. Ну мало ли кто чего сказал. Меня вообще местные проблемы не интересуют. Меня сейчас волнует ситуация в Чили. Вот вы послушайте. (*Читает нарасспев.*)

Тонка чилиечка
И узкогруда...
Уткнулась личиком
В стихи Неруды,
Но пиночетовец
Поднял винчестер,
Он метит, падло,
В меня и в Пабло..

Лариса. Замечательно! У вас такой боевой пафос. А вы не можете его направить против местных порядков? Написали бы что-нибудь такое... Сегодня здесь, неподалеку, был арестован Подоплеков... Или как-нибудь иначе...

Поэт (*шепотом*). Неужели вы не понимаете, что именно об этом я все время и пишу? Когда я пишу «чилиечка», я же вас имею в виду. А пиночетовец неужели вам никого не напоминает?

Лариса. Вы имели в виду прокурора?

Поэт (*игриво*). Я сразу заметил, что в вас что-то есть. Слушайте, давайте я на всякий случай запишу ваш телефончик.

Лариса (*грустно*). К сожалению, после ареста Сени мой телефон отключили.

Поэт. Вот как! (*Возвышенно.*) Слушайте, волшебница, вы подарили мне строчку! (*Торопливо целует Лари-*

су и быстро уходит, сочиняя на ходу.) А в Чили сонно скрипят выключины, и телефоны у всех отключены...

7

Появляется Писатель, бородатый и с посохом.

Писатель (*ворчливо*). Эти городские об чем заботятся. Телефон у них отключили, так они и из этого проблему делают. Раньше-то, бывало, люди без всяких телефонов жили и ничего. Зато лошадей имели, коров. А на игрища, когда девки-то с парнями-то собирались, они руки не для того использовали, чтобы, понимаете, телефоны накручивать. Сейчас, конечно, все слишком ученые стали. Уже и до того додумались, чтобы нашу русскую реку повернуть к азиатам. Прогресс!

Лариса. Здравствуйте.

Писатель. Здравствуйте.

Лариса. А я вас узнала. Вы писатель. Я вашу фотографию на обложке роман-газеты видела.

Писатель. Это возможно. Я там свой роман опубликовал о колхозизации.

Лариса. Вот-вот. Я роман не читала, но фотографию видела. Так вот я и подумала, что, может быть, вы как писатель поможете. Обратитесь в инстанции, призовите общественность, ударьте, так сказать, в набат.

Писатель. Набат, набат. Где же он нонче, набат-то этот? Раньше-то, бывало, когда идешь по сельской-то местности, особенно если в светлое воскресенье или другой какой-то праздник, так от деревни до деревни тебя колокола встречают и провожают, поют, понимаете, на разные голоса. А колоколенки-то, колоколенки! Одна, понимаете, краше другой! Так надо же, все поносили! Троцкисты, военнопленные и другие нерусской национальности. Религия, говорят, опиум для народа. Нет, я не спорю, я сам человек партийный, я понимаю, что опиум. Но помимо-то опиума это ж душа народная жила в тех колоколенках и колоколах. А теперь что? Никаких тебе колоколен, никаких колоколов, только трактора, как вши, извиняюсь, ползают да фырчат: фыр-фыр-фыр. Землю железом давят, структуры почвы, понимаете, разрушают. Ах (*Безнадежно махнув рукой, пытается уйти*).

Лариса. Подождите, прошу вас. Я прошу заступиться за мужа моего.

Писатель. Это за Подоплекова, что ли?

Лариса. Так вы его знаете?

Писатель. Что значит знаю. Сидел тут, смотрел на выдумки на городские.

Лариса. Значит, вы все сами видели, вам и объяснять не надо. Помогите, я вас прошу!

Писатель. Чудной все же народ живет в городах. Ну как же я вам помогу? Я ведь ваших городских дел полностью не понимаю. Я в деревне живу. Сажу себе на сеновале, перышком поскрипываю. Ну иногда, понимаете, съездишь по делам в Москву, в Париж, в Лондон, в Коктебель, в Пицунду, и опять домой, в деревню, на сеновал. Надо же, понимаете, работать, дело свое делать надо.

Лариса. Но вы же писатель. Вы же совесть народа. Некрасов, помните, говорил: «Поэтом можешь ты не быть, но гражданином быть обязан».

Писатель. Как же, помню завет нашего классика и соблюдаю. И даже, отрываясь от своих непосредственных дел, по гражданской линии выступаю. За тот же Енисей бороться приходится, а также таежного гнуса спасать.

Лариса. Кого спасать?

Писатель. Комар есть такой, таежный. Он геологов ваших, городских, кусает, вот они и выдумывают, войну этому гнусу, понимаете, объявили. С самолетов его химией травят. А того понять не хотят, что природа без гнуса существовать-то не может. Я об этом и статью опубликовал в «Литературке». Не читали?

Лариса (виновато). Нет, как-то пропустила.

Писатель. Ну вот видите, роман не читали, статью пропустили, а про Подоплека своего не забываете. (Пытается уйти.)

Лариса. Я статью вашу прочту. И роман тоже. Но помогите, пожалуйста.

Писатель (возвращается). Слушайте, а вы в Бога веруете?

Лариса. Не знаю. Не вижу нигде его присутствия. Да вы и сами говорили, что религия — опиум.

Писатель. Он-то, конечно опиум, Но и опиум люди для чего-то употребляют. Да и о нравственной опоре надо подумать. Я хотя и коммунист и в партийном бюро состою, но крест всегда ношу на себе. Одно другому, я думаю, не мешает. Ведь в наше-то время научных всяких, понимаете, достижений и спутников глупо даже ду-

мать, что все создано из ничего и ни для чего. Даже дерево для чего-то, понимаете, создано. Поглощает углекислый газ и выделяет для нашего дыхания кислород (*Уходит.*)

Лариса (выходит на авансцену). Ни от кого ничего не добьешься. Все заняты своим, все чего-то спасают. Даже какого-то гнуса спасают, а Подоплекова спасти некому. Если бы я была верующая, я бы помолилась. Я бы сказала. Господи, ну помоги же! Если люди не хотят помогать друг другу, для чего же ты их создал? Для того чтобы поглощать кислород? И выделять углекислый газ? Чтобы деревьям было чем дышать? Чтобы таежному гнуса было кого кусать? Помоги же, Господи!

Гаснет свет. Сверкает молния. Раздается оглушительный удар грома. И опять вой сирены, шуршание шин и тревожный блеск мигалки. Сцена снова освещается, и на нее выбегает возбужденный Секретарь.

Секретарь (победоносно). Вы слышали! А прокурор все-таки умер!

Лариса. Не может быть!

Секретарь. Умер, умер! Точно вам говорю!

Лариса. Какое счастье! Какое счастье! Дайте я вас расцелую. (*Обнимая Секретаря, плачет и смеется одновременно.*) Спасибо вам. Спасибо.

Секретарь (смущенно). Ну что вы! Что вы! Я всегда рад принести хорошую новость.

Лариса. Но теперь-то уж все будет хорошо. Теперь-то, наверное, объявят амнистию и моего Сеню освободят.

Секретарь (освободившись от объятий). Не знаю, не уверен.

Лариса. Вы думаете, что нет?

Секретарь. Я просто не знаю. (*Уходит.*)

Лариса (одна). Неужели ничего не изменится?

Секретарь (возвращается, кладет ей руку на плечо). Ну ничего. Вот председатель умрет, и тогда все будет хорошо.

8

Сцена затемняется. Слышны приближающиеся звуки духового оркестра. Исполняется похоронный марш Шопена. Сцена высветляется. Обстановка крематория. В глубине те же портреты, но один из них — Прокурора — в траурной рамке. Появляется Председатель с траурной

повязкой на рукаве. За ним Горелкин, Поэт, Зеленая и Терехин несут венки. За ними заседатели, Защитник и Секретарь вносят гроб, на котором большими красными буквами написано: «Прокурор». за гробом идет Лариса, за ней появляется Рабочий с молотком.

Председатель (*командует*). Так. Опускайте! Осторожней, осторожней, не наклоняйте. Вот так. (*Выходит на авансцену.*) Вот видите, умер. Слово для прощания с покойным представляется представительнице коллектива НИИ железобетонных конструкций товарищу Соленой.

Секретарь (*в провод*). Зеленой, товарищ Председатель.

Председатель. Ну, Зеленой.

Зеленая выходит вперед. В строгом черном платье и в черном платочке она кажется выше и тоньше, чем обычно.

Зеленая. Товарищи, нас постигла тяжелая и невозполнимая утрата. Навсегда ушел Прокурор. Он был чуткий, заботливый и принципиальный товарищ. Он много внимания уделял нашему коллективу, в котором, если сказать честно, еще до недавнего времени процветала атмосфера благодушия, ротозейства и головопательства. Конечно, у нас еще есть некоторые недостатки, но мы их упорно и успешно изживаем. И за это за все наш низкий поклон покойному. (*Читает нараспев, торжественно*). «Пускай ты умер, но в сердце сильных и смелых духом всегда ты будешь живым примером, призывом ярким к свободе, к свету...»

Пока она читает, Рабочий по знаку Председателя заколачивает крышку гроба. Зеленая отходит. Председатель делает знак, площадка с гробом опускается. Из открытого люка поднимаются клубы дыма. Автоматчики стреляют в воздух.

Председатель (*печально*). Вот вы, наверное, смеетесь. Вы думаете, подумаешь прокурор. Один умер, другого найдут. Это, конечно, правильно, но все-таки другого такого найти не так-то просто. Он был романтик, идеалист. Он даже взятку не брал. Он думал только о том, чтобы ды-ды-ды и ни о чем больше. Нет, я не спую, сейчас тоже есть много таких, которые готовы ды-

ды-ды. Но иной делает ды-ды-ды-ды, а сам думает, как бы под шумок еще одну дачу урвать или племянника протолкнуть в дипломаты. А мы, старая гвардия, постепенно сходим со сцены, иногда даже забывая, зачем пришли. Кстати, зачем мы здесь? (*Думает, машет рукой.*) Не помню. Помню только, что здесь где-то статуя была. Какая-то женщина. Долорес Ибаррури, что ли? Помню только что, как увижу ее, всегда возникает желание (*расстегивает штаны, направляется к Фемиде*).

Секретарь. Товарищ председатель, туда нельзя! Там люди!

Председатель. Ах, опять люди! Ну, убрали бы людей. (*Поворачивается и идет к открытому люку.*)

Секретарь. Товарищ председатель, сюда тоже нельзя. Вам туда надо. (*Указывает на ватерклозет, но, проводя Председателя мимо люка, сталкивает его вниз.*) Товарищ председатель, куда же вы?

Из люка валит дым и пахнет жареным.

К р и к и. Ах! Ах! Председатель!

— Он провалился!

— Он горит!

— Выключите электричество!

— Скорую помощь!

— Пожарных!

Дым, темнота, крики, вой сирены и блеск мигалки. Свет. Духовой оркестр, ордена, венки. Оставшиеся в живых члены трибунала проносят через всю сцену гроб с надписью «Председатель». За сценой слышен звонкий голос Зеленой: «Пускай ты умер, но в песне сильных и смелых духом всегда ты будешь...»

9

Затемнение. Свет. Та же обстановка, те же портреты, но теперь два из них в черных рамках. На сцену выходит Бард и без всяких предисловий поет:

— Ах, здравствуйте!

— Ах, здравствуйте!

— Ну, как вы поживаете?

— Спасибо, потихонечку живем.

Зарплату получаем,

Налево промышляем

И кое-что по благу достаем.

Припев:

— Ну хорошо. А что еще?

— А ничего.

— Ну хорошо. А что еще?

— А ничего.

— Ну хорошо.

— Скажите мне, пожалуйста...

— Пожалуйста, пожалуйста.

— Как поживает милый ваш сосед?

— Неплохо поживает он,

Но кость не прожевал он,

И подавился давеча в обед.

Припев:

— Что говорит природа

— По части недорода?

— И как у вас погода?

— Ах, что за разговор!

То ведро, то ненастье,

И к общему несчастью

Скончались в одночасье

Судья и прокурор.

Припев.

Да что же это делается?

Да что за наказание?

Когда такие люди

Да стали помирать,

На что же нам надеяться

При нашем-то питании,

При наших-то возможностях

На что нам уповать?

Припев:

— Ну хорошо. А что еще?

— А ничего.

— Ну хорошо. А что еще?

— А ничего.

— Ну хорошо.

На сцену со «Спидолой» выбегает Лариса.

Лариса. Вы слышали? Сногсшибательная новость! Новым председателем назначен Секретарь.

Бард. Да, это любопытно.

Лариса. Говорят, он очень активный, стремится к переменам и уже произвел некоторые перестановки. Теперь левый заседатель будет сидеть на месте правого, а правый на месте левого.

Бард. Ну что ж. От этого, конечно, ничего не изменится, но все-таки хоть какое-то оживление обстановки.

Лариса. Неужели ничего не изменится? Ведь он, говорят, интеллигентный, образованный, ходит исключительно в джинсах, а по-английски, я сама слышала, говорит почти что свободно. И вообще про него ходят слухи, что он очень большой либерал. Может председатель быть либералом?

Бард. Ну почему же нет? Все люди, которые говорят по-английски, в какой-то степени либералы.

Лариса. Ваши слова воскрешают во мне надежду. Я уверена, что новый председатель начнет с того, что освободит моего Сеню.

Бард (*приложив палец к губам*). Тсссс!

10

Затемнение. Вой сирены, блеск мигалки, визг тормозов. Свет. На сцену, сопровождаемый заседателями и Защитником, стремительно врывается Новый председатель. Он в джинсах, кедах и майке, на которой написано: I Like Hamburger.

Председатель (*небрежно слушая сопровождающих, отрывисто*). Велл. Гуд. О'кей. Новер майнд. (*На ходу*.) Нам надо преодолеть отставание, усилить дисциплину, улучшить воспитательную работу, покончить с коррупцией и самым решительным образом реформировать нашу судебную систему. Мы должны самым решительным образом бороться с прогулами, опозданиями, алкоголизмом, воровством, взяточничеством и влияниями чуждой идеологии. Необходимо навсегда покончить с равнодушием, благодушием, ротозейством и головотяпством.

Лариса (*появляясь на пути Председателя*). Здравствуйте.

Председатель (*недовольно*). Здравствуйте.

Лариса. От всей души поздравляю вас с выдвижением на ваш высокий пост.

Председатель (*холодно*). Спасибо. И что вам угодно?

Лариса. Я только хотела узнать, когда вы освободите моего мужа? Я и мои дети, мы так по нему соскучились.

Председатель. А с какой стати я должен осво-

бодить вашего мужа? Что же мне по-вашему, больше делать нечего, как освободить вашего мужа?

Лариса (*торопливо*). Пожалуйста, не сердитесь на меня. Я понимаю, что у вас очень много новых обязанностей, но все-таки вы же понимаете, речь идет о судьбе человека. А вы такой образованный, по-английски спикаете и вообще все про вас говорят, что вы либерал.

Председатель. Да? Про меня так говорят? (*Свите.*) А ну-ка, отойдите!

Члены суда отдаляются.

Ну да, конечно, я либерал, но члены суда остались те же самые. И поэтому я свой либерализм тщательно скрываю и вам о нем напоминать не советую. (*Членам суда.*) Идите сюда. Что происходит в нашей системе? Почему она работает неэффективно? Почему пресловутый Подоплеков до сих пор не осужден?

Защитник. Прошу простить, товарищ председатель, но мы были заняты похоронами наших старших коллег.

Председатель. Отговорки! Вам любой повод хорош, лишь бы не работать. Все по местам!

Заседатели и Защитник занимают свои места.

Где Горелкин?

Голос Горелкина. Я здесь!

Санитары вносят Горелкина.

Председатель. Вы что, все еще нездоровы?

Горелкин. Так точно, все еще при смерти.

Председатель. Хватит симулировать. Доставьте сюда подсудимого!

Горелкин. Слушаюсь! (*Вскакивает с носилок и бежит за кулисы*).

Санитары уходят. Горелкин вывозит из-за кулис клетку с Подоплековым.

Председатель (*заняв место между двумя заседателями, устало*). Продолжается слушание дела Подоплекова. Подоплеков, вы с новым составом суда согласны?

Подоплеков. Мне все равно.

Председатель. Велл, если вам все равно, нам тем более.

З а щ и т н и к. Товарищ председатель, но можем ли мы вести заседание в отсутствие прокурора?

Председатель. Если он отсутствует по уважительным причинам, конечно, можем. А впрочем, мы должны больше опираться на поддержку общественности. *(В зал.)* Слово предоставляется общественному обвинителю товарищу Зеленой. Здесь она?

Зеленая *(поднимаясь на сцену).* Я всегда здесь. *(В зал.)* Товарищи, мне поручено заявить, что наш коллектив испытывает чувство огромной ответственности и вины, что мы проявили слишком много благодушия, ротозейства и головоуятия, утратили всякую бдительность, благодаря чему в наши ряды затесался столь чуждый и враждебно настроенный ко всему нашему человек. Признаться, в самом начале процесса, когда начался разбор деятельности Подоплекова, мы отнеслись ко всему с некоторым недоверием, мы не могли себе даже представить, что он на самом деле такой. Конечно, мы все видели и слышали, как он тут речи всякие произносил, угрожал ружьем и напал на милиционера. Но мы думали, это, может быть, просто так, он просто перенервничал, сорвался. А теперь мы видим, что это не просто так, это стройная и последовательная линия поведения. Сначала произносит враждебные речи, потом угрожает ружьем, потом нападает на милиционера, а затем продолжает терроризировать членов трибунала, настолько даже, что прокурор и председатель не выдержали и... Ужас, что происходит! Нам стыдно, что мы не разглядели в своей среде такого злобствующего индивидуалиста. И я думаю, что суд должен сделать выводы и наказать Подоплекова самым строгим образом.

Председатель. Ну что значит самым строгим? Расстрелять его что ли?

Зеленая. Ну, если суд сочтет возможным, можно и расстрелять.

Крики из зала. Мало!

Зеленая. Ну, может быть, и мало, я не знаю. Я в этих делах не разбираюсь, и все-таки мы как-то долго вместе работали... Я не могу... *(Прикладывая к глазам платок, покидает сцену.)*

Лариса *(выскакивает на сцену. Судьям.)* Нет, вы этого не сделаете! Вам ваша совесть не позволит расстрелять отца двоих детей только за то, что он что-то не так сказал.

Председатель. Слушайте, кто вам разрешил сюда подниматься? И прекратите заниматься демагогией. Мало ли у кого сколько детей! О детях, прежде чем идти сюда, надо было подумать.

Зеленая (*вернувшись на сцену*). А по-моему, таких людей надо вообще лишить родительских прав. Мы не можем им позволить портить нашу смену.

Председатель. Товарищ Зеленая, вы уже закончили ваше выступление и прошу покинуть сцену. (*Ларисе.*) И вас тоже. (*Кричит.*) Горелкин!

Горелкин (*выбегает на сцену*). Я здесь!

Председатель. Пожалуйста, очистите сцену от посторонних.

Горелкин. Слушаюсь! (*Подталкивает Ларису и Зеленую.*) Попрошу удалиться.

Все трое исчезают за кулисами.

Председатель. Продолжаем прения сторон. Слово имеет представитель защиты. (*Защитнику.*) Только, пожалуйста, покороче.

Защитник. Я постараюсь. Товарищи судьи, как правильно отметил в своей великолепно аргументированной речи покойный прокурор, мы живем в знаменательную эпоху, когда...

Председатель. Товарищ защитник, забудьте этот старый отживший стиль. Не надо этой цветистости. Излагайте самую суть.

Защитник (*торопливо*). Хорошо, хорошо. Товарищи судьи, прежде чем рассмотреть и проанализировать деяния моего подзащитного, я хотел бы вкратце обрисовать условия, в которых он рос и воспитывался. Его детство прошло...

Председатель. Товарищ защитник, его детство давно прошло. Давайте ближе к нашему времени.

Защитник. Хорошо, хорошо. Товарищи судьи, для того чтобы понять мотивы действия моего подзащитного, нам необходимо бросить хотя бы беглый взгляд на те условия, в которых он жил и работал...

Председатель. Товарищ защитник, не надо этого. Он работал и жил, как все. В обыкновенных условиях. Давайте покороче. Вы просите для него снисхождения?

Защитник. Совершенно верно. Я прошу для него

снисхождения. Я уверен, что в глубине души он глубоко раскаивается в содеянном.

Председатель. А это мы у него сейчас спросим. Подсудимый, вам предоставляется последнее слово. Что вы можете сказать в свою защиту?

Подоплеков. После всего, что было, я даже не знаю, что сказать.

Председатель. Вы можете ничего не говорить. Это ваше право, а не обязанность.

Подоплеков. Я ничего не понимаю. Я никогда не думал, что у нас честного человека могут схватить ни за что ни про что...

Председатель. Подсудимый, вы опять занимаетесь пропагандой. Не отклоняйтесь, говорите о себе.

Подоплеков. А я о ком говорю?

Председатель. Вы говорите о каком-то обобщенном честном человеке.

Подоплеков. Я говорю об определенном честном человеке, которого вы схватили ни за что ни про что, оторвали от жены, от детей, посадили в клетку, как зверя.

Председатель (*накаляясь*). Подсудимый, я вас предупреждаю, перестаньте на нас клеветать! Мы этого не позволим! Мы либеральничать с вами не будем!

Подоплеков. Конечно, не будете. Разве вы можете либеральничать? Вы же можете проявлять свою власть только в том, чтобы хватать, сажать, давить человека. А зачем? Вы и сами не знаете, не помните, для чего вы все это создавали и к чему хотели прийти. Вы говорили, что построить то, что вы собирались построить, нельзя без жертв. И вы жертвовали, жертвовали, жертвуете и сейчас, уже забыв, для чего, зачем...

Председатель. Шот ап! Подсудимый, я вас лишаю слова!

Подоплеков. Вы лишаете меня слова, потому что именно слова вы больше всего боитесь.

Председатель. Я приказываю вам молчать! Заткните ему глотку! Уберите его из зала!

Горелкин торопливо заталкивает клетку за кулисы. По сцене проходят два демонстранта с плакатами: «Подоплекова — на мыло!», «Собаке — собачья смерть!»

(*В зал.*) Суд удаляется на совещание для вынесения приговора.

А н т р а к т

ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ

1

На сцене Бард с гитарой.

Бард (*напевает*).

Течет река
Вода мелка
Так мелки наши страсти...
И мы за крохи со стола
Рвем ближнего на части.
Друг друга лупим ни за что
И ни за что терзаем,
И перед тем, как впасть в ничто.
В ничтожество впадаем.

(прекратив пение.)

Вы будете смеяться, но с новым председателем тоже, кажется, не все в порядке. Он давно уже не появляется на людях, и, как говорят сведущие люди, врачи борются за его жизнь. Говорят, у него жесточайший запор. Так это или не так, проверить нельзя, и поэтому распространяются самые противоречивые и иногда даже нелепые слухи, будто, находясь в коматозном состоянии, он все еще успешно осуществляет общее руководство и даже надеется провести в жизнь некоторые из своих оригинальных идей. Впрочем, я лично слишком оригинальных идей побаиваюсь. Когда их начинают внедрять, мне хочется закопаться поглубже и переждать. *(Поет.)*

Течет река,
Мерцает дно,
И шелестит осока.
Жизнь наша хлопотная, но
Недолгая морока.
Вот скоро устье, а потом
Забвенья неизбежность...
Но перед тем, как впасть в ничто,
Впаду в любовь и нежность.

Появляется Лариса с приемником, исторгающим грохот и свист.

Лариса. Слушайте, что же это происходит?

Бард. А что? По-моему, как раз ничего не происходит.

Л а р и с а. Да как же не происходит? Как же не происходит? Вы только послушайте. *(Ударяет приемником об пол, и звуки глушилки сменяются ясным голосом диктора.)*

Р а д и о. В западных странах растет волна протеста против бесчеловечного обращения с известным борником прав человека доктором Подоплековым. В Вашингтоне президент Рейган заявил, что жестокость, проявляемая по отношению к таким выдающимся людям, как Подоплеков, еще раз доказывает неспособность тоталитарных режимов решать без насилия не только внешние, но и внутренние проблемы. В Копенгагене демонстранты разбили витрину Аэрофлота. В Лондоне женщины из группы «Зеленый мир» устроили сидячую забастовку. Во Франции ассоциация озабоченных ученых создала специальный комитет Подоплекова, в который вошли шесть лауреатов Нобелевской премии. Комитет выпустил специальное воззвание в защиту ученого...

Л а р и с а *(выключает радио)*. Боже мой! Что творится? Зачем вся эта шумиха?

Б а р д. А вы хотите, чтобы с вашим мужем покончили без всякого шума?

Л а р и с а. Я не хочу, чтобы с ним покончили, но я боюсь, что из-за этого шума они еще больше рассердятся.

Б а р д. Уверю вас, они уже сердиты достаточно.

Л а р и с а. Но что же мне делать?

Б а р д. Все зависит от того, желаете ли вы быть женой политического заключенного или просто вдовой. Впрочем, у вас есть шанс. Вам следует обратиться к Защитнику. Говорят, что сейчас, в отсутствие Председателя, именно он заворачивает всеми делами. И при этом довольно неплохой человек. Бабник, выпивоха и рыболов.

Л а р и с а. А что вы можете сказать о его здоровье?

Б а р д. Это непростой вопрос. Вообще-то он жалуется на тромбофлебит, боли в сердце и мозговые спазмы, но, возможно, это только уловка. Он мечтает стать председателем, а на эту должность, не имея серьезных болезней, претендовать бесполезно.

Л а р и с а. И вы думаете, что он мне поможет?

Б а р д. Нет, я как раз думаю, что он не поможет. Но все-таки должны же вы что-то делать. А вот, кстати, и он.

Защитник в резиновых сапогах и с удочкой через плечо идет вдоль сцены, что-то насвистывая.

Л а р и с а. Здравствуйте.

З а щ и т н и к. Здравствуйте.

Л а р и с а. Много наловили?

З а щ и т н и к. Да нет, ничего не поймал. Но это не важно. Меня во всяком деле интересует не результат, а процесс. А вы что же, радио слушаете?

Л а р и с а. Да так, знаете, иногда слушаю, когда время есть. «Для вас, женщины» или «Писатели у микрофона».

З а щ и т н и к. Бросьте темнить. Я защитник, но не стукач. И что же там, много шуму?

Л а р и с а. Да, шум есть. Какие-то зеленые женщины, нобелевские лауреаты. Витрину расколотили.

З а щ и т н и к. Интересно! Да, интересно! Значит, мы им хорошо наступили на хвост.

Л а р и с а. Насчет их не знаю, а нам наступили. У меня дети спрашивают, где папа. Я говорю: папа в командировке. А мне Игорь говорит: «Неправда, мне в школе сказали, что папа в тюрьме». Слушайте, а правда, говорят, что новый председатель тяжело болен?

З а щ и т н и к. Да нет, слухи сильно преувеличены. У него насморк, кашель, стенокардия и рак прямой кишки с метастазами в печени. И больше ничего.

Л а р и с а. Правда? А я очень за него беспокоюсь. Вы знаете, мне неудобно отнимать у вас время, но я слышала, что вы теперь играете такую важную роль, и я хотела вас попросить, может, как-то можно освободить моего мужа? Ведь все-таки сейчас там, на Западе, такой шум, такой шум! Он же никому не нужен.

З а щ и т н и к. Да, да. Этот шум, это просто ужасно. И я вообще этих людей не понимаю. Ну хорошо, ну посадили кого-то, ну даже несправедливо посадили, но зачем же еще бить витрины?

Л а р и с а. Совершенно с вами согласна. Но я думаю, что если бы вы моего мужа освободили, этот шум мог бы немедленно прекратиться.

З а щ и т н и к *(смеется)*. Ах, какая хитрая женщина! Как будто вы не понимаете, что если мы освободим вашего мужа, они там это воспримут как нашу слабость

и в следующий раз еще больше побьют витрин. Но если вы действительно желаете вашему мужу добра, поговорите со своим мужем, убедите его, пусть признается, пусть покается, пусть поможет нам убедить этих, которые бьют витрины, что мы все — судьи, прокуроры, защитники и подсудимые — единое и монолитное общество. Пусть он нам поможет, а мы тоже в долгу не останемся.

Л а р и с а. Вы его освободите?

З а щ и т н и к. Ну к чему эта торговля? Впрочем, может быть, даже освободим.

Л а р и с а. Вы хотите, чтобы я с Сеней поговорила? Но меня же к нему не пускают.

З а щ и т н и к. Да, это вообще не полагается. Но в данном случае, я думаю, мы это как-то уладим.

Л а р и с а. Но я не могу ручаться. Сеня, он, знаете, такой самолюбивый, такой гордый и непреклонный.

З а щ и т н и к (*растроган*). Моя жена то же самое говорит обо мне. Я знаю, что он гордый и непреклонный. А вы с ним ласково так и по-женски... Вкусненького ему что-нибудь принесете. У вас что-нибудь есть?

Л а р и с а. Да, да, конечно. Я уже кое-что принесла. Вот видите (*достает из сумки синюю курицу*), это моей маме выдали как ветерану труда.

З а щ и т н и к (*брезгливо морщась и слегка отступая*). Гм. Да. Симпатичная курочка. Но вы ее поберегите. Пусть ее ваша мама кушает. А мужу вашему мы доставим что-нибудь другое. Пожалуй, я вам выпишу пропуск в наш спецбуфет. Там иногда кое-что бывает. Возьмите ему колбаски, пивка... Он пиво любит?

Л а р и с а. Да, конечно. Но все-таки я боюсь. Сеня такой гордый, такой непреклонный.

З а щ и т н и к. Знаю, знаю. И, поверьте, уважаю его за это. Но вы попробуйте, поговорите, а мы со своей стороны тоже попробуем как-нибудь на него повлиять.

3

Затемнение. Лариса и Защитник исчезают. На сцену вывозят клетку, в которой сидят Подоплеков и Наседка. Подоплеков хлебает баланду, а Наседка, вцепившись руками в прутья клетки, смотрит куда-то вдаль.

Подоплеков (*отодвигая миску*). Нет, не могу я есть эту баланду. У меня же гастрит, изжога. Неужели

человеку даже в последние дни его жизни нельзя дать чего-нибудь съедобного?

Наседка (*насмешливо*). Да, безобразие. Могли бы доставить из ресторана шашлык по-карски и бокал холодного грузинского вина.

Подоплеков. Ладно, нашел место для шуток.

Наседка. А я не шучу. Раньше приговоренного хотя бы спрашивали о последнем желании. Чего он хочет. Выкурить гаванскую сигарету или переспать с женщиной. А потом выводили во двор, читали приговор, молитву, завязывали глаза. Причем ты мог отказаться и встретить смерть с открытыми глазами.

Подоплеков. Да-да, я именно так и сделаю. Я откажусь завязывать глаза и я скажу... я что-нибудь им скажу.

Наседка. Да что ты! Ничего не скажешь.

Подоплеков. Почему это не скажу? Обязательно скажу.

Наседка. Да не успеешь ты ничего сказать. Сейчас это совсем не так делают, сейчас просто входят в камеру...

Подоплеков. Не хочу, не хочу, не хочу ничего слушать! (*Затыкает уши, но неплотно.*)

Наседка. Стыдно, Подоплеков. Стыдно прятать голову, как страус. Надо до конца оставаться мужчиной. Так вот, входят в камеру вертухаи с черным мешком...

Подоплеков. Это зачем еще черный мешок?

Наседка. На голову надевают.

Подоплеков. Не желаю никакого черного мешка. Я хочу с открытыми глазами...

Наседка. Ага, они тебя спросят. Они мешок на голову, руки скрутят и в соседнюю камеру. А там пол к середине покатый, а в середине дырка.

Подоплеков. Зачем дырка?

Наседка. Для стока крови.

Подоплеков (*затыкает уши*). Не хочу слушать!

Наседка. А ты ничего не услышишь. Мешок на голову, голову к дырке, бабах, и все.

Подоплеков. Не надо, не надо мне этого рассказывать. Я боюсь. (*Дрожа от страха, забивается в угол*).

Слышен ужасающий скрежет ключа. В камеру врываются Горелкин и Юрченко с черным мешком. Кидаются к Подоплекову.

Не надо! Я не хочу! Я боюсь!

Горелкин (к Юрченко). Да не того берешь! Этого надо.

4

Оставив Подоплекова, милиционеры вмиг скручивают Наседку и в черном мешке выволакивают из клетки. Подтаскивают к Защитнику, который сидит в отдалении за столом. Отпускают руки, снимают мешок.

Наседка. Надо же, костоломы какие! Так же и руки можно вывернуть. (Докладывает Защитнику.) Так что все сделал, как вы велели.

Защитник. Ага, поговорили?

Наседка. Поговорили. Дрожит как осиновый лист. На все готов.

Защитник. Ну и хорошо. Объявляю вам благодарность.

Наседка. Рад стараться.

Защитник. Вы свободны.

Наседка. Слушаюсь! (Уходит.)

Защитник (Горелкину). Теперь пригласите жену.

Горелкин выходит, возвращается с Ларисой. Она с сумкой.

Ну что, Лариса Павловна, принесли? Очень хорошо. Надеюсь, там, в буфете, неплохие продукты?

Лариса. Да уж продукты, ничего не скажешь.

Защитник. Это нам за вредность такие дают, Лариса Павловна. Ну что ж. Сейчас вам будет предоставлено свидание с мужем. Возможно, он покажется вам немного нервным. Ничего не подделаешь, переволновался. Как ни говорите, а здесь не курорт. Да, а продукты, между прочим, лучше переложить в этот мешочек.

Лариса. Зачем? У меня сумка хорошая.

Защитник. Порядок, Лариса Павловна. Некоторые жены в таких сумках норовят принести что-нибудь недозволенное. Иногда в подкладках прячут даже бритвочки или мышьячок. Подержите! (Пересыпает содержимое сумки в мешок.) Ну вот и хорошо. Пожалуйста, Лариса Павловна!

Распахивает перед ней дверь клетки. Лариса входит. Защитник запирает дверь. Остается снаружи подслушивать. Подоплеков, не замечая Ларисы, видит только черный мешок, забивается в угол, заслоняется руками.

Подоплеков (*кричит*). Нет! Нет! Нет! Не хочу!
Лариса (*растерянно*). Сеня, что с тобой? Это же я, Лариса.

Подоплеков. Лариса? (*открывает глаза.*) Лариса. Значит, все уже позади? Все кончено?

Лариса. Сеня, что ты говоришь? Что кончено?

Подоплеков. Да, он правильно говорил. Это оказалось не так уж страшно. А теперь я чувствую такой подъем! Такую необыкновенную легкость! (*Ларисе.*) Слушай, а ты почему здесь? Разве ты умерла раньше меня? Но ведь когда меня забирали, ты была еще живая.

Лариса (*обнимая его*). Сеня, бедный, ты заболел. Ты заболел! Ну, ничего. Ничего! Это не важно. Я тебя вылечу. Ты знаешь, как я о тебе беспокоюсь. Даже вот курить начала. (*Достает сигарету, чиркает спичкой.*)

Подоплеков. Ой!

Лариса. Что с тобой, Сеня?

Подоплеков. Что ты спичками так чиркаешь неосторожно? Сера отлетела. Больно. (*Озаренный догадкой.*) Слушай, а раз больно, значит, я жив? Жив?

Лариса. Ну конечно, ты жив. Ты нездоров, но ты жив.

Подоплеков. Какой ужас!

Лариса. Сеня, но почему же ужас? Ведь жизнь так хороша! Жить, дышать, любить, что может быть прекраснее этого?

Подоплеков. Жить прекрасно? Прекрасно сидеть в клетке, жрать баланду и ждать, когда к тебе придут с черным мешком? Прекрасно когда тебя... (*замечает в руках Ларисы черный мешок. Истерически*). Почему у тебя в руках этот мешок?

Лариса. Этот мешок? Это тебе передача. Вот цыпленок, колбаса краковская...

Подоплеков. Краковская? Надо же! Неужели еще на свете бывает краковская колбаса? Я даже забыл, как она пахнет. Где ты ее достала?

Лариса. Защитник разрешил купить для тебя в спецбуфете. И вот еще хлеб, сыр, чеснок и пиво. Хочешь пивка?

Подоплеков. Пивка? Это все тоже для меня из спецбуфета? А, понимаю. Это последнее желание.

Лариса. Между прочим, защитник просил... Я даже не знаю, как тебе это сказать... Я знаю, ты такой гордый и непреклонный... Но подумай обо мне и о наших детях...

Подоплеков (*вгрызаясь в колбасу*). Детям я уже ничем не смогу помочь. Но ты должна им сказать, что их отец был человеком честным, порядочным, хотя и не очень умным.

Лариса. Что значит был, Сеня? Ты был и есть, и еще не все потеряно. Защитник сказал... Ты знаешь всему этому цену. Защитник просит, чтобы ты, если можно, немножко в чем-то признался, покайся, кого-нибудь осудил и тебя простят.

Подоплеков. Простят? То есть не расстреляют?

Лариса. Ну конечно же, не расстреляют.

Подоплеков. Гм. И защитник прислал мне колбасу, чеснок, пиво только для того, чтобы я покался?

Лариса. Сеня, я знаю, ты такой гордый, такой непреклонный, но...

Подоплеков (*начинает смеяться. Сначала тихо, потом громче, до истерики, выдавливая сквозь смех отдельные слова*). Мне? Краковскую? Пиво? Чтобы покался? Дураки!

Лариса. Сеня, я понимаю, цена слишком велика.

Подоплеков. Конечно, велика. Да я не то что за пиво или за колбасу, я готов и задаром. Я жить хочу.

6

Защитник подслушивал все это время. Теперь он выходит на авансцену.

Защитник (*обращаясь к публике*). Наш процесс подходит к концу. Осужденный Подоплеков...

Шум за кулисами.

Что там за шум?

Горелкин подбегает и что-то шепчет Защитнику на ухо. Оказывается, там иностранные корреспонденты. Жалу-

ются, что мы не пускаем их на процесс. Разве мы не пускаем? (*Горелкину.*) Пусть входят.

Два корреспондента с блокнотами, фотоаппаратами, микрофонами и телекамерой.

У нас процесс открытый, а это значит, что присутствовать на нем может каждый желающий. Господа, пожалуйста, не шумите! (*Пауза.*) Так вот, осужденный Подоплеков обдумал свое поведение и нашел в себе мужество правильно и нелицеприятно оценить свою прошлую преступную деятельность и просит дать ему возможность публично высказать свои мысли. Руководствуясь гуманными принципами, мы решили предоставить ему такую возможность. Я попрошу доставить сюда подсудимого.

7

Высвечивается клетка.

Подоплеков (*запивая колбасу пивом*). Надо же! Неужели они отменяют приговор! И даже выпустят на свободу? Трудно даже себе представить! Как я счастлив! Как я безумно счастлив! Я буду жить, дышать воздухом, пить жигулевское пиво. Может быть, иногда даже с воблой. Слушай, а что, там воблы не было?

Лариса. Где?

Подоплеков. Ну в этом самом специальном буфете.

Лариса (*растерянно*). Я что-то не заметила.

Подоплеков. Ты скажи защитнику, пусть следующий раз воблу передаст, а то я могу и отказаться.

Лариса. Хорошо, я скажу. Я понимаю, Сеня, каяться так трудно, так неприятно. Придется пережить неприятные моменты. Некоторым покаяние твое не понравится.

Подоплеков. Плевал я на некоторых.

Лариса. Может быть, некоторые даже перестанут подавать руку.

Подоплеков. Плевал я на их руки.

Лариса. Может быть, даже кто-нибудь плюнет тебе в лицо.

Подоплеков. Плюнет в лицо? Так это же прекрасно!

Лариса. Что же тут прекрасного. Сеня?

Подоплеков. Разве ты не понимаешь? Ну вот плюнь мне в лицо.

Лариса. Зачем?

Подоплеков. Ну, плюнь, плюнь, не стесняйся.

Лариса. Ну, пожалуйста (*Плюет*).

Подоплеков (*утираясь*). Вот и прекрасно. Вот и замечательно. Я ощущаю плевков, значит, я существую. Значит, я жив. (*Ходит по клетке, декламируя*). Подоплеков и теперь живее всех живых, наше знамя, сила и оружие!

Лариса. Я очень рада, что ты согласился принять такое мужественное, такое самоотверженное решение. А то, понимаешь, они там на Западе, просто с ума посходили. И «Голос Америки», и Би-би-си, и «Свобода», на какую станцию ни наткнешься, все бубнят: Подоплеков, Подоплеков...

Подоплеков. Подожди, подожди. Ты что это говоришь? Какой голос, какое Би-би-си, какая свобода? Они обо мне, что ли, говорят?

Лариса. Мало того, что говорят. Так еще комитеты какие-то там создали. А еще этот... президент...

Подоплеков. Какой еще президент?

Лариса. Ну какой же, американский. Так он тоже туда же.

Подоплеков. Куда же туда же?

Лариса. Ну туда же. Ну что ему? Ну зачем же в чужие дела мешаться? Я восхищаюсь, говорит, мужеством таких людей, как Подоплеков.

Подоплеков. Как Подоплеков? Что ты городишь? Американский президент говорил обо мне?

Лариса. Ну, конечно, о тебе.

Подоплеков. Так прямо и сказал: Подоплеков?

Лариса. Да, к сожалению, так прямо и сказал.

Подоплеков. Надо же? Президент Соединенных Штатов Америки знает, что есть такой человек — Подоплеков?

Лариса. Ну и что? Ты тоже знаешь, что есть такой человек — президент Соединенных Штатов Америки.

Подоплеков. Глупая курица! Ты что говоришь! Ты знаешь, что президента Соединенных Штатов Америки знают все во всем мире. А он всех знать не обязан. Надо же, как взлетел Подоплеков! Надо же, какое счастье!

Лариса. Сенечка, милый. Да какое же это счастье сидеть в клетке?

Подоплеков. Темная женщина! Глупица! У тебя мозг, как грецкий орех. Да если бы я не сидел в клетке,

так президент, может быть, и не знал бы, что на свете есть Подоплеков. А теперь знает. Какого-нибудь Смита, какого-нибудь Томсона или Симсона он не знает, а Подоплекова знает... *(Хватает мешок, сметает в него остатки еды, кидает туда же пустую бутылку.)*

Лариса. Сеня, что ты делаешь?

Подоплеков. Дураки! Идиоты! Кретины! На что они рассчитывали? Неужели они думали, что Подоплеков за эту колбасу, за это пиво, да хотя бы даже и за воблу продаст свою бессмертную душу? Пожертвует своим добрым именем!

8

Тем временем клетку вывозят на авансцену. Лариса незаметно исчезает.

Защитник. Как известно, в последнее время на Западе поднята новая оголтелая истерия по поводу якобы нарушения у нас так называемых прав человека. Поводом для этой разнузданной кампании является арест некоего Подоплекова, совершившего тяжкие преступления. Однако впоследствии Подоплеков осознал всю преступность своей прежней деятельности и нашел в себе мужество решительно ее осудить. Пожалуйста, Подоплеков.

Корреспонденты высказывают на сцену, суют в клетку микрофоны, придвигают камеру телевидения. Вспыхивают блицы фотоаппаратов.

(Как бы ведя пресс-конференцию.) Скажите, Подоплеков, до вашего ареста вы враждебно относились к нашей системе?

Подоплеков. Да я даже не знаю. Трудно сказать. Вообще-то говоря, хотя я и относился враждебно, но при этом я этого даже как бы не сознавал.

Защитник *(пытаясь направить Подоплекова)*. Но в чем-то конкретном выражалось же это ваше неприятие нашего образа жизни, вашего враждебного к нему отношения?

Подоплеков. Да-да, конечно, выражалось, но как-то так неясно, я бы сказал, выражалось. Просто, когда я выходил на улицу и видел все эти красивые лозунги и транспаранты и вот эти портреты, мне было, в общем как-то противно. И когда я сидел на собраниях и слушал всякие речи, мне было, в общем, как-то противно, и

когда я видел по телевизору всякие съезды, когда кто-нибудь что-то скучное и длинное такое говорит, а все хлопают, мне было, в общем, как-то противно, и я старался смотреть только хоккеей или фигурное, что ли, катание, хотя иногда тоже было, в общем, как-то противно.

Защитник (*несколько обеспокоен*). Но теперь вы осознали, что вы были не правы?

Подоплеков. Да, конечно, теперь после того, как это случилось, у меня было время, я подумал, я понял, что был не прав.

Защитник. Говорите, Подоплеков, говорите. Записывайте, господа. Вы, господин... у вас микрофон далеко. Вы поближе его, поближе, а то вашим радиослушателям не будет слышно.

Подоплеков. И я подумал, что раньше я был очень пассивным. Как все. И когда кого-то брали, я думал, это не мое дело, мое дело чертить свои чертежи, спать с женой и смотреть хоккей. А потом, когда меня взяли, я смотрел в зал и ждал, что же будет. Но ничего не случилось. Но ведь сегодня меня, а завтра другого, а послезавтра третьего, а мы все вместе и каждый по отдельности будем смотреть и говорить — это не мое дело, а они всех нас и будут душить поодиночке. И я понял, что так дальше жить невозможно, я решил, что надо бороться, и я буду бороться...

Защитник. Подоплеков, подумайте, что вы говорите!

Крики. Он с ума сошел!

— Провокация!

— Остановите его!

— Милиция!

Подоплеков (*заглушая остальные голоса*). И я буду бороться до последней минуты, до последнего вздоха. Меня хотели купить колбасой. (*Швыряет мешок на сцену*). Но Подоплеков свою бессмертную душу на кусок колбасы не меняет!

Крики. Уберите его!

— Уберите из зала корреспондентов!

Милиционеры и охранники толкают клетку в глубь сцены.

Подоплеков (*удаляясь, простирает руки сквозь решетку*). Я продолжаю борьбу до конца! Лучше умереть стоя, чем жить на коленях! Я объявляю смертель-

ную голодовку! Передайте американскому президенту, что Подоплеков погибает, но не сдается. Передайте английскому премьер-министру, германскому канцлеру, японскому императору, тибетскому далай-ламе, папе римскому и всему прогрессивному человечеству...

К р и к и. Погасите свет!

— Вызовите милицию!

Гаснет свет. Слышна трель милицейских свистков. Затем нарастающий звук сирены, шуршание шин, шум борьбы, блеск мигалки. Шум внезапно стихает, и в темноте слышен тихий и чистый голос Барда:

— Зачем зацветашь? —

Спросили цветок.

Ответил:

— Затем, чтобы цвести.

— Но есть ли в цветенье какой-нибудь прок?

Ответил:

— Наверное, есть...

Голос Барда постепенно стихает, звуки аккомпанемента, напротив, усиливаются. В конце слышна только музыка. Вспыхивает свет. На сцене, понурив головы, стоят все участники спектакля.

К о н е ц

СОДЕРЖАНИЕ

5 АНТИСОВЕТСКИЙ СОВЕТСКИЙ СОЮЗ

411 СКАЗКИ

459 МЕЖДУ ЖАНРАМИ

479 ФИКТИВНЫЙ БРАК

495 ТРИБУНАЛ. Судебная комедия

Составитель Т. Бек
Редактор Г. Кондрашев
Художник П. Храпцов
Технический редактор Т. Луговская
Младший редактор М. Грушецкая
Корректор Р. Уланова

Сдано в набор 15.01.93. Подписано к печати 27.09.93.
Формат 84×108¹/₃₂. Бумага офсетная. Гарнитура
«Литературная». Печать высокая. Усл. печ. л.
30,24. Уч.-изд. л. 31,85. Тираж 50 000 экз. Заказ
№ 53

Издатель ООО «Фабула». 117218, Москва, ул. Кра-
сикова, 27

Изготовлено в книжной типографии Министерства
печати и информации России
600000, г. Владимир, Октябрьский проспект, д. 7